

А.И.
ГЕРЦЕН

А.И. ГЕРЦЕН

VI

VI



АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ им. А.М. ГОРЬКОГО

А. И. ГЕРЦЕН



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ТРИДЦАТИ ТОМАХ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА · 1955

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ им. А.М. ГОРЬКОГО

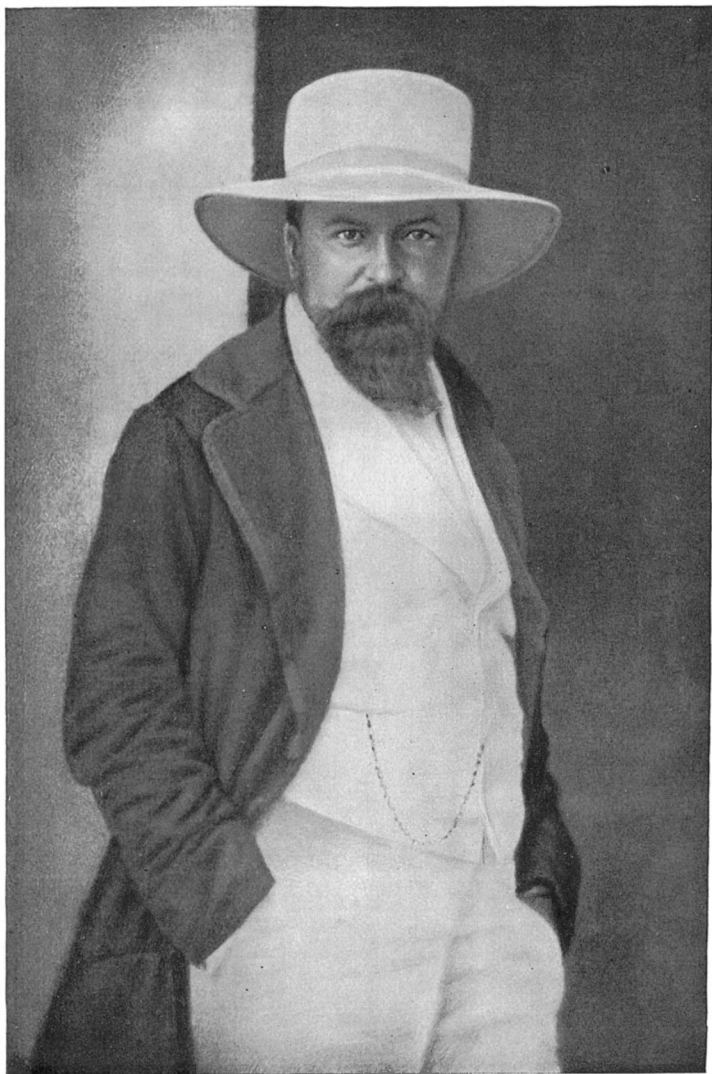
А. И. ГЕРЦЕН



ТОМ ШЕСТОЙ

С ТОГО БЕРЕГА
СТАТЬИ
ДОЛГ ПРЕЖДЕ ВСЕГО
1847-1851

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА · 1955



А. И. ГЕРЦЕН

С дагерротипа, 1850—1852 гг.

Государственный Исторический музей, Москва

С ТОГО БЕРЕГА

СЫНУ МОЕМУ АЛЕКСАНДРУ

Друг мой Саша,

Я посвящаю тебе эту книгу, потому что я ничего не писал лучшего и, вероятно, ничего лучшего не напишу; потому что я люблю эту книгу как памятник борьбы, в которой я пожертвовал многим, но не отвагой знания; потому, наконец, что я писколько не боюсь дать в твои отроческие руки этот, местами дерзкий, протест независимой личности против воззрения устарелого, рабского и полного лжи, против нелепых идолов, принадлежащих иному времени и бессмысленно доживающих свой век между нами, мешая одним, пугая других.

Я не хочу тебя обманывать, знай истину, как я ее знаю; тебе эта истина пусть достанется не мучительными ошибками, не мертвящими разочарованиями, а просто по праву наследства.

В твоей жизни придут иные вопросы, иные столкновения... в страданиях, в труде недостатка не будет. Тебе 15 лет — и ты уже испытал страшные удары.

Не ищи решений в этой книге — их нет в ней, их вообще нет у современного человека. То, что решено, то кончено, а грядущий переворот только что начинается.

Мы не строим, мы ломаем, мы не воздвигаем нового открытия, а устраняем старую ложь. Современный человек, печальный pontifex maximus¹, ставит только мост — иной, неизвестный, будущий пройдет по нем. Ты, может, увидишь его... Не останься на *старом берегу*... Лучше с ним погибнуть, нежели спастись в богадельне реакции *.

¹ Здесь: великий строитель мостов (лат.). — *Ред.*

Религия грядущего общественного пересоздания — одна религия, которую я завещаю тебе. Она без рая, без вознаграждения, кроме собственного сознания, кроме совести... Иди в свое время проповедовать ее к нам *домой*; там любили когда-то мой язык и, может, вспомнят меня.

... Благословляю тебя на этот путь во имя человеческого разума, личной свободы и братской любви!

Твой отец

Твикнем, 1 января 1855 г.



⟨ В В Е Д Е Н И Е ⟩

«Vom andern Ufer»¹ — первая книга, изданная мною на Западе; ряд статей, составляющих ее, был написан по-русски в 1848 и 49 году. Я их сам продиктовал молодому литератору Ф. Каппу по-немецки.

Теперь многое не ново в ней². Пять страшных лет научили кой-чему самых упорных людей, самых нераскаянных грешников *нашего* берега. В начале 1850 г. книга моя сделала много шума в Германии; ее хвалили и бранили с ожесточением, и рядом с отзывами, больше нежели лестными, таких людей, как Юлиус Фрëбель, Якоби, Фальмерейер, — люди талантливые и добросовестные с негодованием нападали на нее.

Меня обвиняли в проповедовании отчаяния, в незнании народа, в *dépit amoueux*³ против революции, в *неуважении* к демократии, к массам, к Европе...

Второе декабря ответило им громче меня*.

В 1852 г. я встретился в Лондоне с самым остроумным противником моим, с Зольгером; — он укладывался, чтоб скорее ехать в Америку, в Европе, казалось ему, *делать* нечего. «Обстоятельства, — заметил я, — кажется, убедили вас, что я был не вовсе неправ?» — «Мне не нужно было столько, — отвечал Зольгер, добродушно смеясь, — чтоб догадаться, что я тогда писал большой вздор».

¹ «С того берега» (нем.). — *Ред.*

² Я прибавил три статьи, напечатанные в журналах и назначенные для *второго* издания, которое немецкая цензура не позволила; эти три статьи: «Эпilog», «*Omnia mea mecum porto*» и «Донозо Кортес». Ими заменил я небольшую статью об России, писанную для иностранцев.

³ любовной досаде (франц.). — *Ред.*

Несмотря на это милое сознание — общий вывод суждений, оставшееся впечатление были скорее против меня. Не выражает ли это чувство раздражительности — близость опасности, страх перед будущим, желание скрыть свою слабость, капризное, окаменелое старчество?

...Странная судьба русских — видеть дальше соседей, видеть мрачнее и смело высказывать свое мнение, — русских, этих «немых», как говорил Мишле*.

Вот что писал гораздо прежде меня один из наших соотечественников:

«Кто более нашего славил преимущество XVIII века, свет философии, смягчение прав, всеместное распространение духа общественности, теснейшую и дружелюбнейшую связь народов, кротость правлений?.. хотя и являлись еще некоторые черные облака на горизонте человечества, но светлый луч надежды златил уже края оных... Конец нашего века почитали мы концом главнейших бедствий человечества и думали, что в нем последует соединение теории с практикой, умозрения с деятельностью... Где теперь эта утешительная система? Она разрушилась в своем основании; XVIII век кончается, и несчастный филантроп меряет двумя шагами могилу свою, чтоб лечь в нее с обманутым, растерзанным сердцем своим и закрыть глаза навеки.

Кто мог думать, ожидать, предвидеть? Где люди, которых мы любили? Где плод наук и мудрости? Век просвещения, я не узнаю тебя; в крови и пламени, среди убийств и разрушений, я не узнаю тебя.

Мизософы торжествуют. «Вот плоды вашего просвещения, — говорят они, — вот плоды ваших наук; да погибнет философия!» — И бедный, лишенный отечества, и бедный, лишенный крова, отца, сына или друга, повторяет: да погибнет!

Кровопролитие не может быть вечно. Я уверен, рука, секущая мечом, утомится; сера и селитра истощатся в недрах земли, и громы умолкнут, тишина рано или поздно настанет, но какова будет она? — естли мертвая, хладная, мрачная...

Падение наук кажется мне не только возможным, но даже неминуемым, даже близким. Когда же падут они; когда их великолепное здание разрушится, благодетельные лампы

угаснут — что будет? Я ужасаюсь и чувствую трепет в сердце. Положим, что некоторые искры и спасутся под пеплом; положим, что некоторые люди и найдут их и осветят ими тихие уединенные свои хижины, — но что же будет с миром?

Я закрываю лицо свое!

Ужели род человеческий доходил в наше время до крайней степени возможного просвещения и должен снова погрузиться в варварство и снова мало-помалу выходить из оногo, подобно Сизифову камню, который, будучи вознесен на верх горы, собственной тяжестью скатывается вниз и опять рукою вечного труженика на гору возносится? — Печальный образ!

Теперь мне кажется, будто самые летописи доказывают веро-
роятность сего мнения. Нам едва известны имена древних азиатских народов и царств, но по некоторым историческим отрывкам можно думать, что сии народы были не варвары... Царства разрушались, народы исчезали, из праха их рождались новые племена, рождались в сумраке, в мерцании, младенчествовали, учились и славились. Может быть, Эоны погрузились в вечность, и несколько раз сиял день в умах людей, и несколько раз ночь темнила души, прежде нежели воссиял Египет.

Египетское просвещение соединяется с греческим. Римляне учились в сей великой школе.

Что же последовало за сею блестящею эпохой? Варварство многих веков.

Медленно редела, медленно прояснялась густая тьма. Наконец, солнце воссияло, добрые и легковверные человеколюбцы заключали от успехов к успехам, видели близкую цель совершенства и в радостном упоении восклицали: *берег!* но вдруг небо дымитя и судьба человечества скрывается в грозных тучах! О потомство! Какая участь ожидает тебя?

Иногда несносная грусть теснит мое сердце, иногда упадаю на колена и простираю руки свои к невидимому... Нет ответа! — голова моя клонится к сердцу.

Вечное движение в одном кругу, вечное повторение, вечная смена дня с ночью и ночи с днем, капля радостных и море горестных слез. Мой друг! на что жить мне, тебе и всем? На что жили предки наши? На что будет жить потомство?

Дух мой уныл, слаб и печален!»*

Эти выстраданные строки, огненные и полные слез, были писаны в конце девяностых годов — *Н. М. Карамзиным*.

Введением к русской рукописи были несколько слов, обращенных к друзьям на Руси. Я не счел нужным повторять их в немецком издании — вот они:

ПРОЩАЙТЕ !

(Париж. 1 марта 1849)

Наша разлука продолжится еще долго — может, всегда. Теперь я не хочу возвратиться, потом не знаю, будет ли это возможно. Вы ждали меня, ждете теперь, надобно же объяснить, в чем дело. Если я кому-нибудь повинен отчетом в моем отсутствии, в моих действиях, то это, конечно, вам, мои друзья.

Непреодолимое отвращение и сильный внутренний голос, что-то пророчащий, не позволяют мне переступить границу России, особенно теперь, когда самодержавие, озлобленное и испуганное всем, что делается в Европе, душит с удвоенным ожесточением всякое умственное движение и грубо отрезывает от освобождающегося человечества шестьдесят миллионов человек, загораживая последний свет, скудно падавший на малое число из них, своей черною, железною рукой, на которой запеклась польская кровь*. Нет, друзья мои, я не могу переступить рубеж этого царства мглы, произвола, молчаливого замиранья, гибели без вести, мучений с платком во рту. Я подожду до тех пор, пока усталая власть, ослабленная безуспешными усилиями и возбужденным противудействием, не признает *чего-нибудь* достойным уважения в русском человеке!

Пожалуйста, не ошибитесь; не радость, не рассеяние. не отдых, ни даже личную безопасность нашел я здесь; да и не знаю, кто может находить теперь в Европе радость и отдых, — отдых во время землетрясения, радость во время отчаянной борьбы. — Вы видели грусть в каждой строке моих писем; жизнь здесь очень тяжела, ядовитая злоба примешивается к любви, желчь — к слезе, лихорадочное беспокойство точит весь организм. Время прежних обманов, упований миновало. Я ни во

что не верю здесь, кроме в кучку людей, в небольшое число мыслей да в невозможность остановить движение; я вижу неминуемую гибель старой Европы и не жалею ничего из существующего, ни ее вершинное образование, ни ее учреждения... я ничего не люблю в этом мире, кроме того, что он преследует, ничего не уважаю, кроме того, что он казнит,— и остаюсь... остаюсь страдать вдвойне, страдать от своего горя и от его горя, погибнуть, может быть, при разгроме и разрушении, к которому он несется на всех парах.

Зачем же я остаюсь?

Остаюсь затем, что борьба *здесь*, что, несмотря на кровь и слезы, здесь разрешаются общественные вопросы, что здесь страдания болезненны, жгучи, но *гласны*, борьба открытая, никто не прячется. Горе побежденным, но они не побеждены прежде боя, не лишены языка прежде, чем вымолвили слово; велико насилие, но протест громок; бойцы часто идут на галеры, скованные по рукам и ногам, но с поднятой головой, с свободной речью. Где не погибло слово, там и дело еще не погибло. За эту открытую борьбу, за эту речь, за эту гласность — я остаюсь здесь; за нее я отдаю все, я вас отдаю за нее, часть своего достоинства, а может, отдам и жизнь в рядах энергического меньшинства, «гонимых, но не низлагаемых».

За эту речь я переломил или, лучше сказать, заглушил на время мою кровную связь с народом, в котором находил так много отзвучиваний на светлые и темные стороны моей души, которого песнь и язык — моя песнь и мой язык, и остаюсь с народом, в жизни которого я глубоко сочувствую одному горькому плачу пролетария и отчаянному мужеству его друзей.

Дорого мне стоило решиться... вы знаете меня... и поверьте. Я заглушил внутреннюю боль, я перестрадал борьбу и решил не как негодующий юноша, а как человек, обдумавший, что делает, сколько теряет... Месяцы целые взвешивал я, колебался и, наконец, принес все на жертву:

*Человеческому достоинству,
Свободной речи.*

До последствий мне нет дела, они не в моей власти, они скорее во власти своевольного каприза, который забылся до того,

что очертил произвольным циркулем не только наши слова, но и наши шаги. В моей власти было не послушаться — я и не послушался.

Повиноваться противно своему убеждению, когда есть возможность не повиноваться, — безнравственно. Страдательная покорность становится почти невозможной. Я присутствовал при двух переворотах*, я слишком жил свободным человеком, чтоб снова позволить сковать себя; я испытал народные волнения, я привык к свободной речи и не могу сделаться вновь крепостным, ни даже для того, чтоб страдать с вами. Если б еще надо было умерить себя для общего дела, может, силы нашлись бы; но где на сию минуту наше общее дело? У вас дома нет почвы, на которой может стоять свободный человек. Можете ли вы после этого звать?.. На борьбу — идем; на глухое мученичество, на бесплодное молчание, на повиновение — ни под каким видом. Требуйте от меня всего, но не требуйте двоедушия, не заставляйте меня снова представлять верноподданного, уважьте во мне свободу человека.

! Свобода лица — величайшее дело; на ней и *только на ней* может вырасти действительная воля народа. В себе самом человек должен уважать свою свободу и чтить ее не менее, как в ближнем, как в целом народе. Если вы в этом убеждены, то вы согласитесь, что остаться теперь здесь — мое право, мой долг; это единственный протест, который может у нас сделать личность, эту жертву она должна принести своему человеческому достоинству. Ежели вы назовете мое удаление бегством и извините меня только вашей любовью, это будет значить, что *вы* еще не совершенно свободны.

Я все знаю, что можно возразить с точки зрения романтического патриотизма и гражданской натянутости; но я не могу допустить этих староверческих воззрений; я их пережил, я вышел из них и именно против них борюсь. Эти подогретые остатки римских и христианских воспоминаний мешают больше всего водворению истинных понятий о свободе, — понятий здоровых, ясных, возмужалых. По счастью, в Европе нравы и долгое развитие восполняют долею нелепые теории и нелепые законы. Люди, живущие здесь, живут на почве, удобренной двумя цивилизациями*; путь, пройденный их пред-

ками в продолжение двух с половиною тысячелетий, не был напрасен, много человеческого выработалось независимо от внешнего устройства и официального порядка.

В самые худшие времена европейской истории мы встречаем некоторое уважение к личности, некоторое признание независимости — некоторые права, уступаемые таланту, гению. Несмотря на всю гнусность тогдашних немецких правительств, Спинозу не послали на поселение, Лессинга не секли или не отдали в солдаты. В этом уважении не к одной материальной, но и к нравственной силе, в этом невольном признании личности — один из великих человеческих принципов европейской жизни.

В Европе никогда не считали преступником живущего за границей и изменником переселяющегося в Америку.

У нас нет ничего подобного. (У нас лицо всегда было подавлено, поглощено, но стремилось даже выступить. Свободное слово у нас всегда считалось за дерзость, самобытность — за крамолу; человек пропадал в государстве, распускался в общине. Переворот Петра I заменил устарелое, помещичье управление Русью — европейским канцелярским порядком; все, что можно было переписать из шведских и немецких законодательств, все, что можно было перенести из муниципально-свободной Голландии в страну общинно-самодержавную, все было перенесено; но неписанное, нравственно обуздывавшее власть, инстинктуальное признание прав лица, прав мысли, истины не могло перейти и не перешло. Рабство у нас увеличилось с образованием; государство росло, улучшалось, но лицо не выигрывало; напротив, чем сильнее становилось государство, тем слабее лицо. Европейские формы администрации и суда, военного и гражданского устройства развились у нас в какой-то чудовищный, безвыходный деспотизм.)

Если б Россия не была так пространна, если б чужеземное устройство власти не было так смутно устроено и так беспорядочно выполнено, то без преувеличения можно сказать, что в России нельзя бы было жить ни одному человеку, понимающему сколько-нибудь свое достоинство.

Избалованность власти, не встречавшей никакого противодействия, доходила несколько раз до необузданности, не

имеющей ничего себе подобного ни в какой истории. Вы знаете меру ее из рассказов о поэте своего ремесла, императоре Павле. Отнимите капризное, фантастическое у Павла, и вы увидите, что он вовсе не оригинален, что принцип, вдохновлявший его, один и тот же не только во всех царствованиях, но в каждом губернаторе, в каждом квартальном, в каждом помещике. Опыянение самовластья овладевает всеми степенями знаменитой иерархии в четырнадцать ступеней. Во всех действиях власти, во всех отношениях высших к низшим проглядывает нахальное бесстыдство, наглое хвастовство своей безответственностью, оскорбительное сознание, что лицо все вынесет: тройной набор, закон о заграничных видах*, исправительные розги в инженерном институте*. Так, как Малороссия выцесла крепостное состояние в XVIII веке; так, как вся Русь, наконец, поверила, что людей можно продавать и перепродавать, и никогда никто не спросил, на каком законном основании все это делается, — ни даже те, которых продавали. Власть у нас увереннее в себе, свободнее, нежели в Турции, нежели в Персии, ее ничего не останавливает, никакое прошедшее; от своего она отказалась, до европейского ей дела нет; народность она не уважает, общечеловеческой образованности не знает, с настоящим — она борется. Прежде, по крайней мере, правительство стыдилось соседей, училось у них, теперь оно считает себя призванным служить примером для всех притеснителей; теперь оно поучает;

Мы с вами видели самое страшное развитие императорства. Мы выросли под террором, под черными крыльями тайной полиции, в ее когтях; мы изуродовались под безнадежным гнездом и уцелели кой-как. Но не мало ли этого? не пора ли развязать себе руки и слово для действия, для примера, не пора ли разбудить дремлющее сознание народа? А разве можно будить, говоря шепотом, дальними намеками, когда крик и прямое слово едва слышны? Открытые, откровенные действия необходимы; 14-е декабря так сильно потрясло всю молодую Русь оттого, что оно было на Исаакиевской площади. Теперь не только площадь, но книга, кафедра — все стало невозможно в России. Остается личный труд в тиши или личный протест издали;

Я остаюсь здесь не только потому, что мне противно, переезжая через границу, снова надеть колодки, но для того, чтоб

СЪ ТОГО БЕРЕГА

ИСКАНДЕРА.

ЛОНДОНЪ

TRÜBNER & Co., 12, PATERNOSTER ROW;
POLISH LIBRARY, 10, GREEK STREET, SOHO;
ВОЛЬНАЯ РУССКАЯ КНИГОПЕЧАТНЯ,
82, JUDD STREET, BRUNSWICK SQUARE.

—
1855.

работать. Жить сложа руки можно везде; здесь мне нет другого дела, кроме *нашего* дела.

Кто больше двадцати лет пронесил в груди своей одну мысль, кто страдал за нее и жил ею, скитался по тюрьмам и ссылкам, кто ею приобрел лучшие минуты жизни, самые светлые встречи, тот ее не оставит, тот ее не приведет в зависимость внешней необходимости и географическому градусу широты и долготы. Совсем напротив, я здесь полезнее, я здесь бесценная речь ваша, ваш свободный орган, ваш случайный представитель.

Все это кажется новым и странным только нам, в сущности, тут ничего нет беспримерного. Во всех странах, при начале переворота, когда мысль еще слаба, а материальная власть необузданна, люди преданные и деятельные отъезжали, их свободная речь раздавалась издали, и самое это *издали* придавало словам их силу и власть, потому что за словами виднелись действия, жертвы. Мощь их речей росла с расстоянием, как сила вержения растет в камне, пущенном с высокой башни. Эмиграция — первый признак приближающегося переворота.

Для русских за границей есть еще другое дело. Пора действительно знакомить Европу с Русью. Европа нас не знает; она знает наше правительство, наш фасад и больше ничего; для этого знакомства обстоятельства превосходны, ей теперь как-то не идет гордиться и величаво завертываться в мантию пренебрегающего незнания; Европе не к лицу *das vornehme Ignorieren*¹ России с тех пор, как она испытала мещанское самодержавие и алжирских казаков, с тех пор, как от Дуная до Атлантического океана она побывала в осадном положении, с тех пор, как тюрьмы, галеры полны гонимых за убеждения... Пусть она узнает ближе народ, которого отроческую силу она оценила в бое, где он остался победителем; расскажем ей об этом мощном и неразгаданном народе, который втихомолку образовал государство в шестьдесят миллионов, который так крепко и удивительно разросся, не утратив общинного начала, и первый перенес его через начальные перевороты государственного развития; об народе, который как-то чудно умел

¹ высокомерное игнорирование (нем.). — *Ред.*

сохранить себя под игом монгольских орд и немецких бюрократов, под капральской палкой казарменной дисциплины и под позорным кнутом татарским; который сохранил величавые черты, живой ум и широкий разгул богатой природы под гнетом крепостного состояния и в ответ на царский приказ образоваться — ответил через сто лет громадным явлением Пушкина. Пусть узнают европейцы своего соседа, они его только боятся, надобно им знать, чего они боятся.

До сих пор мы были непростительно скромны и, сознавая свое тяжкое положение бесправия, забывали все хорошее, полное надежд и развития, что представляет наша народная жизнь. Мы дождались пемца для того, чтоб рекомендоваться Европе*. — Не стыдно ли?

Успею ли я что сделать?.. Не знаю, — надеюсь!

Итак, прощайте, друзья, надолго... давайте ваши руки, вашу помощь, мне нужно и то и другое. А там кто знает, чего мы не видали в последнее время! Быть может, и *не так далек*, как кажется, тот день, в который мы соберемся, как бывало, в Москве и безбоязненно сдвинем наши чаши при крике: «*За Русь и святую волю!*»

Сердце отказывается верить, что этот день не придет, замирает при мысли вечной разлуки. Будто я не увижу эти улицы, по которым я так часто ходил, полный юношеских мечтаний; эти дома, так сроднившиеся с воспоминаниями, наши русские деревни, наших крестьян, которых я вспоминал с любовью на самом юге Италии?.. Не может быть! — Ну, а если? — Тогда я завещаю мой тост моим детям и, умирая на чужбине, сохраню веру в будущность русского народа и благословлю его из дали моей добровольной ссылки!





ПЕРЕД ГРОЗОЙ

(РАЗГОВОР НА ПАЛУБЕ*)

Ist's denn so großes Geheimnis was Gott und der
Mensch und die Welt sei?
Nein, doch niemand hört's gerne, da bleibt es geheim¹.*

Goethe.

...Я согласен, что в вашем взгляде много смелости, силы, правды, много юмору даже; но принять его не могу; может, это дело организации, нервной системы. У вас не будет последователей, пока вы не научитесь перемещать крови в жилах.

— Быть может. Однако мой взгляд начинает вам нравиться, вы отыскиваете физиологические причины, обращаетесь к природе.

— Только наверное не для того, чтоб успокоиться, отделаться от страданий, смотреть в безучастном созерцании с высоты олимпийского величия, как Гёте, на тревоженный мир и любоваться брожением этого хаоса, бессильно стремящегося установиться.

— Вы становитесь злы, но ко мне это не относится; если я старался уразуметь жизнь, у меня в этом не было никакой цели, мне хотелось что-нибудь узнать, мне хотелось заглянуть подалее; все слышанное, читанное не удовлетворяло, не объясняло, а, напротив, приводило к противуречиям или к недостоям. Я не искал для себя ни утешения, ни отчаяния, и это потому, что был молод; теперь я всякое мимолетное утешение, всякую минуту радости ценю очень дорого, их остается все меньше и меньше. Тогда я искал только истины, сильного

¹ Столь ли великая тайна, что такое бог, человек и мир? Нет, но никто не любит слушать об этом, и это остается тайным! (нем.).— *Ред.*

пониманья; много ли уразумел, много ли понял, не знаю. Не скажу, чтоб мой взгляд был особенно утешителен, но я стал покойнее, перестал сердиться на жизнь за то, что она не дает того, чего не может дать,— вот все выработанное мною.

— Я, с своей стороны, не хочу перестать ни сердиться, ни страдать, это такое человеческое право, что я и не думаю поступиться им; мое негодование — мой протест; я не хочу мириться.

— Да и не с кем. Вы говорите, что вы не хотите перестать страдать; это значит, что вы не хотите принять истины так, как она откроется вашей собственной мыслию,— может, она и не потребует от вас страданий; вы вперед отскакаете от логики, вы предоставляете себе по выбору принимать и отвергать последствия. Помните того англичанина, который всю жизнь не признавал Наполеона императором, что тому не помешало два раза короноваться. В таком упорном желании оставаться в разрыве с миром — не только непоследовательность, но бездна суетности; человек любит эффект, ролю, особенно трагическую; страдать хорошо, благородно, предполагает несчастье. Это еще не всё — сверх суетности тут бездна трусости. Не сердитесь за слово, из-за боязни узнать истину, многие предпочитают страдание — разбору; страдание отвлекает, занимает, утешает... да, да, утешает; а главное, как всякое занятие, оно мешает человеку углубляться в себя, в жизнь. Паскаль говорил, что люди играют в карты для того, чтоб не оставаться с собой наедине*. Мы постоянно ищем таких или других карт, соглашаемся даже проигрывать, лишь бы забыть дело. Наша жизнь — постоянное бегство от себя, точно угрызения совести преследуют, пугают нас. Как только человек становится на свои ноги, он начинает кричать, чтоб не слышать речей, раздающихся внутри; ему грустно — он бежит рассеяться; ему нечего делать — он выдумывает занятие; от ненависти к одиночеству — он дружится со всеми, все читает, интересуется чужими делами, наконец, женится на скорую руку. Тут гавань, семейный мир и семейная война не дадут много места мысли; семейному человеку как-то неприлично много думать; он не должен быть настолько празден. Кому и эта жизнь не удалась, тот напивается допьяна всем на свете —

вином, нумизматикой, картами, скачками, женщинами, скупостью, благодеяниями; ударяется в мистицизм, идет в иезуиты, налагает на себя чудовищные труды, и они ему все-таки легче кажутся, нежели какая-то угрожающая истина, дремлющая внутри его. В этой боязни исследовать, чтоб не увидеть вздор исследуемого, в этом искусственном недосуге, в этих поддельных несчастьях, усложняя каждый шаг вымышленными путями, мы проходим по жизни спросонья и умираем в чаду нелепости и пустяков, не пришедши путем в себя. Престранное дело: во всем, не касающемся внутренних, жизненных вопросов, люди умны, смелы, проницательны; они считают себя, например, посторонними природе и изучают ее добросовестно; тут другая метода, другой прием. Не жалко ли так бояться правды, исследования? Положим, что много мечтаний поблекнут, будет не легче, а тяжелее — все же правственнее, достойнее, мужественнее не рбячиться. Если б люди смотрели друг на друга, как смотрят на природу, смеясь сошли бы они с своих пьдесталей и курульных кресел, взглянули бы на жизнь проще, перестали бы выходить из себя за то, что жизнь не исполняет их гордые приказы и личные фантазии. Вы, например, ждали от жизни совсем не то, что она вам дала; вместо того, чтоб оценить то, что она вам дала, вы негодуете на нее. Это негодование, пожалуй, хорошо, — острая закваска, влекущая человека вперед, к деятельности, к движению; но ведь это один начальный толчок, нельзя же только негодовать, проводить всю жизнь в оплакивании неудач, в борьбе и досаде. Скажите откровенно: чем вы искали убедиться, что требования ваши истинны?

— Я их не выдумывал, они невольно родились в моей груди; чем больше я размышлял об них потом, тем яснее раскрывалась мне их справедливость, их разумность — вот мои доказательства. Это вовсе не уродство, не помешательство; тысячи других, все наше поколение страдает почти так же, больше или меньше, смотря по обстановке, по степени развития — и тем больше, чем больше развития. Повсюдная скорбь — самая резкая характеристика нашего времени; тяжелая скука налегла на душу современного человека, сознание нравственного бессилия его томит, отсутствие доверия к чему бы то ни

было старит его прежде времени. Я на вас смотрю как на исключение, да и, сверх того, ваше равнодушие мне подозрительно, оно сбивается на охладившееся отчаяние, на равнодушие человека, который потерял не только надежду, но и безнадежность; это неестественный покой. Природа, истинная во всем, что делает, как вы повторяли несколько раз, должна быть истинна и в этом явлении скорби, тягости, всеобщность его дает ему некоторое право. Сознайтесь, что именно с вашей точки зрения довольно трудно возражать на это.

— На что же непременно возражать; я ничего лучше не прошу, как соглашаться с вами. Тягостное состояние, о котором вы говорите, очевидно и, конечно, имеет право на историческое оправдание и еще более на то, чтоб сыскать выход из него. Страдание, боль — это вызов на борьбу, это сторожевой крик жизни, обращающий внимание на опасность. Мир, в котором мы живем, умирает, т. е. те формы, в которых проявляется жизнь; никакие лекарства не действуют более на обветшалое тело его; чтоб легко вздохнуть наследникам, надобно его похоронить, а люди хотят непременно его вылечить и задерживают смерть. Вам, верно, случалось видеть удручающую грусть, томительную, тревожную неизвестность, которая распространяется в доме, где есть умирающий; отчаяние усиливается надеждой, нервы у всех натянуты, здоровые больны, дела не идут. Смерть больного облегчает душу оставшихся; льются слезы, но нет более убийственного ожидания, несчастье перед глазами, во весь рост, безвозвратное, отрезавшее все надежды, и жизнь начинает врачевать, примирять, брать новый оборот. Мы живем во время большой и трудной агонии, это достаточно объясняет нашу тоску. К тому же предшествовавшие века особенно воспитали в нас грусть, болезненное томление. Три столетия тому назад все простое, здоровое, жизненное было еще подавлено; мысль едва осмеливалась поднимать свой голос, ее положение было похоже на положение жидов в средних веках, лукавое по необходимости, рабское, озирающееся. Под этими влияниями сложился наш ум, он вырос, возмужал внутри этой нездоровой сферы; от католического мистицизма он естественно перешел в идеализм и сохранил боязнь всего естественного, угрызения обманутой совести, притязания на

невозможные блага; он остался при разладе с жизнью, при романтической тоске, он воспитал себя в страдания и разорванность. Давно ли мы, застрашенные с детства, перестали отказываться от самых невинных побуждений? давно ли мы перестали содрогаться, находя внутри своей души страстные порывы, не взошедшие в каталог романтического тарифа? Вы давеча сказали, что мучащие вас требования развились естественно; оно и так и нет — все естественно, золотуха очень естественно происходит от дурного питания, от дурного климата, но мы ее все же считаем чем-то чужим организму. Воспитание поступает с нами, как отец Аннибала с своим сыном. Оно берет обет прежде сознания*, опутывает нас нравственной кабалой, которую мы считаем обязательною по ложной деликатности, по трудности отделаться от того, что привито так рано, наконец, от лени разобрать, в чем дело. Воспитание нас обманывает прежде, нежели мы в состоянии понимать, уверяет в невозможном детей, отрезывает им свободное и прямое отношение к предмету. Подрастая, мы видим, что ничто не ладится, ни мысль, ни быт; что то, на что нас учили опираться, — гнило, хрупко, а от чего предостерегали, как от яду, — целебно; забитые и одураченные, приученные к авторитету и указке, мы выходим с годами на волю, каждый своими силами добивается до истины, борясь, ошибаясь. Томимые желанием знать, мы подслушиваем у дверей, стараемся разглядеть в щель; кривя душой, притворяясь, мы считаем правду за порок и презрение ко лжи за дерзость. Мудрено ли после этого, что мы не умеем уладить ни внутреннего, ни внешнего быта, лишнее требуем, лишнее жертвуем, пренебрегаем возможным и негодуем за то, что невозможное нами пренебрегает; возмущаемся против естественных условий жизни и покоряемся произвольному вздору. Вся наша цивилизация такова, она выросла в нравственном междуусобии; вырвавшись из школ и монастырей, она не вышла в жизнь, а прошлась по ней, как Фауст, чтоб посмотреть, порефлексировать и потом удалиться от грубой толпы в гостиницы, в академию, в книги. Она совершила весь свой путь с двумя знаменами в руках; «романтизм для сердца» было написано на одном, «идеализм для ума» — на другом. Вот откуда идет большая доля неустройства в нашей жизни. Мы не

любим простого, мы не уважаем природу по преданию, хотим распоряжаться ею, хотим лечить заговориванием и удивляемся, что больному не лучше; физика нас оскорбляет своей независимой самобытностью, нам хочется алхимии, магии; а жизнь и природа равнодушно идут своим путем, покоряясь человеку по мере того, как он выучивается действовать их же средствами.

— Вы, кажется, меня считаете немецким поэтом, и то еще прошлой эпохи, которые сердились за то, что у них есть тело, за то, что они едят, и искали неземных дев, «иную природу, другого солнца»*. Мне не хочется ни магии, ни мистерии, а просто выйти из того состояния души, которое вы сейчас представили в десять раз резче меня; выйти из нравственного бессилия, из жалкой неприлагаемости убеждений, из хаоса, в котором, наконец, мы перестали понимать, кто враг и кто друг: мне противно видеть, куда ни обернусь, или пытаемых, или пытающих. Какое колдовство нужно на то, чтоб растолковать людям, что они сами виноваты в том, что им так скверно жить, объяснить им, например, что не надобно грабить нищего, что противно объедаться возле умирающего с голоду, что убийство равно отвратительно ночью на большой дороге тайком и днем открыто на большой площади при барабанном бое; что одно говорить, а другое делать — подло... словом, все те новые истины, которые говорят, повторяют, печатают со времен семи греческих мудрецов*, — да и тогда, я думаю, они уже были очень стары. Моралисты, попы гремят с кафедр, толкуют о нравственности, о грехах, читают евангелие, читают Руссо — никто не возражает, и никто не исполняет.

— По совести, жалеть об этом нечего. Все эти учения и проповеди по большей части неверны, неудобоисполнимы и сбивчивее простого обычного быта. Беда в том, что мысль забегает всегда далеко вперед, народы не поспевают за своими учителями; возьмите наше время, несколько человек коснулись переворота, который совершить не в силах ни они сами, ни народы. Передовые думали, что стоит сказать: «Брось одр твой и иди за нами» — все и двинется; они ошиблись, народ их так же мало знал, как они его, им не поверили. Не замечая, что за ними никого нет, эти люди предводительствовали, шли

вперед; спохватившись, они стали кричать отставшим, махать звать их, осыпать упреками, — но поздно, слишком далеко, голоса недостает, да и язык их не тот, которым говорят массы. Нам больно сознаться, что мы живем в мире, выжившем из ума, дряхлом, истощенном, у которого явным образом недостает силы и поведения, чтоб подняться на высоту собственной мысли; нам жаль старый мир, мы к нему привыкли, как к родительскому дому, мы поддерживаем его, стараясь его разрушить, и прилаживаем к своим убеждениям его неспособные формы, не видя, что первая йота их — его смертный приговор. Мы носим платья, шитые не по нашей мерке, а по мерке наших прадедов, мозг наш образовался под влиянием предшествующих обстоятельств, он многого не осиливает, многое видит под ложным углом. Люди с таким трудом добились до современного быта, он им кажется такою счастливой пристанью после безумия феодализма и тупого гнета, следовавшего за ним, что они боятся изменять его, они отяжелели в его формах, обжились в них, привычка заменила привязанность, горизонт сжался... размах мысли сделался мал, воля ослабла.

— Прекрасная картина; добавьте, что возле этих удовлетворенных, которым современный порядок по плечу, с одной стороны бедный, неразвитый народ, одичалый, отсталый, голодный, в безвыходной борьбе с нуждой, в изнуряющей работе, которая не может его пропитать; а с другой — мы, неосторожно забежавшие вперед, землемеры, вбивающие вежи нового мира, — и которые никогда не увидим даже выведенного фундамента. От всех упований, от всей жизни, которая прошла между рук (да еще как прошла), если что-нибудь осталось, то это вера в будущее; когда-нибудь, долго после нашей смерти, дом, для которого мы расчистили место, выстроится, и в нем будет удобно и хорошо — другим.

— Впрочем, нет причины думать, что новый мир будет строиться по нашему плану...

... Молодой человек сделал недовольное движение головой и посмотрел с минуту на море — совершеннейший штиль продолжался; тяжелая туча едва двигалась над головами, так низко, что дым парохода, стелясь, мешался с ней, — море было черно, воздух не освежал.

— Вы со мною поступаете, — сказал он, помолчав, — так, как разбойники с путешественниками; ограбивши у меня все, вам кажется еще мало, вы добираетесь до последнего рубища, которое меня предохраняет от стужи, до моих волос; вы заставили меня сомневаться в многом, у меня оставалось будущее — вы отнимаете его, вы грабите мои надежды, вы убиваете сны, как Макбет*.

— А я думал, что я больше похож на хирурга, который вырезывает дикое мясо.

— Пожалуй, это еще лучше, хирург отрезывает большую часть тела, не замечая ее здоровой.

— И по дороге спасает человека, освобождая его от тяжелых уз застарелой болезни.

— Знаем мы ваше освобождение. Вы отворяете двери темницы и хотите вытолкнуть колодника в степь, уверяя его, что он свободен; вы ломаете Бастилью, но не воздвигаете ничего в замену острога, остается одно пустое место.

— Это было бы чудесно, если б было так, как вы говорите: худо то, что развалины, мусор мешают на каждом шагу.

— Чему мешают? Где, в самом деле, наше призвание, где наше знамя? во что мы верим, во что не верим?

— Верим во все, не верим в себя; вы ищете найти знамя, а я ищу потерять его; вы хотите указку, а мне кажется, что в известный возраст стыдно читать с указкой. Вы сейчас сказали, что мы вбиваем вежи новому миру...

— И их вырывает из земли дух отрицания и разбора. Вы несравненно мрачнее меня смотрите на мир и утешаете только для того, чтоб еще ужаснее выразить современную тягость. Если и будущее не наше, тогда вся наша цивилизация — ложь. мечта пятнадцатилетней девочки, над которой она сама смеется в двадцать пять лет; наши труды — вздор, наши усилия смешны, наши упования похожи на ожидания дунайского мужика*. Впрочем, может быть, вы то и хотите сказать, чтоб мы бросили нашу цивилизацию, отказались от нее, воротились бы к оставшим.

— Нет, отказаться от развития невозможно. Как сделать, чтоб я не знал того, что знаю? Наша цивилизация — лучший цвет современной жизни, кто же поступится своим развитием?

Но какое же это имеет отношение к осуществлению наших идеалов, где лежит необходимость, чтобы будущее разрывало нами придуманную программу?

— Стало быть, наша мысль привела нас к несбыточным надеждам, к нелепым ожиданиям; с ними, как с последним плодом наших трудов, мы захвачены волнами на корабле, который тонет. Будущее не наше, в настоящем нам нет дела; спастись некуда, мы с этим кораблем связаны на живот и на смерть, остается сложа руки ждать, пока вода зальет, — а кому скучно, кто поотважнее, тот может броситься в воду.

...Le monde fait naufrage,
Vieux bâtiment, usé par tous les flots,
Il s'engloutit — sauvons-nous à la nage!^{1*}

— Я ничего лучше не прошу, но только есть разница между спастись вплавь и топиться. Судьба молодых людей, которых вы напомнили этой беснью, страшна; сугубые страдальцы, мученики без веры, смерть их пусть падет на страшную среду, в которой они жили, пусть обличает ее, позорит; но кто же вам сказал, что нет другого выхода, другого спасения из этого мира старчества и агонии — как смерть? Вы оскорбляете жизнь. Оставьте мир, к которому вы не принадлежите, если вы действительно чувствуете, что он вам чужд. Его не спасем — спасите себя от угрожающих развалин; спасая себя, вы спасете будущее. Что вы имеете общего с этим миром — его цивилизацию? Но ведь она теперь принадлежит вам, а не ему, он произвел ее, или, лучше сказать, из него произвели ее, он не грешен даже в понимании ее; его образ жизни — он вам ненавистен, да и, по правде, трудно любить такую нелепость. Ваши страдания — он и не подозревает; ваши радости ему незнакомы; вы молоды — он стар; посмотрите, как он осунулся в своей изношенной, аристократической ливрее, особенно после тридцатого года, лицо его подернулось матовой землистостью. Это *facies hypocratica*², по которой доктора

¹ Б е р а н ж е — на смерть Деку и Лебрю. <Мир терпит крушение; как ветхий корабль, истрепанный волнами, он поглощается пучиною — давайте спастись вплавь! (франц.)>

² гиппократово лицо (лат.). — *Ред.*

узнают, что смерть уже занесла косу. Бессильно усиливается он иногда еще раз схватить жизнь, еще раз овладеть ею, отделаться от болезни, насладиться — не может и впадает в тяжкий, горячечный полусон. Тут толкуют о фаланстерах, демократиях, социализме, он слушает и ничего не понимает — иногда улыбается таким речам, покачивая головою и вспоминая мечты, которым и он верил когда-то, потом взошел в разум и давно не верит... Оттого-то он старчески равнодушно смотрит на коммунистов и иезуитов, на пасторов и якобинцев, на братьев Ротшильд и на умирающих с голоду; он смотрит на все несущееся перед глазами, — сжавши в кулак несколько франков, за которые готов умереть или сделаться убийцей. Оставьте старика доживать как знает свой век в богадельне, вы для него ничего не сделаете.

— Это не так легко, не говоря о том, что оно противно, — куда бежать? Где эта новая Пенсильвания, готовая?..

— Для старых построек из нового кирпича? Вильям Пенн вез с собою старый мир на новую почву; Северная Америка — исправленное издание прежнего текста, не более. А христиане в *Риме* перестали быть римлянами — этот внутренний отъезд полезнее.

— Мысль сосредоточиться в себе, оторвать пуповину, связующую нас с родиной, с современностью, проповедуется давно, но плохо осуществляется; она является у людей после всякой неудачи, после каждой утраченной веры, на ней опирались мистики и масоны, философы и иллюминаты; все они указывали на внутренний отъезд — никто не уехал. Руссо? — и тот отворачивался от мира; страстно любя его, он отрывался от него — потому что не мог быть без него. Ученики его продолжали его жизнь в Конвенте*, боролись, страдали, казнили других, снесли свою голову на плаху, но не ушли ни вон из Франции, ни вон из кипевшей деятельности.

— Их время несколько не было похоже на наше. У них впереди было бездна упований. Руссо и его ученики воображали, что если их идеи братства не осуществляются, то это от материальных препятствий — там сковано слово, тут действие не вольно — и они, совершенно последовательно, шли грудью против всего мешавшего их идее; задача была страшная, ги-

гантская, но они победили. Победивши, они думали: вот теперь-то... но теперь-то их повели на гильотину, и это было самое лучшее, что могло с ними случиться: они умерли с полной верой, их унесла бурная волна среди битвы, труда, опьянения; они были уверены, что, когда возвратится тишина, их идеал осуществится без них, но осуществится. Наконец этот штиль пришел. Какое счастье, что все эти энтузиасты давно были схоронены! Им бы пришлось увидеть, что дело их не подвинулось ни на вершок, что их идеалы остались идеалами, что недостаточно разобрать по камешку Бастилью, чтоб сделать колодников свободными людьми. Вы сравниваете нас с ними, забывая, что мы знаем события пятидесяти лет, прошедших после их смерти, что мы были свидетелями, как все упования теоретических умов были осмеяны, как демоническое начало истории нахоталось над их наукой, мыслию, теорией, как оно из республики сделало Нанолсона, из революции 1830 г. биржевой оборот*. Свидетели всего бывшего, мы не можем иметь надежды наших предшественников. Глубже изучивши революционные вопросы, мы требуем теперь и больше и шире того, что они требовали, а их-то требования остались тою же неприлагаемостью, как были. С одной стороны, вы видите логическую последовательность мысли, ее успех; с другой — полное бессилие ее над миром — глухим, немым, бессильным схватить мысль спасения так, как она высказывается ему, — потому ли, что она дурно высказывается, или потому, что имеет только теоретическое, книжное значение, как, например, римская философия, не выходявшая никогда из небольшого круга образованных людей.

— Но кто же, по-вашему, прав — мысль ли теоретическая, которая точно так же развилась и сложилась исторически, но сознательно, или факт современного мира, отвергающий мысль и представляющий, так же, как она, необходимый результат прошедшего?

— Оба совершенно правы. Вся эта запутанность выходит из того, что жизнь имеет свою эмбриогению, не совпадающую с диалектикой чистого разума. Я помянул древний мир, вот вам пример: вместо того, чтоб осуществлять республику Платона и политику Аристотеля, он осуществляет римскую

республику и политику их завоевателей; вместо утопий Цицерона и Сенеки — Лангобардские графства и германское право.

— Не пророчите ли вы и нашей цивилизации такую же гибель, как римской? — утешительная мысль и прекрасная перспектива...

— Не прекрасная и не дурная. Отчего вас удивляет мысль, которая до пошлости известна, что все на свете преходяще? Впрочем, цивилизации не гибнут, пока род человеческий продолжает жить без совершенного перерыва, — у людей память хороша; разве римская цивилизация не жива для нас? А она точно так же, как наша, вытянулась далеко за пределы окружавшей жизни; именно от этого она с одной стороны и расцвела так пышно, так великолепно, а с другой не могла фактически осуществиться. Она принесла свое миру современному, она приносит многое нам, но ближайшее будущее Рима прозябало на других пажитях — в катакомбах, где прятались гонимые христиане, в лесах, где кочевали дикие германы.

— Как же это в природе все так целесообразно, а цивилизация, высшее усилие, венец эпохи, выходит беспечно из нее, выпадает из действительности и увядает наконец, оставляя по себе неполное воспоминание? — Между тем человечество отступает назад, бросается в сторону и начинает сызнова тянуться, чтоб окончить таким же махровым цветом — пышным, но лишенным семян... В вашей философии истории есть что-то возмущающее душу — для чего эти усилия? — жизнь народов становится праздной игрой, лепит, лепит по песчине, по камешку, а тут опять все рухнет наземь, и люди ползут из-под развалин, начинают снова расчищать место да строить хижины из мха, досок и упавших капителей, достигая веками, долгим трудом — падения. Шекспир недаром сказал, что история — скучная сказка, рассказанная дураком*.

— Это уж такой печальный взгляд у вас. Вы похожи на тех монахов, которые при встрече ничего лучшего не находят сказать друг другу, как мрачное *memento mori*¹, или на тех

¹ помни о смерти (лат.). — *Ред.*

чувствительных людей, которые не могут вспомнить без слез, что «люди рождаются для того, чтоб умереть». Смотреть на конец, а не на самое дело — величайшая ошибка. На что растению этот яркий, пышный венчик, на что этот упоительный запах, который пройдет совсем ненужно? Но природа вовсе не так скупа и не так пренебрегает мимоидущим, настоящим, она на каждой точке достигает всего, чего может достигнуть, идет донельзя, до запаха, до наслаждения, до мысли... до того, что разом касается до пределов развития и до смерти, которая осаживает, умеряет слишком поэтическую фантазию и необузданное творчество ее. Кто же станет негодовать на природу за то, что цветы утром распускаются, а вечером вянут, что она розе и лилее не умеет придавать прочности кремня? И этот-то бедный, прозаический взгляд мы хотим перенести в исторический мир! Кто ограничил цивилизацию одним прилагаемым? — где у нее забор? Она бесконечна, как мысль, как искусство, она чертит идеалы жизни, она мечтает апотеозу своего собственного быта, но на жизни не лежит обязанность исполнять ее фантазии и мысли, тем более что это было бы только улучшенное издание того же, а жизнь любит новое. Цивилизация Рима была гораздо выше и человечественнее, нежели варварский порядок; но в его нестройности были зародыши развития тех сторон, которых вовсе не было в римской цивилизации, и варварство восторжествовало, несмотря ни на *Corpus juris civilis*¹, ни на мудрое воззрение римских философов. Природа рада достигнутому и домогается высшего; она не хочет обижать существующее; пусть оно живет, пока есть силы, пока новое подрастает. Вот отчего так трудно произведения природы вытянуть в прямую линию, природа ненавидит фронт, она бросается во все стороны и никогда не идет правильным маршем вперед. Дикие германцы были в своей непосредственности, *potentialiter*², выше образованных римлян.

— Я начинаю подозревать, что вы поджидаете нашествие варваров и переселение народов.

— Я гадать не люблю. Будущего нет, его образует сово-

¹ Свод гражданских законов (лат.). — *Ред.*

² потенциально (лат.). — *Ред.*

купность тысячи условий, необходимых и случайных, да воля человеческая, придающая неожиданные драматические развязки и *cours de théâtre*¹. История импровизируется, редко повторяется, она пользуется всякой нечаянностью, стучится разом в тысячу ворот... которые отпрутятся... кто знает?

— Может, бальтийские — и тогда Россия хлынет на Европу?

— Может быть.

— И вот мы, долго мудрствуя, пришли опять к беличьему колесу, опять к *corsi* и *ricorsi* старика Вико*. Опять возвратились к Рее, беспрерывно рождающей в страшных страданиях детей, которыми закусывает Сатурн. Рея только стала добросовестна и не подменивает поворожденных камнями, да и не стоит труда, в числе их нет ни Юпитера, ни Марса*... Какая цель всего этого? Вы обходите этот вопрос, не решая его; стоит ли детям родиться для того, чтоб отец их съел, да вообще стоит ли игра свеч?

— Как не стоит! тем более что не вы за них платите. Вас смущает, что не все игры доигрываются, но без этого они были бы нестерпимо скучны. Гёте давным-давно толковал, что красота проходит, потому что только преходящее и может быть красиво,—это обижает людей*. У человека есть инстинктивная любовь к сохранению всего, что ему нравится; родился — так хочет жить во всю вечность; влюбился — так хочет любить и быть любимым во всю жизнь, как в первую минуту признания. Он сердится на жизнь, видя, что в пятьдесят лет нет той свежести чувств, той звонкости их, как в двадцать. Но такая неподвижная стоячесть противна духу жизни,—она ничего личного, индивидуального не готовит впрок,—она всякий раз вся изливается в настоящую минуту и, наделяя людей способностью наслаждения насколько можно, не боится ни жизни, ни наслаждения, не отвечает за их продолжение. В этом беспрерывном движении всего живого, в этих повсюдных переменах природа обновляется, живет, ими она вечно молода. Оттого каждый исторический миг полон, замкнут по-своему, как всякий год с весной и летом, с зимой и осенью, с бурями

¹ театральные эффекты (франц.).—Ред.

и хорошей погодой. Оттого каждый период нов, свеж, исполнен своих надежд, сам в себе носит свое благо и свою скорбь, настоящее принадлежит ему, но людям этого мало, им хочется, чтоб и будущее было их.

— Человеку больно, что он и в будущем не видит пристани, к которой стремится. Он с тоскливым беспокойством смотрит перед собою на бесконечный путь и видит, что так же далек от цели, после всех усилий, как за тысячу лет, как за две тысячи лет.

— А какая цель песни, которую поет певица?.. звуки, звуки, вырывающиеся из ее груди, звуки, умирающие в ту минуту, как раздались. Если вы, кроме наслаждения ими, будете искать что-нибудь, выждать иной цели, вы дождетесь, когда канта-трпса перестанет петь, и у вас останется воспоминание и раскаяние, что вместо того, чтоб слушать, вы ждали чего-то... Вас сбивают категории, которые дурно уловляют жизнь. Вы подумайте порядком: что эта цель — программа, что ли, или приказ? Кто его составил, кому он объявлен, обязателен он или нет? Если да, — то что мы, куклы или люди, в самом деле, нравственно свободные существа или колеса в машине? Для меня легче жизнь, а следственно, и историю, считать за достигнутую цель, нежели за средство достижения.

— То есть, просто, цель природы и истории — мы с вами?..

— Отчасти, да *плюс* настоящее всего существующего; тут все входит: и наследие всех прошлых усилий, и зародыши всего, что будет; вдохновение артиста, и энергия гражданина, и наслаждение юноши, который в эту самую минуту пробирается где-нибудь к заветной беседке, где его ждет подруга, робкая и отдающаяся вся настоящему, не думая ни о будущем, ни о цели... и веселье рыбы, которая плещется вот на месячном свете... и гармония всей солнечной системы... словом, как после феодальных титулов, я смело могу поставить три «и прочая... и прочая»...

— Вы совершенно правы относительно природы, но, мне кажется, вы забыли, что через все изменения и спутанности истории прошла красная нитка, связующая ее в одно целое, эта нитка — прогресс, или, может быть, вы не принимаете и прогресс?

— Прогресс — неотъемлемое свойство сознательного развития, которое не прерывалось; это деятельная память и физиологическое усовершенствование людей общественной жизнью.

— Неужели вы тут не видите цели?

— Совсем напротив, я тут вижу последствие. Если прогресс — цель, то для кого мы работаем? кто этот Молох, который, по мере приближения к нему тружеников, вместо награды пятится и, в утешение изнуренным и обреченным на гибель толпам, которые ему кричат: «Morituri te salutant»¹*, только и умеет ответить горькой насмешкой, что после их смерти будет прекрасно на земле? Неужели и вы обрекаете современных людей на жалкую участь кариадид, поддерживающих террасу, на которой когда-нибудь другие будут танцевать... или на то, чтоб быть несчастными работниками, которые, по колено в грязи, тащат барку с таинственным руном и с смиренной надписью «Прогресс в будущем» на флаге? Утомленные падают на дороге, другие с свежими силами принимаются за веревки, а дороги, как вы сами сказали, остается столько же, как при начале, потому что прогресс бесконечен. Это одно должно было насторожить людей; цель, бесконечно далекая, — не цель, а, если хотите, уловка; цель должна быть ближе, по крайней мере — заработная плата или наслаждение в труде. Каждая эпоха, каждое поколение, каждая жизнь имели, имеют свою полноту, по дороге развиваются новые требования, испытания, новые средства, одни способности усовершенствуются на счет других, наконец самое вещество мозга улучшается... что вы улыбаетесь?.. да, да, cerebrin улучшается... Как все естественное становится вам ребром, удивляет вас, идеалистов, точно как некогда рыцари удивлялись, что вилланы хотят тоже человеческих прав! Когда Гёте был в Италии, он сравнивал череп древнего быка с черепом наших быков и нашел, что у нашего кость тоньше, а вместительность больших полушарий мозга пространнее; древний бык был, очевидно, сильнее нашего, а наш развился в отношении к мозгу в своем мирном подчинении человеку. За что же вы считаете человека менее способным к развитию, нежели быка? Этот родовой рост —

¹ «Осужденные на смерть приветствуют тебя» (лат.). — Ред.

не цель, как вы полагаете, а свойство преемственно продолжающегося существования поколений. Цель для каждого поколения — оно само. Природа не только никогда не делает поколений средствами для достижения будущего, но она вовсе об будущем не заботится; она готова, как Клеопатра, распустить в вине жемчужину, лишь бы потешиться в настоящем, у нее сердце баядеры и вакханки.

— И, бедная, не может осуществить своего призвания!.. Вакханка на диете, баядера в трауре!.. В наше время она, право, скорее похожа на кающуюся Магдалину. Или, может, мозг выделался в сторону.

— Вы вместо насмешки сказали вещь, которая гораздо дельнее, нежели вы думаете. Одностороннее развитие всегда влечет за собою avortement¹ других забытых сторон. Дети, слишком развитые в психическом отношении, дурно растут, слабы телом; веками естественного быта мы воспитали себя в идеализм, в искусственную жизнь и разрушили равновесие. Мы были велики и сильны, даже счастливы в нашей отчужденности, в нашем теоретическом блаженстве, а теперь перешли эту степень, и она стала для нас невыносима; между тем разрыв с практическими сферами сделался страшный; виноватых в этом нет ни с той, ни с другой стороны. Природа натянула все мышцы, чтоб перешагнуть в человеке ограниченность зверя; а он так перешагнул, что одной ногой совсем вышел из естественного быта,— сделал он это потому, что он свободен. Мы столько толкуем о воле, так гордимся ею и в то же время досадуем за то, что нас никто не ведет за руку, что оступаемся и несем последствия своих дел. Я готов повторить ваши слова, что мозг выделался в сторону от идеализма, люди начинают замечать это и идут теперь в другую сторону; они вылечатся от идеализма так, как вылечились от других исторических болезней — от рыцарства, от католицизма, от протестантизма...

— Согласитесь, впрочем, что путь развития болезнями и отклонениями — престранный.

— Да ведь путь и не назначен... природа слегка, самыми общими нормами, намекнула свои виды и предоставила все

¹ Здесь: недоразвитость (франц.).— *Ред.*

подробности на волю людей, обстоятельств, климата, тысячи столкновений. Борьба, взаимное действие естественных сил и сил воли, которой следствия нельзя знать вперед, придает поглощающий интерес каждой исторической эпохе. Если бы человечество шло прямо к какому-нибудь результату, тогда истории не было бы, а была бы логика, человечество остановилось бы готовым в непосредственном *statu quo*¹; как животные. Все это, по счастью, невозможно, не нужно и хуже существующего. Животный организм мало-помалу развивает в себе инстинкт, в человеке развитие идет далее... вырабатывается разум, и вырабатывается трудно, медленно,— *его нет* ни в природе, ни вне природы, его надобно достигать, с ним улаживать жизнь как придется, потому что *libretto* нет. А будь *libretto*, история потеряет весь интерес, сделается ненужна, скучна, смешна; горесть Тацита и восторг Колумба* превратятся в шалость, в гаерство; великие люди сойдут на одну доску с театральными героями, которые, худо ли, хорошо ли играют, непременно идут и дойдут к известной развязке. В истории все импровизация, все воля, все *ex tempore*², вперед ни пределов, ни маршрутов нет, есть условия, святое беспокойство, огонь жизни и вечный вызов бойцам пробовать силы, идти вдаль куда хотят, куда только есть дорога, — а где ее нет, там ее сперва проложит гений.

— А если на беду не найдется Колумба?

— Кортес сделает за него. Гениальные натуры почти всегда находятся, когда их нужно; впрочем, в них нет необходимости, народы дойдут после, дойдут иной дорогой, более трудной; гений — роскошь истории, ее поэзия, ее *coup d'Etat*³, ее скачок, торжество ее творчества.

— Все это хорошо, но, мне кажется, при такой неопределенности, распушенности история может продолжаться во веки веков или завтра закончиться.

— Без сомнения. Со скуки люди не умрут, если род человеческий очень долго заживется; хотя, вероятно, люди и натолкнутся на какие-нибудь пределы, лежащие в самой природе

¹ существующем положении (лат.).— *Ред.*

² тотчас, без приготовления (лат.).— *Ред.*

³ государственный переворот (франц.).— *Ред.*

человека, на такие физиологические условия, которых нельзя будет перейти, оставаясь человеком; но, собственно, недостатка в деле, в занятиях не будет, три четверти всего, что мы делаем, — повторение того, что делали другие. Из этого вы видите, что история может продолжаться миллионы лет. С другой стороны, я ничего не имею против окончания истории завтра. Мало ли что может быть! Энкеева комета зацепит земной шар *, геологический катаклизм пройдет по поверхности, ставя все вверх дном, какое-нибудь газообразное испарение сделает на полчаса невозможным дыхание — вот вам и финал истории.

— Фу, какие ужасы! Вы меня страшаете, как маленьких детей, но я уверяю вас, что этого не будет. Стоило бы очень развиваться три тысячи лет с приятной будущностью задохнуться от какого-нибудь серноводородного испарения! Как же вы не видите, что это нелепость?

— Я удивляюсь, как это вы до сих пор не привыкнете к путям жизни. В природе, так, как в душе человека, дремлет бесконечное множество сил, возможностей; как только соберутся условия, нужные для того, чтоб их возбудить, они развиваются и будут развиваться донельзя, они готовы собой наполнить мир, но они могут запнуться на полдороге, принять иное направление, остановиться, разрушиться. Смерть одного человека не меньше нелепа, как гибель всего рода человеческого. Кто нам обеспечил вековечность планеты? Она так же мало устоит при какой-нибудь революции в солнечной системе, как гений Сократа устоял против цикуты, — но, может, ей не поддадут этой цикуты... может... я с этого начал. В сущности, для природы это все равно, ее не убудет, из нее ничего не вынешь, все в ней, как ни меняй, — и она с величайшей любовью, похоронивши род человеческий, начнет опять с уродливых папоротников и с ящериц в полверсты длиною — вероятно, еще с какими-нибудь усовершенствиями, взятыми из новой среды и из новых условий.

— Ну, для людей это далеко не все равно; я думаю, Александр Македонский нисколько не был бы рад, узнавши, что он пошел на замазку, — как говорит Гамлет *.

— Насчет Александра Македонского я вас успокою, — он этого никогда не узнает. Разумеется, что для человека совсем

не все равно жить или не жить; из этого ясно одно, что надобно пользоваться жизнью, настоящим; недаром природа всеми языками своими беспрерывно манит к жизни и шепчет на ухо всему свое *vivere memento*¹.

— Напрасный труд. Мы помним, что мы живем, по глухой боли, по досаде, которая точит сердце, по однообразному бою часов... Трудно наслаждаться, пьянить себя, зная, что весь мир около вас рушится и, стало быть, где-нибудь задавит же и вас. Да еще это куда бы ни шло, а то умереть на старости лет, видя, что ветхие покачнувшиеся стены и не думают падать. Я не знаю в истории такого удушливого времени; была борьба, были страдания и прежде, но была еще какая-нибудь замена, можно было погибнуть — по крайней мере, с верой, — нам не за что умирать и не для чего жить... самое время наслаждаться жизнью!

— А вы думаете, что в падающем Риме было легче жить?

— Конечно, его падение было столько же очевидно, как мир, шедший в замену его.

— Очевидно для кого? Неужели вы думаете, что римляне смотрели на свое время так, как мы смотрим на него? Гиббон не мог отделаться от обаяния, которое производит древний Рим на каждую сильную душу. Вспомните, сколько веков продолжалась его агония; нам это время скрадывается по бедности событий, по бедности в лицах, по томному однообразию! Именно такие-то периоды, немые, серые, и страшны для современников; ведь годы в них имели те же триста шестьдесят пять дней, ведь и тогда были люди с душой горячей и блекли, терялись от разгрома падающих стен. Какие звуки скорби вырывались тогда из груди человеческой, — их стон теперь наводит ужас на душу!

— Они могли креститься.

— Положение христиан было тогда тоже очень печальное, они четыре столетия прятались по подземельям, успех казался невозможным, жертвы были перед глазами.

— Но их поддерживала фанатическая вера — и она оправдалась.

¹ помни о жизни (лат.).— *Ред.*

— Только на другой день после торжества явилась ересь, языческий мир ворвался в святую тишину их братства, и христиане со слезами обращался назад к временам гонений и благословлял воспоминания о них,— читая мартиролог.

— Вы, кажется, начинаете меня утешать тем, что всегда было так же скверно, как теперь.

— Нет, я хотел только напомнить вам, что нашему веку не принадлежит монополия страданий и что вы дешево цените прошедшие скорби. Мысль была и прежде нетерпелива, ей хочется сейчас, ей ненавистно ждать,— а жизнь не довольствуется отвлеченными идеями, не торопится, медлит с каждым шагом, потому что ее шаги трудно поправляются. Отсюда трагическое положение мыслящих... Но чтоб опять не отклониться, позвольте мне теперь вас спросить, отчего вам кажется, что мир, нас окружающий, так прочен и долголетен?..

Давно тяжелые и крупные капли дождя падали на нас, глухие раскаты грома становились слышнее, молнии ярче; тут дождь полился ручьями... все бросились в каюту; пароход скрышел, качка была невыносима,— разговор не продолжался.

Roma, via del Corso.

31 декабря 1847 г.



II

ПОСЛЕ ГРОЗЫ¹

Pereat!²

Женщины плачут, чтоб облегчить душу; мы не умеем плакать. В замену слез я хочу писать — не для того, чтоб описывать, объяснять кровавые события, а просто чтоб говорить об них, дать волю речи, слезам, мысли, желчи. Где тут описывать, собирать сведения, обсуживать!—В ушах еще *раздаются* выстрелы,

¹ В Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина хранится следующая копия не включенного в прижизненные издания «С того берега» посвящения к главе «После грозы»:

DEDICATION <ПОСВЯЩЕНИЕ>

Мы с вами пострадали вместе страшные, гнусные июньские дни. Я дарю вам первый плач, вырвавшийся из души моей после них. Да, плач, я не стыжусь слез! Помните «Марсельезу» Рашели?*. Теперь только настало время ее оценить. Весь Париж пел «Марсельезу» — слепые нищие и Гризи, мальчишки и солдаты; «Марсельеза», как сказал один журналист, сделалась «Pater noster» <«Отче наш» (лат.)> после 24 февраля. Она теперь только умолкла — ее звукам нездорово в *état de siège** <осадном положении (франц.)>. — «Марсельеза» после 24 февраля* была кликом радости, победы, силы, угрозы, кликом мощи и торжества...

И вот Рашель спела «Марсельезу»... Ее песнь испугала; толпа вышла задавленная. Помните? — Это был погребальный звон среди ликовавший брака; это был упрек, грозное предвещание, стон отчаяния среди надежды. «Марсельеза» Рашели звала на пир крови, мести... там, где сыпали цветы, она бросала можжевеловый венок. Добрые французы говорили: «Это не светлая «Марсельеза» 48 года, а мрачная, времен террора...» Они ошиблись: в 93 году не было такой песни; такая песнь могла сложиться в груди артиста только перед преступлением июньских дней, только после обмана 24 февраля.

Вспомните, как эта женщина, худая, задумчивая, выходила без украшений, в белой блузе, опирая голову на руку; медленно шла она,

топот несущейся кавалерии, тяжелый, густой звук лафетных колес по мертвым улицам; в памяти мелькают отдельные подробности — раненый на носилках держит рукой бок, и несколько капель крови течет по ней; omnibusy, наполненные трупами, пленные с связанными руками, пушки на Place de la Bastille³, лагерь у Porte St. Denis⁴, на Елисейских Полях и мрачное ночное «Sentinelle — prenez garde à vous!..»⁵ Какие тут описания, мозг слишком воспален, кровь слишком остра.

Сидеть у себя в комнате сложа руки, не иметь возможности выйти за ворота и слышать возле, кругом, вблизи, вдали выстрелы, канонаду, крики, барабанный бой и знать, что возле

смотрела мрачно и начинала петь вполголоса.. мучительная скорбь этих звуков доходила до отчаяния. Она знала на бой... но у нее не было веры — пойдет ли кто-нибудь?.. Это просьба, это угрызение совести. И вдруг из этой слабой груди вырывается вопль, крик, полный ярости, ошьяненья:

«Aux armes, citoyens...

Qu'un sang impur abreuve nos sillons...»

«К оружию, граждане...

Пусть нечистая кровь оросит борозды наших пашен...»

(франц.)»

прибавляет она с жестокосердием палача. — Удивленная сама восторгом, которому отдалась, она еще слабее, еще безнадежнее начинает второй куплет... и снова призыв на бой, на кровь... На мгновение женщина берет верх, она бросается на колени, кровавый призыв делается молитвой, любовь побеждает, она плачет, она прижимает к груди знамя... «Amour sacré de la patrie...» «Священная любовь к отечеству...» (франц.). Но уже ей стыдно, она вскочила и бежит вон, махая знаменем — и с кликом «Aux armes, citoyens...» Толпа ни разу не смела ее воротить.

Статья, которую я вам дарю, — моя «Марсельеза». — Прощайте. Прочтите друзьям эти строки. Будьте не несчастны. Прощайте! Я не смею ни вас назвать, ни сам назваться. — Там, куда вы едете, и плач — преступление, и слушать его — грех.

Париж, 1848. Августа 1.

² Да погибнет! (лат.). — *Ред.*

³ площади Бастилии (франц.). — *Ред.*

⁴ ворот Сен-Дени (франц.). — *Ред.*

⁵ «Часовой — берегись!» (франц.). — *Ред.*

льется кровь, режутся, колют, что возле умирают, — от этого можно умереть, сойти с ума. Я не умер, но я состарелся, я оправляюсь после июньских дней, как после тяжелой болезни.

А торжественно начались они. Двадцать третьего числа, часа в четыре перед обедом, шел я берегом Сены к Hôtel de Ville¹, лавки запирались, колонны Национальной гвардии с зловещими лицами шли по разным направлениям, небо было покрыто тучами, шел дождик. Я остановился на Pont Neuf², сильная молния сверкнула из-за тучи, удары грома следовали друг за другом, и середь всего этого раздавался мерный, протяжный звук набата с колокольни св. Сульпиция, которым еще раз обманутый пролетарий звал своих братьев к оружию. Собор и все здания по берегу были необыкновенно освещены несколькими лучами солнца, ярко выходявшими из-под тучи; барабан раздавался с разных сторон, артиллерия тянулась с Карусельской площади.

Я слушал гром, набат и не мог насмотреться на панораму Парижа, будто я с ним прощался; я страстно любил Париж в эту минуту; это была последняя дань великому городу — после июньских дней он мне опротивел.

С другой стороны реки на всех переулках и улицах строились баррикады. Я, как теперь, вижу эти сумрачные лица, таскавшие камни; дети, женщины помогали им. На одну баррикаду, повидимому, оконченную, взошел молодой политехник, водрузил знамя и запел тихим, печально-торжественным голосом «Марсельезу»; все работавшие запели, и хор этой великой песни, раздававшийся из-за камней баррикад, захватывал душу... набат все раздавался. Между тем по мосту простучала артиллерия, и генерал Бедо осматривал с моста в трубу *неприятельскую* позицию...

В это время еще можно было все предупредить, тогда еще можно было спасти республику, свободу всей Европы, тогда еще можно было помириться. Тупое и неловкое правительство не умело этого сделать, Собрание не хотело, реакционеры искали мести, крови, искупления за 24 февраля, закормы «Националя» дали им исполнителей*.

¹ городской ратуше (франц.). — *Ред.*

² Новом мосту (франц.). — *Ред.*

Ну, что вы скажете, любезный князь Радецкий и сиятельный граф Паскевич-Эриванский? Вы не годитесь в помощники Каваньяку. Меттерних и все члены Третьего отделения собственной канцелярии — дети кротости, *de bons enfants*¹ в сравнении с собранием осерчалых лавочников.

Вечером 26 июня мы услышали, после победы «Националя» над Парижем, правильные залпы с небольшими расстановками... Мы все взглянули друг на друга, у всех лица были зеленые... «Ведь это расстреливают», — сказали мы в один голос и отвернулись друг от друга. Я прижал лоб к стеклу окна. За такие минуты ненавидят десять лет, мстят всю жизнь.
Горе тем, кто прощают такие минуты!

После бойни, продолжавшейся четверо суток, наступила тишина и мир осадного положения; улицы были еще оцеплены, редко, редко где-нибудь встречался экипаж, надменная Национальная гвардия, с свирспой и тушой злобой на лице, берегла свои лавки, грозя штыком и прикладом; ликующие толпы пьяной мобили сходили по бульварам, распевая «*Mourir pour la patrie*»*, мальчишки 16, 17 лет хвастались кровью своих братьев, запекшейся на их руках; на них бросали цветы мещанки, выбегавшие из-за прилавка, чтоб приветствовать победителей. Каваньяк возил с собою в коляске какого-то изверга, убившего десятки французов. Буржуази торжествовала. А дома предместья св. Антония еще дымились, стены, разбитые ядрами, обваливались, раскрытая внутренность комнат представляла каменные раны, сломанная мебель тлела, куски разбитых зеркал мерцали... А где же хозяева, жильцы? — Об них никто и не думал... местами посыпали песком, но кровь все-таки выступала... К Пантеону, разбитому ядрами, не подпускали, по бульварам стояли палатки, лошади глодали береженные деревья Елисейских Полей, на *Place de la Concorde*² везде было сено, кирасирские латы, седла; в Тюльерийском саду солдаты у решетки варили суп. Париж этого не видал и в 1814 году*.

Прошло еще несколько дней — и Париж стал принимать

¹ славные ребята (франц.). — *Ред.*

² площади Согласия (франц.). — *Ред.*

обычный вид, толпы празднующихся снова явились на бульварах, нарядные дамы ездили в колясках и кабриолетах *смотреть* развалины домов и следы отчаянного боя... одни частые патрули и партии арестантов напоминали страшные дни, тогда только стало уясняться прошедшее. У Байрона есть описание ночной битвы; кровавые подробности ее скрыты темнотою; при рассвете, когда битва давно кончена, видны ее остатки, клинок, окровавленная одежда*. Вот этот-то рассвет настаивал теперь в душе, он осветил страшное опустошение. Половина надежд, половина верований была убита, мысли отрицания, отчаяния бродили в голове, укоренялись. Предполагать нельзя было, чтоб в душе нашей, прошедшей через столько опытов, испытанной современным скептицизмом, оставалось так много истребляемого.

После таких потрясений живой человек не остается по старому. Душа его или становится еще религиознее, держится с отчаянным упорством за свои верования, находит в самой безнадежности утешение, и человек вновь зеленеет, обожженный грозой, нося смерть в груди,— или он мужественно и скрепя сердце отдает последние упования, становится еще трезвее и не удерживает последние слабые листья, которые уносит резкий осенний ветер.

Что лучше? Мудрено сказать.

Одно ведет к блаженству безумия.

Другое — к несчастью знания.

Выбирайте сами. Одно чрезвычайно прочно, потому что отнимает все. Другое ничем не обеспечено, зато многое дает. Я избираю знание, и пусть оно лишит меня последних утешений, я пойду нравственным нищим по белому свету,— но с корнем вон детские надежды, отроческие упования!— Все их под суд неподкупного разума!

Внутри человека есть постоянный революционный трибунал, есть беспощадный Фукье-Тинвиль и, главное, есть гильотина. Иногда судья засыпает, гильотина ржавеет, ложное, прошедшее, романтическое, слабое поднимает голову, обживает, и вдруг какой-нибудь дикий удар будит оплошный суд, дремлющего палача, и тогда начинается свирепая расправа — малейшая уступка, пощада, сожаление ведут к прошед-

шему, оставляют цепи. Выбора нет: или казнить и идти вперед, или миловать и запнуться на полдороге.

Кто не помнит своего логического романа, кто не помнит, как в его душу попала первая мысль сомнения, первая смелость исследования — и как она захватила потом более и более и дотрогивалась до святейших достояний души? Это-то и есть страшный суд разума. Казнить верования не так легко, как кажется; трудно расставаться с мыслями, с которыми мы выросли, сжились, которые нас лелеяли, утешали, — пожертвовать ими кажется неблагодарностью. Да, но в этой среде, в которой стоит трибунал, там нет благодарности, там неизвестно святотатство, и если революция, как Сатурн, ест своих детей*, то отрицание, как Нерон, убивает свою мать, чтоб отделаться от прошедшего*. Люди боятся своей логики и, опрометчиво вызвав перед ее суд церковь и государство, семью и нравственность, добро и зло, — стремятся спасти клочки, отрывки старого. Отказываясь от христианства, берегут бессмертие души, идеализм, провидение. Люди, шедшие вместе, тут расходятся, одни идут направо, другие налево; одни замирают на полдороге, как верстовые столбы, показывая, сколько пройдено, другие бросают последнюю ношу прошедшего и идут бодро вперед. Переходя из старого мира в новый, ничего нельзя взять с собою.

Разум беспощаден, как Конвент, нелицеприятен и строг, он ни на чем не останавливается и требует на лавку подсудимых самое верховное бытие, для доброго короля теологии настает 21 января*. Этот процесс, как процесс Людовика XVI, — пробный камень для жирондистов*: все слабое, половинчатое или бежит, или лжет, не подает голоса или подает без веры. Между тем люди, произнесшие приговор, думают, что, казнивши короля, нечего больше казнить, что 22 января республика готова и счастлива. Как будто достаточно атеизма, чтоб не иметь религии, как будто достаточно убить Людовика XVI, чтоб не было монархии. Удивительное сходство феноменологии террора и логики. Террор именно начался после казни короля, вслед за ним явились на помосте благородные отроки революции*, блестящие, красноречивые, слабые. Жаль их, но спасти невозможно, и головы их пали, а за ними покатились львиная

голова Дантона и голова баловня революции, Камиль Демулена*.— Ну, теперь, теперь, по крайней мере, конечно? Нет, теперь черед неподкупных палачей*, они будут казнены за то, что верили в возможность демократии во Франции, за то, что казнили во имя равенства, да, казнены, как Анахарсис Клооц, мечтавший о братстве народов, за несколько дней до Наполеоновской эпохи, за несколько лет до Венского конгресса.

Не будет миру свободы, пока все религиозное, политическое не превратится в человеческое, простое, подлежащее критике и отрицанию. Возмужалая логика ненавидит канонизированные истины, она их расстригает из ангельского чина в людской, она из священных таинств делает явные истины, она ничего не считает неприкосновенным, и, если республика присвоивает себе такие же права, как монархия,— презирает ее, как монархию,—нет, гораздо больше. Монархия не имеет смысла, она держится насилием, а от имени «республика» сильнее бьется сердце; монархия сама по себе религия, у республики нет мистических отговорок, нет божественного права, она с нами стоит на одной почве. Мало ненавидеть корону, надобно перестать уважать и фригийскую шапку; мало не признавать преступлением оскорбление величества, надобно признавать преступным *salus populi*¹. Пора человеку потребовать к суду: республику, законодательство, представительство, все понятия о гражданине и его отношениях к другим и к государству. Казней будет много; близким, дорогим надобно пожертвовать — мудро ли жертвовать ненавистным? В том-то и дело, чтоб отдать дорогое, если мы убедимся, что оно не истинно. И в этом наше действительное дело. Мы не призваны собирать плод, но призваны быть палачами прошедшего, казнить, преследовать его, узнавать его во всех одеждах и приносить на жертву будущему. Оно торжествует фактически, погубим его в идее, в убеждении, во имя человеческой мысли. Уступок делать некому — трехцветное знамя уступок слишком замазано*, оно долго не просохнет от июньской крови. И кого, в самом деле, щадить? Все элементы разрушающейся веси являются во

¹ благо народа (лат.).— *Ред.*

всей жалкой нелепости, во всем отвратительном безумии своем.— Что вы уважаете? *Народное* правительство, что ли?— Кого вам жаль? — Может быть, Париж?

Три месяца люди, избранные всеобщей подачей голосов, люди выборные всей земли французской ничего не делали* и вдруг стали во весь рост, чтоб показать миру зрелище невиданное — восьмисот человек, действующих, как один злодей, как один изверг*. Кровь лилась реками, а они не нашли слова любви, примирения; все великодушное, человеческое покрывалось воплем мести и негодования, голос умирающего Аффра* не мог тронуть этого многоголового Калигулу, этого Бурбона, размененного на медные гроши*; они прижали к сердцу Национальную гвардию, расстреливавшую безоружных, Сенар благословлял Каваньяка, и Каваньяк умильно плакал, исполнив все злодеяния, указанные адвокатским пальцем представителей. А грозное меньшинство притаилось, *Гора* скрылась за облаками, довольная, что ее не расстреляли, не сгноили в подвалах*; молча смотрела она, как обирают оружие у граждан, как декретируют депортацию, как сажают в тюрьму людей за все на свете — за то, что они не стреляли в своих братьев.

Убийство в эти страшные дни сделалось обязанностью; человек, не отмочивший себе рук в пролетарской крови, становился подозрителен для мещан... По крайней мере, большинство имело твердость быть злодеем. А эти жалкие друзья народа, риторы, пустые сердца!.. Один мужественный плач, одно великое негодование и раздалось, и то вне Камеры. Мрачное проклятие старца Ламенне останется на голове бездушных каннибалов*, и всего ярче выступит на лбу малодушных, которые, произнеся слово «республика», испугались смысла его.

Париж! Как долго это имя горело путеводной звездой народов; кто не любил, кто не поклонялся ему? — но его время миновало, пускай он идет со сцены. В июньские дни он завязал великую борьбу, которую ему не развязать. Париж состарелся — и юношеские мечты ему больше не идут; для того, чтоб оживиться, ему нужны сильные потрясения, варфоломеевские ночи, сентябрьские дни*. Но июньские ужасы не оживили его; откуда же возьмет дряхлый вампир еще крови, крови правед-

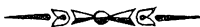
ников, той крови, которая 27 июня отражала огонь площадок, зажженных ликующими мещанами?* Париж любил играть в солдаты, он посадил императором счастливого солдата*, он рукоплескал злодействам, называемым победою, он воздвигал статуи, он мещанскую фигуру маленького капрала опять поставил, через пятнадцать лет, на колонну*, он с благоговением переносил прах водворителя рабства*, он и теперь надеялся найти в солдатах якорь спасения от свободы и равенства, он позвал дикие орды одичалых африканцев против братьев своих, чтоб не делиться с ними, и зарезал их бездушной рукой убийц по ремеслу. Пусть же он несет последствие своих дел, своих ошибок... Париж расстреливал без суда... Что выйдет из этой крови? — кто знает; но что бы ни вышло, довольно, что в этом разгаре бешенства, мести, раздора, возмездия погибнет мир, теснящий нового человека, мешающий ему жить, мешающий водвориться будущему, — и это прекрасно, а потому — да здравствует хаос и разрушение!

Vive la mort!¹

И да водружится будущее!

Париж, 24 июля 1848 г.

¹ Да здравствует смерть! (франц.). — *Ред.*





III

57
LVII ГОД РЕСПУБЛИКИ,
ЕДИНОЙ И НЕРАЗДЕЛЬНОЙ

Ce n'est pas le socialisme, c'est la république!¹

Речь Ледрю-Роллена в Шале
22 сентября 1848 года*.

На днях праздновали первое вандемира пятьдесят седьмого года*. В Шале на Елисейских Полях собрались все аристократы демократической республики, все алые члены Соборания. К концу обеда Ледрю-Роллен произнес блестящую речь. Речь его, наполненная *красных* роз для республики и колючих шипов для правительства, имела полный успех и заслуживала его. Когда он кончил, раздалось громкое «Vive la République démocratique!»². Все встали и стройно, торжественно, без шляп, запели «Марсельезу». Слова Ледрю-Роллена, звуки заветной песни освобождения и бокалы вина, в свою очередь, одушевили все лица; глаза горели, и тем более горели, что не все бродившее в голове являлось на губах. Барабан лагеря Елисейских Полей напоминал, что неприятель близко, что осадное положение и солдатская диктатура* продолжают.

Большая часть гостей были люди в цвете лет, но уже больше или меньше искусившие свои силы на политической арене. Шумно, горячо говорили они между собою. Сколько энергии, отваги, благородства в характере французов, когда они еще не подавили в себе хорошего начала своей национальности или уже вырвались из мелкой и грязной среды мешанства, которое, как тина, покрывает зеленью своей всю Францию! Что за мужественное, решительное выражение в лицах, что за стреми-

¹ Это — не социализм, это — республика! (франц.). — *Ред.*

² «Да здравствует демократическая республика!» (франц.). — *Ред.*

тельная готовность подтвердить делом — слово, сейчас идти на бой, стать под пулю, казнить, быть казненным. Я долго смотрел на них, и мало-помалу невыносимая грусть поднялась во мне и налегла на все мысли, мне стало смертельно жаль эту кучку людей — благородных, преданных, умных, даровитых, чуть ли не лучший цвет нового поколения... Не думайте, что мне стало их жаль потому, что, может быть, они не доживут до 1-го брюмера или до 1-го нивоза 57-го года, что, может, через неделю они погибнут на баррикадах, пропадут на галерах, в депортации, на гильотине или, по новой моде, их, может, перестреляют с связанными руками, загнавши куда-нибудь в угол Карусельской площади или под внешние форты, — все это очень печально, но я не об этом жалел, грусть моя была глубже.

Мне было жаль их откровенное заблуждение, их добросовестную веру в несбыточные вещи, их горячее упование, столько же чистое и столько же призрачное, как рыцарство Дон-Кихота. Мне было жаль их, как врачу бывает жаль людей, не подозревающих страшного недуга в груди своей. — Сколько нравственных страданий готовят себе эти люди — они будут биться, как герои, они будут работать всю жизнь и не успеют. Они отдадут кровь, силы, жизнь и, состаревшись, увидят, что из их труда ничего не вышло, что они делали не то, что надобно, и умрут с горьким сомнением в человека, который не виноват; или — еще хуже — впадут в ребячество и будут, как теперь, ждать всякий день огромной перемены, водворения *их* республики, — принимая предсмертные муки умирающего за страдания, предшествующие родам. Республика — *так, как они ее понимают*, — отвлеченная и неудобноисполнимая мысль, плод теоретических дум, апотеоза существующего государственного порядка, преобразование *того, что есть*; их республика — последняя мечта, поэтический бред старого мира. В этом бреде есть и пророчество, но пророчество, относящееся к жизни за гробом, к жизни будущего века. Вот чего они — люди прошедшего, несмотря на революционность свою, связанные с старым миром на живот и на смерть, — не могут понять. Они воображают, что этот дряхлый мир может, как Улисс, поюньет, — не замечая того, что осуществление од-

ной закраины *из* республики мгновенно убьет его; они не знают, что нет круче противоречия, как между их идеалом и существующим порядком, что одно должно умереть, чтоб другому можно было жить. Они не могут выйти из старых форм, они их принимают за какие-то вечные границы, и оттого их идеал носит только имя и цвет будущего, а в сущности принадлежит миру прошедшему, не отрешается от него.

Зачем они не знают этого?

Роковая ошибка их состоит в том, что, увлеченные благородной любовью к ближнему, к свободе, увлеченные нетерпением и негодованием, они бросились освобождать людей прежде, нежели сами освободились; они нашли в себе силу порвать железные, грубые цепи, не замечая того, что стены тюрьмы остались. Они хотят, не меняя стен, дать им иное назначение, как будто план острога может годиться для свободной жизни.

Ветхий мир католико-феодальный дал все видоизменения, к которым он был способен, развился во все стороны до высшей степени изящного и отвратительного, до обличения всей истины, в нем заключенной, и всей лжи; наконец он истощился. Он может еще долго стоять, но обновляться не может; общественная мысль, развивающаяся теперь, такова, что каждый шаг к осуществлению ее будет выход из него. Выход! — Тут-то и остановка! Куда? Что там за его стенами? Страх берет — пустота, ширина, воля... как идти, не зная куда; как терять, не видя приобретений! — Если б Колумб так рассуждал, он никогда не снял бы якоря. — Сумасшествие ехать по океану, не зная дороги, — по океану, по которому никто не ездил, плыть в страну, существование которой — вопрос. Этим сумасшествием он открыл новый мир. Конечно, если б народы переезжали из одного готового *hôtel garni*¹ в другой, еще лучший, было бы легче, да беда в том, что некому заготавливать новых квартир. В будущем хуже, нежели в океане, — ничего нет, оно будет таким, каким его сделают обстоятельства и люди.

Если вы довольны старым миром, старайтесь его сохранить, он очень хил, и надолго его не станет при таких толчках, как 24 февраля; но если вам невыносимо жить в вечном раздоре

¹ меблированных комнат (франц.). — *Ред.*

убеждений с жизнью, думать одно и делать другое, выходите из-под выбеленных, средневековых сводов на свой страх; отважная дерзость в иных случаях выше всякой мудрости. Я очень знаю, что это не легко; шутка ли расстаться со всем, к чему человек привык со дня рождения, с чем вместе рос и вырос. Люди, о которых мы говорим, готовы на страшные жертвы, — но не на те, которые от них требует новая жизнь. Готовы ли они пожертвовать современной цивилизацией, образом жизни, религией, принятой условной нравственностью? Готовы ли они лишиться всех плодов, выработанных с такими усилиями, — плодов, которыми мы хвастаемся три столетия, которые нам так дороги, *лишиться* всех удобств и прелестей нашего существования, предпочесть дикую юность — образованной дряхлости, необработанную почву, непроходимые леса — истощенным полям и расчищенным паркам, сломать свой наследственный замок из одного удовольствия участвовать в закладке нового дома, который построится, без сомнения, гораздо после нас? Это вопрос безумного, скажут многие. — Его делал Христос иными словами.

Либералы долго играли, шутили с идеей революции и дошутились до 24 февраля. Народный ураган поставил их на вершину колокольни и указал им, куда они идут и куда ведут других; посмотревши на пропасть, открывавшуюся перед их глазами, они побледнели; они увидели, что не только то падает, что они считали за предрассудок, но и все остальное, что они считали за вечное и истинное; они до того перепугались, что одни уцепились за падающие стены, а другие остановились кающимися на полдороге и стали клясться всем прохожим, что они этого не хотели. Вот отчего люди, провозглашавшие республику, сделались палачами свободы*, вот отчего либеральные имена, звучавшие в ушах наших лет двадцать, являются ретроградными депутатами, изменниками, инквизиторами. Они хотят свободы, даже республики в известном круге, литературно образованном. За пределами своего умеренного круга они становятся консерваторами. Так рационалистам нравилось объяснять тайны религии, им нравилось раскрывать значение и смысл мифов, они не думали, что из этого выйдет, не думали, что их исследования, начинающиеся со

страха господня, окончатся атеизмом, что их критика церковных обрядов приведет к отрицанию религии.

Либералы всех стран, со времени Реставрации, звали народы на низвержение монархически-феодального устройства во имя равенства, во имя слез несчастного, во имя страданий притесненного, во имя голода неимущего; они радовались, гоняя до упаду министров, от которых требовали неудобно-исполнимого, они радовались, когда одна феодальная подставка падала за другой, и до того увлеклись наконец, что перешли собственные желания. Они опомнились, когда из-за полуразрушенных стен явился — не в книгах, не в парламентской болтовне, не в филантропических разглагольствованиях, а на самом деле — пролетарий, работник с топором и черными руками, голодный и едва одетый рубищем. Этот «несчастный, обделенный брат», о котором столько говорили, которого так жалели, спросил, наконец, где же *его* доля во всех благах, в чем *его* свобода, *его* равенство, *его* братство. Либералы удивились дерзости и неблагодарности работника, взяли приступом улицы Парижа, покрыли их трупами и спрятались от брата за штыками осадного положения, спасая *цивилизацию и порядок!*

Они правы, только они непоследовательны. Зачем же они прежде подламывали монархию? Как же они не поняли, что, уничтожая монархический принцип, революция не может остановиться на том, чтоб вытолкать за дверь какую-нибудь династию. Они радовались, как дети, что Людовик-Филипп не успел доехать до С.-Клу, а уж в Hôtel de Ville явилось новое правительство* и дело пошло своим чередом, в то время как эта легкость переворота должна им была показать несущественность его. Либералы были удовлетворены. Но народ не был удовлетворен, но народ поднял теперь свой голос, он повторял их слова, их обещания, а они, как Петр, троекратно отреклись и от слов и от обещания*, как только увидели, что дело идет не на шутку, — и начали убийства. Так Лютер и Кальвин топтали *анабатистов*, так протестанты отрекались от Гегеля и гегелисты — от Фейербаха. Таково положение *реформаторов* вообще, они, собственно, наводят только понтоны, по которым увлеченные ими народы переходят с одного берега на другой.

Для них нет среды лучше, как конституционное сумрачное ни то ни се. И в этом-то мире словопрений, раздора, непримиримых противуречий, не изменяя его, хотели эти суетные люди осуществить свои *pia desideria*¹ свободы, равенства и братства.

Формы европейской гражданственности, ее цивилизация, ее добро и зло разочтены по другой сущности, развились из иных понятий, сложились по иным потребностям. До некоторой степени формы эти, как все живое, были изменяемы, но, как все живое, изменяемы до *некоторой степени*; организм может воспитываться, отклоняться от назначения, прилагиваться к влияниям до тех пор, пока отклонения не отрицают его особенности, его индивидуальности, то, что составляет его личность; как скоро организм встречает такого рода влияния, делается борьба, и организм побеждает или гибнет. Явление смерти в том и состоит, что составные части организма получают иную цель, они не пропадают, пропадает личность, а они вступают в ряд совсем других отношений, явлений.

Государственные формы Франции и других европейских держав не совместны по внутреннему своему понятию ни с свободой, ни с равенством, ни с братством, всякое осуществление этих идей будет отрицанием современной европейской жизни, ее смертью. Никакая конституция, никакое правительство не в состоянии дать феодально-монархическим государствам истинной свободы и равенства — не разрушая дотла все феодальное и монархическое. Европейская жизнь, христианская и аристократическая, образовала нашу цивилизацию, наши понятия, наш быт; ей необходима христианская и аристократическая среда. Среда эта могла развиваться сообразно с духом времени, с степенью образования, сохраняя свою сущность, в католическом Риме, в кощунствующем Париже, в философствующей Германии; но далее идти нельзя, не переступая границу. В разных частях Европы люди могут быть посвободнее, поравнее, нигде не могут они быть свободны и равны — пока существует *эта* гражданская форма, пока существует *эта* цивилизация. Это знали все умные консерваторы и оттого под-

¹ благие пожелания (лат.).— *Ред.*

держивали всеми силами старое устройство. Неужели вы думаете, что Меттерних и Гизо не видели несправедливости общественного порядка, их окружавшего? — но они видели, что эти несправедливости так глубоко вплетены во весь организм, что стоит коснуться до них — все здание рухнет; понявши это, они стали стражами *status quo**. А либералы разнуздали демократию да и хотят воротиться к прежнему порядку. Кто же правее?

В сущности, само собою разумеется, все неправы — и Гизо, и Меттернихи, и Каваньяки, все они делали действительные злодеяния из-за мнимой цели, они теснили, губили, лили кровь для того, чтоб задержать смерть. Ни Меттерних с своим умом, ни Каваньяк с своими солдатами, ни республиканцы с своим непониманием не могут в самом деле остановить поток, течение которого так сильно обозначилось, только вместо облегчения они усыпают людям путь толченым стеклом. Идущие народы пройдут, хуже, труднее, изрежут себе ноги, но все-таки пройдут; сила социальных идей велика, особенно с тех пор, как их начал понимать истинный враг, враг по *праву* существующего гражданского порядка — пролетарий, работник, которому досталась вся горечь этой формы жизни и которого миновали все ее плоды. Нам еще жаль старый порядок вещей, кому же и пожалеть его, как не нам? Он только для нас и был хорош, мы воспитаны им, мы его любимые дети, мы сознаемся, что ему надобно умереть, но не можем ему отказать в слезе. Ну, а массы, задавленные работой, изнуренные голодом, притупленные невежеством, они о чем будут плакать на его похоронах?.. Они были эти не приглашенные на пир жизни, о которых говорит Мальтьус*, их *подавленность* была необходимым условием нашей жизни.

Все наше образование, наше литературное и научное развитие, наша любовь изящного, наши занятия предполагают среду, постоянно расчищаемую *другими*, приготовляемую *другими*; надобен *чей-то* труд для того, чтоб нам доставить досуг, необходимый для нашего психического развития, тот досуг, ту деятельную праздность, которая способствует мыслителю сосредоточиваться, поэту мечтать, эпикурейцу наслаждаться, которая способствует пышному, капризному, поэтическому,

богатому развитию наших аристократических индивидуальностей.

Кто не знает, какую свежесть духу придает беззаботное довольство; бедность, вырабатывающаяся до Жильбера, — исключение, бедность страшно искажает душу человека — не меньше богатства. Забота об одних материальных нуждах подавляет способности. А разве довольство может быть доступно всем при современной гражданской форме? Наша цивилизация — цивилизация меньшинства, она только возможна при большинстве чернорабочих. Я не моралист и не сентиментальный человек; мне кажется, если меньшинству было действительно хорошо и привольно, если большинство молчало, то эта форма жизни в прошедшем оправдана. Я не жалею о двадцати поколениях немцев, потраченных на то, чтоб сделать возможным Гёте, и радуюсь, что псковский оброк дал возможность воспитать Пушкина. Природа безжалостна; точно как известное дерево, она мать и мачеха вместе; она ничего не имеет против того, что две трети ее произведений идут на питание одной трети, лишь бы они развивались. Когда не могут все хорошо жить, пусть живут несколько, пусть живет один — на счет других, лишь бы кому-нибудь было хорошо и широко. Только с этой точки и можно понять аристократию. Аристократия — вообще более или менее образованная антропофагия; каннибал, который ест своего невольника, помещик, который берет страшный процент с земли, фабрикант, который богатеет на счет своего работника, составляют только видоизменения одного и того же людоедства. Я, впрочем, готов защищать и самую грубую антропофагию; если один человек себя рассматривает как блюдо, а другой хочет его съесть — пусть ест; они стоят того — один, чтоб быть людоедом, другой, чтоб быть кущанием.

Пока развитое меньшинство, поглощая жизнь поколений, едва догадывалось, отчего ему так ловко жить; пока большинство, работая день и ночь, не совсем догадывалось, что вся выгода работы — для других, и те и другие считали это естественным порядком, мир антропофагии мог держаться. Люди часто принимают предрассудок, привычку за истину, — и тогда она их не теснит; но когда они однажды поняли, что их истина —

вздор, дело кончено, тогда только силою можно заставить делать то, что человек считает нелепым. Учредите постные дни без веры? Ни под каким видом; человеку сделается так же невыносимо есть постное, как верующему есть скоромное.

Работник не хочет больше работать для другого — вот вам и конец антропофагии, вот предел аристократии. Все дело остановилось теперь за тем, что работники не сосчитали своих сил, что крестьяне отстали в образовании; когда они протянут друг другу руку, — тогда вы распроситесь с вашим досугом, с вашей роскошью, с вашей цивилизацией, тогда окончится поглощение большинства на выработку светлой и роскошной жизни меньшинству. В идее теперь уже кончена эксплуатация человека человеком. Кончена потому, что никто не считает это отношение справедливым!

Как же этот мир устоит против социального переворота? во имя чего будет он себя отстаивать? — религия его ослабла, монархический принцип потерял авторитет; он поддерживается страхом и насилием; демократический принцип — рак, съедающий его изнутри.

Духота, тягость, усталь, отвращение от жизни — распространяются вместе с судорожными попытками куда-нибудь выйти. Всем на свете стало дурно жить — это великий признак.

Где эта тихая, созерцательная, кабинетная жизнь в сфере знания и искусств, в которой жили германцы; где этот вихрь веселья, остроты, либерализма, нарядов, песен, в котором кружился Париж? Все это — прошедшее, воспоминание. Последнее усилие спасти старый мир обновлением из его собственных начал не удалось.

Все мельчает и вянет на истощенной почве — нету талантов, нету творчества, нету силы мысли, — нету силы воли; мир этот пережил эпоху своей славы, время Шиллера и Гёте прошло так же, как время Рафаэля и Бонарроти, как время Вольтера и Руссо, как время Мирабо и Дантона; блестящая эпоха индустрии проходит, она пережита так, как блестящая эпоха аристократии; все нищают, не обогащая никого; кредиту нет, все перебиваются с дня на день, образ жизни делается менее и менее изящным, грациозным; все жмутся, все боятся, все

живут, как лавочники, нравы мелкой буржуазии сделались общими; никто не берет оседлости; все на время, наемно, шатко. Это то тяжелое время, которое давило людей в третьем столетии, когда самые пороки древнего Рима утратились, когда императоры стали вялы, легионы мирны. Тоска мучила людей энергических и беспокойных до того, что они толпами бежали куда-нибудь в фиваидские степи, кидая на площадь мешки золота и расставаясь навеки и с родиной и с прежними богами.— Это время настает для нас, тоска наша растет!

Кайтесь, господа, кайтесь! Суд миру вашему пришел. Не спасти вам его ни осадным положением, ни республикой, ни казнями, ни благотворениями*, ни даже разделением полей. Может быть, судьба его не была бы так печальна, если б его не защищали с таким усердием и упорством, с такой безнадежной ограниченностью. Никакое перемирие не поможет теперь во Франции; враждебные партии не могут ни объясниться, ни понять друг друга, у них разные логики, два разума. Когда вопросы становятся так, нет выхода—кроме борьбы, один из двух должен остаться на месте — монархия или социализм.

Подумайте, у кого больше шансов? Я предлагаю пари за социализм. «Мудрено себе представить!» — Мудрено было и христианству восторжествовать над Римом. Я часто воображаю, как Тацит или Плиний умно рассуждали с своими приятелями об этой нелепой секте назареев, об этих Пьер Ле-Ру, пришедших из Иудеи с энергической и полубезумной речью, о тогдашнем Прудоне, явившемся в самый Рим проповедовать конец Рима. Гордо и мощно стояла империя в противоположность этим бедным пропагандистам — а не устояла однако.

Или вы не видите новых христиан, идущих строить, новых варваров, идущих разрушать?— Они готовы, они, как лава, тяжело шевелятся под землею, внутри гор. Когда настанет их час— Геркуланум и Помпея исчезнут, хорошее и дурное, правый и виноватый погибнут рядом. Это будет не суд, не расправа, а катаклизм, переворот... Эта лава, эти варвары, этот новый мир, эти назареи, идущие покончить дряхлое и бессильное и расчистить место свежему и новому, ближе, нежели вы думаете. Ведь это они умирают от голода, от хо-

лода, они ропщут над нашей головой и под нашими ногами, на чердаках и в подвалах, в то время как мы с вами au premier¹,

Шампанским вафли запивая*,

толкуем о социализме. Я знаю, что это не новость, что оно и прежде было так, но прежде они не догадывались, что это *очень глупо*.

— Но неужели будущая форма жизни вместо прогресса должна водвориться ночью варварства, должна купиться утратами?— Не знаю, но думаю, что образованному меньшинству, если оно доживет до этого разгрома и не закалится в свежих, новых понятиях, жить будет хуже. Многие возмущаются против этого, я нахожу это утешительным, для меня в этих утратах доказательство, что каждая историческая фаза имеет полную действительность, свою индивидуальность, что каждая — достигнутая цель, а не средство; оттого у каждой свое благо, свое хорошее, лично принадлежащее ей и которое с нею гибнет. Что вы думаете, римские патриции много выиграли в образе жизни, перешедши в христианство? или аристократы до революции разве не лучше жили, нежели мы с вами живем?

— Все это так, но мысль о крутом и насильственном перевороте имеет в себе что-то отталкивающее для многих. Люди, видящие, что перемена необходима, желали бы, чтоб она сделалась исподволь. Сама природа, говорят они, по мере того как она складывалась и становилась богаче, развивее, перестала прибегать к тем страшным катаклизмам, о которых свидетельствует кора земного шара, наполненная костями целых населений, погибнувших в ее перевороты; тем более стройная, покойная метаморфоза свойственна той степени развития природы, в которой она достигла сознания.

— Она достигла его несколькими головами, малым числом избранных, остальные достигают еще и оттого покорены Naturgewalt'am², инстинктам, темным влечениям, страстям. Для того, чтоб мысль, ясная и разумная для вас, была мыслию другого, — недостаточно, чтоб она была истинна, — для этого нужно, чтоб его мозг был развит так же, как ваш, чтоб он был

¹ в бельэтаже (франц.). — *Ред.*

² силам природы (нем.). — *Ред.*

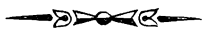
освобожден от предания. Как вы уговорите работника терпеть голод и нужду, пока исподволь переменится гражданское устройство? Как вы убедите собственника, ростовщика, хозяина разжать руку, которой он держится за свои монополии и права? Трудно представить себе такое самоотвержение. Что можно было сделать — сделано; развитие среднего сословия, конституционный порядок дел — не что иное, как промежуточная форма, связующая мир феодально-монархический с социально-республиканским. Буржуазия именно представляет это полусвобождение, эту дерзкую нападку на прошедшее с желанием унаследовать его власть. Она работала для себя — и была права. Человек серьезно делает что-нибудь только тогда, когда делает для себя. Не могла же буржуазия себя принимать за уродливое промежуточное звено, она принимала себя за цель; но так как ее нравственный принцип был меньше и беднее прошлого, а развитие идет быстрее и быстрее, то и нечему удивляться, что мир буржуазии истощился так скоро и не имеет в себе более возможности обновления. Наконец, подумайте, в чем может быть этот переворот исподволь — в раздроблении собственности, вроде того, что было сделано в первую революцию?— Результат этого будет тот, что всем на свете будет мерзко; мелкий собственник — худший буржуа из всех; все силы, таящиеся теперь в многострадательной, но мощной груди пролетария, иссякнут; правда, он не будет умирать с голода, да на том и остановится, ограниченный своим клочком земли или своей каморкой в рабочих казармах. Такова перспектива мирного, органического переворота. Если это будет, тогда главный поток истории найдет себе другое русло, он не потеряется в песке и глине, как Рейн, человечество не пойдет узким и грязным проселком,— ему надобно широкую дорогу. Для того, чтоб расчистить ее, оно ничего не пожалеет.

В природе консерватизм так же силен, как революционный элемент. Природа позволяет жить старому и ненужному, пока можно; но она не пожалела мамонтов и мастодонтов для того, чтоб уладить земной шар. Переворот, их погубивший, не был направлен *против них*; если б они могли как-нибудь спастись, они бы уцелели и потом спокойно и мирно выродились бы, окруженные средой, им не свойственной. Мамонты, которых

кости и кожу находят в сибирских льдах, вероятно, спаслись от геологического переворота; это Комнены, Палеологи в феодальном мире*. Природа ничего не имеет против этого, так же, как история. Мы ей подкладываем сентиментальную личность и наши страсти, мы забываем наш метафорический язык и принимаем образ выражения за самое дело. Не замечая нелепости, мы вносим маленькие правила нашего домашнего хозяйства во всемирную экономию, для которой жизнь поколений, народов, целых планет не имеет никакой важности в отношении к общему развитию. В противоположность нам, субъективным, любящим одно личное, для природы гибель частного — исполнение той же необходимости, той же игры жизни, как возникновение его; она не жалеет об нем потому, что из ее широких объятий ничего не может утратиться, как ни изменяться.

1 октября 1848 года.

Champs Elysées





IV

VIXERUNT! ¹

Смертию смерть поправ.

(Заутрешя перед Светлым
воскресением)

Двадцатое ноября 1848 года *, в Париже, погода была ужасная, суровый ветер с преждевременным снегом и инеем в первый раз после лета напоминал о приближении зимы. Зимы ждут здесь как общественного несчастья, неимущие готовятся дрогнуть в нетопленных мансардах, без теплой одежды, без достаточной пищи; смертность увеличивается в эти два месяца изморози, гололедицы и сырости; лихорадки изнуряют и лишают силы рабочих людей.

В этот день совсем не рассветало, мокрый снег, тая, падал беспрерывно в туманном воздухе, ветер рвал шляпы и с ожесточением тормошил сотни трехцветных флагов, привязанных к высоким шестам около площади Согласия. Густыми массами стояли на ней войска и народная стража, в воротах тюльерийского сада был разбит какой-то намет с христианским крестом наверху; от сада до обелиска площадь, оцепленная солдатами, была пуста. Линейные полки, мобиль, уланы, драгуны, артиллерия наполняли все улицы, идущие к площади. Незнавшему нельзя было догадаться, что тут готовилось... Не снова ли царская казнь... не объявление ли, что отечество в опасности?.. Нет, это было 21 января не для короля, а для народа, для революции... это были похороны 24 февраля.

Часу в девятом утра нестройная кучка пожилых людей стала пробираться через мост; печально плелись они, поднявши воротники пальто и выскивая нетвердой ногой, где

¹ Отжили! (лат.).— *Ред.*

посуше ступить. Перед ними шли двое вожатых. Один, закутанный в африканский кабан, едва выказывал жесткие, суровые черты средневекового кондотьера; в его исхудалом и болезненном лице не примешивалось ничего человеческого, смягчающего к чертам хищной птицы; от хилой фигуры его веяло бедой и несчастьем*. Другой, толстый, разодетый, с кудрявыми седыми волосами, шел в одном фраке, с видом изученной, оскорбительной небрежности; на его лице, некогда красивом, осталось одно выражение сладострастно-сознательного довольства почетом, своим местом*.

Никакое приветствие не встретило их, одни покорные ружьябрякнули на караул. В то же время, с противоположной стороны, от Мадлены, двигалась другая кучка людей, еще более странных, в средневековом наряде, в митрах и ризах; окруженные кадилницами, с четками и молитвенниками, они казались давно умершими и забытыми тенями феодальных веков.

Зачем шли те и другие?

Одни шли провозглашать под охраною ста тысячи штыков *народную волю*, уложение, составленное под выстрелами, обсуженное в осадном положении — во имя *свободы, равенства и братства*; другие шли благословить этот плод философии и революции *во имя отца и сына и святого духа!*

Народ не пришел даже взглянуть на эту пародию. Он грустными толпами гулял около общего гроба всех павших за него братьев, около Июльской колонны*. Мелкие лавочники, разносчики, сидельцы, дворники близлежащих домов, трактирные слуги да наша братья — иностранные туристы — составляли кайму за шпалерами войск и вооруженных буржуа. Но и эти зрители смотрели с удивлением на чтение, которого слышать было невозможно, на маскарадные платья судей — красные, черные, с мехом и без меха, на снег, который хлестал в глаза, на боевой порядок войск, которому придавали что-то грозное выстрелы с эспланады Инвалидного дома. Солдаты и пальба невольно напоминали июньские дни, сердце сжималось. Лица у всех были озабочены, будто все имели сознание своей неправоты — одни оттого, что совершают преступление, другие оттого, что участвуют в нем, допустив его. При малейшем шорохе, шуме тысячи голов оборачивались, ожидая вслед за

тем свист пули, крик восстания, мерный звук набата. Вьюга продолжалась. Войска, промокнувшие до костей, роптали; наконец, ударил барабан, масса шевельнулась, и началась бесконечная дефилея под бедные звуки «Mourir pour la patrie», которыми заменили великую «Марсельезу»*.

Около этого времени молодой человек, с которым мы уже знакомы*, продрался сквозь толпу к человеку средних лет и сказал ему с знаками истинной радости:

— Вот неожиданное счастье, я не знал, что вы здесь.

— Ах, здравствуйте! — отвечал тот, дружески протягивая ему обе руки. — Давно ли вы приехали?

— На днях.

— Откуда?

— Из Италии.

— Ну что, плохо?

— Лучше не говорить... скверно.

— То-то, мой милый мечтатель и идеалист, — я знал, что вы не устоите против февральского искушения и приготовите себе этим много страданий; страдания всегда достигают уровня надежд... Вы всё жаловались на застой, на дремоту в Европе. С этой стороны, кажется, нельзя ее упрекнуть теперь?

— Не смейтесь! Есть обстоятельства, над которыми смеяться нехорошо, какой бы скептицизм ни был в душе. Слез недостает подчас, время ли трунить? Мне, я признаюсь вам, страшно обернуться, страшно вспомнить; году еще нет, как мы с вами расстались, а точно век прошел. Видеть исполняющимися все лучшие упования, все задушевные надежды, видеть возможность их осуществления — и пасть так глубоко, так низко! все утратить — и не в бою, не в борьбе с врагом, а от собственного бессилья, неумения — это страшно. Мне стыдно встречаться с каким-нибудь легитимистом; они смеются в глаза, и я чувствую, что они правы. Какая школа — не развития, а притупления всех способностей. Я ужасно рад, что столкнулся с вами, у меня, наконец, просто сделалась необходимость вас видеть; я с вами заочно ссорился и мирился, написал как-то вам предлинное письмо и теперь душевно рад, что изодрал его, — оно было полно дерзких надежд, я думал вас побить ими, а теперь мне хотелось бы, чтоб вы окончательно уверили меня,

что этот мир гибнет, что ему выхода нет, что ему назначено заглухнуть, порастить травой. Теперь вы меня не огорчите, да, впрочем, я и не ждал облегчения от встречи с вами; от ваших слов мне становится всякий раз тяжелее, а не легче... да я этого-то и хочу... убедите меня, и я завтра еду в Марсель и отправляюсь с первым пароходом в Америку или в Египет, лишь бы вон из Европы. Я устал, я изнемогаю здесь, я чувствую болезнь в груди, в мозгу, я сойду с ума, если останусь.

— Мало нервных болезней упорнее идеализма. Я вас застаю после всех событий, случившихся в последнее время, таким, как оставил. Вы лучше хотите страдать, нежели понимать. Идеалисты большие баловни и большие трусы; я уж извинялся за это выражение — вы знаете, что тут речь о личной храбрости, ее почти слишком много. Идеалисты трусы перед истиной, вы ее отталкиваете, вы боитесь фактов, не идущих под ваши теории. Вы думаете, что, помимо вами открытых путей, нет миру спасения; вы хотите, чтоб за вашу преданность мир плясал по вашей дудке, и, как только замечаете, что у него свой шаг и свой такт, вы сердитесь, вы в отчаянии, вы даже не имеете любопытства посмотреть на его собственную пляску.

— Называйте как хотите, трусостью или глупостью, — но действительно, у меня нет любопытства видеть этот макабрский танец, у меня нет пристрастия римлян к страшным зрелищам, может, оттого, что я не понимаю всех тонкостей искусства умирать.

— Достоинство любопытства меряется достоинством зрелища. Публика Колизея состояла из той же праздной толпы, которая теснилась на аутодафе, на казнях, сегодня пришла сюда, чтоб чем-нибудь занять внутреннюю пустоту, завтра пойдет с тем же усердием смотреть, как будут вешать кого-нибудь из нынешних героев. Есть другое, более почтенное любопытство, корни его в более здоровой почве, оно ведет к знанию, к изучению, оно мучится об неоткрытой части света, подвергается заразе, чтоб узнать ее свойство.

— Словом, которое имеет в виду пользу, но какая же польза смотреть на умирающего, зная, что время помощи прошло? Это просто поэзия любопытства.

— Для меня это поэтическое любопытство, как вы называете его, чрезвычайно человечественно — я уважаю Плиния, остающегося досматривать грозное извержение Везувия в своей лодке, забывающего явную опасность. Удалиться было благоразумнее и во всяком случае покойнее.

— Я понимаю намек; но сравнение ваше не совсем идет; при гибели Помпеи нечего было делать человеку, смотреть или идти прочь зависело от него. Я хочу уйти не от опасности, а от того, что не могу остаться дольше; подвергаться опасности гораздо легче, чем кажется издали; но видеть гибель сложа руки, знать, что не принесешь никакой пользы, понимать, чем можно бы помочь, и не иметь возможности передать, указать, растолковать; быть праздным свидетелем, как люди, пораженные каким-то повальным безумием, мнутся, крутятся, губят друг друга, как ломится целая цивилизация, целый мир, вызывая хаос и разрушение,— это выше сил человека. С Везувием нечего делать, по в мире истории человек дома, тут он не только зритель, но и деятель, тут он имеет голос, и, если не может принять участия, он должен протестовать хоть своим отсутствием.

— Человек, конечно, дома в истории,— но из ваших слов можно подумать, что он гость в природе; как будто между природой и историей каменная стена. Я думаю, он там и тут дома, но ни там, ни тут не самовластный хозяин. Человек оттого не оскорбляется непокорностью природы, что ее самобытность очевидна для него; мы верим в ее действительность, независимую от нас; а в действительность истории, особенно современной, не верим; в истории человеку кажется воля вольная делать что хочет. Все это горькие следы дуализма, от которого так долго двоилось у нас в глазах и мы колебались между двумя оптическими обманами; дуализм утратил свою грубость, но и теперь незаметно остается в нашей душе. Наш язык, наши первые понятия, сделавшиеся естественными от привычки, от повторений, мешают видеть истину. Если б мы не знали с пятилетнего возраста, что история и природа совершенно разное, нам было бы легко понимать, что развитие природы незаметно переходит в развитие человечества; что это две главы одного романа, две фазы одного процесса, очень далекие

на окраинах и чрезвычайно близкие в середине. Нас не удивило бы тогда, что доля всего совершающегося в истории покорена физиологии, темным влечениям. Разумеется, законы исторического развития не противоположны законам логики, но они не совпадают в своих путях с путями мысли, так как ничто в природе не совпадает с отвлеченными нормами, которые трюит чистый разум. Зная это, устремились бы на изучение, на открытие этих физиологических влияний. Делаем ли мы это? Занимался ли кто-нибудь серьезно физиологией общественной жизни, историей как действительно объективной наукой? — никто, ни консерваторы, ни радикалы, ни философы, ни историки.

— Однако действовали много; может, потому, что нам так же естественно делать историю, как пчеле мед, что это не плод размышлений, а внутренняя потребность духа человеческого.

— Вы хотите сказать — инстинкт. Вы правы, он вел, он и теперь еще ведет массы. Но мы не в том положении, мы утратили дикую меткость инстинкта, мы настолько рефлектеры, что заглушили в себе естественные влечения, которыми история пробивается к дальнейшему. Мы вообще городские жители, равно лишенные физического и нравственного такта, — земледелец, моряк знает вперед погоду, а мы нет. У нас осталось от инстинкта одно беспокойное желание действовать — и это прекрасно. Сознательного действия, т. е. такого, которое бы вполне удовлетворяло, не может еще быть, мы действуем ощупью. Мы все пробуем втеснять свои мысли, свои желания — среде, нас окружающей, и эти опыты, постоянно неудачные, служат для нашего воспитания. Вы досадуете, что народы не исполняют мысль, дорогую вам, ясную для вас, что они не умеют спастись оружием, которые вы им даете, — и перестать страдать; но почему вы думаете, что народ именно должен исполнять вашу мысль, а не свою, именно в это время, а не в другое? уверены ли вы, что средство, вами придуманное, не имеет неудобств; уверены ли вы, что он — понимает его; уверены ли вы, что нет другого средства, что нет целей шире? — Вы можете угадать народную мысль, это будет удача, но скорей вы ошибетесь. Вы и массы принадлежите двум разным

образованиям, между вами века, больше, нежели океаны, которые теперь переплывают так легко. Массы полны тайных влечений, полны страстных порывов, у них мысль не разъединилась с фантазией, у них она не остается по-нашему теорией, она у них тотчас переходит в действие, им оттого и трудно привить мысль, что она не шутка для них. Оттого они иногда обгоняют самых смелых мыслителей, увлекают их поневоле, покидают середь дороги тех, которым поклонялись вчера, и отстают от других вопреки очевидности; они дети, они женщины, они капризны, бурны, непостоянны. Вместо того, чтоб изучить эту самобытную физиологию рода человеческого, сродниться, понять ее пути, ее законы, мы принимаемся критиковать, учить, приходить в негодование, сердиться, как будто народы или природа отвечают за что-нибудь, как будто им есть дело, нравится ли нам или не нравится их жизнь, которая влечет их поневоле к неясным целям и безответным действиям! До сих пор это дидактическое, жреческое отношение имело свое оправдание, но теперь оно становится смешно и ведет нас к битой роли — разочарованных. Вы обижены тем, что делается в Европе, вас возмущает эта свирепая, тупая и победоносная реакция; и меня также, но вы, верные романтизму, — сердитесь, хотите бежать для того только, чтоб не видеть истины. Я согласен, что пора выходить из нашей искусственной, условной жизни, но не бегством в Америку. Что вы там найдете? Северные Штаты — последнее, опрятное издание того же феодально-христианского текста да еще в грубом английском переводе; год тому назад отъезд ваш не имел бы ничего удивительного — обстоятельства тащились томно, вяло. А как же ехать в пуший разгар перелома, когда все в Европе бродит, работает, когда падают вековые стены, кумир валится за кумиром, когда в Вене научились строить баррикады...*

— А в Париже научились их ломать ядрами. Когда вместе с кумирами (которые, впрочем, восстанавливаются на другой день) падают навсегда лучшие плоды европейской жизни, так трудно выработанные, выращенные веками. Я вижу суд, я вижу казнь, смерть; но я не вижу ни воскресения, ни помилования. Эта часть света кончила свое, силы ее истощились; народы, живущие в этой полосе, дожили до конца своего призвания,

они начинают тупеть, отставать. История, повидимому, нашла другое русло; я иду туда; вы мне сами доказывали в прошлом году что-то подобное,— помните, на пароходе, когда мы плыли из Генуи в Чивитту.

—Помню, это было *перед грозой*. Только тогда вы возражали мне, а теперь согласились через край. Вы не жизнью, не мыслию дошли до вашего нового взгляда, оттого вместо спокойного характера он имеет у вас характер судорожный; вы дошли до него *par dépit*¹, от минутного отчаяния, которым вы наивно и без намерения прикрыли прежние надежды. Если бы этот взгляд не был в вас капризом будирующего любовника, а просто трезвым знанием того, что делается, вы иначе выражались бы, иначе смотрели бы; вы оставили бы личную *gancune*², вы забыли бы себя, тронутые и исполненные ужаса при виде трагической судьбы, совершающейся перед вашими глазами; но идеалисты скупы на то, чтоб отдаваться; они так же упорно себялюбивы, как монахи, которые переносят всякие лишения, не выпуская из виду себя, свою личность, награду. Чего вы боитесь оставаться здесь? Разве вы уходите из театра при начале пятого действия каждой трагедии, боясь расстроить нервы?.. Судьба Эдипа не облегчится тем, что вы оставите партер, он все так же погибнет. Оставаться до последней сцены лучше, иногда зритель, задавленный несчастьем Гамлета, встретит молодого Фортинбраса, полного жизни и надежд *. Самое зрелище смерти торжественно — в нем лежит великое поучение... Туча, висевшая над Европой, не позволявшая никому свободно дышать, разразилась, молния за молнией, удар за ударом, земля трясется, а вы хотите бежать оттого, что Радецкий взял Милан *, а Каваньяк Париж. Вот что значит не признавать объективность истории; я ненавижу смирение, но в этих случаях смирение показывает понимание, тут место покорности перед историей, признания ее. Сверх того, она лучше идет, нежели можно было ожидать. За что же вы сердитесь? Мы приготовлялись зачахнуть, увянуть в нездоровой и утомительной среде медленного старчества, а у

¹ с досады (франц.).— *Ред.*

² злобу (франц.).— *Ред.*

Европы вместо маразма открылся тифус; она рушится, разваливается, тает, забывается... забывается до того, что в ее борьбах обе стороны бредят и не понимают больше ни себя, ни врага. Пятое действие трагедии началось 24 февраля; грусть, трепетное состояние духа совершенно естественно, ни один серьезный человек не глумится при таких событиях, но это далеко от отчаяния и от вашего взгляда. Вы воображаете, что вы отчаяваетесь оттого, что вы революционер, и ошибаетесь; вы отчаяетесь оттого, что вы консерватор.

— Очень благодарен; по-вашему, я стою на одной доске с Радецким и Виндишгрецом.

— Нет, вы гораздо хуже. Какой же консерватор Радецкий? Он все ломает, он чуть не подорвал пороховым миланский собор. Неужели вы серьезно полагаете, что это консерватизм, когда дикие кроаты берут приступом австрийские города и не оставляют там камня на камне? Ни они, ни их генералы не знают, что делают, но только они *не хранят*. Вы всё судите по знаменам: эти за императора — консерваторы, эти за республику — революционеры. Нынче монархическое начало и консерватизм дерутся с обеих сторон. Самый вредный консерватизм тот, который со стороны республики, тот, который проповедуете вы.

— Однако не мешало бы сказать, что я стремлюсь сохранить, в чем именно вы находите мой *революционный* консерватизм.

— Скажите, ведь вам досадно, что конституция, которую сегодня провозглашают, так глупа?

— Разумеется.

— Вас сердит, что движение в Германии ушло сквозь франкфуртскую воронку и исчезло*, что Карл-Альберт не отстаивал независимость Италии*, что Пий IX оказывается как-то из рук вон плох?*

— Что же из этого? Я не хочу и защищаться.

— Это-то и есть консерватизм. Если б ваши желания исполнились, вышло бы торжественное оправдание старого мира. Все было бы оправдано — кроме революции.

— Стало быть, нам остается радоваться, что австрийцы победили Ломбардию?

— Зачем же радоваться? Ни радоваться, ни удивляться; Ломбардия не могла освободиться демонстрациями в Милане и помощью Карла-Альберта.

— Хорошо нам здесь рассуждать об этом *sub specie aeternitatis*...¹ Впрочем, я умею отделять человека от его диалектики; я уверен, что вы забыли бы все ваши теории перед грудами трупов, перед ограбленными городами, оскорбленными женщинами, перед дикими солдатами в белых мундирах*.

— Вы вместо ответа делаете воззвание к состраданию, которое всегда удается. Сердце есть у всех, кроме у нравственных уродов. Судьбой Милана так же легко тронуть, как судьбой герцогини Ламбаль *, человеку естественно сострадать; вы не верьте Лукрецию, что нет больше наслаждения, как смотреть с берега на тонущий корабль, — это клевета поэта*. Случайные жертвы, падающие от дикой силы, возмущают все нравственное существо наше. Я не видал Радецкого в Милане, но видел чуму в Александрии, я знаю, как эти роковые бичи унижают, оскорбляют человека, но на этом плаче останавливаться — бедно, слабо. Рядом с негодованием в душе является непреодолимое желание противудействия, борьбы, исследования, изыскания средств, причин. Чувствительностию не разрешишь этих вопросов. Доктора рассуждают о труднобольном не так, как безутешные родственники; они могут в душе плакать, принимать участие, но для борьбы с болезнью надобно пониманье, а не слезы. Наконец, как бы врач ни любил больного, он не должен теряться, он не должен удивляться приближению смерти, неотразимость которой он понял. Впрочем, если вы жалеете *только* людей, гибнувших при этом страшном брожении и разгроме, вы правы; к бесчувственности надобно воспитаться; люди, не имеющие никакого сострадания к ближнему, — военачальники, министры, судьи, палачи — всю жизнь своей отучали себя от всего человеческого; если б им не удалось это, они остановились бы на полдороге. Ваша скорбь вполне оправдана, и я не имею для вас утешений — разве одни количественные: вспомните, что все случившееся, от восстания в Палерме* до взятия Вены *, не стоило Европе трети людей,

¹ с точки зрения вечности... (лат.). — Ред.

погибнувших под Эйлау *, например. Наши понятия так еще сбиты, что мы не умеем считать падших, если они пали в рядах, куда их привела не охота драться, не убеждение, а *гражданская чума*, называемая рекрутством. Павшие за баррикадами знали по крайней мере, за что падают; ну, а те, если б могли слышать, чем началось речное свидание двух императоров *, им пришлось бы краснеть за свою храбрость. «Из чего мы с вами деремся? — спросил Наполеон, — это одно недоразумение!» — «В самом деле, не из *чего», — отвечал Александр, и они поцеловались. Десятки тысяч воинов, с удивительной отвагой, перебили бездну других и сами легли костями из-за *недоразумения*. Как бы то ни было, мало ли, много ли погибло людей, повторяю, их жаль, очень жаль. Но мне кажется, что вы печалитесь не об одних людях, вы еще что-то оплакиваете!

— Очень многое. Я оплакиваю революцию 24 февраля, так величественно начавшуюся и так скромно погибнувшую. Республика была возможна, я ее видел, я дышал ее воздухом; республика была не мечта, а быль, и что же из нее сделалось? Мне ее жаль так, как жаль Италию, проснувшуюся для того, чтоб на другой день быть побежденной, так, как жаль Германию, которая встала во весь рост для того, чтоб упасть к ногам своих тридцати помещиков. Мне жаль, что человечество опять отодвинулось на целое поколение, что движение опять заморожено, остановлено.

— Что касается до движения собственно, его не уймешь. Девиз нашего времени, больше нежели когда-нибудь, *semper in motu*¹... видите, как я был прав, упрекая вас в консерватизме, он у вас доходит до противуречий. Не вы ли мне рассказывали, год тому назад, о страшном нравственном падении образованных сословий во Франции и вдруг поверили, что за ночь из них сделались республиканцы, оттого что народ прогнал в три шеи упрямого старика * и на место упорного квекера *, окруженного мелкими дипломатами, позволил сесть бесхарактерному теофилантропу *, окруженному мелкими журналистами.

— Теперь легко быть пронцательным.

¹ вечно в движении (лат.). — *Ред.*

— И тогда было не трудно; 26 февраля определило весь характер 24-го*. Все не-консерваторы поняли, что эта республика — игра слов,— Бланки и Прудон, Распаль и Пьер-Ле-Ру. Тут не дар пророчества нужен, а навык добросовестного изучения, привычка наблюдать; вот оттого-то я и рекомендую укреплять, изоцрять ум естественными науками. Натуралист привыкает не вносить до поры до времени ничего своего, следит, выжидает; он не проронит ни одного признака, ни одной перемены, он ищет истину бескорыстно, не подкладывая ни любви своей, ни своей ненависти. Заметьте, что самый пронизательный публицист первой революции был коновал * и что химик¹ 27 февраля печатал в своем журнале *, который сожгли студенты в Quartier Latin², то, что теперь все увидели, но чего уже поправить нельзя. Непростительно было ждать что-нибудь от политического сюрприза 24 февраля — кроме брожения; оно и началось с этого дня, и это великий результат его; отрицать брожения нельзя, оно влечет Францию и всю Европу от потрясения к потрясению. Того ли вы хотели, того ли ждали? Нет, вы ждали, что *благоразумная* республика удержится на золотушных ножках ламартиновской елейности, обернутых бюльтенями Ледрю-Роллена*. Это было бы всемирное несчастье, такая республика была бы самым тяжелым тормозом, который задержал бы все колеса истории. Республика Временного правительства, основанная на старых монархических началах, была бы вреднее всякой монархии. Она явилась не как нелепость насилия, а как вольное соглашение, не как историческое несчастье, а как нечто рациональное, справедливое, с своим тупым большинством голосов и с своею ложью на знамени. Слово «республика» имело ту нравственную силу, которой нет больше ни у одного трона; обманывая своим именем, она ставила подпорки для поддержки падающего государственного устройства. Реакция спасла движение, реакция сбросила маски и этим спасла революцию. Люди, которые годы остались бы в опьянении от ламартиновского лауданума, протрезвели от трехмесячного осадного положения*; они знают теперь, что значит усмирять возмущения по понятиям *этой*

¹ Распаль.

² Латинском квартале (франц.).— *Ред.*

республики. Вещи, которые были понятны для нескольких человек, сделались доступны всем: все знают, что не Каваньяк виноват в том, что делалось, что винить палача глупо, что он больше гадок, нежели виноват. Реакция сама подрубила ноги последним кумирам, за которыми, как за престолом в алтаре, прятался старый порядок. Народ не верит теперь в республику и превосходно делает, пора перестать верить в какую б то ни было единую, спасающую церковь. Религия республики была на месте в 93 г., и тогда она была колоссальна, велика, тогда она произвела этот величавый ряд гигантов, которыми замыкается длинная эра политических переворотов. Формальная республика показала себя после июньских дней. Теперь начинают понимать несовместность *братства и равенства* с этими капканами, называемыми асизами; *свободы* и этих бойн под именем военно-судных комиссий; теперь никто не верит в подтасованных присяжных, которые решают в жмурки судьбу людей, без апелляции; в гражданское устройство, защищающее только собственность, ссылающее людей в виде меры общественного спасения, содержащее хоть сто человек постоянного войска, которые, не спрашивая причины, готовы спустить курок по первой команде. Вот польза реакции. Сомнения бродят, занимают умы, заставляют задумываться; а не легко было дойти до них, особенно французам, которые чрезвычайно туги на понимание нового, несмотря на всю остроту свою. То же в Германии; Берлину, Вене удалось сначала, они было обрадовались своим диетам, своим хартиям, о которых скромно вздыхали тридцать пять лет. Теперь, испытав реакцию и зная по опыту, что такое диеты и камеры, они не удовлетворятся никакой хартией, ни данной, ни взятой, они сделались для немцев то, что для человека игрушка, о которой он мечтал ребенком. Европа догадалась, благодаря реакции, что представительная система — хитро придуманное средство перегонять в слова и бесконечные споры общественные потребности и энергическую готовность действовать. Вместе того, чтоб радоваться этому, вы негодуете. Вы негодуете за то, что Национальное собрание, составленное из реакционеров, облеченное нелепой властью, под влиянием трусости вотировало нелепость; а по-моему, это великое доказательство,

что ни этих вселенских соборов для законодательства, ни представителей вроде первосвященников — вовсе не нужно, что умной конституции теперь вотировать невозможно. Не смешно ли писать уложение для грядущих поколений, когда у дряхлого мира едва есть время на то, чтоб распорядиться будущим и продиктовать как-нибудь духовное завещание? Вы оттого не рукоплещете всем этим неудачам, что вы консерватор, что вы, сознательно или нет, принадлежите к этому миру. В прошлом году, сердясь, негодуя на него, вы не выходили из него; за это он обманул вас 24 февраля; вы поверили, что он может спастись домашними средствами, агитацией, реформами, что он может обновиться, оставаясь при старом; вы верили, что он *может* исправиться, и теперь верите. Сделайся уличный бунт, провозгласи французы Ледрю-Роллена президентом, вы опять взойдете в восторг. Пока вы молоды, это простительно, но оставаться в этом направлении надолго я не советую, вы сделаетесь смешны. У вас натура живая, восприимчивая — переступите последний забор, потрясите последнюю пыль с сапогов ваших и убедитесь, что маленькие революции, маленькие перемены, маленькие республики недостаточны, круг действия их слишком ограничен, они теряют всякий интерес. Не надобно им поддаваться, все они заражены консерватизмом. Я отдаю им справедливость, разумеется, они имеют свою хорошую сторону; в Риме при Пии IX стало лучше жить, нежели при пьяном и злом Григории XVI; республика 26 февраля в некоторых отношениях дает более удобную форму для новых идей, нежели монархия, но все эти пальятивные средства столько же вредны, сколько полезны, они минутным облегчением заставляют забыть болезнь. А потом, как взглядишься в эти улучшения, как посмотришь, с каким кислым, недовольным лицом делаются они, как всякую уступку представляют благодеянием, дают нехотя, оскорбляя, — так, право, охота пройдет слишком дорого ценить их услугу. Я не умею выбирать между рабствами так, как между религиями; у меня вкус притупился, я не в состоянии различать тонкостей, которое рабство хуже, которое лучше, которая религия ближе к спасению, которая дальше, что притеснительнее: *честная* республика или *честная*

монархия, революционный консерватизм Радецкого или консервативная революционность Каваньяка, что пошлее: кверкеры или иезуиты, что хуже: розги или краподина. С обеих сторон рабство, с одной — хитрое, прикрытое именем свободы и, следовательно, опасное; с другой — дикое, животное и, следовательно, бросающееся в глаза. По счастью, они друг в друге не узнают родственных черт и готовы ежеминутно вступить в бой; пусть борются, пусть составляют коалиции, пусть грызут друг друга и тащат в могилу. Кто бы из них ни восторжествовал, ложь или насилие, на первый случай это победа не для нас, а впрочем, и не для них; все, что победители успеют, — это ловко пошировать денек, другой.

— А нам оставаться попрежнему зрителями, вечными зрителями, жалкими присяжными, которых приговор не исполняется; понятыми, в свидетельстве которых не нуждаются. Я удивляюсь вам и не знаю, должен ли завидовать или нет. С таким деятельным умом у вас столько — как бы это сказать? — столько воздержности.

— Что делать? Я себя не хочу насиловать, искренность и независимость — мои кумиры, мне не хочется стать ни под то, ни под другое знамя; оба стана так хорошо стоят на дороге к кладбищу, что помощь моя им не нужна. Такие положения бывали и прежде. Какое участие могли принимать христиане в римских борьбах за претендентов на императорство? Их называли трусами, они улыбались и делали свое дело, молились и проповедовали.

— Проповедовали потому, что были сильны верою, имели единство учения; где у нас евангелие, новая жизнь, к которой мы зовем, добрая весть, о которой мы призваны свидетельствовать миру?

— Проповедуйте весть о смерти, указывайте людям каждую новую рану на груди старого мира, каждый успех разрушения; указывайте хилость его начинаний, мелкость его домогательств, указывайте, что ему нельзя выздороветь, что у него нет ни опоры, ни веры в себя, что его никто не любит в самом деле, что он держится на недоразумениях; указывайте, что каждая его победа — ему же удар; проповедуйте *смерть* как добрую весть приближающегося искупления.

— Уж не лучше ли молиться?.. Кому проповедовать, когда с обеих сторон падают ряды жертв? Это один парижский архиерей не знал, что во время сражения ни у кого нет уха *. Погодимте еще немного; когда борьба кончится, тогда начнемте проповедовать о смерти, никто не будет мешать на обширном кладбище, на котором лягут рядом все бойцы; кому же лучше и слушать апотеозу смерти, как не мертвым? Если дела пойдут, как теперь, зрелище будет оригинальное; будущее, водворяемое погибнет вместе с дряхлым, отходящим; недоношенная демократия замрет, терзая холодную и исхудалую грудь умирающей монархии.

— Будущее, которое гибнет, не будущее. Демократия — по преимуществу настоящее; это борьба, отрицание иерархии, общественной неправды, развившейся в прошедшем; очистительный огонь, который сожжет отжившие формы и, разумеется, потухнет, когда сожигаемое кончится. Демократия не может ничего создать, это не ее дело, она будет нелепостью после смерти последнего врага; демократы только *знают* (говоря словами Кромвеля), *чего не хотят; чего они хотят, они не знают.*

— За знанием чего мы не хотим, таится предчувствие чего хотим; на этом основана мысль, которая до того часто повторялась, что совестно на нее ссылаться, — мысль о том, что каждое разрушение — своего рода создание. Человек не может довольствоваться одним разрушением, это противно его творческой натуре. Для того, чтоб он проповедовал смерть, ему нужна вера в возрождение. Христианам легко было возвещать кончину древнего мира, у них похороны совпадали с крестинами.

— У нас не одно предчувствие, но есть и нечто побольше; только мы не так легко удовлетворяемся, как христиане; у них один критерий и был — вера. Для них, конечно, было большое облегчение в незыблемой уверенности, что церковь восторжествует, что мир примет крещение; им и в голову не приходило, что крещеный ребенок выйдет не совсем по желанию духовных родителей. Христианство осталось благочестивым упованием; теперь, накануне смерти, как в первом столетии, оно утешается небом, раем; без неба оно пропало. Водворение мысли о новой жизни несравненно труднее в наше время, у нас нет неба, нет

«веси божией», наша *весь* человеческая и должна осуществиться на той почве, на которой существует все действительное, — на земле. Тут нельзя сослаться ни на искушение дьявола, ни на помощь Божию, ни на жизнь за гробом. Демократия, впрочем, и не идет так далеко, она сама еще стоит на христианском берегу, в ней бездна аскетического романтизма, либерального идеализма; в ней страшная мощь разрушения, но как примется создавать, она теряется в ученических опытах, в политических этюдах. Конечно, разрушение создает, оно расчищает место, и это уж создание; оно отстраняет целый ряд лжи, и это уж истина. Но действительного творчества в демократии нет — и потому-то она не будущее. Будущее вне политики, будущее носится над хаосом всех политических и социальных стремлений и возьмет из них нитки в свою новую ткань, из которой выйдут саван прошедшему и пеленки новорожденному. Социализм соответствует назарейскому учению в Римской империи.

— Если припомнить, что вы сейчас сказали о христианстве, и продолжить сравнение, то будущность социализма незавидная, он останется вечным упованием.

— И по дороге разовьет блестящий период истории под своим благословением. Евангелие не осуществилось, да это и не нужно было; а осуществились средние века, века восстановления, века революции, но христианство проникло во все эти явления, участвовало во всем, указывало, напутствовало. Исполнение социализма представляет также неожиданное сочетание отвлеченного учения с существующими фактами. Жизнь осуществляет только ту сторону мысли, которая находит себе почву, да и почва при том не остается страдательным носителем, а дает свои соки, вносит свои элементы. Новое, возникающее из борьбы утопий и консерватизма, входит в жизнь не так, как его ожидала та или другая сторона; оно является переработанным, иным, составленным из воспоминаний и надежд, из существующего и водворяемого, из преданий и возникновений, из верований и знаний, из отживших римлян и неживших германцев, соединяемых одной церковью, чуждой обоим. Идеалы, теоретические построения никогда не осуществляются так, как они носятся в нашем уме.

— Как и для чего они приходят в голову после этого? Это какая-то ирония.

— А отчего вам хочется, чтоб в уме человека все было в обрез? что за прозаическое сведение всего на крайне нужное, на необходимо полезное, на неминуемо прилагаемое? Вспомните старика Лира, который, когда одна из дочерей уменьшала его штат и уверяла, что ему про нужду достанет, сказал ей: «Про нужду — может быть, но знаешь ли ты, когда человек сводится только на то, что ему нужно, он делается зверем»*. Фантазия и мысль человека несравненно свободнее, нежели полагают; целые миры поэзии, лиризма, мышления, независимые до некоторой степени от окружающих обстоятельств, дремлют в душе каждого. Их будит толчок, и они просыпаются с своими видениями, решениями, теориями; мысль, опираясь на фактическое данное, стремится к их всеобщим нормам, старается ускользнуть от случайных и временных определений в логические сферы, — но от них до сфер практических очень далеко.

— Слушая ваши слова, я думал теперь, отчего у вас так много нелицеприятной справедливости, — и нашел причину: вы не ринуты в поток, вы не вовлечены в этот круговорот; посторонний всегда лучше разбирает семейные дела, нежели члены семейства. Но если б вы, как многие, как Барбес, как Маццини, работали всю жизнь, потому что внутри вашей души раздавался голос, который требовал этой деятельности, которого перекричать не было у вас возможности, потому что он поднимался из глубины оскорбленного сердца, обливающегося кровью при виде притеснения, замирающего при виде насилия; если б этот голос был не только в уме и сознании, но в крови, в нервах, и вы, следуя ему, попали бы в действительное столкновение с властью, долю жизни были бы в цепях, скитались бы изгнанником, и вдруг для вас наступила бы заря того дня, который вы ожидали полжизни, — вы бы, как Маццини, на итальянском языке, при громе рукоплесканий, говорили бы в Милане на площади, открыто, слова независимости и братства, не боясь белого мундира и желтых усов. Если б вы, после десятилетнего заключения, как Барбес, были принесены ликующей толпой на площадь того города, где вам один

товарищ палача читал приговор, а другой его товарищ вас миловал пожизненными цепями *; и вы бы после всего этого увидели осуществленную вашу мысль и слышали бы двухсоттысячную толпу, которая приветствует мученика криком: «Vive la République!»¹, и вслед за тем вам пришлось бы увидеть Радецкого в Милане, Каваньяка в Париже и опять сделаться скитальцем, колодником; представьте к тому, что вы не имели бы утешения отнести все это на счет материальной, грубой силы, а напротив, видели бы народ, изменяющий самому себе, видели бы те же толпы, избирающие теперь, кому дать в руки нож против себя, — вы не стали бы тогда умеренно и основательно рассуждать, насколько мысль обязательна и где пределы воли. Нет, вы проклинали бы эти людские стада, любовь превратилась бы в ненависть или, хуже, в презрение. Вы, может, пошли бы в монастырь со всем атеизмом вашим.

— Это было бы доказательством, что и я слаб, подтверждением того, что все люди слабы, что мысль не только не обязательна для мира, но даже для самого человека. Но, простите, я никак не могу вам позволить свести разговор наш на личности. Замечу одно: да, я зритель, только это и не роль, и не натура моя, это мое положение; я понял его, это мое счастье; когда-нибудь поговорим обо мне, теперь мне не хочется отвлекаться. — Вы говорите, что я проклинал бы народ; может быть, но это было бы очень глупо. Народы, массы — это стихии, океаниды; их путь — путь природы, они, ее ближайшие преемники, влекутся темным инстинктом, безотчетными страстями, упорно хранят то, до чего достигли, хотя бы оно было дурно; ринутые в движение, они неотразимо увлекают с собою или давят все, что попало на дороге, хотя бы оно было хорошо. Они идут, как известный индийский кумир, все встречные бросаются под его колесницу *, и первые раздавленные бывают усерднейшие поклонники идола. Народы обвинять нелепо, они правы, потому что всегда сообразны обстоятельствам своей былой жизни; на них нет ответственности ни за добро, ни за зло, они факты, как урожай и неурожай, как дуб и колос. Ответственность скорее на меньшинстве, которое представляет

¹ «Да здравствует республика!» (франц.). — *Ред.*

собою сознанныю мысль своего времени, хотя и оно не виновато; вообще юридическая точка зрения не годится нигде, кроме в суде, и именно потому все суды в мире никуда не годятся. Понимать и обвинять — это почти так же нелепо, как не понимать и казнить. Виновато ли меньшинство, что все историческое развитие, вся цивилизация предшествующих веков была для него, что у него ум развит на счет крови и мозга других, что оно вследствие этого далеко ушло вперед от одичалого, неразвитого, задавленного тяжким трудом народа? Тут не вина, тут трагическая, роковая сторона истории; ни богатый не отвечает за богатство, найденное им в колыбели, ни бедный за бедность, они оба оскорблены несправедливостью, фатализмом. Если мы и имеем некоторое право требовать, чтоб страждущий, худой от голода и горя, притесненный и оскорбляемый народ отпустил нам наше неправоe стяжение, наше превосходство, наше развитие, потому что мы в нем неповинны, потому что мы работаем над тем, чтоб сознательно поправить бессознательный грех, то откуда возьмем мы силу проклинать, презирать народ, который остался Каспаром Гаузером * для того, чтоб мы с вами читали Данта, слушали Бетговена? Презирать за то, что он не понимает нас, пользующихся монополией понимания, — это безобразная, гнусная жестокость. Вспомните, как было дело: образованное меньшинство, долго наслаждаясь в своем исключительном положении, в своем аристократическом, литературном, художественном, правительственном круге, наконец почувствовало угрызение совести, оно вспомнило забытых братьев, мысль о несправедливости общественного устройства, мысль о равенстве, как электрическая искра, облетела лучшие умы прошлого века. Книжно, теоретически поняли люди несправедливость и книжно хотели ее поправить, это позднее раскаяние меньшинства назвали либерализмом. Они, добросовестно желая вознаградить народ за тысячелетние унижения, провозгласили его самодержавным, требовали, чтоб каждый поселянин вдруг сделался политическим человеком, понял запутанные вопросы полусвободного и полурабского законодательства, оставил свою работу, т. е. кусок хлеба, и, новый Цинциннат, шел бы заниматься общественными делами. О хлебе насущном — либерализм серьезно не думал,

он слишком романтик, чтоб пещься о таких грубых потребностях. Либерализму легче было выдумать народ, нежели его изучить. Он налгал на него из любви не меньше того, что на него налгали другие из ненависти. Либералы сочинили свой народ а priori, построили его по воспоминаниям, из прочтенного, одели его в римскую тогу и в пастушеский наряд. О действительном народе мало думали; он жил, работал, страдал возле, около, и если его кто-нибудь знал, то это его враги — попы и легитимисты. Судьба его оставалась по-старому, зато народ вымышленный сделался кумиром в новой политической религии — елей, которым мазали чело царей, перешел на загорелое чело, покрытое морщинами и горьким потом. Не освободивши ни его рук, ни его ума, либерализм посадил народ на трон и, кланяясь ему в пояс, старался в то же время оставить власть себе. Народ поступил, как один из его представителей, Санчо-Панса,— он отказался от мнимого престола или, лучше сказать, и не садился на него *. Мы начинаем понимать ложное с обеих сторон, это значит, что мы выходим на дорогу; будемте указывать ее всем, но зачем же, обертываясь назад, мы будем ругаться? Я не токмо не виню народ, но не виню и либералов; они большею частью любили народ по-своему, они много жертвовали для своей идеи, это всегда почтенно,— но они были на ложном пути. Их можно сравнить с прежними натуралистами, которые начинали и окончивали изучение природы в гербарии, в музее; все, что они знали о жизни, был труп, мертвая форма, след жизни. Честь и слава тем, которые догадались взять котомку и идти в горы, плыть за моря ловить природу и жизнь на самом деле. Но зачем же их славой, их успехами задвигать труды их предшественников? Либералы были вечные жители больших городов и маленьких кружков, люди журналов, книг, клубов, они вовсе не знали народа, они его глубокомысленно изучали по историческим источникам, по памятникам — а не по деревне, не по рынку. Больше или меньше все мы грешны в этом, отсюда недоразумения, обманутые надежды, досада, наконец отчаяние. Если б вы были знакомы с внутренней жизнью Франции, вы не удивлялись бы, что народ хочет вотировать за Бонапарта; вы знали бы, что народ французский не имеет ни малейшего понятия о свободе,

о республике, но имеет бездну национальной гордости; он любит Бонапартов и терпеть не может Бурбонов. Бурбоны для него напоминают корвею¹, Бастилью, дворян; Бонапарты — рассказы стариков, песни Беранже, победы и, наконец, воспоминания о том, как сосед, такой же крестьянин, возвращался генералом, полковником, с Почетным Легионом на груди... и сын соседа торопится подать голос за *племянника* *.

— Конечно, так. Одно странно, отчего же они забыли деспотизм Наполеона, его конскрипции, тиранство префектов, если у них так хороша память?

— Это очень просто, для народа деспотизм не может составить характеристики империи. Для него до сих пор все правительства были деспотизмом. Он, например, узнал республику, провозглашенную для удовольствия «Реформы», для пользы «Националя», — по 45-сантимному налогу*, по депортациям, по тому, что бедным работникам не выдают пассивов в Париж*. Народ вообще плохой филолог, слово «республика» его не тешит, ему от него не легче. Слова «империя», «Наполеон» его электризуют, далее он не идет.

— Если на все смотреть таким образом, то я сам начинаю думать, что не только перестанешь сердиться и что-нибудь делать, но перестанешь иметь даже желание что-нибудь делать.

— По-моему, я говорил вам, понимать — это уж действовать, осуществлять. Вы думаете, что, когда поймешь окружающее, пройдет желание действовать, — это значило бы, что вы хотели делать не то, что надобно. Ищите в таком случае другой работы; не найдете внешней, найдете внутреннюю. Странен человек, который ничего не делает, имея дело; но ведь странен и тот, который, не имея дела, делает. Труд вовсе не клубок на нитке, который дают котенку, чтоб его занимать, он определяется не одним желанием, но и требованием на него.

— Я никогда не сомневался, что думать всегда можно, и не смешивал насильственного бездействия с произвольным безмыслием. Я предвидел, впрочем, утешительный результат, к которому вы придете, — оставаться в рассуждающем

¹ барщину, от *corvée* (франц.). — *Ред.*

бездействию, останавливая умом сердце и критикой любовь к человечеству.

— Для того, чтоб деятельно участвовать в мире, нас окружающем, я повторяю вам, мало желания и любви к человечеству. Все это какие-то неопределенные, мерцающие понятия — что такое любить человечество? что такое самое человечество? Все это сдается мне прежними христианскими добродетелями, подогретыми на философском очаге. Народы любят соотечественников — это понятно, но что такое любовь, которая обнимает все, что перестало быть обезьяной, от эскимоса и готтентота до далай-ламы и папы, — я не могу в толк взять... что-то слишком широко. Если это та любовь, которою мы любим природу, планеты, вселенную, то я не думаю, чтоб она могла быть особенно деятельна. Или инстинкт, или понимание среды, в которой вы живете, ведут вас к деятельности? Инстинкт ваш утрачен, — утратьте ваше отвлеченное знание и станьте самоотверженно перед истиной, поймите ее, тогда вы увидите, какая деятельность нужна, какая нет. Хотите вы политической деятельности в существующем порядке, сделайте Маррастом, сделайте Одилоном Барро, и она вам будет. Вы этого не хотите, вы чувствуете, что всякий порядочный человек — совершенно посторонний во всех политических вопросах, что он не может серьезно думать — нужен или не нужен президент республике? может или нет Собрание посылать людей на каторгу без суда? или еще лучше — должно ли подать голос за Каваньяка или за Луи Бонапарта?.. Думайте месяц, думайте год, кто из них лучше, — вы не решите, оттого что они, как говорят дети, «оба хуже». Все, что остается делать человеку, уважающему себя, — вовсе не вотировать. Посмотрите на другие вопросы à l'ordre du jour¹ — всё то же; «они посвящены богам», смерть у них за плечами. Что делает священник, призванный к умирающему? Он не лечит его, он не возражает на его бред, а читает ему отходную. Читайте отходную, читайте смертный приговор, исполнение которого идет не по дням, а по часам; убедитесь раз навсегда, что никто из осужденных не уйдет от казни: ни *самодержавие* петербургского царя,

¹ в повестке дня (франц.). — *Ред.*

ни *свобода* мещанской республики, да и не жалеете ни того, ни другого. Убеждайте лучше легкомысленных, поверхностных людей, которые рукоплещут падению австрийской империи и бледнеют за судьбу полуреспублики, что падение ее — такой же великий шаг к освобождению народов и мысли, как падение Австрии, что никаких исключений не надобно, никакой пощады, что время снисхождения не пришло; скажите словами либералов-реакционеров, что «амнистия — дело будущего», требуйте вместо любви к человечеству *ненависти* ко всему, что валяется на дороге и мешает идти вперед. Пора перевязать всех врагов развития и свободы одной веревкой так, как *они* перевязывают колодников, и провести их по улицам, чтоб все видели круговую поруку — французского кодекса и русского свода, Каваньяка и Радецкого, — это будет великое поучение. Кто теперь, после этих грозных, потрясающих событий не протрезвится, никогда не протрезвится и умрет каким-нибудь рыцарем Тогенбургом либерализма, как Лафайет? Террор казнил людей, наша судьба легче, мы призваны казнить учреждения, разрушать верования, отнимать надежду на старое, ломать предрассудки, касаться до всех прежних святынь без уступок, без пощады. Улыбка, привет одному возникающему, одной заре, и если мы не в силах подвинуть ее часа, то, по крайней мере, можем указывать ее близость тем, которые не видят.

— Как этот старик-нищий на Вандомской площади, который всякую ночь предлагает прохожим свой телескоп, чтоб посмотреть на дальние звезды?

— Ваше сравнение очень хорошо, именно показывайте каждому идущему мимо, как все ближе и ближе подступают, как растут и поднимаются волны карающего потока. Указывайте с тем вместе и белый парус ковчега... там вдали на горизонте. Вот вам и дело. Когда все утонет, когда все ненужное растворится и погибнет в соленой воде, когда она начнет сбывать и уцелевший ковчег остановится, тогда будет людям другое дело, много дела. Теперь нет!

Париж, 1 декабря 1848 г.



CONSOLATIO¹

Der Mensch ist nicht geboren frei zu sein² *.

Goethe («TASSO»)

Из окрестностей Парижа мне нравится больше других Монморанси. Там ничего не бросается в глаза, ни особенно бережные парки, как в Сен-Клу, ни будуары из деревьев, как в Трианоне; а ехать оттуда не хочется. Природа в Монморанси чрезвычайно проста, она похожа на те женские лица, которые не останавливают, не поражают, но привлекают каким-то милым и доверчивым выражением, и привлекают тем сильнее, что это делается совершенно незаметно для нас. В такой природе и в таких лицах есть обыкновенно что-то трогательное, успокоивающее, и именно за этот покой, за эту каплю воды Лазарю * всего больше благодарит душа современного человека, непрерывно потрясенная, растерзанная, взволнованная. Я несколько раз находил отдых в Монморанси и за это благодарен ему. Там есть большая роща, местоположение довольно высокое, и тишина, которой под Парижем нигде нет. Не знаю отчего, но эта роща напоминает мне всегда наш русский лес... идешь и думаешь... вот сейчас пахнет дымком от овинов, вот сейчас откроется село... с другой стороны, должно быть, господская усадьба, дорога туда пошире и идет просеком, и верите ли? мне становилось грустно, что через несколько минут выходишь на открытое место и видишь вместо Звенигорода — Париж; вместо окошечка земского или попа —

¹ Утешение (лат.). — *Ред.*

² Человек не рожден быть свободным (нем.). — *Ред.*

окошечко, в которое так долго и так печально смотрел Жан-Жак...

Именно к этому домику шли раз из рощи какие-то, повидимому, путешественники: дама лет двадцати пяти, одетая вся в черном, и мужчина средних лет, преждевременно седой. Выражение их лиц было серьезно, даже покойно. Одна долгая привычка сосредоточиваться и жизнь, обильная мыслями, событиями, дают чертам этот покой. Это не природная тишина, а тишина после бурь, после борьбы и победы.

— Вот дом Руссо,— сказал мужчина, указывая на маленькое строение, окна в три.

Они остановились. Одно окошко было немного приотворено, занавеска колебалась от ветра.

— Это движение занавески,— заметила дама,— наводит невольный страх, так и кажется — вот сейчас подозрительный и раздраженный старик се отдернет и спросит нас, зачем мы тут стоим. Кому придет в голову, глядя на мирный домик, окруженный зеленью, что он был прометеевской скалой для великого человека, которого вся вина состояла в том, что он слишком любил людей, слишком верил в них, желал им больше добра, нежели они сами? Современники не могли ему простить, что он высказал тайное угрызение их собственной совести, и вознаграждали себя искусственным хохотом презрения, а он оскорблялся; они смотрели на поэта братства и свободы как на безумного; они боялись признать в нем разум, это значило бы признать свою глупость, а он плакал об них. За целую жизнь преданности, страстного желания помочь, любить, быть любимым, освободить... находил он мимолетные приветы и постоянный холод, надменную ограниченность, гонения, сплетни! Мнительный и нежный от природы, он не мог стать независимо от этих мелочей и потухал, оставленный всеми, больной, в нищете. В ответ на все его стремления к симпатии, к любви, ему досталась одна Тереза, в ней сосредоточивалось для него все теплое, вся сторона сердца,— Тереза, которая не могла научиться узнавать, который час, существо неразвитое, полное предрассудков, которая стягивала жизнь Руссо в узкую подозрительность, в мещанские пересуды и кончила тем, что рассорила его с последними друзьями.

Сколько горьких минут провел он, облакачиваясь на эту оконницу, с которой кормил птиц, думая, каким злом они ему заплотят! У бедного старика только и оставалось, что природа, — и он, восхищаясь ею, закрыл глаза, усталые от жизни, тяжелые от слез. Говорят, что он даже ускорил минуту покоя... на этот раз Сократ сам осудил себя на смерть за грех сознания, за преступление гениальности. Когда взглядишься серьезно во все, что делается, становится противно жить. Все на свете гадко и притом глупо; люди хлопчут, работают, ни минуты не находят отдыха, а делают всё вздор; другие хотят их вразумить, остановить, спасти — их распинают, гонят — и все это в каком-то бреде, не давая себе труда понять. Волны подымаются, торопятся, клубятся без цели, без нужды... там они разбиваются с бешенством об скалу, тут подмывают берег... мы стоим середь водоворота, бежать некуда. — Я знаю, доктор, вы не так смотрите на жизнь, она вас не сердит, потому что вы в ней ищете один физиологический интерес и мало требуете от нее, вы большой оптимист. Иногда я с вами соглашаюсь, вы меня сбиваете с толку вашей диалектикой; но как только сердце принимает участие, как только из общих сфер, где все разрешено и успокоено, коснешься живых вопросов, взглянешь на людей, душа возмущается. Подавленное на минуту негодование снова просыпается, и досадуешь об одном: что нет достаточно сил ненавидеть, презирать людей за их ленивое бездушие, за их нежелание стать выше, благороднее... если б было можно отвернуться от них! И пусть они делают что хотят в своих полипниках, пусть живут нынче, как вчера, опираясь на привычки и обряды, бессмысленно принимая на веру, что делать и чего не делать... и изменяя притом на каждом шагу своей собственной нравственности, своему собственному катехизису!

— Я не думаю, чтоб вы были справедливы. Разве люди виноваты в вашей доверии к ним, в вашем идеальном понятии об их нравственном достоинстве?

— Я не понимаю, что вы говорите, я сейчас сказала совершенно противоположное. Кажется, это не верх доверия, когда говорят об людях, что у них ничего нет, кроме мученических венцов для всякого пророка и бесполезного раскаяния после

их смерти; что они готовы броситься как звери, на того, кто, заменяя их совесть, *назовет* их дела; кто, снимая на себя их грехи, хочет разбудить их сознание.

— Да, но вы забываете источник вашего негодования? Вы сердитесь на людей за многое, чего они не сделали, потому что вы считаете их способными на все эти прекрасные свойства, к которым вы воспитали себя или к которым вас воспитали, — но они по большей части этого развития не имели. Я не сержусь, потому что и не жду от людей ничего, кроме того, что они делают; я не вижу ни повода, ни права требовать от них чего-нибудь другого, нежели что они могут дать, а могут они дать то, что дадут; требовать больше, обвинять — ошибка, насилие. Люди только справедливы к безумным и к совершенным дуракам, их, по крайней мере, мы не обвиняем за дурное устройство мозга, им прощаем природные недостатки; с остальными страшная моральная требовательность. Почему мы ждем от всех встречаемых на улице примерных доблестей, необыкновенного понимания — я не знаю; вероятно, по привычке все идеализировать, все судить свысока — так, как обыкновенно судят жизнь по мертвой букве, страсть по кодексу, лицо по родовому понятию. Я иначе смотрю, я привык к взгляду врача, к взгляду, совершенно противоположному — судьи. Врач живет в природе, в мире фактов и явлений, он не учит, он учится; он не мстит, а старается облегчить; видя страдание, видя недостатки, он ищет причину, связь, он ищет средств в том же мире фактов. Нет средств, он грустно пожимает плечами, досадует на свое неведение — и не думает о наказании, о пени, не порицает. Взгляд судьи проще, ему, собственно, взгляда и не надобно, недаром Фемиду представляют с завязанными глазами, она тем справедливее, чем меньше видит жизнь; наш брат, напротив, хотел бы, чтобы пальцы и уши имели глаза. Я не оптимист и не пессимист, я смотрю, вглядываюсь, без заготовленной темы, без придуманного идеала, и не тороплюсь с приговором — я просто, извините, скромнее вас.

— Не знаю, так ли я вас поняла, но, мне кажется, вы находите очень естественным, что современники Руссо его мучили маленькими преследованиями, отравили ему жизнь, оклеветали

его; вы им отпускаете их грехи, это очень снисходительно, не знаю, насколько справедливо и нравственно.

— Для того, чтоб отпускать грехи, надобно прежде обвинять; я этого не делаю. Впрочем, пожалуй, я приму ваше выражение, да, я отпускаю им зло, ими причиненное, так, как вы отпускаете холодной погоде, которая на днях простудила вашу малютку. Можно ли сердиться на события, которые независимы ни от чьей воли, ни от чьего сознания? Они иногда бывают очень тяжелы для нас; но обвинение не поможет, а только запутает. Когда мы с вами сидели у кровати больной и горячка так развернулась, что я сам испугался, мне было бесконечно горько смотреть и на больную и на вас; вы так много страдали в эти часы — но вместо того, чтоб проклинать дурной состав крови и с ненавистию смотреть на законы органической химии, я думал тогда о другом, а именно о том, как возможность понимать, чувствовать, любить, привязываться необходимо влечет за собою противоположную возможность несчастья, страданий, лишений, нравственных оскорблений, горечи. Чем нежнее развивается внутренняя жизнь, тем жестче, губительнее для нее капризная игра случайности, на которой не лежит никакой ответственности за ее удары.

— Я сама не обвиняла болезнь. Ваше сравнение не совсем идет; природа вовсе не имеет сознания.

— А я думаю, что и на полусознательную массу людей нельзя сердиться; взойдите в ее состояние борьбы между предчувствием света и привычкой к темноте. Вы берете за норму береженные, особенно удавшиеся оранжерейные цветы, за которыми было бездна ухода, и сердитесь, что полевые не так хороши. Не только это несправедливо, но это чрезвычайно жестоко. Если б у большинства людей было сознание сколько-нибудь светлее, неужели вы думаете, что они могли бы жить в том положении, в котором живут? Они не только зло делают другим, но и себе, и это именно их извиняет. Ими владеет привычка, они умирают от жажды возле колодца и не догадываются, что в нем вода, потому что их отцы им этого не сказали. Люди всегда были такие, пора, наконец, перестать дивиться, негодовать; можно было привыкнуть со времен

.Адама. Это тот же романтизм, который заставлял поэтов сердиться за то, что у них есть тело, за то, что они чувствуют голод. Сердитесь сколько хотите, но мира никак не переделаете по какой-нибудь программе; он идет своим путем, и никто не в силах его сбить с дороги. Узнавайте этот путь — и вы отбросите нравоучительную точку зрения, и вы приобретете силу. Моральная оценка событий и журьба людей принадлежат к самым начальным ступеням понимания. Оно лестно самолюбию — раздавать Монтнионовские премии * и читать выговоры, принимая мерилom самого себя,— но бесполезно. Есть люди, которые пробовали внести этот взгляд в самую природу и сделали разным зверям прекрасные или прескверные репутации. Увидали, например, что заяц бежит от неминуемой опасности, и назвали его трусом; увидали, что лев, который в двадцать раз больше зайца, не бежит от человека, а иногда его съедает,— стали его считать храбрым; увидали, что лев сытый не ест,— сочли это за величие духа; а заяц столько же трус, сколько лев великодушен и осел глуп. Нельзя больше останавливаться на точке зрения Эзоповых басен; надобно смотреть на мир природы и на мир людской проще, покойнее, яснее. Вы говорите о страданиях Руссо. Он был несчастлив, это правда, но и это правда, что страдания всегда сопровождают необыкновенное развитие, натура гениальная может иногда не страдать; сосредоточиваясь в себе, довольствуясь собою, наукой, искусством; но в практических сферах никак. Дело очень простое: такие натуры, входя в обычные людские отношения, нарушают равновесие; среда, их окружающая, им узка, невыносима, их жмут отношения, рассчитанные по иному росту, по иным плечам и необходимые для тех плеч. Все, что давило по мелочи того, другого, все, о чем толковали вразбивку и чему покорялись обыкновенные люди, все это вырастает в нестерпимую боль в груди сильного человека, в грозный протест, в явную вражду, в смелый вызов на бой; отсюда неминуемо столкновение с современниками; толпа видит презрение к тому, что она хранит, и бросает в гения камнями и грязью, до тех пор пока поймет, что он был прав. Виноват ли гений, что он выше толпы, виновата ли толпа, что она его не понимает?

— И вы находите это состояние людей, и притом большинства людей, нормальным, естественным? По-вашему, это нравственное падение, эта глупость так и быть должны? — Вы шутите!

— Как же иначе? Ведь никто не принуждает их так поступать, это их наивная воля. Люди вообще в практической жизни меньше лгут, нежели на словах. Лучшее доказательство их простодушия — в искренней готовности, как только поймут, что совершили какое-либо преступление, раскаяться. Они спохватились, распявши Христа, что скверно сделали, и бросились на колени перед крестом. О каком нравственном падении речь, *si toutefois*¹ вы не говорите о грехопадении, я не понимаю. Откуда было падать? Чем дальше смотришь назад, тем больше встречаешь дикости, непонимания или совершенно иного развития, которое до нас почти не касается; какие-нибудь погибшие цивилизации, какие-нибудь китайские нравы. Долгая жизнь в обществе вырабатывает мозг. Выработка это делается трудно, туго; а тут вместо признания сердятся на людей за то, что они не похожи ни на идеал мудреца, выдуманного стоиками, ни на идеал святого, выдуманного христианами. Целые поколения легли костями, чтоб обжить какой-нибудь клочок земли, века прошли в борьбе, кровь лилась реками, поколения мерли в страданиях, в тщетных усилиях, в тяжелом труде... едва вырабатывая скудную жизнь, немного покоя и пять-шесть умов, которые понимали заглавные буквы общественного процесса и двигали массы к совершению судеб своих. Удивляться надобно, как народы при этих гнетущих условиях дошли до современного нравственного состояния, до своей самоотверженной терпеливости, своей тихой жизни; удивляться надобно, как люди так мало делают зла, а не упрекать их, зачем каждый из них не Аристид и не Симеон Столпник.

— Вы хотите меня уверить, доктор, что людям предназначено быть мошенниками.

— Поверьте, что людям ничего не предназначено.

— Да зачем же они живут?

¹ если только (франц.). — *Ред.*

— Так себе, родились и живут. Зачем все живет? Тут, мне кажется, предел вопросам; жизнь — и цель, и средство, и причина, и действие. Это вечное беспокойство деятельного, напряженного вещества, отыскивающего равновесие для того, чтоб снова потерять его, это непрерывное движение, *ultima ratio*¹, далее идти некуда. Прежде все искали отгадки в облаках или в глубине, подымались или спускались, однако не нашли ничего — оттого, что главное, существенное все тут, на поверхности. Жизнь не достигает цели, а осуществляет все возможное, продолжает все осуществленное, она всегда готова шагнуть дальше — затем, чтоб полнее жить, еще больше жить, если можно; другой цели нет. Мы часто за цель принимаем последовательные фазы одного и того же развития, к которому мы приучились; мы думаем, что цель ребенка совершеннолетие, потому что он делается совершеннолетним, а цель ребенка скорее играть, наслаждаться, быть ребенком. Если смотреть на предел, то цель всего живого — смерть.

— Вы забываете другую цель, доктор, которая развивается людьми, но переживает их, передается из рода в род, растет из века в век, и именно в этой-то жизни неотдельного человека от человечества и раскрываются те постоянные стремления, к которым человек идет, к которым поднимается и до осуществления которых когда-нибудь достигнет.

— Я совершенно согласен с вами, я даже сказал сейчас, что мозг вырабатывается; сумма идей и их объем растет в сознательной жизни, передается из рода в род, но что касается до последних слов ваших, тут позвольте усомниться. Ни стремление, ни верность его — нисколько еще не обуславливает осуществление. Возьмите самое всеобщее, самое постоянное стремление во всех эпохах и у всех народов, — стремление к благосостоянию, стремление, глубоко лежащее во всем чувствующем, развитие простого инстинкта самосохранения, врожденное бегство от того, что причиняет боль, и стремление к тому, что доставляет удовольствие, наивное желание, чтоб было лучше, а не было бы хуже; между тем, работая тысячелетия, люди не достигли даже животного довольства; пропорционально,

¹ последний, решающий довод (лат.). — *Ред.*

я полагаю, что больше всех зверей и больше всех животных страдают рабы в России и гибнут с голоду ирландцы. Отсюда вы можете заключить, легко ли сбудутся другие стремления, неопределенные и принадлежащие меньшинству.

— Позвольте, стремление к свободе, к независимости стоит голода — оно весьма не слабо и очень определено.

— История этого не показывает. Точно, некоторые слои общества, развившиеся при особенно счастливых обстоятельствах, имеют некоторое поползновение к свободе, и то весьма не сильное, судя по нескольким тысячам лет рабства и по современному гражданскому устройству, наконец. Мы, разумеется, не говорим об исключительных развитиях, для которых неволя тягостна, а о большинстве, которое дает постоянное *démenti*¹ этим страдальцам, что и заставило раздраженного Руссо сказать свой знаменитый *non-sens*²: «Человек родится быть свободным — и везде в цепях!» *

— Вы повторяете этот крик негодования, вырвавшийся из груди свободного человека, с иронией?

— Я вижу тут насилие истории, презрение фактов, а это для меня невыносимо; меня оскорбляет самоуправство. К тому же превредная метода вперед решать именно то, что составляет трудность вопроса; что сказали бы вы человеку, который, грустно качая головой, заметил бы вам, что «рыбы рождаются для того, чтобы летать,— и вечно плавают».

— Я спросила бы, почему он думает, что рыбы рождаются для того, чтобы летать?

— Вы становитесь строги; но друг *Рыбства* готов держать ответ... Во-первых, он вам скажет, что скелет рыбы явным образом показывает стремление развить оконечности в ноги или крылья; он вам покажет вовсе не нужные косточки, которые намекают на скелет ноги, крыла; наконец, он сошлется на летающих рыб, которые на деле доказывают, что *Рыбство* не только стремится летать, но иногда и может. Давши вам такой ответ, он будет вправе вас спросить, отчего же вы у Руссо не требуете отчета, почему он говорит, что человек должен быть свободен, опираясь на то, что он постоянно в

¹ опровержение (франц.).— *Ред.*

² нелепость (франц.).— *Ред.*

пенях? Отчего все существующее только и существует так, как оно *должно* существовать, а человек напротив?

— Вы, доктор, преопасный софист, и если б я не коротко вас знала, я считала бы вас пребезнравственным человеком. Не знаю, какие лишние кости у рыб, а знаю только, что в костях у них недостатка нет; но что у людей есть глубокое стремление к независимости, ко всякой свободе, в этом я убеждена. Они заглушают мелочами жизни внутренний голос, и поэтому я на них сержусь. Я утешительнее нападаю на людей, нежели вы их защищаете.

— Я знал, что мы с вами после нескольких слов переменим роли или, лучше, что вы обойдете меня и очутитесь с противоположной стороны. Вы хотите бежать с негодованием от людей за то, что они не умеют достигнуть нравственной высоты, независимости, всех ваших идеалов, и в то же время вы на них смотрите как на избалованных детей, вы уверены, что они на днях поправятся и будут умны. Я знаю, что люди торопятся очень медленно, не доверяю ни их способностям, ни всем этим стремлениям, которые выдумывают за них, и остаюсь с ними, так, как остаюсь с этими деревьями, с этими животными, — изучаю их, даже люблю. Вы смотрите а priori и, может, логически правы, говоря, что человек должен стремиться к независимости. Я смотрю патологически и вижу, что до сих пор рабство — постоянное условие гражданского развития, стало быть, или оно необходимо, или нет от него такого отвращения, как кажется.

— Отчего мы с вами, добросовестно рассматривая историю, видим совершенно разное?

— Оттого, что говорим об разном; вы, говоря об истории и народах, говорите о летающих рыбах, а я о рыбах вообще, — вы смотрите на мир идей, отрешенный от фактов, на ряд деятелей, мыслителей, которые представляют верх сознания каждой эпохи; на те энергические минуты, когда вдруг целые страны становятся на ноги и разом берут массу мыслей для того, чтоб изживать их потом целые века в покое; вы принимаете эти катаклизмы, сопровождающие рост народов, эти исключительные личности за рядовой факт, но это только высший факт, предел. Развитое меньшинство, которое торжественно несется над головами других и передает из века в век свою мысль,

свое стремление, до которого массам, кипящим внизу, дела нет, дает блестящее свидетельство, до чего может развиваться человеческая натура, какое страшное богатство сил могут вызвать исключительные обстоятельства, но все это не относится к массам, ко всем. Краса какой-нибудь арабской лошади, воспитанной двадцатью поколениями, нисколько не дает право ждать от лошадей вообще тех же статей. Идеалисты непременно хотят поставить на своем, во что б то ни стало. Физическая красота между людьми так же исключение, как особенное уродство. Посмотрите на мещан, толпящихся в воскресенье на Елисейских Полях, и вы ясно убедитесь, что природа людская вовсе не красива.

— Я это знаю и нисколько не удивляюсь глупым ртам, жирным лбам, дерзко вздернутым и глупо висящим носам, они мне просто противны.

— А как бы вы стали смеяться над человеком, который принял бы близко к сердцу, что лошаки не так красивы, как олени? Для Руссо было невыносимо нелепое общественное устройство его времени; кучка людей, стоявшая возле него и развитая до того, что им только недоставало гениальной инициативы, чтоб назвать зло, тяготившее их,— откликнулись на его призыв; эти отщепенцы, раскольники остались верны и составили Гору в 92 году. Они почти все погибли, работая для французского народа, которого требования были очень скромны и который без сожаления позволил их казнить. Я даже не назову это неблагодарностью, не в самом деле все, что делалось, делали они для народа; мы *себя* хотим освободить, нам больно видеть подавленную массу, нас оскорбляет ее рабство, мы за нее страдаем — и хотим снять свое страдание. За что тут благодарить; могла ли толпа, в самом деле, в половине XVIII столетия желать свободы, Contrat social¹, когда она теперь, через век после Руссо, через полвека после Конвента, нема к ней, когда она теперь в тесной рамке самого пошлого гражданского быта здорова, как рыба в воде?

— Брожение всей Европы плохо соединяется с вашим воззрением.

¹ Общественного договора (франц.).— *Ред.*

— Глухое брожение, волнующее народы, происходит от голода. Будь пролетарий побогаче, он и не подумал бы о коммунизме. Мещане сыты, их собственность защищена, они и оставили свои попечения о свободе, о независимости; напротив, они хотят сильной власти, они улыбаются, когда им с негодованием говорят, что такой-то журнал схвачен, что того-то ведут за мнение в тюрьму. Все это бесит, сердит небольшую кучку эксцентрических людей; другие равнодушно идут мимо, они заняты, они торгуют, они семейные люди. Из этого никак не следует, что мы не в праве требовать полнейшей независимости; но только не за что сердиться на народ, если он равнодушен к нашим скорбям.

— Оно так, но, мне кажется, вы слишком держитесь за арифметику; тут не поголовный счет важен, а нравственная мощь, в ней *большинство* достоинства¹.

— Что касается до качественного преимущества, я его вполне отдаю сильным личностям. Для меня Аристотель представляет не только сосредоточенную силу своей эпохи, но еще гораздо больше. Людям надобно было две тысячи лет понимать его наизнанку, чтоб выразуметь, наконец, смысл его слов. Вы помните, Аристотель называет Анаксагора первым трезвым между пьяными греками*; Аристотель был последний. Поставьте между ними Сократа — и у вас полный комплект трезвых до Бэкона. Трудно по таким исключениям судить о массе.

— Наукой всегда занимались очень немногие; на это отвлеченное поле выходят одни строгие, исключительные умы; если вы в массах не встретите большой трезвости, то найдете вдохновенное опьянение, в котором бездна сочувствия к истине. Массы не понимали Сенеки и Цицерона, а каково отозвались на призыв двенадцати апостолов? *

— Знаете ли, по-моему, сколько их ни жаль, а надобно признаться, они сделали совершеннейшее *fiasco*

— Да, только окрестили полвселенной.

— В четыре столетия борьбы, в шесть столетий совершенного варварства, и после этих усилий, продолжавшихся

¹ Августин употребил выражение *prioritas dignitatis* (первенство по достоинству (лат.)).

тысячу лет, мир так окрестился, что от апостольского учения ничего не осталось; из освобождающего евангелия сделали притесняющее католичество, из религии любви и равенства — церковь крови и войны. Древний мир, истощив все свои жизненные силы, падал, христианство явилось на его одре врачом и утешителем, но, прилаживаясь к больному, оно само заразилось и сделалось римское, варварское, какое хотите, только не евангельское. Какова сила родовой жизни, масс и обстоятельств! Люди думают, что достаточно доказать истину, как математическую теорему, чтоб ее приняли; что достаточно самому верить, чтоб другие поверили. Выходит совсем иное, одни говорят одно, а другие слушают их и понимают другое, оттого что их развития разные. Что проповедовали первые христиане и что поняла толпа? Толпа поняла все непонятное, все нелепое и мистическое; все ясное и простое было ей недоступно; толпа приняла все связующее совесть и ничего освобождающее человека. Так впоследствии она поняла революцию только кровавой расправой, гильотиной, мезтью; горькая историческая необходимость сделалась торжественным криком; к слову «братство» приклеили слово «смерть». «Fraternité ou la mort!»¹ сделалось каким-то «La bourse ou la vie»² — террористов. Мы столько жили сами, столько видели да столько за нас жили наши предшественники, что, наконец, нам непростительно увлекаться, думать, что достаточно возвестить римскому миру евангелие, чтоб сделать из него демократическую и социальную республику, как это думали *красные* апостолы; или что достаточно в два столбца напечатать иллюстрированное издание des droits de l'homme³, чтоб человек сделался свободным.

— Скажите, пожалуйста, что вам за охота выставлять одну дурную сторону человеческой природы?

— Вы начали разговор с грозного проклятия людям, а теперь защищаете их. Вы меня сейчас обвиняли в оптимизме, я вам могу возвратить обвинение. У меня никакой нет системы,

¹ «Братство или смерть!» (франц.).— *Ред.*

² «Кошелек или жизнь» (франц.).— *Ред.*

³ прав человека (франц.).— *Ред.*

никакого интереса, кроме истины, и я высказываю ее, как она мне кажется. Я не считаю нужным из учтивости к человечеству выдумывать на него всякие добродетели и доблести. Я ненавижу фразы, к которым мы привыкли, как христиане к символу веры; как бы они ни были с виду правственны и хороши, они связывают мысль, покоряют ее. Мы принимаем их без проверки и идем дальше, оставляя за собой эти ложные маяки, и сбиваемся с дороги. Мы до того привыкаем к ним, что теряем способность в них сомневаться, что совестимся касаться до таких святых. Думали ли вы когда-нибудь, что значат слова «человек рождается свободным»? Я вам их переведу, это значит: человек рождается зверем — не больше. Возьмите табун диких лошадей, совершенная свобода и равное участие в правах, полнейший коммунизм. Зато развитие невозможно. Рабство — первый шаг к цивилизации. Для развития надобно, чтоб одним было гораздо лучше, а другим гораздо хуже; тогда те, которым лучше, могут идти вперед на счет жизни остальных. Природа для развития ничего не жалеет. Человек — зверь с необыкновенно хорошо устроенным мозгом, тут его мощь. Он не чувствовал в себе ни ловкости тигра, ни львиной силы, у него не было ни их удивительных мышц, ни такого развития внешних чувств, но в нем нашлось бездна хитрости, множество смиренных качеств, которые, с естественным побуждением жить стадами, поставили его на начальную ступень общественности. Не забывайте, что человек любит подчиняться, он ищет всегда к чему-нибудь прислониться, за что-нибудь спрятаться, в нем нет гордой самобытности хищного зверя. Он рос в повиновении семейном, племенном; чем сложнее и круче связывался узел общественной жизни, тем в большее рабство впадали люди; они были подавлены религией, которая теснила их за их трусость, старейшими, которые теснили их, основываясь на привычке. Ни один зверь, кроме пород, «развращенных человеком», как называл домашних зверей Байрон, не вынес бы этих человеческих отношений. Волк ест овцу, потому что голоден и потому что она слабее его, но рабства от нее не требует, овца не покоряется ему, она протестует криком, бегом; человек вносит в дико-независимый и самобытный мир животных элемент верноподданничества, элемент Калибана, на нем

только и было возможно развитие Проспера; и тут опять та же беспощадная экономия природы, ее рассчитанность средств, которая, ежели где перейдет, то наверное не дойдет где-нибудь и, вытянувши в непомерную вышину передние ноги и шею камелеопардала, губит его задние ноги.

— Доктор, да вы страшный аристократ.

— Я натуралист, и знаете, что еще?.. я не трус, я не боюсь ни узнать истину, ни высказывать ее.

— Я не стану вам противуречить; впрочем, в теории все говорят правду, насколько ее понимают, тут нет большого мужества.

— Вы думаете? Какой предрассудок!.. Помилуйте, на сто философов вы не найдете одного, который был бы откровенен; пусть бы ошибался, нес бы нелепицу, но только с полной откровенностью. Одни обманывают других из нравственных целей, другие самих себя — для спокойствия. Много ли вы найдете людей, как Спиноза, как Юм, идущих смело до всякого вывода? Все эти великие освободители ума человеческого поступали так, как Лютер и Кальвин, и, может, были правы с практической точки зрения; они освобождали себя и других включительно до какого-нибудь рабства, до символических книг, до текста Писания и находили в душе своей воздержность и умеренность не идти далее. По большей части последователи продолжают строго идти в путях учителей; в числе их являются люди посмелей, которые догадываются, что дело-то не совсем так, но молчат из благочестия и лгут из уважения к предмету так, как лгут адвокаты, ежедневно говоря, что не смеют сомневаться в справедливости судей, зная очень хорошо, что они мошенники, и не доверяя им нисколько. Эта учтивость совершенно рабская, но мы к ней привыкли. Знать истину не легко, но все же легче, нежели высказывать ее, когда она не совпадает с общим мнением. Сколько кокетства, сколько риторики, позолоты, околичнословия употребляли лучшие умы, Бэкон, Гегель, чтоб не говорить просто, боясь тупого негодования или пошлого свиста. Оттого до такой степени трудно понимать науку, надобно отгадывать ложно высказанную истину. Теперь рассудите: у многих ли есть досуг и охота доработываться до внутренней мысли и копаться в туке, которым

наши учителя прикрывают свое посильное понимание,— отрывая стразы и крашенные стекла их науки.

— Это опять приближается к вашей аристократической мысли, что истина для нескольких, а ложь для всех, что...

— Позвольте, вы во второй раз назвали меня аристократом, я при этом вспоминаю робеспьеровское выражение: «L'athéisme est aristocrate»^{1*}. Если б Робеспьер хотел только сказать, что атеизм возможен для немногих, так точно, как дифференциальные исчисления, как физика, он был бы прав; но он, сказавши: «Атеизм аристократичен», заключил, что атеизм — ложь. Для меня это возмутительная демагогия, это покорение разума нелепому большинству голосов. Неумолимый логик революции срезался и, провозглашая *демократическую* неправду, народной религии не восстановил, а указал предел своих сил, указал между, за которой и он не революционер, а указать это во время переворота и движения значит напомнить, что время лица миновало... И в самом деле, после Fête de l'Être Suprême^{2*}. Робеспьер становится мрачен, задумчив, беспокоен, его томит тоска, нет прежней веры, нет того смелого шага, которым он шел вперед, которым ступал в кровь и кровь его не марала; тогда он не знал своих границ, будущее было беспредельно; теперь он увидел забор, он почувствовал, что ему приходится быть консерватором, и голова атеиста Клоца, пожертвованная предрассудку, лежала в ногах его, как улика, через нее ему нельзя было перешагнуть*. — Мы старше наших старших братьев; не будем детьми, не будем бояться ни были, ни логики, не станем отказываться от последствий, они не в нашей воле; не будем выдумывать бога — если его нет, от этого его все же не будет. Я сказал, что истина принадлежит меньшинству, разве вы этого не знали? Отчего вам это показалось странно? Оттого, что я не прибавил к этому никакой риторической фразы. Помилуйте, да ведь я не отвечаю ни за пользу, ни за вред этого факта, я говорю только о его существовании. Я вижу в настоящем и прошедшем знание, истину, нравственную силу, стремление к независимости, любовь к изящному — в небольшой кучке людей враждебных, потерянных в среде,

¹ «Атеизм аристократичен» (франц.).— *Ред.*

² Праздника верховного существа (франц.).— *Ред.*

не симпатизирующей им. С другой стороны, я вижу тугое развитие остальных слоев общества, узкие понятия, основанные на преданиях, ограниченные потребности, небольшие стремления к добру, небольшие поползновения к злу.

— Да сверх того необычайную верность в стремлениях.

— Вы правы, общие симпатии масс почти всегда верны, как инстинкт животных верен, и знаете отчего? Оттого, что жалкая самобытность отдельных личностей стирается в общем; масса хороша только как безличная, и развитие самобытной личности составляет всю прелесть, до которой доработывается с другой стороны все свободное, талантливое, сильное.

— Да... до тех пор, пока вообще будет толпа, но заметьте, что прошедшее и настоящее не дают вам причины заключать, что в будущем не изменятся эти отношения; все идет к тому, чтоб разрушить дряхлые основы общественности. Вы ясно поняли и резко представляете раздор, двойство в жизни, и успокаиваетесь на этом; вы, как докладчик уголовной палаты, свидетельствуете о преступлении и стараетесь его доказать, предоставляя суд — палате. Другие идут далее, они хотят его снять; все сильные натуры меньшинства, о котором вы говорите, постоянно стремились наполнить пропасть, их отделявшую от масс; им было противно думать, что это неизбежный, роковой факт, у них в груди слишком много было любви, чтоб остаться в своей исключительной выси. Они лучше хотели с опрометчивостию самоотверженного порыва погибнуть в пропасти, их отделяющей от народа, нежели прогуливаться по их краям, как вы. И эта связь их с массами — не каприз, не риторика, а глубокое чувство сродства, сознание того, что они сами вышли из масс, что без этого хора не было бы и их, что они представляют ее стремления, что они достигли того, до чего она достигает.

— Без сомнения, всякий распутившийся талант, как цветок, тысячью нитями связан с растением и никогда не был бы без стебля, а все-таки он не стебель, не лист, а цветок, жизнь его, соединенная с прочими частями, все же иная. Одно холодное утро — и цветок гибнет, а стебель остается; в цветке, если хотите, цель растения и край его жизни, но все же лепестки венчика — не целое растение. Всякая эпоха выплескивает,

так сказать, дальнейшей волной полнейшие, лучшие организации, если только они нашли средства развиться; они не только выходят из толпы, но и *вышли* из нее. Возьмите Гёте, он представляет усиленную, сосредоточенную, очищенную, *сублимированную* сущность Германии, он из нее вышел, он не был бы без всей истории своего народа, но он так удалился от своих соотечественников в ту сферу, в которую поднялся, что они не ясно понимали его и что он, наконец, плохо их понимал; в нем собралось все волновавшее душу протестантского мира и распахнулось так, что он носился над тогдашним миром, как дух божий над водами. Внизу хаос, недоразумение, схоластика, домогательство понять; в нем светлое сознание и покойная мысль, далеко опередившая современников.

— Гёте представляет во всем блеске именно вашу мысль; он отчуждается, он доволен своим величием; и в этом отношении он исключение. Таков ли был Шиллер и Фихте, Руссо и Байрон и все эти люди, мучившиеся из того, чтоб привести к одному уровню с собою массу, толпу? Для меня страдания этих людей, безвыходные, жгучие, провожавшие их иногда до могилы, иногда до плахи или до дома умалишенных, — лучше, нежели гётевский покой.

— Они много страдали, но не думайте, что они были без утешений. У них было много любви и еще больше веры. Они верили в человечество так, как его придумали, верили в свой разум, верили в будущее, упиваясь своим отчаянием, и эта вера врачевала одушевление их.

— Зачем же в вас нет веры?

— Ответ на этот вопрос сделан давно Байроном; он отвечал даме, которая его обращала в христианскую веру: «Как же я сделаю, чтоб начать верить?» В наше время можно или верить не думая, или думать не веривши. Вам кажется, что спокойное, повидимому, сомнение легко; а почему вы знаете, сколько бы человек иногда готов был дать в минуту боли, слабости, изнеможения за одно верование? Откуда его возьмешь? Вы говорите: лучше страдать, и советуете веровать, но разве религиозные люди страдают в самом деле? Я вам расскажу случай, который был со мною в Германии. Призывают меня раз в гостиницу к приезжей даме, у которой занемогли дети; я прихожу;

дети в страшной скарлатине; медицина нынче настолько сделала успехов, что мы поняли, что мы не знаем почти ни одной болезни и почти ни одного лечения, это большой шаг вперед. Вижу я, дело очень плохо, прописал детям для успокоения матери всякие невинные вещи, дал разные приказания, очень хлопотливые, чтоб ее занять, а сам стал выжидать, какие силы найдет организм для противодействия болезни. Старший мальчик поприутих. «Он, кажется, теперь спокойно заснул», — сказала мне мать; я ей показал пальцем, чтоб она его не разбудила; ребенок отходил. Для меня было очевидно, что болезнь совершенно одинаково пойдет у его сестры; мне казалось, что ее спасти невозможно. Мать, женщина очень нервная, была в безумии и непрерывно молилась; девочка умерла. — Первые дни человеческая натура взяла свое, мать пролежала в горячке, была сама на краю гроба, но мало-помалу силы воротились, она стала покойнее, толковала мне все о Шведенборге... Уезжая, она взяла меня за руку и сказала с видом торжественного спокойствия: «Тяжело мне было... какое страшное испытание!.. Но я их хорошо поместила, они возвратились чистыми, ни одной пылинки, ни одного тлетворного дыхания не коснулось их... им будет хорошо! Я для их блага должна покориться!»

— Какая разница между этим фанатизмом и верой человека в людей, в возможность лучшего устройства, свободы! Это сознание, мысль, убеждение, а не суеверие.

— Да, то есть не грубая религия *des Jenseits*¹, которая отдает детей в пансион на том свете, а религия *des Diesseits*², религия науки, всеобщего, родового, трансцендентального, разума, идеализма. Объясните мне, пожалуйста, отчего верить в бога смешно, а верить в человечество не смешно; верить в царство небесное — глупо, а верить в земные утопии — умно? Отбросивши положительную религию, мы остались при всех религиозных привычках и, утратив рай на небе, верим в пришествиерая земного и хвастаемся этим. Вера в будущее за гробом дала столько силы мученикам первых веков; но ведь такая же вера поддерживала и мучеников революции; те и другие гордо и весело несли голову на плаху, потому что

¹ потустороннего (нем.). — *Ред.*

² посюстороннего (нем.). — *Ред.*

у них была непреложная вера в успех их идей, в торжество христианства, в торжество республики. Те и другие ошиблись — ни мученики не воскресли, ни республика не водворилась. Мы пришли после них и увидели это. Я не отрицаю ни величие, ни пользу веры; это великое начало движения, развития, страсти в истории, но вера в душе людской — или частный факт, или эпидемия. Натянуть ее нельзя, особенно тому, кто допустил разбор и недоверчивое сомнение, кто пытал жизнь и, задерживая дыхание, с любовью останавливался на всяких трупоразъятиях, кто заглянул, может быть больше, нежели нужно, за кулисы; дело сделано, поверить вновь нельзя. Можно ли, например, меня уверить, что после смерти дух человека жив, когда так легко понять нелепость этого разделения тела и духа; можно ли меня уверить, что завтра или через год водворится социальное братство, когда я вижу, что народы понимают братство, как Каин и Авель?

— Вам, доктор, остается скромное *a parte*¹ в этой драме, бесплодная критика и праздность до скончания дней.

— Быть может; очень может быть. Хотя я не называю праздностью внутреннюю работу, но тем не менее думаю, что вы верно смотрите на мою судьбу. Помните ли вы римских философов в первые века христианства, — их положение имеет много сходного с нашим; у них ускользнуло настоящее и будущее, с прошедшим они были во вражде. Уверенные в том, что они ясно и лучше понимают истину, они скорбно смотрели на разрушающийся мир и на мир водворяемый, они чувствовали себя правее обоих и слабее обоих. Кружок их становился теснее и теснее, с язычеством они ничего не имели общего, кроме привычки, образа жизни. Натяжки Юлиана Отступника и его реставрации были так же смешны, как реставрация Людовика XVIII и Карла X; с другой стороны, христианская теодицея оскорбляла их светскую мудрость, они не могли принять ее язык, земля исчезала под их ногами, участие к ним стыло; но они умели величаво и гордо дожидаться, пока разгром захватит кого-нибудь из них, — умели умирать, не накупаясь на смерть и без притязания спасти себя или мир; они

¹ пребывание в стороне (итал.). — *Ред.*

гибли хладнокровно, безучастно к себе; они умели, пощаженные смертью, завертываться в свою тогу и молча досматривать, что станется с Римом, с людьми. Одно благо, остававшееся этим иностранцам своего времени, была спокойная совесть, утешительное сознание, что они не испугались истины, что они, поняв ее, нашли довольно силы, чтоб вынести ее, чтоб остаться верными ей.

— И только.

— Будто этого не довольно? Впрочем, нет, я забыл, у них было еще одно благо — личные отношения, уверенность в том, что есть люди, так же понимающие, сочувствующие с ними, уверенность в глубокой связи, которая независима ни от какого события; если при этом немного солнца, море вдали или горы, шумящая зелень, теплый климат... чего же больше?

— По несчастью, этого спокойного уголка в тепле и тишине вы не найдете теперь во всей Европе.

— Я поеду в Америку.

— Там очень скучно.

— Это правда...

Париж, 1 марта 1849 г.



VI
ЭПИЛОГ 1849

Opfer fallen hier,
Weder Lamm noch Stier,
Aber Menschenopfer—unerhört.^{1*}

G o e t h e. «Braut von Korinth»

Проклятие тебе, год крови и безумия, год торжествующей пошлости, зверства, тупоумья.—Проклятье тебе!

От первого до последнего дня ты был несчастьем, ни одной светлой минуты, ни одного покойного часа, нигде, не было в тебе. От восстановленной гильотины в Париже*, от буржского процесса* до кефалонийских виселиц, поставленных англичанами для детей*; от пуль, которыми расстреливал баденцев брат короля прусского*, от Рима, падшего перед народом, изменившим человечеству*, до Венгрии, проданной врагу полководцем, изменившим отечеству*,— все в тебе преступно, кроваво, гадко, все заклеено печатью отвержения. И это только первая ступень, начало, введение, следующие годы будут и отвратительнее, и свирепее, и пошлее...

До какого времени слез и отчаяния мы дожили!.. Голова идет кругом, грудь ломится, страшно знать, что делается, и страшно не знать, что еще за неистовства случились. Лихорадочная злоба подстрекает на ненависть и презрение; унижение разъедает грудь.. и хочется бежать, уйти... отдохнуть, уничтожиться бесследно, бессознательно.

¹ Жертвы падают здесь, не ягнята, не быки,— но жертвы человеческие — неслыханно (нем.).— *Ред.*

Последняя надежда, которая согревала, поддерживала, — надежда на месть, — на месть безумную, дикую, ненужную, но которая бы доказала, что в груди у современного человека есть сердце, — исчезает; душа остается без зеленого листа, все облетело... и все затихло — мгла и холод распространяются... только порой топор палача стукнет, падая, да пуля, тоже палача, просвищет, отыскивая благородную грудь юноши, расстреливаемого за то, что он верил в человечество.

И *они* не будут отомщены?..

Разве у них не было друга, брата? Разве нет людей, делающих их веру? — Все было, только мести не будет!

Вместо Мария* из их праха родилась целая литература застольных речей, демагогических разглагольствований — мое в том числе — и прозаических стихов.

Они этого не знают. Какое счастье, что их нет и что нет жизни за гробом! Ведь *они* верили в людей, верили, что есть за что умереть, и умерли прекрасно, свято, искупая расслабленное поколение кастратов. Мы едва знаем их имена — убийство Роберта Блума* ужаснуло, удивило, потом мы обдержались...

Я краснею за наше поколение, мы какие-то бездушные риторы, у нас кровь холодна, а горячи одни чернила; у нас мысль привыкла к бесследному раздражению, а язык к страстным словам, не имеющим никакого влияния на дело. Мы размышляем там, где надобно разить, обдумываем там, где надобно увлечься, мы отвратительно благоразумны, на все смотрим свысока, мы все переносим, мы занимаемся одним *общим, идеей, человечеством*. Мы заморили наши души в отвлеченных и общих сферах так, как монахи обессиливали ее в мире молитвы и созерцания. Мы потеряли вкус к действительности, вышли из нее вверх так, как мещане вышли вниз.

А вы что делали, революционеры, испугавшиеся революции? Политические шалуны, паяцы свободы, вы играли в республику, в террор, в правительство, вы дурачились в клубах, болтали в камерах, одевались шутами с пистолетами и саблями, целомудренно радовались, что заявленные злодеи, удивляясь, что живы, хвалили ваше милосердие. Вы

ничего не предупредили, ничего не предвидели. А те, *лучшие из вас*, заплатили головой за ваше безумие. Учитесь теперь у ваших врагов, которые вас победили, потому что они умнее вас. Посмотрите, боятся ли они реакции, боятся ли они идти слишком далеко, замарать себе кровью руки? Они по локоть, по горло в крови. Погодите немного, они вас всех переказнят, вы не далеко ушли. Да что переказнят — они вас пересекут всех.

Меня просто ужасает современный человек. Какая бесчувственность и ограниченность, какое отсутствие страсти, негодования, какая слабость мысли; как скоро стынет в нем порыв, как рано изношено в нем увлечение, энергия, вера в собственное дело! — И где? чем? когда эти люди истратили свою жизнь, когда они успели потерять силы? Они растлились в школе, где их одурачили; они истаскались в пивных лавках, в студентской одичалости; они ослабли от маленького, грязного разврата; родившиеся, выращенные в больничном воздухе, они мало принесли сил и завяли потом, прежде, нежели расцвели; они истощились не страстями, а страстными мечтами. И тут, как всегда, литераторы, идеалисты, теоретики, они мыслию постигли разврат, они прочитали страсть. Право, иной раз становится досадно, что человек не может перечислиться в другой род зверей, — разумеется, быть ослом, лягушкой, собакой приятнее, честнее и благороднее, нежели человеком XIX века.

Винить некого, это не их, не наша вина, это несчастье рождения тогда, когда целый мир — умирает!

Одно утешение и остается: весьма вероятно, что будущие поколения выродятся еще больше, еще больше обмелеют, обнищают умом и сердцем; им уже и наши дела будут недоступны и наши мысли будут непонятны. Народы, как царские дома, перед падением тупеют, их понимание помрачается, они выживают из ума — как Меровинги, зачинавшиеся в разврате и кровосмешениях и умиравшие в каком-то чаду, ни разу не пришедши в себя; как аристократия, выродившаяся до болезненных кретингов, измельчавшая Европа изживет свою бедную жизнь в сумерках тупоумия, в вялых чувствах без убеждений, без изящных искусств, без мощной поэзии.

Слабые, хилые, глухие поколения протянутся как-нибудь до взрыва, до той или другой лавы, которая их покроет каменным покрывалом и предаст забвению — летописей.

А там?—

А там настанет весна, молодая жизнь закипит на их гробовой доске, варварство младенчества, полное неустроенных, но здоровых сил, заменит старческое варварство; дикая, свежая мощь распахнется в молодой груди юных народов, и начнется новый круг событий и третий том всеобщей истории.

Основной тон его мы можем понять теперь. Он будет принадлежать социальным идеям. Социализм разовьется во всех фазах своих до крайних последствий, до целостей. Тогда снова вырвется из титанической груди революционного меньшинства крик отрицания, и снова начнется смертная борьба, в которой социализм займет место нынешнего консерватизма и будет побежден грядущею, неизвестною нам революцией...

Вечная игра жизни, безжалостная, как смерть, неотражимая, как рождение, *corsi e ricorsi*¹ истории*, *perpetuum mobile*² маятника!

К концу XVIII века европейский Сизиф докатил тяжелый камень свой, составленный из развалин и осколков трех разнородных миров, до вершины, камень качнулся в сторону, в другую, казалось, хотел установиться — не тут-то было; он перекатился и стал тихо, незаметно склоняться — быть может, он загнулся бы за что-нибудь, остановился бы с помощью таких тормозов и порогов, как представительное правление, конституционная монархия, потом выветривался бы века целые, принимая всякую перемену за совершенствование и всякую перестановку за развитие, — так, как этот европейский Китай, называемый Англией, так, как это допотопное государство, стоящее между допотопных гор, называемое Швейцарией. Но для этого надобно было, чтоб ветер не веял, чтоб не было ни толчка, ни потрясения; но ветер повеял, и толчок пришел. Февральская буря потрясла всю наследственную почву. Буря июньских дней окончательно сдвинула весь римско-феодальный наплыв, и он понесся под гору с усили-

¹ здесь: приливы и отливы (итал.).— *Ред.*

² вечное движение (лат.).— *Ред.*

вающейся быстротою, ломая по дороге все встречное и ломаясь сам в осколки... А бедный Сизиф смотрит и не верит своим глазам, лицо его осунулось, пот усталости смешался с потом ужаса, слезы отчаяния, стыда, бессилия, досады остановились на глазах; он так верил в совершенствование, в человечество, он так философски, так умно и учено уповал на современного человека.— И все-таки обманулся.

Французская революция и германская наука — геркулевские столбы мира европейского. За ними по другую сторону открывается океан, виднеется новый свет, что-то другое, а не исправленное издание старой Европы. Они сулили миру освобождение от церковного насилия, от гражданского рабства, от нравственного авторитета. Но, провозглашая искренно свободу мысли и свободу жизни, люди переворота не сообразили всю несовместность ее с католическим устройством Европы. Отречься от него они еще не могли. Чтоб идти вперед, им пришлось свернуть свое знамя, изменить ему, им пришлось делать уступки.

Руссо и Гегель — христиане.

Робеспьер и С.-Жюст — монархисты.

Германская наука — спекулятивная религия; республика Конвента — пентархический абсолютизм* и вместе с тем церковь. Вместо символа веры явились гражданские догматы. Собрание и правительство священнодействовало мистерию народного освобождения. Законодатель сделался жрецом, прорицателем и возвещал добродушно и без иронии неизменные, непогрешительные приговоры во имя самодержавия народного.

Народ, как разумеется, оставался попрежнему «мирянином», *управляемым*; для него ничего не изменилось, и он присутствовал при политических литургиях, так же ничего не понимая, как при религиозных.

Но страшное имя *Свободы* замешалось в мире привычки, обряда и авторитета. Оно запало в сердца; оно раздалось в ушах и не могло оставаться страдательным; оно бродило, разъедало основы общественного здания, лиха беда была привиться в одной точке, разложить одну каплю старой крови. С этим ядом в жилах нельзя спасти ветхое тело. Сознание

близкой опасности сильно выразилось после безумной эпохи императорства*, все глубокие умы того времени ждали катаклизм, боялись его. Легитимист Шатобриан и Ламенне, тогда еще аббат, указывали его. Кровавый террорист католицизма, Местр, боясь его, подавал одну руку папе, другую палачу*. Гегель подвязывал паруса своей философии, так гордо и свободно плывшей по морю логики, боясь далеко уплыть от берегов и быть захваченному шквалом. Нибур, томимый тем же пророчеством, умер, увидя 1830 г. и Июльскую революцию. Целая школа образовалась в Германии, мечтавшая остановить будущее прошедшим, трупом отца припереть дверь новорожденному.— *Vanitas vanitatum!*¹

Два исполина пришли, наконец, торжественно заключить историческую фазу.

Старческая фигура Гёте, не делящая интересов, кипящих вокруг, отчужденная от среды, стоит спокойно, замыкая два прошедших у входа в нашу эпоху. Он тяготит над современниками и примиряет с былым. Старец был еще жив, когда явился и исчез единственный поэт XIX столетия. Поэт сомнения и негодования, духовник, палач и жертва вместе; он наскоро прочел скептическую отходную дряхлому миру и умер 37 лет в возрождавшейся Греции, куда бежал, чтоб только не видеть «берегов своей родины»*.

За ним замолкло все. И никто не обратил внимания на бесплодность века, на совершенное отсутствие творчества. Сначала он еще был освещен заревом XVIII столетия, он блистал его славой, гордился его людьми. По мере, как эти звезды другого неба заходили, сумерки и мгла падали на все; повсюду бессилие, посредственность, мелкость — и едва заметная полоска на востоке, намекающая на дальнейшее утро, перед наступлением которого разразится не одна туча.

Явились пророки наконец, возвещавшие близкое несчастье и дальнейшее искупление. На них смотрели как на юродивых, их новый язык возмущал, их слова принимались за бред. Толпа не хочет, чтоб ее будили, она просит, чтоб ее оставили в покое с ее жалким бытом, с ее пошлыми привыч-

¹ *Суета сует!* (лат.).— *Ред.*

ками; она хочет, как Фридерик II, умереть, не меняя грязного белья. Ничто в мире не могло так удовлетворить этому скромному желанию, как мещанская монархия.

Но разложение шло своим чередом, «подземный крот» работал неутомимо*. Все власти, все учреждения были разъедаемы скрытым раком; 24 февраля 1848 г. болезнь сделалась острой из хронической. Французская республика была возвращена миру трубою последнего суда. Немошь, хилость старого общественного устройства становились очевидны, все стало распускаться, развязываться, все перемешалось и именно держится на этой путанице. Революционеры сделались консерваторами, консерваторы анархистами; республика убила последние свободные учреждения, уцелевшие при королях; родина Вольтера бросилась в ханжество. Все побеждены, все побеждено, а победителя нет...

Когда многие надеялись, мы говорили им: это не выздоровление, это румянец чахотки. Смелые мысляю, дерзкие на язык, мы не побоялись ни исследовать зло, ни высказать его, а теперь выступает холодный пот на лбу. Я первый бледнею, трушу перед темной ночью, которая наступает; дрожь пробегает по коже при мысли, что наши предсказания сбываются — так скоро, что их совершение — так неотразимо...

Прощай, отходящий мир, прощай, Европа!

— А мы что сделаем из себя?

...Последние звенья, связующие два мира, не принадлежащие ни к тому, ни к другому; люди, отвязавшиеся от рода, разлученные с средою, покинутые на себя; люди ненужные, потому что не можем делить ни дряхлости одних, ни младенчества других, нам нету места ни за одним столом. Люди отрицания для прошедшего, люди отвлеченных построений в будущем, мы не имеем достояния ни в том, ни в другом, и в этом равно свидетельство нашей силы и ее ненужности.

Идти бы прочь... Своею жизнью начать освобождение, протест, новый быт... Как будто мы в самом деле так свободны от старого? Разве наши добродетели и наши пороки, наши страсти и, главное, наши привычки не принадлежат этому миру, с которым мы развелись только в убеждениях?

Что же мы сделаем в девственных лесах, — мы, которые не можем провести утра, не прочитав пяти журналов, мы, у которых только и осталось поэзии в бое с старым миром? что?.. Сознаемся откровенно, мы плохие Робинзоны.

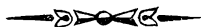
Разве ушедшие в Америку не снесли с собою туда старую Англию?

И разве вдали мы не будем слышать стоны, разве можно отвернуться, закрыть глаза, заткнуть уши — преднамеренно не знать, упорно молчать, т. е. признаться побежденным, сдаться? Это невозможно! Наши враги должны знать, что есть независимые люди, которые ни за что не поступятся свободной речью, пока топор не прошел между их головой и туловищем, пока веревка им не стянула шею.

Итак, пусть раздается наше слово!

...А кому говорить?.. о чем? — я, право, не знаю, только это сильнее меня...

Цюрих, 21 декабря 1849 г.





VII

OMNIA MEA MECUM PORTO¹

Ce n'est pas Catilina qui est à vos portes — c'est la mort!^{2*}

Proudhon (Voix du Peuple).

Komm her, wir setzen uns zu Tisch!
Wen sollte solche Narrheit rühren?
Die Welt geht auseinander wie ein fauler Fisch,
Wir wollen sie nicht balsamieren.^{3*}

Goethe

Видимая, старая, официальная Европа не спит — она умирает!

Последние слабые и болезненные остатки прежней жизни едва достаточны, чтоб удержать на несколько времени распадающиеся части тела, которые стремятся к новым сочетаниям, к развитию иных форм.

Повидимому, еще многое стоит прочно, дела идут своим чередом, судьи судят, церкви открыты, биржи кипят деятельностью, войска маневрируют, дворцы блестят огнями — но дух жизни отлетел, на сердце у всех беспокойно, смерть за плечами, и, в сущности, ничего не идет. В сущности, нет ни церкви, ни войска, ни правительства, ни суда — все превратилось в полицию. Полиция хранит, спасает Европу, под ее благословением и кровом стоят троны и алтари, это гальваническая струя, которою насильственно поддерживают

¹ Все свое несу с собой (лат.).— *Ред.*

² Не Катилина у ваших ворот, а смерть! (франц.).— *Ред.*

³ Иди сюда, сядем за стол! Кого же встревожит такая глупость? Мир разлагается, как гнилая рыба, мы не станем его бальзамировать (нем.).— *Ред.*

жизнь, чтоб выиграть настоящую минуту. Но разъедающий огонь болезни не потушен, его вогнали только внутрь, он скрыт. Все эти почернелые стены и твердыни, которые, кажется, своей старостию приобрели всегдашность скал, — ненадежны; они похожи на пни, долго остающиеся после порубки леса, они хранят вид упорной несокрушимости до тех пор, пока их не толкнет кто-нибудь ногой.

Многие не видят смерти только потому, что они под смертью воображают какое-то уничтожение. Смерть не уничтожает составных частей, а развязывает их от *прежнего* единства, даст им волю существовать при иных условиях. Разумеется, целая часть света по-может сгнуть с лица земли; она останется так, как Рим остался в средних веках; она разойдется, распустится в грядущей Европе и потеряет свой теперешний характер, подчиняясь новому и с тем вместе влияя на него. Наследство, оставленное отцом сыну, в физиологическом и гражданском смысле, продолжает жизнь отца за гробом; тем не менее, между ними *смерть* — так, как между Римом Юлия Цезаря и Римом Григория VII¹.

Смерть современных форм гражданственности скорее должна радовать, нежели тяготить душу. Но страшно то, что отходящий мир оставляет не наследника, а беременную вдову. Между смертью одного и рождением другого утечет много воды, пройдет длинная ночь хаоса и запустения.

Мы не доживем до того, до чего дожил Симеон Богоприимец*. Как ни тяжела эта истина, надобно с ней примириться, сладить, потому что изменить ее невозможно.

Мы довольно долго изучали хилый организм Европы, во всех слоях и везде находили вблизи перст смерти, и только изредка вдали слышалось пророчество. Мы сначала тоже надеялись, верили, старались верить. Предсмертная борьба так быстро искажала одну черту за другой, что нельзя было обманываться. Жизнь потухала, как последние свечи

¹ С другой стороны,² между Европой Григория VII, Мартина Лютера, Копвента, Наполеона — не смерть, а развитие, видоизменение, рост; вот отчего все попытки античных реакций (Бранкалеоне, Риензи) были невозможны, а монархические реставрации в новой Европе так легки.

в окнах прежде рассвета. Мы были поражены, испуганы. Сложив руки мы смотрели на страшные успехи смерти. Что мы видели с февральской революцией?.. Довольно сказать, мы были молоды два года тому назад и стары теперь.

Чем ближе мы подходили к партиям и людям, тем пустыня около нас делалась больше, тем больше становились мы одни. Как было делить безумие одних, бездушие других? Тут лень, апатия, там ложь и ограниченность — силы, мощи нигде; разве у нескольких мучеников, умерших за людей, не принесся им никакой пользы; у нескольких страдальцев, распинающихся за толпу, готовых отдать кровь, голову и принужденных беречь то и другое, — видя хор, которому не нужны эти жертвы.

Потерянные без дела в этом мире, который рушился со всех сторон, оглушенные безмысленными спорами, ежедневными оскорблениями, — мы предавались горю и отчаянию, нам хотелось одного — сложить где-нибудь усталую голову, не справляясь о том; есть ли сновидение или нет.

Но жизнь взяла свое, и, вместо отчаяния, вместо желания гибели, я теперь хочу жить; я не хочу больше признавать себя в такой зависимости от мира, не хочу оставаться на всю жизнь у изголовья умирающего вечным плакальщиком.

Неужели в нас самих совершенно ничего нет и мы только и были чем-нибудь — этим миром, в нем, — так что теперь, когда он, попорченный совсем иными законами, гибнет, нам нет другого занятия, как печально сидеть на его развалинах, другого значения, как служить ему надгробным памятником?

Довольно грустить. Мы отдали миру что ему принадлежало, мы не скупились, отдав ему лучшие годы наши, полное сердечное участие; мы страдали больше него его страданиями. Теперь оботрем слезы и будем мужественно смотреть на окружающее. Что бы нам, наконец, ни представило оно, перенести можно, *должно*. Худшее пережили, а пережитое несчастье — несчастье оконченное. Мы успели ознакомиться с нашим положением, мы ни на что не надеемся, ничего не ждем или, пожалуй, ждем всего; это сводится на одно. нас может многое оскорбить, сломать, убить; удивить — *ничего*... или все наши думы и слова были только на губах.

Корабль идет ко дну. Страшна была минута сомнения, когда рядом с опасностью были надежды; теперь положение ясно, корабль не может быть спасен, остается гибнуть или спасать себя. Долой с корабля, на лодки, бревна — пусть каждый пытается свое счастье, пробует свои силы. Point d'honneur¹ моряков нам не идет.

Вон из душной комнаты, где оканчивается длинная, бурная жизнь! Выйдем на чистый воздух из тяжелой, заразной атмосферы; на поле из больничной палаты. Много найдется мастеров бальзамировать покойника; еще больше червей, которые поживут на счет гнили. Оставим им труп, не потому, что они хуже или лучше нас, а потому, что они этого хотят, а мы не хотим; потому что они в этом живут, а мы страдаем. Отойдем свободно и бескорыстно, зная, что нам нет наследства, и не нуждаясь в нем.

В старые годы этот гордый разрыв с современностью называли бы *бегством*; неизлечимые романтики и теперь после всего ряда событий, совершившихся перед их глазами, назовут это так.

Но свободный человек не может бежать, потому что он зависит только от своих убеждений и больше ни от чего; он имеет право оставаться или идти, вопрос может быть не о бегстве, а о том, свободен ли человек или нет?

Сверх того, слово «бегство» становится невыразимо смешно, обращенное к тем, которые имели несчастье заглянуть дальше, уйти вперед больше, нежели надобно другим, и не хотят воротиться. Они могли бы сказать людям à la Coriolan: «Не мы бежим, а вы отстаете», но то и другое нелепо. Мы делаем свое, люди, окружающие нас, — свое. Развитие лица и масс делается так, что они не могут взять всей ответственности на себя за последствия. Но известная степень развития, как бы она ни случилась и чем бы ни была приведена, — обязывает. Отрекаться от своего развития значит отрекаться от самих себя.

Человек свободнее, нежели обыкновенно думают. Он много зависит от среды, но не настолько, как кабалит себя ей.

¹ Долг чести (франц.). — *Ред.*

Большая доля нашей судьбы лежит в наших руках, стоит понять ее и не выпускать из рук. Понявши, люди допускают окружающий мир насилловать их, увлекать против воли; они отрекаются от своей самобытности, опираясь во всех случаях не на себя, а на него, затягивая крепче и крепче узы, связующие с ним. Они ожидают от мира всего добра и зла в жизни, они надеются на себя на последних. При такой ребяческой покорности роковая сила внешнего становится непреодолимой, вступить с нею в борьбу кажется человеку безумием. А между тем грозная мощь эта бледнеет с того мгновения, как в душе человека вместо самоотвержения и отчаяния, вместо страха и покорности возникает простой вопрос: «В самом ли деле он так скован на жизнь и смерть со средою, что он и тогда не имеет возможности от нее освободиться, когда действительно с нею распался, когда ему ничего не нужно от нее, когда он равнодушен к ее дарам?»

Я не говорю, чтоб этот протест во имя независимости и самобытности лица был легок. Он недаром вырывается из груди человека, ему предшествуют или долгие личные испытания и несчастья, или те тяжелые эпохи, когда человек тем больше расходится с миром, чем глубже его понимает, когда все узы, связующие его с внешним, превращаются в цепи, когда он чувствует себя правым в противоположность событиям и массам, когда он сознает себя соперником, чужим, а не членом большой семьи, к которой принадлежит.

Вне нас все изменяется, все зыблется, мы стоим на краю пропасти и видим, как он осыпается; сумерки наступают, и ни одной путеводной звезды не является на небе. Мы не сыщем гавани иначе, как в нас самих, в сознании нашей беспредельной свободы, нашей самодержавной независимости. Спасая себя таким образом, мы становимся на ту мужественную и широкую почву, на которой только и возможно развитие свободной жизни в обществе, — если оно вообще возможно для людей.

Когда бы люди захотели вместо того, чтоб спасти мир, спасти себя, вместо того, чтоб освободить человечество, себя освободить, — как много бы они сделали для спасения мира и для освобождения человека.

Зависимость человека от среды, от эпохи не подлежит никакому сомнению. Она тем сильнее, что половина уз укрепляется за спиною сознания; тут есть связь физиологическая, против которой редко могут бороться воля и ум; тут есть элемент наследственный, который мы приносим с рождением так, как черты лица, и который составляет круговую поруку последнего поколения с рядом предшествующих; тут есть элемент морально-физиологический, воспитание, прививающее человеку историю и современность, наконец элемент созпательный. Среда, в которой человек родился, эпоха, в которой он живет, его тянет участвовать в том, что делается вокруг него, продолжать пачатое его отцами; ему естественно привязываться к тому, что его окружает, он не может не отражать в себе, собою своего времени, своей среды.

Но тут в самом образе отражения является его самобытность. Противудействие, возбуждаемое в человеке окружающим,— ответ его личности на влияние среды. Ответ этот может быть полон сочувствия, так, как полон противуречия. Нравственная независимость человека — такая же непреложная истина и действительность, как его зависимость от среды, с тою разницей, что она с ней в обратном отношении: чем больше сознания, тем больше самобытности; чем меньше сознания, тем связь с средою теснее, тем больше среда поглощает лицо. Так инстинкт, без сознания, не достигает истинной независимости, а самобытность является или как дикая свобода зверя, или в тех редких судорожных и непоследовательных отрицаниях той или другой стороны общественных условий, которые называют преступлениями.

Сознание независимости не значит еще распадение с средою, самобытность не есть еще вражда с обществом. Среда не всегда относится одинаким образом к миру и, следовательно, не всегда вызывает со стороны лица отпор.

Есть эпохи, когда человек свободен в *общем деле*. Деятельность, к которой стремится всякая энергическая натура, совпадает тогда с стремлением общества, в котором она живет. В такие времена—тоже довольно редкие—все бросается в круговорот событий, живет в нем, страдает, наслаждается, гибнет. Одни натуры, своеобразно гениальные, как Гёте,

стоят поодаль, и натуры, пошло бесцветные, остаются равнодушными. Даже те личности, которые враждуют против общего потока, также увлечены и удовлетворены в настоящей борьбе. Эмигранты были столько же поглощены революцией, как якобинцы. В такое время нет нужды толковать о самопожертвовании и преданности, — все это делается само собою и чрезвычайно легко. — Никто не отступает, потому что все верят. Жертв, собственно, нет, жертвами кажутся зрителям такие действия, которые составляют простое исполнение воли, естественный образ поведения.

Есть другие времена — и они всего обыкновеннее — времена мирные, сонные даже, в которые отношения личности к среде *продолжаются*, как они были поставлены последним переворотом. Они не настолько натянуты, чтоб лопнуть, не настолько тяжелы, чтоб нельзя было вынести, и, наконец, не настолько исключительны и настойчивы, чтоб жизнь не могла восполнить главные недостатки и сгладить главные шероховатости. В такие эпохи вопрос о связи общества с человеком не так занимает. Являются частные столкновения, трагические катастрофы, вовлекающие в гибель несколько лиц; раздаются титанические стоны скованного человека; но все это теряется бесследно в учрежденном порядке, признанные отношения остаются незыбленными, покоятся на привычке, на человеческом беспечье, на лени, на недостатке демонического начала критики и иронии. Люди живут в частных интересах, в семейной жизни, в ученой, индустриальной деятельности, судят и рядят, воображая, что делают дело, усердно работают, чтоб устроить судьбу детей; дети, с своей стороны, устроивают судьбу своих детей, так что существующие личности и настоящее как будто стираются и признают себя чем-то переходным. Подобное время продолжается до сих пор в Англии.

Но есть еще и третьего рода эпохи, очень редкие и самые скорбные, — эпохи, в которые общественные формы, переживши себя, медленно и тяжело гибнут; исключительная цивилизация достигает не только высшего предела, но даже выходит из круга возможностей, данных историческим бытом, так, что, повидимому, она принадлежит будущему, а в

сущности равно отрешена от прошедшего, которое она презирает, и от будущего, развивающегося по иным законам. Вот тут-то и сталкивается лицо с обществом. Прошедшее является как безумный отпор. Насилие, ложь, свирепость, корыстное раболепство, ограниченность, потеря всякого чувства человеческого достоинства становятся общим правилом большинства. Все доблестное былого уже исчезло, дряхлый мир сам не верит в себя и отчаянно защищается, потому что боится, из самосохранения забывает своих богов, попирает ногами права, на которых держался, отрекается от образования и чести, становится зверем, преследует, казнит, и между тем сила остается в его руках; ему повинуются не из одной трусости, но из того, что с другой стороны все шатко, ничего не решено, не готово — и главное, что люди не готовы.— С другой стороны, незнакомое будущее восходит на горизонте, покрытом тучами,— будущее, смущающее всякую человеческую логику. Вопрос римского мира разрешается христианством, религией, с которой свободный человек гибнущего Рима так же мало имел связи, как с политеизмом. Человечество, для того чтоб двинуться вперед из узких форм римского права, отступает в германское варварство.

Те из римлян, которые от тягости жизни, гонимые тоской, страхом, бросились в христианство, спаслись; но разве те, которые не меньше страдали, но были тверже характером и умом и не хотели спастись от одной нелепости, принимая другую, достойны порицания? Могли ли они с Юлианом Отступником стать за старых богов или с Константином за новых? Могли ли они участвовать в современном деле, видя, куда идет дух времени? В такие эпохи свободному человеку легче одичать в отчуждении от людей, нежели идти с ними по одной дороге, ему легче лишиться себя жизни, нежели пожертвовать ее.

Неужели человек менее прав оттого, что с ним никто не согласен? Да разве ум нуждается другой проверки, как умом? И с чего же всеобщее безумие может опровергнуть личное убеждение?

Мудрейшие из римлян сошли совсем со сцены, и превосходно сделали. Они рассеялись по берегам Средиземного

моря, пропали для других в безмолвном величии скорби, но не пропали для себя — и через пятнадцать столетий мы должны сознаться, что, собственно, они были победители, они единственные, свободные и мощные представители независимой личности человека, его достоинства. Они были *люди*, их нельзя было считать поголовно, они не принадлежали к стаду — и не хотели лгать, а не имея с ним ничего общего — отошли.

А что у нас общего с миром, нас окружающим? Несколько лиц, связанных с нами одними убеждениями, три добродетельные человека Содомы и Гоморры*, они в том же положении, как мы, они составляют протестующее меньшинство, сильное мыслию, слабое действием. Кроме их, у нас с современным миром не больше деятельной связи, как с Китаем (я на сию минуту опускаю физиологическую связь и привычку). Это до того справедливо, что даже в тех редких случаях, когда люди произносят одни и те же слова с нами, они их понимают розно. Хотите ли вы *свободы* монтаньяров, *порядка* законодательного собрания, египетского устройства работ коммунистов?

Теперь все играют с раскрытыми картами, и самая игра чрезвычайно упростилась, ошибаться нельзя — на каждой клочке Европы та же борьба, те же два стана. Вы ясно, вполне чувствуете, против которого вы; но чувствуете ли вы так же ясно связь вашу с другим станом — как отвращение и ненависть к первому?..

Время откровенности пришло, свободные люди не обманывают ни себя, ни других, всякая пощада ведет к чему-то ложному, косому.

Прошедший год, чтоб достойно окончиться и исполнить меру всех нравственных оскорблений и пыток, представил нам страшное зрелище: борьбу *свободного человека с освободителями человечества**. Смелая речь, едкий скептицизм, беспощадное отрицание, неумолимая ирония Прудона возмутила записных революционеров не меньше консерваторов, они напали на него с ожесточением, они стали за свои предания с неподвижностью легитимистов, они испугались его атеизма и его анархии, они не могли понять, как можно быть

свободным без государства, без демократического правления; они с удивлением слушали безнравственную речь, что республика для людей, а не лица для республики. И когда у них не стало ни логики, ни красноречия, они объявили Прудона подозрительным, они его предали революционной анафеме, отлучая от православного единства своего. Талант Прудона и зверство полиции спасли его от клеветы. Уже гнусное обвинение в предательстве ходило из уст в уста демократической черни, когда он бросил свои знаменитые статьи в президента, который не нашел лучшего ответа, оглушенный ударом, как теснить колодника, запертого за мысль и слово*. Впидя это, толпа примирилась.

И вот вам крестовые рыцари свободы, привилегированные освободители человечества! Они боятся свободы; им надобен господин для того, чтоб не избаловаться, им нужна власть, потому что они не доверяют себе. Мудрено ли после того, что горсть людей, переселившаяся с Кабе в Америку*, едва устроилась во временных шалашах, как все неудобства европейской государственной жизни обличились в их среде?

При всем этом *они* современнее нас, полезнее нас, потому что ближе к делу; они найдут больше сочувствия в массах, они нужнее. Массы хотят остановить руку, нагло вырывающую у них кусок хлеба, заработанный ими, — это их главная потребность. К личной свободе, к независимости слова они равнодушны; массы любят авторитет, их еще ослепляет оскорбительный блеск власти, их еще оскорбляет человек, стоящий независимо; они под равенством понимают равномерный гнет: боясь монополей и привилегий, они косо смотрят на талант и не позволяют, чтоб человек не делал того же, что они делают. Массы желают социального правительства, которое бы управляло ими для них, а не против них, как теперешнее. Управляться самим — им и в голову не приходит. Вот отчего *освободители* гораздо ближе к современным переворотам, нежели всякий *свободный человек*. Свободный человек может быть вовсе ненужный человек; но из этого не следует, что он должен поступать против своих убеждений.

Но, скажете вы, надобно себя умерить. Сомневаюсь, чтоб из этого вышло что-нибудь; когда человек и весь отдается

делу, он не много производит, что же он сделает, когда намеренно отнимет половину своих сил и органов? Посадите Прудона министром финансов, президентом, он будет Бонапартом в другую сторону. Этот находится в беспрестанном колебании, нерешительности, оттого что он помешан на императорстве. Прудон будет также в постоянном недоумении, потому что существующая республика ему столько же противна, как Бонапарту, а республика социальная теперь гораздо менее возможна, нежели империя.

Впрочем, тот, кто, чувствуя внутреннее несогласие, хочет или может откровенно участвовать в бою партий; у кого нет потребности идти своей дорогой, видя, что дорога других идет не туда; кто не думает, что лучше заблудиться, совсем пропасть, нежели уступить свою истину, — тот пусть действует с другими. Он даже сделает очень хорошо, потому что нет чего другого, а освободители рода человеческого стащат вместе с собою в пропасть старые формы монархической Европы; я признаю право столько же желающему действовать, сколько и желающему отстраниться; на то будет его воля, и об этом у нас не идет речи.

Я очень рад, что коснулся этого смутного вопроса, этой самой прочной цепи из всех, которыми человек скован, — самой прочной потому, что он или не чувствует ее насилия, или, еще хуже, признает ее безусловно справедливой. Посмотрим, не перержавела ли и она?

Подчинение личности обществу, народу, человечеству, идее — продолжение человеческих жертвоприношений, заклятие агнца для примирения бога, распятие невинного за виновных. Все религии основывали нравственность на покорности, т. е. на добровольном рабстве, потому они и были всегда вреднее политического устройства. Там было насилие, здесь разврат воли. Покорность значит с тем вместе перенесение всей самобытности лица на всеобщие, безличные сферы, независимые от него. Христианство, религия противоречий, признавало, с одной стороны, бесконечное достоинство лица, как будто для того, чтоб еще торжественнее погубить его перед искушением, церковью, отцом небесным. Его воззрение

проникло в нравы, оно выработалось в целую систему нравственной неволи, в целую искаженную диалектику, чрезвычайно последовательную себе. Мир, становясь более светским или, лучше сказать, приметив, наконец, что он, в сущности, такой же светский, как и был, примешал свои элементы в христианское правоучение, но основы остались те же. Лицо, истинная, действительная монада общества, было всегда пожертвовано какому-нибудь общему понятию, собирательному имени, какому-нибудь знамени. Для кого работали, кому жертвовали, кто пользовался, кого освобождали, уступая свободу лица, об этом никто не спрашивал. Все жертвовали (по крайней мере, на словах) самих себя и друг друга.

Не место здесь разбирать, насколько неразвитость народов оправдывала такие меры воспитания. Вероятно, они были естественны и необходимы, мы их встречаем везде, но мы можем смело сказать, что если они и привели к великим результатам, то наверное настолько же замедлили ход развития, искажая ум ложным представлением. Я вообще мало верю в пользу лжи, особенно когда в нее не верят больше: весь этот махиавеллизм, вся риторика мне кажется больше аристократическою потехою для проповедников и правоучителей.

Общая основа воззрения, на котором так прочно держится нравственная неволя человека и «принижение» его личности, почти вся в дуализме, которым проникнуты все наши суждения.

Дуализм — это христианство, возведенное в логику, — христианство, освобожденное от предания, от мистицизма. Главный прием его состоит в том, чтоб разделять на мнимые противоположности то, что действительно нераздельно, например, тело и дух; враждебно противопоставлять эти отвлечения и неестественно мирить то, что соединено неразрывным единством. Это евангельский миф бога и человека, примиримых Христом, переведенный на философский язык.

Так, как Христос, искупая род человеческий, попирает плоть, так в дуализме идеализм берет сторону одной тени против другой, отдавая монополию духу над веществом, роду над неделимым, жертвуя таким образом человека государству, государство человечеству.

Вообразите теперь весь хаос, вносимый в совесть и ум людей, которые с детских лет ничего другого не слышали. Дуализм до того исказил все простейшие понятия, что им надобно делать большие усилия, чтоб усвоить истины, ясные, как день. Наш язык — язык дуализма, наше воображение не имеет других образов, других метафор. Полторы тысячи лет все учившее, проповедовавшее, писавшее, действовавшее было пропитано дуализмом, и едва несколько человек в конце XVII века стали в нем сомневаться, но и сомневаясь, продолжали из приличия, а долею и от страха, говорить его языком.

Само собою разумеется, что вся наша нравственность вышла из того же начала. Нравственность эта требовала постоянной жертвы, непрерывного подвига, непрерывного самоотвержения. Оттого по большей части правила ее и не исполнялись никогда. Жизнь несравненно упорнее теорий, она идет независимо от них и молча побеждает их. Полнее возражения на принятую мораль не может быть, как такое практическое отрицание; но люди спокойно живут в этом противуречии; они привыкли к нему веками. Христианство, раздвояя человека на какой-то идеал и на какого-то скота, сбilo его понятия; не находя выхода из борьбы совести с желаниями, он так привык к лицемерию, часто откровенному, что противоположность слова с делом его не возмущает. Он ссылался на свою слабую, злодейскую натуру, и церковь торопилась индульгенциями и отпущением грехов давать легкое средство сводить счёты с испуганной совестью, боясь, чтоб отчаяние не привело к другому порядку мыслей, которых не так легко уложить исповедью и прощением. Эти шалости так укоренились, что пережили самую власть церкви. Натянутые цивические добродетели заменили натянутое ханжество; отсюда — театральное одушевление на римский лад и на манер христианских мучеников и феодальных рыцарей.

Практическая жизнь и тут идет своим чередом, несколько не занимаясь героической моралью.

Но напасть на нее никто не смеет, и она держится, с одной стороны, на каком-то тайном соглашении пощады и

уважения, как республика Сан-Марино*, с другой стороны—на нашей трусости, бесхарактерности, на ложном стыде и на нравственной неволе нашей. Мы боимся обвинения в безнравственности, и это нас держит в узде. Мы повторяем моральные бредни, слышанные нами, не придавая им никакого смысла, но и не возражая против них — так, как натуралисты *из приличия* говорят в предисловии о творце и удивляются его премудрости. Уважение, втесняемое нам страхом диких криков толпы, превращается до того в привычку, что мы с удивлением, с негодованием смотрим на дерзость откровенного и свободного человека, который смеет сомневаться в истине этой риторики; это сомнение нас оскорбляет так, как бывало непочтительный отзыв о короле оскорблял подданного,— это гордость ливреи, надменность рабов.

Таким образом составила условная нравственность, условный язык; им мы передаем веру в ложных богов нашим детям, обманываем их так, как нас обманывали родители, и так, как наши дети будут обманывать своих до тех пор, пока переворот не покончит со всем этим миром лжи и притворства.

Я, наконец, не могу выносить равнодушно эту вечную риторику патриотических и филантропических разглагольствований, не имеющих никакого влияния на жизнь. Много ли найдется людей, готовых пожертвовать жизнью за что б то ни было? Конечно, не много, но все же больше, нежели тех, которые имеют мужество сказать, что «*Mourir pour la patrie*»¹ не есть в самом деле верх человеческого счастья и что гораздо лучше, если и отечество и сам человек останутся целы.

Какие мы дети, какие мы еще рабы, и как весь центр тяжести, точка опоры нашей воли, нашей нравственности — вне нас!

Ложь эта не только вредна, но унизительна, она оскорбляет чувство собственного достоинства, развращает поведение; надобно иметь силу характера говорить и делать одно и то же; и вот почему люди должны признаваться на словах в том, в чем признаются ежедневно жизнью. Может, эта чувствитель-

¹ «Умереть за родину» (франц.). — *Ред.*

ная болтовня и была сколько-нибудь полезна во времена больше дикие так, как внешняя учтивость, но теперь она обессиливает, усыпляет, сбивает с толку. Довольно времени позволяли мы безнаказанно декламировать все эти риторические упражнения, составленные из подогретого христианства, разбавленного мутной водой рационализма и паточным раствором филантропии. Пора, наконец, разобрать эти сивиллинские книги, пора потребовать отчета у наших учителей.

Какой смысл всех разглагольствований против эгоизма, индивидуализма?—Что такое эгоизм?—Что такое *братство*?—Что такое индивидуализм?—И что любовь к человечеству?

Разумеется, люди эгоисты, потому что они *лица*; как же быть самим собою, не имея резкого сознания своей личности? Лишить человека этого сознания значит распусть его, сделать существом пресным, стертым, бесхарактерным. Мы эгоисты и потому добиваемся независимости, благосостояния, признания наших прав, потому жаждем любви, ищем деятельности... и не можем отказывать без явного противуречия в тех же правах другим.

Проповедь индивидуализма разбудила, век тому назад, людей от тяжелого сна, в который они были погружены под влиянием католического мака. Она вела к свободе так, как смирение ведет к покорности. Писания эгоиста Вольтера больше сделали для освобождения, нежели писания любящего Руссо — для братства.

Моралисты говорят об эгоизме как о дурной привычке, не спрашивая, может ли человек быть человеком, утратив живое чувство личности, и не говоря, что за замена ему будет в «братстве» и в «любви к человечеству», не объясняя даже, почему следует брататься со всеми и что за долг любить всех на свете. Мы равно не видим причины ни любить, ни ненавидеть что-нибудь только потому, что оно существует. Оставьте человека свободным в своих сочувствиях, он найдет кого любить и с кем быть братом, на это ему не нужно ни заповеди, ни приказа; если же он не найдет, это его дело и его несчастье.

Христианство, по крайней мере, не останавливалось на таких безделицах, а смело приказывало любить не только всех, но преимущественно своих врагов. Восемнадцать столетий

люди умилялись перед этим; пора, наконец, сознаться, что правило это пустое... За что же любить врагов? или, если они так любезны, за что же быть с ними во вражде?

Дело просто в том, что эгоизм и общественность — не добродетели и не пороки; это основные стихии жизни человеческой, без которых не было бы ни истории, ни развития, а была бы или рассыпчатая жизнь диких зверей, или стада ручных троплодитов. Уничтожьте в человеке общественность, и вы получите свирепого орангутанга; уничтожьте в нем эгоизм, и из него выйдет смиренное жоко. Всего меньше эгоизма у рабов. Самое слово «эгоизм» не имеет в себе полного содержания. Есть эгоизм узкий, животный, грязный, так, как есть любовь грязная, животная, узкая. Действительный интерес совсем не в том, чтоб убивать на словах эгоизм и подхваливать братство, — оно его не пресилит, — а в том, чтоб сочетать гармонически свободно эти два неотъемлемые начала жизни человеческой.

Как существо общежительное, человек стремится любить, и на это ему вовсе не нужно приказа. Ненавидеть себя совсем не нужно. Моралисты считают всякое нравственное действие до того противным природе человеческой, что ставят в великое достоинство всякий добрый поступок, и потому-то они братство вменяют в обязанность, как соблюдение постов, как умерщвление плоти. Последняя форма религии рабства основана на раздвоении общества и человека, на мнимой вражде их. До тех пор, пока с одной стороны будет Архангел-Братство, а с другой Люцифер-Эгоизм, — будет правительство, чтоб их мирить и держать в узде, будут судьи, чтоб карать, палачи, чтоб казнить, церковь, чтоб молить бога о прощении, бог, чтоб наводить страх, — и комиссар полиции, чтоб сажать в тюрьму.

Гармония между лицом и обществом не делается раз навсегда, она *становится* каждым периодом, почти каждой страной и изменяется с обстоятельствами, как все живое. Общей нормы, общего решения тут не может быть. Мы видели, как в иные эпохи человеку легко отдаваться среде и как во другие только и можно *сохранить* связь разлукой, отходя, *уносить все свое с собою*. Не в нашей воле изменять историческое от-

ношение лица к обществу, да, по несчастию, и не в воле самого общества; но от нас зависит быть современными, соответствующими нашему развитию, словом, *творить* наше поведение в ответ обстоятельствам.

Действительно, свободный человек *создает* свою нравственность. Это-то стоики и хотели сказать, говоря, что «для мудрого нет закона». Превосходное поведение вчера может быть прескверно сегодня. Незыблемой, вечной нравственности так же нет, как вечных наград и наказаний. То, что действительно незыблемо в нравственности, сводится на такие всеобщности, что в них теряется почти все частное, как, например, что всякое действие, противное нашим убеждениям, преступно, или, как сказал Кант, что то действие безнравственно, которое человек не может обобщить, возвести в правило.

Мы в начале статьи советовали не входить в противуречие с собою, как бы дорого это ни стоило, и перервать сношения неистинные, поддерживаемые (как в «Альфреде» Бенжаменъ Констана) ложным стыдом, ненужным самоотвержением*.

Таковы ли современные обстоятельства, как я их представил, или нет, это подлежит спору, и если вы мне докажете противное, я с благодарностию пожму вашу руку, вы будете мой благодетель. Быть может, я увлекся и, мучительно изучая ужасы, делающиеся вокруг, потерял способность видеть светлое. Я готов слушать, я хочу согласиться. Но если обстоятельства таковы, то нет места спору.

«Итак,— скажете вы,— отдаться негодующему бездействию, сделаться чуждым всему, бесплодно роптать и сердиться, как сердятся старики, удалиться со сцены, где кипит и несетя жизнь, и доживать свой век бесполезным для других и в тягость себе».

— Я не советую браниться с миром, а начать независимую, самобытную жизнь, которая могла бы найти в себе самой спасение даже тогда, когда весь мир, нас окружающий, погиб бы. Я советую взглядеться, идет ли в самом деле масса туда, куда мы думаем, что она идет, и идти с нею или от нее, но зная ее путь; я советую бросить книжные мнения, которые нам привили с ребячества, представляя людей совсем иными,

нежели они есть. Я хочу прекратить «бесплодный ропот и капризное неудовольствие», хочу примирить с людьми, убедивши, что они не могут быть лучше, что вовсе не их вина, что они такие.

Будет ли притом такая или другая внешняя деятельность или никакой не будет — я не знаю. Да, в сущности, это и не важно. Если вы сильны, если в вас есть не только что-нибудь годное, но что-нибудь глубоко шевелящее других, оно не пропадет — такова экономия природы. Сила ваша, как капля дрожжей, непременно взволнует, заставит бродить все подвергнувшееся ее влиянию; ваши слова, дела, мысли займут свое место без особых хлопот. Если же у вас нет такой силы или есть силы, не действующие на современного человека, и в этом нет большой беды ни для вас, ни для других. Что мы за вечные комедианты, за публичные мужчины! Мы живем не для того, чтоб занимать других, мы живем для себя. Большинство людей, всегда практическое, вовсе не печется о недостатке *исторической* деятельности.

Вместо того, чтоб уверять народы, что они страстно хотят того, что мы хотим, лучше было бы подумать, хотят ли они на сию минуту чего-нибудь, и, если хотят совсем другое, сосредоточиться, сойти с рыска, отойти с миром, не насилуя других и не тратя себя.

Может, это отрицательное действие будет началом новой жизни. Во всяком случае это будет добросовестный поступок.

Париж, Hôtel Mirabeau, 3 апреля 1850 г.



VIII

ДОНОЗО КОРТЕС, МАРКИЗ ВАЛЬДЕГАМАС, И ЮЛИАН, ИМПЕРАТОР РИМСКИЙ

У консерваторов есть глаза, только они не видят. Больше скептики, нежели апостол Фома, они трогают пальцем рану и не верят ей*.

«Вот,— говорят они сами,— страшные успехи общественной гангрены, вот дух отрицания, веющий разложением, вот демон революции, потрясающий последние основы векового здания государственного... вы видите, мир наш разрушается, гибнет, увлекая с собой образование, учреждения, все выработанное им... смотрите, одна нога его уже в могиле».

И заключают потом: «Удвоимте же силу правительства войском, возвратимте людей к верованиям, которых у них нет, дело идет о спасении целого мира».

Спасать мир — воспоминаниями, насилием! Мир спасается «благою вестью», а не подогретой религией; он спасается *словом*, носящим в себе зародыш нового мира, а не воскресением из мертвых старого.

Упрямство, что ли, это с их стороны, недостаток понимания, или страх перед мрачным будущим смущает их до того, что они видят только то, что гибнет, привязаны только к прошедшему, опираются только на развалины или на стены, готовые рухнуть? Какой хаос, какой недостаток последовательности в понятиях современного человека!

По крайней мере в прошедшем было какое-нибудь единство, безумие было эпидемическое, и его мало замечали, весь свет был в заблуждении, были общие данные, большей

частью нелепые, но принятые всеми. В наше время совсем не так; предрассудки римского мира рядом с предрассудками средних веков, евангелие и политическая экономия, Лойола и Вольтер, идеализм на словах, материализм на деле; отвлеченная риторическая нравственность и поведение, прямо противоположное ей. Эта разнородная масса понятий обживается в нашем уме без порядка. Достигнув совершеннолетия, мы слишком заняты, слишком ленивы, а может, и слишком трусы, чтоб подвергнуть строгому суду наши нравственные заповеди,— так дело и остается в сумерках.

Это смешение понятий нигде не идет дальше, как во Франции. Французы вообще лишены философского воспитания; они с большой проницательностью овладевают выводами, но овладевают ими односторонно, их выводы остаются разобщенными, без единства, их связывающего, даже без приведения их к одному уровню. Отсюда противуречия на каждом шагу. Отсюда необходимость, говоря с ними, возвращаться к давным-давно известным началам и повторять за новостью истины, сказанные Спинозой или Бэконом.

Так как выводы берутся ими без корня, то и нет ничего положительно приобретенного у них, оконченного... ни в науке, ни в жизни... оконченного в том смысле, в котором окончены четыре правила арифметики, некоторые наукообразные начала в Германии, некоторые основания права в Англии. Тут отчасти причина той легкости перемен и перехода из одной крайности в другую, которая так удивляет нас. Поколение революционеров — делается абсолютистами; после ряда революций снова спрашивается, следует ли признать права человека, можно ли судить вне законных форм, должно ли терпеть свободу книгопечатания?.. Из этих вопросов, возвращающихся после каждого потрясения, очевидно, что ничего не обсуждено, не принято в самом деле.

Этой путанице в науке Кузень дал систематическую организацию под именем эклектизма (т. е. хорошего понемножку). В жизни она равно дома у радикалов и у легитимистов, особенно у умеренных, т. е. у людей, не знающих, ни чего они хотят, ни чего не хотят.

Все роялистские и католические газеты в один голос не перестают восторгаться речью Донозо Кортеса, произнесенной в Мадриде в заседании кортесов*. Речь эта, действительно, замечательна в многих отношениях. Донозо Кортес необычайно верно оценил страшное положение настоящих европейских государств, он понял, что они находятся на краю пропасти, накануне неминуемого, рокового катаклизма. Картина, начерченная им, страшна своей правдой. Он представляет Европу, сбившуюся с толку, бессильную, быстро увлекаемую в гибель, умирающую от неустройства, и с другой стороны славянский мир, готовый хлынуть на мир германо-романский. Он говорит: «Не думайте, что катастрофа тем и кончится, славянские племена в отношении к Западу не то, что были германцы в отношении римлян... Славяне давно уже в соприкосновении с революцией... Россия, среди покоренной и валяющейся в прахе Европы, всосет всеми порами яд, которым она уже упивалась и который ее убьет; она разложится тем же гниением. Я не знаю, какие врачевания приготовлены у бога против этого всеобщего разложения».

В ожидании этого божественного снадобья, знаете ли, что предлагает наш мрачный пророк, так страшно и метко начертавший образ грядущей смерти? Нам совестно повторять. Он думает, что если б Англия возвратилась к католицизму, то вся Европа могла бы быть спасена папой, монархической властью и войском. Он хочет отвести грозное будущее, отступая в невозможное прошедшее.

Нам что-то подозрительна патология маркиза Вальдегамас. Или опасность не так велика, или средство слабо. Монархическое начало везде восстановлено, войска везде имеют верх; церковь, по собственным словам Донозо Кортеса и его друга Монталамбера, торжествует, Тьер сделался католиком*, — словом, трудно желать больше притеснений, гонений, реакций; а спасение не приходит. Неужели оттого, что Англия находится в греховном отщеплении?

Всякий день обвиняют социалистов, что они сильны только в критике, в обличении зла, в отрицании. Что скажете теперь об антисоциальных врагах наших?

...В довершение нелепости редакция одного журнала, чрезвычайно *белого*, поместила в том же номере с преувеличенными похвалами речи Донозо Кортеса и отрывки из небольшой исторической компиляции, довольно посредственно сделанной, в которой говорится о первых веках христианства, об Юлиане Отступнике и которая торжественно разрушает рассуждение нашего маркиза.

Донозо Кортес становится совершенно на ту же почву, на которой стояли тогда римские консерваторы. Он видит, как те видели, разложение того общественного порядка, который его окружает; его обнимает ужас, и это очень естественно — есть чего испугаться; он хочет, как они хотели, во что бы ни стало спасти его и не находит другого средства, как останавливая грядущее, отводя его, — как будто оно не естественное последствие уже существующего.

Он отправляется, как римляне, от общей данной, совершенно ошибочной, от неоправданного предположения, от произвольного мнения. Он уверен, что настоящие формы общественной жизни, так, как они выработались под влиянием римского, германского, христианского начала, — единственно возможные. Как будто древний мир и современный Восток не представляют уже с своей стороны жизнь общественную, основанную совсем на других началах, — может, низших, но необычайно прочных.

Донозо Кортес предполагает далее, что *образование* не может развиваться иначе, как в современных европейских формах. Легко сказать с Донозо Кортесом, что древний мир имел *культуру*, а не *цивилизацию* («Le monde ancien a été cultivé et non civilisé»); подобные тонкости имеют только успех в богословских прениях. Рим и Греция были очень *образованны*, их образование было, так же как европейское, образование меньшинства, арифметическое различие тут ничего не значит, а между тем в их жизни недоставало главнейшего элемента — католицизма!

Донозо Кортес, вечно обращенный спиной к будущему, видит одно разложение, гниение и потом нашествие русских, и потом варварство. Пораженный этой страшной судьбой, он ищет средств спасения, точку опоры, что-нибудь твердое, здо-

ровое в этом мире агонии, и ничего не находит. Он обращается за помощью к нравственной смерти и к физической — попу и к солдату.

Что же это за общественное устройство, которое надобно спасать такими средствами—и, какое бы оно ни было, стоит ли оно выкупа этой ценой?

Мы согласны с Донозо Кортесом, что Европа в той форме, в которой она находится теперь, — разрушается. Социалисты с самого первого появления своего постоянно говорили это; в этом согласны все они. Главное различие между ними и политическими революционерами состоит в том, что последние хотят переправлять и улучшать существующее, оставаясь на прежней почве, в то время как социализм отрицает полнейшим образом весь старый порядок вещей с его правом и представительством, с его церковью и судом, с его гражданским и уголовным кодексом, — вполне отрицает так, как христиане первых веков отрицали мир римский.

Такое отрицание — не каприз больного воображения, не личный вопль человека, оскорбленного обществом, — а смертный приговор ему, предчувствие конца, сознание болезни, влекущей дряхлый мир к гибели и к возрождению в иных формах. Современное государственное устройство падет под протестом социализма; силы его истощены; что оно могло дать, оно дало; теперь оно поддерживается на счет собственной крови и плоти, оно не в состоянии ни дальше развиваться, ни остановить развитие; ему нечего ни сказать, ни делать, и оно свело всю деятельность на консерватизм, на отстаивание своего места.

Остановить исполнение судеб до некоторой степени возможно; история не имеет того строгого, неизменного предназначения, о котором учат католики и проповедают философы, в формулу ее развития входит много изменяемых начал — во-первых, личная *воля* и *мощь*.

Можно сбить с пути целое поколение, ослепить его, свети с ума, направить к ложной цели, — Наполеон доказал это.

Реакция даже и этих средств не имеет; Донозо Кортес ничего не нашел, кроме католической церкви и монархической

казармы. Так как *верить* или *не верить* не зависит от произвола... остается насилие, страх, гонение, казни.

...Многое прощается развитию, прогрессу; но тем не менее, когда террор делался во имя успеха и свободы,— он по справедливости возмутил все сердца. И этим-то средством хочет воспользоваться реакция для того, чтоб поддержать тот существующий порядок, которого дряхлость и разложение засвидетельствованы с такой энергией нашим оратором. Накликают террор не для того, чтоб идти вперед, а для того, чтоб идти назад; хотят убить ребенка, чтоб прокормить отходящего старика, чтоб возвратить ему на минуту утраченные силы.

Сколько надобно пролить крови, чтоб возвратиться к счастливым временам Нантского эдикта* и испанской инквизиции! Мы не думаем, чтоб задержать ход человечества на минуту было невозможно, но оно невозможно без варфоломеевских ночей. Надобно уничтожить, избить, сослать, бросить в тюрьму все энергическое нашего поколения, все мыслящее, деятельное; надобно народ еще глубже отодвинуть в невежество, взять все сильное в нем в рекруты; надобно пройти нравственным детоубийством целого поколения — и все это для того, чтоб спасти истощенную общественную форму, которая не удовлетворяет *ни вас, ни нас*.

Но в чем же состоит в таком случае разница между русским варварством и католической цивилизацией?

Пожертвовать тысячи людей, развитие целой эпохи какому-то Молоху государственного устройства, как будто оно и вся цель нашей жизни... Думали ли вы об этом, человеколюбивые христиане? Жертвовать другими, иметь за них самоотвержение слишком легко, чтоб быть добродетелью. Случается, что среди бурь народных разнуздываются долго сгнетенные страсти, кровавые и беспощадные, мстящие и неукротимые, — мы понимаем их, склоняя голову и ужасаясь... но не возводим их в общее правило, не указываем на них как на средство!

А разве не это значит панегирик Дюпозо Кортеса покорному и нерассуждающему солдату,—на ружье которого он опирает половину своих надежд?

Он говорит, что «священник и солдат гораздо ближе друг к другу, нежели думают». Он сравнивает с монахом, с живым мертвецом — этого невинного убийцу, обреченного на злодеяние обществом. Страшное признание! Две крайности погибающего мира подают друг другу руку, встретившись, как два врага в «Тьме» Байрона. На развалинах гнущегося света для его спасения последний представитель умственной неволи соединяется с последним представителем неволи физической.

Церковь примирилась с солдатом, как только она сделалась церковью государственной; но она никогда не осмелилась признаваться в этой измене, она понимала, сколько ложного было в этом союзе, сколько лицемерного; это была одна из тысячи уступок, которые она делала презираемому ею *временному* миру. Мы не будем ее обвинять за это, она была в необходимости многое принимать вопреки своему учению. Христианская нравственность была всегда одной благородной мечтой, никогда не осуществлявшейся.

Но маркиз Вальдегамас отважно поставил солдата возле попа, кордегардию рядом с алтарем, евангелие, отпущающее грехи, рядом с военным артикулом, расстреливающим за проступки.

Пришло наше время петь «вечную память» или, если хотите, «молебен». Конец церкви и конец войску!

Наконец, маски упали. Наряженные узнали друг друга. Разумеется, что священник и солдат — братья, они оба несчастные дети нравственной тьмы, безумного дуализма, в котором бьется и выбивается из сил человечество, — и тот, который говорит: «Люби твоего ближнего и повинуйся власти», в сущности, говорит то же, что «повинуйся властям и стреляй в твоего ближнего».

Христианское плотоумерщвление столько же противно природе, как умерщвление других по приказу; надобно было глубоко развратить, сбить с толку все простейшие понятия, все то, что называется совестью, чтоб уверить людей, что убийство может быть священной обязанностью, — без вражды, без сознания причины, против своего убеждения. Все это держится на одной и той же основе, на той же краеугольной

ошибке, которая стоила людям столько слез и столько крови, — все это идет от презрения земли и временного, от поклонения небу и вечному, от неуважения лиц и поклонения государству, от всех этих сентенций вроде «*Salus populi suprema lex, pereat mundus et fiat justitia*»¹, от которых страшно пахнет жженным телом, кровью, инквизицией, пыткой и вообще *торжеством порядка*.

Но зачем же Донозо Кортес забыл третьего брата, третьего ангела-хранителя падающих государств — *палача*? Не оттого ли, что палач все больше и больше смешивается с солдатом благодаря роли, которую его заставляют играть?

Все добродетели, уважасмые Донозо Кортесом, скромно соединены в палаче и притом в высшей степени: покорность власти, слепое исполнение и самоотвержение без пределов. Ему не нужно ни веры священника, ни одушевления воина. Он убивает хладнокровно, рассчитанно, безопасно, как закон, — во имя общества, во имя порядка. Он вступает в соревнование с каждым злодеем и постоянно выходит победителем, потому что рука его опирается на все государство. Он не имеет гордости священника, честолюбия солдата, он не ждет награды ни от бога, ни от людей; ему нет ни славы, ни почета на земле, рай ему не обещан в себе; он жертвует всем, именем, честью, своим достоинством, он прячется от глаз людских, и все это для торжественного наказания врагов общества.

Отдадим справедливость человеку общественной мести и скажем, подражая нашему оратору: «Палач гораздо ближе к священнику, нежели думают».

Палач играет великую роль всякий раз, когда надобно распинать «нового человека» или обезглавить старый коронованный призрак... Местр не забыл об нем, говоря о папе*.

...И вот с Голгофой вспомнился мне отрывок о гонениях первых христиан. Прочтите его или, еще лучше, возьмите писания первых отцов, Тертуллиана и кого-нибудь из римских консерваторов. Какое сходство с современной борь-

¹ «Благо» народа — высший закон, пусть погибнет мир, но да свершится правосудие» (лат.).— *Ред.*

бой — те же страсти, та же сила с одной стороны и тот же отпор с другой, даже выражения те же.

Читая обвинения христиан Цельса или Юлиана в безнравственности, в безумных утопиях, в том, что они убивают детей и развращают больших, что они разрушают государство, религию и семью, так и кажется, что это *premier-Paris*¹ «Конституционного» или «*Assemblée Nationale*», только умнее написанный.

Если друзья порядка в Риме не проповедовали избиение и резню «назареев», то это только оттого, что языческий мир был более человечествен, не так духовен, менее нетерпим, нежели католическое мещанство. Древний Рим не знал сильных средств, изобретенных западной церковью, так успешно употребленных в избиении альбигойцев*, в Варфоломеевскую ночь, во славу которой до сих пор оставлены фрески в Ватикане, представляющие богобоязненное очищение парижских улиц от гугенотов, — тех самых улиц, которые мещане год тому назад так усердно очищали от социалистов. Как бы то ни было, дух один, и разница часто зависит от обстоятельств и личностей. Впрочем, эта разница в нашу пользу; сравнивая донесения Бошара с донесением Плиния Младшего, великодушие цезаря Траяна, имевшего отвращение от доносов на христиан, и неумытность цезаря Каваньяка*, который не разделял этого предрассудка относительно социалистов, мы видим, что умирающий порядок дел до того уже плох, что он не может найти себе таких защитников, как Траян, ни таких секретарей следственной комиссии, как Плиний.

Общие полицейские меры были тоже сходны. Христианские клубы закрывались солдатами, как только доходили до сведения властей; христиан осуждали, не слушая их оправданий, придирались к ним за мелочи, за наружные знаки, отказывая в праве изложить свое учение. Это возмущало Тертуллиана, как теперь всех нас, и вот причина его апологетических писем к римскому сенату*. Христиан отдают на съедение диким зверям, заменявшим в Риме полицейских солдат. Пропаганда усиливается; унижительные наказания — не

¹ передовица (франц.). — *Ред.*

унижают, напротив, осужденные становятся героями — как буржские «каторжные»¹.

Видя безуспешность всех мер, величайший защитник порядка, религии и государства, Диоклециан, решил нанести страшный удар мятежному учению, он мечом и огнем пошел на христиан.

Чем же все это кончилось? Что сделали консерваторы с своей цивилизацией (или культурой), с своими легионами, с своим законодательством, ликторами, палачами, дикими зверями, убийствами и прочими ужасами?

Они только дали доказательство, до какой степени может дойти свирепость и зверство консерватизма, что за страшное орудие солдат, слепо повинующийся судье, который из него делает палача, и с тем вместе доказали еще яснее всю несостоятельность этих средств против *слова*, когда пришло его время.

Заметим даже, что иной раз древний мир был прав против христианства, которое подрывало его во имя учения утопического и невозможного. Может, и наши консерваторы иногда правы в своих нападках на отдельные социальные учения... но к чему им послужила их правота? Время Рима проходило, время евангелия наступало!

И все эти ужасы, кровопролития, мясничества, гонения привели к известному крику отчаяния умнейшего из реакционеров, Юлиана Отступника, — к крику: «*Ты победил, Галилеянин!*»*

«Voix du Peuple», 18 mars 1850^{2*}

¹ Бланки, Распаль, Барбес и пр. Процесс 15 мая 1848.

² Речь Донозо Кортеса, испанского посланника, сначала в Берлине, потом в Париже, была напечатана в бесчисленном количестве экземпляров на счет знаменитого своей ничтожностью и истраченными на вздор суммами общества улицы Пуатье*. Я тогда был на время в Париже и в самых близких сношениях с журналом Прудона. Редакторы предложили мне написать ответ; Прудон был доволен им; зато «Patrie» разгневалась и вечером, повторив сказанное «о третьем защитнике общества», спрашивала прокурора республики, будет ли он преследовать статью, в которой ставят солдат на одну доску с палачом, а палача называют палачом (bourgeau), а не исполнителем верховных судеб (exécuteur des hautes oeuvres) и пр. Донос полицейского журнала имел свое действие; через день не оставалось в редакции ни одного номера от сорока тысяч — обыкновенного тиража «Voix du Peuple».



СТАТЪИ

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ ИЛИ ОБЪЯСНЕНИЯ К СБОРНИКУ

Любезнейший друг! Несмотря на все твои возражения, я не перестану повторять, что печатать в России всегда было трудно. В то время как везде писатель старался всего более о том, как яснее изложить мысль свою, у нас приходилось делать обратное: затемнять ясность настолько, насколько это нужно, чтоб пропустила цензура. Тем не менее мы писали, скрепя сердце, настолько, насколько это было возможно. С детства привычные скрывать половину всего, что волнует душу, что занимает ее, мы кой-как ладили с петербургской цензурой, которая, при всей привязчивости и строгости, была умнее, человечественнее, нежели дикая цензура в Москве, подобострастно и тупо вымарывавшая все, в чем находила след независимой мысли. Мы знали наши пределы: знали, что об офицерах ничего нельзя говорить; знали зато, что гражданские чиновники до начальников департамента были преданы литературе; мы знали, что иногда дозволялось хлестнуть и помещиков, когда еще верили, что правительство подает руку помощи несчастному народу, отданному на грабеж дворянству. Теперь и это скудное поприще, предоставленное слову, сделалось невозможным. После февральской революции испуганное правительство придумало еще цензуру над цензурой, цензуру контроля, надзора, и в этой цензуре сидят уже не цензора, а генералы, адъютанты и министры*. С тех пор ровно уже ничего нельзя печатать. Журналистика, этот важный орган образования у нас, сделалась до того бесцветна, что нельзя читать; литература приостановлена. Страсть к цензуре развилась у нашего правительства в последнее время до того,

что оно завело цензуру в Букаресте, в Яссах; гнать мысль и слово — превратилось в болезнь, в мономанию. Как ни нелеп этот бой с мыслию, мы не будем порицать русское правительство; оно поступает точно так, как и все правительства, не исключая мещанской республики: у него только больше средств в руках — оно их употребляет — вот и все различие; дух, стремление — одни и те же. Их можно до некоторой степени оправдать — это дело самосохранения; но у нас свое дело, и мы не можем остаться в этой немоте, мы не должны замолчать оттого, что нам не позволяют говорить. — Какие бы меры правительство ни употребляло — оно может заставить нас молчать только до тех пор, пока желание высказаться будет слабо или сама мысль, которую хотим высказать, будет слаба. Возмужалую мысль, окрепнувшую волю удержать невозможно: она или сломит препятствия, или ускользнет от преследования и, изгнанная в одном месте, вовсе неожиданно является в другом. Новая *цензура в цензуре* заперла мне все журналы — я ей от души благодарен: она освободила меня от всякой цензуры, я буду печатать в Париже, в Лондоне. Увеличение цензурных гонений в России показывает, что пришла пора начать заграничную русскую литературу; и в самом деле, у порядочных людей нет больше мыслей, которые бы могли процедиться сквозь цензуру в квадрате, — те же мысли, которые могут пройти, не принадлежат литературе. Правительство напоминает нам, что время гласности для нас настало; покажем ему, что мы не хотим ни подчиняться тупой и тяжелой цензуре, ни болтать бесцветный вздор, — что мы не хотим более ни молчать, ни притворяться. Пора нам стереть с себя позорное обвинение в страдательной выносимости — мы выносили от незрелости, от молодости, — мы выносили оттого, что ничего не было готового. Я думаю, что это время проходит, и потому считаю необходимым, чтоб где-нибудь раздалось свободное русское слово; как бы слабо оно ни было на первый случай — оно получает особое значение, и вы увидите: мой опыт найдет последователей. — Для всего мира наступает новая эпоха; в ней Русь призвана играть новую роль: не быть чужой — как до Петра, ученицей — как после него, врагом — как теперь. Старые государства Европы

начинают чувствовать, что для них настает дряхлость, что у них нет ни достаточно сил, ни достаточно энергии, чтоб стать на высоту новой общественной жизни; они берегут приобретенное и хотят обмануть смерть; они слабеют, не умея сладить ни с свободой, ни с рабством, ни с республикой, ни с монархией; они теряются, сокрушенные внутренней борьбой. — Франция (вечно впереди!) дает печальный пример борьбы против великих судеб своих; испуганная будущим, она, в каком-то тяжелом опьянении, отказывается от всего приобретенного кровию и трудами семидесяти лет. И чем ближе подступает роковое будущее, чем неотразимее оно — тем болезненнее поднимается грудь старых народов, трепещущих за нажитое благо, за свою цивилизацию, тем чаще и чаще обращают взгляды на эту загадочную страну, называемую Россией. Мнения Франции относительно России и русских много изменились с февральского переворота. С одной стороны, все ложные поклонники свободы, вся эта либеральная толпа, которая играла в оппозицию, испуганная близким восстанием пролетариата, — смотрит на Россию как на единственный оплот *порядка*; они нашли в душе своей настолько совести или настолько утратили стыд, что, не толкуя больше о русском деспотизме, они завидуют ему — с уважением склоняются перед этим колоссальным рабством. Тьер, в народном собрании, поставил в образец Франции русское правительство — этот идеал *d'un gouvernement fort*¹. Они нас считают консерваторами, а нам и беречь-то нечего, кроме общинного сельского быта и самих себя. Европейцы не понимают, что весь императорский период в России не имеет в себе ничего прочного, окончательно установившегося; это революционная диктатура во имя самодержавия: он держится террором без всяких законов, без всяких прав. Может быть, этот период был нужен для скрепления в одно государство, сильное и сосредоточенное, всей Руси; но все же это не нормальное состояние, не *statu quo*², а кризис, переворот, осадное положение, *suspension des droits de l'homme*³ 93 года.

¹ сильного правительства (франц.). — *Ред.*

² Здесь: установившееся положение (лат.). — *Ред.*

³ временная отмена прав человека (франц.). — *Ред.*

С другой стороны, демократы и социалисты примирились с Русью по частным, личным столкновениям с русскими. По счастью, в последнее время вывелись все эти карикатурные русские туристы, о которых мещанские журналы, бледнея от зависти, повествовали, сколько они проиграли в карты, сколько бросили золота лореткам. Шаривари простился с ними прекрасной карикатурой Гаварни: «Le dernier prince russe à Paris»¹. Париж после революции не так забавен — они предпочитают теперь минеральные воды. Зато имя русских повторяется при всяком общем деле. Я вас спрашиваю, было ли что-нибудь подобное не только в первую революцию, но и после 30 июля? — За несколько дней до 24 февраля министры Людвига-Филиппа выгнали из Парижа русского за то, что в смелой речи к полякам он показал, что русские вовсе не делят кровавых пятен своего правительства*. Брюссельские демократы с радостью приняли изгнанника на короткое время, пока французский народ в свою очередь прогнал министров и их короля. — Русские подали первую мысль Европейского демократического клуба, убитого реакцией после июньских дней; русский был избран президентом его*; русский представлял республиканскую сторону на славянской диете в Праге*; русский, призванный свидетельствовать в Буржскую инквизицию, стал за 15 мая*. Русские участвовали во всех демократических складчинах. В июньские дни схватили бумаги одного русского*, думая найти, что он агент Питта и Кобурга, и тихо возвратили их, убедившись, что он больше республиканец, нежели полиция Каваньяка.

Все это вместе имеет в моих глазах некоторую важность; кто сколько-нибудь приучил свой глаз к наблюдательности — тот согласится со мною, что такого рода явления не бывают без корней; не доставало одного — печатать по-русски за границей. Я это делаю теперь и охотно берусь быть издателем рукописей, которые мне доставят. Но для кого мы будем печатать по-русски? Я знаю, что не только книгу в России запретят, но что учредят особый пограничный кордон *ad hoc*²

¹ «Последний русский князь в Париже» (франц.). — *Ред.*

² для этого случая (лат.). — *Ред.*

и новое ведомство предупреждения и пресечения ввоза мятежной книги — и все-таки печатаю ее *для русских в России*. Мы посмотрим, кто сильнее — власть или мысль. Мы посмотрим, кому удастся — книге ли пробраться в Россию или правительству не пропустить ее.

· Да здравствует свобода книгопечатания! .

Париж

1 мая 1849

М. Сборник, предлагаемый теперь, составлен из статей, писанных в 48 году и в начале нынешнего. Я присовокуплю к ним маленький очерк: «Крайности сходятся»*, не пропущенный цензурой, и небольшую статью «Москва и Петербург»*, написанную очень давно и которая имела некоторый успех (разумеется, в рукописи). Наконец, я тут же поместил первую часть повести «Долг прежде всего». Я не могу теперь ее продолжать и вообще не знаю, когда возвращусь опять к ней. Другие занятия, другая жизнь отвлекли меня от чисто литературной деятельности. Следующая книжка будет заключать в себе, сверх продолжения парижских писем, ряд статей о значении России, о ее отношениях к Европе, о ее внутреннем быте*.



LA RUSSIE

A G. H.

< 1 >

Mon cher ami. Vous avez désiré voir mes élucubrations russes sur l'histoire des événements contemporains: les voici. Je vous les adresse de bon cœur. Vous n'y trouverez rien de neuf. Ce sont là des sujets, sur lesquels nous nous sommes si souvent et si tristement entretenus, qu'il serait difficile d'y rien ajouter. Votre corps, il est vrai, tient encore à ce monde inerte et décrépité dans lequel vous vivez; mais déjà votre âme l'a quitté pour s'orienter et se recueillir en elle-même. Vous êtes ainsi arrivé au même point que moi, qui me suis éloigné d'un monde incomplet, livré encore au sommeil de l'enfance et n'ayant pas conscience de lui-même.

Vous vous sentiez à l'étroit au milieu de ces murs noirâtres, crevassés par le temps et menaçant ruine de toutes parts; j'étouffais, de mon côté, dans cette atmosphère chaude et humide, au milieu de cette vapeur calcaire d'un édifice inachevé: on ne saurait vivre dans un hôpital[?] ni dans une crèche. Partis de deux extrêmes opposés, nous nous rencontrons au même point. Etrangers dans notre patrie, nous avons trouvé un terrain commun sur une terre étrangère. Ma tâche, il faut l'avouer, a été moins pénible que la vôtre. A moi, fils d'un autre monde, il m'a été facile de m'affranchir d'un passé que je ne connaissais que par ouï-dire et dont je n'avais aucune expérience personnelle.

La position des Russes, à cet égard, est très remarquable. Nous sommes moralement plus libres que les Européens, et ce n'est pas seulement parce que nous sommes affranchis des grandes

épreuves à travers lesquelles se développe l'Occident, mais aussi parce que nous n'avons point de passé qui nous maîtrise. Notre histoire est pauvre, et la première condition de notre vie nouvelle a été de la renier entièrement. Il ne nous est resté de notre passé que la vie nationale, le caractère national, la cristallisation de l'Etat: tout le reste est élément de l'avenir. Le mot de Goëthe sur l'Amérique s'applique fort bien à la Russie:

«Dans ton existence pleine de sève et de vie, tu n'es troublée ni par d'inutiles souvenirs, ni par de vaines discussions».

Je suis venu, comme étranger, en Europe; vous, vous vous êtes fait étranger. Une fois seulement, et pour quelques instants, nous nous sommes sentis chez nous: c'était au printemps de 1848. Mais combien cher nous avons payé ce rêve, quand, au réveil, nous nous sommes trouvés au bord de l'abîme, sur la pente duquel est placée la vieille Europe, aujourd'hui sans force, sans initiative et paralysée de tous ses sens. Nous voyons avec effroi la Russie se préparer à pousser encore plus avant vers leur ruine les Etats épuisés de l'Occident, semblables à un mendiant aveugle conduit au précipice par la malice d'un enfant.

Nous n'avons point cherché à nous faire illusion. Le chagrin dans l'âme, prêts d'ailleurs à tout événement, nous avons étudié jusqu'au bout cette effroyable situation. Quelques observations fugitives, empruntées à cette série de pensées qui nous occupaient dans ces derniers temps, se mêlaient à nos entretiens, et leur donnaient pour vous un certain charme; elles n'en auront aucun pour d'autres, pour ceux-là surtout qui sont placés avec nous sur le bord du même abîme. L'homme, en général, n'aime pas la vérité; mais quand elle contrarie ses désirs; quand elle fait évanouir ses rêves les plus chers; quand il ne peut l'acquérir qu'au prix de ses espérances et de ses illusions, il se prend alors de haine contre elle, comme si elle en était cause.

Nos amis sont si vains dans leurs espérances; ils acceptent si facilement le fait accompli! Furieux contre la réaction, ils la regardent comme quelque chose d'accidentel et de passager; à leurs yeux, c'est un mal aisément guérissable qui n'a ni sens profond, ni racines étendues. Peu d'entre eux veulent reconnaître que la réaction est puissante, parce que la Révolution a été faible. Les démocrates politiques se sont effrayés des démocrates

socialistes, et la Révolution s'est brisée en retombant sur elle-même.

Tout espoir d'un développement calme et paisible dans sa marche progressive s'est évanoui, tous les ponts de transition se sont rompus. Ou l'Europe succombera sous les coups terribles du Socialisme, ébranlée, arrachée par lui de ses fondements, comme autrefois Rome succomba sous les efforts du christianisme; ou l'Europe, telle qu'elle est, avec sa routine au lieu d'idées, avec sa décrépitude au lieu d'énergie, vaincra le Socialisme, et, comme une seconde Byzance, se traînera dans une longue apathie, en cédant à d'autres peuples, à d'autres contrées le progrès, l'avenir, la vie. S'il pouvait y avoir un troisième terme, ce serait le chaos d'une lutte universelle sans victoire d'aucun côté; la confusion d'un soulèvement et d'une effervescence générale qui conduirait au despotisme, à la terreur, à l'extermination.

Rien en cela d'impossible; nous sommes à l'entrée d'une époque de larmes et de souffrances, de hurlements et de grincements de dents, nous avons vu des deux côtés s'en dessiner le caractère. Qu'on se rappelle seulement l'insurrection de Juin et de quelle manière elle a été comprimée. Depuis lors, les partis se sont aigris toujours davantage; on ne ménage plus rien, et le Tiers-état, qui, pendant des siècles, a dépensé tant de travail et d'efforts pour acquérir quelques droits et quelque liberté est prêt à tout sacrifier de nouveau.

Il voit qu'il ne peut même tenir sur le terrain légitime d'un Polignac et d'un Guizot, et revient sciemment aux temps de la Saint-Barthélémy, de la guerre de Trente Ans et de l'Edit de Nantes, derrière lesquels on aperçoit la barbarie, la ruine, de nouvelles agglomérations de peuples et les faibles commencements d'un monde à venir. Le germe historique se développe et croît lentement; il lui a fallu cinq siècles de ténèbres pour organiser quelque peu le monde chrétien, après que déjà cinq siècles avaient passé sur l'agonie du monde romain.

C'est une pénible époque que la nôtre! Tout, autour de nous se dissout; tout s'agite dans le vague et l'inutilité; les plus noirs pressentiments se réalisent avec une effrayante rapidité. Six mois ne se sont pas écoulés depuis que j'ai écrit mon troisième dialogue. Alors nous nous demandions encore s'il y avait, ou

non, quelque chose à faire; aujourd'hui cette question n'est déjà plus de mise; car nous commençons à douter même de la vie.., La France est devenue l'Autriche de l'Occident, elle s'abîme dans l'opprobre et la fange. Le sabre prussien arrête les dernières palpitations du mouvement allemand; la Hongrie saigne de toutes ses veines sous les coups redoublés de la hache de son bourreau impérial; la Suisse attend une guerre générale; la Rome chrétienne succombe avec la grandeur et la majesté de l'ancienne Rome païenne, en imprimant une flétrissure éternelle au front de ce pays, qui, naguère, était placé si haut dans l'amour des Peuples. Un libre penseur qui refuse de se courber devant la force, n'a plus, dans toute l'Europe, d'autre refuge que le pont d'un vaisseau faisant voile pour l'Amérique.

«Si la France succombe,— a dit un de nos amis,— il faut alors proclamer toute l'humanité en danger». Et cela est peut-être vrai, si, par l'humanité, nous entendons seulement l'Europe germano-romaine. Mais pourquoi faudrait-il l'entendre ainsi? Devons-nous donc, comme les Romains, nous poignarder à la manière de Caton, parce que Rome succombe, et que nous ne voyons rien, ou ne voulons rien voir hors de Rome; parce que nous tenons pour barbare tout ce qui n'est pas elle? Est-ce donc que tout ce qui est placé en dehors de notre monde est de trop et ne sert absolument à rien?

Le premier Romain, dont le regard observateur perça la nuit des temps, en comprenant que le monde auquel il appartenait devait succomber, se sentit l'âme accablée de tristesse, et, par désespoir, ou peut-être parce qu'il était plus haut placé que les autres, il jeta un coup d'œil au-delà de l'horizon national, et son regard fatigué s'arrêta sur les barbares. Il écrivit son livre les *Mœurs des Germains*; et il eut raison, car l'avenir leur appartenait.

Je ne prophétise rien; mais je ne crois pas non plus que les destins de l'humanité et son avenir soient attachés, soient cloués à l'Europe occidentale. Si l'Europe ne parvient pas à se relever par une transformation sociale, d'autres contrées se transformeront; il y en a qui sont déjà prêtes pour ce mouvement, d'autres qui s'y préparent. L'une est connue, je veux dire les Etats de l'Amérique du Nord; l'autre, pleine de vigueur, mais aussi pleine de sauvagerie, on la connaît; peu ou mal.

L'Europe entière sur tous les tons, dans les parlements et dans les clubs, dans les rues et dans les journaux, a répété le cri du braillard berlinois: «Ils viennent, les Russes! les voilà! les voilà!» Et, en effet, non seulement ils viennent, mais ils sont déjà venus, grâce à la maison de Habsbourg; peut-être vont-ils s'avancer encore, grâce à la maison de Hohenzollern.

Personne, cependant, ne sait ce que c'est que ces Russés, ces barbares, ces Cosaques, ce que c'est que ce Peuple dont l'Europe a pu apprécier la mâle jeunesse dans ce combat, dont il est sorti vainqueur. Que veut ce Peuple, qu'apporte-t-il avec lui? Qui en sait quelque chose? César connaissait les Gaulois mieux que l'Europe ne connaît les Russes. Tant que l'Europe occidentale a eu foi en elle-même, tant que l'avenir ne lui est apparu que comme une suite de son développement, elle ne pouvait s'occuper de l'Europe orientale; aujourd'hui les choses ont bien changé.

Cette ignorance superbe ne sied plus à l'Europe; ce ne serait plus aujourd'hui la conscience de la supériorité, mais la ridicule prétention d'un hidalgo castillan qui porte des bottes sans semelles et un manteau troué. Le danger de la situation ne peut se dissimuler. Reprochez aux Russes, tant qu'il vous plaira, d'être esclaves, à leur tour ils vous demandent: «Et vous, vous êtes libres?» Ils peuvent même ajouter que jamais l'Europe ne sera libre que par l'affranchissement de la Russie. C'est pour cela, je crois, qu'il y aurait utilité à connaître un peu ce pays.

Ce que je sais de la Russie, je suis prêt à le communiquer. Il y a déjà longtemps que j'ai conçu la pensée de ce travail, et bientôt, puisqu'on nous a rendu si libéralement le temps de lire et d'écrire, j'accomplirai mon projet. Ce travail me tient d'autant plus au cœur qu'il m'offre le moyen de témoigner à la Russie et à l'Europe ma reconnaissance. On ne devra chercher dans cette œuvre ni une apothéose, ni un anathème. Je dirai la vérité, toute la vérité, autant que je la comprends et la connais, sans réserve, sans but préconçu. Il ne m'importe en rien de quelle manière on dénaturera mes paroles et comment on s'en prévaudra. J'estime trop peu les partis pour mentir en faveur de l'un ou de l'autre.

On ne manque point de livres sur la Russie; la plupart cependant sont des pamphlets politiques; ils n'ont pas été écrits dans

l'intention de faire mieux connaître le sujet; ils ont servi à la propagande libérale, soit en Russie, soit en Europe; on voulait effrayer celle-ci et l'instruire, en lui présentant le tableau du despotisme russe. C'est ainsi qu'à Sparte, pour inspirer l'horreur de l'ivrognerie, on montrait en spectacle des ilotes pris de vin.

Contre les pamphlets et les diffamations, le gouvernement russe avait organisé une littérature semi-officielle, chargée de le louer et de mentir en sa faveur. D'un côté, c'est un organe de la République bourgeoise qui, dans son ignorance, mais avec la meilleure intention du monde et par patriotisme, représente les Russes comme un peuple de Calibans, croupissant dans l'ordure et l'ivrognerie, avec de petits fronts aplatis qui ne permettent pas à leurs facultés de se développer, et n'ayant de passions que celles qu'inspirent les fureurs de l'ivresse.

D'un autre côté, un journal allemand, payé par la cour d'Autriche, publie des lettres sur la Russie, dans lesquelles on exalte toutes les infamies de la politique russe et où l'on dépeint le gouvernement russe comme le plus fort et le plus national. Ces exagérations passent en dix autres journaux et servent de base aux jugements que l'on porte ensuite sur ce pays.

A dire vrai, le dix-huitième siècle accordait à la Russie une attention plus profonde et plus sérieuse que ne le fait le dix-neuvième, peut-être parce qu'il redoutait moins cette puissance. Les hommes prenaient alors un intérêt réel à l'étude de ce nouvel Etat, se montrant tout à coup à l'Europe dans la personne d'un tzar charpentier et venant réclamer une part dans la science et dans la politique européenne.

Pierre I^{er}, dans son grossier uniforme de sous-officier, avec son énergique sauvagerie, se saisit hardiment de l'administration au détriment d'une aristocratie énervée. Il était si naïvement brutal, si plein d'avenir que les penseurs d'alors se mirent à l'étudier avidement, lui et son Peuple. Ils voulaient s'expliquer comment cet Etat s'était développé sans bruit, par des voies tout autres que le reste des Etats européens; ils voulaient approfondir les éléments dont se composait la puissante organisation de ce Peuple.

Des hommes, comme Müller, Schlosser, Ewers, Lévesque, consacrèrent une partie de leur vie à l'étude de l'histoire de

la Russie, comme historiens, d'une manière tout aussi scientifique que s'en occupèrent sous le rapport physique Pallas et Gmelin. De leur côté des philosophes et des publicistes considéraient avec curiosité l'histoire contemporaine de ce pays, le phénomène d'un gouvernement qui, despotique et révolutionnaire à la fois, dirigeait son Peuple et n'était pas entraîné par lui.

Ils voyaient que le trône, fondé par Pierre I^{er}, avait peu d'analogie avec les trônes féodaux et traditionnels de l'Europe; les tentatives violentes de Catherine II, pour transporter dans la législation russe les principes de Montesquieu et de Beccaria proscrits dans presque toute l'Europe, sa correspondance avec Voltaire, ses rapports avec Diderot confirmaient encore à leurs yeux la réalité de ce phénomène.

Les deux partages de la Pologne furent la première infamie qui souilla la Russie. L'Europe ne comprit pas toute la portée de cet événement; car elle était alors occupée d'autres soins. Elle assistait, le cou tendu, et respirant à peine, aux grands événements par lesquels s'annonçait déjà la Révolution française. L'impératrice de Russie se mêla au tourbillon et offrit son secours au monde chancelant. La campagne de Souvarow en Suisse et en Italie, n'eut absolument aucun sens, elle ne pouvait que soulever l'opinion publique contre la Russie.

L'extravagante époque de ces guerres absurdes, que les Français nomment encore aujourd'hui la période de leur gloire, finit avec leur invasion en Russie; ce fut une aberration de génie, comme la campagne d'Égypte. Il plut à Bonaparte de se montrer à la terre debout sur un monceau de cadavres. A la gloire des Pyramides il voulut ajouter la gloire de Moscou et du Kremlin. Cette fois il ne réussit pas; il souleva contre lui tout un Peuple qui saisit résolument les armes, traversa l'Europe derrière lui et prit Paris.

Le sort de cette partie du monde fut pendant quelques mois entre les mains de l'empereur Alexandre, mais il ne sut profiter ni de sa victoire, ni de sa position; il plaça la Russie sous le même drapeau que l'Autriche, comme si entre cet empire pourri et mourant et le jeune Etat qui venait d'apparaître dans sa splendeur, il n'y avait rien de commun, comme si le représentant le plus

énergique du monde slave pouvait avoir les mêmes intérêts que l'oppresseur le plus ardent des Slaves.

Par cette monstrueuse alliance avec la réaction européenne, la Russie, à peine grandie par ses victoires, fut abaissée aux yeux de tous les hommes de sens. Ils secouèrent tristement la tête en voyant cette contrée, qui venait, pour la première fois, de prouver sa force, offrir aussitôt après sa main et son aide à tout ce qui était rétrograde et conservateur, et cela contrairement même à ses propres intérêts.

Il ne manquait que la lutte atroce de la Pologne pour soulever décidément toutes les nations contre la Russie. Lorsque les nobles et malheureux restes de la Révolution polonaise, errant par toute l'Europe, y répandirent la nouvelle des horribles cruautés des vainqueurs, il s'éleva de toutes parts, dans toutes les langues européennes un éclatant anathème contre la Russie. La colère des Peuples était juste...

Rougissant de notre faiblesse et de notre impuissance, nous comprenions ce que notre gouvernement venait d'accomplir par nos mains, et nos cœurs saignaient de douleur, et nos yeux s'emplissaient de larmes amères.

Chaque fois que nous rencontrions un Polonais, nous n'avions pas le courage de lever sur lui nos regards. Et cependant je ne sais s'il est juste d'accuser tout un Peuple, s'il est juste de retrancher un Peuple seul de la famille des autres Peuples et de le rendre responsable de ce qu'a fait son gouvernement.

L'Autriche et la Prusse n'y ont-elles pas aidé? La France, dont la fausse amitié a causé à la Pologne autant de mal que la haine déclarée d'autres Peuples, n'a-t-elle donc pas dans le même temps, par tous les moyens, mendié la faveur de la cour de Pétersbourg; l'Allemagne, alors déjà, n'était-elle pas volontairement, à l'égard de la Russie, dans la situation où se trouvent aujourd'hui, forcément, la Moldavie et la Valachie; n'était-elle pas alors comme maintenant gouvernée par les chargés d'affaires de la Russie et par ce proconsul du tzar qui porte le titre de roi de Prusse?

L'Angleterre seule se maintint noblement sur le pied d'une amicale indépendance; mais l'Angleterre ne fit rien non plus pour les Polonais: elle songeait peut-être à ses propres torts envers

l'Irlande. Le gouvernement russe n'en mérite pas moins de haine et de reproches; je prétends seulement faire aussi retomber cette haine sur tous les autres gouvernements, car on ne doit pas les séparer l'un de l'autre; ce ne sont que les variations d'un même thème.

Les derniers événements nous ont beaucoup appris; l'*ordre*, rétabli en Pologne, et la prise de Varsovie sont relégués à l'arrière-plan, depuis que l'*ordre* règne à Paris et que Rome est prise; depuis qu'un prince prussien préside chaque jour à de nouvelles fusillades, et que la vieille Autriche, dans le sang jusqu'aux genoux, essaie d'y rajeunir ses membres paralysés.

Le temps est passé d'attirer l'attention sur la Russie et les Cosaques. La prophétie de Napoléon a perdu son sens: peut-être est-il possible d'être à la fois républicain et cosaque. Mais il y a une chose évidemment impossible, c'est d'être républicain et bonapartiste. Honneur aux jeunes Polonais! eux, les offensés, les dépouillés, eux à qui le gouvernement russe a ravi la patrie et les biens, ce sont eux qui, les premiers, tendaient la main au Peuple russe; ils ont séparé la cause du Peuple de celle de son gouvernement. Si les Polonais ont pu dompter à notre égard leur juste haine, les autres Peuples pourront aussi bien dompter leur panique effroi.

Mais revenons aux écrits sur la Russie. Il n'a paru dans ces dernières années que deux ouvrages importants: le voyage de Custine (1842) et le voyage de Haxthausen (1847)¹. L'ouvrage de Custine a été dans toutes les mains, il a eu cinq éditions; le livre de Haxthausen, au contraire, est très peu connu, parce qu'il s'applique à un objet spécial. Ces deux écrits sont particulièrement remarquables, non comme opposés entre eux, mais

¹ Il va sans dire que nous ne parlons pas ici des articles publiés çà et là, dans différents journaux, sur la Russie. A l'exception des ouvrages que nous venons d'indiquer, nous ne connaissons rien qui offre un tout, un ensemble. Il y a sans doute d'excellentes observations dans le *Voyage zoologique* de Blasius, dans les *Tableaux de la littérature russe* de Kœnig. On peut relever certains passages dans les froides compilations de Schnitzler, qui ne sont pas exemptes d'une influence officielle... Mais tout ce qui est mystères, secrets, mémoires de diplomates, etc., n'appartient en rien au domaine d'une littérature sérieuse.— Le livre de Haxthausen a paru en allemand et en français.

parce qu'ils représentent les deux côtés dont se compose, en effet, la vie russe. Custine et Haxthausen diffèrent dans leurs récits, parce qu'ils parlent de choses diverses. Chacun d'eux embrasse une sphère différente; mais il n'y a point entre eux de contradiction. C'est comme si l'un décrivait le climat d'Arkan-gel, l'autre celui d'Odessa: tous deux restent toujours en Russie.

Custine, par sa légèreté d'esprit, est tombé dans de grandes méprises; par sa prédilection pour les phrases, il s'est laissé entraîner à d'énormes exagérations d'éloge ou de blâme, mais il est d'ailleurs un bon et fidèle observateur. Il s'abandonne tout d'abord à la première impression et ne rectifie jamais un jugement une fois porté. De là vient que son livre fourmille de contradictions; mais ces contradictions mêmes, loin de cacher la vérité au lecteur attentif, la lui montrent sous plusieurs côtés. Légitimiste et jésuite, il vint en Russie avec la plus grande vénération pour les institutions monarchiques, il la quitta, en maudissant l'autocratie aussi bien que l'atmosphère empestée qui l'entoure.

Le voyage, comme on voit, profita à Custine.

A son arrivée en Russie, il ne vaut pas mieux lui-même que tous les courtisans, auxquels il lance les traits de sa satire. A moins peut-être qu'on ne lui fasse un titre d'estime de ce qu'il accepta volontairement le rôle que ceux-ci remplissaient comme un devoir?

Je ne crois pas qu'aucun courtisan ait mis autant d'affectation à relever chaque parole, chaque geste de l'impératrice; à parler du cabinet et de la toilette de l'impératrice, de *l'esprit* et de *l'amabilité* de l'impératrice; aucun n'a si souvent répété à l'empereur qu'il était plus grand que son Peuple (Custine alors ne connaissait le Peuple russe que par les cochers de fiacre de Pétersbourg); plus grand que Pierre I^{er}, que l'Europe ne lui rendait pas justice; qu'il était un grand poète et que ses poésies l'attendrissaient jusqu'aux larmes.

Une fois dans la sphère de la cour, Custine ne la quitte pas; il ne sort pas des antichambres et s'étonne de n'y trouver que des valets; c'est aux gens de cour qu'il s'adresse pour en tirer des informations. Ceux-ci savent qu'il est écrivain, ils craignent son bavardage et le trompent. Custine est indigné; il s'irrite et met

le tout sur le compte du Peuple russe. Il va à Moscou, il va à Nijni-Novgorod; mais partout il est à Pétersbourg; partout l'atmosphère de Pétersbourg l'environne et donne aux objets qui passent sous ses yeux une teinte uniforme.

Aux relais seulement, il jette de rapides coups d'œil sur la vie du Peuple; il fait d'excellentes remarques, il prophétise à ce Peuple un avenir colossal, il ne peut assez admirer la beauté et l'agilité du paysan, il dit qu'il se sent beaucoup plus libre à Moscou, que l'air y est moins lourd et que les hommes y vivent plus contents.

Il dit, — et poursuivant sa marche sans se mettre en peine le moins du monde d'accorder ces observations avec celles qui ont précédé, sans s'étonner de rencontrer chez un seul et même Peuple des qualités tout-à-fait opposées, — il ajoute: «La Russie aime l'esclavage jusqu'à la passion». Et ailleurs: «Ce Peuple est si grandiose que même dans ses vices il est plein de force et de grâce».

Custine n'a pas seulement négligé la manière de vivre du Peuple russe (dont il se tint toujours éloigné), mais il ne savait rien non plus du monde littéraire et savant, bien plus rapproché de lui; il connaissait le mouvement intellectuel de la Russie tout aussi peu que ses amis de cour, qui ne se doutaient pas même, qu'il y eût des livres russes et quelqu'un pour les lire; c'est seulement par hasard et à l'occasion d'un duel qu'il a entendu parler de Pouchkin.

«Poète sans initiative», dit de lui le brave marquis, et oubliant que ce n'est pas des Français qu'il parle, il ajoute: «Les Russes sont généralement incapables de comprendre nettement quelque chose de profond et de philosophique». Peut-on après cela s'étonner que Custine termine son livre précisément, comme il l'a commencé, en disant que la cour est tout en Russie?

Franchement, il a raison, par rapport à ce monde qu'il avait choisi pour centre de son action, et qu'il nomme lui-même si excellemment le monde des façades. Sans doute, c'est sa faute s'il n'a voulu rien voir derrière ces façades, et l'on aurait quelque droit de lui en faire reproche, car il répète cent fois dans son livre que l'avenir de la Russie est grand; que plus il apprend à connaître ce pays, plus il tremble pour l'Europe; qu'il voit en lui une

puissance grandissant dans sa force, qui s'avance en ennemi contre cette partie du monde qui s'affaiblit chaque jour davantage.

Nous serions donc autorisés, en raison même de ces présages, à exiger de lui une étude un peu plus approfondie de ce Peuple; néanmoins nous devons avouer que s'il a négligé les deux tiers de la vie russe, il en a compris très bien le dernier tiers et l'a dépeint de main de maître en beaucoup d'endroits. Quoiqu'en dise l'autocratie de la cour de Pétersbourg, encore faut-il qu'elle accorde que le portrait est frappant dans ses traits principaux.

Custine sentait lui-même qu'il n'avait étudié que la Russie gouvernementale, la Russie de Pétersbourg. Il prend comme épigraphe le passage de la Bible: «Tel <qu'est> le prince de la ville, tels sont aussi les citoyens». Mais ces paroles ne conviennent pas à la Russie dans sa période actuelle. Le prophète pouvait le dire des Juifs de son temps, comme aujourd'hui chacun peut le dire de l'Angleterre. La Russie ne s'est pas encore formée. La période de Pétersbourg fut une révolution nécessaire en son temps, mais dont la nécessité est déjà moindre aujourd'hui.

< II >

Rien ne saurait être plus opposé au brillant et léger marquis de Custine, que le flegmatique agronome westphalien, baron de Haxthausen, conservateur, érudit de vieille souche et l'observateur le plus bienveillant du monde. Haxthausen vint en Russie dans un but qui n'y avait amené encore personne avant lui. Il voulait étudier à fond les mœurs des paysans russes. Après s'être occupé longtemps d'économie rurale en Allemagne, il rencontra par hasard quelques débris des institutions de la commune rurale chez les Slaves; il s'en émerveilla d'autant plus, qu'il les trouva entièrement opposées à toutes les autres institutions du même genre.

Cette découverte le frappa tellement qu'il vint en Russie pour y examiner de près les communes rurales. Haxthausen, instruit dès son enfance que toute puissance vient de Dieu, habitué dès ses plus jeunes ans à vénérer tous les gouvernements, Haxthausen ayant conservé les idées politiques du temps de

Puffendorf et de Hugo Grotius, ne pouvait se défendre d'admirer la cour de Pétersbourg. Il se sentait écrasé par cette puissance qui a six cent mille soldats pour sa défense et neuf mille verstes de terrain pour ses bannis. Etonné et anéanti par la grandeur effrayante de cette autocratie, il quitta heureusement bientôt Pétersbourg, resta quelque temps à Moscou et s'éclipsa pour toute une année.

Cette année, Hasthausen l'employa à une étude approfondie de la commune rurale en Russie. Le résultat de ses recherches ne fut pas tout à fait semblable à celui de Custine. Il dit, en effet, qu'en Russie, la commune rurale est tout. Là, suivant l'opinion du baron, est la clef du passé de la Russie et le germe de son avenir, la monade vivifiante de l'Etat russe. «Chaque commune rurale, dit-il, est, en Russie, une petite République, qui se gouverne elle-même pour ses affaires intérieures, qui ne connaît ni propriété foncière personnelle, ni prolétariat; qui a élevé à l'état de fait accompli depuis longtemps une partie des utopies socialistes; on se sait pas vivre autrement ici; et l'on n'y a même jamais autrement vécu».

Je partage entièrement l'opinion de Haxthausen; mais je crois qu'en Russie la commune rurale n'est pas tout non plus. Haxthausen a vraiment saisi le principe vivifiant du Peuple russe; mais, dans sa prévention native pour tout ce qui est patriarcal et, sans aucun talent de critique, il n'a pas vu, que c'est précisément le côté négatif de la vie communale qui a provoqué la réaction de Pétersbourg. S'il n'y avait pas eu complète absorption de la personnalité dans la commune, cette autocratie, dont parle Custine avec un si juste effroi, n'aurait pu se former.

Il me semble qu'il y a dans la vie russe quelque chose de plus élevé que la commune et de plus fort que le pouvoir; ce quelque chose est difficile à exprimer par des mots, et plus difficile encore à indiquer du doigt. Je parle de cette force intime n'ayant pas entièrement conscience d'elle-même, qui tenait si merveilleusement le Peuple russe sous le joug des hordes mongoles et de la bureaucratie allemande, sous le knout oriental d'un Tartare et sous la verge occidentale d'un caporal; je parle de cette force intime, à l'aide de laquelle s'est conservée la physionomie ouverte et belle et la vive intelligence du paysan russe, malgré la dis-

cipline avilissante du servage, et qui, au commandement impérial de se civiliser, a répondu, après un siècle, par la colossale apparition d'un Pouchkin; je parle de cette force, enfin; et de cette confiance en soi qui s'agit dans notre poitrine. Cette force, en dehors de tous les accidents extérieurs et malgré eux, a conservé le Peuple russe et protégé cette foi inébranlable qu'il a en lui-même: à quelle fin?.. C'est ce que le temps nous apprendra.

«Communes rurales russes et république, villages slaves et institutions sociales». Ces mots, ainsi accouplés, résonnent sans doute d'une manière bizarre aux oreilles des lecteurs de Haxthausen. Beaucoup, j'en suis sûr, demanderont si l'agronome westphalien, était dans son bon sens; et pourtant Haxthausen a parfaitement raison; l'organisation sociale des communes rurales en Russie est une vérité tout aussi grande que la puissante organisation slave du système politique. Cela est étrange!.. Mais n'est-il pas encore plus étrange, qu'à côté des frontières européennes un Peuple ait vécu pendant mille ans, qui compte aujourd'hui cinquante millions d'âmes, et qu'au milieu du dix-neuvième siècle sa manière de vivre soit pour l'Europe une nouveauté inouïe?

La commune rurale russe subsiste de temps immémorial, et les formes s'en retrouvent assez semblables chez toutes les tribus slaves. Là, où elle n'existe pas, c'est qu'elle a succombé sous l'influence germanique. Chez les Serbes, les Bulgares et les Monténégrins, elle s'est conservée plus pure encore qu'en Russie. La commune rurale représente pour ainsi dire l'unité sociale, une personne morale, l'Etat n'a jamais dû aller au-delà; elle est le propriétaire, la personne à imposer; elle est responsable pour tous et chacun, et par suite autonome en tout ce qui concerne ses affaires intérieures.

Son principe économique est l'antithèse parfaite de la célèbre proposition de Malthus: elle laisse chacun sans exception prendre place à sa table. La terre appartient à la commune et non à ses membres en particulier; à ceux-ci appartient le droit inviolable d'avoir autant de terre que chaque autre membre en possède au dedans de la même commune; cette terre lui est donnée, comme possession sa vie durant; il ne peut et n'a pas besoin non

plus de la léguer par héritage. Son fils, aussitôt qu'il a atteint l'âge d'homme, a le droit, même du vivant de son père, de réclamer de la commune une portion de terre. Si le père a beaucoup d'enfants, tant mieux, car ils reçoivent de la commune une portion de terre d'autant plus grande; à la mort de chacun des membres de la famille, la terre revient à la commune.

Il arrive fréquemment, que des vieillards très âgés rendent leur terre et acquièrent par là le droit de ne point payer d'impôts. Un paysan, qui quitte pour quelque temps sa commune, ne perd pas pour cela ses droits sur la terre; ce n'est que par l'exil qu'on peut la lui retirer, et la commune ne peut prendre part à une décision de cette sorte que par un vote unanime; elle n'a cependant recours à ce moyen que dans les cas extrêmes. Enfin, un paysan perd aussi ce droit dans le cas où, sur sa demande, il est affranchi de l'union communale. Il est alors autorisé seulement à prendre avec lui son bien mobilier, rarement lui permet-on de disposer de sa maison ou de la transporter. De cette sorte, le prolétariat rural est chose impossible.

Chacun de ceux qui possèdent une terre, dans la commune, c'est-à-dire chaque individu majeur et imposé, a voix dans les intérêts de la commune. Le président et ses adjoints sont choisis dans une assemblée générale. On procède de même pour décider les procès entre les différentes communes, pour partager la terre et répartir les impôts. (Car c'est essentiellement la terre qui paie et non la personne. Le gouvernement compte seulement les têtes; la commune complète le déficit de ses impôts par têtes au moyen d'une répartition particulière, et prend pour unité le travailleur actif, c'est-à-dire le travailleur qui a une terre à son usage.)

Le président a une grande autorité sur chaque membre, mais non sur la commune; pour peu que celle-ci soit unie, elle peut très bien contrebalancer le pouvoir du président, l'obliger même à renoncer à sa place, s'il ne veut pas se plier à leurs vœux. Le cercle de son activité est d'ailleurs entièrement administratif; toutes les questions qui vont au-delà d'une simple police, sont résolues, ou d'après les coutumes en vigueur, ou par le conseil des Anciens, ou enfin par l'Assemblée générale. Haxthausen a commis ici une grande erreur en disant que le président administre

despotiquement la commune. Il ne peut agir despotiquement que si toute la commune est pour lui.

Cette erreur a conduit Haxthausen à voir dans le président de la commune l'image de l'autorité impériale. L'autorité impériale, résultat de la centralisation moscovite et de la réforme de Pétersbourg, n'a pas de contre-poids, tandis que l'autorité du président, comme avant la période moscovite, dépend de la commune.

Que l'on considère maintenant que chaque Russe qui n'est point citadin ou noble, doit appartenir à une commune, et que le nombre des habitants des villes, par rapport à la population des campagnés, est extrêmement restreint. Le plus grand nombre des travailleurs des villes appartient aux communes rurales pauvres, surtout à celles qui ont peu de terre; mais, comme il a été dit, ils ne perdent pas leurs droits dans la commune; ainsi les fabricants doivent nécessairement payer aux travailleurs un peu plus que ne leur rapporterait le travail des champs.

Souvent ces travailleurs se rendent dans les villes pour l'hiver seulement, d'autres y restent pendant des années; ces derniers forment entre eux de grandes associations de travailleurs; c'est une sorte de commune russe mobilisée. Ils vont de ville en ville (tous les métiers sont libres en Russie), et leur nombre s'élève souvent jusqu'à plusieurs centaines, quelquefois même jusqu'à mille; il en est ainsi, par exemple, des charpentiers et des maçons à Pétersbourg et à Moscou et des voituriers sur les grandes routes. Le produit de leur travail est administré par des directeurs choisis et partagé d'après l'avis de tous.

Ajoutez que le tiers des paysans appartient à la noblesse. Les droits du seigneur sont un honteux fléau qui pèse sur une partie du Peuple russe, d'autant plus honteux, qu'ils ne sont en rien autorisés par la loi, et qu'ils résultent uniquement d'un accord immoral avec un gouvernement qui, non seulement tolère les abus, mais qui les protège par la puissance de ses baïonnettes. Néanmoins, cette situation, malgré l'insolent arbitraire des propriétaires nobles, n'exerce pas une grande influence sur la commune.

Le seigneur peut réduire ses paysans au minimum de la terre; il peut choisir pour lui le meilleur sol; il peut agrandir ses

bien-fonds, et, par là, le travail du paysan; il peut augmenter les impôts, mais il ne peut pas refuser au paysan une portion de terre suffisante, et la terre, une fois appartenant à la commune, demeure complètement sous son administration, la même en principe, que celle qui régit les terres libres; le seigneur ne se mêle jamais dans ses affaires; on a vu des seigneurs qui voulaient introduire le système européen du partage parcellaire des terres et la propriété privée.

Ces tentatives provenaient pour la plupart de la noblesse des provinces de la Baltique; mais elles échouèrent toutes et finirent généralement par le massacre des seigneurs ou par l'incendie de leurs châteaux; car tel est le moyen national, auquel le paysan russe a recours pour faire connaître qu'il proteste¹. Les colons étrangers ont au contraire souvent accepté les institutions communales de la Russie. Il est impossible de briser en Russie la commune rurale, à moins que le gouvernement ne se décide à déporter ou à supplicier quelques millions d'hommes.

L'effroyable histoire de l'introduction des colonies militaires a montré ce que c'est que le paysan russe quand on l'attaque dans sa dernière forteresse. Le libéral Alexandre emporta les villages d'assaut; l'exaspération des paysans grandit jusqu'à la fureur la plus tragique: ils égorgèrent leurs enfants pour les soustraire aux institutions absurdes qui leur étaient imposées par la baïonnette et la mitraille. Le gouvernement, furieux de cette résistance, poursuivit ces hommes héroïques; il les fit battre de verges jusqu'à la mort, et, malgré toutes ces cruautés et ces horreurs, il ne put rien obtenir. La sanglante insurrection de la Staraja-Roussa, en 1831, a montré combien peu ce malheureux Peuple se laisse dompter. Après que le gouvernement eut comprimé la révolte, il lui fallut encore céder à la nécessité, et se contenter du mot, ne pouvant obtenir la chose.

Voilà précisément pourquoi la Révolution opérée par Pierre I^{er} fut si passivement accueillie par les paysans et rencontra si

¹ Par les documents que publie le ministère de l'Intérieur, on voit que généralement chaque année, déjà avant la dernière révolution de 1848, 60 à 70 seigneurs fonciers étaient massacrés par leurs paysans. N'est-ce pas là une protestation permanente contre l'autorité illégale de ces mêmes seigneurs?

peu de résistance; c'est qu'elle passait au-dessus de leur tête. Le gouvernement ne commence à prendre des mesures générales, à l'égard des paysans, que depuis qu'en 1838 il a créé le ministère du domaine de l'Etat. Ce n'est point une mauvaise idée, de secouer un peu la commune, car la vie de village, comme tout communisme, absorbait complètement la personnalité.

L'individu, habitué à se reposer de tout sur la commune, est perdu dès qu'il en est séparé; il devient faible, il ne trouve en lui ni force, ni ressort; au moindre péril il court bien vite se réfugier sous la protection de cette mère, qui tient ainsi ses enfants dans un état constant de minorité et exige d'eux une obéissance passive. Il y a trop peu de mouvement dans la commune; elle ne reçoit aucune impulsion du dehors qui excite en elle le progrès, point de concurrence, point de lutte intérieure, qui produise la variété et le mouvement; en donnant à l'homme sa part de terrain, elle le dispense de tout souci.

L'organisation communale endormait le Peuple russe, et ce sommeil devenait chaque jour plus profond, jusqu'à ce qu'enfin Pierre I^{er} éveilla brutalement une partie de la nation. Il provoqua artificiellement une sorte de lutte et d'antagonisme, et ce fut là précisément l'œuvre providentielle de la période de Pétersbourg.

Avec le temps, cet antagonisme est devenu naturel. C'est un bonheur que nous ayons si peu dormi; à peine éveillés, nous nous trouvons en face de l'Europe, et tout d'abord notre manière de vivre naturelle, à demi-sauvage, répond mieux à l'idéal rêvé par l'Europe, que la manière de vivre du monde civilisé germano-romain; ce qui n'est encore pour l'Occident qu'une espérance, vers laquelle tendent ses efforts, est le fait même par où nous débutons; nous, qui sommes opprimés par l'absolutisme impérial, nous allons à la rencontre du Socialisme comme les anciens Germains, les adorateurs de Thor et d'Odin, marchaient au-devant du christianisme.

On dit que tous les Peuples sauvages ont ainsi commencé par une commune analogue; qu'elle exista chez les Germains dans son complet développement, mais que partout elle a dû disparaître avec les commencements de la civilisation. On en conclut que

le même sort attend la commune russe; mais je ne vois pas que la Russie doive nécessairement subir toutes les phases du développement européen, je ne vois pas davantage pourquoi la civilisation de l'avenir serait invariablement soumise aux mêmes conditions d'existence que la civilisation du passé.

La commune germaine est tombée en présence de deux idées sociales complètement opposées à la vie communale: la féodalité et le droit romain. Nous, par bonheur, nous nous présentons, avec notre commune, à une époque où la civilisation anticommunale aboutit à l'impossibilité absolue de se dégager, par ses principes, de la contradiction entre le droit individuel et le droit social. Pourquoi la Russie perdrait-elle maintenant sa commune rurale, puisqu'elle a pu la conserver pendant toute la période de son développement politique; puisqu'elle l'a conservée intacte sous le joug pesant du *tzarisme* moscovite, aussi bien que sous l'autocratie à l'européenne des empereurs?

Il lui est bien plus facile de se détacher d'une administration créée par la force, et sans racines aucunes dans le Peuple, que de renoncer à la commune; mais, dit-on, par ce partage continu du sol, la vie communale trouvera sa limite naturelle dans l'accroissement de la population. Quelque grave en apparence que soit cette objection, il suffit, pour l'écarter, de répondre que la Russie possède encore des terres pour tout un siècle et que, dans cent ans, la brûlante question de possession et de propriété sera résolue d'une façon ou de l'autre. Il y a plus à dire. L'affranchissement des biens nobles, la possibilité de passer d'une province plus peuplée dans une autre mal peuplée, offrent aussi de grandes ressources.

Beaucoup, et parmi eux Haxthausen, disent que, par suite de cette instabilité dans la possession, la culture du sol ne prend aucun accroissement; le possesseur temporaire du sol, ne considérant jamais que le profit qu'il en tire sans y chercher son intérêt, sans y placer son capital,— cela peut bien être; mais les amateurs agronomes oublient que l'amélioration de l'agriculture, dans le système occidental de la possession, laisse la plus grande partie de la population sans un morceau de pain, et je ne crois pas que la fortune croissante de quelques fermiers et le progrès de l'agriculture, comme art, puissent être considérés, par l'agri-

culture elle-même, comme un juste dédommagement de l'horrible situation du prolétariat affamé.

L'esprit de la constitution communale a pénétré de bonne heure toutes les sphères de la vie populaire en Russie. Chaque ville, à sa manière, représentait une commune; elle avait ses assemblées générales, et, sur les questions qui se présentaient, elle se prononçait à l'unanimité; la minorité, ou donnait son assentiment à la majorité, ou la combattait sans se soumettre; très souvent elle abandonnait la ville et il y a même des exemples qu'elle fut fréquemment annihilée.

Dans cette minorité inflexible, on peut reconnaître le fier veto des magnats polonais. L'autorité princière, en présence des tribunaux composés de jurés qui décidaient verbalement par une sentence arbitrale, en face du droit de libres assemblées dans les villes, et, d'ailleurs, sans armée permanente, ne pouvait grandir dans sa force; on le comprendra surtout si l'on ne perd pas de vue combien les besoins de la vie sont bornés chez un Peuple livré aux travaux de l'agriculture. La centralisation moscovite mit un terme à cet état de choses; Moscou fut pour la Russie un premier Pétersbourg. Les grands-ducs de Moscou, déposant ce titre pour prendre celui de tzar de toutes les Russies, tendirent à une toute autre puissance que celle dont avaient joui leurs prédécesseurs.

L'exemple les entraîna: ils étaient témoins de la puissance des empereurs grecs de Byzance, et de celle des kans mogols de la horde principale de Tamerlan, connue sous le nom de *Horde d'Or*. Et, de fait, l'autorité des tzars a revêtu, dans son développement, le double caractère de ces deux puissances. A chaque pas que firent les tzars moscovites dans la voie du despotisme, l'autorité du Peuple alla s'affaiblissant. La vie s'est resserrée, s'est appauvrie progressivement dans chacune de ses parties; seule la commune rurale s'est maintenue constamment dans sa modeste sphère.

La fatalité de l'époque qui suivit le règne de Pierre ne se fit sentir que lorsque les tzars moscovites eurent réalisé leur centralisation; car celle-ci n'était importante que parce qu'elle se composait de diverses parties d'un fédéralisme princier, d'une race unie par les liens du sang, un puissant ensemble;

mais elle ne pouvait aller plus loin, car, au fond, elle ne savait pas précisément pourquoi et dans quel but elle réunissait ces parties éparses. C'est en quoi se révéla tout ce qu'il y avait de misérable dans l'idée intime de la période moscovite: elle ne savait pas elle-même, où la conduirait la centralisation politique.

Tant qu'elle eut à l'extérieur un mobile d'action, comme la lutte avec les Tartares, les Lithuaniens et les Polonais, les forces qu'elle avait en elle trouvèrent à s'occuper et à se répandre; mais lorsque le Peuple, après l'interrègne de 1612, dans lequel il fit preuve d'une merveilleuse énergie, retomba dans son repos, le gouvernement s'ossifia alors dans l'apathie d'un formalisme oriental.

L'Etat, encore plein de jeunesse et de vigueur, se couvrit, comme une eau dormante, d'une écume verdâtre; le temps des premiers Romanoff fut une vieillesse anticipée et si lourdement assoupie, que le Peuple ne put alors se délasser des secousses précédentes. Dans la Russie des tzars, comme dans la commune rurale, manquait complètement tout ferment, tout levain; il n'y avait ni minorité remuante, ni principe de mouvement. Ce ferment, ce levain, cette individualité rebelle parut, et ce fut sur le trône.

Pierre I^{er} a fait infiniment de bien et de mal à la Russie; mais le fait, qui lui mérite surtout la reconnaissance des Russes, c'est l'impulsion qu'il a donnée à tout le pays, c'est le mouvement qu'il a imprimé à la nation, et qui, depuis lors, ne s'est pas ralenti. Pierre I^{er} a compris la force secrète de son Peuple, ainsi que l'obstacle qui nuisait au développement de cette force; avec l'énergie d'un révolutionnaire et l'opiniâtreté d'un autocrate, il résolut de briser complètement avec le passé: mœurs, usages, législation; en un mot—avec tout l'ancien organisme politique.

Il est fâcheux que Pierre I^{er} n'ait eu devant les yeux d'autre idéal que le régime européen. Il ne vit pas que ce qu'il admirait dans la civilisation de l'Europe, n'était en aucune façon attaché aux formes politiques alors subsistantes, mais se soutenait bien plutôt en dépit de ces formes; il ne vit pas que ces formes elles-mêmes ne représentaient rien autre chose que le résultat de deux mondes déjà passés, et qu'elles étaient marquées du sceau de la mort, comme le byzantisme moscovite.

Les formes politiques du dix-septième siècle étaient le dernier mot de la centralisation monarchique, le dernier résultat de la paix de Westphalie. C'était le temps de la diplomatie, de la chancellerie et du régime de caserne; le commencement de ce froid despotisme, dont les allures égoïstes ne purent être anoblies, même par le génie de Frédéric II, le prototype de tous les caporaux petits et grands.

Ces formes politiques n'attendaient elles-mêmes, pour disparaître, que leur Pierre I^{er}: la Révolution française. Afranchi des traditions, vainqueur de la dernière, Pierre I^{er} jouissait de la plus grande liberté. Mais son âme manquait de génie et de puissance créatrice: il était subjugué par l'Occident et il en devint le copiste. Haïssant tout ce qui était de l'ancienne Russie, bon et mauvais, il imita tout ce qui était européen, mauvais et bon. La moitié des formes étrangères qu'il transplanta en Russie, était complètement antipathique à l'esprit du Peuple russe.

Sa tâche n'en devint que plus difficile, et cela sans aucun profit. Il aimait par instinct prophétique la Russie de l'avenir; il caressait l'idée d'une puissante monarchie russe, mais il ne faisait aucun compte du Peuple. Indigné de la stagnation et de l'apathie générales, il voulut renouveler le sang aux veines de la Russie, et, pour opérer cette transfusion, il prit un sang, déjà vieux et corrompu. Et puis, avec tout le tempérament d'un révolutionnaire, Pierre I^{er} fut toujours néanmoins un monarque. Il aimait passionnément la Hollande et reconstruisait sa chère Amsterdam sur les bords de la Néva, mais il empruntait fort peu de choses aux libres institutions des Pays-Bas. Non seulement il ne restreignit pas la puissance des tzars, mais il l'agrandit encore en lui livrant tous les moyens de l'absolutisme européen et en renversant toutes les barrières qu'avaient élevées jusqu'alors les mœurs et les coutumes.

En même temps qu'il se rangeait sous les bannières de la civilisation, Pierre I^{er} empruntait néanmoins à un passé, qu'il répudiait, le knout et la Sibérie, pour réprimer toute opposition, toute parole courageuse, tout acte de liberté.

Représentez-vous maintenant l'union du *tzarisme* moscovite avec le régime des chancelleries allemandes, avec la procédure inquisitoriale empruntée au code militaire prussien, et vous

comprendrez comment l'autorité impériale en Russie a laissé loin derrière elle le despotisme de Rome et de Byzance.

L'agreste Russie se pliant à tout en apparence, n'a réellement rien accepté de cette réforme. Pierre I^{er} sentait cette résistance passive; il n'aimait pas le paysan russe et n'entendait rien non plus à sa manière de vivre. Il a fortifié, avec une légèreté coupable, les droits de la noblesse et resserré encore la chaîne du servage; il a tenté le premier d'organiser ces absurdes institutions; or, les organiser, c'était en même temps les reconnaître et leur donner une base légale. Dès lors, le paysan russe se renferma plus étroitement que jamais au sein de sa commune, et ne s'en écarta qu'en jetant autour de lui des regards défiants et en faisant force signes de croix. Il cessa de comprendre le gouvernement; il vit dans l'officier de police et le juge un ennemi; il vit dans le seigneur terrien une puissance brutale contre laquelle il ne pouvait rien faire.

Il commença dès lors à ne voir dans tout condamné qu'un *malheureux*: seul mot qui désigne tout condamné dans ce pays, où il semble ne plus y avoir que des victimes et des bourreaux; à mentir sous le serment et à nier tout, quand il était interrogé par un homme qui se présentait en uniforme et qui lui semblait le représentant du gouvernement allemand. Cent cinquante ans, loin de les réconcilier avec le nouvel ordre des choses, l'en ont encore éloigné davantage. Que nous autres, nous ayons été élevés dans la réforme de Pierre; que nous ayons sucé le lait de la civilisation européenne; que la vieillesse de l'Europe nous ait été inoculée, de telle sorte que ses destins soient devenus les nôtres, à la bonne heure! mais il en est tout autrement du paysan russe.

Il a beaucoup supporté, beaucoup souffert, il souffre beaucoup à cette heure, mais il est resté lui-même. Quoique isolé dans sa petite commune, sans liaison avec les siens, tous dispersés sur cette immense étendue du pays, il a trouvé dans une résistance passive, et dans la force de son caractère, les moyens de se conserver; il a courbé profondément la tête, et le malheur a passé souvent sans le toucher, au-dessus de lui; voilà pourquoi, malgré sa position, le paysan russe possède tant de force, tant d'agilité, tant d'intelligence et de beauté, qu'à cet égard il a excité l'étonnement de Custine et d'Haxthausen.

Tous les voyageurs rendent justice aux paysans russes, mais ils font grand bruit de leur impudente friponnerie, de leur fanatisme religieux, de leur idolâtrie, pour le trône impérial.

Je crois, qu'on peut trouver quelque chose de ces défauts dans le Peuple russe, et je me fonde en particulier sur ce que ces défauts sont communs à toutes les nations européennes. Ils tiennent étroitement à notre civilisation, à l'ignorance des masses et à leur pauvreté. Les Etats européens ressemblent au marbre poli, ils ne brillent qu'à la surface, mais, au fond et dans leur ensemble, ils sont grossiers.

Je comprends qu'on puisse accuser la civilisation, les formes sociales actuelles, tous les Peuples ensemble, mais je trouve qu'il y a inhumanité sans profit à s'attaquer à un Peuple en particulier, et à condamner en lui les vices de tous les autres; c'est d'ailleurs une étroitesse d'esprit, qui n'est permise qu'aux Juifs, de tenir sa nation pour un Peuple choisi. A cet égard les derniers événements politiques ont dû être pour nous une grande leçon; presque tous les écrivains n'ont-ils pas, naguère, accusé de ces mêmes défauts, les Romains et les Viennois, en y ajoutant même le reproche de lâcheté?

La révolution d'octobre et le triumvirat romain ont réhabilité la réputation de ces villes. Mais ce n'est pas tout. Il est très vrai que le paysan russe, toutes les fois qu'il le peut, trompe le gentilhomme et l'officier public, qui ne s'abstiennent de le tromper à leur tour que parce qu'ils trouvent beaucoup plus simple de le dépouiller. Tromper ses ennemis, en pareil cas, c'est faire preuve d'intelligence. Au contraire, les paysans russes, dans leurs rapports entre eux, se montrent pleins d'honneur et de loyauté. La preuve, c'est que jamais ils ne dressent entre eux de contrat par écrit. La terre est partagée dans les communes, et l'argent dans les associations de travailleurs. A peine, dans l'espace de dix années et plus, se produit-il à cet égard, deux ou trois procès.

Le Peuple russe est religieux parce qu'un Peuple, dans les circonstances politiques actuelles, ne peut pas être sans religion. Une conscience éclairée est une conséquence du progrès; la vérité et la pensée, jusqu'à présent, n'existent que pour le petit nombre. Au Peuple, la religion tient lieu de tout; elle répond à

toutes ses questions d'esthétique et de philosophie qui se rencontrent à tous les degrés dans l'âme humaine. La poésie fantastique de la religion sert de délassément aux travaux prosaïques de l'agriculture et de la coupe des foins. Le paysan russe est superstitieux, mais indifférent à l'égard de la religion, qui, d'ailleurs, est pour lui lettre close. Il observe exactement toutes les pratiques extérieures du culte, pour en avoir le cœur net; il va le dimanche à la messe, pour ne plus penser de six jours à l'église. Les prêtres, il les méprise comme des paresseux, comme des gens avides qui vivent à ses dépens. Dans toutes les obscénités populaires, dans toutes les chansons des rues, le héros, objet de ridicule et de mépris, est toujours le pope et le diacre ou leurs femmes.

Quantité de proverbes témoignent de l'indifférence des Russes en matière de religion: «Tant que le tonnerre ne gronde pas et que l'éclair ne frappe pas, le paysan ne se signe pas». «Fie-toi en Dieu, mais encore plus en toi». Custine raconte que le postillon qui défendait, en plaisantant, son penchant à de petits larcins, disait: «C'est une chose innée dans l'homme, et si le Christ n'a pas volé, c'est qu'il en était empêché par les blessures de ses mains». Tout cela montre que l'on ne rencontre chez ce Peuple ni le fanatisme farouche que nous trouvons en Belgique et à Lucerne, ni cette foi austère, froide et sans espérance, que l'on remarque à Genève et en Angleterre, comme en général chez les Peuples qui ont été longtemps sous l'influence des jésuites et des calvinistes.

Dans le sens propre du mot, les schismatiques seuls sont religieux. La raison n'en est pas seulement dans le caractère national, mais dans la religion elle-même. L'Eglise grecque n'a jamais été extraordinairement propagandiste et expansive; plus fidèle que le catholicisme à la doctrine évangélique, sa vie, par cela même, s'est répandue moins au dehors; mûrie sur le sol putréfié de Byzance, elle s'est concentrée dans l'intérieur des cellules monastiques, elle s'est occupée, surtout, de controverse théologique et de questions de théorie; subjuguée par le pouvoir temporel, elle s'est éloignée, en Russie, plus encore que dans l'empire byzantin, des intérêts de la politique. A partir du dixième siècle jusqu'à Pierre I^{er} on ne connaît qu'un seul prédicateur populaire, et, à celui-là, le patriarche lui imposa silence.

Je regarde comme un grand bonheur pour le Peuple russe, Peuple aisément impressionnable et doux de caractère, qu'il n'ait pas été corrompu par le catholicisme. Il a ainsi échappé en même temps à un autre fléau. Le catholicisme, comme certaines affections malignes, ne peut se traiter que par des poisons; il traîne fatalement après lui le protestantisme qui n'affranchit d'un côté les esprits que pour les mieux enchaîner de l'autre. Enfin la Russie, n'appartenant pas-à la grande unité de l'Eglise d'Occident, n'a pas besoin non plus de se mêler à l'histoire de l'Europe.

Je n'ai pas trouvé davantage dans le Peuple russe qu'il fût bien affectionné au trône et prêt à se dévouer pour lui. Il est vrai que le paysan russe voit dans l'empereur un protecteur contre ses ennemis immédiats; qu'il le considère comme la plus haute expression de la justice, et qu'il croit à son droit divin, comme y croient plus ou moins tous les Peuples monarchiques de l'Europe. Mais cette vénération ne se manifeste par aucun acte, et son attachement à l'empereur n'en ferait ni un vendéen, ni un carliste espagnol; cette vénération ne va pas jusqu'à ce touchant amour qui naguère encore ne permettait pas à certain Peuple de parler de princes sans verser des larmes.

Il faut aussi avouer que le Peuple russe s'est refroidi dans son amour pour le trône, depuis que, grâce à la bureaucratie européenne, il s'est détourné du gouvernement. Un mouvement dynastique, comme celui qui éclata, par exemple, en faveur du faux Démétrius, est aujourd'hui tout à fait impossible. Depuis Pierre I^{er}, le Peuple n'a pris aucune part à toutes les révolutions de Pétersbourg. Quelques prétendants, une poignée d'intrigants et de gardes prétoriennes ont, de 1725 à 1762, fait passer de main en main le trône impérial. Le Peuple s'est tu impassible et sans s'inquiéter que la princesse de Brunswick ou de Courlande, le duc de Holstein ou sa femme, de la famille d'Anhalt-Zerbst, fussent reconnus par la camarilla comme empereurs et Romanoff: ils lui étaient tous inconnus, et de plus ils étaient Allemands.

L'insurrection de Pougatcheff eut un tout autre sens: ce fut la dernière tentative, l'effort suprême du Cosaque et du serf pour s'affranchir du cruel joug qui s'appesantissait visiblement sur eux chaque jour davantage. Le nom de Pierre III ne fut rien

qu'un prétexte; ce nom seul n'eût pas eu la vertu de soulever quelques provinces. Pour la dernière fois, en 1812, un intérêt politique anima le Peuple russe. Ce Peuple est persuadé qu'il est impossible de le vaincre chez lui; cette pensée est au fond de la conscience de tout paysan russe, c'est là sa religion politique. Lorsqu'il vit l'étranger apparaître en ennemi sur son territoire, il laissa reposer sa charrue et saisit le fusil. En mourant sur le champ de bataille «pour le blanc tzar et la sainte mère de Dieu», comme il disait, il mourait en réalité pour l'inviolabilité du sol russe.

La classe avec laquelle le Peuple russe se trouve en rapport immédiat, est la noblesse provinciale et le corps des employés, qui forment le dernier degré de la Russie civilisée. Les employés, profondément corrompus par l'interdiction de toute publicité, représentent la classe la plus servile en Russie; son sort est complètement à la merci du gouvernement. La noblesse provinciale, de son côté, non moins corrompue par son droit d'exploitation sur les paysans, est cependant plus indépendante, et, par suite, un peu moins machine que le corps des employés. Il y a encore un peu de vie dans les assemblées provinciales, la noblesse fait ordinairement opposition aux gouverneurs et à leurs officiers; les moyens ne lui manquent pas pour cela.

Catherine II continua le système de Pierre I^{er}, elle accrut et fortifia encore les droits de la noblesse; en même temps elle précipita des millions de paysans dans le servage, et paya avec des communes de paysans ses nuits de Cléopâtre. La noblesse de chaque province a le droit de tenir ses assemblées particulières, d'élire ses maréchaux et, ce qui est encore plus important, les juges dans les deux premières instances, les présidents de ces tribunaux et tous les officiers d'administration et de police des districts.

Il est vrai que les autres classes du Peuple ont part à ces droits, mais la majorité reste à la noblesse, à l'exception des autorités municipales et des bourguemestres qui sont élus par les marchands et les bourgeois de la ville. Le gouvernement envoie dans chaque province un gouverneur, un conseil d'administration et de finances, dans chaque ville un officier de police, et pour chaque tribunal un procureur. La noblesse a le droit de contrôler le gou-

verneur dans toutes les affaires d'argent; tout gentilhomme peut, dans sa province et sans aucune restriction, être élu juge, président et maréchal. C'est à cela que se réduisent toutes les institutions libres.

Si nous passons de la constitution provinciale à la constitution de l'Etat, à chaque pas, à mesure que nous remonterons l'échelle hiérarchique, s'effaceront davantage les droits de l'homme et la part des gouvernés au gouvernement. La centralisation de Pétersbourg, comme la cime neigeuse d'une montagne, écrase tout de son poids glacial et uniforme; plus on s'en approche, moins on découvre de traces de vie et d'indépendance. Le sénat, le conseil d'Etat, les ministres, ne sont rien que des instruments passifs; les plus hauts dignitaires ne sont rien que des scribes, des sbires, en un mot, des bras télégraphiques, au moyen desquels le Palais d'hiver de Pétersbourg annonce au pays sa volonté.

La noblesse russe, dans la forme qu'elle conserve depuis Pierre I^{er}, représente plutôt une prime pour des services rendus, qu'une caste existant par elle-même; on perd même la noblesse, d'après la loi, quand, dans une famille, deux générations successives ne sont pas entrées au service de l'Etat. Les chemins qui conduisent à la noblesse sont ouverts de tous côtés. Il y a cinq ans qu'on a élevé, à cet égard, quelques difficultés; mais elles appartiennent au nombre de ces mesures qui disparaissent sans conséquence le jour qui suit l'investiture impériale.

Pierre I^{er}, avec toute sa puissance, n'aurait pu rien exécuter s'il n'avait pas rencontré déjà une foule de mécontents. Ces mécontents lui vinrent en aide; c'est d'eux et de tout ce qui servait le nouveau gouvernement, que s'est formée la Russie européenne. Pierre I^{er} anoblit cette partie de la nation pour l'opposer à la Russie agreste. Mais outre que cette classe n'a produit aucune aristocratie ayant force et vigueur, elle a encore absorbé en elle l'aristocratie, autrefois puissante, de l'ancienne noblesse, des boyards et des princes¹. La nouvelle noblesse, se recrutant sans cesse dans toutes les classes, n'acquiesce un caractère aristocratique qu'à l'égard du paysan, aussi longtemps qu'il

¹ Le droit d'aînesse est complètement inconnu en Russie.

restait paysan, c'est-à-dire à l'égard de cette portion du Peuple qui se trouvait aussi placée par le gouvernement en dehors de la loi.

Probablement, dans les premiers temps qui suivirent la réforme, tous ces lourds et grossiers boyards, avec leur perruque poudrée et leurs bas de soie, ressemblaient fort à ces élégants d'Otaïti qui se pavannent en uniforme rouge anglais avec des épaulettes, sans culottes ni chemises. Mais grâce à notre talent d'imitation, la haute noblesse s'est bientôt appropriée les manières et la langue des courtisans de Versailles. En adoptant la délicatesse des formes et des mœurs de l'aristocratie européenne, elle ne perdit pas tout à fait les siennes propres, et, par suite, sa manière de vivre, au temps de Catherine II, offrait un mélange original de sauvage indiscipliné et d'éducation de cour, de morgue aristocratique et de soumission semi-orientale. Ces mœurs étaient cependant plutôt originales et anguleuses que caricature; elles n'avaient rien de ce ton banal et sans goût qui a toujours distingué l'aristocratie allemande.

Entre la haute noblesse qui habite presque exclusivement Pétersbourg, et le *prolétariat noble* des employés et des gentilshommes sans propriété, se trouve l'épaisse couche de la moyenne noblesse, dont le centre moral est à Moscou. Abstraction faite de la corruption générale de cette classe, il faut avouer que c'est en elle que résident le germe et le centre intellectuel de la prochaine Révolution. La position de la minorité instruite de cet ordre (cette minorité est assez considérable) est fort tragique; elle est séparée du Peuple parce que, depuis quelques générations, ses pères se sont attachés au gouvernement civilisateur, et séparée du gouvernement parce qu'elle s'est civilisée. Le Peuple voit en eux des Allemands, le gouvernement des Français.

Dans cet ordre si absurdement placé entre la civilisation et le droit de planteur, entre le joug d'un pouvoir illimité et les droits seigneuriaux qu'il possède sur les paysans; dans cet ordre, où l'on rencontre la plus haute culture scientifique de l'Europe, sans la liberté de la parole, sans autre affaire que le service de l'Etat, s'agitent une masse de passions et de forces qui, précisément, par défaut d'issue, fermentent, grandissent et souvent

se font jour en produisant quelque individualité éclatante, pleine d'excentricité.

C'est de cet ordre qu'est provenu tout le mouvement littéraire; c'est de lui qu'est sorti Pouchkin, ce représentant le plus complet de l'ampleur et de la richesse de la nature russe, c'est en lui qu'on a vu naître et grandir, le 26 décembre 1825, cette *indulgentia plenaria* de toute la caste, son arrêté de compte pour tout un siècle.

Dix ans de travaux forcés, vingt-cinq ans d'exil, n'ont pu rompre et courber ces hommes héroïques, qui, avec une poignée de soldats, descendirent sur la place d'Isaac pour y jeter le gant à l'impérialisme, et faire entendre publiquement des paroles qui, jusqu'à cette heure, et encore aujourd'hui, se transmettent d'âme en âme, au sein de la nouvelle génération.

L'insurrection de 1825 clôt la première époque de la période de Pétersbourg. La question était résolue. La classe instruite, cette classe du Peuple, qui reste conséquente à l'impulsion donnée par Pierre I^{er}, prouva alors, par sa haine active, contre le despotisme, qu'elle avait rattrapé ses frères d'Occident. Ils se sont trouvés en complète communauté de sentiments et d'opinions avec Riégo, Gonfalonieri et les Carbonari. L'effroi du gouvernement fut d'autant plus grand, qu'il trouva, d'un côté, tous les éléments de la noblesse et de la hiérarchie militaire impliqués dans l'insurrection, et que, de l'autre, il se souvint qu'aucun lien réel ne l'attachait à l'ancien Peuple, resté russe.

Le 26 décembre a révélé tout ce qu'il y avait d'artificiel, de fragile et de passager dans l'impérialisme de Pétersbourg. Le succès de la Révolution a tenu à un cheveu... Qu'en serait-il advenu? Il est difficile de le dire; mais quel qu'eût été le résultat, on peut hardiment affirmer, que le Peuple et la noblesse auraient tranquillement accepté le *fait accompli*.

C'est là précisément ce que le gouvernement comprit avec terreur. Dans sa défiance de la noblesse, il voulait se rendre national, et ne réussit qu'à se faire l'ennemi de toute civilisation. La veine nationale lui manquait complètement. Le gouvernement se montra, tout d'abord, sombre et défiant; tout un corps de police secrète organisé à neuf, environna le trône. Le

gouvernement renia alors les principes de Pierre I^{er}, développés pendant cent ans. Ce fut une succession de coups, portés à toute liberté, à toute activité intellectuelle; la terreur se déploya chaque jour davantage. On n'osait faire rien imprimer; on n'osait écrire une lettre; on allait jusqu'à craindre d'ouvrir la bouche, non seulement en public, mais même dans sa chambre: tout était muet.

Les gens instruits sentirent alors, de leur côté, que le sol au-dessous d'eux n'était pas celui de la patrie; ils comprirent toute leur faiblesse, et le désespoir les saisit. Cachant au fond de leur âme leurs larmes et leurs douleurs, ils se dispersèrent dans leurs campagnes et sur toutes les grandes routes de l'Europe. Pétersbourg, à l'exemple du gouvernement, prit un tout autre caractère; ce fut une ville en état de siège perpétuel. La société rebroussa chemin à grands pas. Les sentiments aristocratiques de la dignité humaine qui, sous Alexandre, avaient gagné beaucoup de terrain, furent refoulés jusqu'à rendre possible une loi pour les passeports à l'étranger, jusqu'à rendre possible ces mœurs que vous dépeint Custine.

Mais le travail intérieur se continua, d'autant plus énergique dans ses profondeurs qu'il ne trouvait aucune occasion de se révéler par des faits à la surface. De temps en temps retentissaient des voix qui faisaient tressaillir toutes les fibres du cœur humain: c'était un cri de douleur, un gémissement d'indignation, un chant de désespoir, et, à ce cri, à ce gémissement, à ce chant, se mêlait la triste nouvelle du sort encouru par quelqu'audacieux, forcé de chercher l'exil dans les contrées du Caucase ou de la Sibérie. C'est ainsi que, dix ans après le 26 décembre, un penseur a jeté dans le monde quelques feuilles qui, partout où se trouvent, en Russie, des lecteurs, produisirent une secousse électrique.

Cet écrit était un reproche calme et sans amertume; il ressemblait à un examen sans passion de la situation des Russes, mais c'était le coup d'œil irrité d'un homme profondément offensé dans les plus nobles parties de son être. Sévère et froid, il demande compte à la Russie de toutes les souffrances qu'elle prépare à l'homme pensant, et, après les avoir analysées toutes, il se détourne avec horreur, il maudit la Russie dans son passé,

il dédaigne son présent, et ne prophétise que malheur à son avenir. On n'entendait pas de ces voix-là pendant la brillante époque du libéralisme un peu exotique d'Alexandre, — elles n'éclatèrent même pas dans les poésies de Pouchkin; pour les arracher d'une poitrine humaine, il a fallu le poids intolérable d'une terreur de dix ans: il nous a fallu voir la ruine de tous nos amis, la gloire du siège de Varsovie et la pacification de la Pologne.

Tschaadaeff avait tort en beaucoup de points, mais sa plainte était légitime et sa voix avait fait entendre une terrible vérité. C'est là ce qui explique son immense retentissement. A cette époque, tout ce qui est de quelque importance en littérature prend un nouveau caractère. C'en est fait de l'imitation des Français et des Allemands, la pensée se concentre et s'envenime; un désespoir plus amer et une plus amère ironie de son propre destin éclate partout, aussi bien dans les vers de Lermontoff que dans le rire moqueur de Gogol, rire, sous lequel, suivant l'expression de l'auteur, se cachent les larmes.

Si les éléments de la vie nouvelle et du mouvement restèrent alors isolés; s'ils n'arrivèrent pas à cette unité qui régnait avant le 26 décembre, c'est, avant tout, que les questions les plus importantes devinrent beaucoup plus complexes et plus profondes. Tous les hommes sérieux comprirent qu'il ne suffisait plus de se traîner à la remorque de l'Europe, qu'il existe en Russie quelque chose qui lui est propre et particulier, et qu'il faut nécessairement étudier et comprendre dans le passé et dans le présent.

Les uns, dans ce qui est propre à la Russie, ne virent rien d'hostile ni d'antipathique aux institutions de l'Europe; loin de là, ils prévoyaient le temps, où la Russie, au-delà de la période de Pétersbourg, et l'Europe, au-delà du constitutionnalisme, viendraient à se rencontrer. Les autres, au contraire, rejetant sur le caractère antinational du gouvernement tout le poids de la situation présente, confondirent dans une même haine tout ce qui tient à l'Occident.

Pétersbourg enseigna à ces hommes à mépriser toute civilisation, tout progrès; ils voulaient retourner aux formes étroites des temps qui avaient précédé Pierre I^{er}, et dans lesquels la

vie russe se trouverait de nouveau à peu près étranglée. Heureusement, le chemin, pour revenir à la vieille Russie, s'est depuis longtemps couvert d'une épaisse forêt, et ni les slavophiles ni le gouvernement ne réussiront à la raser.

La lutte de ces partis, a, depuis dix ans, donné à la littérature une nouvelle vie; les journaux ont vu s'accroître considérablement le nombre de leurs souscripteurs, et, aux cours d'histoire, les bancs de l'université de Moscou rompaient sous la foule des auditeurs. N'oubliez pas que, dans l'excessive pauvreté d'organes de l'opinion publique, les questions de littérature et de science se sont transformées en une arène pour les partis politiques. Tel était l'état de choses lorsque la Révolution de Février éclata.

Le gouvernement, d'abord étourdi, ne fit rien, mais lorsqu'il vit l'allure humble et soumise de la modeste République, il reprit bientôt ses sens. Le gouvernement russe déclara hautement qu'il se considérait comme le champion du principe monarchique et, présageant la solidarité de la civilisation avec la Révolution (à l'exemple de l'Assemblée Nationale française) il ne cacha pas qu'il était prêt à tout sacrifier pour la cause de *l'ordre*. Le gouvernement russe, avec plus d'énergie que cette Assemblée, marcha, dans sa cynique hardiesse, à l'anéantissement de la civilisation et du progrès.

Qu'en adviendra-t-il?.. En Russie, peut-être, la ruine de tout élément civilisateur. Epouvantable résultat! Mais la Russie n'en sera pas abîmée pour cela. Il est même fort possible que ce résultat devienne, pour le Peuple, le signal du réveil, et que s'ouvre alors une nouvelle ère pour la justice et les droits du Peuple.

Le gouvernement, en attendant, semble avoir oublié, qu'il est né à Pétersbourg, qu'il est le gouvernement de la Russie civilisée; qu'il est lié, lui aussi, par les gages qu'il a donné à la civilisation européenne, et qu'en dépit de ses airs actuels d'orthodoxie et de nationalité, le paysan russe le regarde toujours comme allemand.

Le sort du trône de Pétersbourg — admirez la sublime ironie! — est lié à la civilisation; en l'anéantissant il se précipite dans un abîme effroyable, et s'il la laisse grandir, il tombe dans

un autre abîme.— Il est possible, d'ailleurs, que la Russie, par suite d'une oppression intolérable, se décompose en un grand nombre de parties; peut-être aussi se précipitera-t-elle tout simplement en avant, et, dans son impatience, secouera-t-elle, de dessus son dos vigoureux, les cavaliers maladroits. Tout cela est encore dans l'avenir, et je ne suis pas maître dans l'art de la divination.

Après tout ce que j'ai dit, voilà la question que l'on s'adresse involontairement. Quelle idée, quelle pensée apporte donc ce Peuple dans l'histoire? Jusqu'à présent, nous voyons seulement qu'il se présente lui-même, et c'est là, d'ordinaire, la condition de tout ce qui n'a pas encore mûri. Quelle idée apporte un enfant dans la famille? Rien autre chose que la faculté, la disposition, la possibilité d'un développement. Quant à savoir si cette possibilité existe, si les muscles de l'enfant sont vigoureux, si ses facultés y répondent, ce sont là des questions abandonnées à notre examen. Et voilà précisément pourquoi j'insiste aujourd'hui plus que jamais sur la nécessité d'étudier la Russie.

En face de l'Europe, dont les forces se sont épuisées à travers les luttes d'une longue vie, se pose un Peuple, dont l'existence commence à peine, et qui, sous la dure écorce extérieure du tzarisme et de l'impérialisme, a grandi et s'est développé, comme les cristaux croissent sous une géode; l'écorce du tzarisme moscovite est tombée, aussitôt qu'elle est³ devenue inutile; l'écorce de l'impérialisme adhère encore moins fortement à l'arbre.

Il est vrai que, jusqu'à présent, le Peuple russe ne [s'est en rien occupé de la question de gouvernement; sa foi a été celle d'un enfant, sa soumission toute passive. Il ne s'est réservé qu'un seul fort, resté debout à travers tous les âges: c'est sa commune rurale, et par là il est plus près d'une Révolution sociale que d'une Révolution politique. La Russie naît à la vie comme Peuple, le dernier de tous, encore plein de jeunesse et d'activité à une époque, où les autres Peuples veulent du repos; il apparaît dans l'orgueil de sa force à une époque, où les autres Peuples se sentent fatigués et sur leur déclin. Son passé a été pauvre, son présent est monstrueux; il est vrai que cela ne constitue encor aucuns droits.

Grand nombre de Peuples ont disparu de la scène de l'histoire, sans avoir vécu dans toute la plénitude de la vie; mais ils n'avaient pas, comme la Russie, des prétentions aussi colossales sur l'avenir. Vous le savez: dans l'histoire on ne peut pas dire *tarde venientibus ossa*, au contraire, les meilleurs fruits leur sont réservés, s'ils sont capables de s'en nourrir. Et c'est ici la grande question.

La force du Peuple russe est avouée de toute l'Europe par la crainte même qu'il lui inspire; il a montré ce dont il est capable dans la période de Pétersbourg; il a beaucoup fait, et cela, malgré les chaînes dont ses mains étaient chargées: chose étrange et vraie cependant, comme il est vrai que d'autres peuples, pauvrement doués, ont consumé des siècles entiers sans rien faire, quoique jouissant d'une pleine liberté. La justice n'appartient pas aux qualités éminentes de l'histoire; la justice est trop sage et trop prosaïque, tandis que la vie, dans son développement, est au contraire capricieuse et poétique. Au point de vue de l'histoire, la justice donne à qui n'a pas mérité; le mérite trouve d'ailleurs sa récompense dans le service même qu'il a rendu

Voilà, mon cher ami, tout ce que je voulais vous dire pour cette fois. Je pourrais fort bien terminer ici, mais il me vient à cette heure une pensée bizarre: c'est qu'il se rencontrera quantité de bonnes gens, d'oreille un peu dure, qui verront dans ma lettre un patriotisme exclusif, une préférence pour la Russie, et qui s'écrieront là-dessus qu'ils avaient conçu de ce pays une tout autre idée.

Oui, j'aime la Russie.

En général, je regarde comme impossible ou comme inutile d'écrire sur un sujet, pour lequel on ne ressent ni amour ni haine. Mais mon amour n'est point le sentiment bestial de l'habitude; ce n'est point cet instinct naturel dont on a fait la vertu du patriotisme; j'aime la Russie parce que je la connais, avec conscience, avec raison. Il y a aussi beaucoup de choses en Russie que je hais sans mesure et avec toute la puissance d'une première haine. Je ne dissimule ni l'un, ni l'autre.

En Europe on ne connaît point du tout la Russie; en Russie on connaît très mal l'Europe. Il fut un temps où, en présence

des Monts-Ourals, je me faisais de l'Europe une idée fantastique; je croyais à l'Europe et surtout à la France. Je profitai du premier moment de liberté pour venir à Paris.

C'était encore avant la Révolution de Février. Je considérai les choses d'un peu plus près et je rougis de ma prévention. Maintenant je suis furieux de l'injustice de ces publicistes au cœur étroit qui ne reconnaissent le tzarisme que sous le 59^e degré de latitude boréale. Pourquoi ces deux mesures? Injuriez tant qu'il vous plaira, et accablez de reproches l'absolutisme de Pétersbourg et la persévérance de notre résignation; mais injuriez partout et reconnaissez le despotisme sous quelque forme qu'il se présente, s'appelât-il président d'une République, gouvernement provisoire ou Assemblée nationale.

C'est une honte, en l'an 1849, après avoir perdu tout ce qu'on avait espéré, tout ce qu'on avait acquis, à côté des cadavres de ceux qui sont tombés et que l'on a fusillés, à côté de ceux que l'on a enchaînés et déportés, à l'aspect de ces malheureux, chassés de contrée en contrée, à qui on donne l'hospitalité comme aux Juifs dans le moyen-âge, à qui l'on jette, comme aux chiens, un morceau de pain pour les obliger ensuite à poursuivre leur chemin: en l'an 1849, dis-je, c'est une honte de s'arrêter au point de vue étroit du constitutionnalisme libéral, de cet amour platonique et stérile pour la politique.

L'illusion d'optique, au moyen de laquelle on donnait à l'esclavage l'aspect de la liberté, s'est évanouie; les masques sont tombés, nous savons maintenant, au juste, ce que vaut la liberté républicaine de la France et la liberté constitutionnelle de l'Allemagne; nous voyons maintenant (ou, si nous ne le voyons pas, c'est notre faute), que tous les gouvernements subsistants, depuis le plus modeste canton en Suisse jusqu'à l'autocrate de toutes les Russies, ne sont que des variations d'un seul et même thème.

«Il faut sacrifier la liberté à l'ordre, l'individu à la société; donc, plus le gouvernement est fort, mieux cela vaut.»

Encore une fois: s'il est horrible de vivre en Russie, il est tout aussi horrible de vivre en Europe. Pourquoi donc ai-je quitté la Russie? Pour répondre à cette question, je vous traduirai quelques paroles de ma lettre d'adieux à mes amis: «Ne vous y

trompez pas! Je n'ai trouvé ici ni joie, ni distraction, ni repos, ni sécurité personnelle; je ne puis même imaginer que personne aujourd'hui puisse trouver en Europe ni repos, ni joie. La tristesse respire dans chaque mot de mes lettres. La vie ici est très pénible.

«Je ne crois ici à rien qu'au mouvement; je ne plains rien ici que les victimes; je n'aime rien ici que ce que l'on persécute; et je n'estime rien que ce que l'on supplicie, et cependant je reste. Je reste pour souffrir doublement de notre douleur et de celle que je trouve ici, peut-être pour être abîmé dans la dissolution générale. Je reste, parce que la lutte ici est ouverte, parce qu'ici elle a une voix.

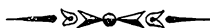
Malheur à celui qui est ici vaincu! Mais il ne succombe pas sans avoir fait entendre sa voix, sans avoir éprouvé sa force dans le combat; et c'est à cause de cette voix, à cause de cette lutte ouverte, à cause de cette publicité que je reste ici».

Voilà ce que j'écrivais le 1^{er} mars 1849. Les choses, depuis lors, ont bien changé. Le privilège de se faire entendre et de combattre publiquement s'amointrit chaque jour davantage; l'Europe, chaque jour davantage, devient semblable à Pétersbourg; il y a même des contrées qui ressemblent plus à Pétersbourg que la Russie même. Les Hongrois le savent, eux qui se sont réfugiés, dans le délire de leur désespoir, sous la protection des drapeaux russes...

Et si l'on en vient ici à nous mettre aussi un bâillon sur la bouche, et que l'oppression ne nous permette pas même de maudire à haute voix nos oppresseurs, je m'en irai alors en Amérique. Homme, je sacrifierai tout à la dignité de l'homme et à la liberté de la parole.

Probablement vous viendrez m'y rejoindre?..

Londres, le 25 août 1849.



РОССИЯ

Г. Г — гу

<I>

Дорогой друг. Вам хотелось ознакомиться с моими русскими размышлениями об истории современных событий: вот они. Охотно посылаю их вам. Ничего нового вы в них не найдете. Это все те же предметы, о которых мы с вами так часто и с такой грустью беседовали, что трудно было бы к ним что-либо прибавить. Тело ваше, правда, еще привязано к этому косному и дряхлому миру, в котором вы живете, но душа ваша уже покинула его, чтоб осмотреться и сосредоточиться. Вы достигли, таким образом, той же точки, что и я, удалившийся от мира несовершенного, еще погруженного в детский сон и себя не осознавшего.

Вам было тесно среди почернелых стен, потрескавшихся от времени и грозящих повсюду обвалом; я, со своей стороны, задыхался в жаркой и сырой атмосфере среди известковых испарений неоконченного здания: ни в больнице, ни в детском приюте жить невозможно. Выйдя с двух противоположных концов, мы встретились в одной и той же точке. Чужие в своем отечестве, мы нашли общую почву на чужой земле. Моя задача, надобно сознаться, была менее тягостна, чем ваша. Мне, сыну другого мира, легко было избавиться от прошлого, о котором я знал лишь понаслышке и которого не познал личным опытом.

Положение русских в этом отношении весьма замечательно. В нравственном смысле мы более свободны, чем европейцы, и это не только потому, что мы избавлены от великих испытаний, через которые проходит развитие Запада, но и потому, что у нас

нет прошлого, которое бы нас себе подчиняло. История наша бедна, и первым условием нашей новой жизни было полное ее отрицание. От прошлого у нас сохранились лишь народный быт, народный характер, кристаллизация государства, — все же прочее является элементом будущего. Изречение Гёте об Америке очень хорошо приложимо к России:

«В твоём существовании, полном соков и жизни, ты не смущаешься ни бесполезными воспоминаниями, ни напрасными спорами»*.

Я явился в Европу как чужестранец; вы же сами сделали себя чужестранцем. Только один раз, и на несколько мгновений, мы почувствовали себя дома: то было весной 1848 года. Но как дорого заплатили мы за этот сон, когда, пробудившись, увидели себя на краю бездны, на склоне которой находится старая Европа, ныне бессильная, бездеятельная и вконец разбитая параличом. Мы с ужасом видим, как Россия готовится подтолкнуть еще ближе к гибели истощенные государства Запада, подобные слепому нищему, которого ведет к пропасти злой умысел ребенка.

Мы не стремились создавать себе иллюзии. С печалью в душе, готовые, впрочем, ко всему, мы до конца изучили это ужасающее положение. Несколько беглых наблюдений, из этого ряда занимавших нас в последнее время мыслей примешивалось к нашим беседам и придавало им некоторое очарование в ваших глазах; этого очарования в них не найдут другие, в особенности те, кто оказался вместе с нами на краю той же бездны. Человек вообще не любит истины; когда ж она противоречит его желаниям, когда она рассеивает самые дорогие его мечты, когда достигнуть ее он может лишь ценой своих надежд и иллюзий, он проникается тогда ненавистью к ней, словно она — всему причиной.

Наши друзья так неосновательны в своих надеждах; они так легко принимают совершившееся! Охваченные яростью против реакции, они смотрят на нее как на нечто случайное и преходящее; по их мнению, это легко излечимая болезнь, не имеющая ни глубокого смысла, ни разросшихся корней. Немногие из них согласны признать, что реакция сильна потому, что революция оказалась слабой. Политические демократы испугались демо-

кратов социалистических, и революция, предоставленная самой себе, потерпела крушение.

Всякая надежда на спокойное и мирное развитие в его поступательном движении исчезла, все мосты для перехода разрушились. Либо Европа падет под страшными ударами социализма, расшатанная, сорванная им со своих оснований, как некогда Рим пал под напором христианства; либо Европа, такая, как она есть, со своей рутинной вместо идей, со своей дряхлостью вместо энергии, победит социализм и, подобно второй Византии, погрузится в продолжительную апатию, уступив другим народам, другим странам прогресс, будущее, жизнь. Третий исход, если б он только оказался возможен, — это хаос всемирной борьбы без победы с чьей-либо стороны, смута восстания и всеобщего брожения, которая привела бы к деспотизму, к террору, к истреблению.

В этом нет ничего невозможного; мы на пороге эпохи слез и страданий, воя и скрежета зубового; мы видели, как обрисовался ее характер с той и другой стороны. Стоит только вспомнить Июньское восстание и какими средствами оно было подавлено. С тех пор партии еще более ожесточились, теперь уже не щадят ничего, и третье сословие, которое, в течение целых столетий, затрачивало столько труда и усилий, чтобы добиться некоторых прав и некоторой свободы, готово всем пожертвовать снова.

Оно видит, что не может удержаться даже на законной почве какого-нибудь Полиньяка или Гизо, и сознательно возвращается ко временам Варфоломеевской ночи, Тридцатилетней войны и Напского эдикта, за которыми виднеются варварство, разорение, новые скопления народов и слабые зачатки грядущего мира. Исторический зародыш развивается и растет медленно; ему потребовалось пять столетий мрака, чтобы хоть сколько-нибудь устроить христианский мир после того, как целых пять столетий было занято агонией мира римского.

Как тяжела наша эпоха! Все вокруг нас разлагается; все колеблется в неопределенности и бесплодности; самые мрачные предчувствия осуществляются с ужасающей быстротой. Не прошло и полугодия с тех пор, как я написал свой третий диалог*. Тогда мы еще спрашивали себя, есть ли для нас какое-

нибудь дело или нет; теперь этот вопрос уже не ставится, ибо мы начинаем сомневаться даже в самой жизни... Франция сделалась Австрией Запада, она погрязает в позоре и низости*. Прусская сабля приостанавливает последние трепетания германского движения*; Венгрия истекает кровью под усиленными ударами топора своего императорского палача*; Швейцария ожидает всеобщей войны; христианский Рим гибнет с величием и достоинством древнего языческого Рима, оставляя вечное клеймо на челе этой страны, которую, недавно еще, так горячо любили народы. Свободомыслящий человек, отказывающийся склониться перед силой, не находит более во всей Европе другого убежища, кроме палубы корабля, отплывающего в Америку.

«Если Франция падет, — сказал один из наших друзей, — то надобно будет объявить все человечество в опасности». И это, быть может, верно, если под человечеством мы разумеем только германо-романскую Европу. Но почему же следует понимать именно так? Уж не заколоться ли нам, подобно римлянам, кинжалом, подражая Катону, из-за того, что Рим гибнет, а мы ничего не видим или не хотим видеть вне Рима, из-за того, что мы считаем варварским все, не являющееся Римом? Разве все, что находится вне нашего мира, излишне и совершенно ни к чему не пригодно?

Первый римлянин*, чей наблюдательный взор проник тьму времен, поняв, что мир, к которому он принадлежит, должен погибнуть, — почувствовал, что душа его подавлена печалью, и с отчаянья или, быть может, потому, что он стоял выше других, бросил взгляд за пределы национального горизонта, и усталый взор его остановился на варварах. Он написал свою книгу «О нравах германцев»; и он был прав, ибо будущее принадлежало им.

И ничего не пророчу, по я и не думаю также, что судьбы человечества и его будущее привязаны, пригвождены к Западной Европе. Если Европе не удастся подняться путем общественного преобразования, то преобразуются иные страны; есть среди них и такие, которые уже готовы к этому движению, другие к нему готовятся. Одна из них известна, я говорю о Северо-Американских Штатах. Другую же, полную сил, но вместе и дикости, — знают мало или плохо.

Вся Европа на все лады, в парламентах и в клубах, на улицах и в газетах, повторяла вопль берлинского крикуна: «Они идут, русские! вот они! вот они!»* И, в самом деле, они не только идут, но уже пришли, благодаря Габсбургскому дому; быть может, они скоро продвинутся еще далес, благодаря дому Гогенцоллернов*.

Никто однако не знает, что же собой представляют эти русские, эти варвары, эти казаки, что собой представляет этот народ, мужественную юность которого Европа имела возможность оценить в бою, из коего он вышел победителем*. Чего хочет этот народ, что несет он с собой? Кто хоть что-либо знает о нем? Цезарь знал галлов лучше, чем Европа знает русских. Пока Западная Европа имела веру в себя, пока будущее представлялось ей лишь продолжением ее развития, она не могла заниматься Восточной Европой; теперь же положение вещей сильно изменилось.

Это высокомерное невежество Европе более не к лицу; оно теперь являлось бы не сознанием превосходства, а смешной претензией какого-нибудь кастильского гидальго в сапогах без подметок и дырявом плаще. Опасность нынешнего положения не может быть скрыта. Упрекайте русских сколько вам вздумается за то, что они рабы, — в свою очередь они вас спрашивают: «А вы, разве вы свободны?» Они могут даже прибавить, что без раскрепощения России Европе никогда не суждено быть свободной. Вот почему, я думаю, бесполезно было бы немножко ознакомиться с этой страной.

Я готов вам сообщить то, что мне известно о России. Уже давно задумал я этот труд, и, поскольку нам так щедро предоставили время для чтения и письма, я вскоре исполню свое намерение*. Эта работа мне тем более по сердцу, что она дает мне возможность засвидетельствовать России и Европе свою благодарность. В труде этом не должно будет искать ни апофеоза, ни анафемы. Я выскажу правду, всю правду, насколько я ее понимаю и знаю, без умолчаний, без предвзятой цели. Мне дела нет до того, каким образом исказят мои слова и какое из них сделают применение. Я питаю слишком мало уважения к партиям, чтобы лгать в пользу той или другой.

В книгах о России недостатка нет; большую часть из них

однако составляют политические памфлеты; они писались не с намерением лучше ознакомить с предметом, они служили лишь делу либеральной пропаганды то в России, то в Европе. Картиной русского деспотизма старались напугать и просветить последнюю. Именно так, чтобы внушить отвращение к пьянству, выводили в Спарте напоказ подвыпивших илотов.

Этим памфлетам и разоблачениям русское правительство противопоставило полуофициальную литературу, которой поручено было восхвалять его и лгать в его пользу. С одной стороны, это некий орган буржуазной республики; он невежественно, но с наилучшими в мире намерениями и из патриотизма представляет русских как парод Калибанов, коснеющих в грязи и пьянстве, с узкими сплюсненными лбами, препятствующими развитию их умственных способностей, и не имеющих других страстей, кроме тех, которые вызываются пьяным буйством*.

С другой стороны, одна немецкая газета, оплачиваемая австрийским двором*, печатает письма о России, в которых превозносятся все мерзости русской политики и где русское правительство изображается как правительство в высшей степени могущественное и народное. Эти преувеличения переходят в десяток других газет и служат основой для суждений, выносимых впоследствии об этой стране.

По правде говоря, восемнадцатый век уделял России более глубокое и более серьезное внимание, чем девятнадцатый, — быть может, потому, что он менее опасался этой державы. Тогда люди проявляли подлинный интерес к изучению нового государства, явившегося внезапно перед Европой в лице царя-плотника и потребовавшего своей доли в науке и европейской политике.

Петр I, в своем грубом унтер-офицерском мундире, со всей энергией своего дикого нрава, смело взялся за управление в ущерб расслабленной аристократии. Он был так наивно груб, так полон будущего, что мыслители того времени принялись жадно изучать его самого и его народ. Они хотели понять, каким образом это государство развилось незаметно, совсем иными путями, чем остальные европейские государства; они хотели углубиться в начала, из которых сложилась могучая организация этого народа.

Такие люди, как Мюллер, Шлоссер, Эверс, Левек, посвятили часть своей жизни изучению истории России в качестве историков с применением тех же научных приемов, какие в области физической применяли к ней Паллас и Гмелин. Философы и публицисты, со своей стороны, с любопытством вглядывались в современную историю этой страны, в редкий пример правительства, которое, будучи деспотическим и революционным одновременно, управляло своим народом, а не тащилось за ним.

Они видели, что престол, утвержденный Петром I, имел мало сходства с феодальными и традиционными престолами Европы; упорные попытки Екатерины II перенести в русское законодательство принципы Монтескье и Беккариа, изгнанные почти повсюду в Европе, ее переписка с Вольтером, ее связи с Дидро еще более подкрепляли в их глазах реальность этого редкого явления.

Оба раздела Польши явились первым бесчестием, запятнавшим Россию. Европа не поняла всего значения этого события, ибо она была тогда погружена в другие заботы. Она присутствовала, вытянувшею и едва дыша, при великих событиях, которыми уже давала о себе знать Французская революция. Российская императрица бросилась в этот водоворот и предложила свою помощь запатававшемуся миру. Поход Суворова в Швейцарию и Италию был совершенно лишен смысла и лишь восстановил общественное мнение против России.

Сумасбродная эпоха нелепых войн, которую французы еще до сих пор называют периодом своей славы, завершилась их нашествием на Россию; то было заблуждением гения, так же как и египетский поход. Бонапарту вздумалось показать себя миру стоящим на груде трупов. Славу пирамид он захотел приумножить славой Москвы и Кремля. На этот раз его постигла неудача; он поднял против себя весь народ, который решительно схватился за оружие, прошел по его пятам через всю Европу и взял Париж.

Судьба этой части мира несколько месяцев находилась в руках императора Александра, но он не сумел воспользоваться ни своей победой, ни своим положением; он поставил Россию под одно знамя с Австрией, как будто между этой прогнившей и умирающей империей и юным государством, только что появив-

шимся во всем своем великолепии, было что-нибудь общее, как будто самый деятельный представитель славянского мира мог иметь те же интересы, что и самый яростный притеснитель славян.

Этим чудовищным союзом с европейской реакцией Россия, незадолго до того возвеличенная своими победами, унизилась в глазах всех мыслящих людей. Они печально покачали головой, увидев, как страна эта, впервые проявившая свою силу, предлагает сразу же руку и помощь всему ретроградному и консервативному, и притом вопреки своим собственным интересам.

Не хватало лишь яростной борьбы Польши, чтобы решительно поднять все народы против России. Когда благородные и несчастные обломки польской революции*, скитаясь по всей Европе, распространили там весть об ужасных жестокостях победителей, со всех сторон, на всех европейских языках раздалось громовое проклятие России. Гнев народов был справедлив...

Краснея за нашу слабость и немощь, мы понимали, что наше правительство только что совершило нашими руками, и сердца наши истекали кровью от страданий, и глаза наливались горькими слезами.

Всякий раз, встречая поляка, мы не имели мужества поднять на него глаза. И всё же я не знаю, справедливо ли обвинять целый народ, справедливо ли вычеркивать один народ из семьи остальных народов и считать его ответственным за то, что совершило его правительство.

Разве Австрия и Пруссия не оказали тут помощи? Разве Франция, вероломная дружба которой причинила Польше столько же зла, сколько открытая ненависть других народов, разве она в то же время всеми средствами не вымаливала благосклонности петербургского двора; разве Германия не заняла уже тогда добровольно по отношению к России того положения, в котором теперь вынужденно находятся Молдавия и Валахия; не управлялась ли она тогда, как и теперь, русскими поверенными в делах и тем царским проконсулом, который носит титул короля Пруссии?

Одна лишь Англия благородно держится в духе дружественной независимости; но Англия также ничего не сделала для

поляков; быть может, она думала о собственной вине по отношению к Ирландии? Русское правительство не заслуживает вследствие этого меньшей ненависти и упреков; я хотел бы только обрушить ненависть эту и на все другие правительства, ибо их не следует отделять одно от другого; это только вариации одной и той же темы.

Последние события научили нас многому; *порядок*, восстановленный в Польше*, и взятие Варшавы отодвинуты на задний план с тех пор как *порядок* царит в Париже* и взят Рим; с тех пор, как прусский принц ежедневно руководит новыми расстрелами* и старая Австрия, стоя в крови по колена, пытается омолодить ею свои парализованные члены*.

Прошло уже то время, когда надобно было привлекать внимание к России и казакам. Пророчество Наполеона потеряло свой смысл: быть может, возможно являться одновременно и республиканцем и казаком. Однако есть вещь явно невозможная — это быть республиканцем и бонапартистом. Слава молодым полякам! Они, оскорбленные, ограбленные, они, лишенные русским правительством отечества и имущества, — они первые протянули руку русскому народу; они отделили дело народа от дела его правительства. Если поляки сумели обуздать свою справедливую ненависть к нам, то другие народы также сумеют обуздать свой панический страх.

Вернемся однако к сочинениям о России. За последние годы появились только две значительные работы: путешествие Кюстина (1842) и путешествие Гакстгаузена (1847)¹. Сочинение Кюстина перебивало во всех руках, оно выдержало пять изданий; книга Гакстгаузена, напротив, очень мало известна, потому что посвящена специальному предмету. Оба эти произ-

¹ Разумеется, мы не касаемся здесь статей о России, опубликованных то здесь, то там в разных газетах. За исключением указанных нами выше работ, мы не знаем ничего представляющего нечто целое, единое. Встречаются, конечно, великолепные наблюдения в «Зоологическом путешествии» Блазиуса, в «Картинах русской литературы» Кёнига. Можно отметить некоторые места в холодных компиляциях Шницлера, не свободных от официального влияния...* Но всякие тайны, секреты, мемуары дипломатов и пр. отнюдь не принадлежат к области серьезной литературы. — Книга Гакстгаузена появилась на немецком и французском языках.

ведения особенно замечательны не своей противоположностью, но тем, что они изображают две стороны, из которых действительно слагается русская жизнь. Кюстин и Гакстаузен отличаются друг от друга в своих сочинениях, потому что говорят о разных вещах. Каждый из них охватывает особую сферу, но противоречия между ними нет. Это все равно, как если бы один описывал климат Архангельска, а другой — Одессы: оба они остаются в пределах России.

Кюстин, по легкомыслию, впал в большие ошибки; из страсти к фразе он допустил огромные преувеличения — как в хвале, так и в осуждении, но все же он хороший и добросовестный наблюдатель. Он с самого же начала отдается первому впечатлению и никогда не исправляет раз вынесенного суждения. Вот почему его книга кишит противоречиями; но сами эти противоречия, нисколько не скрывая правды от внимательного читателя, показывают ему ее с разных сторон. Легитимист и иезуит, он приехал в Россию, преисполненный глубокого уважения к монархическим установлениям, покинул же он ее, проклиная самодержавие, так же как и зараженную атмосферу, которой оно окружено.

Путешествие это, как мы видим, оказалось полезным для Кюстина.

По приезде в Россию он сам стоит не больше тех придворных, в которых мечет стрелы своей сатиры, — если только не вменить ему в заслугу то, что он добровольно взял на себя роль, которую те выполняли по обязанности.

Не думаю, чтобы какой бы то ни было придворный с такой аффектацией подчеркивал каждое слово, каждый жест императрицы, говорил бы о кабинете и туалете императрицы, об *остроумии* и *любезности* императрицы; никто не повторял так часто императору, что он более велик, чем его народ (Кюстин знал тогда русский народ только по петербургским извозчикам); более велик, чем Петр I; что Европа не отдает ему должного; что он — великий поэт и что его поэтические творения трогают до слез.

Оказавшись в придворном кругу, Кюстин уже его не покидает; он не выходит из передних и удивляется, что видит там только лакеев; за сведениями он обращается к придворным. Они же

знают, что он писатель, боятся его болтовни и обманывают его. Кюстин возмущен; он сердится и относит все на счет русского народа. Он едет в Москву, он едет в Нижний-Новгород; но всюду он в Петербурге; всюду петербургская атмосфера окружает его и придает всему виденному им однообразную окраску.

Только на почтовых станциях он бросает беглые взгляды на жизнь народа; он делает великолепные замечания, он предсказывает этому народу великое будущее; он не может налюбоваться красотой и проворством крестьян, он говорит, что чувствует себя гораздо свободнее в Москве, что воздух там не так давит и что люди там более довольны.

Он говорит это — и продолжает свой путь, несколько не затрудняя себя приведением в согласие этих своих замечаний с прежними, несколько не удивляясь тому, что находит у одного и того же народа качества совершенно противоположные, — он добавляет: «Россия страстно любит рабство». А в другом месте: «Этот народ так величав, что даже в своих пороках он полон силы и грации».

Кюстин не только пренебрег образом жизни русского народа (от которого всегда держался в отдалении), но он также не узнал ничего о мире литературном и научном, ему гораздо более близком; умственное движение России было ему известно столь же мало, как его придворным друзьям, не подозревавшим даже, что существуют русские книги и люди, которые их читают; и только случайно, в связи с дуэлью, услышал он разговоры о Пушкине.

«Поэт без инициативы», — отзывается о нем почтенный маркиз и, забывая, что говорит не о французах, добавляет: «Русские вообще не способны ясно понимать что-либо глубокое и философское». Можно ли после этого удивляться тому, что Кюстин кончает свою книгу точно так же, как начал ее, — утверждением, что двор — это всё в России?

Откровенно говоря, он прав по отношению к тому миру, который избрал центром своей деятельности и который он сам так превосходно называет миром фасадов. Спору нет, его вина, что он не захотел ничего увидеть позади этих фасадов, и его можно было бы с некоторым правом упрекнуть за это, ибо он его раз повторяет в своей книге, что у России великое будущее;

что чем более он эту страну узнаёт, тем сильнее трепещет за Европу; что видит в ней все усиливающуюся мощь, враждебно надвигающуюся на ту часть света, которая с каждым днем все более слабеет.

Мы были бы, конечно, вправе, — вследствие именно этих предсказаний, — потребовать от него несколько более углубленного изучения этого народа; однако следует сознаться, что если он пренебрег двумя третями русской жизни, то отлично понял ее последнюю треть и мастерски зарисовал ее во многих местах. Что бы ни говорило об этом самовластие петербургского двора, оно должно признать, что портрет поразительно похож в своих главных чертах.

Кюстин чувствовал сам, что он изучил только правительственную Россию, Россию петербургскую. Эпиграфом он берет следующее место из библии: «Якоже владыка града, тако и вси живущие в нем». Но эти слова не подходят к России настоящего периода. Пророк мог говорить это о евреях своего времени, как в наши дни каждый может сказать это об Англии. Россия еще не сформировалась. Петербургский период был необходимой для своего времени революцией, однако необходимость ее для нашего времени значительно уменьшилась.

⟨II⟩

Ничто не может быть противоположной блестящему и легкомысленному маркизу Кюстину, чем флегматичный вестфальский агроном, барон Гакстгаузен, консерватор, эрудит старого закала и благосклоннейший в мире наблюдатель. Гакстгаузен явился в Россию с целью, которая до него никого еще туда не привлекала. Он хотел основательно изучить нравы русских крестьян. После продолжительного изучения сельского хозяйства в Германии он случайно наткнулся на отдельные обломки сельских общинных учреждений у славян; это его тем более изумило, что он нашел их совершенно противоположными всем другим учреждениям подобного рода.

Открытие это настолько поразило его, что он приехал в Россию изучать сельские общины на месте. Наученный с детства, что всякая власть — от бога, привыкший с самых юных лет почитать все правительства, Гакстгаузен, сохранивший

политические воззрения времен Пуффендорфа и Гуго Гроция, не мог не восхищаться петербургским двором. Он чувствовал себя подавленным этой державой, имеющей для своей защиты шестьсот тысяч солдат и протяженность в девять тысяч верст для своих ссыльных. Пораженный и уничтоженный ужасающими размерами этого самодержавного государства, он, к счастью, вскоре покинул Петербург, пожил некоторое время в Москве и исчез на целый год.

Год этот Гакстгаузен употребил на глубокое изучение сельской общины в России. Результат его изысканий не совсем походил на результат, полученный Кюстином. В самом деле, по его словам, сельская община составляет в России всё. В ней, по мнению барона, ключ к прошлому России и зародыш ее будущего, животворящая монада русского государства. «Каждая сельская община,—говорит он,—представляет собой в России маленькую республику, которая самостоятельно управляет своими внутренними делами, не знает ни личной земельной собственности, ни пролетариата и уже давно довела до степени совершившегося факта часть социалистических утопий; иначе жить здесь не умеют; иначе никогда даже здесь и не жили».

Я полностью разделяю мнение Гакстгаузена, но думаю, что сельская община—еще не всё в России. Гакстгаузен действительно уловил животворящий принцип русского народа; но по своей врожденной склонности ко всему патриархальному и вследствие полного отсутствия критического дара он не заметил, что именно отрицательная сторона общинной жизни и вызвала петербургскую реакцию. Если бы в общине не было полного поглощения личности, то самодержавие, о котором с таким справедливым ужасом говорит Кюстин, не могло бы образоваться.

Мне кажется, что в русской жизни есть нечто более высокое, чем община, и более сильное, чем власть; это «нечто» трудно выразить словами, и еще труднее указать на него пальцем. Я говорю о той внутренней, не вполне сознающей себя силе, которая так чудодейственно поддерживала русский народ под игмом монгольских орд и немецкой бюрократии, под восточным кнутом татарина и под западной розгой капрала; я говорю о той внутренней силе, при помощи которой русский

крестьянин сохранил, несмотря на унижительную дисциплину рабства, открытое и красивое лицо и живой ум и который, на императорский приказ образоваться, ответил через сто лет громадным явлением Пушкина; я говорю, наконец, о той силе, о той вере в себя, которая волнует нашу грудь. Эта сила, независимо от всех внешних событий и вопреки им, сохранила русский народ и поддержала его несокрушимую веру в себя. Для какой цели?.. Это-то нам и покажет время.

«Русские сельские общины и республика, славянские деревни и социальные установления». Эти слова, таким образом сгруппированные, без сомнения, звучат весьма странно для слуха читателей Гакстгаузена. Многие, я уверен в этом, спросят, находился ли вестфальский агроном в здравом уме. И однако Гакстгаузен совершенно прав: социальное устройство сельских общин в России — истина, столь же великая, как и могущественная славянская организация политической системы. Это странно!.. Но разве еще не более странно, что рядом с европейскими рубежами в течение тысячелетия жил народ, насчитывающий теперь пятьдесят миллионов душ, и что в середине девятнадцатого века его образ жизни является для Европы неслыханной новостью?

Русская сельская община существует с незапамятного времени, и довольно схожие формы ее можно найти у всех славянских племен. Там, где ее нет, — она пала под германским влиянием. У сербов, болгар и черногорцев она сохранилась в еще более чистом виде, чем в России. Сельская община представляет собой, так сказать, общественную единицу, нравственную личность; государству никогда не следовало посягать на нее; община является собственником и объектом обложения; она ответственна за всех и каждого в отдельности, а потому автономна во всем, что касается ее внутренних дел.

Ее экономический принцип — полная противоположность знаменитому положению Мальтуса: она предоставляет каждому безисключения место за своим столом*. Земля принадлежит общине, а не отдельным ее членам; последние же обладают неотъемлемым правом иметь столько земли, сколько ее имеет каждый другой член той же общины; эта земля предоставлена ему в пожизненное владение; он не может да и не имеет надобности

передавать ее по наследству. Его сын, едва он достигает совершеннолетия, приобретает право, даже при жизни своего отца, потребовать от общины земельный надел. Если у отца много детей — тем лучше, ибо они получают от общины соответственно больший участок земли; по смерти же каждого из членов семьи земля опять переходит к общине.

Часто случается, что глубокие старики возвращают свою землю и тем самым приобретают право не платить податей. Крестьянин, покидающий на время свою общину, не теряет вследствие этого прав на землю; ее можно отнять у него лишь в случае изгнания, и подобная мера может быть применена только при единодушном решении мирского схода. К этому средству однако община прибегает лишь в исключительных случаях. Наконец, крестьянин еще тогда теряет это право, когда по собственному желанию он выходит из общины. В этом случае ему разрешается только взять с собой свое движимое имущество: лишь в редких случаях позволяют ему располагать своим домом или перенести его. Вследствие этого сельский пролетариат в России невозможен.

Каждый из владеющих землею в общине, то есть каждый совершеннолетний и обложенный податью, имеет голос в делах общины. Староста и его помощники избираются миром. Так же поступают при решении тяжбы между разными общинами, при разделе земли и раскладке податей. (Ибо обложению подлежит главным образом земля, а не человек. Правительство ведет счет только по числу душ; община пополняет недоимки в сборе податей по душам при помощи особой раскладки и принимает за податную единицу деятельного работника, т. е. работника, имеющего в своем пользовании землю.)

Староста обладает большой властью в отношении каждого члена в отдельности, но не над всей общиной; если община хоть сколько-нибудь единодушна, она может очень легко уравновесить власть старосты, принудить его даже отказаться от своей должности, если он не хочет подчиняться ее воле. Круг его деятельности ограничивается, впрочем, исключительно административной областью; все вопросы, выходящие за пределы чисто полицейского характера, разрешаются либо в соответствии с действующими обычаями, либо советом

стариков, либо, наконец, мирским сходом. Гакстгаузен допустил здесь большую ошибку, утверждая, что староста деспотически управляет общиной. Он может управлять деспотически только в том случае, если вся община стоит за него.

Эта ошибка привела Гакстгаузена к тому, что он увидел в старосте общины подобие императорской власти. Императорская власть, следствие московской централизации и петербургской реформы, не имеет противовеса, власть же старосты, как и в домосковский период, находится в зависимости от общины.

Необходимо еще приять во внимание, что всякий русский, если он не горожанин и не дворянин, обязан быть приписан к общине и что число городских жителей, по отношению к сельскому населению, чрезвычайно ограничено. Большинство городских работников принадлежит к бедным сельским общинам, особенно к тем, у которых мало земли; но, как уже было сказано, они не утрачивают своих прав в общине; поэтому фабриканты бывают вынуждены платить работникам несколько более того, что тем могли бы приносить полевые работы.

Зачастую эти работники прибывают в города лишь на зиму, другие же остаются там годами; они объединяются в большие работнические артели; это нечто вроде русской подвижной общины. Они переходят из города в город (все ремесла свободны в России), и число их часто достигает нескольких сотен, иногда даже тысячи; таковы, например, артели плотников и каменщиков в Петербурге и в Москве и ямщиков на больших дорогах. Заработком их ведают выборные, и он распределяется с общего согласия.

Прибавьте к этому, что треть крестьянства принадлежит дворянам. Помещичьи права — позорный бич, тяготеющий над частью русского народа, — тем более позорный, что они совершенно не узаконены и являются лишь следствием безнравственного соглашения с правительством, которое не только мирится со злоупотреблениями, но покровительствует им силой своих штыков. Однако это положение, несмотря на наглый произвол дворян-помещиков, не оказывает большого влияния на общину.

Помещик может ограничить своих крестьян минимальным количеством земли; он может выбрать для себя лучший участок;

он может увеличить свои земельные владения и тем самым труд крестьянина; он может прибавить оброк, но он не вправе отказать крестьянину в достаточном земельном наделе, и если уж земля принадлежит общине, то она полностью остается в ее ведении, на тех же основаниях, что и свободная земля; помещик никогда не вмешивается в ее дела; были, впрочем, помещики, хотевшие ввести европейскую систему парцеллярного раздела земель и частную собственность.

Эти попытки исходили по большей части от дворян прибалтийских губерний; но все они проваливались и обыкновенно заканчивались убийством помещиков или поджогом их замков, — ибо таково национальное средство, к которому прибегает русский крестьянин, чтобы выразить свой протест¹. Иностранные переселенцы, напротив, часто принимали русские общинные установления. Уничтожить сельскую общину в России невозможно, если только правительство не решится сослать или казнить несколько миллионов человек.

Ужасная история с введением военных поселений показала, каков бывает русский крестьянин, когда на него нападают в его последнем укреплении. Либерал Александр брал деревни приступом; ожесточение крестьян достигло ярости, исполненной трагизма: они умерщвляли своих детей, чтоб избавить их от нелепых учреждений, навязываемых им штыками и картечью. Правительство, разъяренное таким сопротивлением, подвергалось преследованиям этих героических людей; оно засекало их до смерти шпицрутенами, но, несмотря на все эти жестокости и ужасы, оно ничего не смогло добиться. Кровавый бунт в Старой Руссе в 1831 году показал, как трудно поддается укрощению этот несчастный народ. Подавив этот бунт, правительство вынуждено было уступить необходимости и удовлетвориться словом, не будучи в силах добиться дела.

Вот по какой причине революция, произведенная Петром I, была столь равнодушно принята крестьянами и встретила так

¹ Из документов, публикуемых министерством внутренних дел, видно, что ежегодно, еще до последней революции 1848 г., от 60 до 70 помещиков оказывались убитыми своими крестьянами. Не является ли это постоянным протестом против незаконной власти этих помещиков?

мало сопротивления: она прошла над их головами. Правительство начало принимать общие меры по отношению к крестьянам лишь с 1838 года, когда оно основало министерство государственных имуществ. То была неплохая мысль — слегка встряхнуть общину, ибо деревенская жизнь, как всякий коммунизм, полностью поглощала личность.

Человек, привыкший во всем полагаться на общину, погибает, едва лишь отделится от нее; он слабеет, он не находит в себе ни силы, ни побуждений к деятельности: при малейшей опасности он спешит укрыться под защиту этой матери, которая держит, таким образом, своих детей в состоянии постоянного песовершенполстия и требует от них пассивного послушания. В общине слишком мало движения; она не получает извне никакого толчка, который побуждал бы ее к развитию, — в ней нет конкуренции, нет внутренней борьбы, создающей разнообразие и движение; предоставляя человеку его долю земли, она избавляет его от всяких забот.

Общинное устройство усыпляло русский народ, и сон этот становился с каждым днем все более глубоким, пока, наконец, Петр I грубо не разбудил часть нации. Он искусственно вызвал нечто вроде борьбы и антагонизма, и именно в этом-то и заключалось провиденциальное назначение петербургского периода.

С течением времени этот антагонизм стал чем-то естественным. Какое счастье, что мы так мало спали; едва пробудившись, мы оказались лицом к лицу с Европой, и с самого начала наш естественный, полудикий образ жизни более соответствует идеалу, о котором мечтала Европа, чем жизненный уклад цивилизованного германо-романского мира; то, что является для Запада только надеждой, к которой устремлены его усилия, — для нас уже действительный факт, с которого мы начинаем; угнетенные императорским самодержавием, — мы идем навстречу социализму, как древние германцы, поклонявшиеся Тору или Одину, шли навстречу христианству.

Утверждают, что все дикие народы начинали с подобной же общины; что она достигла у германцев полного развития, но что всюду она вынуждена была исчезнуть с началом цивилизации. Из этого заключили, что та же участь ожидает русскую

общину; но я не вижу причин, почему Россия должна непременно претерпеть все фазы европейского развития, не вижу я также, почему цивилизация будущего должна неизменно подчиняться тем же условиям существования, что и цивилизация прошлого.

Германская община пала, встретившись с двумя социальными идеями, совершенно противоположными общинной жизни: феодализмом и римским правом. Мы же, к счастью, являемся со своей общиной в эпоху, когда противообщинная цивилизация гибнет вследствие полной невозможности отделаться, в силу своих основных начал, от противоречия между правом личным и правом общественным. Почему же Россия должна лишиться теперь своей сельской общины, если она сумела сбереечь ее в продолжение всего своего политического развития, если она сохранила ее нетронутой под тягостным ярмом московского *царизма*, так же как под самодержавием — в европейском духе — императоров?

Ей гораздо легче отделаться от администрации, насильственно насажденной и совершенно не имеющей корней в народе, чем отказаться от общины; но утверждают, что вследствие постоянного раздела земель общинная жизнь найдет свой естественный предел в приросте населения. Как ни серьезно на первый взгляд это возражение, чтоб его опровергнуть, достаточно указать, что России хватит земли еще на целое столетие и что через сто лет жгучий вопрос о владении и собственности будет так или иначе разрешен. Более того. Освобождение помещичьих имений, возможность перехода из перенаселенной местности в малонаселенную, представляет также огромные ресурсы.

Многие, и среди них Гакстаузен, утверждают, что, вследствие этой неустойчивости во владении землею, обработка почвы нисколько не совершенствуется; временный владелец земли, в погоне за одной лишь выгодой, которую он из нее извлекает, мало о ней заботится и не вкладывает в нее свой капитал; вполне возможно, что это так. Но агрономы-любители забывают, что улучшение земледелия при западной системе владения оставляет большую часть населения без куска хлеба, и я не думаю, чтобы растущее обогащение нескольких фермеров

и развитие земледелия как искусства могли бы рассматриваться даже самой агрономией как достаточное возмещение за отчаянное положение, в котором находится изголодавшийся пролетариат.

Дух общинного строя уже давно проник во все области народной жизни в России. Каждый город, на свой лад, представлял собой общину; в нем собирались общие сходы, решавшие большинством голосов очередные вопросы; меньшинство либо соглашалось с большинством, либо, не подчиняясь, вступало с ним в борьбу; зачастую оно покидало город; бывали даже случаи, когда оно совершенно истреблялось.

В этом непреклонном меньшинстве можно распознать гордое вето польских магнатов. Княжеская власть, при наличии судилищ, составленных из выборных судей, творивших правосудие устно и по внутреннему убеждению перед лицом свободных сходов в городах, и к тому же лишенная постоянной армии, не могла укрепляться; это станет особенно понятным, если не упускать из виду, насколько ограничены жизненные потребности у народа, целиком занятого земледелием. Московская централизация положила конец этому порядку вещей; Москва явилась для России первым Петербургом. Московские великие князья, отбросив этот титул, чтобы принять титул царя всея Руси, стремились к совсем иного рода власти, чем та, которой пользовались их предшественники.

Пример увлекает их: они явились свидетелями могущества греческих императоров в Византии и могущества монгольских ханов из главной орды Тамерлана, известной под именем *Золотой орды*. И действительно, власть царей в своем развитии приняла двойной характер обеих этих держав. С каждым шагом московских царей на пути деспотизма власть народа все уменьшалась. Жизнь сжималась и обеднялась все более и более во всех своих проявлениях; одна лишь сельская община продолжала сохраняться в своей скромной сфере.

Роковой характер эпохи, следовавшей за царствованием Петра, обнаружился лишь тогда, когда московские цари осуществили свою централизацию; ибо ее значительность заключалась лишь в том, что она составила из разрозненных частей княжеского федерализма, из людей одной расы, связанных узами

крови, одно могучее целое; идти однако далее она не могла, ибо, в сущности, она не знала точно, почему и с какой целью она объединяла эти разобщенные части. Именно в этом и проявилась вся ничтожность внутренней идеи московского периода: он сам не знал, куда приведет его политическая централизация.

Пока имелись вне страны такие поводы для деятельности, как борьба с татарами, литовцами и поляками, таившиеся в ней силы находили возможность проявляться и распространяться; когда же народ после междоусобия 1612 года, во время которого он обнаружил поразительную энергию, снова впал в состояние покоя, правительство окостенело в вялости восточного формализма.

Государство, еще полное юности и мощи, покрылось, как стоячая вода, зеленоватой пеной; время первых Романовых было преждевременной старостью, так глубоко погруженной в сон, что народ не в состоянии был тогда оправиться от прежних потрясений. Царская Россия, как и сельская община, совершенно лишена была какой бы то ни было закваски, каких бы то ни было дрожжей; не было ни беспокойного меньшинства, ни движущего начала. Эта закваска, эти дрожжи, эта мятежная личность явилась, и явилась на троне.

Петр I сделал бесконечно много добра и зла России; но особенной благодарности от русских он заслуживает за толчок, который дал всей стране, за движение, которое он сообщил нации и которое с тех пор не замедлялось. Петр I понял скрытую силу своего народа, так же как и препятствие, мешавшее развитию этой силы; с энергией революционера и упрямством самодержца он решил окончательно порвать с прошедшим: с нравами, обычаями, законодательством, — одним словом, со всем прежним политическим организмом.

Достоин сожаления, что Петр I не имел перед глазами иного идеала, кроме европейского режима. Он не видел, что то, чем он восхищался в европейской цивилизации, ни в какой мере не было связано с политическими формами того времени, но, скорее, держалось вопреки им; он не видел, что сами эти формы были не чем иным, как следствием двух уже прошедших миров, и что они, как и московское византийство, были отмечены печатью смерти.

Политические формы семнадцатого столетия были последним словом монархической централизации, последним следствием Вестфальского мира. То было время дипломатии, канцелярии и казарменного режима, начало того холодного деспотизма, эгоистические повадки которого не могли быть облагорожены даже гением Фридриха II, прототипа всех капралов — маленьких и больших.

Эти политические формы сами только и ждали, чтоб исчезнуть, своего Петра I — Французскую революцию. Освободившись от традиций, победитель последней из них, Петр I пользовался полнейшей свободой. Но душе его недоставало гения и творческой мощи: он был поработен Западом и стал копировать его. Ненавидя все относящееся к старой России, хорошее и дурное, он подражал всему европейскому, дурному и хорошему. Половина иностранных форм, пересаженных им в Россию, была в высшей степени противна духу русского народа.

Его задача сделалась вследствие этого еще трудней, и притом без всякой пользы для дела. В силу пророческого инстинкта он любил Россию будущего; он лелеял мечту о могущественной русской монархии, но совершенно не считался с народом. Возмущенный всеобщим застоєм и апатией, он захотел обновить кровь в жилах России и, чтобы произвести это переливание, взял кровь уже старую и испорченную. Кроме того, при всем своем темпераменте революционера, Петр I все же всегда оставался самодержцем. Он страстно любил Голландию и воспроизводил свой милый Амстердам на берегах Невы, однако он заимствовал лишь весьма немногие из свободных нидерландских установлений. Он не только не ограничил царскую власть, но еще более усилил ее, предоставив ей все средства европейского абсолютизма и сокрушая все преграды, воздвигнутые ранее нравами и обычаями.

Становясь под знамена цивилизации, Петр I в то же время заимствовал у отвергаемого им прошлого кнут и Сибирь, чтобы подавлять всякую оппозицию, всякое смелое слово, всякое свободное действие.

Представьте себе теперь союз московского *царизма* с режимом немецких канцелярий, с инквизиционным процессом,

заимствованным из прусского военного кодекса, и вы поймете, почему императорская власть в России оставила далеко позади деспотизм Рима и Византии.

Сельская Россия, всему внешне подчиняясь, на самом деле ничего не приняла из этих преобразований. Петр I чувствовал это пассивное сопротивление; он не любил русского крестьянина и ничего не понимал в его образе жизни. С преступным легкомыслием усилил он права дворянства и стянул еще туже цепь крепостного права; он первый попытался упорядочить эти нелепые установления; упорядочить значило в то же время признать их и подвести под них законное основание. С той поры русский крестьянин еще более, чем когда-либо, замкнулся в своей общине и если удалялся от нее, то бросал вокруг себя недоверчивые взгляды и многократно осенял себя крестным знаменем. Он перестал понимать правительство; он увидел в полицейском офицере и в суде — врага; он увидел в помещике грубую силу, с которой ничего не мог поделаться.

С той поры он стал видеть в каждом приговоренном только *несчастливого* — единственное слово, которым обозначается всякий осужденный в этой стране, где словно никого не осталось, кроме жертв и палачей; стал лгать под присягою и все отрицать, когда его допрашивал человек в мундире, казавшийся ему представителем немецкого правительства. Протекшие сто пятьдесят лет, нисколько не примирив крестьянина с новым порядком вещей, еще более отдалили его от правительства. Пусть мы воспитаны были в духе петровских реформ; пусть мы впитали с молоком матери европейскую цивилизацию; пусть старость Европы была нам привита таким образом, что ее судьбы сделались нашими судьбами, — в добрый час! Однако с русским крестьянином дело обстоит совсем иначе.

Он многое перенес, многое выстрадал, он сильно страдает и теперь, но он остался самим собой. Замкнутый в своей маленькой общине, оторванный от собратьев, рассеянных на огромных пространствах страны, он тем не менее нашел в пассивном сопротивлении и в силе своего характера средство сохранить себя; он низко склонил голову, и несчастье часто проносилось над ним, не задевая его; вот почему, несмотря на свое положение,

русский крестьянин обладает такой силой, такой ловкостью, таким умом и красотой, что возбудил в этом отношении изумление Кюстина и Гакстаузена.

<III>

Все путешественники отдают должное русским крестьянам, но они кричат об их бесстыдном плутовстве, религиозном фанатизме, идолопоклонстве перед императорским тронem.

Я думаю, что кое-какие из этих недостатков и в самом деле можно найти в русском народе, в частности я основываюсь на том, что недостатки эти присущи всем европейским народам. Они тесно связаны с нашей цивилизацией, с невежеством масс и с их нищетой. Европейские государства похожи на полированный мрамор, они блестят только на поверхности, а в глубине своей и в целом они грубы.

Я понимаю, что можно обвинять цивилизацию, современные общественные формы, все народы вместе, но считаю бесполезной жестокостью нападать на один из этих народов и осуждать в нем пороки всех остальных; это, впрочем, уость ума, которая позволительна одним лишь евреям, — считать свою нацию избранным народом. В этом отношении последние политические события должны были послужить нам отличным уроком; не обвиняли ли недавно почти все писатели в тех же недостатках римлян и венцев, прибавляя к этому даже упреки в трусости?

Октябрьская революция* и римский триумвират* реабилитировали репутацию этих городов. Но это еще не все. Совершенно верно, что русский крестьянин при каждой возможности обманывает помещика и чиновника, которые, в свою очередь, не обманывают крестьянина только потому, что им проще грабить его. Обмануть своих врагов в подобных случаях значит проявить ум. Наоборот, в отношениях между собой русские крестьяне проявляют исключительную честность и порядочность. Доказательством служит то, что они никогда не заключают между собой письменных условий. Землю делят в общинах, а деньги — в рабочих артелях. На протяжении десяти с лишним лет это едва ли вызывает два-три судебных процесса.

Русский народ религиозен, потому что народ при современных политических условиях не может оставаться без религии. Просвещенное сознание — следствие прогресса; истина и мысль до сих пор существуют лишь для немногих. Народу же религия заменяет все, она отвечает на все его эстетические и философские вопросы, возникающие в человеческой душе на всех ступенях развития. Фантастическая поэзия религии служит отдохновением после прозаических земледельческих работ и сенокоса. Русский крестьянин суеверен, но равнодушен к религии, которая для него, впрочем, является непроницаемой тайной. Он для очистки совести точно соблюдает все внешние обряды культа; он идет в воскресенье к обедне, чтобы шесть дней больше не думать о церкви. Священников он презирает как туеядцев, как людей алчных, живущих на его счет. Героем всех народных непристойностей, всех уличных песенок, предметом насмешки и презрения всегда являются поп и дьячок или их жены*.

Множество пословиц свидетельствует о безразличии русских к религии: «Гром не грянет — мужик не перекрестится», «На бога надейся, да сам не плошай». Кюстин рассказывает, что один ямщик, шутя защищавший свою склонность к мелким кражам, говорил: «С этим уж человек рождается, и если Христос не воровал — то только потому, что ему мешали раны на руках». Все это показывает, что у этого народа мы не найдем ни бешеного фанатизма, встречающегося у бельгийцев и в Люцерне, ни той суровой, холодной и безнадежной веры, которую видим мы в Женеве и в Англии, как и вообще у народов, долго находившихся под влиянием иезуитов и кальвинистов.

В прямом смысле слова религиозны одни лишь раскольники. Причина этого заключается не только в национальном характере, но и в самой религии. Греческая церковь никогда не отличалась чрезмерной склонностью к пропаганде и экспансии; она была более верна евангельскому учению, нежели католицизм, жизнь ее вследствие этого менее распространялась вширь; созревая на прогнившей почве Византии, она сосредоточилась в монастырских кельях и преимущественно занялась богословскими спорами и вопросами теории; поработанная светской властью, она отстранилась, в России еще более, чем в Византийской империи, от интересов политики. Начиная с

десятого века и до Петра I известен лишь один народный проповедник, да и того патриарх принудил замолчать*.

Я считаю большим счастьем для русского народа — народа очень впечатлительного и кроткого от природы, — что он не был развращен католицизмом. Тем самым он избежал другой беды. Католицизм, как некоторые злокачественные недуги, может быть излечен лишь при помощи ядов; он роковым образом влечет за собой протестантизм, который затем только и освобождает умы с одной стороны, чтоб еще сильнее сковать их с другой. Наконец, Россия, не принадлежа к великому единству западной церкви, не имеет надобности вмешиваться в историю Европы.

Я не замечал также в русском народе, чтоб он отличался особенной преданностью престолу и готовностью жертвовать собой для него. Действительно, русский крестьянин видит в императоре защитника от своих непосредственных врагов, он рассматривает его как наивысшее олицетворение справедливости и верит в его божественное право, как верят в него более или менее все монархические народы Европы. Но это почитание не выражается в каких-либо действиях, и его привязанность к императору не превратит его ни в вандейца, ни в испанского карлиста; это почитание не доходит до той трогательной любви, которая недавно еще не позволяла некоему народу без слез на глазах говорить о своих князьях.

Следует также признать, что русский народ охладел в своей любви к трону, с тех пор как, по милости европейской бюрократии, он отвернулся от правительства. Династическое движение, подобное тому, какое вспыхнуло, например, в пользу Лжедмитрия, в настоящее время совершенно невозможно. Со времени Петра I народ не принимал никакого участия ни в одном из петербургских переворотов. Несколько претендентов, кучка интриганов и преторианцев с 1725 по 1762 год передавали из рук в руки императорский трон. Народ бесстрастно молчал, не беспокоясь о том, признает ли камарилья императорами и Романовыми — принцессу Брауншвейгскую или Курляндскую, герцога Голштинского или его жену из рода Ангальт-Цербстского; все они были ему неизвестны и — более того — они были немцы.

Восстание Пугачева имело совсем иной смысл: то была последняя попытка, отчаянное усилие казака и крепостного освободиться от жестокого ярма, тягость которого с каждым днем становилась все более ощутимой. Имя Петра III явилось лишь предлогом; одно это имя никак не могло бы поднять несколько губерний. В последний раз политический интерес воодушевил русский народ в 1812 году. Народ этот убежден, что у себя на родине он непобедим; эта мысль лежит в глубине сознания каждого русского крестьянина, в этом его политическая религия. Когда он увидел, что чужеземец появился как неприятель на его земле, он забросил соху и схватился за ружье. Умирая на поле битвы «за белого царя и пресвятую богородицу», как он говорил, он умирал на самом деле за неприкосновенность русской земли.

Класс, с которым русский народ находится в непосредственных сношениях, — это провинциальное дворянство и сословие чиновников, которые составляют низшую ступень цивилизованной России. Чиновники, глубоко развращенные запретом всякого рода гласности, представляют собой самый раболопный класс в России; его судьба целиком во власти правительства. Провинциальное дворянство, со своей стороны, не менее развращенное своим правом эксплуатировать крестьян, все же более независимо и, стало быть, несколько самостоятельней, чем чиновничество. Немного жизни сохранилось еще в губернских дворянских собраниях; дворянство обыкновенно составляет оппозицию губернаторам и их чиновникам; средств для этого у него достаточно.

Екатерина II продолжила систему Петра I; она еще приумножила и утвердила права дворянства; в то же время она ввергла в крепостное состояние миллионы крестьян и оплачивала крестьянскими общинами свои ночи Клеопатры. Дворянство каждой губернии имеет право созывать свои особые собрания, избирать своих предводителей и, что еще важнее, — судей двух первых инстанций, председателей этих судов и всех чиновников административного и полицейского управления уездами.

Правда, и другие классы населения частично пользуются подобными правами, но большинство этих прав остается за дворянством, если не считать городских управлений и городского

голову, которые избираются купцами и мещанами города. Правительство посылает в каждую губернию губернатора, административный и финансовый совет, в каждый город — городничего и в каждый суд — прокурора. Дворянство имеет право контролировать губернатора во всех денежных делах; каждый дворянин может быть, без всяких ограничений, выбран в своей губернии судьей, председателем и предводителем. К этому сводятся все свободные установления.

Если мы перейдем от провинциальных установлений к установлениям государственным, то с каждым шагом, по мере того как мы будем подниматься по иерархической лестнице, все более и более будут стираться и права человека и участие управляемых в управлении. Петербургская централизация, как снеговая вершина горы, все подавляет своим леденящим и единообразным грузом; чем более к ней приближаешься, тем менее обнаруживаешь следов жизни и независимости. Сенат, Государственный совет, министры — не более как покорные орудия; высшие сановники — не более как писцы, сбирь, словом, — телеграфные рычаги, при помощи которых петербургский Зимний дворец объявляет стране свою волю.

Русское дворянское звание в том виде, в каком оно существует со времен Петра I, является скорее наградой за оказанные услуги, чем самостоятельно существующей кастой; дворянское звание, по закону, даже утрачивается, если в семье два поколения подряд не вступали на государственную службу*. Пути, ведущие к дворянскому званию, открыты со всех сторон. Пять лет тому назад были установлены в этом отношении некоторые ограничения*, но они относятся к числу тех мер, которые бесследно исчезают на другой же день после императорского указа.

Петр I, при всем своем могуществе, не смог бы ничего совершить, если б он не встретил уже целую толпу недовольных; эти недовольные пришли ему на помощь; именно из них и из тех, кто служил новому правительству, и образовалась европеизированная Россия. Петр I возвел эту часть нации в дворянство, чтобы противопоставить ее необразованной России. Но помимо того, что этот класс, несмотря на силу и власть, не создал никакой аристократии, он еще поглотил некогда могущественную

аристократию старинного дворянства, бояр и князей¹. Новое дворянство, беспрестанно вербуемое из всех других классов, приобрело аристократический характер только по отношению к крестьянину, до тех пор пока он оставался крестьянином, т. е. по отношению той части парода, которая также была поставлена правительством вне закона.

Вероятно, в первое время после реформы все эти грузные и грубые бояре, в своих пудренных париках и шелковых чулках, сильно смахивали на тех отайтских щеголей, которые гордо расхаживают в красных английских мундирах с эполетами, но без штанов и рубашки. Однако благодаря нашей восприимчивости высшая знать вскоре усвоила манеры и язык версальских придворных. Восприняв изящество манер и нравов европейской аристократии, она не совсем утратила свои собственные, и поэтому ее образ жизни, при Екатерине II, представлял собой своеобразную смесь дикой распущенности и придворного лоска, аристократической спеси и полувосточной покорности. Эти нравы были тем не менее скорей оригинальны и угловаты, чем карикатурны; в них совершенно не было того пошлого и безвкусного тона, которым всегда отличалась аристократия немецкая.

Между высшей знатью, живущей почти исключительно в Петербурге, и *благородным пролетариатом* чиновников и безземельных дворян существует густой слой среднего дворянства, нравственным центром которого является Москва. Если оставить в стороне общую развращенность этого класса, то следует признать, что именно в нем таится зародыш и умственный центр грядущей революции. Положение образованного меньшинства этого сословия (это меньшинство довольно значительно) полно трагизма: оно оторвано от народа, потому что в течение нескольких поколений его предки были связаны с цивилизирующим правительством, и оторвано от правительства, потому что само это меньшинство цивилизовалось. Народ видит в них немцев, правительство — французов.

В этом сословии, так нелепо поставленном между цивилизацией и правом плантатора, между ярмом неограниченной

¹ Право первородства совершенно неизвестно в России.

власти и помещичьими правами над крестьянами, в этом сословии, где можно встретить самую высокую европейскую научную культуру при отсутствии свободы слова, без иного дела, кроме государственной службы, — кипит множество страстей и сил, которые, именно вследствие отсутствия выхода, бродят, растут и часто вырываются на свет в виде какой-либо блестящей, эксцентричной личности.

Из этого именно сословия исходит все литературное движение, именно из него вышел Пушкин, этот наиболее совершенный представитель широты и богатства русской натуры; именно в нем зародилось и выросло 26 декабря 1825 года*, эта *indulgentia plenaria*¹ всей касты, ее расчет за целый век.

Десять лет каторжных работ, двадцать пять лет ссылки не смогли сломить и согнуть этих героических людей, которые с горстью солдат вышли на Исаакиевскую площадь, чтобы бросить перчатку императорской власти и всенародно произнести слова, которые до сих пор и даже теперь еще передаются от одного к другому в рядах нового поколения.

Восстание 1825 года заключило собой первую эпоху петербургского периода. Вопрос был разрешен. Образованный класс, тот класс народа, который остается верным толчку, данному Петром I, доказал тогда своей деятельной ненавистью к деспотизму, что он догнал своих западных братьев. Они оказались в полном единении чувств и взглядов с Риго, гонфалоньерами и карбонариями. Ужас правительства был тем более велик, что оно обнаружило, с одной стороны, что все элементы дворянства и военной иерархии замешаны в заговоре, и что, с другой стороны, оно осознало отсутствие всякой реальной связи между собой и древним народом, оставшимся русским.

26 декабря вскрыло все, что было искусственного, хрупкого и преходящего в петербургском империализме. Революция была близка к успешному осуществлению... Что произошло бы в случае успеха? Трудно сказать; но каков бы ни был результат, можно смело утверждать, что народ и дворянство спокойно приняли бы *совершившийся факт*.

¹ полное отпущение грехов (лат.).— Ред.

Это-то и было с ужасом понято правительством. Преисполненное недоверия к дворянству, оно вздумало сделаться национальным и добилось лишь того, что стало врагом всякой цивилизации. Национальная жилка в нем совершенно отсутствовала. Правительство с самого начала проявило себя мрачным и недоверчивым; целый корпус тайной полиции, вновь учрежденный, окружил троп. Затем правительство отказалось от принципов Петра I, развивавшихся в течение столетия. Последовал непрерывный ряд ударов по всякой свободе, всякой умственной деятельности; террор распространялся с каждым днем все более и более. Не решались что-либо печатать; не решались писать письма; доходили до того, что боялись рот открыть не только на людях, но и в собственной комнате, — все онемело.

Образованные люди почувствовали тогда, со своей стороны, что под ногами у них не родная земля; они поняли всю свою слабость, и отчаяние охватило их. Пряча в глубине души слезы и скорбь, они рассеялись по своим деревням и по всем большим дорогам Европы. Петербург, по примеру правительства, приобрел совсем иной характер; то был город в состоянии непрерывной осады*. Общество широкими шагами отступало назад. Аристократические чувства человеческого достоинства, которые в царствование Александра завоевали себе значительное место, были настолько оттеснены, что стало возможным введение закона о заграничных паспортах*, сделались возможными нравы, о которых рассказал вам Кюстин.

Но внутренняя работа продолжалась, тем более деятельная в своих глубинах, что она не находила никакой возможности проявить себя на поверхности. Время от времени раздавались голоса, заставлявшие трепетать все фибры человеческой души: то был крик скорби, стон негодования, песнь отчаяния, и к этому крику, к этому стону, к этой песне примешивалась грустная весть о судьбе, которую навлек на себя какой-нибудь смельчак, вынужденный отправиться в изгнание на Кавказ или в Сибирь. Так, через десять лет после 26 декабря, один мыслитель бросил в мир несколько листов, которые повсюду, где только есть читатели в России, вызвали потрясение, подобное электрическому удару*.

Это сочинение было спокойным и беззлобным упреком; оно напоминало бесстрастное исследование положения русских, но то был взгляд разгневанного человека, глубоко оскорбленного в самых благородных своих чувствах. Строгий и холодный, он требует у России отчета за все страдания, которые она готовит мыслящему человеку, и, разобрав их все, он с ужасом отворачивается, он проклинает Россию в ее прошедшем, он презирает ее настоящее и предсказывает лишь несчастье в будущем. Таких голосов не слышно было во время блестящей эпохи несколько экзотического либерализма Александра, — они не раздавались даже в стихах Пушкина; чтоб исторгнуть их из человеческой груди, надобен был пестерпимый груз десятилетнего террора: нам надобно было увидеть гибель всех наших друзей, славу осады Варшавы и усмирение Польши.

Чаадаев во многом был неправ, но жалоба его была законна, и голос его заставил выслушать ужасную истину. Именно этим объясняется его громадный отзвук. В ту эпоху все сколько-нибудь значительное в литературе принимает новый характер. Покончено с подражанием французам и немцам, мысль сосредоточивается и ожесточается; более горькое отчаяние и более горькая ирония над собственной судьбой прорывается повсюду, как в стихах Лермонтова, так и в издевательском смехе Гоголя, — смехе, за которым, по выражению автора, таятся слезы.

Если начала новой жизни и движения оставались тогда разобщенными; если они не достигли того единства, которое царило до 26 декабря, то это прежде всего означает, что самые основные вопросы сделались гораздо более сложными и глубокими. Все серьезные люди поняли, что нельзя более тащиться на буксире у Европы, что в России есть нечто особое, свойственное ей одной, нечто такое, что необходимо изучить и понять в ее прошедшем и настоящем.

Одни во всем, что свойственно России, не видели ничего враждебного или неприятного для европейских установлений; наоборот, они предвидели время, когда Россия, пройдя через петербургский период, и Европа, пройдя через конституционализм, встретятся друг с другом. Иные, наоборот, обвиняя во всей тяжести настоящего положения антинациональный харак-

тер правительства, смешали в общей ненависти все, что связано с Западом.

Петербург научил этих людей презирать всякую цивилизацию, всякий прогресс; они хотели вернуться к узким формам допетровского времени, в которых русская жизнь снова оказалась бы почти задушенной. К счастью, путь, ведущий к старой России, уже давно зарос густым лесом, и ни славянофилам, ни правительству вырубить его не удастся.

Борьба этих партий в течение десяти лет придавала новую жизнь литературе; у журналов заметно увеличилось число подписчиков, и на лекциях по истории скамьи Московского университета ломились от наплыва слушателей*. Не забудьте, что вследствие крайней бедности органами общественного мнения, литературные и научные вопросы превратились в арену для политических партий. Таково было положение вещей, когда вспыхнула Февральская революция.

Правительство, вначале ошеломленное, ничего не предпринимало, но когда оно убедилось в смиренном и приниженном поведении скромной республики, оно быстро пришло в себя. Русское правительство открыто объявило, что оно рассматривает себя как поборника монархического принципа, и, предвидя солидарность цивилизации с революцией (по примеру французского Национального собрания), оно не скрывало, что готово всем пожертвовать во имя *порядка*. Русское правительство с еще большей энергией, чем это Собрание, с циничной дерзостью двинулось на уничтожение цивилизации и прогресса.

К чему же все это приведет?.. В России — возможно, к уничтожению всех цивилизующих элементов. Ужасный результат! Но Россия от этого не погибнет. Вполне возможно даже, что этот результат послужит народу сигналом пробуждения, и тогда наступит новая эра для справедливости и народных прав.

Тем временем правительство словно забыло, что оно рождено в Петербурге, что оно — правительство цивилизованной России, что и оно связано залогами, данными им европейской цивилизации, и что несмотря на принятую теперь правительством личицу православия и народности, русский крестьянин продолжает попрежнему считать его немецким.

Судьба петербургского трона — подивитесь этой великолепной проницательности! — связана с цивилизацией; уничтожая ее, он низвергнется в ужасную бездну; если же он позволит ей расти, то провалится в другую бездну. Возможно, впрочем, что Россия, вследствие невыносимого гнета, распадется на множество частей; возможно также, что она просто ринется вперед и, полная нетерпения, страхнет со своей могучей спины неловких всадников. Все это принадлежит будущему, а я не мастер в искусстве прорицания.

После всего, что я сказал, невольно задаешься вопросом — какую же идею, какую мысль вносит русский народ в историю? До сих пор мы видим только, что он представляет лишь самого себя, — это обыкновенно является свидетельством незрелости. Какую идею вносит ребенок в семью? Ничего, кроме дарований, склонностей, возможности развития. Что же касается того, существует ли эта возможность, крепки ли мышцы ребенка и насколько ей соответствуют его способности, — то это вопросы, подлежащие нашему рассмотрению. Вот почему я и настаиваю теперь более, чем когда-либо, на необходимости изучения России.

Перед лицом Европы, силы которой за долгую жизнь истощились в борьбе, выступает народ, едва только начинающий жить и который, под внешней жесткой корой царизма и империализма, вырос и развился, подобно кристаллам, нарастающим под геодом; кора московского царизма отпала, как только она сделалась бесполезной; кора же империализма еще слабее прилегает к дереву.

Действительно, до сих пор русский народ совершенно не занимался вопросом о правительстве; вера его была верой ребенка, покорность его — совершенно пассивной. Он сохранил лишь одну крепость, оставшуюся неприступной в веках, — свою земельную общину, и в силу этого он находится ближе к социальной революции, чем к революции политической. Россия приходит к жизни как народ, последний в ряду других, еще полный юности и деятельности, в эпоху, когда другие народы мечтают о покое; он появляется, гордый своей силой, в эпоху, когда другие народы чувствуют себя усталыми и на закате. Его прошлое было скудно, его настоящее — чудовищно; конечно, все это не создает еще никаких прав.

Множество народов сошло с исторической сцены, не изведав всей полноты жизни, но у них не было таких колоссальных притязаний на будущее, как у России. Вы знаете это. В истории нельзя сказать: *tarde venientibus ossa*¹, наоборот, им-то предназначены лучшие плоды, если только они способны ими питаться. В этом-то и заключается главный вопрос.

Сила русского народа признана всей Европой уж вследствие одного только страха, который он ей внушает; он показал в петербургский период, к чему он способен, он много сделал — и это несмотря на цепи, которыми были отягощены его руки. Это странно и, тем не менее, верно — как верно и то, что другие народы, бедно одаренные, провели целые века в совершенном бездействии, хоть и наслаждаясь полной свободой. Справедливость не принадлежит к числу важнейших достоинств истории; справедливость слишком мудра и слишком прозаична, тогда как жизнь в своем развитии, напротив, свосправна и полна поэзии. С точки зрения истории справедливость воздается тому, кто ее не заслужил; заслуга, впрочем, находит вознаграждение в самой себе.

Вот, дорогой друг, все, что я хотел вам сказать на сей раз. Я вполне мог бы на этом закончить, но мне пришла только что в голову странная мысль: вероятно, найдется множество добрых людей, несколько тугих на ухо, которые увидят в моем письме исключительный патриотизм, предпочтение, оказываемое России, и которые воскликнут по этому поводу, что у них составилось об этой стране совсем иное представление.

Да, я люблю Россию.

Вообще, я считаю невозможным или бесполезным писать о предмете, к которому не испытываешь ни любви, ни ненависти. Но моя любовь — не животное чувство привычки; это не тот природный инстинкт, который превратили в добродетель патриотизма; я люблю Россию потому, что я ее знаю, сознательно, разумно. Есть также многое в России, что я безмерно ненавижу, всей силой первой ненависти. Я не скрываю ни того, ни другого.

¹ позднему гостю — одни лишь кости (лат.).— *Ред.*

В Европе совсем не знают России; в России очень плохо знают Европу. Было время, когда, близ Уральских гор, я создавал себе о Европе фантастическое представление; я верил в Европу и особенно во Францию. Я воспользовался первой же минутой свободы, чтобы приехать в Париж.

То было еще до Февральской революции. Я разглядел вещи несколько ближе и покраснел за свои прежние представления. Теперь я раздражен несправедливостью бесчувственных публицистов, которые признают существование царизма только под 59-м градусом северной широты. С какой стати эти две мерки? Попосито сколько вам вздумается и осыпайте упреками петербургское самодержавие и постоянную пашу безропотность; но поносите повсюду и умеете распознавать деспотизм, в какой бы он форме ни проявлялся: носит ли он название президента республики, Временного правительства или Национального собрания.

Какой позор — в 1849 году, — утратив все, на что надеялись, все, что приобрели, близ трупов падших и расстрелянных, близ тех, кого заковали в цепи и сослали, при виде этих несчастных, гонимых из страны в страну, которым оказывают гостеприимство, как евреям в средние века, которым бросают, как собакам, кусок хлеба, чтобы заставить их затем продолжать свой путь, — какой позор, повторяю я, в 1849 году останавливаться на узком воззрении либерального конституционализма, этой платонической и бесплодной любви к политике!

Оптический обман, при помощи которого рабству придавали видимость свободы, рассеялся; маски спали, мы в точности теперь знаем цену республиканской свободы во Франции и конституционной свободы в Германии; мы видим теперь (а если не видим этого, то в этом наша вина), что все существующие правительства, начиная от скромнейшего швейцарского кантона до самодержца всея Руси, — это лишь вариации одной и той же темы.

«Свободой должно пожертвовать во имя порядка, лично-стью — во имя общества; так, чем сильнее правительство, тем лучше».

Скажу еще раз: если ужасно жить в России, то столь же ужасно жить и в Европе. Отчего же покинул я Россию? Чтоб ответить

на этот вопрос, я переведу вам несколько слов из моего прощального письма к друзьям:

«Не ошибитесь! Не радость, не рассеяние, не отдых, ни даже личную безопасность нашел я здесь, да и не знаю, кто может находить теперь в Европе радость и отдых. Грустью дышит каждое слово моих писем. Жизнь здесь очень тяжела.

Я ни во что не верю здесь, кроме как в движение; и не жалею здесь никого, кроме жертв; не люблю здесь никого, кроме тех, которых преследуют; никого не уважаю, кроме тех, кого казнят, и однако остаюсь. Я остаюсь страдать вдвойне — страдать от нашего горя и от горя, которое нахожу здесь, погибнуть, может быть, при всеобщем разгроме. Я остаюсь, потому что борьба здесь открытая, потому что она здесь гласная.

Горе побежденному здесь! Но он не погибает, прежде чем вымолвил слово, прежде чем испытал свои силы в бою, и именно за этот голос, за эту открытую борьбу, за эту гласность я остаюсь здесь».

Вот что я писал 1 марта 1849 года*. Дела с того времени сильно изменились. Привилегия быть выслушанным и открыто сражаться уменьшается с каждым днем; Европа с каждым днем становится все более похожей на Петербург; есть даже страны, более похожие на Петербург, чем сама Россия. Венгры знают это, — венгры, искавшие в безумии отчаяния защиты под русскими знаменами...

Если же и здесь дойдут до того, что заткнут нам рот и не позволят даже проклинать во всеулышание наших угнетателей, то я уеду в Америку. Я — человек и пожертвую всем ради человеческого достоинства и свободы слова.

Вероятно, вы последуете туда за мною?..

Лондон*, 25 августа 1849 г.



LETTRE D'UN RUSSE À MAZZINI

En vous remerciant de l'honneur que vous avez fait à ma lettre sur la Russie¹ en publiant la traduction dans *L'Italia del Popolo*, je vous prie de me permettre d'y ajouter quelques réflexions que me suggèrent les derniers événements. Je vous serais bien reconnaissant de leur donner place dans votre journal.

On parle d'une guerre entre la Russie et la Turquie. Le désir d'une rupture avec la Porte est évident chez l'empereur Nicolas; peu scrupuleux sur les moyens, il s'est contenté d'un prétexte privé de fondement et d'une révoltante inhumanité. Il est étonnant qu'un homme de l'habileté de M. Titof, jadis littérateur libéral de Moscou, n'ait pas trouvé un meilleur prétexte, au moins dans l'intérêt de sa réputation.

Chose étrange! L'empereur Nicolas, après un règne de 24 ans, se montre persécuteur aussi implacable qu'aux premiers jours de son avènement. Le monde commençait déjà à oublier les jours néfastes où régnait l'*ordre à Varsovie*; sa réputation devenait meilleure, comparée à la dépravation et à la sanguinaire barbarie des autres gouvernements. Dépassé dans sa férocité par les fusillades de Juin, par le sombre *delirium tremens* d'un de ses voisins et par la nymphomanie empoisonnée d'une de ses voisines qui a élevé un enfant, son fils, à remplir les fonctions de bourreau, l'empereur Nicolas était relégué au second rang de la tyrannie.

Or, voici qu'il se présente aux yeux du monde, jetant le grand

¹ C'est la lettre publiée dans l'édition hebdomadaire de la *Voix du Peuple*.

défi à la Turquie, sous prétexte que la Porte, se souvenant qu'elle n'est ni chrétienne, ni civilisée, refuse de livrer sept à huit cents héros qu'il veut fusiller.

En vérité, l'offense est grave; et entre amis on ne se refuse pas ces petits services!

Cet incident se terminera peut-être sans dégâiner; notre siècle impuissant et décrépît [semble quelquefois prendre une énergique résolution,] mais] retombe] aussitôt sans avoir rien fait. Ainsi la Révolution de Février fut] suivie d'un mouvement rétrograde qui nous reporte au delà de 1789.— Toutefois, la guerre entre la Porte et la Russie ne peut être que différée.

Byzance est le rêve constant de la Russie, le fanal que, depuis le X^e siècle, elle n'a jamais perdu de vue. Byzance est pour les barbares orientaux la Rome orientale. Le peuple russe l'appelle *Tsargrad*, la reine des cités, la cité des Césars. De là lui vient sa religion: Byzance l'a sauvé du catholicisme et du droit romain; Byzance, succombant sous les coups des Osmanlis, a transmis à la Russie son aigle à deux têtes, l'aigle du double empire, comme dot d'une Paléologue, devenue l'épouse du premier tzar moscovite. Pierre I^{er} et ses descendants n'ont pu dormir paisiblement; il leur fallait Constantinople. Les lambeaux sanglants de la Livonie, de l'Esthonie, de la Finlande, ceux enfin de la Pologne, ne les ont pas satisfaits. Le but de leurs désirs, leur utopie, leur idéal, c'est Constantinople. Catherine II donna le nom de Constantin à son second] fils. L'un des fils] de Nicolas, le grand-amiral, se nomme aussi Constantin.

Le moment de faire la guerre n'est pas mal choisi, et peut-être verrons-nous] l'aigle à deux têtes détacher son vol des glaces du nord et se reposer sur le croissant qui surmonte les coupoles chrétiennes de Sainte-Sophie. Stamboul tombera,] Byzance resurgira! Que les destins s'accomplissent!

Que signifie cet instinct, cette tendance éternelle et fatale qui pousse les Slavo-Russes vers Byzance, depuis les Varègues, depuis Oleg et Sviatoslaw qui allèrent clouer l'écusson de la barbarie et du paganisme sur les murailles de] la capitale de l'empire d'Orient, jusqu'à l'empereur Nicolas! Est-ce une inclination naturelle, une loi physiologique,] ou, si vous voulez, une fatalité?

Dans l'intérêt de l'empereur, je lui conseillerais cependant de ne pas s'aventurer dans cette guerre et d'y penser mûrement avant de l'entreprendre.

Vous croyez peut-être que je voudrais l'en détourner par la crainte que ses troupes ne soient battues? Non; l'armée russe sera victorieuse.

Vous croyez, peut-être, que l'Europe ne le permettrait pas? Non; l'Europe permettra tout.

Je sais très bien qu'une telle guerre fera beaucoup de bruit. On lancera des notes diplomatiques; on expédiera des diplomates notables. On fera faire une promenade militaire à quelque corps d'armée; une autre promenade aux flottes sur la mer. On profitera de ce prétexte pour faire voter des crédits supplémentaires. On prononcera dans les parlements de magnifiques discours qui renverseront les ministères. On fera des rassemblements dans les rues. On imprimera dans les journaux des articles fulminants et des appels au Peuple. On tentera des manifestations pacifiques qui donneront l'occasion aux amis de l'ordre de fusiller et déporter leurs ennemis. Puis, les ministres viendront déclarer que l'empereur de Russie a donné des explications franches et satisfaisantes; qu'il ne veut pas agrandir ses États; que la guerre contre la Turquie n'est dirigée que contre les doctrines perverses et subversives; qu'il s'agit seulement de frapper le Socialisme à Constantinople, — et le silence se fera. L'Europe a-t-elle empêché la Russie de dévorer la Pologne, de dévaster la Hongrie et de *protéger* la Moldavie et la Valachie?

Et qui prononcerait le *veto*?

La France, peut-être? La France, comme lady Macbeth, ne lavera pas sitôt les taches de sang sur ses mains fratricides. La France est trop coupable pour oser élever la voix contre l'iniquité d'autrui.

L'Angleterre, peut-être? Elle est forte, mais on traitera avec elle. On lui donnera l'Égypte. On pourrait lui donner Pétersbourg sans perdre à ce marché! En attendant, elle brûlera les vaisseaux de quelques négociants russes, elle stipulera un traité de commerce avec d'immenses avantages, et elle occupera provisoirement quelques îles qu'elle oubliera de restituer.

L'Autriche? Mais est-ce qu'il existe une Autriche? C'est

une réminiscence historique, une expression géographique, un cadavre qu'on n'a pas encore eu le temps d'ensevelir.

Serait-ce, par hasard, le pacha russe de Berlin? Mais ce gouvernement peut-il être autre chose que russe?

Et néanmoins je ne conseillerais pas à l'empereur Nicolas d'aller se chauffer au soleil qui respendit sur les rives du Bosphore. Il fait plus froid à Saint-Pétersbourg, mais il y fait plus sûr. Constantinople conquise, le sceptre de fer de Pierre I^{er} se rompra en voulant s'allonger jusqu'aux Dardanelles; Constantinople conquise, la dynastie des Romanoff devient impossible, inutile et n'a plus de signification.

La dynastie des Romanoff va se perdant depuis le réveil de la nationalité russe en 1812, depuis la maudite Sainte-Alliance, depuis la résurrection du sentiment politique en 1825. L'autorité impériale ne crée plus rien, a perdu toute initiative et ne fait que se maintenir, en réprimant tout mouvement, en s'opposant à tout progrès; son œuvre est toute négative.

La Russie, pleine de vie et de force, recule ou reste immobile. L'absolutisme, voulant absorber tout et craignant tout, entrave la marche de la Russie. C'est un pesant *sabot* attaché aux roues du char, lequel s'enfonce davantage à chaque pas et finira par arrêter la machine, la faire voler en pièces ou se briser lui-même.

Voyez l'attitude du gouvernement de Pétersbourg depuis le 24 Février. Avide d'agrandissements, ses yeux ne se détournent pas de la Galicie, du grand duché de Posen et des principautés danubiennes. Son inquiète avidité pèse les chances de s'approprier les Slaves autrichiens; et il n'ose! tant il craint d'inoculer la Révolution à la Russie, et de voir crouler, au premier mouvement, ce pesant et informe édifice de despotisme militaire et de bureaucratie germanique. Pierre I^{er} a bien trouvé le moyen de sortir de l'ornière de l'antique Russie; mais il n'a pas indiqué à ses successeurs le chemin pour sortir de la ténébreuse période de Pétersbourg.

Le *passé* lie et contraint le gouvernement russe. Le passé, lui, est toujours présent, vivant dans son sang et sa cervelle. Le passé jette l'inquiétude et la terreur dans le cœur et attriste la pensée; il existe comme souvenir et comme remords, et les remords sur le trône revêtent deux formes: la peur et la férocité.

Les fautes commises s'expient par des crimes et par l'apothéose du crime. Si un homme de génie, pour être révolutionnaire, s'est fait despote, son neveu écrit sur sa bannière: «*Autocrate*», comme si une forme de gouvernement, surtout l'absolutisme, pouvait être tout pour un Peuple.

Le monde slave ne demande que de s'asseoir en une fédération libre; la Russie est le monde slave organisé, c'est l'*Etat* slave. C'est à elle qu'appartient donc l'*hégémonie*, mais le tzar la repousse. Au lieu d'appeler à lui les Peuples, frères de son Peuple, il les dénonce; au lieu de se mettre à la tête du mouvement slave, il prête son bras et son or aux bourreaux des Slaves. Il craint tout mouvement, toute vie; il craint la nationalité, il craint la propagande, il craint l'armée qui ne voudra pas rentrer dans ses foyers et se révoltera... L'armée qui est vaillante mais non dévouée, qui ne fuit pas devant l'ennemi, mais déserte en temps de paix, qui est lasse de mauvais traitements et d'insupportables fatigues, et qui porte, elle, le désespoir d'une existence perdue!

Le soldat russe doit servir quinze et même dix-sept ans, et on veut par-là qu'il cesse d'être homme pour devenir l'instrument du gouvernement. Il commence pourtant à comprendre cette monstrueuse iniquité; il murmure, et le gouvernement contemple avec une triste anxiété l'attitude sombre et sinistre de ses régiments, sans savoir comment y porter remède. S'il diminue les cadres de l'armée, il ne pourra plus contenir le pays; s'il réduit l'exorbitante durée du service, et qu'il jette chaque année dans les campagnes une masse de jeunes gens experts au maniement des armes, les paysans se lèveront en masse; ce sera le signal d'une *Jacquerie*.

Et toutefois, vous savez que les paysans russes ne manquent pas de terre et possèdent une organisation communale qui rend impossible le prolétariat; pourquoi donc se lèveraient-ils en masse? Parce que les Romanoff, au lieu d'être les réformateurs, les civilisateurs, au lieu d'abolir l'humiliante servitude du paysan, l'ont étendue et consacrée; parce qu'eux-mêmes ont exercé et exercent encore le droit barbare du seigneur sur le paysan; parce qu'ils ont légalisé l'abus, généralisé ces mœurs cruelles, dans le but de captiver la noblesse et de s'appuyer sur quelque chose

dans la nation. Ils ont créé la noblesse en la prédestinant à la civilisation et à l'esclavage, et ils en ont eu raison en commençant à la corrompre.

Malheureux paysans russes, qu'a-t-on fait pour vous depuis le commencement du dix-huitième siècle? N'est-ce pas l'amie de Voltaire, Catherine II, la mère de la patrie, qui introduisit la servitude dans la Petite Russie, qui transforma en serfs les cosaques de l'Ukraine?

Les cosaques, malheureux soldats cultivateurs, sont devenus l'épouvante de l'Europe par une fatalité cruelle ou par un caprice ignorant, tandis que les armées permanentes, qui devraient être l'objet d'une terreur nullement imaginaire, restèrent cantonnées dans la Petite Russie pour protéger l'exécution de cette impériale démence. Catherine II dépouilla les couvents de la Russie centrale pour donner les communes, qui leur appartenaient, comme salaire à ses druides; et au milieu de si nobles soins, elle trouvait dans son esprit assez d'aménités, dans ses lettres à Ferney, pour plaisanter sur le compte du barbare cosaque Pougatcheff. Son fils, le maniaque couronné, récompensait, à la veille du XIX^e siècle, la servilité de ses courtisans, par le don de quelques milliers de paysans esclaves et achetait ainsi la prolongation de quelques jours d'existence.

Lorsque le gouvernement s'aperçut de toute l'iniquité, ou plutôt de toute la folie de cette politique spoliatrice à l'avantage d'une caste, il était trop tard pour y remédier. La noblesse ne voulut pas abandonner sa proie sans conquérir au moins les droits politiques. Détachée du Peuple et mise en opposition avec lui par l'œuvre du gouvernement, traînée dans la voie de la civilisation officielle, la noblesse était le plus ferme soutien au trône et de la famille impériale; et toutefois elle fut la première qui se détacha du gouvernement; et si, entre les deux, il y a encore un lien qui les unisse, c'est la domination qu'ils exercent, à profit commun, sur le paysan. Monstrueuse complicité! Le gouvernement s'en aperçut et s'indigna de l'ingratitude de la noblesse; il avait cru pouvoir jouer avec la civilisation, mais il oubliait que le dernier mot de la civilisation s'appelle *Révolution!*

Alors le gouvernement commença une lutte sourde contre les lois de la noblesse; il les mine en semblant les consolider;

il a l'intention d'émanciper les communautés seigneuriales et n'ose pas se mettre à l'œuvre, et il punit, avec une sévérité presque égale à celle, montrée naguère à Céphalonie par les Anglais, tout mouvement populaire vers l'émancipation. Le gouvernement hésite entre la peur d'une Jacquerie et le péril d'une révolution; il recommande l'émancipation à la noblesse (manifeste du 12 avril 1842), et il impose aux paysans l'obéissance muette et passive; il désire l'affranchissement des communautés seigneuriales et rend esclaves du domaine impérial les communautés affranchies.

Confusion et chaos! Le gouvernement russe, défiant et irrésolu, plus brutal que ferme, entouré d'une bureaucratie vénale et perfide, trompé par ses deux polices, vendu par ses amis, se trouve dans une voie sans issue. Despotisme limité par la concussion, il désire quelquefois alléger les maux du Peuple et ne peut y réussir; il voudrait quelquefois arrêter le pillage organisé; mais le pillage est plus fort que le gouvernement. Triste, bilieux, endurci, il n'a d'appui solide et immuable que l'armée. Et si, par hasard, l'armée n'était pas aussi *immuable* qu'il le croit?..

La physiologie de l'histoire, la théologie naturelle organique nous enseigne que le plus détestable gouvernement peut durer quand il a encore quelque chose à faire; mais tout gouvernement est près de sa fin, quand il ne peut plus rien faire ou ne fait plus rien que le mal; quand tout ce qui est progrès se change en péril pour lui; quand il a peur de tout mouvement. Le mouvement, c'est la vie; le craindre, c'est être à l'agonie. Un semblable gouvernement est absurde; il doit périr.

Quand l'aigle impériale sera revenue dans son antique patrie, elle ne réparaitra plus en Russie. La prise de Constantinople serait le commencement d'une nouvelle Russie, d'une fédération slave *démocratique et sociale*.

Salut fraternel.

Londres, 20 novembre 1849



ПИСЬМО РУССКОГО К МАЦЦИНИ

Принося вам благодарность за честь, которую вы оказали моему письму о России¹, опубликовав его перевод в «Italia del Popolo»*, прошу вас разрешить мне прибавить к нему некоторые размышления, навеянные последними событиями. Я был бы вам очень признателен, если б вы предоставили им место в своей газете.

Говорят о войне между Россией и Турцией. Совершенно очевидно желание императора Николая порвать отношения с Портой; мало разборчивый в средствах, он удовлетворился предложением, лишенным всякого основания и возмутительно бесчеловечным. Удивительно, что такой искусный человек, как г. Титов, некогда московский либеральный литератор, не нашел лучшего предлога, хотя бы в интересах своей собственной репутации.

Странная вещь! Император Николай, после 24-летнего царствования, выступает столь же неумолимым притеснителем, как и в первые дни по воцарении. Мир начинал уже забывать злополучные дни, когда в *Варшаве* царил *порядок*; его репутация становилась лучше при сравнении с развращенностью и кровавым варварством других правительств. Превзойденный в жестокости июньскими расстрелами*, мрачным *delirium tremens*² своего соседа*, а также извращенной нимфоманией своей соседки*, которая воспитала ребенка, своего сына, для исполнения обязанностей палача, император Николай был оттеснен во вторые ряды тирании.

¹ Это письмо, опубликованное в еженедельном прибавлении к «La Voix du Peuple»*.

² белой горячкой (лат.). — *Ред.*

Но вот он предстает перед всем миром, бросая решительный вызов Турции, под предлогом, что Порты, памятуя, что она не является ни христианской, ни цивилизованной, отказывается выдать семьсот-восемьсот героев, которых ему хочется расстрелять*.

И в самом деле — это оскорбление серьезное, и приятелям не следовало бы отказывать друг другу в подобных мелких услугах!

Этот инцидент закончится, быть может, без обнажения мечей: наш помпезный и дряхлый век как будто принимает иногда энергичное решение, но тотчас же пикнет, ничего не совершив. Так за Февральской революцией последовало ретроградное движение, которое отнесло нас за 1789 год. — Тем не менее война между Портой и Россией может быть лишь отсрочена.

Византия — извечная мечта России, светоч, который еще с X века она никогда не теряла из виду. Византия для восточных варваров — это восточный Рим. Русский народ называет ее *Царьградом*, царицей городов, городом кесарей. Оттуда пришла его религия: Византия спасла его от католицизма и римского права; Византия, погибая под ударами османов, передала России своего двуглавого орла, орла двойной империи, как приданое одной из Палеологов, ставшей супругой первого московского царя. Петр I и его преемники не могли спать спокойно, им нужен был Константинополь. Окровавленные ключья Ливонии, Эстонии, Финляндии и, наконец, Польши не удовлетворили их. Целью их стремлений, их утопией, их идеалом является Константинополь. Екатерина II дала имя Константина своему второму сыну*. Одного из сыновей Николая, генерал-адмирала, также зовут Константином.

Время для ведения войны выбрано неплохо, и, быть может, мы увидим, как двуглавый орел, покинув северные льдины, воссядет на полумесяц, венчающий христианские куполы Святой Софии*. Стамбул падет, Византия возродится! Да свершится судьба!

Что же означает этот инстинкт, это вечное и роковое стремление славянороссов к Византии, начиная с варягов, начиная с Олега и Святослава, отправившихся прибить щит варварства и

язычества к стенам Восточной империи, и вплоть до императора Николая? Природный ли это инстинкт, физиологический закон или, если хотите, предопределение?

В интересах императора я посоветовал бы ему однако не решаться на эту войну и зрело поразмыслить, прежде чем предпринять ее.

Вы воображаете, быть может, что я хотел бы отвести его от войны, пугая тем, что его войска будут разбиты? Нет, русская армия одержит победу.

Вы воображаете, быть может, что Европа не допустит этого? Вовсе нет; Европа допустит всё.

Я знаю очень хорошо, что подобная война вызовет много шума. Разошлют дипломатические ноты; командируют видных дипломатов; отправят какой-нибудь армейский корпус на маневры; на другие маневры пошлют морской флот. Этим предложением воспользуются, чтобы вотировать дополнительные кредиты. В парламентах произнесут великолепные речи, которые опрокинут министерства. На улицах будут устраивать собрания. В газетах напечатают громовые статьи и воззвания к народу. Испробуют мирные манифестации, которые дадут возможность сторонникам порядка расстрелять и сослать своих врагов. Потом министры объявят, что русский император представил чистосердечные и удовлетворительные объяснения; что он не намерен расширять свои владения; что война с Турцией направлена только против пагубных и разрушительных учений; что вопрос идет лишь о нанесении удара социализму в Константинополе, — и воцарится тишина. Помешала ли Европа России поглотить Польшу, опустошить Венгрию и *покровительствовать* Молдавии и Валахии?

И кто мог бы произнести это вето?

Франция, быть может? Франция, как леди Макбет, не так-то скоро смывает кровавые пятна со своих братоубийственных рук. Франция слишком виновна, чтоб осмелиться поднять голос против чужого беззакония*.

Англия, быть может? Она сильна, но с ней договорятся. Ей отдадут Египет. Ей можно было бы отдать Петербург, не потерпев убытка на этой сделке! Между тем, она сожжет корабли, принадлежащие каким-нибудь русским купцам,

заключит с огромными выгодами торговый договор и займет на время несколько островов, которые позабудет возвратить.

Австрия? Но разве существует Австрия? Это историческая реминисценция, географическое понятие, труп, который еще не успели похоронить.

Не сделает ли это случайно русский паша в Берлине?* Но может ли это правительство быть чем-нибудь иным, как не русским?

И тем не менее я не советовал бы императору Николаю ехать греться на солнышке, сияющем над берегами Босфора. В Петербурге холодней, но там безопаснее. В случае завоевания Константинополя железный скипетр Петра I переломится при попытке растянуться до Дарданелл; в случае завоевания Константинополя династия Романовых становится невозможной, бесполезной и теряет всякое значение.

Династия Романовых начинает клониться к гибели со времени пробуждения русской народности в 1812 году, со времени проклятого Священного союза, со времени подъема политического сознания в 1825 году. Императорская власть больше ничего не создает, она потеряла всякую инициативу и силится лишь удержаться, подавляя всякое движение, противодействуя всякому прогрессу; ее дело имеет чисто отрицательный характер.

Россия, полная жизни и сил, отступает или стоит неподвижно. Абсолютизм, желая все поглотить и всего боясь, стесняет движение России. Это тяжелый, прикрепленный к колесам повозки *тормоз*, давление которого увеличивается с каждым шагом и который в конце концов остановит машину, разобьет ее вдребезги или разобьется сам.

Посмотрите на поведение петербургского правительства после 24 февраля. Алчно помышляя об увеличении своей территории, оно не сводит глаз с Галиции, с великого герцогства Познанского и с дунайских княжеств. С беспокойной жадностью оно взвешивает шансы на овладение австрийскими славянами; но у него не хватает решимости!—так оно боится привить революцию России и увидеть, как рушится, при первом же движении, это тяжелое и бесформенное здание военного деспотизма и немецкой бюрократии. Петр I нашел хорошее

средство покинуть колею старой России; но он не указал своим преемникам пути, по которому можно было бы покинуть сумрачный петербургский период.

Прошедшее связывает и стесняет русское правительство. Оно, прошедшее, всегда с ним, живя в его крови и мозгу. Прошедшее вселяет в сердце беспокойство и ужас и омрачает мысль; оно существует как воспоминание и как угрызения совести, а угрызения совести на троне выражаются в двух формах: в страхе и в жестокости. Совершенные ошибки искупаются преступлениями и апофеозом преступления. Если гениальный человек *, чтобы стать революционером, сделался деспотом, то его племянник пишет на своем знамени «Самодержец», как будто форма правления, особенно абсолютизм, может быть всем для народа.

Славянский мир ничего другого не желает, как объединения в свободную федерацию; Россия — это организованный славянский мир, это славянское *государство*. Именно ей должна принадлежать *гегемония*, но царь отталкивает ее. Вместо того чтобы призвать к себе народы, являющиеся братьями его народа, он предает их; вместо того чтобы стать во главе славянского движения, он предоставляет помощь и золото палачам славян. Он боится всякого движения, всякой жизни; он боится национального сознания, он боится пропаганды, он боится армии, которая не захочет возвратиться к своим очагам и взбунтуется... армии, которая отважна, но не преданна, которая не бежит от противника, но дезертирует в мирное время, которая устала от дурного обращения и невыносимых тягот и несет в себе отчаяние погубленного существования!

Русский солдат вынужден служить пятнадцать и даже семнадцать лет, и этим хотят добиться того, чтоб он перестал быть человеком, сделался орудием в руках правительства. Он начинает однако понимать эту чудовищную несправедливость; он ропщет, и правительство глядит с унылым беспокойством на мрачное и злое настроение своих полков, не зная, как поправить дело. Если оно уменьшит численность армии, оно не сможет более удержать страну; если оно сократит непомерный срок службы и будет отправлять ежегодно в деревню множество молодых людей, владеющих оружием,

крестьяне подымутся сплошной массой; это будет сигналом к *Жакерии*.

А между тем, как вы знаете, русские крестьяне не имеют недостатка в земле и обладают общинной организацией, делающей невозможным существование пролетариата; почему же восстанут они сплошной массой? Потому что Романовы, вместо того чтобы быть реформаторами, цивилизаторами, вместо того чтоб отменить унижительное крепостное состояние крестьянства, расширили и освятили его; потому что они сами пользовались и пользуются еще варварским правом помещика над крестьянином; потому что они узаконили злоупотребления распространили жестокие права, чтобы привлечь к себе дворян и приобрести хоть какую-либо опору в нации. Они создали дворянство, предназначая его для цивилизации и рабства, и, начав его подкупать, привели его к повиновению.

Несчастные русские крестьяне, что было сделано для вас с начала восемнадцатого века? Не друг ли Вольтера, Екатерина II, мать отечества, ввела в Малороссии крепостное право, обратив в рабов украинских казаков?

Казаки, несчастные солдаты-землепашцы, 'волей злого рока или невежественной прихоти, сделались пугалом для Европы, в то время как постоянные армии, которые должны были бы служить предметом ужаса, отнюдь не мнимого, оставались размещенными в Малороссии, чтоб обеспечить выполнение этого императорского безумства. Екатерина II ограбила монастыри центральной России, чтобы раздать принадлежавшие им общины в награду своим друидам; и среди столь благородных забот она находила в себе достаточно игривости, чтобы в своих письмах в Ферней вышучивать казака-варвара Пугачева. Ее сын, коронованный маньяк, накануне XIX века, награждал рабление своих придворных, даря их тысячами крепостных, и покупал таким образом возможность продлить еще на несколько дней свое существование.

Когда правительство заметило всю несправедливость или, вернее, все безумие этой грабительской политики в пользу одной касты, — было уже слишком поздно. Дворянство не захотело отказаться от своей добычи, не завоевав по крайней мере политических прав. Оторванное от народа и действиями

правительства поставленное в оппозицию к нему, вовлекаемое на путь официальной цивилизации, дворянство сделалось самой прочной опорой трона и императорской фамилии; и все же оно первое оторвалось от правительства; и если между ними еще сохраняется связующая нить, то это власть, осуществляемая ими, с обоюдной выгодой, над крестьянами. Чудовищное сообщничество! Правительство заметило это и вознегодовало на неблагодарность дворянства; оно полагало, что сможет играть с цивилизацией, но забыло, что последнее слово цивилизации называется *революцией!*

Тогда правительство повело глухую войну против законов о дворянстве; оно подрывает их, делая вид, будто укрепляет; оно намерено раскрепостить общины помещичьих крестьян и не смеет приняться за это дело, и оно карает всякое народное освободительное движение с жестокостью, почти равной той, которую проявили недавно в Кефалонии англичане*. Правительство колеблется между страхом перед Жакерией и опасностью революции; оно рекомендует дворянам освобождение крестьян (манифест от 12 апреля 1842 года) и предписывает крестьянам немое и пассивное послушание; оно желает освобождения общин помещичьих крестьян и обращает освобожденные общины в рабов ведомства государственных имуществ.

Смятение и хаос! Русское правительство, недоверчивое и нерешительное, более грубое, чем твердое, окруженное продажной и вероломной бюрократией, обманутое обеими своими полициями, проданное друзьями, находится в безвыходном положении. Представляя собой деспотизм, ограниченный лихоимством, оно иногда желает облегчить тягости народные, но это ему не удастся; оно иногда хотело бы приостановить организованный грабеж, но грабеж сильнее, чем правительство. Унылое, желчное, ожесточенное, оно имеет прочную и неизбежную поддержку лишь в армии. А что, если вдруг и армия окажется не столь *непоколебима*, как оно это себе представляет?

Физиология истории, естественная органическая телеология учит нас, что самое ненавистное правительство может существовать, пока ему есть еще что делать, но всякому правительству приходит конец, когда оно уже не в состоянии ничего делать или делает одно лишь зло, когда все, что является

прогрессом, превращается для него в опасность, когда оно боится всякого движения. Движение — это жизнь; бояться его значит находиться в агонии. Подобное правительство нелепо; оно должно погибнуть.

Когда императорский орел возвратится на свою древнюю родину, он уже более не появится в России. Взятие Константинополя явилось бы началом новой России, началом славянской федерации, демократической и социальной.

Братский привет.

Лондон*, 20 ноября 1849 г.



◊ ○ ◊

〈CHARLOTTE CORDAY〉

THÉÂTRE DE LA RÉPUBLIQUE: Première représentation de *Charlotte Corday*, drame en vers, en cinq actes et en huit tableaux; par M. Ponsard. — Coup d'œil général.

Il n'appartient vraiment qu'aux races dégradées
D'avoir lâchement peur des faits et des idées.

P o n s a r d. Prologue de *Charlotte Corday*

C'est une pensée bien sombre qui a dicté ces vers au poète! Comment! S'excuser, devant un public parisien, d'avoir eu assez d'audace pour ressusciter un épisode de cette épopée immense qui s'appelle la Révolution française... universelle, voulais-je dire... Oui! C'est de l'audace, mais dans un sens tout à fait opposé à celui où l'entend le prologue.

La Révolution française! Mais savez-vous bien que l'humanité se repose des siècles, après avoir enfanté une pareille époque? Les faits et les hommes de ces journées solennelles de l'histoire restent comme des phares destinés à éclairer la route de l'humanité; ils accompagnent l'homme de génération en génération, lui servant de guide, d'exemple, de conseil, de consolation, le soutenant dans l'adversité, et plus encore dans le bonheur.

Il n'y a que les héros homériques, les grands hommes de l'antiquité et les individualités pures et sublimes des premiers siècles de la chrétienté qui puissent partager un tel droit avec les héros de la Révolution.

Nous avons presque oublié les événements du dernier demi-siècle; mais les souvenirs de la Révolution sont vivants dans notre mémoire. Nous lisons, nous relisons les annales de ces temps, et l'intérêt pour nous s'accroît à chaque lecture. Tel est le magné-

tisme de la force, qu'elle l'exerce du fond d'un tombeau, en passant par les générations débiles, qui disparaissent, dit Dante, «comme la fumée, sans aucune trace».

La lutte de ces Titans était ardente, acharnée; des souvenirs terribles se dressent dans notre imagination chaque fois que nous pensons à eux, et pourtant la vérité de cette lutte retrempe et relève l'âme.

L'orage aussi est terrible, mais qui donc lui dispute son caractère de beauté sublime? N'allez pas dans une faible nacelle admirer la grandeur du spectacle d'une mer déchaînée, vous seriez engloutis près du bord. De même, en évoquant ces temps héroïques et lugubres n'apportez pas pour les juger un petit code morale bon pour tous les jours, insuffisant pour ces cataclysmes, qui épurent l'air au milieu de la foudre, qui créent au milieu des ruines. Les époques ne suivent point les préceptes d'une moralité quelconque, ils en décrètent une nouvelle.

C'est ce que le poète a compris parfaitement. Sa pièce le prouve. Mais alors, pourquoi ce doute au début? Pourquoi a-t-il voulu s'excuser?

Pourtant, peut-être il avait raison!.. M. Ponsard a soulevé avec noblesse et désintéressement la pierre de cette tombe récente. Il a dédaigné le moyen trop facile d'agir sur le public par des allusions. Il n'a pas voulu fausser le passé et profaner les morts, en s'en servant comme des masques pour les questions du jour. Si la pièce est un peu froide, si elle ne renferme point une action véritablement dramatique, il faut rechercher la cause de tous ces manquements ailleurs que dans la politique. La politique n'y entre pour rien, nous pensons que le choix même de l'héroïne a contribué à cette froideur et à cette absence d'action. Mais nous nous réservons de parler plus au long de la pièce de M. Ponsard dans un des articles prochains. C'est une œuvre trop sérieuse pour qu'on ait le droit de la juger à la hâte, après une seule représentation. Pour le moment nous avons voulu nous tenir dans les généralités.

Eh bien! Nous le répétons, nous savons gré à l'auteur d'avoir traité son sujet *objectivement*, comme disent les Allemands. Ne cherchez dans la pièce de M. Ponsard ni anathème contre Marat, ni apologie pour Charlotte Corday. Non, l'auteur s'est placé

à un point de vue plus poétique et plus élevé, il a voulu vivre, sentir et penser dans la peau de ses héros.

Comment vivre dans la peau de Marat, cet ogre révolutionnaire qu'on montre aux petits enfants à cheveux blancs, pour les rejeter dans la réaction? Et il le fallait pourtant

Remarquez que toute l'immensité du génie de Shakespeare repose sur cette nature de Protée: Shakespeare ne raconte pas, n'accuse pas; il ne distribue pas de prix Monthyon, mais il est lui-même Shylock, Iago; il est à la fois et Falstaff et Hamlet. Le poète n'est pas un juge d'instruction, ni un procureur du roi; il n'accuse pas, il ne dénonce pas, surtout dans un drame. Encore une fois le poète vit de la vie de ses héros; il tâche de comprendre et de dire ce qui est humain même dans le crime. Que le poète tâche d'être vrai, et les faits feront plus de morale que les sentences et les maximes. Il faut avoir quelque confiance dans la nature humaine et dans notre intelligence.

Nous louons l'auteur d'avoir eu le soin de ne pas rappeler de la tombe Marat pour lui faire jouer le rôle d'un chacal enragé, — de cet homme-loup, dépeint par la tante de Charlotte, de ce maniaque sanguinaire dépeint par Barbaroux. Non, Marat est représenté, comme nous le connaissons, aigri, maladif, atrabilaire, fanatique, soupçonneux, le grand inquisiteur de la Révolution, «le Lazare maudit qui a souffert avec le Peuple et qui a épousé sa haine, sa vengeance!»

C'est bien dommage que l'auteur ait dévié de cette route dans la dernière scène, où Danton et Charlotte Corday mettent, pour ainsi dire, les points sur les i. Quelle froideur dans cette scène! Qu'elle est peu naturelle! Qu'elle est longue! La pièce pouvait très bien finir par la réponse de Danton à Charlotte, questionné sur l'effet produit par la mort de Marat: «Vous avez préparé son apothéose!» Le spectateur aurait pu achever l'ironie en pensant que, de l'autre côté, la fin tragique de Marat, à son tour, avait élevé le piedestal d'une autre divinité — Charlotte Corday, pauvre fille enthousiaste! Elle était atteinte de cette fièvre générale, qui embrasait à cette époque ardente le sang de tous les hommes, le sang de Marat comme le sien. Elle s'est dévouée au crime comme Karl Sand, sans avoir pour excuse dix-neuf ans et une obéissance aveugle. On en a fait un «ange

de l'assassinat», lorsqu'elle n'était qu'une sombre fanatique. Sa haine contre Marat est une monomanie. Pourquoi veut-elle le tuer, lui et non Robespierre, qui était plus dangereux pour ses amis, les girondins. Une monomanie ne peut intéresser que sous le point de vue pathologique.

Le peu d'intérêt véritable qui s'attachait à la personne de Charlotte Corday a beaucoup influé sur la pièce. Un assassin peut très bien être le héros d'une tragédie, mais pour cela il faut qu'il ait été encore quelque *autre chose*. L'existence de Charlotte Corday n'a été intéressante qu'un seul instant: c'est celui où elle a plongé le fer dans la poitrine d'un homme qu'elle connaissait à peine.— Et encore un autre, lorsque sa jeune tête tomba sous la hâche.

L'auteur a créé une Charlotte, une Charlotte qui parle beaucoup et comme un livre. On ne commence à s'intéresser à elle que lorsqu'elle entre dans la chambre de Marat; et pourtant on frissonne à la pensée que là, derrière ce rideau, se commet un crime.

Il y avait même quelque chose de pénible dans ces bouquets qui sont tombés aux pieds de M-lle Judith au moment où elle sortait couverte de sang. M-lle Judith a certainement mérité ces bouquets. Dieu nous garde de penser que ce n'est pas à l'artiste, mais à l'acte même que s'adressaient ces marques de sympathie, mais elles auraient été certainement mieux placées au dernier acte.

Nous réservons tous les détails pour un second article. En parlant de la pièce de M. Ponsard, nous ferons connaître à nos lecteurs une tragédie pleine de grandes beautés qui a paru il y a cinq ou six ans en Allemagne, intitulée *Dantons Tod* et complètement inconnue en France. L'auteur, jeune poète, Buckner, est mort quelques mois après avoir écrit ce poème.

Le talent avec lequel les artistes ont ressuscité les hommes qu'ils représentaient, ne laisse rien à désirer. Geoffroy a été terrible de vérité; il a été encore plus vrai si c'est possible que ses collègues qui représentaient Danton et Robespierre avec une connaissance profonde de ces grandes figures de l'histoire.



〈ШАРЛОТТА КОРДЕ〉

ТЕАТР РЕСПУБЛИКИ: первое представление «Шарлотты Корде», драмы в стихах, в пяти действиях и восьми картинах; соч. г. Понсара. — Общий взгляд.

Да! Свойственна лишь жалким поколениям
Позорная боязнь событий и идей.

(Понсар. Пролог к «Шарлотте Корде»)

Что за мрачная мысль подсказала поэту эти стихи! Как! Просить извинения, у парижской публики, за то, что у тебя нашлось достаточно смелости воскресить эпизод из великой эпохи, называемой Французской (всеобщей, хотел я сказать) революцией... Да! Это смелость, но смелость совершенно иного рода, чем та, которая подразумевается прологом.

Французская революция! Да знаете ли вы, что, породив такую эпоху, человечество отдыхает целые столетия? Дела и люди этих торжественных дней истории остаются подобно маякам, предназначенным освещать дорогу человечеству: они сопровождают человека из поколения в поколение, служа ему наставлением, примером, советом, утешением, поддерживая его в бедствиях и еще более в счастье.

Одни лишь гомеровские герои, великие люди древности да чистые и прекрасные личности первых веков христианства достойны разделить это право с героями Революции.

Мы почти позабыли события минувшей половины века, но воспоминания о Революции живут в нашей памяти. Мы читаем, мы перечитываем летописи тех времен, и интерес наш к ним все возрастает при каждом чтении. Таков магнетизм силы Революции, которая и из глубины могилы влияет на хилые поколения, исчезающие, как говорил Данте, «подобно дыму, не оставляя никакого следа»*.

Борьба этих Титанов была неистовой, ожесточенной: всякий раз, когда мы о них думаем, страшные воспоминания возникают в нашем воображении, и тем не менее справедливость этой борьбы закаляет и возвышает душу.

И буря страшна, но кто же станет оспаривать свойственную ей величественную красоту? Не выезжайте на утлом челне любоваться грозным зрелищем разбушевавшегося моря — вас поглотит пучина у самого берега*. Точно так же, вызывая в памяти эти героические и мрачные времена, не пользуйтесь, чтобы судить о них, маленьким кодексом будничной морали, совершенно недостаточным для этих катаклизмов, очищающих воздух во время грозы, созидающих среди развалин. Подобные эпохи не следуют предписаниям какой-либо морали — они сами предписывают новую мораль.

Поэт это превосходно понял. Доказательство тому — его пьеса. Но, в таком случае, что значит это сомнение, высказанное в самом ее начале? Что заставило поэта прибегнуть к самооправданиям?

Быть может, он все-таки был прав!.. Г-н Понсар, сохраняя благородство и беспристрастие, приподнял камень над свежей могилой. Он пренебрег слишком легким средством воздействия на публику при помощи намеков. Он не захотел исказить прошлое и совершать надругательство над мертвыми, пользуясь ими как масками для решения современных вопросов. Если пьеса его несколько холодна, если в ней не заключается подлинно драматического действия, то причину этих недостатков следует искать в чем угодно, но только не в политике. Политика ее вовсе не коснулась; мы боимся даже, что самый выбор героини еще более способствовал холодности пьесы и отсутствию действия. Но мы позволим себе поговорить о пьесе г. Понсара подробнее в одной из будущих статей*. Это слишком серьезное произведение, чтоб иметь право вынести о нем поспешное суждение после одного лишь представления. Пока же нам хотелось бы придерживаться только общих положений.

Итак, повторяем, мы очень благодарны автору за то, что он трактует свой предмет *объективно*, как говорят немцы. Не ищите в пьесе Понсара ни проклятий Марату, ни вос-

хваления Шарлотты Корде. Нет, автор стал на более поэтическую и более возвышенную точку зрения, ему захотелось жить, чувствовать и думать, воплотившись в своих героев.

Как же жить, воплотившись в Марата, этого революционера-людоеда, которого показывают седовласым детям, чтобы толкнуть их в лоно реакции? И все же это было необходимо.

Заметьте, что вся необъятность гения Шекспира заключена в его натуре Протея: Шекспир не рассказывает, не обвиняет; он не распределяет Монтиоповских премий, но сам является Шейлоком, Яго; он одновременно и Фальстаф и Гамлет. Поэт вовсе не судебный следователь, не королевский прокурор; он не обвиняет, он не обличает, особенно — в драме. Повторяем, поэт живет жизнью своих героев; он старается понять, объяснить все, что есть человеческого даже в преступлении. Пусть поэт старается быть правдивым, а факты сами представят больше нравственных выводов, чем все сентенции и афоризмы. Надобно питать некоторое доверие к человеческой природе и к нашему уму.

Мы одобряем автора, который счел нужным вызвать Марата из могилы не для того, чтобы заставить его играть роль бешеного шакала, человека-волка, описанного теткой Шарлотты*, кровожадного маньяка, описанного Барбару*. Нет, Марат изображен таким, каким мы его знаем*, — раздражительным, болезненным, желчным, фанатичным, подозрительным, великим инквизитором революции, «проклятым Лазарем, страдавшим с народом и проникшимся его ненавистью, его мстью!»

Как жаль, что автор отклонился от этого пути в последней сцене, в которой Дантон и Шарлотта Корде ставят, если позволено так выразиться, точки над *i*. Как холодна эта сцена! Как мало в ней естественности! Как она длинна! Пьесу можно было бы превосходно завершить словами Дантона, который на вопрос Шарлотты о впечатлении, произведенном смертью Марата, ответил: «Вы подготовили ему апофеоз!» Зритель мог бы развить этот иронический ответ, сознавая, что трагическая гибель Марата, в свою очередь, послужила пьедесталом другому божеству — Шарлотте Корде, бедной восторженной девушке! Она была охвачена общей лихорадкой, воспламенявшей в ту страстную эпоху кровь всех людей,

кровь Марата, как и кровь Шарлотты. Как и Карл Занд, она обрекла себя на преступление даже без такого оправдания, как девятнадцать лет и слепое повиновение. Ее превратили в «ангела убийства», тогда как она была только мрачной фанатичкой. Ее ненависть к Марату — мономания. Почему хочет она убить его, — именно его, а не Робеспьера, более опасного для ее друзей, жирондистов? Мономания может возбуждать интерес лишь с точки зрения патологической.

Незначительность подлинного интереса, возбуждаемого личностью Шарлотты Корде, оказала сильное воздействие на пьесу. Убийца вполне может стать героем трагедии, но он должен быть при этом и еще *чем-нибудь*. Одно лишь мгновение в жизни Шарлотты Корде представляло интерес: когда она вонзала кинжал в грудь человека, которого едва знала. И еще одно — когда ее юная голова пала под топором.

Автор создал Шарлотту, такую Шарлотту, которая много говорит, и говорит, как книга. Ею начинаешь интересоваться лишь тогда, когда она входит в комнату Марата; и все же трепет охватывает при мысли, что там, за занавесом, совершается преступление.

Было даже что-то неприятное в этих букетах, падавших к ногам м-ль Юдифь в ту минуту, когда она выходила, покрытая кровью. М-ль Юдифь без сомнения заслужила эти букеты. Избави нас бог от мысли, что не артистка, а само представление вызвало эти знаки одобрения, но они, тем не менее, были бы, конечно, более уместны в последнем акте.

Мы оставляем все подробности для второй статьи. Говоря о пьесе г. Шонсара, мы познакомим наших читателей с трагедией, исполненной великих красот*, которая появилась пять или шесть лет тому назад в Германии; она озаглавлена «Dantons Tod» и совершенно неизвестна во Франции. Автор, молодой поэт Бюхнер, умер через несколько месяцев после того, как написал эту поэму.

Талантливость, с которой артисты вокресили изображаемых ими людей, не оставляет желать ничего лучшего. Жоффруа был ужасающе верен истине; он был еще более верен истине, если это только возможно, чем его коллеги, игравшие Дантона и Робеспьера с глубоким постижением характера этих великих исторических личностей.



ДОЛГ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

ПОВЕСТЬ



«Я считал бы себя преступным, если б не исполнил и в сей настоящий год *священного долга* моего и не принсс бы Вашему превосходительству наусерднейшего поздравления с наступающим высокотожественным праздником».

ЗА ВОРОТАМИ

Сыну Михайла Степановича Столыгина было лет четырнадцать... но с этого начать невозможно; для того, чтоб принять участие в сыне, надобно узнать отца, надобно сколько-нибудь узнать почтенное и доблестное семейство Столыгиных. Мне даже хотелось бы основательно познакомить читателей моих с ним, но не знаю, как лучше приняться.

Мне приходило в голову начать с исторических преданий их знаменитого рода. Я хотел слегка упомянуть, как Трифон Столыгин успел в две недели три раза присягнуть, раз Владиславу, раз Тушинскому вору, раз не помню кому*, — и всем изменил; я хотел описать их богатые достояния, их села, в которых церкви были пышно украшены благочестивыми и смиренными приношениями помещиков, повидимому, не столь смиренных в светских отношениях, что доказывали полуразвалившиеся, кривые, худо крытые и подпертые шестью избы; но, боясь утомить внимание ваше, я скромно решаюсь начать не дальше как за воротами большого московского дома Михайла Степановича Столыгина, что на Яузе. Ограда около дома каменная, ворота толстого дерева, с одной стороны калитка истинная, с другой ложная, для симметрии, в ней вставлена доска, на доске сидит обтерханный старик, повидимому, нищий.

Старик этот, впрочем, не был нищий, а дворник Михайла Степановича.

Пятьдесят второй год пошел с тех пор, как красивый русский юноша Ефимка вышел в первый раз за эти ворота с метлою в руках и горькими слезами на глазах. Дядя Михайла Степановича, объезжая свои поместья, привез его из Симбирска, не потому, что ему особенно нужен был мальчик, а так, ему понравился добрый вид Ефимки, он и решился устроить его судьбу. Устроил он ее прочно, как видите. Ефимка мел юношей, мел с пробивающимся усом, мел с обкладистой бородой, мел с проседью, мел совсем седой и теперь метет с пожелтевшей бородой, с ногами, которые подгибаются, с глазами, которые плохо видят. Одно сберег он от юности — название Ефимки; впрочем, страннее этого патриархального названия было то, что он действительно не развился в Ефимы. По мере того как он свыкался с своей одинокой жизнью, по мере того как страсть к двору и к улице у него делалась сильнее и доходила до того, что он вставал раза два, три ночью и осматривал двор с пытливым любопытством собаки, несмотря на то, что ворота были заперты и две настоящих собаки спущены с цепи, — в нем пропадала и живость и развязность, круг его понятий становился уже и уже, мысли смутнее, тусклее. Раз, лет за двадцать до нашего рассказа, ему взошла в голову дурь — жениться на кучеровой дочери; она была и не прочь, но барин сказал, что это вздор, что он с ума сошел, с какой стати ему жениться, — тем дело и кончилось. Ефимка потосковал, никому не говорил о том ни слова и стал попивать. К старости он сделался кротким, тихим зверем, страдавшим от холода и от боли в пояснице, веселившимся от сивухи и нюхательного табаку, который ему поставлял соседний лавочник за то, чтоб он мел улицу перед лавочкой. Других сильных страстей у него не было, если мы не примем за страсть его безусловной послушливости всем, кто хотел приказывать, и безграничного страха перед Михайлом Степановичем.

Нельзя сказать, чтобы сношения Ефимки с Михайлом Степановичем были особенно часты или важны; они ограничивались строгими выговорами, сопряженными с сильными угрозами, за то, что мостовая портится, за то, что тротуарные столбы

гниют, за то, что за них зацепляются телеги и сани; Ефимка чувствовал свою вину и со вздохом поминал то блаженное время, когда улиц не мостили и тротуаров не чинили по очень простой причине, — потому что их не было.

Сношение другого рода, более приятное и торжественное, повторялось всякий год один раз. В Светлое воскресение вся дворня приходила христосоваться с бариним. Причем Михайло Степанович, обыкновенно угрюмый и раздраженный, менял гнев на милость и дарил своих слуг ласковым словом — отчасти в предупреждение других подарков. «А помнишь, — говорил ежегодно Михайло Степанович Ефимке, обтирая губы после христосованья, — помнишь, как ты меня возил на салазках и делал снеговую гору?» Сердце прыгало от радости у старика при этих словах, и он торопился отвечать: «Как же, батюшка, кормилец ты наш, мне-то не помнить, оно ведь еще при покойном дядюшке вашей милости, при Льве Степановиче, было, помню, вот словно вчера». — «Ну, оно вчера не вчера, — прибавлял Михайло Степанович улыбаясь, — а небось пятый десяток есть. Смотри же, Ефимка, праздник праздником, а улицу мети, да пьяных много теперь шляется, так ты, как смеркнется, ворота и запри. Что, не крадут ли булыжник?» — «Словно глаз свой берегу, батюшка, и ночью выхожу раз, другой поглядеть», — отвечал дворник, и барин давал знак, чтоб он шел с красным яйцом, данным ему на обмен.

Этим периодическим разговором ограничивались личные сношения двух ровесников, живших лет пятьдесят под одной крышей. Ефимка бывал очень доволен аристократическими воспоминаниями и обыкновенно вечером в первый праздник, не совсем трезвый, рассказывал кому-нибудь в грязной и душной кучерской, как было дело, прибавляя: «Ведь, подумаешь, какая память у Михайла-то Степановича, помнит что — а ведь это суцая правда, бывало, меня заложит в салазки, а я вожу, а он-то знай кнутиком погоняет — ей-богу — а сколько годов, подумаешь», — и он, качая головою, развязывал онучи и засыпал на печи, подложивши свой армяк (постели он еще не успел завести в полвека), думая, вероятно, о суете жизни человеческой и о прочности некоторых общественных положений, например, дворников.

Итак, Ефимка сидел у ворот. Сначала он медленно, больше из удовольствия, нежели для пользы, подгонял грязную воду в канавке метлой, потом понюхал табаку, посидел, посмотрел и задремал. Вероятно, он довольно долго бы проспал в товариществе дворной собаки плебейского происхождения, черной с белыми пятнами, длинною жесткою шерстью и изгрызенным ухом, которого сторонки она приподнимала врозь, чтоб сгнать мух, если бы их обоих не разбудила женщина средних лет.

Женщина эта, тщательно закутанная, в шляпке с опущенным вуалем, давно показалась на улице; она медленно шла по противоположному тротуару и с беспокойным вниманием смотрела, что делается на дворе Столыгина. На дворе все было тихо, казачок в сенях пощелкивал орехи, кучер возле сарая чистил хомут и курил из крошечного чубука, однако и этого довольно было, чтоб отстращать ее; она прошла мимо и через четверть часа явилась на том тротуаре, на котором спал Ефим. Собака заворчала было, но вдруг бросилась со всеми собачьими изъявлениями радости к женщине, она испугалась ее ласк и отошла как можно скорее. Осмотревши еще раз, что делается на дворе, она решилась подойти к Ефиму и назвать его.

— Ась, — пробормотал Ефим, — чего вам?

Он не был так счастлив, как его приятель с раздвоенным ухом, и не узнал, кто с ними говорит.

— Ефимушка, — продолжала незнакомка, — вызови сюда Кирилловну.

— Настасью Кирилловну, а на что вам ее? — спросил дворник, что-то запинаясь.

— Да ты меня разве не узнаешь?

— Ах ты, мать пресвятая богородица, — отвечал старик и вскочил с лавки, — глаза-то какие стали, матушка... Эх я кого не спознал, простите, матушка, из ума выжил на старости лет, так уж никуда не гожусь.

— Послушай, Ефим, мне некогда, коли можно вызови Настасью!

— Слушаю, матушка, слушаю, отчего же нельзя, — оно все можно, я сейчас для тебя-то сбежал бы, — да вот, мать ты моя родная, — и старик чесал пожелтелые волосы свои, — да как бы, то есть, Тит-то Трофимович не сведал?

Женщина смотрела на него с состраданием и молчала; старик продолжал:

— Боюсь, ох, боюсь, матушка, кости старые, лета какие, а ведь у нас кучер Ненподист — не приведи господь какая тяжелая рука, так в конюшине богу душу и отдашь, христианский долг не исполнишь.

Старик еще не кончил своей речи, как из ворот выскочила старушонка, худощавая, подслепая, вся в морщинах, с седыми волосами.

— Ах, матушка, не извольте слушать, что вам старый сын этот напеваает, пожалуйста ко мне, я проведу вас, — ведь из окна, матушка, узнала, походку-то вашу узнала, так сердце-то и забилося, — ах, мол, наша барыня идет, шепчу я сама себе, да на половину к Анатолию Михайловичу бегу, а тут попался казачок Ванюшка, прерадовитый у нас такой, шпионишка мерзкий. «Что, — спросила я, — барин-то спит?» — «Спит еще» — чтоб ему тут, право, не при вас будь сказано.

Все это она так проворно говорила с пресильной мимикой, что Марья Валерьяновна не успела раскрыть рта и наконец уж перебила ее вопросом:

— Настасьюшка, да здоров ли он?

— Ничего, матушка, ну, только худенький такой. Какое и житье-то! Ведь аспид-то наш на то и взял их, чтоб было над кем зло изливать, человеконенавистник, ржа, которая на что железо и то поедом ест. У Натоль же Михайловича изволите знать какой нрав, весь в маменьку, не то, что наше холопское дело, выйдешь за дверь да самого обругаешь вдвое, прости господи, ну, а они все к сердцу принимают.

Марья Валерьяновна утерла наскоро слезу и шепнула:

— Пойдем же, Настасьюшка.

Настасья строго-настрого наказала Ефимке, если Тит подойдет казачка спросить, с кем она говорила за воротами и с кем взшла, сказать: со швеей, мол, с Ольгой Петровной, что живет у Покровских ворот. После этого она повела Марью Валерьяновну через двор на заднее крыльцо, потом по темной лестнице, которую вряд мели ли когда-нибудь после отстройки дома. Лестница эта шла в маленькую каморку, отведенную Настасье: эта каморка была цель ее желаний, предмет

домогательств ее в продолжение пятнадцати лет. Ни у кого в доме не было особой комнаты, кроме у Тита. Михайло Степанович наконец дозволил занять ее с условием не считать ее своею, никогда в ней не сидеть, а так покамест положить свои пожитки. В этой маленькой комнате стоял небольшой деревянный стол, окрашенный временем, на нем покоился покрытый полотенцем самовар, в соседстве чайника и двух опрокинутых чашек. На стене висели две головки, рисованные черным карандашом, одна изображала поврежденную женщину, которая смотрела из картины страшно вытаращив глаза, вместо кудрей у нее были черви — должно думать, что цель была представить Медузу. Другая представляла какого-то жандарма в каске, вероятно, вышедшего из воды, судя по голому плечу; лицу него было отвратительно правильно, нос вроде ионийской колонны, опрокинутой волютами вниз, голову он держал крепко на сторону, разумеется, этот жандарм был — Александр Македонский.

Но перед этими картинами, нарисованными детской рукой, остановилась Марья Валерьяновна и не могла более удерживаться. Она закрыла глаза платком, и Настасья плакала ото всей души, приговаривая: «Да это он, мой голубчик, в именины подарил».

— Ну, как кто взойдет сюда, Настасьюшка, что тогда делать?

— Не извольте беспокоиться, матушка, фискала-то нашего дома нет. Вишь, староста приехал, да обоз с дровами, что ли, пришел, так он и пошел в трактир принимать; самый вредный человек и преалчный, никакой совести нет, чаю пары две выпьет с французской водкой как следует да потребует бутылку белого, рыбы, икры; как чрево выносит, небось, седьмой десяток живет, да ведь что, матушка, какой неочестливый — и сына-то своего приведет, и того угощай. Ну, да он угодит еще под красную шапку, сып-то, озорник. Покуда старый-то пес жив, так все шито и крыто, а как бог по душу пошлет, мы всё выведем, и как синенькая у кучера пропала...

Длинная речь *in Titum*¹ осталась неоконченною. Молодой человек лет тринадцати, стройный, милый и бледный от внут-

¹ против Тита (лат.). — *Ред.*

ренного движения, бросился, не говоря ни слова, на шею Марьи Валерьяновны и спрятал голову на ее груди; она гладила его волосы, смеялась, плакала, целовала его. «Ну, привел же бог, привел же бог, — говорила она. — Да дай же посмотреть на тебя...», и она всматривалась долго, с тем упоением, преданным, святым, с каким может смотреть одна любовь матери. Она была счастлива, он так хорош, черты его так невинно чисты и открыты, она молилась ему.

— Дружок ты мой, какой ты худенький, — говорила она ему, — здоров ли ты?

— Я здоров, маменька, — отвечал молодой человек. — Я только боюсь, что папаша узнает, спросит меня.

— И, батюшка, — вмешалась няня, — что это, уж такой умник, и не умеете держать ответ. Правду сказать, это только ваш папаша воображает, что его в свете никто не проведет, а его вся дворня надувает.

Молодой человек не отвечал, но сделал движение, которое делают все нервные люди, когда нож скрипит по тарелке.

II

ДЯДЮШКА ЛЕВ СТЕПАНОВИЧ

Кажется, что и хорошо я начал мой рассказ, а опять приходится отступить, далеко отступить, иначе не объяснишь сцены, происходившей в маленькой комнатке Настасьи.

Начнемте там, где оканчиваются воспоминания Ефимки; он возил молодого барина в салазках при жизни «дяденьки». Дяденька Лев Степанович уже потому заслуживает, чтобы начать с него, что, несмотря на всю патриархальную дикость свою, он первый *ручной* представитель Столыгиных. Этим он обязан слепой любви родителей к его меньшему брату. Степушку никогда бы не решились они отправить на службу, отдать в чужие руки; Левушку, напротив, родители не жалели, и как только он кончил курс своего воспитания, т. е. научился читать по-русски и писать вопреки всем правилам орфографии, его отправили в Петербург. Послуживши лет десять в гвардии, он перешел в гражданскую службу, был советником, был

впоследствии президентом какой-то коллегии и в большой близости с кем-то из временщиков. Патрон его, долго умевший искусно удержаться в силе в классическое время падений и успехов, воцарений и низвержений, после Петра I и до Екатерины II, потерял наконец равновесие и исчез в своих мало-российских вотчинах. Помощник и ставленник его Лев Степанович премудро и во-время умел отделить свою судьбу от судьбы патрона, премудро успел жениться на племяннице другого временщика, которую тот не знал куда девать, и наконец, что премудрее всего вместе, Лев Степанович, получив аннинскую кавалерию, вышел в отставку и отправился в Москву для устройства имения, уважаемый всеми как честный, добрый, солидный и деловой человек.

Не надобно думать, чтоб в его удалении был один расчет или дипломатия; причина столько же сильная звала его воротиться к более родной среде. В Петербурге, несмотря на успехи по службе, ему все было что-то неловко, точно в гостях; ему захотелось покоя в почетном раздолье помещичьей жизни, захотелось пожить на своей воле; родители его давно померли, Степушка был отделен, именье, доставшееся Льву Степановичу, было одно из богатейших под Москвою, верст сотню по Можайке от города. Как же не ехать ему было в свои березовые и липовые рощи, в свой старый отцовский дом, где подобострастная дворня и испуганное село готово было его встретить с страхом и трепетом, поклониться ему в землю и подойти к ручке?

В Москве он остался недолго, заложил на Яузе, вместо деревянного дома, каменные палаты и уехал в Липовку, изредка наезжая присмотреть за постройкой. За хозяйство Лев Степанович принялся усердно; он и на службе своего именья не расстроил, а, напротив, к родовым тысяче душам прикупил тысячи полторы; но теперь, не вдаваясь в агрономические рассуждения, он разом сделался смышленным помещиком с той сноровкой, с которой из лейб-гвардии капитанов стал в год времени деловым советником. Удвоивая доходы, он улучшил состояние крестьян. Он и хлебом поможет, и овса на посев даст, и корову или лошадь даст в замену падшей, ну да после держи ухо востро. Вдруг, никто не думает, не гадает, барин с старостой и с десятскими на двор. «Эй ты, Акулька, покажи-ка горшки для моло-

ка». — Не вымыты, тут бабе и расправа. — «А ты, Нефед, покажь-ка соху, да и борону, выведи лошадь-то». Словом, поучал их, как неразумных детей, и мужички рассказывали долго после его смерти «о порядках старого барипа», прибавляя: «Точно, бывало спуску не дает, пу, а только умница был, все знал наше крестьянское дело досконально и правого не тронет; то есть учитель был».

Дворовых он держал без числа и меры, у него были мальчишки, единственно употребляемые днем на то, чтоб чистить клетки соловьев, а ночью ходить по двору, чтоб собаки не лаiali близь господского дома. У него были девочки, которых все назначение состояло в том, чтоб зимой стирать воду с оконниц, а летом носить уголья и тазики для варенья. Нельзя сказать, чтоб такое количество прислуги его вводило в особенно важные траты; все, начиная с самых личностей, было домашнее: рожь и гречиха, горох и капуста. И не один корм... Умрет корова, выделают кожу, сапожник сошьет портному сапоги, в то время как портной ему кроит куртку из домашнего сукна цвету маренго-клер¹ и широкие панталоны из небеленого холста, которым были обложены рабочие бабы. Притом у Льва Степановича был неотъемлемый талант воспитывать дворню, — талант, совершенно утраченный в наше время; он вселял с юных лет такой страх, что даже его фаворит и долею лазутчик, камердинер Тит Трофимов, гроза всей дворни, не всегда обращавший внимание на приказы барыни, сознавался в минуты откровенности и сердечных излиятий, что ни разу не входил в спальню барипа без особого чувства страха, особенно утром, не зная, в каком расположении Лев Степанович. Дивиться нечему. Выгоды и почет барского фавёра² очень не даром доставались Титу, особенно потому, что он часто попадался на глаза. Лев Степанович был человек характерный, сдерживать себя не считал нужным, и когда утром он выходил к чаю с красными глазами, сама Марфа Петровна долго не смела начать разговор. В эти «характерные» минуты сильно доставалось Титу, — побьет его, бывало, да и пошлет к барыне: «Поди, — говорит, — покажи ей свою рожу и скажи —

¹ светлосерого, от *marengo clair* (франц.). — *Ред.*

² благоволения, от *faveur* (франц.). — *Ред.*

вот, мол, как дураков учат, людей делают из скотов». Для Марфы Петровны, в ее скучной и однообразной жизни, подобные случаи служили развлечением, даже она находила своего рода удовольствие в унижении гордого и высокомерного Тита.

Действительно, развлечений в ее жизни было мало, особенно светских. Детей им бог не дал. Пыталась она и ворожить, и заговариваться, и пить всякую дрянь, и к Троице-Сергию ходила пешком, и Титову сестру послала в Киево-Печерскую лавру, откуда она ей прислала колечко с раки Варвары Мученицы, но детей все не было. Нельзя сказать, чтоб Лев Степанович особенно был от того несчастен, однако он сердился за это как за беспорядок, и упрекал в минуты досады свою жену довольно оригинальным образом, говоря: «У меня жену бог даровал глупее таракана; что такое таракан — нечистота, а детей выводит». При этом видно было гордое сознание, что он с своей стороны себя в этом не винит, — да и в самом деле, без вопиющей несправедливости мудро было винить Льва Степановича, взяв во внимание хоть одно разительное сходство с ним поваровых детей. Главное, что сердило Льва Степановича, — это отсутствие цели в хозяйстве и устройстве имения. «Я, — говорил он, — денно и ночью хлопочу, и запашку удвоил, и порядок завел, и лес берегу, и денег не трачу; а подумаю на что, сам не знаю; точно управляющий братнина сына, а тот возьмет все, да и спасибо не скажет, я его знаю, по матери пошел, баба продувная была, и в нем хамовой крови довольно. Оно, конечно, это мой долг, на то я и поставлен богом в помещики, чтобы хозяйничать, на том свете с меня спросится; все же лучше если бы был настоящий наследник!»

И Лев Степанович грустно качал головою, сидя на жестких креслах, обитых черной кожей, приколоченной медными гвоздочками. Марфа Петровна горько плакивала от подобных разговоров и за светские лишения прибегала к духовным утешениям.

Возле самого господского дома иждивением Льва Степановича была воздвигнута каменная церковь о трех приделах. Спальня выходила окнами к колокольне; при первом благовесте Марфа Петровна поспешно одевалась и являлась ранее

всех в храм божий. Лев Степанович приходил позже, и то по большим праздникам и в воскресные дни. Марфа же Петровна являлась при всех богослужениях, на похоронах, крестинах, бракосочетаниях. Лев Степанович становился впереди, подтягивал клиросу и бдительным оком смотрел за порядком, сам драл за уши шаливших мальчишек и через старосту показывал, когда надо было креститься и когда класть земные поклоны. Он был любитель и знаток богослужения, он на дом к себе призывал молодого диакона и месяца три всякий день учил кадить и делать возглас, поднимая орарь с полуоборотом на амвоне; диакон действительно так мастерски делал возглас и полоборота, что можайские купцы приезжали любоваться и находили, что иеродиакон Саввина монастыря * далеко будет пониже липовского.

Монастырь этот был верст тридцать от усадьбы Льва Степановича. Он постоянно посылал туда не столько богатые, сколько постоянные приношения — возов десять прошлогоднего и несколько сгоревшего сена, овес, не годный на семена, сырые и почерневшие дрова. Марфа Петровна с своей стороны делала приношения, тоже более ценные по усердию, нежели по чему иному; она посылала в монастырь розовую и мятную воду, муравьиный спирт, сушеную малину (иноки, не зная, что с ней делать, настаивали ее пенным вином), несколько банок грибов в уксусе, искусно уложенных, так что с которой стороны ни посмотришь, все видно одни белые грибы, а как ложкой ни возьмешь, все вынешь или березовик или масленок. Иноки иногда посещали благочестивый дом богоприбежного помещика и всегда находили радушный прием Марфы Петровны, которая любила их и как-то боялась.

Других гостей почти никогда не являлось у Столыгиных. Кроме их двоих, еще проживали у них дядя Марфы Петровны с своей женой. Ехавши из Петербурга, Лев Степанович пригласил к себе дядю своей жены, не главного, а так — дядю-старика, оконтуженного в голову во время турецкой кампании*, вследствие чего он потерял память, ум и глаза. Настоящий дядя, не зная, куда его деть, намекнул Льву Степановичу, который хотя уже тогда и был в отставке, но все же не смел поперечить особе. Слепой старик был женат на молдаванке,

у которой в доме лежал раненый; она была не первой молодости и, несмотря на большой римский нос и на огромные орлиные глаза, отличалась великим смирением духа. Ее Столыгин употреблял на прием талек, холстины, орехов, на чистение ягод, сушение трав, варение грибов. Марфа Петровна, призревая родственников, была уверена, что этим загладит все свои грехи, а может, сделает доступною и свою молитву о даровании детей. Обращение, сложившееся между хозяевами и гостями, было простое, патриархальное. Марфа Петровна называла старика дядей, но жену его не только не называла теткой, но говорила ей «ты» и в иных случаях позволяла целовать у себя руку. Лев Степанович говорил обоим «ты» и обращался с ними так, как следует обращаться с людьми, вполне зависящими от нас, — с холодным презрением и с оскорбительным выказыванием своего превосходства. Он их трактовал, как мебель или вещь не очень нужную, но к которой он привык.

Утро слепой обыкновенно проводил в своей комнате во флигеле, где курил сушеный вишневый лист, перемешанный с венгерскими корешками. В час девка, приставленная за ним, надевала на него длинный синий сертук, повязывала белый галстух и приводила в столовую. Здесь он дожидался, сидя в углу, торжественного выхода Льва Степановича. Горе бывало старику, если он опоздает, тут доставалось не только ему, но и Таньке, служившей при нем корнаком, и молдаванке. Старику повязывали на шею салфетку и сажали его за стол, где он смиренно дожидался, пока Лев Степанович ему пришлет рюмку настойки, в которую он ему подливал воды. За столом старик не смел ничего просить, да не смел ни от чего и отказаться; даже больше двух стаканов квасу (хозяева пили кислые щи*, но для дяди с теткой приносили людского квасу, кислого, как квасцы) ему не позволялось пить. Подадут ли дыню, Лев Степанович вырежет лучшую часть, а корки положит ему на тарелку. Марфа Петровна делала то же с зрячей молдаванкой, прибавляя, что это сущий вздор и почти грех думать, что бог так создал дыню, что одну закраинку можно употреблять в пищу.

В редкие минуты, когда Лев Степанович был весел, слепой старик служил предметом всех шуток и любезностей Льва

Степановича. «А, добро пожаловать, — кричал он, — добро пожаловать, отец Ксенофонтий! — Эй, Васильич (так называл он дядю), не видишь, что ли, отец Ксенофонтий идет тебя благословить». — «Не вижу, государь мой, не вижу», — отвечал слепой. — «Да вот с правой то стороны», — и он посылал Тита благословлять старика, и тот ловил его руку. Лев Степанович хохотал до слез, не догадываясь, что самое забавное в этой комедии состояло в том, что выживший из ума старик с тою остротой слуха, которая обща всем слепым, очень хорошо знал, что отец Ксенофонтий не входил, и представлял только для удовольствия покровителя, что обманут. Но верх наслаждения для Столыгина состоял в том, чтобы накласть на тарелку старику чего-нибудь скоромного в постный день и, когда тот с спокойной совестью съедал, он его спрашивал: «Что это ты на старости лет, в Молдавии, что ли, в турецкую перешел, в какой день утираешь скоромное?» У старика делались спазмы, он плакал, полоскал рот, делался больным — это очень забавляло Столыгина.

Иногда Лев Степанович будил в старике что-то похожее на чувство человеческого достоинства, и он дрожащим голосом напоминал Льву Степановичу, что ему грешно обижать слепца и что он все-таки дворянин и премьер-майор по чину. «Ваше высокородие, — отвечал Столыгин, у которого кровь бросалась в лицо от такой дерзкой оппозиции, — да ты бы ехал в полк — ну, я тебе пришелся не по нраву, прости великодушно, а уж переучиваться мне поздно, мне не под лета; да и что же, я тебя не на веревочке держу, ступай себе в Молдавию в женино именье». — «Лев Степанович, — робко прибавляла Марфа Петровна, — ведь как бы то ни было, он мне дядя и вам сродственник». — «Вот? В самом деле? — возражал еще более разъяренный Столыгин. — Скажите, пожалуйста, новости какие! А знаешь ли ты, что если бы он не был твой дядя, так у меня не только б не сидел за столом, да и под столом?» Испуганная майорша дергала мужа за рукав, начинала плакать, прося простить неразумного слепца, не умеющего ценить благодеяния. У старика текли по щекам тоже слезы, но как-то очень жалкие, он походил на беспомощного ребенка, обижаемого грубой и пьяной толпой.

После обеда барин ложился отдохнуть. Тит должен был стоять у дверей и, когда Лев Степанович ударит в ладоши, подать ему графин кислых щей. Иногда в это время Тит бегал в девичью и приказывал по именному назначению той или другой горничной налить ромашки и подать барину, что «де на животе не хорошо», и горничная с каким-то страхом бежала к Агафье Ивановне. Агафья Ивановна, ворча сквозь зубы, сыпала вонючую траву в чайничек. Марфа Петровна никогда не навещала мужа во время его гастрических припадков; она ограничивала свое участие разведыванием, кто именно носил ромашку, для того чтобы при случае припомнить такую услугу и такое предпочтение.

Лев Степанович, запивши кислыми щами или ромашкой сон, отпраивлялся побродить по полям и работам и часов в шесть являлся в чайную комнату, где у стены уже сидел на больших креслах слепой майор и вязал чулок, — единственное умственное занятие, которое осталось у него. Иногда старик засыпал, Лев Степанович, разумеется, этого не мог вынести и тотчас кричал горничной: «Танька, не зевай!», и Танька будила старика, который, проснувшись, уверял, что он и не думал спать, что он и по ночам плохо спит, от поясницы. После чая Столыгин выпимал довольно не новую колоду карт и играл в дураки с женою и молдаванкой. Если он бывал в особенно хорошем расположении, то среди игры рассказывал в тысячный раз отрывки из аристократических воспоминаний своих: как покойник граф его любил, как ему доверял, как советовался с ним, но притом дружба дружбой, а служба службой. «Бывало, задаст такую баню и бумаги все по полу разбросает и раскритичится. Ну, иной раз и чувствуешь, что прав, да и не отвечаешь, надо дать место гневу. Он же у нас терпеть не мог, как отвечают; тогда было жутко, а теперь с благодарностью вспоминаю».

Всего же более любил он останавливаться с большими подробностями на том, как граф его посылал однажды с бумагой к князю Григорью Григорьевичу... «Утром встал я часов в пять. Тит тогда мальчишкой был, не разъедался еще, как теперь, что гадко смотреть, — ну, только и тогда был преленивый и преглуший. Вхожу я в переднюю, насили его растолкал, чтобы

скорей за парикмахером сбегал. Парикмахер пришел, причесал меня... Тогда носили вот так, три пукли одна над другой; я надел мундир и отправляюсь к князю. Вхожу в переднюю, говорю официанту, что вот по такому делу от графа к его светлости прислан. Официант посмотрел на меня, видит, с двумя лакеями приехал — и говорит: «Рапепько изволили пожаловать, князь не встает раньше десяти, а в десять я, мол, камердинеру доложу». — «А можно, — говорю я ему, — где-нибудь обождать?» — «Как не можно, комнат у нас довольно. Вот пожалуйста в залу». — Я взошел, люди полы метут да пыль стирают, я сел в уголок и сижу. Часика так через два вышел секретарь ли, камердинер ли и прямо ко мне: «Вы от графа?» — «Я, батюшка, я». — «Пожалуйте за мною к его светлости в гардеробную». Вхожу я, князь изволит в пудермантеле сидеть, и один парикмахер в шитом французском кафтане причесывает, а другой держит на серебряном блюде помаду, пудру и гребенки. Князь, взявши бумагу, таким громким ласковым голосом мне и молвили: «Благодари графа, я сегодня доложу об этом деле. Мне граф говорил о тебе, что ты деловой и усердный чиновник, старайся вперед заслуживать такой отзыв». — «Светлейший, мол, князь, жизнь свою предпочитаю положить за службу». — «Хорошо, хорошо, — сказал князь и изволил со стола взять табатерку, золотую. — Государыня тебе жалует в поощрение». Как он это изволил сказать, у меня слезы в три ручья. Я хотел было руку поцаловать, но он отдернул. Я его в плечо, князь взглянул на меня да пальчиком парикмахеру показал — да оба так и вспрыснули от смеха. Я ничего не понимаю, что за причина. А дело-то было просто: цалую светлейшего в плечо, я весь вымарался в пудре. Князь потом за ее величества столом рассказывал об этом, ей-богу. И во всем лице Льва Степановича распространялась гордая радость.

Но большей частью, вместо аристократических рассказов и воспоминаний, Лев Степанович, угрюмый и «гневный», как выражалась молдаванка, притеснял ее и жену за игрой всевозможными мелочами, бросал, сдавая, карты на пол, дразнил молдаванку, с бешенством критиковал каждый ход и так добивал вечер до ужина. В десятом часу Лев Степанович

отправлялся в спальню, замечая: «Ну, слава богу, вот день-то и прошел», — как будто он ждал чего-то или как будто ему хотелось поскорее скоротать свой век.

Перед спальней была образная, маленькая комната, которой восточный угол был уставлен большими и драгоценными иконами в киоте красного дерева. Две лампадки горели беспрестанно перед образами. Лев Степанович всякий вечер молился иконам, кладя земные поклоны или по крайней мере касаясь перстом до земли. Потом он отпускал Тита. Тит, пользуясь единственным свободным временем, отправлялся на село к Исаю-рыбаку или к обручнику Никифору, всего же чаще к старосте, который на мирской счет покупал для дворовых сивуху. Тит брал с собою кого-нибудь из лакеев, особенно же Митьку-цирюльника, отлично игравшего на гитаре.

Долго жил так доблестный помещик Лев Степанович, бог знает для чего устраивая и улучшая свое именье, усугубляя свои доходы и не пользуясь ими. Дом его с селами и деревнями составлял какой-то особенный мир, разобщенный со всем остальным миром чертою, проведенной генеральным межеванием*. Даже «Московские ведомости» не получались в Липовке. Войны раздирали Европу, миры заключались, троны падали; в Липовке все шло нынче, как вчера, вечером игра в дурачки, утром сельские работы, та же жирная буженина подавалась за обедом, Тит все так же стоял у дверей с квасом, и никто не только не говорил, но и не знал и не желал знать всемирных событий, наполнявших собою весь свет.

Но так как всему временному есть конец, то пришел конец и этому застою, и притом очень крутой. Однажды после обеда Лев Степанович, употребивши довольно рассольника с потрохами, жирной индейки и разных сдобных и слоеных пирожков и смочив все это кислыми щами, перешел в гостиную закутить обед арбузом и выпить княженичной наливки. Освежившись арбузом и разгорячившись наливкой, он в самом лучшем расположении духа пошел в кабинет уснуть. Но как нарочно в зале застал Настьку, говорившую в дверях передней с известным нам музыкантом и цирюльником Митькой. Лев Степанович был чрезвычайно ревнив во всем, что касалось до

горничных. Ему что-то померещилось не совсем хорошее в выражении Митькина лица. Он закричал страшным голосом и схватил в углу стоящую палку. Митька, горячая голова, как все артисты, ударился бежать. Столыгин за ним, со всем грузом индейки, потрохов, под квасом и арбузом; Митька от него, он за ним, Митька на чердак по узенькой лестнице, Столыгин сунулся было, но увидел, что судьба его не создала матросом. На крик барина сбежалась вся дворня. Багровый от гнева, сбиваясь в словах и буквах, барин велел поймать Митьку где бы он ни был и посадить в колодку, пока он решит его судьбу; отдавши приказ, он, усталый и запыхавшись, удалился в кабинет.

Случай этот распространил ужас и беспокойство в доме, в людских, в кухне, на конюшне и наконец во всем селе. Гафья Ивановна ходила служить молебен и затеплила свечку в девичьей перед иконой всех скорбящих заступницы. Молдаванка, сбивавшаяся во всех чрезвычайных случаях на поврежденную, бормотала сквозь зубы «о царе Давиде и всей кротости его» и беспрестанно повторяла: «Свят, свят, свят», как перед громовым ударом.

Титу не пришлось долго Митьку искать; он сидел босиком в питейном доме, уже выпивши на сапоги сивухи, и громко кричал:

— Не хочу служить аспиду такому, хочу царю служить, в солдаты пойду, у меня нет ни отца, ни матери, за народ послужу, а уж я ему не слуга, и назад не пойду, а силой возьмет, так грех над собой совершу, ей-богу, совершу.

— Митрий, Митрий, ты не горлань, — говорил ему Тит, — и такого вздора не ври; барина рука длинная, она тебя везде достанет, а ты лучше ступай со мной, а не то ведь и руки свяжем, на то барский приказ.

Красноречие Тита победило наконец Митьку, и он, протестуя и говоря, что завтра же грех совершит, пошел, прибавляя: «Нет, Тит Трофимович, вязать меня не нужно, я не вор и не собака, чтобы меня на веревке водить — мы дойдем и без веревки». На дороге Митька во весь голос пел: «Ай, барыня, барыня!» с теми богатыми вариантами, которыми изобилуют все передни.

Неумытный Тит, посадив своего друга в колодку, побежал к дверям с кислыми щами. В пять часов Марфа Петровна присылала узнать, проснулся ли барин; Тит молча помахал рукой и приложил палец к губам. В шесть пришла сама Марфа Петровна к дверям. «Кажется, еще не изволили просыпаться», — доложил Тит. Марфа Петровна тихо отворила дверь и так вскрикнула вдруг, что Тит опрокинул кувшин с кислыми щами. Закричать было немудрено. Старый барин лежал, растянувшись, возле кровати, один глаз был прищурен, другой совершенно открыт с тупым и мутно стеклянным выражением; рот был перекошен и несколько капсель кровавой пены текло по губам. С минуту продолжалась совершенная тишина, но вдруг, откуда ни возьмись, хлынула в комнату вся дворня; грозный Тит не препятствовал, а стоял как вкопанный. Марфу Петровну вынесли в обмороке и положили ей под ложечку образ, в котором были мощи св. Антипия; молдаванка вбежала в комнату с каким-то неестественным хныканьем и, поскользнувшись в луже кислых щей, чуть не сломала ногу.

Тит, как более сильный характер, первый пришел в себя и снова тем повелительным голосом, которым отдавал барские приказы лет двадцать, сказал:

— Ну, что тут зевать! Сенька, втащи сюда корыто да воды. А ты, Ларивон, сбегай-ка за батюшкой. Да нет ли у вас, Агафья Ивановна, медного пятака — на правый глаз-то ему надобно положить...

И все пошло как по маслу.

Освобожденный арестант Митька без малейшего злопамятства приготавливался, как записной грамотей, ночью читать взапуски псалтырь с земским и пономарем, просил только молдаванку дать ему табаку позабирательнее, на случай если сон клонить будет.

Дворня была испугана. Она доставалась человеку неизвестному; к нраву старого барина применились, теперь приходилось вновь начинать службу, и как и что будет, и кто останется в Липовке, кто поедет в Питер, на каком положении — все это волновало умы и заставляло почти жалеть покойника.

Через два дня, после необыкновенных напряжений, написал Тит будущему обладателю следующее письмо:

«Все Милостивейший Государь, Государь батюшка и единственный заступник наш Михайло Степанович.

По приказанию Ее Превосходительства тетушки вашей, а нашей госпожи Марфы Петровны. Приемлю смелость начертать Вам, батюшка Михайла Степанович сии строки, так как по большему огорчению они сами писать сил не чувствуют богу же угодно было посетить их великим несчастьем утратою их и нашего отца и благодетеля о упокоении души коего должны до скончания дней наших молить господа и Дядюшки вашего ныне в бозе преставившегося Его превосходительства Льва Степановича, изволившегося скончаться в двадцать третье месяца число, в 6 часов по полудни. Оного же телу вынос завтрашнего числа.

Так как мы по известности ваши, то батюшка и все милостивейший Государь, можете призреть нас яко сирот отца лишенных и неоставить милосердием вашим недостойных подданных а мы чувствуем как обязаны усердствием Вашему здоровью до конца нашей жизни, что покойному дядюшки так и вам все едино, как вся дворян так и выборный Трофим Кузмин с миром.

Пребывая Нижайший раб Ваш Тит — если изволите помнить что при покойном Дядюшке камардинером находился.

Село Липовка. 1794 года июня 25 дня».

НЕЖНЫЙ БРАТЕЦ ПОКОЙНОГО ДЯДЮШКИ

Михайло Степанович был сын брата Льва Степановича — Степана Степановича. В то время, как Лев Степанович посвящал дни свои блестящей гражданской деятельности, получал высокие знаки милости и цаловал светлейшее плечо, карьера его меньшого брата разыгрывалась на ином поприще, не столько громком, но более сердечном.

Любимец родителей, баловень и «неженка», как выражалась дворян, он постоянно оставался в деревне под крылом

материнским. В двенадцать лет старуха-няня мыла его еще всякую субботу в корыте и приносила ему с села лепешки, чтобы он хорошенько позволил промыть голову и не кричал бы на весь дом, когда мыльная вода попадала в глаза. Лет четырнадцати признаки раннего совершеннолетия начинали ясно оказываться в отношениях Степушки к девичьей. Матушка его, не слышавшая в нем души, не токмо не препятствовала развитию его ранних способностей, но даже не без удовольствия смотрела на удачу сынка и исподволь помогала ему, что при ее средствах и гражданских отношениях к девичьей не представляло непреодолимых трудностей. Нежные чувства, питаемые с такого нежного возраста, вскоре поглотили всего Степушку; любовь, как выражаются поэты, была единственным призванием его, он до кончины своей был верен избранному пути буколическо-эротического помещика.

Степушка недолго пользовался покровительством родителей. Ему было семнадцать лет, когда он лишился матери, года через три спустя умер его отец. Смерть родителей и честное предание их тела земле не доставили Степану Степановичу столько беспокойств и сердечных мук, как приезд брата; он вообще не отличался храбростью, брата же он особенно боялся. Не зная, что делать, он совещался со своими подданными и не мог без содрогания вздумать, как они будут делить дворовых, к числу которых принадлежала и девичья. Он взял некоторые меры, всех горничных велел запереть в поваровой комнате, оставивши налицо только таких, которые имели значительные недостатки в лице, сильную шадровитость, косые глаза. Лев Степанович все понял, обделил брата, закушив его пустыми уступками, предоставил ему почти весь прекрасный пол и, благословляемый им, уехал назад.

Проводивши брата, Степан Степанович принялся с своей стороны за устройство имения. Он купил двух музыкантов и приказал им учить дворовых девок петь. Хоры составились хоть куда, учителя играли один на торбане, другой на кларнете. В праздничные дни сгоняли после обедни крестьянских девок и баб на лужок перед домом для хороводов и песней. Степан Степанович, откушавши, выходил в сени в халате нараспашку, окруженный горничными, тут он садился, горничные готовили

чай и обмахивали мух павлиновыми перьями. Благодарный помещик угощал гостей цареградскими стручками, пряниками, брагой и грошовыми серьгами, иногда сам участвовал в хоровах, но чаще засыпал под конец; чай имел на него очень сильное влияние, хотя он и подливал французской водки, чтобы ослабить его действие.

Материальной частью хозяйства Степан Степанович, как все сентиментальные натуры, заниматься не любил; староста и повар управляли вотчиной; до барина доступ был нелегок, кому и случалось с ним молвить слово, остерегался проболтаться, барин все рассказывал горничным. Случилось раз, что крестьянка, с большими черными глазами, пожаловалась барину на старосту. Степан Степанович, не давая себе труда разобрать дела и вечно увлекаемый своим нежным сердцем, велел старосту на копыще посесть. Староста обмылся пенничком и кротко вынес наказание, не думая оправдываться, несмотря на то, что он в деле был прав; тем не менее желание мести сильно запало в его душу. Спустя неделю-другую староста через повара доложил барину, что де, несмотря на барское приказание, такая-то баба сильно балуется и находится в очень близких отношениях с своим мужем, возвратившимся с работы в городе. Поступок этот, так грубо неблагодарный, глубоко огорчил Степана Степановича, и он велел бабу назначать без очереди в работу. Похудев, состарясь через год, она на себе носила доказательства, что приказ был исполнен в точности. После этого примера никто, кроме горничных, не смел делать оппозицию старосте и повару.

Веселая сельская жизнь Степана Степановича стала скоро известной в околке; явились соседи, одни с целью его женить на дочери, другие обыграть, третьи, более скромные, познакомились потому, что им казалось пить чужой пунш приятнее своего. Он поддавался всему, весьма вероятно, что его бы женили и обыграли, но нежное сердце его спасло. Посещая одного из своих соседей, он увидел у него горничную — так сердце у него и опустилось... Он приехал домой расстроенный, влюбленный, да как! Есть перестал, а пить стал вдвое больше. Подумал он, подумал, видит, что такой страсти переломить невозможно; опостылела ему девичья, и если он позволял себе

кой-какие шалости, то больше, чтобы не отставать от привычек, нежели из удовольствия.

Пристал Степан Степанович к соседу, чтобы тот продал Акульку; сосед поломался, потом согласился с условием, чтобы Столыгин купил отца и мать. «Я, — говорит, — христианин и не хочу разлучать того, что бог соединил». Степан Степанович на все согласился и заплатил ему три тысячи рублей; по тогдашним ценам на такую сумму можно было купить пять Акулек и столько же Дуняшек с их отцами и матерями.

Сельская Брушегильда поняла именно по сумме, заплаченной за нее, ширь своей власти и в полгода привела своего господина в полнейшую покорность. Померкло влияние повара, ослабла сила старосты. Отец Акулины Андреевны был сделан дворецким, мать ключницей, да она и им потачки не давала, а держала их в страхе и повиновении — и всего этого было ей мало, ей хотелось открыто и явно быть помещицей, она стала питать династические интересы. И года через два Степан Степанович поехал в четвероместной колыхаге покойного родителя своего в церковь и обвенчался с Акулиной Андреевной. Брак их, не так как брак Льва Степановича, не остался бесплодным. В сенях господского дома, когда новобрачные ворвались, сперва подошли к ручке и поздравили новую барыню ее родители, а потом кормилица в золотом повойнике поднесла десятимесячного сына; брак их был благословен заблаговременно. Грудной ребенок этот — Михайло Степанович, которого Ефимка возил на салазках, а он его кнутиком подгонял.

После свадьбы барин сделался призрак. Акулина Андреевна приняла бразды правления сильной рукой. Она с глубоким политическим тактом взяла все меры, чтобы упрочить свое самовластие, — но как всегда бывает, взявши все меры, она все-таки упустила из виду одну из возможных причин переворота, и на ней-то все оборвалось. Мало знакомая с врачебной наукой, она не только не ограничивала, но развивала в Степане Степановиче его страсть к наливкам и сладким водкам; она не знала, что человеческое тело только до известной степени противудействует алкоголю. Лет через семь после бракосочетания синий Степан Степанович, отекший от водяной, полунемой от паралича, отдал богу душу — около

того времени, когда Лев Степанович отделявал свой дом на Яузе.

Получив вестъ о смерти брата, Лев Степанович в первые минуты горести попробовал опровергнуть брак покойника, потом законность его сына, но вскоре увидел, что Акулина Андреевна взяла все меры еще при жизни мужа и что седьмую часть ей выделить во всяком случае придется* и сыну имение предоставить, да еще заплатить протори. Больно было Льву Степановичу, но он покорился несправедливой судьбе и, как настоящий практический человек, тотчас придумал иной образ действия. Он написал к вдове письмо, полное родственного участия, звал ее в Москву для окончания дел и для того, чтобы показать ему наследника его брата, а может, и его собственного, пещься о котором он считал священной обязанностью, ибо богом и законом назначен ему в опекуны. Весьма вероятно, что Акулина Андреевна не повезла бы своего сына по письму дяди, но после смерти Степана Степановича люди стали что-то грубо поговаривать, а иногда даже и перечить с таким видом, что Акулине Андреевне показалось безопаснее переехать в Москву. Лев Степанович плакал при свидании с Мишей, благословил его образом и взял на себя все хлопоты по опеке и по управлению имением.

Акулину Андреевну провести было нелегко; но ее устранил совершенно неожиданный случай. Своей седьмой частью она прельстила одного поручика из ординарцев при московском главнокомандующем и сама прельстилась его ростом, его дебой и свирепой красотой, совершенно противоположной аркадскому покойнику. Акулина Андреевна не могла удержаться, чтобы не выйти за него замуж. Роли переменялись. Поручик с четвертого дня начал ее бить, и уж Акулина Андреевна, на этот раз, стала пить подслащенные наливки. Лев Степанович сильно покровительствовал поручику и выхлопотал ему прибыльное место по комиссариатской части* где-то на Черном море. Лев Степанович требовал, чтобы племянник его остался в Москве для получения приличного его званию воспитания. Мать не хотела оставить его; но поручик прикрикнул и уговорил ее, основываясь на том, что место получил по ходатайству Столыгина и что его дружбу надо беречь на черный день.

ТРОЮРОДНЫЕ БРАТЯ

Мише было лет десять. Воспитание его не было сложно; простое, деревенское воспитание того времени, оно ограничивалось с физической стороны — развитием непобедимого пищеварения, с нравственной — укоренением верного взгляда на отношение столбового помещика к дворовым и крестьянам. Воспитание это не столько было отвлеченно и книжно, как практично, и по тому самому имело несомненный успех. Десятилетний мальчик был окружен толпой оборванных, грязных и босых мальчишек, которых он теснил, бил и на которых жаловался матери, бравшей всегда его сторону.

Один более свободный товарищ его игр был сын сельского священника, отличавшийся белыми волосами, до того редкими, что не совсем покрывали кожу на черепе, и способностью в двенадцать лет выпивать чайную чашку сивухи не пьянея. Он иногда обижал Мишу, не позволяя ему себя тотчас поймать в горелках, обгонял его в запуски, сам ел найденные ягоды. Мишу это оскорбляло, и Акулина Андреевна не могла оставаться равнодушной к такому нарушению приличий; она обыкновенно подзывала к себе поповича и поучала его следующим образом: «Ты, толоконный лоб, ты помни, дурак, и чувствуй, с кем я тебе позволяю играть, ты ведь воображаешь, что Михайло-то Степанович дьячков сын».

Матушка попадья, бывало, как услышит подобное слово, тотчас, не вступая в дальнейшее разбирательство дела, поймает сына за бедные волосенки, как-то приправленные на масле, приносимом для лампы Тихвинской божией матери, — и довольно удачно представляет, будто беспощадно дерет его за волосы, приговаривая: «Ах ты, грубиян эдакий поганый, вот истинно дурья порода. Простите, матушка Акулина Андреевна, извольте сами знать, какой ум в наших детях, в сраме и запустении живут; а ты благодари, дурак, барыню, что изволит обучать», — и она наклоняла его масляную голову и сама кланялась. Миша после подтрунивал над приятелем, но попович, с досадой улыбаясь, говорил: «Ведь все врет, мать-то, так для барыни в угоду горячку порет, пример делает».

Лев Степанович недолго продержал у себя племянника; цель его была достигнута, он его разлучил с матерью и мог распоряжаться, как хотел, имением. Он думал отдать Мишу в пансион; но двоюродная тетка Льва Степановича выпросила его к себе воспитывать с своим сыном, который, говорила она, был один и скучал. Льву Степановичу не очень хотелось, но он побаивался княгини и согласился. Побоялся он ее потому, что она сильно любила болтать и имела большие связи в Петербурге; что она могла ему сделать болтовней и связями, не знаю, да и он не знал, а трусил. Княгиня была богата, держала большой дом и занималась деланием визитов. При сыне находился француз-гувернер. Рекомендованный самим Вольтером Шувалову, Шуваловым княгине Дашковой, Дашковой нашей княгине, он безусловно управлял воспитанием. Гувернер был не глупый человек, как все французы, и не умный человек — как все французы; он имел все забавные недостатки своей страны, лгал, острил, был дерзок и не зол, высокомерен и добрый малый. Он смотрел с улыбкой превосходства на все русское, отроду не слышал, что есть немецкая литература и английские поэты, зато знал на память Корнеля и Расина, все литературные анекдоты от Буало до энциклопедистов, он знал даже древние языки и любил в речи поразить цитатой из «Георгик» или из «Фарсалы».

Само собою разумеется, что наш гувернер был поклонник Вовенарга и Гелвеция, упивался Жан-Жаком, мечтал о совершенном равенстве и полном братстве, что не мешало ему ставить перед своей звучной фамилией «Дрейяк» смягчающее «де», на которое он не имел права. Он с улыбкой сожаления говорил о католицизме и вообще о христианстве и проповедовал какую-то религию собственного изобретения, состоявшую из поклонения закону тяготения. «Без тяготения, — говорил он, морща лоб от усилий, — был бы хаос, и атомы разлетелись бы, тяготение поддерживает великий порядок, в котором раскрывается великий художник». При развитии этих глубоких и ясных истин он никогда не забывал прибавить, что поэтому Платон и называл бога геометром, а Ньютон снимал шляпу, когда произносил имя божье. Сверх своей религии тяготения, которою он был совершенно доволен, он упорно не хотел суда

на том свете и язвительно смеялся над людьми, верившими в ад, — хотя против бессмертия души он не только ничего не имел, но говорил, что оно крайне нужно для жизни.

Учение с де-Дрейяком шло весело и легко. Он мог всегда говорить без различия времени, предмета, возраста и пола, а потому его ученики отлично выучивались сначала слушать по-французски, а потом говорить. Воспитание почти в этом и состояло.

Миша сначала погрузил в доме княгини и, утирая слезы, поминал о Липовке. Он очень хорошо заметил, что первая роль не ему принадлежит, он был «братец», он был «*son cousin*»¹, в то время как князь был самим собою. Различие это Миша равно видел и в обращении княгини, и в обращении гостей, и еще более в обращении дядьки. Старик без возражения исполнял приказы князя, а Мише часто говорил, что ему некогда, что он может послать кого-нибудь помоложе. Самолюбивый мальчик, глубоко оскорбленный всем этим, дулся, сидел в углу, смотрел исподлобья. Дрейяк это относил к дикости, другие вовсе не замечали.

Видя безуспешность своих протестаций, Миша вдруг сделался шелковый, ласков, весел, приветлив. Через несколько месяцев он был любимец Дрейяка. Сама княгиня не могла удивиться, какой он неглупый мальчик, «точно, можно сказать, *c'est un miracle ce qu'en a fait*»² мой Дрейяк, он совсем *sauvage*³ был, ну и теперь эдакий *дурнушка*; а право, премилый мальчик». В слове *дурнушка* выражалось сознание матери, что ее сын не так умен, не так даровит, и она торопилась утешиться его красотой. Молодой князь не любил учиться, он был рассеян и зевал за уроками; добрый, очень добрый, раскрытый всякому чувству и благородный по натуре, он был вял, и ум его дремал еще беспробудно, да и не знаю, просыпался ли впоследствии когда-нибудь. Лень и невнимание князя поощрили Мишу, и Миша бросился на занятия со всем усердием, которое дает зависть и затаенное желание превосходства.

¹ любезный кузен (франц.). — *Ред.*

² чудо что из него сделал (франц.). — *Ред.*

³ дикарь (франц.). — *Ред.*

Дрейяк чуть не плакал, видя, как ловко Миша цитирует места из «Кандида», из «Девы Орлеанской», из «Жака Фаталиста»...

Мало-помалу воспитание молодых людей пришло к концу. Они писали французские записочки правильнее русских. При всей своей лени даже князь знал довольно хорошо греческую мифологию и французскую историю, больше в то время не требовалось; тогда у нас еще не выдумывали своей литературы, о русских журналах и не снилось никому, разве одному Новикову; русской истории тоже еще не было открыто. Знали только, что царствовал мудрый правитель Олег, о котором сама императрица изволила писать пьесу*, знали еще благодаря Вольтеру некоторые неверные подробности о царствовании Петра I*. У княгини было-таки небольшое собрание русских книг: сочинения Сумарокова, «Россиада» Хераскова, «Камея веры» Стефана Яворского и томов сорок записок Вольного Экономического Общества, но молодые люди никогда не развертывали этих книг.

Княгиня свезла детей в гвардию и сама поселилась в Петербурге. Служба тогда была легкая. Изредка приходилось надеть мундир, в кои веки доставалось побывать в карауле, это даже нравилось как разнообразие. Остальное время, кроме родственных визитов, визитов к важным людям, обедни по воскресеньям в домовй церкви княгининого брата и скучного обеда у самой княгини, было в полном распоряжении молодых людей. Князь радовался мундиру, радовался воле, пылко бросался на все наслаждения, на все удовольствия; отроду не останавливавшийся ни на чем и отроду ни на чем не останавливаемый, он часто обжигался, был обманут, ссорился и при всем этом был славный товарищ и лихой малый. Столыгин был скромнее; он глядел на своего товарища с каким-то снихождением, порицая внутри все, что делалось. Из всех историй Столыгин выходил чистым, так мастерски он умел себя держать. Князь любил его, верил в его дружбу, признавал его превосходство и с детским простосердечием прибегал во всяком трудном случае к Мише за советом.

Князь был хорош собою, румяный, нежный, отрочески мужественного вида, с легким пухом на губах, с чистым голубым взглядом, он нравился особенно сангвиническим девицам

и молодым вдовам. Столыгин, бравший не столько красотою, сколько дерзкой речью, любезностью и злословием, не мог простить своему другу его высокий рост, его красивые черты и старался всякий раз затмить его остроумиями и колкостями.

Они занялись исключительно волокитством; от боярских палат до швей иностранного происхождения и до отечественных охтенок* — ничего не ускользало от наших молодых людей. К тому же князь успел раза два проигратися в пух, надавать векселей за страстную любовь, побить каких-то соперников, упасть из сапей мертво пьяный, словом, сделать все, что в те счастливые времена называлось службой в гвардии.

Когда Столыгин заметил, что, несмотря на все его красноречие, князь решительно берет верх у женщин, он стал его подбивать ехать в Париж. Действительно, только этого рукоположения и недоставало нашим друзьям.

Сначала, как водится, княгиня не хотела пустить; потом сама им выпросила отпуск. Надзор за *детьми* снова был поручен Дрейяку, успевшему в антракте образовать еще двух русских помещиков греческой мифологией и французской историей. Тогда еще существовали пространство и даль, не так, как теперь, месяца два тащились они до Парижа.

...Улицы кипели народом, там-сям стояли отдельные группы, что-то читая, что-то слушая; крик и песни, громкие разговоры, грозные возгласы и движения — все показывало ту лихорадочную возбужденность, ту удвоенную жизнь, то судорожное и страстное настроение, в котором был Париж того времени; казалось, что у камней бился пульс, в воздухе была примешана электрическая струя, наводившая душу на злобу и беспокойство, на охоту борьбы, потрясений, страшных вопросов и отчаянных разрешений, на все, чем были полны писатели XVIII века. И все это выговорилось, заявилось, выказалось путникам, прежде нежели запыленный и тяжелый дормез остановился у отеля в улице Сент-Опоре и двое крепостных слуг стали отстегивать пряжки у важей...

И вот Михайло Степанович, напудренный и раздушенный, в шитом кафтане, с крошечной шпажкой, с подвязанными икрами, весь в кружевах и цепочках, острит в Версале, как острит

в Петербурге; он толкует о тьерс эта¹, перевозит Неккера и пугает смелостью опасных мнений двух старых маркиз, которые от страха хотят ехать в Берри в свои имения. Его заметили. Несколько колкостей, удачно им сказанных, повторялись.

— Знаете, что меня всего более удивляет в этом *marquis hyperboréen*², — сказал раз, сдавая карты, пожилой аббат с сухим и строгим лицом, — не столько ум — умом нас, слава богу, нелегко удивить — нет, меня поражает его способность все понимать и ни в чем не брать участия; для него жизнь, кипящая возле, имеет тот же интерес, как сказания о Сезострисе. Это какой-то посторонний всему.

— Скиф в Афинах, — заметил какой-то ученый.

— Совсем нет, — возразил аббат, — у скифа было бы что-нибудь свое, дикое, а он с виду и с речи похож на меня с вами. Признаюсь вам, я мог бы ненавидеть такого человека, если бы я не жалел его. Это — болезненное произведение образования, привитого к корню, не нуждавшемуся в нем. Будьте уверены, что у него нет будущности.

— Помилуйте, из него выйдет отличный дипломат, он даже лицом похож на Кауница.

— В самом деле похож, — подхватила пожилая дама, старавшаяся скрыть свои годы, — и гиперборейский маркиз был забыт.

Пока Столыгин занимал собою гостиные, князь успел отбить маленькую актрису у сына какого-то посла, подраться с ним на шпагах, обезоружить его, простить и в тот же вечер ему спустить пятьсот червонцев. Но маленькая актриса была очень мила и очень благодарна своему рыцарю.

Путешествие князя и Столыгина окончилось прежде, нежели они предполагали, виною этого был Дрейяк. Де-Дрейяк, которого прислуга в трактире звала «мсье ле шевалье»³, одобрительно и не без задних мыслей улыбался «успехам человечества и торжеству разума над предрассудками», но он, как

¹ третьем сословии, от *tiers état* (франц.).— *Ред.*

² северном маркизе (франц.).— *Ред.*

³ господин кавалер, от *monsieur le chevalier* (франц.).— *Ред.*

все благоразумные люди, больше успеха любил безопасность и больше торжества ума и разума — покой. А тут вышел вот какой случай. Погода раз была чудесная, Дрейяк пошел гулять утром; но только что он вышел на бульвар, как услышал за собой какой-то нестройный гул; он остановился и, сделав из руки зонтик от света, начал всматриваться; сначала он увидел облако пыли, блеск пик, ружей, наконец вырезалась нестройная пестрая масса людей. Прежде нежели Дрейяк что-нибудь понял, высокий плечистый мужчина без сертука, с засученными рукавами, с тяжелым железным ломом, повязанный красным платком, поровнявшись с ним, спросил его громовым голосом: «Ты с нами?» Дрейяк, бледный и уж несколько нездоровый, не мог сообразить, какое может иметь последствие отказ, и потому медлил с ответом; но новый знакомец был нетерпелив, он взял нашего шевалье за шиворот и, сообщив его телу движение весьма неприятное, повторил вопрос. Дрейяк, вместо ответа, уронил трость; учтивая дама почтенного размера с седыми космами, торчавшими из-под чепчика, подняла ее и, показывая более и более густевшей массе народа, заметила: «Да это аккапарист¹, аристократ, посмотрите, какой пабалдашник, золотой и с резьбою, что вы толкуете с ним, на фонарь его!» — «На фонарь», — сказали несколько голосов спокойным, подтверждающим тоном, исполненным наивного убеждения, что, действительно, его необходимо повесить на фонарь, что это просто аксиома. Человека три выступили было с очень враждебным намерением, дело остановилось за веревкой, мальчик лет двенадцати обещался тотчас принести. Дрейяк воспользовался этим временем, чтобы сказать: «Помилуйте, что вы? С молодых лет я питался писаниями наших великих писателей и примерами римской и спартанской республики». — «Хорошо, очень хорошо», — закричали несколько человек, слышавших только слово «республика». — «Я с вами, — продолжал ободренный оратор, — я принадлежу народу, я из народа, как же мне не быть с вами?» — И остановившаяся кучка двинулась вперед грозно и мрачно, принимая новые толпы из всех переулков и улиц и братаясь с ними.

¹ скупщик, спекулянт, от *assaregeur* (франц.). — *Ред.*

Долго спустя раздавался еще на бульваре рев, похожий на морские волны, гонимые ветром в скалистый берег, — рев, иногда утихавший и вдруг раздававшийся торжественно и страшно.

Дрейяку удалось завернуть, под самым суетным предлогом, в переулочек, вылучив счастливую минуту, когда все внимание его соседей обратилось на аббата, которого толкали вперед три торговки; он дал оттуда стрелка и пришел домой полумертвый, с потухшими глазами и с изорванным кафтаном. Дома он лег в постель, велел налить какой-то тизаны¹ и в первый раз признался, что дорого бы дал, если бы был на варварских, но покойных берегах Невы. Тизана помогла ему, он начал приходить в себя и собирался было прочесть в Тите Ливии о народном возмущении против Тарквиния Старшего*, как вдруг раздался ружейный залп, прогремела пушка, еще раз и еще — а там выстрелы вразбивку; временами слышался барабан и дальний гул; и гул, и барабан, и выстрелы, казалось, приближались. По улице бежали блузники, работники с криком: «А ла Бастиль, а ла Бастиль!»² Перед окнами остановили офицера из Royal Allemand³, стащили с лошади и повели. «О, боже мой, боже мой, пощади нас и помилуй», — бормотал Дрейяк, изменяя закону тяготения и забывая, что Платон бога называл «великим геометром». Тут он вспомнил, что прислуга его называет «шевалье», и это проклятое «де» перед фамилией. «Все люди, — говорил он гарсону, который вошел, чтобы вынести чайник, — равны, все люди братья и могут отличаться только гражданскими добродетелями, любовью к народу и к неотъемлемым правам человека».

Михайло Степанович ходил смотреть взятие Бастилии; Дрейяк был уверен, не видя его вечером, что он убит, и уже начинал утешаться тем, что нашел славную турнюру⁴, как известить об этом княгиню, когда явился Столыгин, помирая со смеху при мысли, как его версальские приятели обрадуются новости о взятии Бастилии.

¹ отвара, от tisane (франц.).— *Ред.*

² «К Бастилии, к Бастилии!», от à la Bastille, à la Bastille (франц.).— *Ред.*

³ Королевской немецкой стражи (франц.).— *Ред.*

⁴ способ, от tournure (франц.).— *Ред.*

Дрейяк объявил, что долгие в Париже не останется и, несмотря на все споры и просьбы, опираясь на полномочие княгини, отстоял свое мнение с тем мужеством, которое может дать один сильный страх; делать было нечего, *дети* воротились. И маленькая француженка очутилась как-то в то же время на Литейной и сильно хлопотала об отделке своей квартиры и топала ножкой с досады, что лакей Кузьма ничего не понимает, что она говорит.

Раз вечером князь застал Михаила Степановича в слишком остром разговоре с *mademoiselle Nina*. Князь был не в духе, рассердился и обошелся колко, сухо с Столыгиным. Столыгин и уступил бы, да на беду он взглянул на плутовские глазки маленькой француженки, глазки помирали со смеху, и, щурясь, как будто говорили: «Какая ж ты дрянь». Взгляд этот подзадорил его. Ссора разгорелась. Князь, не помня себя, выбросил Столыгина за дверь и разругал его так, что на этот раз маленькая Нина ничего не поняла, а Кузьма все понял.

Они дрались. Дуэль кончилась почти ничем. Столыгин ранил князя в щеку. Это подражание Цезаревым солдатам в Фарсальской битве* вряд было ли случайно, зато оно и не прошло ему даром; раны на щеке невозможно было скрыть. Княгиня узнала через людей о дуэли и приказала Столыгину оставить ее дом.

Таким образом, лет двадцати восьми от роду, Столыгин очутился впервые на собственных ногах.

Привычный к роскоши княгинина дома, он так испугался своей бедности, хотя он очень прилично мог жить своими доходами, что сделался отвратительнейшим скрягой. Он дни и ночи проводил в придумывании, как бы разбогатеть. Одна надежда у него и была — на смерть дяди, но старик был здоров, почерк его писем был оскорбительно тверд.

Он было принялся хозяйничать, дядя вручил ему бразды правления после его выезда из дома княгини, но как-то неловко, и знал-то он плохо сельское дело и время терял на мелочи. Но человек этот, как говорят, родился в рубашке. К нему повадился ходить какой-то отставной морской офицер, основываясь на том, что он служил вместе с его вотчимом в Севастополе и знал его родительницу. Моряк имел процесс и знал,

что через связи Столыгина может его выиграть. Столыгин обещал ему, чтоб отделаться от него, поговорить с тем и с другим и, разумеется, не говорил ни с кем. Но моряк привык выжидать погоды, он всякий день стал ходить к Столыгину. Ему отказывали — он возвращался, его не пускали — он прогуливался около дома и ловил Столыгина на улице. Наконец, Михайло Степанович, выведенный из терпения, исполнил его просьбу. Офицер был безмерно счастлив.

— Чем вы намерены заниматься? — спросил его Столыгин, перебивая длинное и скучное изъяснение флотской благодарности.

— Искать частной службы по части управления имением, — отвечал моряк.

Михайло Степанович посмотрел на него и почти покраснел от мысли, как он до сих пор не подумал употребить его на дело. Действительно, человек этот был для него клад.

Моряк, как нарочно, отчасти уцелел для благосостояния хозяйства Столыгина; он летал на воздух при взрыве какого-то судна под Чесмой, он был весь изранен, поломан и помят; но, несмотря на пристегнутый рукав вместо левой руки, на отсутствие уха и на подвязанную челюсть, эта хирургическая редкость сохранила неутомимую деятельность, непрерывно разлитую желчь и сморщившееся от худобы и злобы лицо. Он был исполнителен и честен, он никого бы не обманул, тем более человека, которому был обязан важной услугой; но многим именно эта честность и эта исполнительность показались бы хуже всякого плутовства.

Михайло Степанович предложил ему ехать осмотреть его имение. Моряк отправился.

V

НАСЛЕДНИК

Столыгин ждал моряка с часу на час со всеми его проектами и планами, когда вместо его пришло красноречивое письмо Тита. Он немедленно поскакал в Москву. В Москве его ожидала новая радость, которой он не мог и предполагать. Тит Трофимов и староста, приехавшие поклониться новому барину, известили его о смерти Марфы Петровны.

— А что, есть завещание? — спросил с некоторым беспокойством Михайло Степанович.

— Покойная тетушка письмо только изволила вашей милости оставить, — отвечал Тит, вынимая бумажник.

— Ты бы с этого и начал, болван, — заметил Столыгин поспешно, вырывая из рук Тита письмо.

Лицо его просветлело при чтении, он видел ясно, что смерть таким сюрпризом подкосила стариков, что они не успели сделать «никаких глупых распоряжений».

— Кто при доме в деревне остался? За коим чортом вы оба приехали? — спросил Михайло Степанович.

— Агафья Петровна, ключница, батюшка, и покойной тетушки дядюшка майор с супругой.

— Они-то первые и растащат все, да где же бумаги?

— В кабинете покойного барина, дверь вотчинной печатью запечатана, и десятский приставлен в коридоре.

— Я завтра собираюсь в Липовку, будьте готовы.

— Милости просим, батюшка, — отвечал, низко кланяясь, староста. — Лошади дожидаются, моих тройка на *вашем* дворе, да крестьянских еще две придут под вечер в Роговскую.

— Хорошо, ступай. А ты, эй! Тит! Сейчас с Ильей Антипычем (так пазывались остатки морского офицера, задержанные в Москве вестью о кончине Льва Степановича) в доме все по описи прими, слышишь?

— Слушаю, батюшка, — отвечал Тит густым голосом.

На другой день барин и первый министр его отправились в подмосковную. На границе липовской земли ждали Михаила Степановича дворовые люди и депутация от крестьян с хлебом и солью. Староста и Тит Трофимов, ехавшие впереди в телеге, остановили дормез и доложили Михайлу Степановичу, что этот большой камень и эта большая яма означают границу его владений. Он вышел из кареты; подданные повалились в ноги, старик, седой, как лунь, с длинной бородой и с лицом буонарротиевских статуй, поднес хлеб и соль. Михайло Степанович указал Титу, чтобы он принял хлеб, и дребезжащим голосом сказал крестьянам, что благодарит их за хлеб за соль, но надеется, что они усердие свое докажут на деле.

— А что, на оброчных есть недоимка?

— Есть невеликое, батюшка, дело, — отвечал староста.

— А ты чего смотрел, у меня чтобы слово недоимка не было известно. Слышишь! Какой оброк платят, услыханное дело, дядюшка так попустил от старости. И чай, вам, православные, перед соседями совестно так мало платить.

— Они легко могут платить еще по десяти рублей с тягла, — заметил моряк.

— Еще бы. Подмосковные мужики. Видите, что люди говорят.

— Как вашей милости взгодно будет, как изволите, батюшка, установить, наше крестьянское дело сполнять, — сказал буонарротиевский старик, и мужики снова поклонились в землю, благодаря за доброе намерение лишить их стыда так мало платить.

— Об этом я поговорю завтра, собери утром на барский двор стариков.

— Это что за рожи? — продолжал помещик, обращая приветствие к дворовым. — Откуда это покойник набрал их, один Тит на человека похож. Кто это в засаленном нанковом сертуке направо-то?

— Земский Василий Никитин, — отвечал староста, — то есть он, батюшка, по ревизии записан Львом, да покойный дядюшка, взявши во двор, изволили Васильем назвать.

— Сюда от него вином пахнет. Дорогу к кабаку вы не будете у меня знать.

После этой речи он быстрыми шагами пошел по дороге с моряком, который шел возле без фуражки; староста и Тит плелись несколько отступя и не глядя друг на друга, а за ними дворовые, крестьяне, дормез и телега. Никто почти ничего не говорил, на сердце у всех было тяжело, неловко. Когда они шли по селу, дряхлые старики, старухи выходили из изб и земно кланялись, дети с криком и плачем прятались за ворота, молодые бабы с ужасом выглядывали в окна; одна собака какая-то, смелая и даже рассерженная процессией, выбежала с лаем на дорогу, но Тит и староста бросились на нее с таким остервенением, что она, поджавши хвост, пустилась во весь опор и успокоилась, только забившись под крышу последнего овина. Так достигли господского дома, тут дожидались

священник с женой и с сотами от пчелок своих, тощей, плешивый диакон и причетники с волосами, которых расчесать не было возможности. Слепой майор и молдаванка, связанная белым платком и закутанная в черную шаль покойной благодетельницы, встретили в сенях нового обладателя Липовки.

Михайло Степанович учтиво обошелся со всеми, но всем как-то стало жаль Льва Степановича больше, нежели прежде. Он попросил священника отслужить молебен с водоосвящением и потом папихиду о покойнике, осведомился, говеют ли крестьяне, и отправился в запечатанный кабинет, сопровождаемый моряком. Он нашел все в порядке — и деньги и ломбардные билеты. Говорят, что он нашел еще записку, в которой дядюшка изъявлял желание отпустить на волю дворовых, но он, справедливо заметив моряку, что, стало быть, дядя раздумал, если сам не написал отпускных, и что в таком случае отпустить их было бы противно желанию покойника, — сжег эту записку на свече.

На другой день Михайло Степанович возвестил майору и его супруге, что, свято исполняя волю покойной тетушки, поручившей ему не оставить их, он им жалует две тысячи рублей. Причем он вручил билет (по которому проценты были взяты). Потом он им объявил, что сколько ни желал бы, но не может по разным соображениям оставить за ними комнаты и советует им переехать в Москву. «Кириле Васильевичу часто может быть, — прибавил он, — нужда в докторе, ему непременно надобно жить в городе». Молдаванка хотела было просить Михайла Степановича позволить им остаться, хоть в людской избе, но, встретив холодные глаза его с рыжеватыми ресницами, она не смела вымолвить ни слова и пошла укладывать свои пожитки.

Осмотревши прочие имения и повелев беспрекословно слушать во всем моряка, он уехал в Петербург, а через несколько месяцев отправился снова за границу. Где он был, что делал в продолжение целых четырех лет? Трудно сказать. И что, собственно, его привязывало к заграничной жизни?..

Когда он воротился в Москву, моряк подал ему отчеты; другие проживаются в путешествии, Михайло Степанович

нашел во всем приращение, без всякого труда, без всяких пожертвований почти; он чрезвычайно мало давал моряку. Даже теперь, воротившись из путешествия, он отделался золотыми нортоновскими часами, которые купил по случаю и о которых рассказывал моряку, чтоб поднять их цену, что они принадлежали адмиралу Элфингстону.

Один-одинехонек жил Михайло Степанович в огромном и запустелом доме на Яузе. Что-то страшно угрюмое было в его существовании, он ни с кем не знался, редко выезжал, ничего не делал, был скуп до отвратительности и скрытно, прозаически, дешево развратен. Каждую неделю приезжал из Липовки моряк, и Столыгин оставлял его дня на два, под предлогом разных дел, а в сущности из потребности живого человека. Дворню свою он страшно теснил. У него в воображении все носился дом княгини, и он хотел достигнуть чего-то подобного, не тратя денег; задача была невозможная, на всяком шагу он видел, что ему не удастся, бесился и вымещал это на слугах. При всей своей скупости он серьезно имением не занимался, иногда только, без всякой нужды, он врывался в управление моряка, распространял ужас и трепет, брил лбы, наказывал, брал во двор, обременял совершенно ненужными работами — там дорогу велит проложить, тут сарай перенести с места на место... Показавши, таким образом, свою власть, он снова предоставлял моряку управление крестьянами.

Сверх моряка, являлся к Столыгину раза два в неделю высокий, подслепый меняла в бесконечном сертуке; моргая глазами и пошевеливая плечом, он пазывал все камни и все вещи наизнапку, что вовсе ему не мешало быть тонким знатком. Через него Михайло Степанович помещал свои деньги за баснословные проценты. Меняла, не удовлетворяясь куртажем за безносых адонисов, за новые антики и старые картины, — занимался в свободное время приятной должностью сводчика. Михайле Степановичу не хотелось выступать ростовщиком, да не хотелось тоже и капитал оставлять на одни несчастные пять процентов, которые тогда платил ломбард, так он и прибегал к услугам менялы. Несмотря на все предосторожности его, меняла все-таки надул Столыгина. Завелся процесс. Ни один сенатский секретарь, ни один герой,

поседевший в чернилах, вскормленный на справках и санда-раке*, не догадался бы никогда, чем окончится этот процесс.

Хождение по делу было поручено Столыгиним знаменитому тогда в Москве стряпчему, отставному статскому советнику Валерьяну Андреевичу Трегубскому. У стряпчего была дочь, скромная, запуганная отцом, дикая от одиночества и очень недурная собою. Михайле Степановичу она приглянулась, он любил эти скромные волокитства, не вовлекавшие в большие траты. Молодая девушка, совершенно неопытная и подбиваемая беспрерывно кухаркой, шла, сама не зная как, прямо на свою гибель. Кухарка статского советника, помогавшая Столыгину за беленькую бумажку и за золотые серьги, которые он обещал, но все не приносил, вдруг испугалась могущих быть из этой связи последствий, и раз вечером, немного напившись, все рассказала отцу, разумеется, кроме собственного участия. Старик разом убедился в справедливости доноса и в том, что предупредить поздно, но поправить самое время.

Сказать по правде, новость эта больше обрадовала его, нежели опечалила; тем не менее он с свирепостью напал на дочь, разобрал ее, отаскал по обычаю праотцев за косу, запер в чулан, словом, сделал все, что требовала оскорбленная любовь родителя. Исполнив эту тяжелую, хотя и святую обязанность, он снова сделался чем был — стряпчим и принялся делать повальный обыск в комнате дочери. Нашел он и записочки и вещицы разные, все пересмотрел внимательно, все перечитал раза два, три. Прочтенное явным образом доставляло ему удовольствие. Он взял письма к себе, принялся сам писать, писал долго, подгибая третий палец под перо и наклоня правый глаз к самой бумаге. И перемарывал он, и перечитывал, и прибавлял, и сокращал; наконец, удовлетворенный редакцией, он раза два до кашля понюхал табаку и принялся переписывать набело. Переписавши, он взял свечу и отправился к дочери.

Бедная девушка, оскорбленная, униженная, пристыженная, заплаканная, сидела в углу. Старик на все на это считал как нельзя лучше. «Убила, — говорил он ей, — убила старика отца, седины покрыла позором». Девушка стояла ни живая ни мертвая и шептала бледными губами: «Простите, простите». — «Поди

сюда, — закричал отец, — возьми перо, пиши, тут — ну же». — «Батюшка!» — «Да ты еще не слушаться, опозорила отца, да и из повиновения вышла, тебе говорят, пиши!» — и он диктовал: «Дочь статского советника Марья Валерьяновна Трегубская». Девушка писала в лихорадке, в безумии; когда отец взял у нее перо, руки ее опустились, она упала на колени перед пустым стулом и прижала к нему голову. Почтенный старец вышел, не говоря ни слова; он думал, что ему больше придется ломаться, он был даже несколько сконфужен легкой победой.

На другой день Столыгин получил от статского советника длинное письмо, он сообщал ему, что весть о том, что Михайло Степанович, опутав коварными обещаниями, поверг его дочь в гибель несчастья и лишил его последней опоры и последнего утешения, поразила его в самое сердце; что он находит, наконец, положение жертвы его соблазна сомнительным. А потому полагает, что он, наверно, свой поступок покроет божьим благословением через брак, которым возвратит ей честь, а себе спокойствие совести, которое превыше всех благ земных. Буде же (чего боже сохрани) Михайле Степановичу это не угодно, то он с прискорбием должен будет сему делу дать гласность и просить защиты у недремлющего закона и у высоких особ, богом и монархом поставленных невинным в защиту и сильным в обуздание; в подкрепление же просьбы, сверх свидетельства домашних, он с душевным прискорбием приведет разные документы, собственно Михайла Степановича рукою писанные. В заключение оскорбленный отец счел нужным присовокупить, что преступная дочь его есть с тем вместе его единственная наследница как дома, что в Хамовнической части, в третьем квартале, за № 99, так и капитала, имеющего ей достаться, когда господу богу угодно будет прекратить грешные дни его.

Михайло Степанович задохнулся от гнева и от страха; он очень хорошо знал, с кем имеет дело, ему представились траты, мировые сделки, грех пополам. О браке он и не думал, он считал его невозможным. В своем ответе он просил старика не верить клеветам, уверял, что он их рассеет, говорил, что это козни его врагов, завидующих его спокойной и безмятежной

жизни, и, главное, уговаривал его не торопиться в деле, от которого зависит честь его дочери.

Валерьян Андреевич недаром лет сорок был стряпчим; он видел, что Столыгин выигрывает время, что, следовательно, ему его терять не следует. Между разными делами, вверенными его хождению, был у него на руках длинный, запутанный процесс о горных заводах одного графа, находившегося в большой силе. Трегубский отправился к нему и вдруг, докладывая ему о течении дела, подобрал нижнюю губу, опустил щеки, сделал пресмешной вид и начал капать слезами. Граф удивился, встревожился, стал спрашивать, старик просил прощения, извинаясь своим нежным сердцем и безмерным горем, наконец рассказал всю историю, показал письма Столыгина и просьбы дочери. Граф, забывая вовсе ненужные в то время воспоминания собственных проделок, принял сердечное участие в горе несчастного старца и сказал ему, отпуская его: «Будь покоен, негодяю этому даром это не пройдет. Оставь письмо дочери у меня. Да, кстати, апелляционную записку по моему делу окончи поскорее». Старик успокоился.

Через несколько дней предводитель дворянства пригласил к себе Михайла Степановича по «экстренному и конфиденциальному делу». Осведомившись о состоянии его здоровья и об урожае озимых хлебов, предводитель спросил его — как он намерен окончить неосторожный пассаж свой с девицей Трегубской, присовокупляя, что ему велено посоветовать Михайле Степановичу кончить это дело, как следует дворянину и христианину. Столыгин пустился в ряд объяснений. Предводитель выслушал их с чрезвычайным вниманием и заметил, что все это совершенно справедливо, но что он тем не менее уверен, что Михайло Степанович оправдает доверие высоких особ и поступит как христианин и дворянин; что, впрочем, он его просит дать себе труд прочесть письмо, полученное им по поводу этой неприятной истории.

Михайло Степанович прочел письмо и положил его на стол молча и с изменившимся лицом.

— Не угодно ли вам будет теперь, — спросил его предводитель, — подписать вот эту бумажку?

Столыгин взял перо.

— Позвольте, позвольте, — с жаром заметил предводитель, вежливо вырывая из его руки перо, — это перо нехорошо, вот это гораздо лучше.

Столыгин взял лучшее перо и несколько дрожащей рукой подписал. Думать надобно, что первая бумага была очень красноречива и вполне убеждала в необходимости подписать вторую. Предводитель, прощаясь, сказал Столыгину, что он искренно и сердечно рад, что дело кончилось келейно и что он так прекрасно, как истинный патриот и настоящий христианин, решился поправить поступок, или, лучше, пассаж.

Через неделю Михайло Степанович был женат. Несмотря на то, что Москва — классическая страна бракосочетаний, но я уверен, что со времени знаменитого кутежа, по поводу которого в летописях в первый раз упоминается имя Москвы, и до наших дней не было человека, менее расположенного и менее годного к семейной жизни, как Столыгин. Благотетельное начальство исправило эти недостатки отеческим вмешательством своим.

Трудно себе представить хуже, нелепее и неловче положения бедной новобрачной. Перейдя по распоряжению высшего правительства из затворничества, в котором ее держал старый писарь, в чужой дом, в котором не было в ней нужды, в котором ничего не изменилось от ее появления, — положение ее собственно ухудшилось. Столыгин ее держал не как жену, а как крепостную фаворитку. У ней не было ни одной знакомой, Столыгин запретил ей принимать каких-то родственниц, раза два являвшихся из-за Москвы-реки позавидовать ее счастью; она сама не хотела делить досуги с племянницей моряка, которую Столыгин хотел ввести по части супружеской тайшой полиции. Она никуда не выезжала, иногда только Михайло Степанович предлагал жене проехаться в карете, одной, и тут кучеру и лакею давалась инструкция, какими улицами ехать.

Несколько лет оставалась она потерянной, оскорбляемой и безгласной. Существо доброе, готовое любить, готовое на всякую преданность, она отдавалась молча своей судьбе и, вспоминая страдания, выносимые от отца, она думала, что так и надобно, что такое положение женщины на свете.

Первый утешитель, явившийся ей, был малютка Анатолий, родившийся через год после ее свадьбы; впоследствии он же и развил, и воспитал, и освободил ее.

Рождение сына на несколько степеней поправило положение Марьи Валерьяновны. Столыгин был доволен сходством. Он до того расходился в первые минуты радости, что с благосклонной улыбкой спросил Тита: «Ты видел маленького?», и, когда Тит отвечал, что не сподобился еще этого счастья, он велел кормилице показать Анатолия Михайловича Титу. Тит подошел к ножке поворожденного и со слезами умиления три раза повторил: «Настоящий папенька, вылитый папенька, папенькин потрет».

Михайло Степанович, очень довольный, тут же отдал приказ, чтобы люди вставали, когда проходит кормилица с маленьким барином; а кормилице, напротив, разрешил сидеть даже в своем присутствии, чего, впрочем, она никогда не делала, повинаясь инструкциям моряка. Кормилица была из Липовки. За две недели до родов Марьи Валерьяновны приказал Столыгин моряку выслать для выбора двух-трех здоровых, красивых и недавно родивших баб с их детьми. Моряк выслал шесть, и мера эта оказалась вовсе не излишней; от сильного мороза и слабых тулупов две лучшие кормилицы, отправленные на пятый день после родов, простудились и так основательно, что потом сколько их старуха-птичница ни окуривала калганом и сабуром*, все-таки водяная сделалась; у третьей на дороге с ребенком родимчик приключился, вероятно, от дурного глаза, и, несмотря на чистый воздух и прочие удобства зимнего пути в пошевнях, он умер не доезжая Реполовки, где обыкновенно липовские останавливались; так как у матери от этого молоко поднялось в голову, то она и оказалась неспособной кормить грудью. Остались три для выбора, согласно желанию Михайла Степановича. Из них он сам с повивальной бабкой избрали женщину действительно замечательную. Будучи третий год замужем, она еще не утратила ни красоты, ни здоровья, и была то, что называется кровь с молоком, со сливками даже, можно сказать. На организм, который не только безнаказанно, но так торжественно вынес бедность, работу, отца, мать, жни-тво, мужа, двух снох, старосту, свекровь и барщину, можно

было слепо положиться. Кормилица на барском дворе в два месяца сделалась вдвое толще и румянее. Так что свекровь, приходившая иногда из деревни, не могла без ненависти видеть ее и всякий раз бормотала, выходя из ворот: «Вишь, разъелась на барских чаях какая. Дай срок, воротись домой, спустим жир... Погоди». Говорят, что простодушная старушка добросовестно сдержала обещание.

Для дворни малютка сделался новым источником гонений и несчастий. Стук во время его сна, сквозной ветер, отворенная дверь — все это выводило из себя Столыгина. Что вынесла бедная няня, та самая Настасья, которая послужила невольной причиной смерти Льва Степановича, мудроно себе представить. Кормилице дозволялось иногда спать, Настасья должна была день и ночь быть налицо. Она раздевалась раз только в неделю — в бане. Настасье было приказано, чтобы летом в детской не было мух; она отвечала за крик ребенка, за то, что он падал, начиная ходить, за насморк, который делался от прорезывания зубов... И подите, исследуйте тайны сердца человеческого — Настасья любила до безумия ребенка, существованием которого отравлялась вся жизнь ее, за которого она вынесла сколько нравственных страданий, столько и физической боли. Марья Валерьяновна, сколько могла, вознаграждала ее и лаской и подарками, но сама чувствовала, какую бедную замену она ей дает за лишения всякого покоя, за вечный страх, вечную брань и вечное преследование.

Пока ребенок был зверком, баловству со стороны Михаила Степановича не было конца; но когда у Анатоля начала развиваться воля, любовь отца стала превращаться в гонение. Болезненный эгоизм Столыгина, раздражительная капризность и избалованность его не могли выносить присутствия чего бы то ни было свободного; он даже собачонку, не знаю как попавшуюся ему, до того испортил, что она ходила при нем повеся хвост и опустя голову, как чумная.

Марья Валерьяновна, до тех пор кроткая и самоотверженная, явилась женщиной с характером и с волей непреклонной. Она не только решилась защитить ребенка от очевидной порчи, но, уважая в себе его мать, она сама стала на другую ногу.

Эту оппозицию тотчас заметил Михайло Степанович и решил-ся сломить ее во что бы то ни стало.

Пяти-шестилетний Анатолий был свидетелем грубых, отвратительных сцен, нервный и нежный мальчик судорожно хватался за платье матери и не плакал, а после ночью стонал во сне и, проснувшись, дрожа всем телом, спрашивал няню: «Папаша еще тут, ушел папаша?» Марья Валерьяновна чувствовала необходимость положить предел этому и не знала как. Обстоятельства, как всегда бывает, помогли ей.

В гостиной стояла горка, на которой были расставлены всякие ненужности, взятые у менялы, для поощрения его. Анатолий, тысячу раз игравший этой дрянью, подошел к горке и взял какую-то фарфоровую куклу.

— Не тронь! — закричал отец.

Анатолий посмотрел на него с испугом, оставил куклу и через две минуты опять ее взял. Михайло Степанович подошел к нему, схватил за руку и дернул его с такой силой, что он грянулся об пол и разбил себе до крови лоб. Мать и няня бросились к нему.

— Оставьте его, это вздор, капризы! — закричал отец.

Няня приостановилась в недоумении, но мать, не обращая никакого внимания на слова мужа, подняла Анатолия и понесла его, говоря:

— Пойдем, дружок мой, в детскую, папаша болен.

— Да ты слышала или нет, что я сказал? — спросил Михайло Степанович. — Оставь его.

— Ни под каким видом, — отвечала оскорбленная мать, — как можно оставить ребенка с человеком в припадке безумия?

— Это что значит? — спросил Столыгин, дрожа всем телом от бешенства.

— То, — отвечала Марья Валерьяновна, — что есть всему мера, и если вы сошли с ума, то мой долг положить предел вашему вредному влиянию на ребенка.

Михайло Степанович не дал ей кончить, он ударил ее. Анатолий взвизгнул и помертвел.

Марья Валерьяновна, пришедши в спальню, бросилась на колени перед образом и долго молилась, обливаясь слезами, потом она поднесла Анатолия к иконе и велела ему приложиться,

одела его, накинула на себя шаль и, выслав Настю и горничную зачем-то из девичьей, вышла с Анатодем за ворота, не замеченная никем, кроме Ефима. На дворе смерклось; Марья Валерьяновна почти никогда не выходила вечером на улицу, ей было страшно и жутко; по счастью, извозчик, ехавший без седока, предложил ей свои услуги, она кой-как уселась на калибере, взяла на колени Анатоля и отправилась к отцу в дом. Сходя с дрожек, она сунула извозчику в руки целковый и хотела взойти в ворота; но извозчик остановил ее, он думал, что она ему дала пятак, и сказал:

— Нет, барыня, постой, как можно, — и, разглядевши, что это не пятак, а целковый, продолжал тем же тоном и несколько не потерявшись: — Как можно целковый взять с двоих, синенькую следует получить, матушка.

Она бросила ему какую-то монету и взойшла в ту несчастную калитку, из-за которой лет шесть тому назад, бог знает под влиянием какой чары, вышла на первое свидание с человеком, которого судьба избрала на то, чтобы мучить ее целую жизнь.

Когда Михайло Степанович пришел в себя, он понял, что переступил несколько границу. «Ну, да что же делать, — думал он, — у меня нрав такой, пора в самом деле привыкнуть, сердит меня как нарочно, *et ensuite elle devient impertinente*¹, я не могу своего сына воспитывать по моим идеям». Утешивши себя такими рассуждениями, он отправился в гостиную, однако на лице его было видно, что как ни убедительны они были, но совесть не совсем была покойна. Большая гостиная была пуста и мрачна, освещенная двумя сальными свечами. Он сидел на диване — пусто, нехорошо. «Сенька! — закричал он, и мальчик лет двенадцати, одетый казачком, показался в дверях. — Скажи Наське, чтобы привела Анатоля Михайловича».

Казачок вышел, но долго не возвращался, слышны были голоса, шопот, шаги; Тит, бледный, как смерть, стоял в зале, Настасья с заплаканными глазами ему объясняла что-то, Тит качал головой и приговаривал: «Господи боже мой, прости

¹ и потом начинаст дерзить (франц.). — *Ред.*

наши прегрешения». Через несколько минут казачок взошел с докладом: «Анатоля Михайловича дома нет, их барыня изволили взять с собою».

— Что... о... о...о?

Казачок повторил.

— Что ты врешь, пошли Наську и Тита.

Наська и Тит взошли.

— Куда барыня пошла? — спросил Столыгин.

— Не могу доложить, — отвечала старуха, дрожа всем телом, — меня изволили послать за водой, изволили надеть желтую шаль — я думала так, от холоду...

— Молчи и отвечай только на то, что я спрашиваю. Ну, а ты, старый разбойник, ты чего смотрел, Тит Трофимович, домоправитель? Кто пошел за барыней?

— Виноват, батюшка, Михайло Степанович, бог попутал на старости лет, я не видал.

— Виноват, батюшка, — передразнил его Столыгин, входивший более и более в ярость, позови, старый дурак, Кузьку и Оську да дурака Ефимку и кучеров.

Люди переглянулись с ужасом друг на друга, они очень хорошо знали, что значит приглашение кучеров...

На другой день утром Тит, Настасья и двое лакеев валялись в ногах у Марьи Валерьяновны, утирая слезы и умоляя ее спасти их. Столыгин велел им или привести барыню с сыном или готовиться в смиренный дом и потом на поселение. Седой и толстый Тит ревел, как ребенок, приговаривая:

— Сгубит он нас, матушка, со света божьего сгонит.

— Марья Валерьяновна, — говорила Настасья, — спаси ты нас, заступница наша, или уж оставь меня здесь.

— Я домой не пойду, — прибавил старик, — я с Каменного моста брошусь в воду, один копец.

Марья Валерьяновна долго молчала, тяжело ей было, она еще раз взглянула на эти растерянные и отчаянные лица, встала и сказала грустным голосом:

— Так и быть, я спасу вас, я не могу допустить, чтобы он замучил вас за меня, я возвращусь теперь, может, на свою собственную гибель. Только молитесь же бога, чтобы не на гибель малютки.

— Мать ты наша родная! — говорил Тит, — Иверской божьей матери отслужим молебен, всей дворней свечу десятифунтовую поставим.

Марья Валерьяновна явилась домой не как виновная и беглая жена, а с полным сознанием своей правоты и своего призвания быть защитницей сына. Она покойно и твердо объявила Столыгину, что возвратилась только для того, чтобы спасти совершенно невинных людей от его бешенства, но что она решилась не жертвовать более сыном необузданности такого отца.

— Ох, — говорил Михайло Степанович, притворившийся больным, — ох, *ma chère*¹, зачем это ты употребляешь такие слова, мое ухо не привыкло к таким выражениям. У меня от забот, от болезни (он жаловался на аневризм, которого у него, впрочем, не было) бывают иногда черные минуты — надобно кротостью и добрым словом остановить, а не раздражать, я сам оплакиваю несчастный случай, — и он остановился, как бы подавленный сильными чувствами.

Но на Марью Валерьяновну его речи более не действовали. Весь *prestige*², окружавший его, исчез, она чувствовала себя настолько выше, настолько сильнее его, что у ней начала развиваться жалость к нему.

После этой истории Столыгин стал себя держать попристойнее. Марья Валерьяновна с сыном жила большую половину года в деревне; так как это значительно уменьшало расходы, то муж и не препятствовал. Смерть доброго старика Валерьяна Андреевича, случившаяся через несколько лет, снова запутала и окончательно расстроила жизнь, устроенную Марьей Валерьяновной.

Он умер вскоре после московского пожара. Старик оставался все время войны в Москве, довольно счастливо скупая, долю у французов, долю у казаков, разные серебряные и золотые вещицы. По выходе неприятеля он подавал просьбу о денежном вспоможении для поправления дома, сожженного богопротивным врагом во время нашествия галлов и с ними

¹ дорогая моя (франц.). — *Ред.*

² ореол (франц.). — *Ред.*

дванадцати язык. Но, несмотря на то, что его просьба была совершенно несправедлива, он получил отказ. Это его сильно огорчило, он помаячил еще годик да и умер, оставивши Марью Валерьяновне дом, золотые и серебряные безделушки и толстую пачку ломбардных билетов.

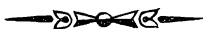
Марья Валерьяновна в это время была в Петербурге, куда Столыгин переехал во время приближения неприятеля. Дом их на Яузе сгорел. Моряк отстраивал его медленно, потому что Столыгин скупился на деньги. Старик перед смертью звал дочь проститься. Она поехала, но не застала его. Моряк, имевший уже свои инструкции, распоряжался в доме ее отца, как на корабле, взятом в плен. Марья Валерьяновна молчала, но билеты ломбардные прибрала. Михайло Степанович не давал почти вовсе денег на воспитание сына, да и сверх того она хотела на всякий случай иметь капитал в своих руках.

Это обстоятельство снова ее поссорило с мужем. Переписка их приняла горький тон. Видя непреклонность жены, Столыгину пришла в голову мысль воспользоваться разлукой ее с сыном, чтобы поставить на своем.

Он писал моряку во всяком письме, чтобы все было готово для его приезда, что он на днях едет, и нарочно оттягивал свой отъезд. Возвратившись наконец в свой дом на Яузе, он прервал все сношения с Марьей Валерьяновной, строго запретил людям принимать ее или ходить к ней в дом. «Я должен был принять такие меры,— говорил он,— для сына; я все бы ей простил, но она женщина до того *эгрированная*¹, что может пошатнуть те фундаменты морали, которые я с таким трудом вывожу в сердце Анатоля».

Разумеется, ему никто не верил, кроме моряка, да и тот более верил из дисциплины и подчиненности, нежели из убеждения, и защищал Столыгина только следующим выразительным аргументом: «Все же ведь, как там угодно, а она супруга Михайла Степановича, а Михайло Степанович, как бы то ни было, все же ее супруг есть!..»

¹ озлобленная, от *aigre* (франц.).— *Ред.*



ВМЕСТО ПРОДОЛЖЕНИЯ

В начале 1848 года я посылал эту часть повести в Петербург. Несмотря на повторенное объявление на обертке одного журнала, печатать ее не позволили. Отчего? Не понимаю; судите сами, повесть перед вами.

Тогда именно в России был сильнейший припадок ценсурной болезни. Сверх обыкновенной гражданской ценсуры, была в то время учреждена другая, военная, составленная из генерал-адъютантов, генерал-лейтенантов, генерал-интендантов, инженеров, артиллеристов, начальников штаба, свиты его величества офицеров, плац- и бау-адъютантов, одного татарского князя и двух православных монахов под председательством морского министра*. Она разбирала те же книги, но книги, авторов и ценсоров вместе.

Эта осадная ценсура, руководствуясь военным регламентом Петра I и греческим Номоканоном*, запретила печатать что бы то ни было писанное мною, хотя бы то было слово о пользе тайной полиции и явного самодержавия или задушевная переписка с друзьями о выгодах крепостного состояния, телесных наказаний и рекрутских наборов*.

Запрещением своим лейб-ценсурный аудиторiat* напомнил мне, что русским пора печатать вне России, что нам нечего сказать такого, что могла бы пропустить военно-судная ценсура.

.....Не находя силы продолжать повесть, я расскажу вам ее план.

Мне хотелось в Анатоле представить человека, полного сил, энергии, способностей, жизнь которого тягостна, пуста,

ложна и безотраднa от постоянного противуречия между его стремлениями и его долгом. Он усиливается и успевает всякий раз покорять свою мятежную волю тому, что он считает обязанностью, и на эту борьбу тратит всю свою жизнь. Он совершает героические акты самоотвержения и преданности, тушит страсти, жертвует влечениями и всем этим достигает того вялого, бесцветного состояния, в котором находится всякая посредственная и бездарная натура. Сила этого человека должна была потребиться без пользы для других, без отрады для него.

Этот характер и среда, в которой он развивался, — наша родная почва, или, лучше, наше родное болото, утягивающее, морящее исподволь, заволакивающее непременно всякую личность, как она там себе ни бейся, — вот что мне хотелось представить в моей повести.

С самой первой юности Анатолий втянут в роковое столкновение с долгом. Перед ним в страшной нелепости является родительская власть. Он ненавидит Михайла Степановича, но он переламывает свое естественное отвращение и повинуется этому человеку, потому что он его отец.

Гонимый и притесняемый, Анатолий нашел выход, который находят все юноши с теплым и чистым сердцем: он встретил девушку, которую полюбил искренно, откровенно. Для их счастья недоставало одного — воли.

Пришла и она.

Михайло Степанович наконец умер, к неописанной радости дворовых людей. Анатолий, как Онегин:

Ярем он барщины старинной
Оброком легким заменил,
Мужик судьбу благословил*,

а семидесятилетний моряк слег в постель и не вставал больше от этого «дебоша»; он, грустно качая головой, повторял: «А все библейское общество, все библейское общество, это из Великобритании идет»*.

Анатолий между тем начинал чувствовать усталость от своей любви, ему было тесно с Оленькой, ее вечный детский лепет утомлял его. Чувство, нашедшее свой предел, непрочное, бес-

конечная даль так же нужна любви и дружбе, как изящному виду.

Оленька принадлежала к тем милым, но неглубоким и неразвивающимся натурам, которые, однажды вспыхнув сильным чувством, *готовы*, оседают и уже дальше не идут.

Когда Анатоль убедился, что он ее не любит, он ужаснулся своей сухости, своей неблагодарности; в несчастии он не находил другой отрады, иного утешения, как в ее любви, а теперь, свободный, богатый, он готов ее покинуть. Разумеется, после этого рассуждения он женился.

Близость лиц — факт психологический, легко любить ни за что и очень трудно любить за что-нибудь. Людские отношения, кроме деловых, основанные на чем-нибудь вне вольного сочувствия, поверхностны, разрушаются или разрушают. Быть близким только из благодарности, из сострадания, из того, что этот человек мой брат, что этот другой меня вытащил из воды, а этот третий упадет сам без меня в воду, — один из тягчайших крестов, которые могут пасть на плечи.

Анатоль через несколько месяцев после брака был несчастен и губил своим несчастием бедную Оленьку.

Мой герой (вы, может, и не подозреваете этого) был конногерским офицером; вскоре после его свадьбы его назначили адъютантом корпусного начальника, который ему был сродни.

Корпусный командир был не кто иной, как наш старый знакомый князь, — князь, взявший с собой из Парижа маленькую Нину, в то время как парижский народ брал Бастилию. Он славно сделал свою карьеру и воротился из кампании в 1815 году обвешанный крестами всех немецких государей, введенных казаками во владение, и млечным путем русских звезд. Он был прострелен двумя пулями и весь в долгах. Он уже плохо видел, нетвердо ступал, неясно слышал, но все еще с некоторым *fion*¹ зачесывал седые волосы *à la Titus**, подтягивал мундир, прыскался духами, красил усы, волочился за барышнями и, бог знает для чего, кажется, из одного приличия, держал французскую актрису на содержании.

¹ шиком (франц.). -- *Ред.*

Это лицо меня чрезвычайно занимало; его мне хотелось особенно отделать. Князь должен был принадлежать к типу людей, который утрачивается, который я еще очень хорошо знал и который необходимо сохранить, — к типу русского генерала 1812 года.

Русское общество с Петра I раза четыре изменяло нравы. Об екатерининских стариках говорили очень много, но люди александровского времени будто забыты, оттого ли, что они ближе к нам или от чего другого, но их мало выводят на сцену, несмотря на то, что они совсем не похожи на современных актеров «памятной книжки» и действующих лиц «адрес-календаря»*.

При Екатерине сложилась в высшем петербургском обществе не аристократия, а какое-то служилое вельможничество, надменное, гордое и недавно сделанное ручным. С 1725 и до 1762 года эти люди участвовали во всех низвержениях и возведениях на престол, они распоряжались русской короной, упавшей на финскую грязь, как своим добром, и очень хорошо знали, что ножки петербургского трона не так-то крепки и что не только Петропавловская крепость и Шлюссельбург, но Пелым и вообще Сибирь не так-то далеки от дворца. Крамольная горсть богатых сановников, с участием гвардейских офицеров, двух-трех немецких плутов, храня наружный вид рабского подобострастия и преданности, сажала кого хотела на царское место, давая знать о том к сведению другим городам империи; в сущности, народу было безразлично имя тех, которые держали кнут, спине одинаково было больно.

Ангальт-Цербстская принцесса, произведенная Орловыми в чин императрицы всероссийской, умела с лукавою хитростью женщины и куртизаны обстричь волосы буйным олигархам и усыпить их дикие порывы важным почетом, милостивой улыбкой, крестьянскими *душами*, а иногда своим собственным высочайшим *телом*. Из них образовалось в половине ее царствования вельможничество, о котором мы говорили. В этих людях было смешано русское патриархальное барство с версальским царедворством, неприступная «морга»¹ западных

¹ спесь, от morgue (франц.). — *Ред.*

аристократов и удаль казацких атаманов, хитрость дипломатов и зверство диких. Люди эти были спесивы по-русски и дерзки по-французски; они обходились учтиво с одними иностранцами; с русскими они иногда были ласковы, иногда милостивы, но всем, до полковничьего чина, говорили ты. Ограниченные и надутые собой, вельможи эти хранили какое-то чувство собственного достоинства, любили матушку императрицу и святую Русь. Екатерина II щадила их и снисходительно слушала их советы, не считая нужным исполнять их.

Тяжелый и важный век этих старых ворчунов, обсыпанных пудрой и нюхательным табаком, сенаторов и кавалеров ордена св. Владимира первой степени, с тростью в руках и гайдуками за каретой, — век этих стариков, говоривших громко, смело и несколько в нос, — был разом подрезан воцарением Павла Петровича.

Он в первые двадцать четыре часа после смерти матери сделал из роскошного, пышного, сладострастного мужского сераяля, называвшегося Зимним дворцом, казарму, кордегардию, острог, экзерциргауз и полицейский дом. Павел был человек одичалый в Гатчине, едва сохранивший какие-то смутные рыцарские порывы от прежнего состояния; это был бенгальский тигр с сентиментальными выходками, угрюмый и влюбленный, вечно раздраженный и вечно раздражаемый; он, наверное, попал бы в сумасшедший дом, если бы не попал прежде на трон.

Перевернул он старых вельмож, привыкших при Екатерине к покою и уважению. Ему не нужны были ни государственные люди, ни сенаторы, ему нужны были штык-юнкеры и каптенармусы. Недаром учил Павел на своей печальной даче лет двадцать каких-то троглодитов новому артикулу и метанью эспонтоном*; он хотел ввести гатчинское управление в управление Российской империи, он хотел царствовать по темпам*.

В такой простой, в такой наивной форме самовластье еще ни разу не являлось в России, как при Павле. Это был бред, хаос; его *марсомания*, которую он передал всем своим детям, доходила до смешного, до презрительного и в то же время до трагического; этот коронованный Казимодо со слезами на глазах бил рукою такт, разгорался в лице, был счастлив, когда солдаты верно маршировали. Те же пароксизмы бывали потом

у цесаревича Константина. Свирепости Павла не оправдываются даже государственными необходимостями, его деспотизм был бессмысленный, горячечный, ненужный; кого пытал он и ссылал толпами с своим генерал-прокурором Обольяниновым и за что? Никто не знает. Но вельмож он приструнил, струсили они и вспомнили, что они такие же крепостные холопы, как их слуги. С ужасом смотрели они, как император «шутит шутки нехорошие», то того в Сибирь, то другого в Сибирь; они втихомолку укладывались и тащились на крестьянских лошадях в тяжелых колымагах в Москву и в свои жалованные покойной императрицей вотчины.

Там их и оставил Александр после кончины Павла; он не считал нужным вызывать из деревень маститых государственных людей, благо они засели, обленились и задремали, учреждая в своих поместьях небольшие дворчики вроде екатерининских. Александр окружил себя новым поколением.

Поколение, захваченное в гвардии павловской сиверкой, было бодро и полно сил. События их довоспитали. Шуточное ли дело Аустерлиц, Ейлау, Тилзит, борьба 1812 года, Париж в Москве, Москва в Париже?

Старые гвардейцы возвращались победоносными генералами. Опасности, поражения, победы, соприкосновение с армией Наполеона и с чужими краями, все это образовало их характер; смелые, добродушные и очень недалекие, с религией дисциплины и застегнутых крючков, но и с религией чести, они владели Россией до тех пор, пока подросло николаевское поколение военных чиновников и статских солдат.

Люди эти занимали не только все военные места, но девять десятых высших гражданских должностей, не имея ни малейшего понятия о делах и подписывая бумаги, не читая их. Они любили солдат и били их палками не на живот, а на смерть оттого, что им ни разу не пришло в голову, что солдата можно выучить, не бивши его палкой. Они тратили страшные деньги, и, не имея своих, тратили казенные; красть собак, книги и казну у нас никогда не считалось воровством. Но они не были ни доносчиками, ни шпионами и за подчиненных стояли головой.

Один из полнейших типов их был граф Милорадович, храбрый, блестящий, лихой, беззаботный, десять раз выкупленный

Александром из долгов, волокита, мот, болтун, любезнейший в мире человек, идол солдат, управлявший несколько лет Петербургом не зная ни одного закона и как нарочно убитый в первый день царствования Николая.

Когда раненого Милорадовича принесли в кошко-гвардейские казармы и Арендт, осмотрев его раны, приготовился вынуть пулю, Милорадович сказал ему: «Ну, та foi¹, рана смертельная, я довольно видел раненых, так уж если надо еще пулю вынимать, пошлите за моим старым лекарем; мне помочь нельзя, а старика огорчит, что не он делал операцию». Действительно, пулю вынул старый лекарь, заливаясь слезами. После операции адъютант спросил графа, не желает ли он продиктовать какие-нибудь распоряжения. Милорадович тотчас потребовал нотариуса; но когда тот пришел, он думал, думал — и сказал наконец: «Ну, братец, это очень мудро, ну так все как по закону следует, разве вот что — у одного старого приятеля моего есть сын, славный малый, но такая горячая голова, он, я знаю, замешан в это дело, ну, так напишите, что я, умирая, просил государя его помиловать, больше, та foi, ничего не знаю».

Потом он умер, и хорошо сделал.

Прозаическому, осеннему царствованию Николая не нужно было таких людей, которые, раненные насмерть, помнят о старом лекаре, и, умирая, не знают, что завещать, кроме просьбы о сыне приятеля. Эти люди вообще неловки, громко говорят, шумят, иногда возражают, судят вкривь и вкось; они, правда, готовы всегда лить свою кровь на поле сражения и служат до конца дней своих верой и правдой; но войны внешней тогда не предвиделось, а для внутренней они не способны. Говорят, что граф Бенкендорф, входя к государю — а ходил он к нему раз пять в день, — всякий раз бледнел — вот какие люди нужны были новому государю. Ему нужны были агенты, а не помощники, исполнители, а не советники, вестовые, а не воины. Он никогда не мог придумать, что сделать из умнейшего всех русских генералов — Ермолова, и оставил его в праздности доживать век в Москве.

¹ право (франц.). — *Ред.*

Надобно было много труда, усилий, времени, чтоб воспитать современное поколение чиновников по особым поручениям, корреспондентов, генералов «от чернил» и прочих жандармов под разными учтивыми названиями, чтобы дойти до той степени совершенства и виртуозности, до которой дошло петербургское правительство теперь.

Да, износил, истер, искажил все хорошее александровского поколения, все, хранившее веру в близкую будущность Руси, жернов николаевской мельницы, целую Польшу смолол, балтийских помещиков зацепил, бедную Финляндию, и все еще мелет, все мелет...

У отца была белая горячка самовластья, *delirium tyrannorum*¹, у сына она перешла в хроническую *fièvre lente*². Павел душил из всех сил Россию и в четыре года свернул шею — не России, а себе. Николай затягивает узел исподволь, не торопясь — сегодня несколько русских в рудники, завтра несколько поляков, сегодня нет заграничных пассов*, завтра закрыты две, три школы... Двадцать седьмой год трудится его величество, воздуху нам недостает, дышать трудно, а он все затягивает — и до сих пор, слава богу, здоров.

В царствование Николая желтая, желчная, злая фигура Аракчеева нежно исчезает — Рогнедой, плачущей на гробе Анастасии, но школа его растет, но его ставленники, его ученики идут вперед. Школа писарей, кантонистов и аудиторов, дельцов и флигельманов, людей бездарных — но точных, людей бездушных — но полных честолюбия, людей посредственных — но которых «усердие все превозмогает»*!

Для этих людей, может, найдется место в министерствах и в арестантских ротах, но, наверно, нет в повестях...³

Как попал Анатолий в военную службу, трудно сказать. Эти вещи у нас дельвались обыкновенно случайно. Сверх того, гражданская служба не могла нравиться, серьезно управ-

¹ безумие тиранов (лат.). — *Ред.*

² изнурительную горячку (франц.). — *Ред.*

³ В первом издании тут были пропущены несколько страниц; мы их помещаем в том виде, в котором они были написаны в Ницце в 1851 году.

лять именем еще не считалось делом, оставалась одна военная карьера.

Попавши в адъютанты к князю, Анатолий погибал от скуки. Юнкером он по крайней мере физически развлекался гимнастикой манежа и ученья. Адъютантом он ездил с князем на балы и обеды и праздно сидел по нескольку часов у него в зале. Но скучать ему пришлось недолго, новое скорбное столкновение воли с долгом вполне рассеяло его. В то время, когда всего менее кто-либо ждал похода, восстала Польша. Князь получил приказ выступить с своим корпусом и идти примкнуться к войску Дибича. Все засуетилось в его армии, князь ожил, забыл свои лета, целые дни верхом делал смотры и ревизии. Офицеры радовались отличиям и быстрому повышению, солдаты радовались, что не будет учений, непрерывных смотров во время похода.

Анатолий, хранивший свято юную мечту студентского периода, хотя и удовлетворялся собственным одобрением за благородное биение сердца и искренним желанием освобождения крестьян, тем не менее все благородные симпатии его были за Польшу, на которую он шел врагом, палачом, слугой деспотизма¹, — что же ему было делать? Подавать в отставку было поздно, сказаться больным — выдадут за труса. С непреодолимым отвращением, почти с раскаянием, явился он на поле битвы, совался в огонь без всякой нужды, но пули обходили его, а храбрость его была замечена; князь привязал ему сам георгиевский крест в петлицу. Товарищи завидовали ему.

На приступе Варшавы граф Толь подъехал с князем к первому взятому бастиону, распаловал майора, поздравил его с крестом и потом спросил его, указывая на толпу пленных: «Кто же у вас будет их беречь?» Майор, державший платок на ране, молчал и с испуганным недоумением смотрел в глаза генералу. «На приступе, — сказал Толь, — каждый человек нужен; если все офицеры наберут столько пленных, половина

¹ Я рассказываю здесь план моей довести так, как он складывался в моей голове. Разумеется, мне нельзя бы было говорить о Польше и о восстании иначе как памеками.

солдат выбудут из строя, — он сделал знак рукой и прибавил: — Понимаете?»¹ Майор понимал, но не говорил ни слова. Толь поморщился и, обернувшись к Анатолю, сказал ему полголоса: «Господин адъютант, майор, кажется, ослаб от раны, скажите старшему капитану: *il faut en finir avec les prisonniers*»². Анатолий стоял как вкопанный, рука его будто приросла к шляпе. «Ну чего ж вы ждете? Скажите, что я велел их расстрелять; адъютант ваш не очень расторопен», — заметил он князю, повертывая лошадь и показывая ему зрительной трубой как-то осадные работы.

Старший капитан отдал нужные приказания и сказал майору и Анатолю: «А впрочем, я охотнее пошел бы еще раз на бастион — бить безоружного не манер. Эй, — закричал он, — Федосеев, выведи людей!» Анатолий хотел ускакать, но был остановлен колонной охотников, шедших с песнями и с криками «ура!» на приступ. За ним раздались отрывистые слова команды и ружейный залп грянул почти в то же время. Анатолий обернулся — человек двадцать пленных лежали в крови, одни мертвые, другие в судорогах, — столько же живых и легко раненых стояли у стены. Одни, обезумевшие от страха, судорожно хохотали, кричали и плакали, два-три человека громко читали молитвы по-латыни, третьи, бледные, стиснув зубы, с гордостью смотрели на палачей. В их числе был белокурый юноша; он остановил взгляд своих больших голубых глаз на Анатоле, в этом взгляде, рядом с укором, видно было столько презрения, что Анатолий опустил голову. У солдат дрожали руки, сам унтер-офицер Федосеев, хотя для поддержания чести и говорил: «Эк живучи эти поляки!», но был бледен и не в своей тарелке.

«Вторая ширинга впе-ред! Шай-клац!» — командовал капитан; ружья склонились и брякнули. У Анатолия потемнело в глазах, он покачнулся и дал шпоры лошади, но лошадь вдруг поднялась на дыбы и брякнулась наземь — осколок русской бомбы ранил лошадь и раздробил Анатолию плечо; новая толпа охотников шла с песнями и гарцеваньем мимо раненого. Анатолий лишился сознания.

¹ Это — истинное происшествие, рассказанное мне самим офицером.

² с пленными надо покончить (франц.). — *Ред.*

Недель через шесть Анатолий выздоравливал в лазарете от раны, но история с пленными не проходила так скоро. Все время своей болезни он бредил о каких-то голубых глазах, которые на него смотрели в то время, как капитан командовал: «Вторая шпиринга вперед!» Больной спрашивал, где этот человек, просил его привести — он хотел ему что-то объяснить и потом повторял слова Федосеева: «Как поляки живучи!»

Князь, жалевший очень своего адъютанта, говорил, что он, повидимому, контужен в голову и потому заговаривается, впрочем, надеялся, что он выздоровит, и приводил в пример разных раненных в голову в 1812 и 13 годах.

Анатолий вышел в отставку и поехал к водам. Слабый от раны и убитый духом выехал он из Варшавы. Голубые глаза поляка преследовали его, ему казалось, что он несколько раз встречал молодого страдальца, который, может, избежал смерти; ему казалось, что он узнаёт то же выражение укора, беспокойной печали и презрения, смешанного почти с сожалением. Несколько раз хотелось ему подойти взять за руку незнакомца и рассказать ему, как он попал на поле сражения. Но польские раны были еще слишком свежи, время понимать друг друга и мириться еще не приходило, и он останавливался, боясь холодного ответа.

В Познани он на станции вышел из коляски и велел ей ехать за собой, когда заложат лошадей, а сам пошел пешком. В нескольких шагах от деревни стояла в небольшой нише мадонна, перед ней на коленях молился молодой поляк — опять он и, может, в самом деле. Несчастный был скорее похож на мертвеца, умершего после изнурительной болезни и которого забыли схоронить, нежели на живое существо лет двадцати. Он был в военной шинели, рука лежала на перевязке, челюсть и ухо были подвязаны, сухие посиневшие губы и белая бледность свидетельствовали о лихорадке и потере крови. Он только что перебрался через границу и был еще весь под влиянием счастливого спасения; Анатолий заговорил с ним. Сначала раненный вздрогнул, не скрывая, что встреча с русским ему неприятна.

Анатолий не хотел пропустить этой встречи; он взял его за руку и просил выслушать его. Он говорил долго и горячо.

Удивленный поляк слушал его с вниманием, пристально смотрел на него и, глубоко потрясенный, в свою очередь сказал ему: «Вы прилетели, как голубь в ковчег, с вестью о близости берега, и именно в ту минуту, когда я покинул родину и начинаю странническую жизнь. Наконец-то начинается казнь наших врагов, стан их распадается, и если русский офицер так говорит, как вы, еще не все погибло!»

Анатоль был счастлив, они поехали вместе.

Что унижений, что холоду и оскорблений должен был вынести Анатоль в этом путешествии! Для каждого польского выходца в то время путешествие было рядом торжеств, симпатических приемов; на каждого русского народы смотрели с затаенной злобой, как на сообщника Николая. Раза два граф Ксаверий должен был, избегая неприятностей со стороны раздраженной толпы, выдавать Анатоля за поляка. Действительная нелюбовь к русским идет с этого времени, мы ею обязаны Николаю.

В этой встрече Анатоля с графом Ксаверием мне хотелось представить нашу русскую натуру, широкую, но распущенную, многостороннюю, но неустоявшуюся, в соприкосновении с натурой польской—определенной, испытанной, односторонней, не идущей вперед, но твердо стоящей на своей почве. У Анатоля были прекрасные стремления, но они больше определялись отрицательно и никогда не приходили в ясность. У поляка во внутренней жизни все было кончено, решено, он шел своим путем, не возвращаясь к точке отправления, не подвергая всякий шаг непрерывной критике, не пытая его сомнением. В его образе мыслей была очевидная непоследовательность, перелом, но это не уменьшало его энергической деятельности и, главное, не мешало ему. Он был католик и революционер, аристократ и бунтовщик, светский человек в нашем смысле слова — и цородистый поляк. Отважный, твердый, фанатик чести, надежный заговорщик, он был бесхитроsten и беззаботен, как дитя, так что жизнь его, при всей тягости его положения, шла легче, стройнее, нежели жизнь Анатоля, у которого не было никакого внешнего несчастья.

Граф Ксаверий должен был совершенно овладеть Анатодем—познакомить его с польскими иезуитами. Их строгий чин, их

наружный покой, под которыми казались заморенными все сомнения и страсти, кроме веры и энергии в деле прозелитизма, должны были потрясти его. Он искал куда-нибудь прислониться, он стоял слишком одинок, слишком оставлен сам на себя, без определенной цели, без дела. Жена его умерла, с родственниками у него было так же мало общего, как с московской жизнью вообще, никакой сильной связи, общего интереса или общего упования. Опять та же жизнь, которая образовала поколение Онегиных, Чацких и нас всех...

Серьезность религиозных убеждений католика или протестанта часто удивляет нас; она еще больше должна была поразить Анатоля. Когда он воспитывался, тогда еще не было ни православных славянофилов, ни полицейского православия, не было ни *накожного* обращения униатов*, ни мощей Митрофана Воронежского, ни путешествий к святым местам --- чужим и своим --- Муравьева, ни духовного прозрения Гоголя*; Языков писал еще вакхические песни, а ирмосов и кондаков не только не писал, но и не читал. Церковь, приложив кисточкой печать дара духа святого во время крещения, оставляла человека в покое и сама почивала в тишине.

Но если религиозного воспитания не было в ходу, то гражданское становилось со всяким днем труднее; за него ссылали на Кавказ, брили лоб. Отсюда то тяжелое состояние нравственной праздности, которое толкает живого человека к чему-нибудь определенному. Протестантов, идущих в католицизм, я считаю сумасшедшими, но в русских я камнем не брошу, они могут с отчаяния идти в католицизм, пока в России не начнется новая эпоха.

Легко стало жить Анатолю, когда он переступил за порог монастыря и подпал строгому искусству ставленника-послушника. Покойная гавань, призывающая труждающихся, открывалась для него, он *слушался* не рассуждая, и, усталый к вечеру от работы, усиленного изучения латинского языка и разных утренних и вечерних служб, он засыпал покойно.

Но церковь призывает не одних труждающихся, но и нищих духом. Тут, в виду католического алтаря, хотел я представить последнюю битву его с *долгом*. Пока продолжались искус, учение, работа, все шло хорошо, но с принятием его

в братство Иисуса старый враг—скептицизм снова проснулся; чем больше он смотрел из-за кулис на великолепную и таинственную обстановку католицизма, тем меньше он находил веры, и новый ряд мучительных страданий пачался для него. Но тут выход был еще меньше возможен, нежели в польской войне. Разве не он сам добровольно надел на себя эти вериги? Их он решил носить до конца жизни.

Мрачный, исхудалый, задавленный горьким сознанием страшной ошибки, монах Столыгин исполнял несколько лет, как автомат, свои обязанности, скрывая от всех внутреннюю борьбу и страдания.

Инквизиторский глаз настоятеля их разглядел. Боясь будущего, он выхлопотал от Ротгана почетную миссию для Столыгина в Монтевидео. И последний Степана Степановича и Михаила Степановича, обладатель поместий в Можайском и Рузском уездах, отправился на первом корабле за океан проповедовать религию, в которую не верил, и умереть от желтой лихорадки...

Таков был мой план.

Ницца. Осенью 1851.



ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ

C TOTO BEPEPA

〈A MON FILS ALEXANDRE〉

Cher Sacha.

Je veux te dédier ce livre — parce que je n'ai rien écrit de mieux et que très probablement je n'écrirai rien de mieux — parce que je l'aime comme souvenir d'une lutte douloureuse, dans laquelle j'ai beaucoup perdu, mais non le courage de connaître la vérité — parce qu'enfin je ne crains pas de donner dans tes mains adolescentes cette protestation personnelle, parfois audacieuse, contre un système entier de mensonge et d'hypocrisie, qui domine le monde, contre des idoles appartenant à d'autres temps et qui restent debout, absurdes, dénuées de sens, en nous troublant, en nous faisant peur.

Je ne veux par te tromper — connais la vérité — comme je la connais; tu n'as pas besoin de l'acquérir, *celle-là*, par des souffrances et par des erreurs — tu peux l'avoir par le droit d'héritage. Dans ta vie — sois en sûr — viendront d'autres questions, se présenteront d'autres collisions... tu ne manqueras ni de douleurs, ni de travail.

Agé de 15 ans — tu as déjà passé par les plus horribles malheurs... C'est un grand baptême.

Ne cherche pas de solutions dans ces feuilles — il n'y en a pas, ni dans le livre, ni autre part. Ce qui est résolu est terminé et la *révolution* ne fait que commencer. Nous ne bâtissons pas — nous démolissons, nous déblayons le terrain. Nous ne proclamons pas de nouvelles révélations, nous détruisons de vieilles erreurs.

L'homme contemporain — triste pontifex maximus, lui aussi, — ne fait que jeter les pontons. Le grand inconnu... le futur y passera... Tu le verras peut-être... et alors tu le suivras. Car il est mieux de périr avec la révolution, que de se sauver dans l'hospice de la réaction.

La religion de la Révolution, de la grande métempsycose sociale, est la seule que je te lègue. Religion — sans rémunération, sans récompense — hors de la conscience même.

Va la prêcher un jour chez nous à la maison, on y a aimé ma voix, on s'y souviendra peut-être... et je te bénis dans cet apostolat au nom de la raison humaine, de la liberté individuelle et de l'amour du prochain.

Ton père.

Twickenham
5 décembre 1854
23 novembre

Перевод

〈СЫНУ МОЕМУ АЛЕКСАНДРУ〉

Дорогой Саша.

Я хочу посвятить тебе эту книгу, потому что я ничего не писал лучшего и, весьма вероятно, ничего лучшего не напишу, — потому что я люблю ее как воспоминание о мучительной борьбе, в которой я многое утратил, но не отвагу знания истины; потому, наконец, что я не боюсь дать в твои отроческие руки этот личный, местами дерзкий протест против целой системы лжи и лицемерия, властвующей над миром, против идолов, которые принадлежат иным временам и все еще живут, нелепые, бессмысленные, смущая нас, пугая.

И не хочу тебя обманывать — знай истину, как я ее знаю; тебе нет необходимости добиваться ее, *этой истины*, путем страданий и ошибок — ты можешь получить ее по праву наследства. В твоей жизни — будь в этом уверен — придут иные вопросы, явятся иные столкновения... в страданиях, в труде недостатка тебе не будет.

Тебе 15 лет — и ты уже прошел через ужаснейшие несчастья... Это великое крещение.

Не ищи решений на этих страницах — их нет ни в этой книге, ни в другом месте. То, что решено, то кончено, а *революция* только что начинается. Мы не строим — мы ломаем, мы устраняем препятствия. Мы не воздвигаем новых откровений, мы уничтожаем старые ошибки.

Современный человек — печальный pontifex maximus — наводит только пantoны. Великий незнакомец... будущий пройдет по нему... Ты, может, увидишь его... и тогда ты последуешь за ним. Ибо лучше погибнуть с революцией, чем спастись в богадельне реакции.

Религия Революции, великого общественного перевоплощения — единственная религия, которую я завещаю тебе. Ре-

лигия — без вознаграждения, без воздаяния,— кроме собственной совести.

Иди в свое время проповедовать се к нам, домой, там любил мой голос и там, может, вспомнят о нем... и я благословляю тебя на это апостольство во имя человеческого разума, личной свободы и любви к ближнему.

Твой отец.

Гвикнем
5 декабря 1854 г.
23 ноября



ADDIO! ¹

Наша разлука продолжится еще долго — может, всегда. Теперь я не хочу возвратиться — потом не знаю, будет ли это возможно. Вы ждали меня, ждете теперь — надобно же объяснить вам, в чем дело; одним вам повинен я отчетом в моем отсутствии, в моих действиях. Непреодолимое отвращение, сильный, непобедимый внутренний голос не позволяют мне переступить границу России в то время, когда самодержавие, озлобленное и испуганное всем, что делается в Европе, задавило всякое умственное движение, отрезало от освобождающегося человечества 60 миллионов человек и загородило свет, скудно падавший на малое число из них, своей черной железной рукой, на которой запеклась польская кровь. — Нет, друзья мои, я не могу переступить рубеж этого царства мглы, произвола, молчаливого замиранья, гибели без вести, мучений с платком во рту — до тех пор, пока усталая власть, ослабленная безуспешными усилиями и возбужденным противудействием, не признает *чего-нибудь* достойным уважения в русском человеке. До тех пор я подожду. Пожалуйста, не ошибитесь — не радость, не рассеяние, не отдых, ни даже личную безопасность нашел я здесь — да и не знаю, кто может находить теперь в Европе радость и отдых — отдых во время землетрясения, радость во время отчаянной борьбы насмерть. Вы видели грусть в каждой строке моих писем: жизнь здесь очень тяжела — ядовитая злоба примешивается к любви, желчь к слезе, лихорадочное беспокойство точит весь организм. Время прежних обманов, упований миновало; я ни во что не верю, кроме в кучку людей, в небольшое число мыслей да в невозможность остановить движение. Я вижу неминуемую гибель старой Европы и не жалею ничего из существующего: ни цивилизации, ни *свободных* учреждений — я ничего не люблю в этом мире, кроме того, что он преследует; ничего не уважаю, кроме того, что он казнит,

¹ Прощайте! (итал.). — *Ред.*

и остаюсь — остаюсь страдать вдвойне, страдать от своего горя и от его горя, погибнуть, может быть, при разгроме и разрушении, к которым он несется на всех парусах. Зачем же я остаюсь? Остаюсь затем, что борьба здесь, — что, несмотря на кровь и слезы, здесь разрешаются общественные вопросы, что страдания здесь болезненны, жгучи, но человечественны: они здесь гласны, борьба открытая — никто не прячется. Горе побежденным, но они не побеждены прежде боя, не лишены языка прежде, чем вымолвили слово; велико насилие, но и протест громок; бойцы свободы, будущего часто идут на галеры, скованные по рукам и ногам, но с поднятой головой, с свободной речью. Где не погибло слово, там и дело еще не погибло. За эту открытую борьбу, за эту речь, за эту гласность — я остаюсь здесь; за нее я отдаю все — я вас отдаю за нее, часть своего достояния и, может быть, отдам и жизнь в рядах энергического меньшинства «гонимых, но не низлагаемых». За эту речь я переломил или, лучше сказать, заглушил на время мою кровную связь с народом, в котором находил так много отзвон на светлые и темные стороны моей души, которого песнь и язык — моя песнь и мой язык, и остаюсь с народом, в жизни которого я глубоко сочувствую одному горькому плачу пролетария и его отчаянному мужеству. Дорого мне стоило решиться — вы знаете меня: я заглушил внутреннюю боль, я перестрадал борьбу и, отдавая все, стяжал право вдвойне страдать, но страдать по-человечески, погибнуть, но в открытом бою; я решился не как негодующий юноша, а как человек, спокойно обдумавший, что делает, сколько теряет. Месяцы целые думал я, взвешивал, колебался и, наконец, принес все на жертву *человеческому достоинству, свободной речи*. До последствий мне нет дела: они не в моей власти — они во власти своевольного каприза, который забылся до того, что очертил произвольным циркулем не токмо наши слова, но и наши движения. В моей власти было не слушаться, и я не послушался.

Повиноваться против своего убеждения, когда есть возможность не повиноваться, — безнравственность. Наконец, покорность становится почти невозможной. Я присутствовал при двух переворотах, я слишком жил свободным человеком, чтоб снова позволить оковать себя; я испытал народные волнения, упоение свободной речи, площадь и клуб. Я не могу сделаться вновь крепостным, ни даже для того, чтоб страдать с вами. Если бы еще надо было умерить себя для общего дела — может, силы нашлись бы; но где на сию минуту наше общее дело? У вас нет почвы, на которой может стоять свободный человек; можете ли вы после этого звать? На борьбу — идем; на глухое мученичество, на бесплодное молчанье, на

повиновенье — ни под каким видом. Требуйте от меня все, но не требуйте двоедушья, не заставляйте меня снова представлять верноподданного — уважьте во мне свободу человека.

Свобода лица независимо от всех отношений — великое дело; на ней, и только на ней, может вырасти действительная свобода общины. В себе самом человек должен уважать свою свободу и чтить ее не менее как в ближнем, как в целом народе. Если вы в этом убеждены, то вы согласитесь, что остаться теперь здесь — мое право, мой долг. Это единственный протест, который может у нас сделать личность: эту жертву она должна принести своему человеческому достоинству. Ежели вы не назовете моего удаления бегством потому только, что извините меня вашей любовью, а не согласитесь со мной понимаем, сочувствием, — это будет значить, что вы не совершенно еще свободны. Но этого не будет с вашей стороны. Я все знаю, что можно мне возразить с точки зрения романтического патриотизма и гражданской патянутости; я не могу допустить этих религиозных воззрений — я их пережил, я вышел из них и именно против них и борюсь всю жизнь. Эти подогретые остатки римских и христианских понятий мешают больше всего водворению истинных понятий о свободе, — понятий здоровых, светлых, возмужалых; вся эпоха либерализма, развившаяся под их влиянием, ничего не освободила, так, как эпоха протестантизма, а только приготовила пути. Она, правда, освобождала все на свете: сословия и запятая, народы и землю, науку и торговлю, но не отдельного человека, не каждого человека, не лицо — и потому, в сущности, ничего не освобождала. Личность попрежнему жертвовалась при каждом столкновении с общим, бледнела перед государством, оставалась подданною. Против этого и восстал социализм; он осмелился, наконец, сказать, что государство — для людей, а не люди для государства, и за это был осыпан проклятиями и обвинениями. По счастью, в Европе нравы и долгое развитие поправляли правительственные теории и нелепое законодательство. Люди, живущие на европейской почве, живут на почве, удобренной двумя цивилизациями; путь, пройденный жизнью и мыслями в продолжение двух с половиною тысячелетий, не был напрасен — много человеческого выработалось независимо от внешнего устройства и официального порядка, в противоположность даже теоретическому знанию и религиозному учению; долгая историческая жизнь осаждала на дне души какое-то несознанное, не писанное ни в каком уложении нравственное начало, которое, как все не вполне сознательное, иногда меркнет, тонет, но упорно снова всплывает и существует как что-то естественное, бесспорное, привычное, даже обязательное, потому что

превратилось в инстинкт, в поведение. Уважение к личности, к слову, к мысли пробивалось сквозь все формы, сквозь все фазы европейской жизни, не имея прав гражданства, записанных в кодексе, но имея силу общественного мнения, признанного факта. Римское понятие о гражданине, христианское — о монахе, феодальное — о рыцаре приучили власть признавать какую-нибудь состоятельность людей перед собою. Вскоре, рядом с привилегиями каст, талант потребовал признанья, и геннальные натуры сделали властью. Посмотрите, каких клонов доставил Савонарола Александру Борджиа, Лютер — всему католичеству; во все времена европейской жизни, даже в самые худшие, вы встречаете эти сильные личности, которых не смеют отправить тотчас же на поселение. Почему не уняли Спинозу, Лессинга маленькие немецкие тираны, которые тогда были самодержавны? Потому что не смели. В этом соглашении, в этом уважении не к одной материнской, но и к правдивой силе, в этом невольном признании личности лежит один из великих революционных принципов европейской жизни, и если он не спасет ее в будущем, то заслужит благословение ее прошедшему и завещает истинную свободу грядущим поколениям.

У нас не было ничего подобного; у нас лицо всегда было задавлено, поглощено: оно даже не стремится выступить, а если и выступит, то князем Курбским, оставляющим родину. Свободное слово у нас всегда считалось за дерзость, самобытность — за крамолу; человек, поглощенный общиной, распускался в ней; патриархальное перенесение всех прав личности на главу общины, на князя, находит еще и теперь защитников между писателями, в откровенности которых я не сомневаюсь. Наша община — великое приданое наше, с которым мы входили в русло истории; я вполне ценю ее, я проповедую здесь о ней больше двух лет, но в ней недостает, так же, как в коммунизме, личного начала — этой вечной закваски деятельности, развития, свободы. Оттого-то она и не развивалась, а дождалась в своем застое колоссальной личности, которая, негодую, вступила с ней в борьбу и сокрушила мощной рукой своей и дурное и хорошее старого устройства. Переворот Петра I заменил застарелое, помещичье управление Русью — европейским канцелярским порядком: все, что можно было переписать из шведских и немецких законодательств, все, что можно было перенести из муниципально-свободной Голландии в страну общинно-самодержавную, — все было перенесено; но неписанное, правдиво обуздывавшее власть, инстинктуальное признание прав лица, прав мысли, истины не могло перейти и не перешло. Рабство у нас увеличивалось с образованием: государство росло, улучшалось, но лицо не выигрывало; напротив, чем

сильнее становилось государство, тем слабее лицо. — Европейские формы администрации и суда, военного и гражданского устройства — развились у нас в какой-то чудовищный деспотизм. Если б Россия не была так велика, если б чужеземное устройство власти не было так смутно устроено и так беспорядочно выполнено, то без преувеличения можно сказать, что в России нельзя было бы жить ни одному человеку, понимающему свое достоинство. Трудным воспитаньем надобно проходить русскому, чтоб проснуться от косности, от уступчивости, от покорности, к которой приучает общественное житье. Императорская власть в России далеко оставила за собой римскую и византийскую, хотя и сохранила военный характер первой и восточно-царский — второй. Избалованность власти, не встречавшей никакого противодействия, доходила несколько раз до необузданности, не имеющей ничего себе подобного ни в какой истории. Вы знаете ей меру из рассказов о поэте своего ремесла, об императоре Павле, который действовал 50 лет тому назад; отнимите капризное, фантастическое у Павла, и вы увидите, что он вовсе не оригинален, что принцип, вдохновлявший его, один и тот же не токмо во всех царствованиях, но и в каждом губернаторе, в каждом квартальном, в каждом помещике, — это истинно ужасно! Опьянение самовластием овладевает всеми степенями знаменитой иерархии в 14 ступеней; во всех действиях власти проглядывает бесстыдство — я не могу иначе назвать отсутствие покрывала, которое, из уважения к лицам, набрасывали европейские правительства на свои дела, — наглое хвастовство своей бессовестностью, оскорбительное сознание, что лицо все вынесет: тройной набор, закон о заграничных пассажах, исправительные розги в инженерном институте, так, как Малороссия вынесла крепостное состояние в XVIII веке, так, как вся Русь, наконец, поверила и вынесла, что людей продавали, перепродавали, и никогда никто не спросил, на каком законном основании все это делалось. Власть у нас, уверенная в себе, свободнее, нежели в Турции; ее ничто не останавливает: никакое прошедшее — от своего она отказалась, до европейского ей дела нет; народность она не уважает, гуманности не знает, с настоящим она борется. Прежде правительство стыдилось соседей — при Екатерине, при Александре; теперь оно считает себя призванным служить примером для всех притеснительных правительств — оно поучает.

Но вы слишком хорошо знаете все это. Мы с вами видели самое грубое, самое страшное развитие императорства; мы видели его первую борьбу со свободой, оно показалось тут во всей красе. Мы выросли под террором, под черными крыльями тайной полиции, в ее когтях; мы сломились под неслыханным

гнетом; мы видели своими глазами, как эта власть, не зная более никаких пределов, дошла до того, что написала на своем знамени: «Самодержавие» — как будто самодержавие — вся цель русского народа. Наше счастье, что мы не предались отчаянию, что мы спаслись от удушающего влияния; но этого становится мало: пора развязать себе руки и слово для действия, для примера; пора, наконец, показать этой власти, что и мы требуем своего самодержавья; пора разбудить дремлющее сознание, а разве можно будить, говоря шепотом, дальними намеками, когда крик и прямое слово едва слышны? Пора тем, которые случайно или по удельному весу стали в первых рядах, показать на деле, что они хотят свободы, что они готовы жертвовать всем, чтобы развязать веревку, которая связывает их. Мы довольно уступали — что же, лучше стало? А можете ли вы не уступать, окруженные лазутчиками, без малейшего права суда, защиты, гласности? — Открытые, откровенные действия необходимы. Отчего 14 декабря потрясло так сильно всю молодую Русь? Оттого, что оно было на Исаакиевской площади. Теперь не токмо площадь и соедичение невозможны, но столько же невозможны и книгопечатание и кафедра — остается личный труд в тиши или личный протест издали; у нас одна трибуна — это трибуна вне России. Я остаюсь здесь не только потому, что мне противно, переехав через границу, снова надеть колодки, — но и для того, чтоб работать. Жить сложа руки можно везде, — здесь мне нет другого дела, кроме нашего дела. Я далек от отчаяния; совсем напротив: я никогда больше не веровал в будущее России — она не пала от дряхлости под ноги деспотизму, она терпит его от юности; но долго это не продолжится — мы можем судить по себе. Русская эмиграция началась — это великий признак, это не случайность, это не исключение. Наша мысль не может больше выносить цепей узкой цензуры; я первый начинаю печатать в Европе — увидят, буду ли я последний. Кто больше 20 лет проносил в груди своей одну мысль, кто страдал за нее и жил ею, скитался по тюрьмам и ссылкам, кто ею приобрел лучшие минуты жизни, самые светлые встречи, тот ее не оставит, тот ее не приведет в зависимость внешней необходимости и географическому градусу широты и долготы. Совсем напротив: я здесь полезнее — я здесь бесцензурная речь ваша, ваш свободный орган, ваш представитель. Все это кажется новым и странным только нам; в сущности, тут ничего нет беспремерного. Во всех странах, при начале переворота, когда мысль еще была слаба, а материальная власть необузданна, люди преданные и деятельные отъезжали: их свободная речь раздавалась издали, и самое это *издали* придавало словам их силу и власть, потому что за словами виднелись действия, жертвы; мощь их речей росла с расстоянием,

как сила вержения растет в камне, пущенном с высокой башни. Эмиграция—первый признак приближающегося переворота.

Для русских за границей есть еще другое дело. Пора действительно знакомить Европу с Русью. Европа нас не знает; она знает наше правительство и больше ничего. Для этого знакомства обстоятельства превосходны; ей теперь как-то нейдет гордиться и величаво завертываться в мантию пренебрегающего незнания; теперь это будет не чувство превосходства, а пошлая ограниченность, комическое высокомерие кастильского гидальго, у которого сапоги без подметок и плащ в лохмотьях. Европе не к лицу *das vornehme Ignorieren* России с тех пор, как она испытала мящанскую республику и алжирских казаков, с тех пор, как от Дуная до Атлантического океана она побывала в осадном положении, с тех пор, как тюрьмы, галеры полны гонимыми за убеждения. Пусть она узнает ближе народ, которого отроческую силу она оценила в бою, где он остался победителем; расскажем ей об этом мощном и неразгаданном народе, который втихомолку образовал государство в 50 миллионов, который так крепко и удивительно разросся, не утратив общинного начала, и первый перенес его через начальные перевороты государственного развития,— о народе, который как-то чудно умел сохранить себя под игом монгольских орд и немецких бюрократов, под капральской палкой казарменной дисциплины и под позорным кнутом татарским,— который сохранил величавые черты, живой ум и разгул широкой, богатой природы под гнетом крепостного состояния и в ответ на царский приказ образоваться ответил через сто лет громадным явлением Пушкина. Пусть узнают европейцы своего соседа; они его только боятся; надобно им знать, чего они боятся, знать, что слово казак — вовсе не антитезис слову свободный человек,— что наш естественный, полудикий быт встречается с их ожидаемым идеалом,— что последнее слово, до которого они выработывались,— первое слово, с которого мы начинаем,— что мы идем навстречу социализму, как германцы шли навстречу христианству. До сих пор мы были непрестительно скромны и, сознавая свое тяжелое положение, забывали все хорошее, полное надежд и развития, что представляет наша пародная жизнь. Мы дождались немца для того, чтоб рекомендоваться Европе,— не стыдно ли?

Вот все, что я вам хотел сказать на этот раз. Теперь прощайте надолго... Давайте ваши руки, вашу помощь — мне нужно и то и другое. А там — кто знает, чего мы не видали в последнее время — быть может, и не так-то далеко, как кажется, тот день, в который мы соберемся, как бывало, в Москве и безбоязненно сдвинем наши чаши при крике: «За вольность

и братство!» — Сердце отказывается верить, что этот день не придет, замирает при мысли вечной разлуки — будто я не увижу этих улиц, по которым я так часто ходил, этих домов, сроднившихся с лучшими воспоминаниями, наших русских деревень, наших мужичков — не может быть! — Ну, а если — тогда я завещаю этот тост моим детям и, умирая на чужбине, сохраню веру в будущность русского народа!

Париж

1 марта 1849 г.



ПЕРЕД ГРОЗОЙ

... Я согласен, что в`вашем взгляде много смелости, силы, правды, много юмору даже,— но приять его не могу. Мне кажется, это дело организации. У вас не будет много прозелитов, пока вы не научитесь перемывать кровь в жилах.

— Быть может. Однако мой взгляд начинает вам нравиться: вы отыскиваете физиологические причины, обращаетесь к природе.

— Только наверное не для того, чтобы успокоиться, отделаться от страданий, смотреть, в безучастном созерцании, с высоты олимпийского величия, как Гёте, на треволненный мир и любоваться брожением этого хаоса, бессильно стремящегося остановиться.

— Вы становитесь злы; но ко мне это не относится. Если я старался уразуметь жизнь, у меня в этом не было никакой цели; мне хотелось что-нибудь узнать, мне хотелось заглянуть подальше. Все слышанное, читанное не удовлетворяло, не объясняло, а, напротив, приводило к противуречиям или к нелепостям. Я не искал для себя ни утешения, ни отчаянья,— и это потому, что был молод; теперь же я всякое мимолетное утешение, всякую минуту радости ценю дорого: их остается все меньше и меньше. Я искал только истины, сильного понимания; много ли уразумел, много ли понял — не знаю; не скажу, чтоб мой взгляд был особенно утешителен, но я стал покойнее, перестал сердиться на жизнь за то, что она не дает того, чего не может дать. Вот все, выработанное мною.

— Я с своей стороны не хочу перестать ни сердиться, ни страдать: это такое человеческое право, что я и не думаю поступиться им. Мое негодование — мой протест; я не хочу мириться — да и не с кем.

— Вы говорите, что не хотите перестать страдать; это значит, что вы не хотите принять истины так, как она раскрывается вашей собственной мыслию; вы отрекаетесь от собственной логики, — вы предоставляете себе по выбору принимать

и отвергать последствия, — это опять тот же англичанин, который всю жизнь не признавал Наполеона императором, что тому не помешало два раза короноваться. В упорном желании оставаться в разрыве с миром надобно ловить себя не токмо — на непоследовательности и суежности (человек любит эффект, ролю — особенно трагическую: страдать хорошо, благородно, предполагает несчастье), но и — не сердитесь за слово — на трудности, на боязни перед истиной. Вот отчего многие предпочитают страдание разбору; страдание отвлекает, защищает, утешает — да, да, утешает, а главное, как всякое занятие, мешает человеку углубляться в себя, в жизнь. Паскаль говорит, что люди играют в карты для того, чтоб не оставаться с собой, боясь какого-то внутреннего голоса; мы постоянно ищем таких или других карт, чтобы не видеть истины и занять себя внешним. Жизнь человека — постоянное бегство от себя: точно угрызение совести его гонит, пугает; как только человек стал на ноги, он начинает кричать, чтоб не слышать речей, раздающихся внутри; грустно ему — он бежит рассеяться; чего ему делать — он выдумывает занятие; от ненависти к одиночеству он дружится со всеми, жетится на скорую руку, — тут гавань: семейный мир и семейная война не дадут много места мысли; семейному, основательному человеку как-то просто неприлично думать. А кому эта жизнь не удалась, тот напивается допьяна всем на свете: вином, нумизматикой, картами, ботаникой, охотой, сказками, — ударяется в мистику, идет в езуиты, налагает на себя чудовищные труды — и они кажутся ему все-таки легче какой-то угрожающей истины. И в этой боязни исследовать, чтоб не увидеть вздор исследуемого, и в этом искусственном недосуге, в этих поддельных несчастьях, усложняя каждый шаг вымышленными путями, — мы проходим по жизни спросонья, не пришедши хорошенько в себя, и умираем в чаду нелепости и пустяков. — Фарс сыгран — опускайте занавес! Во всем, не касающемся внутренних, жизненных вопросов, люди умны, смелы, проникательны; они считают себя, например, посторонними природе и изучают ее добросовестно — совсем другая метода, другой прием. Не смешно ли, не жалко ли так бояться правды, исследования? Положим, что много мечтаний поблекнут, будет не легче, а тяжелее, — все же нравственнее, достойнее, мужественнее не ребачиться. Если б люди продолжали изучать природу в человеке, если б они могли понять себя в природе, природу в себе, свою нераздельность с нею, — смеясь сошли бы они с своих пьедесталей и курульных кресел, взглянули бы на жизнь проще, перестали бы выходить из себя за то, что жизнь не исполняет их гордые приказы и эгоистические фантазии! Вы ждали от жизни совсем не то, что она вам дала, и вместо того

чтоб оценить то, что она дала, — вы негодуете. Это хорошо: негодование — острая закваска, влекущая человека вперед; но ведь это начало, нельзя же только негодовать, проводить всю жизнь в оплакивании неудач, в борьбе и досаде. Скажите откровенно, чем вы искали убедиться, что требования ваши истинны?

— Я их не выдумывал; они родились в моей груди: чем больше я размышлял о них, тем яснее раскрывалась мне их справедливость, их разумность — вот мои доказательства. Притом это не уродство, не помешательство: тысячи других, все наше поколение страдает почти так же, больше или меньше, смотря по обстановке, по степени развития. Если исключить несчастных людей, до того задавленных материальным гнетом, что им даже и страдать по-человечески недосуг, — да золотую посредственность, которую Харон равно отталкивает от берегов рая и ада, то самая резкая характеристика нашего времени — повсюдная скорбь, тяжелая скука, налегшая на душу современного человека, и какое-то сознание нравственного бессилия. Я на вас смотрю как на исключение, да, сверх того, и ваше равнодушие мне подозрительно; оно сбивается на охладившееся отчаяние, на равнодушие человека, который потерял не только надежду, но и безнадежность. Это неестественный покой. Природа, истинная во всем, что делает, как вы повторяли несколько раз, должна быть истинна и в этом психическом явлении скорби, тягости: всеобщность его дает ему некоторое право; сознайтесь, что именно с вашей точки зрения трудно возражать на это.

— На что же непременно возражать? Я ничего лучше не прошу, как согласиться с вами. Тягостное состояние, о котором вы говорите, — очевидно и, конечно, имеет право на историческое оправдание и еще более на то, чтоб сыскать выход из него. Боль, страдание есть вызов на борьбу: это сторожевой крик, обращающий внимание на опасность, а иногда и на близость кончины. То же самое в истории. Мир, в котором мы живем, умирает; никакие лекарства не действуют более на обветшалое тело его; чтоб легко вздохнуть наследникам, надобно похоронить его, а мы непременно хотим его вылечить. — Вам, верно, случалось видеть удручающую грусть, томительную неизвестность, которая распространяется в доме, где есть умирающий: отчаяние усиливается надеждой, нервы у всех натянуты, здоровые больны, дела нейдут. Смерть больного облегчает душу оставшихся: льются слезы, но нет более этого убийственного ожидания; несчастье перед глазами, во весь рост, безвозвратное, отрезавшее все надежды; жизнь начинает врачевать, примирять, брать новый оборот. То же, в других только размерах, бывает накануне переломов, потрясающих орга-

низм общественный,— переломов, в которые одна сторона умирает, а другая вступает во владение. Мы живем во время такого перелома и стараемся ставить подпорки там, где надобно ломать; как же не впасть в тоску и отчаяние? К тому же предшествовавшие века воспитали в нас грусть, печаль, неестественное, болезненное томление,— воспитали в нас романтизм. Все живое было подавлено, мысль едва осмеливалась протестовать, а положение было похоже на положение жидов в средних веках: лукавое по необходимости, робкое, озирающееся. Под этими влияниями сложился наш ум — он вырос, возмужал, освободился внутри этой нездоровой сферы; от католического мистицизма перешел в немецкий идеализм и сохранил боязнь всего естественного, угрызение обманутой совести, подобострастное уважение к отвлечениям, всеобщностям, заменившим разные идолы, и со всем этим остался при разладе с жизнью, при романтических страданиях, при очень реальной тоске (от неспетости быта) и при совершенном неведении средств. Давно ли мы, застрашенные, забытые с детства, перестали с ужасом отказываться от самых невинных побуждений души; многие ли из нас и теперь еще поняли, что на своем месте гордость — не преступление; что без эгоизма нет любви; что в ином случае быть смиренным — подло; что желать наслаждения — совершенно справедливо; давно ли мы перестали содрогаться, находя внутри своей души страстные порывы, исполненные силы,— свидетельствующие о богатстве личности, но не взошедшие в каталог романтического тарифа? Такая неестественность жизни сама уже по себе влечет за собою грустную разорванность, а дряхлое общественное устройство — это беспрестанное хрипение умирающего — довершает ее. Вы давеча сказали, что мучащие вас требования развились естественно — оно и так и нет. Все естественно: и золотуха очень естественно происходит от дурного питания и скверного климата. Однако же с точки зрения организма мы считаем болезни отклонением, чем-то привитым, внесенным в него. В нравственном отношении то же: воспитание поступает с нами, как отец Аннибала с своим сыном,— оно берет обет прежде сознания, опутывает нас нравственной кабалой, которую мы считаем обязательством — долею по ложной деликатности, долею по трудности отделаться от того, что привито так рано, — наконец, от лени разобрать, в чем дело. Воспитание обманывает нас, прежде нежели мы придем в состояние понимать, уверяет детей в невозможном, отрезывает им свободное и прямое отношение к предмету. Подрастая, мы видим, что как-то все не ладится: ни мысль, ни быт; что то, на что нас учили опираться, гнило, а от чего предостерегали нас, как от яда,— целебно; забытые и одураченные, приученные к авторитету и указке, мы вдруг делаемся на воле — каждый своими

силами добирается до истины, борясь, ошибаясь, ломаясь, страдая; томимые желанием знать, мы подслушиваем у дверей, стараемся разглядеть в щелку, кривя душой, притворяясь, считая правду за порок, а презрение ко лжи — за дерзость. Мудрено ли после этого, что мы не умеем уладить ни внутреннего, ни внешнего быта, лишнее требуем, лишнее жертвуем, пренебрегаем возможным и негодуем за то, что невозможное, так сказать, пренебрегает нами, возмущаемся против естественных условий жизни и покоряемся всякому вздору. Вся наша цивилизация такова: она выросла в нравственном междоусобии, в разных неестественностях; из школ и монастырей она не вышла в жизнь, а прогулялась по ней, как Фауст, чтоб посмотреть, порефлексировать и потом удалиться от грубой толпы в гостиные и салоны, в аудитории и академии. Она совершила весь свой путь с двумя знаменами в руках: *романтизм для сердца* — было написано на одном, *идеализм для ума* — на другом. Отсюда все искусственные мучения, доля всего неустройства в жизни, о котором мы говорим. Мы не любим простого, мы не уважаем природу по преданию, хотим распоряжаться ею, хотим лечить заговариванием и удивляемся, что больному не легче. Физика оскорбляет нас своей независимой самобытностью — нам хочется алхимии, магии; нас оскорбляет наше собственное тело, мы им унижены, а жизнь и природа равнодушно идут своим чередом, покоряясь человеку по мере того, как он выучивается действовать их же средствами.

— Вы, кажется, считаете меня немецким поэтом, да еще прошлой эпохи, — которые сердились за то, что у них есть тело, за то, что они едят, и искали неземных дев, — *eine andere Natur, eine bessere Sonne*¹. Я учился в Германии, но в душе остался тосканцем. Натура итальянца, развитая природой и пластическим искусством, — по преимуществу реальная; мы знаем, что ни природы лучше нашей нет, ни женщин красивее, ни солнца светлее. Я вовсе не хочу ни магии, ни мистерий; мне только хочется выйти из того состояния души, которое вы в десять раз резче меня представили, — выйти из нравственного бессилия, из жалкой неприлагаемости убеждений, из хаоса, в котором мы перестали, наконец, понимать, кто враг, кто друг; выйти куда бы то ни было — из мира, в котором куда ни взглянешь — видишь или пытаемых, или пытающих. Какое тут колдовство, какой идеализм — лишь бы заставить людей понять, отчего им скверно жить, растолковать им такие вещи — ну, не знаю, например: что нехорошо грабить у нищего, что противно объедаться возле умирающего с голода, что убийство равно отвратительно как ночью на большой дороге

¹ иной природы, лучшего солнца (нем.).— *Ред.*

тайком, — так и днем открыто на большой площади; что одно говорить, а другое делать — подло; словом: все те новые истины, которые говорятся, пишутся, печатаются со времен семи греческих мудрецов — да и тогда были очень стары. Для чего это говорят, повторяют — я не знаю... Право, можно сойти с ума. Поговорите с первым встречным на улице — он вам расскажет целую теорию нравственности, социализма...

— Столько же нелесую, как и практическая среда, в которой он живет, так что по совести нечего жалеть, что он ее не исполняет. Беда в том, что мысль наша забежала далеко вперед и коснулась переворота, который совершить, видно, не в силах. Наши утопии принадлежат малому числу избранных — народ так же мало знает их, как и они его. Теперь мы спохватились, стали кричать отставшим, махать, звать их, но поздно: слишком далеко, голос не достает, да и язык не тот.

— Что ж, не посоветуете ли идти назад? Нет? Что же делать?

— Ничего, пока мы будем бояться неприятных истин или даже таких, к которым мы не привыкли. Нам больно сознаться, что мы живем в мире, выжившем из ума, дряхлом, истощенном, у которого явным образом недостает силы и поведения, чтоб подняться на высоту собственной своей мысли; нам жаль его, и мы вследствие этого сожаленья поддерживаем его и свои убеждения, которых первая йота — его смертный приговор. Я согласен — люди, общество приняли склад, от которого им трудно отделаться, особенно когда старые формы перед глазами: пока мы к ним привыкли, как к своему платью, хотя они рассчитаны совсем не по нашей мерке, а по прошлой; очень трудно — самый мозг у людей образовался под влиянием предшествовавших обстоятельств: он многого не осиливает, многое видит под ложным углом; люди с таким трудом добились и до современного быта, он кажется им такой счастливой пристанью, после пестрого безумия феодальных веков и монотонного гнета, следовавшего за ним, что они хранят его, боятся изменять: они в нем отяжелели, обжились, привычка заменила привязанность, горизонт сжался, размах мысли мал, воля слаба...

— Прекрасная картина; добавьте только, что возле этих *satisfaits*¹, которым современный порядок по плечу, с одной стороны — бедный, неразвитый народ, отсталый, одичалый, голодный, в безвыходной борьбе, в тяжелой работе, а с другой — мы, забежавшие, какие-то землемеры, вбивающие всихи нового мира. От всех упований, от всей жизни, которая прошла между рук, да еще как прошла! осталось одно — вера, что когда-

¹ удовлетворенных (франц.). — *Ред.*

нибудь, долго после нашей смерти, дом выстроится и будет в нем удобно и хорошо другим.

— Хоть, впрочем, и нет причины думать, что новый мир будет строиться по нашему плану.

Молодой человек сделал невольное движение головой и посмотрел с минуту на море. Совершеннейший штиль продолжался; тяжелая туча повисла над головами так низко, что, казалось, мачта достает ее; море почернело, воздух не освежался.

— Послушайте,— сказал молодой человек через несколько минут, улыбаясь,— вы бандит, а я путешественник. Ограбивши у меня все, вам кажется все мало, вы добираетесь до моих волос; вы грабите у меня будущее, надежды...

— А я думал, что я больше похож на хирурга, который вырезывает дикое мясо.

— Пожалуй, это все равно, да еще и лучше: хирург режет прочь большую часть тела, не заменяя ее здоровой.

— И по дороге спасает человека, освобождая его от тяжелых уз застарелой болезни.

— Знаем мы ваше освобождение; вы отворяете двери темницы и хотите вытолкнуть работника в пустую степь, уверяя его, что он свободен; вы ломаете бастилью, но не воздвигаете ничего в замену острога,— остается пустое место.

— Это было бы чудесно, если б было так, как вы говорите; худо то, что развалины, мусор мешают на каждом шагу.

— Чему мешают? Где в самом деле наше призвание, дело? где наше знамя? во что мы верим?

— Верим во все — не верим в себя. Вы ищете найти знамя, а я ищу потерять его, вы хотите указку, но в известный возраст стыдно читать с указкой... Впрочем, что же я вам говорю: вы сейчас сказали, что мы вбиваем вежи новому миру...

— И их у нас вырывает дух отрицанья и разбора. Вы несравненно мрачнее меня смотрите на мир и утешаете только для того, чтоб еще ужаснее выразить современную тягость. Помилуйте, если и будущее не наше, тогда вся наша цивилизация — ложь, мечта пятнадцатилетней девочки, над которой она сама смеется в двадцать пять лет; наши труды — вздор, наши усилия жалки или смешны, наши упования похожи на ожидание дунайского мужика. Да, может быть, вы и то хотите сказать, чтоб мы бросили нашу цивилизацию, чтоб мы отказались от нее?

— Нет, отказаться от развития невозможно. Как сделать, чтоб я не знал того, что знаю, чтоб я был вне своего времени? Наша цивилизация — лучший цвет современной жизни; да сверх того я и не поступлюсь моим развитием ни за что в свете: это мое драгоценнейшее достояние. Но какое же это имеет отношение к осуществлению наших идеалов? где лежит необ-

ходимость, чтобы будущее разыгрывало придуманную программу?

— Стало быть, наша мысль привела нас к несбыточным надеждам, к нелепым ожиданиям, и с ними, как с последним плодом, мы захвачены волнами на корабле, который тонет. Будущее не наше, — в настоящем нам нет дела, спастись некуда: остается сложа руки ждать, пока вода зальет; а кому скучно, кто поотважнее — броситься в воду.

...Le monde fait naufrage —
Vieux bâtiment, usé par tous les flots,
Il s'engloutit... sauvons-nous à la nage!

— Я лучше не прошу, но только есть разница между спастись вплавь и топиться. Судьба молодых людей, которых вы напомнили этой песнью, страшна: сугубые страдальцы, мученики без веры, — смерть их пусть падет на страшную среду, в которой они жили, пусть обличает ее, позорит; но кто же вам сказал, что, кроме смерти, нет другого выхода, другого спасенья из этого мира старчества и агонии? Вы оскорбляете жизнь. Оставьте мир, к которому вы принадлежите, если вы действительно чувствуете, что он чужд вам. Его не спасешь — спасите себя от угрожающих развалин. Что вы имеете общего с этим миром — его цивилизацию? Но ведь она принадлежит теперь вам, а не ему. Он произвел ее, или, лучше сказать, из него произвели ее, — но он не грешен в пониманье ее. Его образ жизни — вы его ненавидите, да и трудно, по правде, любить дикую нелепость. Ваших страданий он и не подозревает, ваши радости незнакомы ему. Вы молоды — он стар; посмотрите на черты этого дряхлого, феодального мира, как он осунулся в своей изношенной ливрее, особенно после тридцатого года, — лицо подернулось матовой землистостью: это *facies hyrosatica*, по которому доктора узнают, что смерть занесла уже косу; бессильно напрягается он иногда еще раз схватить жизнь, еще овладеть ею, отделаться от болезни — и не может, и снова впадает в тяжкий полусон. — Тут толкуют о фаланстерах, демократиях, социализме — он слушает и ничего не понимает; иногда улыбается таким речам, покачивая головою и вспоминая мечты, которым и он верил когда-то, потом взшел в разум и давно не верит в возможность здоровья. Он равнодушно смотрит на езуитов и коммунистов, на пасторов и якобинцев, на Ротшильда и умирающих с голода, судорожно зажавши в кулак несколько франков, за которые готов умереть или сделаться убийцей. Оставьте старика доживать, как знает, в богадельне!

— Оставить, бежать! Да и это не так-то легко, не говоря уже о том, что оно противно. Куда бежать? Где эта новая Пенсильвания, готовая...

— Для старых построек из нового кирпича. Вильям Пенн вез с собою старый мир на новую почву: Пенсильвания — исправленное издание старого текста — не более. А христиане в Риме перестали быть римлянами, — этот внутренний отъезд полезнее.

— Мысль сосредоточиться в себе, оторвать, так сказать, пуповину, связующую нас с родиной, с современностью, проведется давно, но плохо осуществляется. Она является у людей после каждой неудачи, после каждой утраченной веры; на ней строились монастыри: мистики и масоны, философы и иллиопинаты — все указывали на этот внутренний отъезд, и никто не уехал. Руссо? Да и тот отворачивался от мира, потому что страстно любил его; он отрывался от него, потому что негодовал на него и стремился пересоздать нелесную жизнь, его окружавшую. Лучшая комментария на него — его ученики в Конvente, которые боролись, мучились, снесли головы на плаху — но не отвернулись, не ушли ни вон из Франции, ни вон из кипевшей деятельности.

— Их время нисколько не было похоже на наше. У них была впереди бездна упований. Руссо и его ученики воображали, что если их идеи братства не осуществляются, то это оттого, что везде материальные препятствия: там слово сковано, тут — действие. Они совершенно последовательно пошли против всего мешавшего их идее; задача была страшная, гигантская, но они победили: все созданное силой может рушиться силой. Теперь-то, теперь-то — по теперь-то их повели на гильотину; они умерли с полной верой, их унесла бурная волна среди труда, восторгов, опьянения: они были уверены — придет же когда-нибудь штиль, и тогда их идеал осуществится, без них, но осуществится. Наконец, он пришел, этот штиль, и какое счастье, что все эти энтузиасты давно схоронены: им бы пришлось увидеть, что дело их не подвинулось ни на волос, что их идеалы остались идеалами, что недостаточно разобрать по камушку Бастилию, чтоб сделать колодников свободными людьми. Вы сравниваете нас с ними после того, как мы знаем события пятидесяти лет, прошедших после их смерти; после того, как мы были свидетелями, как все упования теоретических умов были осмеяны, как демоническое начало истории нахохоталось над нашей наукой, мыслью, теорией; как оно из республики сделало Наполеона, как из революции тридцатого года сделало современную Францию. Свидетели всего бывшего, мы не можем иметь их надежд. Глубже изучившие социальные вопросы, мы требуем теперь и больше и шире того, что они требовали, а и их-то требования остались тою же неприлагаемостью, как были. С одной стороны вы видите логическую последовательность мысли, ее успехи; с другой—

ее полное бессилие над миром глухим, немым, бессильным схватить мысль спасения — так, как она высказывается ему. Может, потому, что она дурно высказывается, или что она только и имеет теоретическое значение, как, например, римская философия в первые века христианства.

— Этот вывод последователен с тем, что вы сказали несколько минут тому назад. Но кто же, по-вашему, прав: мысль ли теоретическая, которая точно так же развилась и сложилась более, нежели исторически, но сознательно, или факт современного мира, отвергающий мысль и представляющий, как она, необходимый результат прошедшего?

— Оба совершенно правы. Вся эта запутанность выходит из того, что жизнь имеет свою диалектику, не совпадающую с диалектикой «Чистого разума» — если хотите. Возьмите древний мир — вместо того чтоб осуществлять республику Платона и политику Аристотеля — он осуществляет Римскую республику и политику их завоевателей; вместо утопий Цицерона и Сенеки — лангобардские графства и германское право.

— Вы, кажется, пророчите нашей цивилизации такую же гибель, как римской? — смелая мысль и прекрасная перспектива.

— Не прекрасная да и не дурная. Римская цивилизация не погибла; разве она не жива для нас, несмотря на то, что точно так, как наша, она вытянулась далеко за пределы окружающей жизни; может быть, от этого она и расцвела так пышно, так великолепно. Она принесла свое миру современному, но фактическое будущее прозябало инде, на более скромных пажитях — в катакомбах, где прятались гонимые христиане, в лесах, где кочевали дикие германы.

— Как же это в природе всё так целесообразно, а цивилизация, высшее усилие, венец эпохи, выходит из нее, выпадает из действительности, увядает наконец; человечество отступает назад, бросается в сторону и начинает сызнова тянуться, чтоб окончить таким же махровым цветом — пышным, но лишенным семян? В этой философии истории есть что-то возмущающее душу. Для чего эти усилия? Жизнь народов становится праздною игрою: лепят, лепят по песчинке, по камушку, — а тут вдруг опять все рухнет наземь, и люди снова начинают расчищать место да строить из развалин хижину, и долгими трудами достигают мало-помалу падения. Недаром Шекспир сказал, что история — скучная сказка, рассказываемая дураком.

— Чувствительные моралисты давно не могут вспомнить без слез, что люди рождаются для того, чтоб умереть. Смотреть на конец, а не на самое дело — величайшая ошибка. На что растенью этот яркий, пышный венчик, на что этот упоительный

запах — совсем не нужно; но природа на каждой точке достигает всего, чего может достигнуть донельзя: до того, что все очень развитое нежно, близко к смерти. Но кто же станет негодовать на природу за то, что цветы утром распускаются, а вечером вянут, что она розе и лилее не умеет придавать прочности камня? Какой это бедный, прозаический взгляд, — а мы хотим перенести его в исторический мир. Кто ограничил цивилизацию одним прилагательным, где у ней забор? — она бесконечна, как мысль, как искусство; она чертит идеалы жизни, апотеозу своего собственного быта, но на жизни не лежит обязанность исполнять ее яркие фантазии, тем более, что это было бы только улучшенное издание того же, а жизнь любит новое. Цивилизация Рима была гораздо выше и гуманнее, нежели варварский порядок, водворенный лангобардами, но в его нестройности были зародыши развития тех сторон, которых вовсе не было в римской цивилизации, — и новый порядок восторжествовал, несмотря ни на *Corpus juris civilis*, ни на мудрый, человеческий взгляд на жизнь римской философии Лукреция и Сенеки. Природа просто любит начинать вновь и вновь: она рада достигнутому и домогается высшего; она не хочет обижать существующее — пусть живет, пока есть сила, — а новое подрастает, укрепает, пока прежнее доживает. Оттого-то и трудно вытянуть произведения природы в прямую линию; природа ненавидит фронт, она бросается во все стороны и никогда не идет правильным маршем вперед: развитое животное низших классов вдесятеро совершеннее неразвитого животного высшего порядка. Дикие гермапы были в своей непосредственности выше образованных римлян.

— Я начинаю подозревать, что вы ждете варварских нашествий, переселения народов.

— Я гадать не мастер; будущего нет: его образуют совокупности тысячи условий, необходимых и случайных, да воля человеческая, придающая неожиданные драматические столкновения и развязки. Впрочем, природа не любит повторяться: она импровизирует, пользуется всякой нечаянностью, стучится разом в тысячи ворот — кто знает, которые отпрутятся?

— И вот мы, долго мудрствуя, пришли опять к беличьему колесу, опять к старым *corsi* и *ricorsi* Вико. История опять возвратилась к греческому мифу: к Пее, беспрестанно, в страшных муках разрывающейся детьми, возле Сатурна, пожирающего их. Она только стала подобросовестнее и не подменивает уже новорожденных камнями. Какая цель всего этого? Стоит же детям родиться для того, чтоб отец съел их, да и вообще — стоит ли игра свеч?

— Как не стоит? Вас смущает, что все игры доигрываются, — но без этого они были бы нестерпимо скучны. Давным-давно

Гёте толковал, что красота проходит потому, что только проходящее и может быть красиво, — это ужасно обижает людей. У человека есть инстинктивная любовь к сохранению всего, что ему нравится: родился — так хочет жить во всю вечность; влюбился — так хочет любить и быть любимым, как в минуту первого признания. Он сердится на жизнь, видя, что в сорок лет нет той свежести чувств, той звонкости их, как в двадцать. Но такая неподвижная стоячесть противна духу жизни, природы; она ничего личного, индивидуального не готовит впрок: она всякий раз вся изливается в настоящую минуту и, щедро наделяя людей блаженством и наслаждением, не страшит ни того, ни другого, не отвечает за их продолжение. В этом непрерывном движении всего живого, в этих повсюдных переменах — природа обновляется, живет, ими она вечно молода. Каждый исторический миг прекрасен, как всякий год с осенью и летом, с бурями и хорошей погодой. Он сам в себе носит свое благо, но будущее не его. Вам это досадно?

— Да, досадно. Человек ищет с тоскливым беспокойством цели всех этих начинаний, усилий...

— Цели? Какая цель песни, которую поет певица? — Звуки, звуки, вырывающиеся из ее груди, звуки, умирающие в ту минуту, как раздались. Если вы, кроме наслаждения ими, будете искать что-нибудь, выждать иной цели, — вы дождетесь, когда перестанут петь, и у вас останется воспоминание и раскаяние, что вместо того чтоб слушать, вы ждали чего-то. Нас сбивают категории, которые дурно уловляют жизнь. Вы подумайте хорошенько: что же эта цель — программа, что ли, или приказ; кто его составлял, кому прочтен, обязателен он или нет? Если да, то что мы — куклы или люди, в самом деле; нравственно свободные существа или колеса в машине? Жизнь и историю для меня легче считать за достигнутую цель, нежели за средство достижения.

— То есть: просто-напросто цель природы и истории — мы с вами, не правда ли?

— Отчасти, то есть: *плюс* настоящее всей вселенной! Тут все входит: и наследие всех прошлых усилий, и вдохновенный труд артиста, и энергия гражданских подвигов, и упоение искусством, и наслаждение юноши, который в эту самую минуту пробирается к заветной беседке, где его ждет подруга, робкая и трепещущая при каждом шорохе, — и удовольствие рыбы, которая плещется на месячном свете, и гармония всей солнечной системы, всей вселенной — словом, я, как после феодальных титулов, смело могу поставить три etc, etc, etc.

— Относительно природы вы правы, относительно истории вы забыли одно, что через все ее пульсации прошла красная

нитка, которая связует ее в одно целое, и эта нитка — прогресс. Или, может быть, вы не принимаете и прогресса?

— Прогресс — неотъемлемое свойство сознательного развития. Это деятельная память и физиологическое усовершенствование людей, образованной общественности. Конечно, не весь человеческий род участвует в нем, но вообще выход из патриархального семейного быта обуславливает совершенствование; оно пойдет так сухо, прямолинейно, так жалко правильно, как думают; но отрицать его невозможно; это премия тем, которые после нас являются.

— Неужели же вы и тут не видите цели?

— Последствие, а не цель. Если прогресс — цель, то для кого мы работаем, кто этот Молох, который, по мере приближения к нему тружеников, — вместо награды — пятится; а в утешение изнуренным и обреченным на гибель толпам, которые кричат ему: «Morituri te salutant!», только и умеет ответить: «После вашей смерти будет прекрасно на земле»? Неужели и вы обрекаете людей на жалкую участь кариатид, поддерживающих террасу, на которой когда-то другие будут танцевать; на то, чтоб быть несчастными работниками, которые, по колено в грязи, тащат барку с таинственным рулем и с смиренной надписью «Прогресс в будущем» на флаге? Утомленные падают на дороге, другие, со свежими силами, принимаются за веревки, а дороги остается столько же, как и при начале. Прогресс бесконечен; уже и это одно должно было насторожить людей: цель, бесконечно далекая, — не цель, а если хотите — гениальная уловка; цель должна быть ближе, по крайней мере заработная плата или наслаждение в работе. Каждая эпоха, каждое поколение, каждая жизнь имели, имеют свою полноту; по дороге развиваются новые требования, новые средства — отношение остается почти то же; по дороге усовершеншается мозг, — что вы улыбаетесь? — да, да, усовершеншается мозг... Как все естественное становится ребром, удивляет: точно как некогда рыцари удивлялись, что и вилланы хотят человеческих прав. Гёте, когда был в Италии, сравнивая выкопанный череп древнего быка с нашим, нашел, что у нашего кость тоньше, а вместилище для больших полушарий мозга — больше, так что тот был очевидно сильнее, а наш развился в своем подчинении человеку. За что же вы лишите людей этого развития организма? Это, так сказать, родовой рост; конечно, это не цель, если вы хотите, чтоб я непременно употребил эту категорию; цель одна — поставить человека на ноги, ввести его во владение своей средой, привить ему ее развитие, поставить его à m^ême¹ понимать, чувствовать, действовать и наслаждаться.

¹ в возможность (франц.).— *Ред.*

Природа не только не делает поколений для достижения будущего, но она вовсе о нем и не заботится; она готова, как Клеопатра, распустить в вице лучшую жемчужину — лишь бы потешиться в настоящем: у нее патура вакханки и баядеры.

— И, бедная, не может осуществить своего призвания. Вакханка на диете и баядера в трауре! По крайней мере в наше время она скорее похожа на кающуюся Магдалину. Или, может быть, мозг выделался как-нибудь в сторону.

— Вы вместо насмешки сказали вещь, которая, в сущности, вовсе не смешна. Одностороннее развитие всегда влечет за собой *avortement* других забытых, изъятых сторон. Дети, слишком развитые в психическом отношении, дурно растут, слабы. Мы веками неестественной жизни, устремленной в одну сторону, воспитали себя в искусственную сферу, в идеализм — и разрушили равновесие. Мы были велики и сильны, даже счастливы в своей отчужденности, в своем теоретическом блаженстве, а теперь перешли эту степень, и теперь она для нас невыносима. Между тем разрыв с практическими сферами сделался страшный. На кого пенять: и тут нет виноватых, кроме природы,— но и та права. Природа натянула все мышцы, чтоб перешагнуть в человеке зверя, чтоб дать ему силы освободиться от опеки, а он так перешагнул, что одной ногой совсем вышел из естественного быта. Он это сделал, потому что свободен. Мы столько толкуем о воле, так гордимся ею — и в то же время досаждем на то, что нас никто не ведет за руку, что оступаемся, несем последствия своих дел. Я готов повторить ваши слова, что мозг выделался в сторону идеализма; скорбный результат этой односторонности теперь заметили многие, и люди пойдут в другую сторону и вылечатся от идеализма, так, как вылечивались от разных исторических болезней: от рыцарства, от езуитизма, пуританизма, деизма...

— Странный путь развития болезнями, отклонениями!

— Да ведь путь и не назначен. Природа слегка, самыми общими формами наметнула свои виды. Стремление жить вместе, стремление улучшить свой быт, не успокаиваться, пока всем не будет хорошо, развивать все, что есть в душе,— действовать, сообщать другим и через все это достигать до братского единения, полного любви и деятельного обмена, все это бродит в человеке, ко всему этому он стремится даже тогда, когда, повидимому, преследует цели частные, низшие. Но как достигнуть, какими путями, совершенно зависит от людей: в их воле индивидуально вовсе нейти, а прозябать, подобно грибам, жить одним питанием, подобно устрицам, или идти в ряды войска, в ряды трудящихся. Ряды эти всегда будут; в этом опять природа; но как они пойдут, какие встретят

препятствия — зависит от всего многообразия внешних влияний да столько же иногда от воли одного человека, одной увлекательной мысли. В этом-то весь драматический характер отклонений. Если б не было ни страшных отклонений, ни неожиданных поправок — в чем же бы состоял действительный интерес истории? Тогда истории не было бы, а была бы логика. Человечество явилось бы готовым в непосредственно устроенном *statu quo* — как животные. Какой скачок от орангутангов, и какое тупое положение! Страшная нелепость! Дается инстинкт — разум вырабатывается, и вырабатывается трудно; его нет ни для природы, ни для человека: его надобно достигать, а это трудно, особенно когда нет *libretto*. А если б был *libretto*, тогда история не пужна, тогда она шалость. Подумайте, как смешны будут и мрачная горесть Тацита, и восторг Колумба: все превратится в гаерство, великие люди сойдут на одну доску с театральными героями, которые, худо ли, хорошо ли играют, — всё идет к одной развязке. Нет! У истории все импровизация, все *ex tempore*, вперед — границ нет; даны условия, огонь жизни и деятельность, святое беспокойство; достигнута личность — бойцы, пробуйте силу, идите куда хотите, куда только есть дорога из прошедшего, а где ее нет — гений проложит новую — Колумб или Петр Первый.

— А если на беду гения не найдется?

— Они почти всегда находятя; впрочем, в них нет необходимости: народы дойдут после, дойдут иной дорогой. Гений — щегольство истории, ее роскошь. Неужели вы думаете, что судьбы Европы были бы не те, если б Наполеона вовсе не было, — хотя во внешних обстоятельствах перемена была бы большая?

— Все это хорошо; но при такой неопределенности, распушенности история может продолжаться во веки веков — или завтра окончиться.

— Без сомнения. Вероятно, впрочем, при дальнейшем развитии люди натолкнутся на некоторые пределы, лежащие в самой натуре человека, на такие ограничивающие условия, далее которых нельзя идти, оставаясь человеком. Недостатка в деле, в занятии, пока будет длиться история, я не могу себе представить. С другой стороны, я ничего не имею против окончания истории завтра же. Мало ли что может быть: энкиевская комета наедет, геологический катаклизм приостановит на минуту органическую жизнь...

— Фу, какие ужасы! Вы меня страшаете, как маленьких детей; но я вас уверяю, что этого не будет. Стоило бы очень развиваться три тысячи лет с приятной будущностью задохнуться от какого-нибудь серно-аммонийного испарения из земли. Как же вы не видите, что это нелепость?

— А я вас спрошу, как вы до сих пор не привыкнете к естественным путям явления? В природе, так, как в душе человека, дремлет бесконечное множество сил, возможности; как только соберутся условия, нужные для того, чтоб их возбудить, — они развиваются и будут развиваться донельзя; они готовы наполнить собою мир, но они могут запутаться на полдороге, приять иное направление, быть, наконец, остановлены. Какой гений устоит против цикуты? Природа так богата, что ей это ничего, ее не убудет от этого; ей же все равно: из нее ничего не вынешь — всё в ней, как ни меняй.

— Для людей однакож и для живых существ это далеко не все равно. И Александр Македонский, я думаю, несколько не был бы рад, узнавши, что он пошел на замазку, как говорит Гамлет.

— Насчет Александра Македонского я вас успокою: он этого никогда не узнает. Я совершенно с вами согласен, что для человека совсем не все равно, жить или не жить; из этого я делаю заключение, что надо пользоваться жизнью, настоящим: недаром природа всеми языками беспрерывно шепчет и повторяет: «*Vivere memento*».

— Напрасный труд. Мы помним, что мы живем, по глухой боли, по досаде, которая точит сердце, по однообразному бою часов, — потому, наконец, что жажда деятельности нас снедает — в мире, которому она не нужна. Наслаждаться! — когда, по вашим словам, весь мир, нас окружающий, скоро рухнет и, стало быть, где-нибудь да задавит же. Еще хуже, нас с вами и не задавит; стены сотни лет стоят с трещинами, а пошлая действительность, нас окружающая, и трещины не давала: она так прочна, так прочна... я не знаю в истории такого удушливого времени; была борьба, были страдания, но была и вера; можно было погибнуть, но нельзя было дойти до отчаяния: нам не для чего умирать и не для чего жить.

— А вы думаете — в падающем Риме было легче?

— Конечно, легче, потому что его падение было так же очевидно, как и замена.

— Очевидно для кого? Неужели вы думаете, что римляне смотрели на свое время так, как мы смотрим на него? Гиббон не мог отделаться от обаяния, которое производит древний Рим на каждую сильную душу. Вспомните, сколько веков продолжалась его агония; нам это время скрадывается по бедности событий, по бедности в лицах, по томному однообразию; а именно эти-то периоды — немые, серые — и страшны для современников; ведь годы в них имели те же триста шестьдесят пять дней, ведь и тогда были люди с душой горячей и блекли, терялись в бесцветных сумерках, под облаками пыли от разгрома

падающих стен. Какие звуки скорби вырывались тогда из груди человеческой — читайте, они остались.

— А христиане?

— Они четыре столетия прятались по подземельям, успех казался невозможным, а жертвы были перед глазами.

— Но вера их оправдалась.

— И на другой день после торжества явилась ересь. Языческий мир ворвался в святую тишину их братства, и христиан со слезами обращался назад ко временам гонений и благословлял святые воспоминания, читая мартиролог.

— Вы, кажется, начинаете меня утешать тем, что всегда было так скверно, как теперь.

— Нет, я хотел только напомнить вам, что нашему веку не принадлежит монополия страданий и что вы дешево цените прошедшие скорби. Мысль была и прежде нетерпелива; ей хочется сейчас, ей ненавистно ждать, а жизнь не довольствуется отвлеченностями, не торопится, медлит с каждым шагом, потому что ее шаги трудно поправляются. Отсюда трагическое положение мыслящих. Но чтобы опять не отклониться, позвольте мне теперь вас спросить: отчего вам кажется, что мир, нас окружающий, так прочен и здоров?..

Давно уж тяжелые и крупные капли дождя падали на нас и глухие раскаты грома становились сильнее, а молния ярче. Тут дождь полился как из ведра. Все бросились в каюту — парход скрипел, качка была невыносимая — разговор не продолжался.



ПОСЛЕ ГРОЗЫ

Женщины плачут, чтоб облегчить душу, — мы не умеем плакать, я хочу для этого писать. Не описывать, не объяснять страшные события, а просто говорить об них, дать волю речи, слезам, мысли, желчи. Где тут описывать, собирать сведения, спокойно рассуждать? В ушах еще раздаются выстрелы — топот несущейся кавалерии, густой звук лафетных колес по мертвым улицам — мелькают отдельные подробности: раненый на носилках, фуры трупов, — пленные с связанными руками, — лагерь у Porte St. Denis, бивуаки на Place de la Concorde... и мрачное, ночное «Sentinelle, prenez garde à vous». — Нет еще, мозг слишком воспален, кровь слишком остра. Время негодования громкого, открытого — настало, время истории еще не пришло.

Сидеть у себя в комнате сложа руки, когда возле льется кровь, когда возле режут, и не иметь возможности ни покинуть город, ни даже выйти из дому — от этого можно с ума сойти, умереть. Я не умер, но я состарелся, но я слаб, как после тяжелой болезни. Быть свидетелем преступления гораздо мучительнее, нежели участником.

Первые дни прошли в каком-то смутном хаосе — дым, шум, кровь... я помню 26 июня отрывистые, небольшие, правильные залпы, с небольшими расстановками. Мы все взглянули друг на друга — у всех слезы были на глазах, у всех лица были зеленые. «Ведь это расстреливают», — сказали мы в один голос и отвернулись друг от друга... Но после бойни, продолжавшейся четверо суток, наступила тишина, *мирное* осадное положение, — ни одного экипажа, ни одного гуляющего, — испуганные жители бродили около жилищ своих, надменная Национальная гвардия стояла у домов, на площадях пушки и кавалерия; ликующие толпы мобили ходили по бульварам с песнями — дети 16, 17 лет, запачканные кровью, хвастались ею, им выносили вино, на них бросали цветы. Мещанки выбегали из-за прилавков, чтоб приветствовать победителей. Буржуазии

торжествовала, а угольный дом в предместьи св. Антония еще дымился, палатки были разбиты по бульварам, лошади глодали прекрасные деревья Елисейских Полей, везде сено, солома, кирасирские латы, седлы — в Тюльерийском саду готовили суп за очажком... и этот вид стал меняться, начали мести, сыпать песок, из-под которого кровь все-таки проступала... к Пантеону, разбитому ядрами, не подпускали... движение появилось на улицах, праздношатающиеся облепили кофейные, буржуа появились на бульварах.— Тогда только стало уясняться прошедшее. Помните у Байрона описание ночной битвы — и потом рассвет, приходящий обличить все страшное и дикое борьбы, все скрытое мглою, — руку, судорожно копающую песок, окровавленную чалму... Вот этот-то рассвет наставал теперь внутри души, страшное опустошение обличалось им, половина надежд, половина верований была убита — мысли отрипанья, отчаяния бродили в голове, старались укрепиться. Предполагать нельзя было, чтоб в душе нашей, прошедшей через столько опытов, теорий, испытаний современной негацией и неверующей критикой, оставалось так много истребленного — религиозного — и так дорогого.

После таких сильных потрясений живой человек не остаётся по-старому. Или душа его становится еще религиознее, бросается в ожесточенный фанатизм, с злым упорством находит в самом отчаянии утешение, и он вновь зеленеет, обожженный грозой, нося смерть в груди, или он грустно, но мужественно отдает еще строй верований и упований, становится трезвее и трезвее — и не удерживает последние слабые листья, которые уносит резкий осенний ветер. Что лучше?

Одно ведет к блаженству безумия.

Другое — к самоотвержению знания.

Выбирайте сами. Одно чрезвычайно прочно, потому что оно отнимает всё. Другое ничем не обеспечено — потому что оно многое дает.

Внутри души человеческой, в которой возбуждена мысль, есть постоянный революционный трибунал, есть беспощадный Фукье-Тенвиль — и, главное, есть гильотина. Иногда судья засыпает, гильотина ржавеет, ложное, прошедшее, романтическое, слабое поднимает голову — и вдруг какой-нибудь дикий удар будит суд и палача — начинается свирепая расправа. Или казнить и идти вперед, или упасть на дороге, малейшая уступка, пощада, сожаление — ведет к реакции, ведет к прошедшему, оставляет цепи. А их-то снять — в этом вся задача трибунала.

Первый шаг мышления, — говорил умирающий Дидро, — неверие. Это-то и есть страшный суд разума, о котором я говорю. Нелегко достаются эти казни, эти расставанья с мыслями,

которые нам были святы по преданию, с которыми мы сжились, которые нас лелеяли, утешали, которые нам доставили минуты счастья и блаженства. Какая страшная неблагодарность — пожертвовать ими! Да. Но на той выси, на которой стоит трибунал, там нет благодарности, там неизвестно святоотечество — и если революции, как Сатурн, ест своих детей, то *мы*, дети ее, как Герон, убиваем нашу мать — лишь бы отделаться от прошедшего. Кто не помнит своего логического романа? Кто не помнит, как в его душу падала первая скептическая мысль, первая бодрость исследования — и как она захватывала более и более и подтачивала самые дорогие достояния юной души? Церковь и государство, семейные отношения, национальные предрассудки, добро и зло — являются последовательно перед здоровой критикой, но юноша, подвергая все суду и осуждению, стремится спасти клочки, отрывки, — отказываясь от христианства, он бережет бессмертие души, платоническую любовь, заприродность, романтизм, идеализм — и лучше всего Дух — провидение. Но остановиться невозможно, как я сказал, или замереть неподвижно и глухо на дороге, как верстовой столб, или предать суду и последнюю пошу, спасенную из прошедшего. И вот верховное бытие, абсолютный дух является на лавке подсудимых. Разум беспощаден, как Конвент, настает свое 21 января. Добрый и кроткий король приговорен к гильотине. Это первый пробный камень: все слабое, все половинчатое бежит, отворачивается, не подает голоса и идет назад, — другие, как жирондисты, произносят приговор, жалея подсудимого, воображая, что, казнивши его, нечего будет казнить, что 22 января республика готова и счастлива. Фейербах был *accusateur publique*¹. Мы казнили бога. Казалось, все кончено — *consomatum est*. Как будто достаточно атеизма, чтоб не иметь религии.

Вспомните, террор именно начался после казни короля. Смотрите, вот являются на помосте благородные отроки революции — жирондисты, блестящие, красноречивые, самоотверженные. У вас текут слезы, опускаются руки — вам жаль их, но спасти невозможно, и окровавленные головы их показывает палач... Погодите отворачиваться — вот и голова Дантона, и за ним идет на ступени баловень революции Камилл Дюмулен... Ну, теперь, говорите вы с ужасом, теперь конечно, — извините — святые палачи идеи, Робеспьер и Сен-Жюст, будут казнены за то, что они верили в возможность демократии во Франции пятьдесят пять лет тому назад, — казисны, как Анахарсис Клооц, мечтавший о братстве народов, за несколько

¹ общественным обвинителем (франц.). — *Ред.*

дней, до Наполеоновской эпохи.— То же во внутреннем процессе. Отделавшись от крупных, очевидных представителей прошедшего, мы стали встречать на каждом шагу, в каждом чувстве, в каждом понятии что-нибудь христианское, религиозное, — казнивши царя, мы сделали царей из всякой всячины, так велика потребность рабства в нас, — поставивши статую разума, мы впали было в идолопоклонство перед нею. Мы сделались рабами отвлеченной законности, свободы, государства, — после грозного чудовищного опыта нельзя продолжать эту фантазмагорию. Кого же тащить на гильотину? Кто новые обвиняемые?

— Республика. — Suffrage universel...¹

— Францию — да по дороге и всю Европу.

Казней много — неужели за этим останавливаться? Близким, дорогим надобно пожертвовать — мудрено ли жертвовать ненавистным, в том-то и дело, чтоб отдать дорогое. Я не остановлюсь, я знаю, что не будет миру свободы, пока все религиозное не превратится в человеческое, простое, подлежащее критике и отрицанию. Истина канонизированная, подавляющая человека, истина неприкосновенная — ошейник рабства на разуме. Разум не требует уничтожения, он, собственно, только расстригает из ангельского чина в людской, он превращает священные таинства в простые истины, неземных дев — в женщин. Если республика выдает себя за такое же божественное право, как монархия, если она свои капризы делает мне святым законом, то я ее презираю так же, как монархию. Нет, гораздо больше. Монархия в Европе — дело совершенно прошедшее, если она и существует кой-как — то у ней нет будущего. Она никогда не поправится от удара, нанесенного ей 24-м февраля. Республика не в том положении, от одного имени ее сильнее бьется наше сердце, мы влюблены в нее, республика — наш религиозный догмат. К ней надобно быть гораздо строже — пощады ей ждать невозможно, она ничего не щадила, эта Клеопатра, эта Лукреция Борджиа, у ней нет религиозных, поэтических, феодальных отговорок монархии, она с нами стоит на одном terrain² — какие ей уступки? Мы не уважили короны — пора перестать уважать и фригийскую шапку. Отсутствие царя еще не есть свобода. Монархическая власть не менее притеснительна в руках Собрания — только менее откровенна. Лудвиг-Филипп никогда не осмелился бы привять каваньяковских мер, он знал, что религия монархии прошла. — Во имя святости suffrage universel и самодержавья Собрания бомбардиро-

¹ Всеобщее избирательное право (франц.). — *Ред.*

² почве (франц.). — *Ред.*

вал он Париж. Как же не разбить этот кумир? Пора перестать быть детьми. Не будем слабы — вспомним лучше Шиллера, как он вырвал Лауру из своего сердца:

Ich riß sie blutend aus dem wunden Herzen
Und weinte laut und gab sie ihr¹ *.

И пусть великим результатом страшных дней останется понимание, что Французская республика очень далеко от того, чтобы удовлетворить потребности современного человека на свободу. Последний подвиг Франции — 24-е февраля — велик и колоссален, она дала программу новой эры, она поставила всемирно-исторический вопрос, она второй раз указала миру идеалы, к которым надобно стремиться, она второй раз имела святую дерзость осуществить то, о чем едва смеют мечтать. И погибла во второй раз за свою гениальную опрометчивость. Она, как Христос, распинается нашего ради спасения, — она, исходя кровью, умирая от голоду и насилия, завещает миру республику демократическую и социальную, — пример самоотвержения и мужества. Но ее минует и на этот раз плод, выработанный ею. Где почва во Франции для социальной республики? — Она только и может быть республикой мещанской, монархической, солдатской, притеснительной, давящей. Кучка самоотверженных, героических провозвестителей будущего, толпа, полная сил, свежести, мысли, — это работники больших городов. Они действительно граждане будущей республики. Все остальное против них и против истинной республики. Невежественный, тупой земледелец с свирепой злобой говорит о «коммунистах»; ограниченный, развращенный мещанин, мелкий эпископ² и богатый банкир ненавидят их из корысти; распутная литература не понимает их. Тут армия и узкое законодательство не могут без скрежета зубов видеть что бы то ни было свободное, недисциплинированное — для них мысль, не укладываемая в их формы, — беспорядок, человек, не идущий во фронт и нога в ногу, — мятежник. Где же место, простор свободе в этом мире, выращенном на крови, на неправде и нравственном растлении? Он был велик в прошлой борьбе, он был обманут, увлечен 24 февраля, — но теперь спохватился — и объявил *état de siège*³, т. е. варшавский порядок. Франции 24 февраля нет. Францией июньских дней осталась она, буржуазии налегла жабой на грудь побежденных и все подавила: свободную речь, право собираться, личное обеспечение. Фонды поднялись на другой день после резни!

¹ Я вырвал ее, истекая кровью, из израненного сердца, и громко заплакал и отдал ее ей (нем.). — *Ред.*

² лавочник, от *épiscop* (франц.). — *Ред.*

³ осадное положение (франц.). — *Ред.*

Но имя республики буржуа не предали, они поняли, что в республике первое место им, воля им, — и горе непокорным, в подвалы их, где вода по колено, в депортацию их. Франция осталась Францией Варфоломеевской ночи, Лудвига XIV, Наполеона. Старая Франция — ее ничто не изменит, кроме смерти.

Уж разрушался бы скорее этот мир, что сидеть над клюкой расслабленному и впавшему в ребячество старику, — пора костям на место — пора обновиться сыновьями. А где сыновья? — Не в Австрии ли, не в Пруссии ли? — Что-то плохо верится. А где были христиане в Риме? — в катакомбах, в пещерах — так и теперь ищите сыновей в душных мастерских, в переулках, в которых не осталось целого окна, не осталось стены, не облитой кровью, — там растет новое поколение, бледное, голодное, худое, отлученное от всех даров мира сего и от этого без всякой связи с ним. Им нечего жалеть ни цивилизацию, которая их оставила без образования, ни государство, которое им не дает куска хлеба, ни республику, которая им посылает фразы, обещанья — и ядры, если они осмеливаются просить исполнения. Эти люди неутомимо подкапывают под фундамент старого здания, они работают день и ночь, уловить, остановить их невозможно. Их называют чартистами в седой Англии, социалистами в седой Франции. Им и мы, дальние братья, можем протянуть руку — потому что они умеют отвечать симпатично. В них, как и в нас, нет той *удушливой ограниченности*, которая поражает в образованных европейцах. У нас, как и у них, нет ноши, мы не ломимся под тяжестью исторического наследия. У нас нет твердых правил этой каменной болезни мозга, мы не знаем застарелого безумья феодализма и римского права — и мы и они не имеем ни прошедшего, ни настоящего, — но будущее — наше.

Да, будущее — наше, нами делается возможным братство народов, нами делаются возможными социальная республика и торжественная федерализация всего мира. Говоря *нами*, я говорю о наших детях, внуках. Где нам, начинающим сесть в бою, где нам видеть будущее? Нам еще шагу свободно сделать нельзя — с одной стороны мир прошедшего, гниющий, но громадный, сильный, с другой — мир будущий, незрелый, дальний, слабый. Что же для нас в настоящем? Наше настоящее там, где отчаянная борьба, там, где страдание. Кто теперь не страдает, кто теперь успокоивается воспоминанием и надеждой — тот не человек. Неужели только страдать? — О, нет — просто в страданье есть что-то женское, даже детское, — наше страданье должно быть деятельно, мы не призваны собирать плод, мы не призваны наслаждаться, хотя и нам достались великие минуты счастья, — и их мы не забудем! Мы призваны на другое — быть палачами прошедшего, казнить, преследовать с злобой,

с неутомимостью восторжествовавшего врага, мы должны узнавать его везде, во всех одеждах, во всех формах, обличать, тащить к суду разума и приписать на жертву светлому будущему. Работать, работать всю жизнь для того, чтоб выломить хоть один камень из тяжелого свода, — а там вались он себе на нашу голову — но, главное, без пощады, без уступок. Трехцветное знамя и желание примирения убили 24 февраля.

Какая тут пощада... кого щадить — Париж? Гибель ему. Его час настал, он дальше не пойдет. Кончина его славы — 24 февраля; двинутый им, он шел целый месяц вперед и обличил свою неспособность, у него сделалась одышка, он стал отставать, а с 15 мая стоял, ожидая страшного поражения. Пускай он идет со сцены, старый развратник с юношескими мечтами, — ему для житья нужны варфоломеевские ночи, сентябрьские дни, июньские сутки — кто же станет поить своей кровью этого дряхлого вампира? Нет, он свое сделал — пусть разлагается вместе с буржуазной республикой, он не знает, что такое равенство, что такое свобода, он не пошмает братства — он думает, что все сделает кровью, убийством, храбростью, — пусть же он тонет в крови праведников, лишь бы потонул.

Буржуази пирует, царствует в Париже. А вот уже месяц, как он в осадном положении, вот уже месяц, как гражданин боится гражданина. Месяц с тех пор, как ежедневно водят арестантов, как женщины трепещут в домах своих, как все подвалы набиты людьми баррикад. Буржуази довольна, она дома свои осветила 27 числа, и огонь плашек играл и отсвечивался в крови их братьев. Вся власть в руках буржуази, и она собралась венком, гирляндой около Тьера. Да будет он президентом. Фигаро — президент республики, — что может быть забавнее? Пусть вместе с ним царствуют эти жирные лбы, отвислые щеки, маленькие глазки; пусть царствуют люди, которым жизнь за прилавком, жизнь, проведенная в обмеривании и обвешивании, положила клеймо отвержения на лице. Пусть это нечистое животное о восьмистах головах позорит трон — позорит власть, — после него никто не захочет занять место, они из трона сделали позорный столб. Какое собрание портретов можно сделать и подарить какому-нибудь патологическому кабинету для поучения юношеству, для показания им, до чего может пасть образ человеческий — от мирного разврата, от благоразумного стяжания, от сытости, скупости и любви к порядку!

Только зачем же Париж умирает так позорно, зачем судьба отказала ему в честной кончине? Жаль его. Он так умел смеяться над другими — и так пошло-смешно окапчивает свою карьеру. Что же делать? — Разве не он вытерпел, позволил укорениться контрреволюции после 24 февраля, разве не он сложил руки сидел после 17 апреля, разве не он призвал дикие орды

африканцев против братьих своих, чтоб не делиться с ними, и зарезал их бездушной рукой убийцы по ремеслу? Неси же казнь, Каин-буржуа, скучный ритор, лжец, неси логическое последствие, падай глупо, падай преступно, падай позорно...

Все элементы разрушающейся веси, все то, на чем этот дряхлый и половинчатый мир основывал свою славу, свое величие, является теперь во всей гнусности, во всей нелепости. Вот верный признак смерти.

La grande armée¹... она взяла не хуже союзных войск Париж; нет, лучше, она взяла улицу за улицей, квартал за кварталом, оставляя груды трупов. Париж любит играть в солдаты, он посадил императором своего маленького капрала, этого солдата в душе и мещанина по присамам, Париж Робеспьера вытиснул во фронт и не смел ни думать, ни дышать перед своим императором. Париж рукоплескал злодействам, которые называют победами, он воздвигал статуи, колонны... он пятнадцать лет плакал о железной руке, он переносил его мощи — он не постыдился после 24 февраля кричать: «Vive Louis Bonaparte!»² — пусть же он насладится казарменным управлением и справедливостью кордегардии.

La grande armée... слава Франции, Рейн, Moscov³ — вот она вам. Солдат — не гражданин. Цезарь, вы помните, не нашел ничего оскорбительнее для наказания крамольного легиона, как название граждан. Армия — государство в государстве. Государство с другими правами. Все солдатское не идет к человеку, все человеческое не идет к солдату. Солдат, который рассуждает, — опасен, гражданин, который не рассуждает, — презрителен. Обязанность солдата убивать, он иначе одет, чтоб не мешаться с толпою, он не работает, не производит, он вооружен и ждет, когда ему велют резать, — тогда он режет алжирца или своего брата. Словом, что общего между нашей цивилизацией и той, которая издала на днях прокламацию, в которой Ла-Морисьер делает выговор какому-то батальону за то, что они *щадили кровь* — «пощада — преступление для военного, у него должна быть одна религия, честь знамени». — Да, это совсем иная религия.

Le suffrage universel... вот вам и suffrage universel, не опертый ни на какое общее социальное воспитание, ни на какую мысль, а механический, арифметический, холодный, тупой, бесхарактерный suffrage universel.

Узкость пониманья, отсталость, тупоумье Национального собрания — поражают, разрушающийся мир *заговаривается*

¹ Великая армия (франц.). — *Ред.*

² «Да здравствует Луи-Бонапарт!» (франц.). — *Ред.*

³ Москва-река (франц.). — *Ред.*

этими семьями ртами. Три месяца эти люди ничего не делали. Как все посредственные натуры, они бросились в мелочи, в подробности — и стали во весь рост 23 июня, чтоб показать миру зрелище невиданное — 700 человек, действующих, как один злодей, как один изверг. — Кровь лилась реками, а они не нашли слова любви, сожаленья, самый страшный террор — это террор трусости. Консидерап, Косидьер предлагали мирные слова, но их предложения были покрыты воплем негодования. Все великодушное, всё благородное, доблестное неизвестно этому Калигуле о 700 головах, этому товарищу неаполитанского короля. Они не хотели понять последних слов умирающего Аффра, они не позволили прочесть письмо епископа Халкидонского. Национальная гвардия — эта «охранительница свободы и прав» — поняла их, elle a bien mérité de la patrie¹ — она расстреливала безоружных, она убивала пленных. Свирепейшим мальчишкам мобили раздавали кресты — и Франция не поняла непристойности этой награды.

Но, скажут, в онянении борьбы, крови, опасности человек сходит с ума... — хоть это и не извиняет ничего, тем не менее и этой защиты нет. Больше месяца прошло после победы, пора уходить, — нет, то же преследование, холодное, злое, беспощадное. Процесс, в котором сорок тысяч виноватых, десять тысяч колодников, — процесс инквизиторский, секретный, незаконный.

В первые дни янычары Национальной гвардии тащили расстреливать Луи Блана за мечту об организации работ, а Лагранжа за баррикады 24 февраля! При крике «Vive la République!» Точно то же делает теперь следственная комиссия — она во имя республики хочет уничтожить Барбеса, даже Временное правительство.

Какая шекспировская ирония у истории... Бесстыдные жрецы, куящие в цепи людей, оскорбивших, как они говорят, великую революцию, республику — эти люди, купленные претендентами. Какой разврат, какое паденье в этом двоедушии! Они шаг за шагом уничтожают во имя республики все, провозглашенное республикой, все, составляющее жизнь и возможность этой общественной формы.

Февральская республика вооружила народ — реакция обезоружила его. Ружье в руках у блузника — преступление в глазах буржуазии. Свободные граждане французские не могут собираться на улице — буржуазия издала закон об attroupements², они не могут собираться и в комнате, она закрыла клубы; нет свободы книгопечатания, нет личной свободы — радикальные

¹ у нее большие заслуги перед родиной (франц.). — *Ред.*

² сборищах (франц.). — *Ред.*

писатели бежали — Торе, Кабе скрылись — Ж. Санд хотели тащить в тюрьму. Одиннадцать журналов запрестили.—Рабство, ярмо неслыханное после Наполеона. Оппозиция молчит. *Complicité du silence!*¹ Народ ходит унылый, удивленный, испуганный — будто это не тот народ, который жил до июньских дней.— Буржуази домашним советом обезоруживает тех людей, принадлежащих Национальной гвардии, которые известны радикализмом.— Прибавлю одно. Несколько граждан, которые принесли свои ружья в легионы, говоря, что они их отдают, ибо не имеют силы стрелять в французов,— были брошены в тюрьму; убийство сделалось святой обязанностью. Кто не отмолил себе руки в плебейской крови, становился подозрителем для мешапина.

Один мужественный плач, одно великое негодование, одно мрачное проклятие и раздалось этим каннибалам из уст Ламенне.— Старика будут судить.

Им не уйти от его проклятия.— Да, не уйти и тем слабым, жалким, которые хотели скорлупу республики без ее зерна, которые осмелились на всех перекрестках солгать, солгать страшными словами:

*Liberté, Egalité, Fraternité*².

Это огненные слова Даниила, это смертный приговор — без апелляции, без помилования.

Казнь будет — кровь, кровь, кровь польется страшная. Ну, что же выйдет из этой крови? — Смерть, распадение старому миру... Это будет торжество притесненных, праздник мести... анархия — оргия крови... ну, а дальше — я не знаю. Идея социалистов не созрела столько же, сколько идея мешпан сгнила. У них больше предчувствия, нежели знания; больше пониманья современного зла, нежели будущего блага... на таких носящихся (*schwebende*) идеях не удаются революции, но истребление удастся — будет такая Жакри, такая Варфоломеевская ночь, перед которой ужасы июньских дней покажутся отеческим исправлением, детской игрой, и в этом море крови, огня, бешенства, гнева, мести — погибнет гниющий, разрушающийся мир, — и это прекрасно — *Vive la mort!*..

— — — Да здравствует хаос, экстерминация!..

— *Vive la mort!*..

И да наступит будущее.

Париж, 27 июля 1848

¹ Заговор молчания (франц.). — *Ред.*

² Свобода, Равенство, Братство (франц.). — *Ред.*



DONOSO CORTÈS, MARQUIS DE VALDEGAMAS,
ET JULIEN, EMPEREUR ROMAIN

Ils ont des yeux, les conservateurs, et ils ne voient pas; plus sceptiques encore que ne le fut Saint Thomas, ils touchent la plaie et ne croient pas à sa profondeur.

«Voilà,— disent-ils,— les progrès de la gangrène sociale; voilà l'esprit de négation qui souffle la destruction; voilà le démon de la révolution qui ébranle les derniers soutiens du vénérable édifice politique; c'est clair, notre monde court à sa perte, entraînant avec lui la civilisation, les institutions; il a déjà un pied dans la tombe...» Et ils ajoutent: «Doublez la force des gouvernements, ramenez les hommes aux croyances qu'ils n'ont plus, appuyez l'autorité sur les armées permanentes, il y va du salut d'un monde entier!»

Sauver un monde par des réminiscences, par des mesures coercitives?— Quelle démençe! On le sauve par une *bonne nouvelle*, et non par une religion réchauffée, on le sauve par un verbe qui porte en germe un nouveau monde, et non par la restauration d'un ordre de choses vieilles.— Chrétiens, vous le savez!

Est-ce obstination de la part des conservateurs, ou manque d'intelligence; est-ce la peur d'un avenir sombre qui trouble leur entendement, parce qu'ils ne voient que ce qui succombe, parce qu'ils ne s'attachent qu'au passé et ne s'appuient que sur des ruines; prêts à s'écrouler? C'est aussi le résultat de la confusion complète des idées, à laquelle nous sommes parvenus à force de révolutions incomplètes et de restaurations aveugles, à force d'inconséquences, de replâtrages, cette confusion nous rend extrêmement difficile à saisir toute notion claire, simple, naturelle.

Cette confusion préexiste pour nous comme un héritage; nous la trouvons établie dans notre âme au nom de l'autorité. Le réveil des facultés intellectuelles, la fonction logique est paralysée, déviée de sa route. Le rapport naturel de l'homme à

l'extérieur est troublé. L'éducation rend les hommes fous avant qu'ils aient eu le temps d'avoir de l'esprit.

Au moins, dans le passé il y avait plus d'unité; une folie épidémique n'était presque pas remarquée; tout le monde était dans l'erreur, mais tout le monde était d'accord sur les généralités. A présent, figurez-vous ce chaos qui obscurcit la pensée de la génération contemporaine. Préjugés du monde romain; préjugés du moyen-âge; préjugés de l'Évangile; préjugés des encyclopédistes; le catholicisme et l'économie politique, Voltaire et Loyola, l'idéalisme dans les théories et le matérialisme dans la vie, une moralité abstraite, rhétorique dans la bouche et une conduite qui n'a rien de commun avec elle.

Cette masse hétérogène s'établit dans notre esprit sans contrôle, sans coordination quelconque, ni analyse. Une fois arrivés à l'âge mûr, nous sommes trop occupés, trop paresseux et trop lâches pour citer un à un tous ces dogmes devant le tribunal de la critique et c'est ainsi que nous ne parvenons presque jamais à la clarté lucide du réalisme.

Cette confusion n'existe nulle part à un tel degré qu'en France. Les Français, ne vous en scandalisez pas, privés en général d'une éducation philosophique, comprennent avec une grande sagacité les résultats, mais ils les saisissent d'une manière abstraite, et ces résultats restent isolés, manquant d'ensemble, de méthode. De là vient nécessairement le vague de toutes les idées, des contradictions à chaque pas.

On est forcé, en France, de répéter les vérités les plus élémentaires, de revenir sur des principes qui n'étaient pas nouveaux du temps d'un Bacon ou d'un Spinoza. Il n'y a rien d'acquis chez vous, comme par exemple en Allemagne, sous le point de vue scientifique, en Angleterre sous le point de vue du droit. De là cette légèreté de changement dont nous sommes les continuel témoins. Une génération de révolutionnaires devient absolutiste. Après trois révolutions on en est encore à la question de la censure, de la prison préventive, de la transportation sans jugement, parce qu'il n'y a rien de gagné définitivement. Cette confusion s'est produite dans la science même par l'éclectisme de M. Cousin, qui lui a donné une organisation systématique.

Cette confusion règne dans tous les camps, chez les démocrates comme chez les absolutistes, à plus forte raison chez les modérés qui ne savent ce qu'ils veulent, ni ce qu'ils ne veulent pas¹.

¹ Je ne connais qu'un seul écrivain français qui s'est émancipé des influences traditionnelles, qui a le courage d'une conséquence logique à toute épreuve et qui ne recule devant aucune vérité, qui s'impose comme déduction, — c'est Proudhon.

Permettez-moi de vous citer un exemple récent de ce vague dans les idées de nos adversaires; je me propose, pour une autre fois, de prendre mon exemple *au sein de la famille*.

Les journaux royalistes et ultramontains ont cité avec enthousiasme un discours de M. Donoso Cortès. C'est un discours très remarquable sous beaucoup de rapports. L'orateur a profondément apprécié la terrible position de l'Europe actuelle, qui est à la veille d'un cataclysme inévitable, fatal. Le tableau qu'il en fait est palpitant de vérité. Il représente l'Europe désorganisée, impuissante, entraînée à sa perte, mourant de faiblesse, et le monde slave se ruant sur le monde germano-romain, pour se promener l'arme au bras par toute l'Europe.

Il dit: «Ne croyez pas que les catastrophes finissent là; les races slaves ne sont pas aux peuples de l'Occident ce que les races allemandes étaient au peuple romain. Non, les races slaves sont, depuis longtemps, en contact avec la civilisation... La Russie, placée au milieu de l'Europe conquise et prosternée à ses pieds, absorbera par tous les pores le poison qu'elle a bu et qui la tue. La Russie ne tardera pas à tomber en putréfaction. J'ignore le remède universel que Dieu tiendra prêt pour cette universelle pourriture».

Eh bien! En attendant cette panacée divine, savez-vous ce que propose cet homme qui a tracé ces paroles de Daniel?

Nous sommes honteux de le dire, il pense sauver le monde en faisant l'*Angleterre catholique* et en laissant le soin du salut continental aux armées permanentes et à l'autorité monarchique. Il veut détourner le terrible avenir en allant vers un passé qui n'existe presque plus.

Nous ne croyons pas à la pathologie du marquis de Valdegamas. Ou le danger n'est pas si grand, ou le remède est trop faible.— L'autorité royale est bien restaurée, ses armées permanentes ont le dessus, l'église triomphe, M. Thiers lui-même est devenu très catholique, la réaction ne laisse rien à désirer,— et pourtant le salut ne vient pas.— Est-ce parce que l'Angleterre persiste dans le schisme?

On accuse tous les jours les socialistes de n'être fort que dans la critique, dans la constatation du mal, dans la négation. Et vous-mêmes, messieurs les antisocialistes?

Pour comble de confusion, la rédaction d'un journal blanc *poudre de perle* a inséré dans la même feuille, où elle se répand en compliments pour M. Donoso Cortès, les fragments d'une compilation historique (assez médiocre). On y raconte sur les premiers siècles de la chrétienté des faits qui réfutent complètement le point de vue de M. Cortès.

M. Cortès se place exactement sur le terrain des conservateurs romains, tels que Pline, Trajan, Dioclétien, Julien etc. Il voit

comme eux le voyaient, par rapport à Rome, la dissolution de l'état actuel de l'Europe, — il en frémit, ce qui est très naturel, car il y a de quoi frémir, — et désire sauver, à tout prix, cette société mourante. Pour la sauver, il cherche les moyens d'arrêter l'avenir.

Dans son raisonnement il part (comme les romains) d'une donnée fautive, d'une supposition sans preuve, d'une opinion exclusive. Il pense que les formes actuelles de l'existence sociale, telles qu'elles ont été élaborées par l'action mutuelle des trois éléments de l'histoire européenne: l'élément romain, chrétien et germanique, — sont les seules possibles. Pourtant nous voyons dans l'histoire ancienne et dans l'Orient contemporain des bases sociales toutes différentes, peut-être inférieures, mais d'une énorme solidité.

M. Cortès suppose que la civilisation ne peut se développer que dans les formes politiques de l'Europe actuelle. Et pourtant la Grèce et Rome sont là pour prouver le contraire. Il est facile de dire (comme l'a fait l'orateur) que le monde ancien a été *cultivé* et *non civilisé*. C'est de la scolastique, de pareilles distinctions n'ont de succès qu'en théologie. La civilisation du monde antique a été une civilisation de minorité, comme la nôtre. Comme la nôtre, pour être possible, elle avait besoin d'anthropophagie. Mais il ne s'ensuit pas encore qu'on ait le droit de donner la préférence au monde moderne, si préférence il y a, sous ces dénominations de *culture* et de *civilisation*. Le monde qui a commencé par l'Iliade, qui a produit Phydias, qui s'est résumé dans un Aristote, et qui, vers son déclin, terminait sa belle carrière par Horace, était bien cultivé et bien civilisé. M. Cortès n'a pas même remarqué qu'en disant lui-même que la seule source de notre civilisation est le christianisme, il en a reconnu le caractère historique, c'est-à-dire temporel. Loin de voir l'aube matinale d'une nouvelle journée, d'une civilisation beaucoup plus humaine encore que la civilisation chrétienne, M. Cortès, toujours tourné vers le passé, ne voit que la dissolution des formes absolues pour lui, et au delà la barbarie et l'invasion russe.

Frappé de cette lugubre perspective, il cherche des moyens de salut; mais où trouver un point d'appui, quelque chose de stable dans ce monde agonisant? Tout est «pourriture», tout se décompose... Poussé par le désespoir, il s'adresse à la mort morale et à la mort physique; il veut s'appuyer sur le soldat et sur le prêtre.

Quelle est donc cette organisation sociale qui demande de pareils moyens de salut?

Et quelle qu'elle soit, vaut-elle la peine d'être conservée à ce prix?

Nous sommes d'accord avec M. Cortès, l'Europe telle qu'elle est à présent, s'en va. Le socialisme, dès sa première apparition, depuis le saint-simonisme, l'a dit; sur ce point toutes les écoles socialistes ont été d'accord.

La grande différence entre les révolutionnaires politiques et les socialistes consiste en ce que les hommes politiques voulaient faire des réformes et des améliorations en restant sur le même terrain que le monde catholique. Le socialisme, au contraire, a proclamé la négation la plus complète de l'ordre des choses existant, il a nié la monarchie et la représentation souveraine, les tribunaux et les droits, le code civil et le code criminel, il a nié l'Europe féodale, catholique, comme le faisaient, par rapport à Rome, Saint Paul ou Saint Augustin, ces hommes qui disaient en face aux Romains: «Pour nous, vos vertus sont des vices, votre sagesse est folie; comme il en est pour vous de notre sainte foi».

Une pareille négation, si elle s'enracine et se répand, si elle agite toute une génération, n'est pas un caprice d'une imagination malade, elle n'est pas le cri individuel d'une âme froissée par le monde, mais bien un arrêt de mort prononcé contre un monde décrépît et qui ne tardera pas à être exécuté.

L'Europe actuelle tombera sous la protestation du socialisme, non seulement parce que son iniquité est devenue manifeste, mais encore parce qu'elle a épuisé toutes ses forces vitales, absorbé son propre sang, sa pulpe nerveuse; parce qu'enfin elle n'est plus capable de *continuer* son développement: elle n'a rien à faire, rien à dire, rien à produire; elle se jette dans le passé pour fuir l'avenir; elle réduit son activité au *conservatisme*; elle n'agit pas: elle garde sa place!

Vous voulez arrêter l'accomplissement des événements que vous prévoyez! Mais que conservez-vous donc avec tant de zèle, avec tant d'obstination?.. Vous pouvez réussir pour un temps quelconque, je ne dis pas le contraire.

Telle est la part du lion de la volonté humaine dans les affaires d'histoire; l'histoire n'a nullement ce caractère de prédestination forcée qu'on enseigne dans les écoles catholiques et qu'on prêche dans les églises philosophiques. Elle a un élément très variable dans sa formule; c'est l'élément de la volonté subjective. L'homme improvise, il crée. Mais naturellement, cet élément a ses bornes et ses conditions; et ce n'est pas une révolution universelle qui pourrait être arrêtée pour longtemps par des regrets et par des violences.

On peut encore concevoir qu'en donnant le change aux esprits, en les éblouissant, en les trompant, par un but fantastique, on rend impossible la résistance. Napoléon l'a prouvé. Mais est-ce par des moyens pareils que procède la réaction?

Les deux moyens de M. Cortès sont le retour à l'autorité monarchique et à la foi catholique, c'est-à-dire à la superstition et à la terreur.

Mais en premier lieu, nous demanderons à M. Cortès comment nous ferons pour avoir une foi que nous n'avons plus, pour ne pas douter là, où nous doutons, ne pas savoir ce que nous connaissons? Cette question n'est pas nouvelle, Byron l'a déjà posée à une dame piétiste qui voulait le convertir au *schisme* de l'église anglicane.

Donc, il ne reste que la terreur.

On pardonne beaucoup en faveur du progrès, et pourtant la terreur, lorsqu'elle se fit, même au nom du progrès et de la liberté, souleva avec raison tous les cœurs généreux.

Et la réaction demande la terreur comme moyen de répression, pour maintenir un *statu quo*, dont la décrépitude et l'impuissance ont été constatées avec tant d'énergie par notre orateur. Elle veut la terreur pour reculer, elle veut consacrer l'enfance pour nourrir le père cacochyme.

Avez-vous sérieusement pensé au sang qu'il vous faudra répandre pour retourner aux temps heureux de l'édit de Nantes et de l'inquisition? Remarquez-le bien, je ne dis pas que cela soit impossible, je connais trop le genre humain pour en douter; mais cela ne sera possible que lorsqu'on se permettra des Saint-Barthélemy et des massacres de Septembre. Il vous faudra, pour cela, assassiner tout ce qu'il y a d'énergique dans notre génération, déporter, décimer tout ce qui pense, écrit, agit; il vous faudra enfoncer le Peuple encore plus dans l'ignorance et le spolier complètement pour augmenter ses armées permanentes, il vous faudra passer par un infanticide moral de toute la génération suivante... et tout cela pour sauver une forme sociale épuisée, qui ne suffit plus *ni à vous, ni à nous*, pour se préserver de la barbarie et de l'invasion russe au nom de la civilisation.

Mais où est, de grâce, la différence entre l'invasion russe, la barbarie et votre civilisation catholique?

Sacrifier des hommes, des générations, le développement d'une époque entière à l'état actuel. Y pensez-vous, philanthropes chrétiens? Mais est-ce qu'en général ce Moloch d'*Etat* est le but de l'homme; autant vaudrait dire que le gant est le but de la main ou le toit le but de la maison. Quant à moi, je ne connais aucune forme d'existence sociale, aucune question politique, patriotique ou théologique, pour laquelle je voulusse donner la bénédiction à l'assassinat, pour laquelle je voulusse proposer de sacrifier un seul être humain. L'homme a bien le droit de se dévouer, de se sacrifier lui-même. Mais, en vérité, l'héroïsme de l'abnégation pour les autres est trop facile pour être une vertu. Il arrive, par malheur, qu'au milieu des orages populaires, les

passions longtemps comprimées se déchaînent, sanguinaires et implacables, sans ménagements et miséricorde; nous pouvons les comprendre, les accepter, en nous couvrant la tête, mais les élever à la hauteur d'une théorie, les recommander comme moyen, jamais!

Et n'est-ce pas cela que fait M. Cortès en se faisant le panegyriste du soldat discipliné de l'armée permanente?

Vous dites que le prêtre et le soldat sont beaucoup plus près <l'un de l'autre> qu'on ne le pense; aveu sinistre! — Ce sont les deux extrémités qui se rapprochent, comme ces deux ennemis restés seuls sur la terre dans «Les Ténèbres» de Byron, lorsque tout ce qui était entre eux a péri. C'est sur les ruines du vieux monde que les derniers représentants de l'esclavage moral et de l'esclavage physique se donnent la main pour le sauver.

L'église chrétienne s'est servie des soldats dès le jour où elle devint religion d'Etat. C'est vrai, mais jamais elle n'osa avouer cette apostasie; elle sentait bien ce que cette alliance avait de mensonger, d'hypocrite; c'était une des mille concessions qu'elle faisait au temporel, tant méprisé par elle. N'en voulons pas à l'Eglise pour cela, c'était une nécessité dictée par la force des choses, et qui tenait à l'essence même de la doctrine chrétienne, éminemment transcendante, utopique. L'éthique abstraite de l'Évangile ne fut jamais qu'un noble rêve, sans aucune chance de se réaliser.

Eh bien! ce que l'Eglise n'a jamais osé, a été fait par M. Cortès. Il a eu l'audace de mettre le soldat à côté du prêtre, l'autel à côté du corps de garde, l'Eglise à côté de la caserne, l'Évangile qui pardonne à côté du code militaire qui fusille les frères.

Messieurs, chantons un *De profundis* ou un *Te Deum* si vous le voulez; c'en est fait de l'Eglise et de l'armée!

Enfin, les masques sont tombés, on s'est reconnu. Oui, le prêtre et le soldat sont des frères; ils sont les malheureux enfants de la confusion morale, du dualisme dans lequel l'humanité se débat. Et celui qui dit: «Aime ton prochain et obéis à l'autorité», dit la même chose que l'autre qui répète: «Obéis à l'autorité et fais feu sur ton prochain».

L'abnégation chrétienne est aussi contraire à la nature que l'assassinat par obéissance. Il fallait dépraver, pervertir toutes les notions les plus simples dans la conscience de l'homme pour lui faire accepter une démente pareille comme vérité, comme devoir. Une fois ceci accepté, qu'il faut détester la terre et honorer le ciel, qu'il faut mépriser le temporel, le seul bien que l'on a, et chercher l'éternel, qui n'existe que dans notre faculté d'abstraction, on parvient aisément à accepter aussi que l'individu n'est rien, que l'Etat est tout, que le «*salus populi suprema lex est*», que «*percat mundus et fiat justitia*», et toutes les

autres maximes qui sentent la chaire brûlée, qui rappellent la torture, le triomphe, l'*ordre*.

Mais pourquoi donc M. Cortès a-t-il oublié le troisième membre conservateur, l'ange-gardien des sociétés qui s'écroulent, — le bourreau?

Est-ce parce que le bourreau se confond de plus en plus avec le soldat, grâce à la noblesse d'âme des chefs et à la rigueur de l'obéissance passive?

Dans le bourreau brillent au suprême degré toutes les vertus qu'honore M. Cortès: la vénération de l'autorité, l'obéissance passive, l'abnégation de soi-même. Il n'a pas besoin de la foi d'un prêtre, ni de l'enthousiasme du danger qui anime le soldat. Il tue avec sang-froid, impassible comme la loi, comme le couteau; il tue pour venger la société; il tue au nom de l'ordre; il entre en concurrence avec tous les scélérats, et sort victorieux, appuyé sur la société. Moins fier que le prêtre et le soldat, il n'attend aucune récompense ni des dieux, ni des hommes; il ne cherche pas la gloire, il abdique son honneur, sa dignité d'homme, le tout pour le triomphe de l'ordre.

Justice donc à l'homme de la justice vengeresse. Nous disons aussi à la manière de Cortès: «Le bourreau est beaucoup plus près du prêtre qu'on ne pense».

Oh! le bourreau joue un grand rôle chaque fois qu'on crucifie un monde nouveau — ou qu'on guillotine un vieux spectre!

Et à propos du Calvaire et des bourreaux, passons aux persécutions des chrétiens, passons aux fragments de M. Capefigue, si vous n'avez pas une bonne histoire des premiers siècles sous main. Ou, ce qui est bien mieux, ouvrons Tertullien et les premiers Pères, d'un côté, et les écrits des défenseurs de l'ordre, des conservateurs romains, de l'autre. Même lutte, même acharnement, même énergie, exprimés dans les mêmes termes. Les chrétiens sont traités par Celse ou Julien comme des rêveurs, des utopistes, comme des visionnaires; ils sont flétris par le nom d'ennemis de l'Etat, de la famille, de la propriété, comme assassins d'enfants. — On croit lire un premier-Paris enragé du *Constitutionnel* ou de l'*Assemblée Nationale*.

Si les amis de l'ordre romain ne provoquaient pas à des massacres, c'est que le paganisme était plus humain, plus tolérant que les conservateurs hauts bourgeois et orthodoxes, c'est que Rome antique ne connaissait pas encore l'expédient catholique des Saint-Barthélemy, glorifié jusqu'à nos jours par les fresques du Vatican. L'esprit est le même; s'il y a une différence, elle n'existe que dans les calculs et les individualités; c'est la différence entre le rapporteur Bauchard et le rapporteur Pline, entre la clémence de César Trajan, son horreur des dénonciations, et la clémence de César Cavaignac, qui ne partageait pas cette susceptibilité,

et notez bien que cette différence est un véritable progrès: le pouvoir a tellement baissé, qu'un Pline ou un Trajan devient aujourd'hui impossible, à la tête d'un Etat ou d'une commission d'enquête.

Les moyens de répression eux-mêmes se ressemblent parfaitement. On fermait les clubs chrétiens, on défendait leurs banquets fraternels; on jugeait ces sectaires, on les condamnait sans les entendre. Tertullien protesta comme Michel (de Bourges), avec indignation, contre cette iniquité, dans sa célèbre lettre au sénat romain.

Les chrétiens sont mis hors la loi; on les tracasse, on les maltraite, on les emprisonne, on les jette aux bêtes féroces, quelque chose, à Rome, dans le genre des sergents de ville... Cela ne suffit pas... la propagande va son train; les condamnés ne sont pas flétris; au contraire, ils sont fêtés par leurs co-religionnaires, comme les condamnés de Bourges. Alors, le plus grand représentant de l'ordre antique, Dioclétien, frappe le grand coup: il organise une persécution générale, une véritable extermination.

Eh bien! En dernier résultat, qu'a fait Rome avec sa civilisation, avec ses légions, avec sa «tabula», ses bourreaux, ses bêtes féroces, ses pamphlétaires et ses massacres?

Elle a prouvé jusqu'à quel point de cruauté peut aller, chez le conservateur, le soldat qui ne sait qu'obéir, le juge qui se confond avec le bourreau, et en même temps elle a prouvé l'insuffisance de ces moyens contre le verbe, contre la propagande et la conviction.

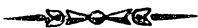
Remarquez-le bien, le vieux monde avait quelquefois raison contre les chrétiens qui en savaient les bases au nom d'une doctrine utopique et irréalisable. Les conservateurs peuvent quelquefois aussi avoir raison contre les socialistes.

Mais à quoi cela a-t-il servi?

Le temps de Rome était passé; le temps de l'Évangile était venu.

À quoi ont abouti toutes ces férociétés, toutes ces persécutions, ces réactions, le cri de rage et de désespoir de l'empereur Julien, le plus heureux des restaurateurs? Au cri que vous connaissez: Tu as vaincu, Galiléen!

Cologne, le 10 mars 1850



ДОЛГ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

(Повесть эта не была нигде напечатана)

«Я считал бы себя преступным, если бы не исполнил и в сей настоящий год, как в многие прошлые, священного долга моего и не принес бы вашему превосходительству наилучнейшее поздравление с наступающим высочоторжественным праздником, — ничто в мире не может отвлечь меня от обязанностей, исполнять которые я привык от младых дней моих».

Декабрьское письмо, № 41, 518*.

ПРОЛОГ, Т. Е. ЧАСТЬ, ПРЕДШЕСТВУЮЩАЯ ПЕРВОЙ ЧАСТИ

I

Сыну Михайла Степановича Столыгина было лет четырнадцать... Но с этого пачать невозможно; для того чтоб принять участие в сыне, надобно узнать отца, надобно даже сколько-нибудь узнать почтенное и доблестное семейство Столыгиных. — Мне хотелось бы основательно вас познакомить с этим семейством, но я не знал, как это лучше сделать. — Мне приходило в голову начать с исторических преданий их знаменитого рода, с того, как Трифон Столыгин успел в две недели три раза присягнуть, раз Владиславу, раз Тушинскому вору, раз не помню кому, и всем изменил; я хотел описать их богатые достояния, их села, в которых церкви были пышно украшены смиренными и благочестивыми приношениями помещиков, повиidному, не столь смиренных в светских отношениях, что доказывали полуразвалившиеся, кривые, худо крытые и подпертые шестами избы... Но, боясь утомить ваше внимание, я скромно решился начать не дальше, как за воротами большого дома Михайла Степановича Столыгина, что на Яузе. Ограда около дома каменная, ворота толстого дерева, с одной стороны калитка истинная, а с другой ложная, в ней вставлена доска в должности скамьи — на доске сидит обтерханный старик, по видимому нищий. Наружность обманлива — старик был вовсе не нищий, а дворник Михайла Степановича. Пятьдесят второй год пошёл с тех пор, как красивый, русский юноша Ефимка вышел в первый раз за эти ворота с метлою в руках и с горькими слезами на глазах, — он тогда только был взят из деревни. Дядя Михайла Степановича, объезжая свои поместья, привез его из Симбирска, не потому, что ему нужен был мальчик, а так, ему понравился добрый вид Ефимки, он и решился устроить его судьбу. Устроил он ее прочно, как видите. Ефимка мел юношей, мел с пробивающимся усом, мел с обкладистой бородой, мел с

просе́дью, мел совсем седой и те́перь метет с пожелтевшей бородой, с ногами, которые подгибаются, с глазами, которые плохо видят. Одно сберег он от юности — его вся дворня звала Ефимкой; впрочем, страшнее этого патриархального названия было то, что он действительно не развился в Ефимы. По мере того как он свыкался с своей одинокой жизнью, по мере того, как страсть ко двору и к улице у него делалась сильнее, так что он вставал раза два-три ночью и осматривал двор с пытливым любопытством собаки, несмотря на то, что ворота были заперты и две настоящих собаки спущены с цепи, — в нем пропадала и живость и развязность, круг его понятий становился уже и уже, мысли смутнее, тусклее. Раз, лет за двадцать до нашего рассказа, ему взошла в голову дурь жепиться на кучеровой дочери; она была и не прочь, но барин сказал, что это вздор, что он с ума сошел, с какой стати ему жениться, — тем дело и кончилось. Ефимка тосковал, никому не говорил ни слова, стал попивать и приметно тупеть; к старости он сделался кротким, тихим зверем, страдавшим от холода и от боли в пояснице, веселившимся от сивухи и нюхательного табаку, который ему поставлял соседний лавочник за то, чтоб он мел улицу перед лавочкой; других сильных страстей у него не было, если мы не примем за страсть его безусловной послушливости всем, кто хотел приказывать, и безграничного идолопоклонства, исполненного страха и трепета, к Михайлу Степановичу. — По несчастию, эта благоговейная преданность утрачивается у дворников, только двадцать лет метущих улицу, и у прочих слуг нового, испорченного поколения. — Нельзя, впрочем, сказать, чтоб сношения Ефимки с Михайлом Степановичем были особенно часты или важны; они ограничивались строгими выговорами, сопряженными с сильными угрозами, за то, что мостовая портится, за то, что тротуарные столбы гниют, за то, что за них зацепляются телеги и сани... Ефимка чувствовал свою вину и со вздохом поминал то блаженное время, когда улиц не мостили, а тротуаров не чинили, по очень простой причине — потому что их не было. Сношение другого рода, более приятное и торжественное, повторялось всякий год один раз; в Светлое воскресенье вся дворня приходила христосоваться с барином. При чем Михайло Степанович, обыкновенно угрюмый и раздраженный, менял гнев на милость и дарил своих слуг ласковым словом, — отчасти в предупреждение других подарков.

— А помнишь, — говорил ежегодно Михайло Степанович Ефимке, обтирая губы после христосования, — помнишь, как ты меня возил на салазках и делал снеговую гору!

Сердце прыгало от радости у старика при этих словах, и он торопился отвечать:

— Как же, батюшко, кормилец ты наш, мне-то не помнить, оно ведь еще при покойном дядюшке вашей милости, при Льве Степановиче, было; помню, вот словно вчера было, так помню.

— Ну, оно вчера не вчера было, — прибавлял Михайло Степанович, улыбаясь, — а пёбось пятый десяток есть. Ну, смотри же, Ефимка, праздник праздником, а улицу мсти, да пьяных теперь много шляется; как смеркнется, ворота запри, да смотри, чтоб бульжник не крали.

— Словно глаз свой берегу, батюшко, — отвечал дворник, и барин давал знать, чтоб он шел с красным яйцом, данным ему на обмен.

Сим периодическим разговором ограничивались личные сношения этих ровесников, живших лет пятьдесят под одной крышей. Ефимка бывал очень доволен аристократическими воспоминаниями и обыкновенно вечером в первый праздник, не совсем трезвый, рассказывал кому-нибудь в черной и душной кучерской:

— Ведь подумаешь, какая память у Михайла-то Степановича, — помнит что?.. А ведь это сущая правда, бывало меня заложит в салазки, а я вожу, а оп-то знай кнутиком поголяет — ей-богу! — сколько годов, подумаешь — — — и он, качая головою, развязывал лапти, спинал опучи и засыпал на печи, подложивши свой армяк (постели он еще не успел завести) и думая, вероятно, о суете жизни человеческой и о прочности некоторых общественных положений, например дворника...

Итак, Ефимка сидел у ворот. Сначала он медленно и больше для наслаждения, нежели для пользы подгонял грязную воду по канавке метлою, потом понюхал табаку, посидел, посмотрел, посмотрел и задремал, сидя на лавке. Вероятно, он довольно долго бы проспал в товариществе дворной собаки племейского происхождения, — черной с белыми пятнами, длинной, жесткой шерстью и изгрызенным ухом, которого сторонки она беспрестанно приподнимала, чтоб сгонять мух, — если б их обоих не разбудила женщина средних лет. Женщина эта, тщательно закутанная, в шляпке с опущенным вуалем, давно показалась на улице; она медленно шла по противоположному тротуару. Приближаясь к дому Столыгина, она приостановилась немного у фонарного столба и с очевидным беспокойством стала вглядываться, что делается на дворе Столыгина. — Казачок в сенях пощелкивал орехи; кучер возле сарая чистил хомут и курил из крошечной трубочки. Вероятно, этого довольно было, чтоб отстращать ее, — она прошла мимо. Через четверть часа она явилась на том тротуаре, на котором все спал Ефим; на дворе в это время не было никого. Проходя мимо Ефима, она шепнула что-то, не останавливаясь и не оборачивая головы, — но Ефим спал; проснулась одна собака, заворчала было, но вдруг бросилась к жепщине со всеми собачьими изъяс-

лениями искренней радости; она испугалась ее ласк и отошла как можно скорее. Осмотревши еще раз из-за угла, что делается на дворе, она решилась подойти к Ефиму и позвать его. — Ась, — пробормотал Ефим, просыпаясь, — чего вам? Он не был так счастлив, как его приятель, и не узнал, кто с ним говорит.

— Ефим, — продолжала незнакомка, — вызови сюда Настасью Кирилловну

— А на что вам ее? — спросил дворник, что-то заминаясь.

— Да ты меня разве не узнаешь, Ефим?

— Ах ты, мать пресвятая богородица, — отвечал он, отплевываясь на сторону и вставая со скамьи, — глаза-то какие стали, матушка! Эх я, чего не спознал! Простите старому дураку, из ума выжил, матушка, — да как это господь...

— Послушай, Ефим, мне некогда, коли можешь, поскорее вызови Настасью.

— Слушаю, матушка, слушаю, привел же бог опять увидеть тебя... я сейчас... того бы — сбегал за Настасьей Кирилловной — да вот, матушка, — и старик чесал пожелтелые волосы свои — да как бы Тит-то Трофимович...

Женщина посмотрела на него с глубоким состраданием и молчала... Старик продолжал:

— Боюсь, смертельно боюсь, матушка! Кости старые, лета какие, а ведь у нас кучер Сергей не приведи бог какая тяжелая рука, так в конюшне богу душу и отдашь. Христианский долг не исполню...

Он еще не окончил своей речи, как из ворот выскочила старушонка, худощавая, подслепая, в белом чепчике и темном ситцевом капоте. Ефим побледнел сначала, как полотно, но, разглядев Настасью, успокоился.

— Ах, матушка, Марья Валерьяновна, не извольте слушать, что вам этот старый сыч напеваает, в нем никакого чувства нет, пожалуйста ко мне, я проведу вас, — из окна узнала вас, матушка, так сердце-то и забилося. — Ей-богу, ведь это наша барыня идет, шепчу я сама себе, да на половину к Анатолию Михайловичу бегу, а тут попался казачок Ванюшка — преядовитый у нас он, такой шпиониска мерзкий, — я его спросила: «Что, барин спит?» — «Спит еще». — Чтоб ему тут! — право, не при вас буди сказано.

Все это она так проворно говорила с пресильной мимикой, что Марья Валерьяновна не успела раскрыть рта.

— Да что, Настасья, здоров ли?..

— Анатолий-то Михайлович, наш золотой-то барин, — ничего, кажется, — худ только, очень худ — какое житье!.. ведь аспид-то на то и взял его, чтоб было еще над кем зло изливать — человеку ненавистник! — т. е., матушка

ржа, которая, на что железо, и то поедом есть! — У Анатоля Михайловича, изволите знать, какой нрав, — не то что наш холопский, — выйдешь за дверь да самого его обругаешь вдвое, прости господи, — ну а они всё к сердцу принимают, особенно когда вами, матушка, начнет попрекать.

Марья Валерьяновна отерла слезы и шепнула:

— Пойдем же, Настасьюшка!

И Настасья наказала строго-настрого дворнику, если Тит подойдет казачка спросить, с кем она шла, сказать, что со швейей, мол, Ольгой Петровной, что на Маросейке живет, — и повела Марью Валерьяновну по узенькой и совершенно темной лестнице, которую вряд мели ли когда-нибудь после отстройки дома. Лестница эта шла в каморку, отведенную Настасье; эта каморка была цель ее желаний, предмет домогательств ее в продолжение пятнадцати лет. Ни у кого в доме не было особой комнаты, кроме у Тита; Михайло Степанович наконец дозволил ей занять ее с условием не считать ее своею, никогда в ней не сидеть, а так покамест положить свои пожитки. В этой маленькой комнатке стоял небольшой деревянный, окрашенный временем стол; на нем стоял самоварчик, покрытый полотенцем, и две опрокинутые чашки, носившие кое-где признаки бывшей позолоты; на стенах висели две головки, рисованные черным карандашом, одна изображала поврежденную женщину, которая смотрела с картины страшно вытаращив глаза, вместо кудрей у нее были черви, под ней было написано *Méduse*¹; другая представляла какого-то жандарма в каске, вероятно, вышедшего из воды, — судя по голому плечу; лицо у него было отвратительно правильно, нос вроде ионийской колонны, опрокинутой капителью вниз, голову он держал крепко на сторону, под ним значилось: *Alexandre, fils de Philippe, et sous les deux: Dess. par Anatole Stolyg(u)in*² — с росчерком детской руки. — Это были несомненные атрибуты няни.

— Не встретить бы кого, — заметила вполголоса Марья Валерьяновна, надвигая шляпу на лицо.

— Ничего, матушка, — не бойтесь ничего, — фискала-то нашего дома нет. Вишь, староста приехал, да обоз с дровами пришел, так и пошел в трактир принимать — ведь он преалчный, никакой совести нет, чаю пары две выпьет с французской, как следует, да требует бутылку белого с рыбой, да икры паусной. — Как чрево выносит! Небось, больше восьми десятков живет... да ведь что, матушка, какой нечестливый, и сына-то своего приведет — ну, да тот не спасется от красной шапки. Покуда старый-то пес жив, так все шито и крыто, а

¹ Медуза (франц.). — *Ред.*

² Александр, сын Филиппа... Рисовал Анатолий Столыгин (франц.). — *Ред.*

после мы выведем — и как синенькая бумажка в филипповке у кучера пропала *, и...

Ее длинная речь in Titum осталась неоконченною; молодой человек лет около четырнадцати, худой и очень бледный от внутреннего движения, бросился в объятия Марии Валерьяновны, он спрятал голову на ее груди, она целовала его волосы и плакала:..

— Дружок мой, какой ты худенький, — говорила она ему, — здоров ли ты?

— Я здоров, маменька, — отвечал молодой человек, — совершенно здоров. Как вы, маменька, с дороги? — и он целовал ее руки.

Мать рассматривала, вглядывалась в своего сына; видно было, что его благородные отроческие черты стерли разом все ее горести, что она была безмерно счастлива на эту минуту. Однако молодой человек, несмотря на радость свидания, был под тяжелым влиянием какой-то мысли, его улыбка была грустна. Эти лета еще не умеют скрывать таких мыслей. Он опустил глаза и сказал:

— Ну а если папаша узнает?

— Он не узнает, мой друг.

— А как спросит у меня?

— И, батюшка! — вмешалась старуха няня. — Что это, уж такой умник и не сумеет ответ держать! Ведь, правду-то сказать, это только ваш папаша воображает, что его в свете никто не проведет, а его вся дворня надувает.

Молодой человек не отвечал, но сделал движение, которое делают все нервные люди, когда ножик свистит по тарелке. — В это время вбежала в комнату молодая девка и торопливо сказала старухе няне:

— Проснулся, ходит по гостиной. — Анатолий Михайлович, пожалуйста, батюшка, вниз.

Молодой человек покраснел до ушей. Марья Валерьяновна простилась с ним, он вышел вон сконфуженный; она долго смотрела ему вслед, утирая слезы и покачивая головой. — Для того однако, чтобы объяснить происходившее, мне должно еще раз отступить.

II

Ефимка возил в салазках Михайла Степановича при жизни «дяденьки», — чего же лучше, как начать с него. — Лев Степанович уже потому заслуживает это, что, несмотря на всю патриархальную дикость свою, он первый *ручной* представитель Столыгиных. Этим он обязан слепой любви родителей к его меньшему брату: Степушку никогда бы не решились отправить на службу, отдать в чужие руки; Левушку родители не жалели

Долг прежде всего.

А. Герцена.

(Повесть эта не была нигде
напечатана)

"Я считала бы себя преступницей, если бы не исполнила и в сей настоящий год, как в многие другие, свои, сколько могла и могла, и не могла бы, Вашей Пресвитеральности, как и прежде, мое пожелание. Я наступаю, имея в виду, что ответственность пред людьми — лично во мне, не только отвлечь меня от обязанностей, исполнить которые я привлекла от младших дней жизни."

Декабрьское письмо, № 4, 5 в.

«Долг прежде всего». Заглавный лист рукописи ранней редакции (авторизованный список, 1851).

Слова: «Повесть эта не была нигде напечатана» — написаны рукою Герцена.

и, как только он кончил курс своего воспитания, т. е. научился на «о» читать по-русски и писать вопреки всем правилам орфографии, его отправили в Петербург. — Послуживши лет десять в гвардии, он перешел в гражданскую службу, был советником, был президентом какой-то коллегии и очень близким человеком какого-то вельможи. Патрон его, долго умевший искусно удержаться в силе в классическое время быстрых перемен, потерял наконец равновесие и исчез в своих малороссийских вотчинах. Лёв Степанович премудро и во-время умел отделить свою судьбу от судьбы патрона, премудро успел жениться на какой-то племяннице, которую не знали куда девать и в которой кто-то принимал участие, наконец, — что премудрее всего вместе — Лёв Степанович, послужив еще до превосходительного чина, вышел в отставку и отправился в Москву для устройства имения, уважаемый всеми как честный, добрый, солидный и деловой человек. — Не надобно думать, чтобы в его удалении был один расчет или одна дипломатия; нет, причина гораздо сильнее звала его воротиться к более родной среде: в Петербурге, несмотря на успехи по службе, ему все было что-то неловко, точно в гостях, ему захотелось почетного раздолья помещичьей жизни, своей воли; родители его давно умерли, Степушка был отделен, имение, доставшееся Льву Степановичу, было одно из богатейших под Москвою. Как же ему было не ехать в свои березовые и липовые рощи, в свой старый отцовский дом, где подобострастная дворня и село готовы были его встретить земными поклонами и подойти к ручке! В Москве он остался недолго, заложил на Яузе вместо деревянного дома каменные палаты и уехал в Липовку, изредка наезжая присмотреть за постройкой. За хозяйство Лёв Степанович принялся усердно, он и на службе своего имения не расстроил, а, напротив, к родовым полутора тысячам душам прикупил еще тысячу, но теперь, не вдаваясь в агрономические рассуждения, он разом сделался смышленным помещиком с тою легкостью, с которою из гвардейских офицеров в год времени стал настоящим советником коллегии. Он не токмо удвоил свои доходы, но значительно улучшил состояние крестьян; в последнем отношении он был неподражаемо патриархален: и хлебом мужику поможет, и овса на посев даст, и корову или лошадь даст взамен падшей, — ну, да после уха держи востро. Вдруг, никто не думает не гадает, — барин со старостой и с десятскими (которые провожали обыкновенно Льва Степановича, по древнему обычаю, «с ваиями» в руках*) на двор.

— Эй ты, Акулина, покажи-ка горшки для молока.

Не вымыты, тут бабе и расправа.

— А ты, Нефед, покажи соху, покажи борону, выведи лошадь, покормлена ли? чиста ли?..

Словом, поучал их, как неразумных детей. И мужички рассказывали долго после его смерти «о порядках старого барина», прибавляя:

— Точно, бывало, спуску не даст, ну а только умница был, все знал наше крестьянское дело досконально и правого не тронет, то есть учитель был.

Дворовых он держал без числа и меры, у него были мальчики, единственно употребляемые днем, чтоб чистить клетки соловьев, а ночью ходить по двору, чтоб собаки не лаяли близь господского дома; у него были девочки, которых все назначение состояло в том, чтоб зимой стирать воду с оконниц, а летом носить уголья и тазики для варенья. Нельзя сказать, чтоб такое количество прислуги его вводило в особенно важные траты: все, начиная с самих субъектов, было домашнее, рожь и гречиха, горох и капуста; и не одна пища, — умрет корова, выделают кожу, сапожник сошьет портному сапоги, в то время как портной ему кроит куртку из домашнего сукна цвета *marengo clair*¹ и широкие панталоны из небеленого холста. Притом у Льва Степановича был неотъемлемый талант воспитывать дворню, — талант, совершенно утраченный в наше время; он вселял с юных лет такой страх и послушание, что даже его фаворит и лазутчик — камердинер и дворецкий Тит Трофимов, гроза всей дворни, не всегда обращавший внимание на приказы барыни, — сам сознался в минуты откровенности и сердечных излияний, что ни разу не входил в спальню барина без невольного чувства страха, особенно утром, не зная, в каком расположении Лёв Степанович. Дивиться нечему. Выгоды и почет барского фавора очень недаром доставались Титу, — к несчастью, он часто попадался на глаза; Лёв Степанович был человек характерный, сдерживать себя не считал нужным, и, когда утром он выходил к чаю с красными глазами, сама Марфа Петровна долго не смела начать разговора. В эти несоциабельные минуты сильно доставалось Титу — побьет его, бывало, да и пошлет к барыне:

— Поди, говорит, к барыне, покажи ей свою рожу и скажи: вот, мол, как дураков учат, людей делают из скотов.

Для Марфы Петровны, в ее скучной и однообразной жизни, подобные случаи служили развлечением, даже она находила своего рода удовольствие в унижении гордого и высокомерного Тита. Действительно, развлечений в ее жизни было мало, особенно светских. Детей им бог не дал. Пыталась она и воровать, и заговариваться, и пить всякую дрянь, и к Троице-Сергию ходила пешком, и Титову сестру посылала в Киево-Печерскую лавру, откуда она ей принесла колечко с раки

¹ светлосерого (франц.). — *Ред.*

Варвары Мученицы, — но детей все не было. Нельзя сказать, чтоб Лёв Степанович был несчастен оттого, что не было детей, однако он сердился за это как за беспорядок и упрекал в минуты досады свою жену довольно оригинальным образом, говоря:

— Мне жену бог даровал глупее таракана — что такое таракан? — печистота, а детей выводит...

При этом видно было гордое сознание, что он с своей стороны себя в этом не винил; да, и в самом деле, без вопиющей несправедливости мудро было винить Льва Степановича, взяв во внимание хоть одно разительное сходство с ним поваровых детей. Главное, что сердило Льва Степановича, — это отсутствие цели в хозяйстве и устройстве имения.

— Я, — говаривал он, — денно и ночью хлопочу, и запашку удвоил, и порядок завел, и лес берегу, и денег не трачу, а подумаю на что, сам не знаю, — точно управляющий братнина сына, и тот возьмет всё да и спасибо не скажет, — старый, мол, дурак уладил мне имсьице, нагрел место; оно конечно, это мой долг, на то я богом и поставлен помещиком, чтобы хозяйничать, на том свете с меня спросится, а все-таки лучше, если б был истинный наследник, так бы с молодых лет его и приучал.

И Лёв Степанович грустно качал головою, сидя на жестких креслах, обитых черной кожей, приколоченной медными гвоздочками. Марфа Петровна горько плакивала от подобных разговоров и за светские лишения прибегала к духовным утешениям. Возле самого господского дома иждивением Льва Степановича была воздвигнута каменная церковь о трех приделах. Спальня выходила окнами к колокольне. При первом благовесте Марфа Петровна поспешно одевалась и являлась ранее всех в храм божий. Лёв Степанович приходил позже, и то по большим праздникам и в воскресные дни. Марфа же Петровна являлась при всех богослужениях, на похоронах, крестинах, бракосочетаниях. Лёв Степанович становился впереди, помогал клиросу в пении и бдительным оком смотрел за порядком, сам драл за уши и за волосы шаливших мальчишек и через старосту показывал миру, когда надобно креститься и когда класть земные поклоны. — В пятнадцати верстах от главной усадьбы был монастырь. Лёв Степанович посылал туда не столько богатые, сколько постоянные приношения: возов десять прошлогоднего сена, овес, не годный на семена, сырые дрова и т. п. Марфа Петровна с своей стороны делала приношения тоже более ценные по усердию, нежели по чему иному: она посылала розовую и мятную воду, муравьиный спирт, сушеную малину, которую иноки, не зная, что с нею делать, употребляли для настаивания вином; несколько банок

белых грибов в уксусе, искусно уложенных, так что с которой стороны ни помотришь, все видны одни белые грибы, а как ложкой ни возьмешь, все вынешь или березовик, или масленок, а если и попадется белый, то огромной величины шляпик. Иноки иногда посещали благочестивый дом прибежного к храму божию помещика и всегда находили радушный прием Марфы Петровны, рассказывая ей длинные повествования о Соловецком монастыре и о Саровской пустыни, где всеобщее бдение продолжалось до рассвета *. — Гостей почти не являлось в усадьбе Льва Степановича; впрочем, у него в доме были постоянные гости.

Ехавши из Петербурга, Лёв Степанович дозволил Марфе Петровне пригласить к себе на житье ее дядю, не главного, а так, дядю-старика, оконтуженного в голову во время турецкой кампании, вследствие чего он потерял память, ум и глаза. Настоящий дядя, не зная, куда его деть, намекнул Льву Степановичу, и Лёв Степанович согласился на просьбу Марфы Петровны принять их в дом. Слепой старик был женат на молдаванке, у которой в доме лежал раненый; она была не в первой молодости и, несмотря на большие римские глаза, отличалась великим смирением духа. Месяцев через шесть после приезда Льва Степановича приехал дядя с женой. Марфа Петровна, призревая их, твердо была уверена, что она этим загладит все свои грехи, а может быть, сделает доступнее молитвы о даровании детей. Обращение, сложившееся между хозяевами и гостями, было довольно страшно. Марфа Петровна называла старика дядей, но жену его не только не называла теткой, но говорила ей «ты» и в иных случаях позволяла ей целовать у себя руку. Лёв Степанович говорил обоим «ты» и обращался с ними так, как следует обращаться с людьми, вполне зависящими от нас, — с холодным презрением и с оскорбительным выказыванием своего превосходства. Он их трактовал как мебель, как вещь не очень нужную, но к которой привык и против которой действительно ничего не имел. В редкие минуты, когда Лёв Степанович был весел, слепой старик служил предметом всех шуток и любезностей Льва Степановича.

— А, добро пожаловать, — кричал он, — добро пожаловать, отец Ксенофонтий! — Эй, — продолжал он, — Василич (так называл он дядю), не видишь, что ли? Отец Ксенофонтий идет тебя благословить.

— Не вижу, государь мой, — отвечал слепой.

— Да вот с правой-то стороны.

И он посылал Тита благословлять старика, и тот ловил его руку. Лёв Степанович хохотал до слез, не догадываясь, что самое пикантное этой комедии состояло в том, что выживший из ума старик с тою остротой слуха, которая обща всем

слепым, очень хорошо знал, что отец Ксенофонтий не входил и представлял только для удовольствия патрона, что обманут. — Но верх наслаждения для Льва Степановича состояло в том, чтоб накласть на тарелку старику что-нибудь скоромного в постный день, и, когда тот со спокойной совестью съедал, он его спрашивал:

— Что ты, на старости-то лет, в Молдавии в турецкую, что ли, перешел? В какой день скоромное ешь?

У старика делались спазмы, он плакал, полоскал рот, делался больным — это очень забавляло Льва Степановича.

Лёв Степанович был бы сильно обижен, если б старик уехал от него. Лёв Степанович не позволил бы никому его оскорбить, даже иногда баловал его подарочком — старым камзолом, протертым шейным платком, но за все это вознаграждал себя непрерывным преследованием старика. — Утро слепой обыкновенно проводил в своей комнате во флигеле, где курил сушеный вишневый лист, перемешанный с венгерскими корешками. В половине второго девка, приставленная за ним, надевала на него длинный синий сюртук, повязывала белый галстук и приводила в столовую. Здесь он дожидался, сидя в углу на особенных креслах, торжественного выхода Льва Степановича, и горе бывало старику, если опоздает и Лёв Степанович придет в столовую прежде: тут доставалось ему, и Таньке, служившей при нем корнаком, и молдаванке, и — я почти уверен, что и Титу доставалось по дороге. — Старику подвязывали салфетку и сажали его за стол, где он смиренно дожидался, пока Лёв Степанович ему пришлет рюмку настоек, в которую сам Лёв Степанович всегда подливал воды. За столом старик не смел ничего просить, да не смел ни от чего и отказаться, даже больше двух стаканов квасу с мятой ему не позволялось пить. Подадут ли дыню, Лёв Степанович вырежет лучшую часть, а корки положит ему на тарелку. — Марфа Петровна делала то же с зрячей молдаванкой, прибавляя, что это сущий вздор, будто только мягкую закраину дыни можно употреблять во снесь. — Иногда Лёв Степанович будил в старике что-то похожее на чувство человеческого достоинства, и он дрожащим голосом напоминал Льву Степановичу, что ему грешно обижать слепца и что он все-таки дворянин и премьер-майор по чину.

— Премьер-майор, — отвечал Лёв Степанович, у которого кровь бросалась в лицо от такой дерзкой оплозии, — да ты бы ехал в полк — ха, ха, ха — ну что же делать, не по нраву я тебе пришелся, — прости великодушно, а уж переучиваться мне не под лета — ведь я тебя не на веревочке держу, ступай опять хоть в Молдавию.

— Не забывайте, Лёв Степанович, — робко прибавляла Марфа Петровна, — что все же он мой дядя и вам, стало, сродник.

— Вот! В самом деле? — возражал еще более разъяренный Лёв Степанович, — скажите на милость! Научили глупого старика — ха, ха, ха, — а я ведь и не знал. Спасибо вам, матушка Марфа Петровна. А знаешь ли ты, что кабы он не твой дядя был, так и не сидел бы не то что за столом у меня, а и под столом. — Майорством меня пригрозить хочет, слепая дура!

Испуганная майорша дергала за рукав мужа в этих случаях и начинала плакать, прося простить неразумного слепца, выжившего из ума и не умеющего ценить благодеяния. У старика текли по щекам тоже слезы, по как-то очень жалкие; он походил на беспомощного ребенка, обижаемого грубой толпой, без всяких средств обороны.

После обеда все ложились спать. Пока Лёв Степанович отдыхал, Тит должен быть стоять у дверей и, когда Лёв Степанович ударит в ладоши, Тит должен был входить с кувшином кислых щей. — Иногда в это время Тит бегал в девичью и приказывал, по именному назначению, той или другой горничной налить ромашки и подать барину, что «де на животе не хорошо»; и та с трепетом бежала к Агафье Ивановне за ромашкой, и Агафья Ивановна, <ворча> сквозь зубы, сыпала вонючую траву в чайничек. — Марфа Петровна никогда не посещала мужа во время частых припадков его, ограничивая свое участие разведыванием, кто именно носил ромашку, для того чтоб при случае припомнить такую услугу и такое предпочтение. — Лёв Степанович, запивши сон кислыми щами или ромашкой, отправлялся по полям и часов в шесть являлся в чайную комнату, где у стены уже сидел на больших креслах слепой майор и вязал чулок, — единственное умственное занятие, которое осталось у него. Иногда старик засыпал; Лёв Степанович не мог этого выносить и тотчас кричал горничной Таньке: «Не зевай!» — и Танька будила старика, который, проснувшись, уверял, что он и не думал спать, что он и по ночам плохо спит от поясницы. После чая приходил староста и земский с работ. После старосты Лёв Степанович вынимал довольно новую колоду карт и играл в дурачки с женой и молдаванкой. Когда он бывал в особенно хорошем расположении, то середь игры рассказывал в тысячный раз отрывки из аристократических воспоминаний своих: как покойник граф его любил, как ему доверял, как советовался с ним, и «однако дружба дружбой, а служба службой, бывало, задаст такую баню — стоишь себе повеся голову, а он-то в гнев бумагу побросает на пол, кричит: «Да что у тебя в голове, сено наложено, что ли? Как, столько служишь при мне, и не знаешь моего нраву! Езоп эдакой!» — Иной раз и чувствуешь, что правехонек, ну

да уж и не отвечаешь, надо дать место гневу; он же терпеть не мог; когда отвечают. Тогда было жутко, бывало — грешный человек — и посетуешь, а теперь с благодарностию вспоминаю, как граф поучал». — Всего же более он любил останавливаться с большими подробностями на том, как граф его посылал однажды с бумагой к князю Григорию Григорьевичу. «Утром встал в пять часов. Тит тогда мальчишкой был, не разъедался еще, как теперь, что гадко смотреть — ходит, с ноги на ногу переваливается, я-де дворецкий; тогда был полегче, а такой же лентяй и преглупый. Выхожу в переднюю, а он еще спит. Я его растолкал да скорее за парикмахером. Причесали меня, — тогда вот эдак три пукли носили, одна под другой, — я надел мундир, взял шляпу с плюмажем, — еду к князю. Вхожу в переднюю, говорю человеку, что вот-де по такому делу от графа. Человек посмотрел на меня, видит, что с двумя лакеями приехал: «Раненько изволили приехать, говорит, князь не встает раньше десяти часов, а теперь восьми нет; после десяти я, мол, доложу камердинеру». — «А можно, любезнейший, — говорю я ему, — здесь подождать где-нибудь?» — «Как не можно, комнат у нас довольно; вот пожалуйста в залу». — Я взшел в залу, люди полы метут да с окон пыль сметают, я сел в уголок и сижу. Часика через два вышел секретарь, что ли, или камердинер и прямо ко мне. «Вы от графа?» — «Я, государь мой», — отвечал я, вставая. — «Пожалуйста к его светлости в гардеробную». — Вхожу. — Князь изволит в пудермантеле сидеть, и один парикмахер в шитом французском кафтане причесывает, а другой держит на серебряном блюде помаду, пудру и гребенки. — Князь взял бумагу, да таким громким голосом мне и молвил: «Благодари графа, — я сегодня же доложу об этом деле. Мне граф о тебе говорил, что ты деловой и усердный чиновник; старайся вперед заслуживать такой же отзыв». — «Светлейший, мол, князь, кажется, жизнь свою готов положить на службе». — «Хорошо, хорошо! — сказал князь и изволил со стола взять табакерку золотую. — Вот за твое усердие государыня тебя жалует». — Как он это сказал, у меня слезы в три ручья. Я хотел было руку поцеловать у светлейшего, он ее отдернул, я в плечо его. Князь взглянул на меня да как изволит рассмеяться, а сам пальчиком парикмахеру указал, и тот на меня взглянул да и давай хохотать. «Что за притча!» — думаю. — «Ну ступай, ступай, мой милый!» — сказал князь, так ласково кивнув головкой. Я, целуя в плечо князя, весь вымарался в пудре. — Князь потом за столом у государыни изволил об этом рассказывать. Ей-богу!..» И во всем лице Льва Степановича распространялась гордая радость.

Но большею частию, вместо аристократических рассказов и воспоминаний, Лев Степанович, угрюмый и «гневный», как

выражалась молдаванка, притеснял ее и жену за игрой всевозможными мелочами и капризами: бранил, бросал, сдавая, карты на пол, дразнил их, и так добивал вечер до ужина. В десятом часу Лёв Степанович отправлялся в опочивальню, замечая: «Слава богу, вот день-то и прошел».

Перед спальней была образная, маленькая комната, которой восточный угол был уставлен большими и драгоценными иконами. Перед ними вечно теплилась лампадка из деревянного масла. Лёв Степанович усердно и долго молился, кладя в нужных случаях земные поклоны или по крайней мере касаясь перстом до земли. — Тут он отпускал Тита и отправлялся в спальню. А Тит, пользуясь единственным свободным временем, шел в гости или к Исаю-рыбаку или к обручнику Никифору, людям зажиточным и гостеприимным, а всего чаще к старосте, который постоянно покупал на мирской счет сивуху для дворни. Тит брал с собою по выбору кого-либо из старейшин передней, особенно же Митьку-цирюльника, потому что тот лихо играл на гитаре.

Долго жил так доблестный помещик Лёв Степанович, бог знает для чего устроивая и улучшая свое имение, усугубляя свои доходы и не пользуясь ими. Дом его и с селом составлял какой-то особый мир, которого центром был Лёв Степанович, — мир, совершенно разобщенный со всем остальным миром чертою, проведенною генеральным межеванием. Даже газеты не получались в Липовке; войны раздирали Европу, миры заключались, торжествовались победы, совершались великие события, а в Липовке все шло нынче, как вчера, вечером игра в дурачки, утром сельские работы, Тит все так же стоял у дверей с квасом после обеда, — и никто не токмо не говорил, но и не знал и не желал знать о всемирных событиях. — Но так как всему временному есть конец, то пришел конец и Лёву Степановичу, и конец весьма крутой. Однажды после обеда, употребив довольно много борщу, буженины, жареной индейки с моченой брусникой и смочив все это квасом, — ибо Лёв Степанович почти никогда вина не употреблял, хотя и пил перед обедом рюмку водки, иногда после обеда рюмку наливки и в редких случаях с чаем ром, — Лёв Степанович перешел в гостиную закусить обед арбузом, который он остроумно называл красным сахарцем, так, как чай постоянно именовал китайской водицей. Освежившись красным сахарцем, он было пошел в кабинет, да по дороге встретил Настьку, говорившую с известным уже нам музыкантом и цирюльником Митькой. Лёв Степанович был чрезвычайно ревнив во всем, что касалось до горничных; ему что-то померещилось не совсем хорошее в выражении Митькина лица. Он закричал на Митьку и схватил в углу

стоявшую палку. Митька — горячая голова, как все артисты, — ударился бежать; Лёв Степанович за ним, со всем грузом буженины и кваса под арбузом; Митька от него, он за ним, тот на верх, на чердак. На крик барина явился Тит, прибежала вся дворня. Барин, багровый от гнева, велел поймать Митьку. Его на чердаке не нашли. Барин велел сыскать хоть под землею и посадить в колодку, пока он решит судьбу ишурганта, а сам, усталый, захывавшись и дрожа от гнева, пошел в кабинет уснуть. — Случай этот распространил ужас и беспокойство в доме, в людских, в кухне, в конюшне и даже в избах. Агафья Ивановна ходила служить молебн и затеплила свечку в девичьей перед иконой Всех скорбящих заступницы. Марфа Петровна ходила по комнатам, не зная, что начать. Молдаванка, несколько сбивавшаяся на поврежденную, поминала царя Давида и всю кротость его и читала «свят, свят, свят», как читают во время грозы. — Тит с двумя десятскими нашел Митьку в питейном доме; он громко кричал, что хочет в солдаты, что если его не отдадут, то сделает над собою грех; и решительно отказывался идти.

— Митрий, а Митрий! Ты не горлань, — говорил ему Тит, — барина рука — длинная, везде достанет, а ты не горлань, а ступай лучше со мной.

И Митька пошел и пел всю дорогу «Барыню» с разными вариантами. — Посадив своего друга в колодку, неумытный Тит побежал к двери с кислыми щами и с еще более кислым лицом, прислушиваясь к каждому шороху. — В пять часов Марфа Петровна прислала босую горничную узнать, изволили ли барин проснуться. Тит молча помахал рукой и приложил палец к губам. В шесть пришла сама Марфа Петровна к дверям.

— Кажется, еще не изволили просыпаться, — отвечал шопотом Тит, — вот с час было слышно, изволили храпеть.

Марфа Петровна взошла в кабинет и вдруг закричала, — Тит уронил от испуга кувшин с кислыми щами.

Закричать было немудрено: старый барин лежал растянувшись возле кровати, один глаз был прищурен, а другой совершенно открыт, с тупым и мутным выражением, рот немного перекосился, и несколько капель кровавой пены текло по губам. — С минуту продолжалась совершенная тишина, но вдруг, откуда ни возьмись, хлынула в комнату вся дворня, и грозный Тит не препятствовал, а стоял как вкопанный. Однако, более сильный характер, он первый пришел в себя и снова с тем повелительным голосом, которым говорил лет двадцать, сказал:

— Сенька, что тут зевать! Внесите сюда корыто. А ты, Ларька, скорей за батюшкой сбегай. — Да пет ли у вас, Агафья Ивановна, пятака? На правый-то глаз надобно положить.

Марфу Петровну вынесли в обмороке. Молдаванка взбежала в комнату с каким-то неестественным хныканием и, поскользнувшись в луже кислых щей, чуть не сломила себе ногу. — Освобожденный арестант Митька, без всякой гансине¹ приготавлился, как записной грамотей, ночью читать, взапуски с земским и с дьячком, псалтырь и для этого просил у молдаванки подарить нюхательного табаку, чтоб не уснуть. — Дворня была испугана и сконфужена. Они доставались человеку неизвестному; нрав старого барина они знали и применились к нему, теперь приходилось начинать вновь службу... и как, что будет? Кто останется, кто нет, на каком положении? — Все это волновало умы и заставляло жалеть о покойнике. — Через два дня Тит написал к будущему обладателю следующее письмо:

«Все — Милостивейший Государь
Государь батюшка и единственный заступник наш Михаил Степанович!

По приказанию Тетушки Вашей а нашей Госпожи Марфы Петровны. Приемлю смелость начертать Вам батюшка Михайло Степанович сии строки так как по большому огорчению оне саме писать сил не чувствуют богу же угодно было посетить их великим несчастьем утратою их и нашего отца и благодетеля о упокоении души коего должны мы до скончания дней наших молить Господа и Дядиньки Вашего в бозе почившего Льва Степановича то есть скончавшегося сего месяца в двадцать третие число в 6 часов по полудни. О чем слезно имеет счастье уведомить Вашу Милость через меня раба Вашего. Так как по известности мы Ваши то батюшко и все Милостивейший Государь Михайло Степанович можете не оставить недостойных подданных Ваших. Чувствуем как обязаны Вашему здоровью до конца нашей жизни усердствовать что Дядюшке то и Вам. Как вся дворня так и выборный Трофим Кузьмин с миром.

Нижайший раб Ваш

Тит — если изволите помнить что при покойном Дядюшке Камердынером находился.

Село Липовка Июня 25-го дня 1794 года».

(Т. е. около 9-го термидора. Переворот в Липовке совпал с переворотом во Франции).

III

Михайло Степанович был сын брата Льва Степановича, Степана Степановича. В то время как Лёв Степанович посвящал дни свои блестящей гражданской деятельности, получал высокие знаки милости и одобрения, карьера меньшого брата

¹ злопамятства (франц.). — *Ред.*

его, Степана Степановича, разыгрывалась на ином поприще. Любимец родителей, баловень и «неженка», как выражалась дворня, он оставался в деревне. В двенадцать лет старуха няня мыла его еще каждую субботу в корыте и приносила ему с села лепешки, чтоб он хорошенько позволил промылить голову и не кричал на весь дом, когда мыльная вода попадет в глаза. Лет четырнадцати признаки раннего совершеншества начали ясно оказываться в отношениях Степушки к девичьей. Матушка его, не слышавшая в нем души, не токмо не препятствовала развитию его ранних способностей, но со слезами умиления смотрела на нежное сердце сына и во многом помогала ему, — что при ее средствах и гражданских отношениях к девичьей и не представляло непреодолимых трудностей. Нежные чувства, питаемые с такого нежного возраста, вскоре поглотили всего Степушку; вероятно, как выражаются нежные поэты, любовь была единственным призванием его; он с четырнадцати лет и до кончины своей был верен избранному пути буколического помещика. — Степушка недолго пользовался покровительством родителей, недолго жил под крылышком своей матушки: ему было 18 лет, когда он ее лишился, а через четыре года умер и отец его. Лёв Степанович сам приезжал из Петербурга насчет раздела. Смерть родителей и честное предание их тела земли не доставило Степану Степановичу столько беспокойства и сердечной муки, как приезд брата; он его боялся, советовался с своими подданными, что ему делать, и не мог без содрогания вздумать, как они будут делить дворовых, к числу которых принадлежала и девичья. — Степан Степанович взял свои меры: всех горничных велел запереть в поваровой комнате, оставив налицо только таких, которые имели значительные недостатки в лице: сильною шадровитость, косые глаза и т. п. Лёв Степанович все понял, обделил неопытного брата, закупив его пустыми уступками, предоставил ему почти весь прекрасный пол и, благословляемый им, уехал назад.

Проводивши брата, Степан Степанович, потирая руки от удовольствия, что тот не догадался о его спрятанных сокровищах, деятельно принялся за устройство имения. Он купил двух музыкантов и приказал им учить дворовых девок петь. Хоры составились славные, учителя играли один на торбани, другой на кларнете. В праздничные дни сгоняли с утра крестьянских девок и баб на лужок перед домом, для хороводов. Степан Степанович после обеда выходил к ним — да вы, пожалуйста, не ошибитесь, это все-таки значило: утром часу во втором. Он обыкновенно садился в сених, в халате параспашку; около него стояли лучшие представительницы девичьей, обмахивая мух и приготавливая чай, который Степан Степанович употреблял в большом количестве, больше как благопристойного

друга французской водки, нежели за внутренние достоинства. Степан Степанович сам угощал гостей цареградскими стручками, пряниками, брагой и грошовыми серьгами, сам участвовал в танцах и к вечеру так напивался чаем, что две грации отводили его домой. — Материальной частью хозяйства Степан Степанович, как все сентиментальные натуры, заниматься не любил; староста и повар управляли довольно самодержавно всею вотчиною, до барина доступ был не легок, да кому и случилось с ним молвить слово, остерегался проболтаться — особенно с тех пор, как одна крестьянка с большими и черными глазами пожаловалась барину на старосту, а барин велел старосту на конюшне наказать, не давши себе труда разобрать, что баба была совершенно неправа. Староста обмылся пепшичком и кротко вынес наказание, не думая оправдываться; но желание мести сильно запало в его душу. Спустя неделю-другую, староста через повара доложил барину, что такая-то баба балуется и, несмотря на приказ, в очень близких сношениях с своим мужем, что ей было запрещено. Поступок этот, так грубо неблагодарный, огорчил Степана Степановича; он велел ее без очереди назначать в работу. — Худая и состарившаяся через год, она на себе носила доказательства, что приказ его был исполнен в точности.

В Веселая жизнь Степана Степановича стала скоро известной околотке; явились соседи, одни с целью его женить на дочери, другие — обыграть, третьи, более скромные, познакомились потому только, что им казалось пить чужое вино и чужой пунш выгоднее своего. Он поддавался всему, весьма вероятно, что его бы женили и обыграли, но — нежное сердце его спасло. — Посещая одного из своих соседей, он увидел у него горничную, Акулину — и влюбился, да ведь как! — Есть перестал, а пить стал вдвое больше. Подумал он после дома, подумал, видит, что такой страсти переломить невозможно; опостылела ему девичья, и если он иногда позволял себе кой-какие шалости, то это больше, чтоб не отставать от привычек, нежели из удовольствия. Мучился он, мучился, да и пристал к соседу: продай Акульку. Сосед поломался, потом согласился продать, но с условием, чтоб Степан Степанович купил всю семью: «Я, — говорит, — не хочу разлучать что бог соединил». Степан Степанович на все согласился и заплатил ему 3500 рублей; по тогдашним ценам на такую сумму можно было купить десять Акулек и столько же Дуняшек с их отцами, братьями, сестрами и матерями.

Сельская Брунегильда поняла, именно по сумме, заплаченной за нее, ширь своей власти и в полгода привела нашего Меровинга в полнейшую покорность. Померкло влияние повара, ослабла сила старосты! Отец Акулины Андреевны был сделан дворецким, мать ключницей, да она и им потачки не давала,

а держала их в страхе и повиновении. И всего этого было ей мало; более близкая по характеру к Наполеону, нежели к Кромвелю, она захотела быть помещицей, она стала питать династические интересы. И Степан Степанович поехал в четвероместной карете покойного родителя своего в церковь и обвенчался.

Брак их — не так, как брак Льва Степановича — не остался бесплодным. В сенях господского дома, когда они возвратились, сперва подошли к ручке и поздравили новую барыню ее родители, а потом поднесла кормилица сынка десяти месяцев — нашего Михаила Степановича. — После свадьбы барин сделался миф. Акулина Андреевна приняла бразды правления. Она с глубоким и основательным политическим тактом взяла все меры, чтоб упрочить свое самовластие; но — как всегда бывает — взявши все меры, она все-таки упустила из виду одну из возможных причин переворота. Мало знакомая с физиологией и патологией, она не знала, что организм человеческий только до известной степени противодействует алкоголю. Лет через семь после бракосочетания синий Степан Степанович, хромым от паралича и толстым от водяной, отдал богу душу. — Это было в самое то время, когда Лёв Степанович отделявал свой дом на Яузе.

Получивши весть о смерти брата, Лёв Степанович в первые минуты горести попробовал было опровергнуть брак покойника и законность его сына, но чиновник, которому он поручил разведать, убедил его, что Акулина Андреевна взяла все меры еще при жизни ее мужа и что четырнадцатую часть ей выделят во всяком случае, да еще его заставят заплатить протори. Больно было Льву Степановичу, но он покорился несправедливой судьбе и, как настоящий практический человек, тотчас придумал иной образ действия. Он написал к вдове письмо, полное родственного участия, и звал ее в Москву для окончания дела и для того, чтоб показать ему наследника его брата, а может, и его собственного, пещись о котором он считал священнойшею обязанностью, ибо судьбою и богом назначен ему в опекуны. — Весьма вероятно, что Акулина Андреевна не повезла бы своего сына по письму дяди, но после смерти Степана Степановича люди стали что-то грубо поговаривать, а иногда даже и перечить с таким видом, что Акулине Андреевне показалось безопаснее переехать в Москву. — Лёв Степанович плакал при свидании с Мишей, благословил его образом, в припадке семейных чувств выделил отличную часть имения Акулине Андреевне и взял на себя все хлопоты по опеке над племянником, устранив всякое влияние матери. — Оно вскоре утратилось и другим образом. Своей *четырнадцатую* частью прельстила Акулина Андреевна одного поручика из ординарцев при московском главнокомандующем —

и сама прельстилась его ростом и его дебелий и свирепой красотой, совершенно противоположной рыхлой наружности аркадского покойника. Она не могла удержаться, чтоб не выйти за него замуж. Роли переменялись. Поручик с четвертого дня начал бить жену, — жену, которая «ада и небес едва не досягала!» Акулина Андреевна с горя стала попивать подслащенные наливки; не знаю, что с ней сталося потом; через год поручик, сделавшись капитаном, получил хорошее место по крнгс-комисариатской части где-то на Черном море, куда увез и супругу свою. — Лёв Степанович требовал, чтоб племянник его остался в Москве. После легких прений мать согласилась, и вотчим тоже, основываясь на том, что он место долею получил за некоторые дружеские пожертвования, а частию по ходатайству Льва Степановича, — вследствие чего берег дружбу его на черныи день.

IV

Мише было лет десять. Воспитание его не было сложно: простое, патриархальное, деревенское воспитание того времени; оно ограничивалось с физической стороны развитием непобедимого пищеварения, с нравственной — укоренением высокого мнения насчет столбового происхождения и верного взгляда на отношения помещика к дворовым. Воспитание это не столько было отвлеченно и книжно, как практично, *en action*¹, и по тому самому имело несомненный успех; воображение десятилетнего мальчика гораздо сильнее поражалось таким преподаванием, нежели всяким школьным. Его окружала толпа оборванных, грязных и босых мальчиков, которых он щипал и бил, которых нежная родительница его секла, если он жаловался. Один более свободный товарищ его игр был сын сельского священника, отличавшийся белыми волосами, до того редкими, что они не совсем покрывали череп, и способностью в двенадцать лет выпивать чайную чашку сивухи не пьянея. Иногда сын священника осмеливался делать кой-какие грубости Мише: не позволял ему себя тотчас поймать в горелках, когда Мише приходилось гореть, обгонял его взапуски, сам ел найденные ягоды. Мишу это чрезвычайно оскорбляло; разумеется, и Акулина Андреевна не могла оставаться равнодушною к такому нарушению приличий; она подзывала к себе сына священника и поучала его следующим образом:

— Ты, толоконный лоб, помни у меня и чувствуй, что я тебе с кем позволяю играть. Ты воображаешь, что это дьячков сын. — Дурачок, с ровней, что ли, играешь? — ты должен уступить помещику, — неуч!

¹ жизненно (франц.). — *Ред.*

Матушка попадья, бывало, как услышит подобное слово, тотчас, не вступая в дальнейшее разбирательство дела, поймает сына за бедные волосенки, как-то приправленные на масле, приносимом для лампы Тихвинской божией матери, и довольно ловко представляла вид, будто бесщадно дерет его за волосы, — приговаривает:

— Ах ты, грубиян эдакой поганый, — вот истинно дурья порода — Простите, матушка Акулина Андреевна, изволите сами, матушка, знать, какой ум в наших детях, — так, мужики, никаких обращений. А ты благодари барыню, что изволит обучать!

И она наклоняла его голову и сама кланялась. — Миша после напоминал своему приятелю, торжествуя над ним, но тот, обиженный в свою очередь, присовокушлял:

— Ведь все врет мать-то, только так горячку порет — для господ.

Разумеется, все это вместе способствовало к прочному развитию не столько любезного, сколько столбового характера.

Странно показалось Мише после такой привольной жизни в доме у дяди, — но он и не долго прожил в нем. Двоюродная тетка Льва Степановича выпросила его к себе, чтоб воспитывать с своим сыном, который — говорила она — был один и скучал. Лёв Степанович побаивался княгини и согласился. Побоялся он ее потому, что она сильно любила болтать и имела большие связи в Петербурге. Что она могла ему сделать болтовней и связями — не знаю, да и он не знал, — а трусил. Княгиня была богата, держала большой дом, ничего не делала, кроме важных визитов, и не находила времени присмотреть за детьми; оно же и не вовсе было нужно. Она взяла для сына гувернера; рекомендованный самим Вольтером Шувалову во время его путешествия, Шуваловым княгине Дашковой, Дашковою — нашей княгине, он самодержавно управлял делом воспитания. Гувернер был неглупый человек, с легким, но блестящим образованием и со всеми недостатками француза, из которых половина была очень мила; он был *blagueur*¹, он был высокомерен, дерзок, но зато остер и весел; с улыбкой превосходства смотрел он на все русское, отроду не слышал, что есть немецкая литература и английские поэты, как следует знал на память Корнелия и Расина, знал энциклопедистов и Вольтера, даже понимал несколько древние языки, даже любил поразить стихом из Вергилия или Горация.

Наш гувернер был поклонник Гельвецевой философии и учений Жан-Жака; он с жаром толковал о равенстве, не смотря на то, назывался *chevalier*² и никогда не забывал ставить

¹ хвастун (франц.). — *Ред.*

² кавалер (франц.). — *Ред.*

«де» перед своей звучной фамилией: Дрейяк. Он с улыбкой сожаления говорил о католицизме и проповедовал какую-то религию собственного изобретения, состоявшую из поклонения закону тяготения, потому что без него был бы хаос, что им поддерживается «великий порядок», в котором только человеку открывается «великий художник». При развитии этих глубоких истин он всегда присовокуплял, не знаю для чего, что Платон высшее бытие называл геометром, а Ньютон снимал шляпу при имени бога. Сверх своей религии тяготения, он упорно не хотел суда на том свете, — хотя против бессмертия души ничего не имел. Говорят, что сверх должности гувернера он исполнял многие обязанности покойного князя, — но я этому никогда не верил. — Учение шло весело и легко. Дрейяк заставлял учеников декламировать, читать вслух, а больше всего болтал с ними. Он мог всегда говорить без различия предмета, без различия пола и возраста беседовавших, — и потому Миша и князь отлично выучились слушать по-французски, а потом и довольно хорошо говорить.

Миша долго грустил в доме княгини; он был похож на дикого зверка, посаженного в клетку, смотрел к лесу и тайком утирал слезы, вспоминая о своей жизни в Липовке. Сметливый от природы, он хорошо заметил, что первая роль не ему принадлежит, он был «братец», он был «*cher cousin*», в то время как князь был самим собою. Он равно видел это различие и в обращении княгини, и в обращении постоянных гостей ее, даже в обращении дядьки: старик без возражения исполнял приказы князя, а Мише часто говорил, что ему некогда, что у него не шесть ног, что можно послать кого-нибудь помоложе. Глубоко оскорбляемый всем этим, Миша дулся, сидел в углу и смотрел исподлобья. Дрейяк это относил к дикости, другие и не замечали. — Видя безуспешность своих протестаций, Миша переломил себя, стал ласков, послушен и мало-помалу сделался любимцем не токмо Дрейяка, но даже всей дворни. Княгиня не могла надивиться, какой он смиреннький и неглупый мальчик. Но смиреннький мальчик в одиннадцать лет, подчиняясь всем и всех слушаясь, ставил на своем и с ловкостью дипломата достигал всего, чего хотел. — Князь не любил учиться, он был рассеян, скучал за уроками — Миша понял это, и с той минуты сделался прилежен. Дрейяк не мог надивиться способностям «маленького дикаря» и пророчил ему блестящую будущность. Начав учиться из зависти и из затаенного желания унижить соперника, он втянулся в самом деле не столько в науку, как в чтение; шестнадцати лет он перечитал всю библиотеку гувернера. Дрейяк чуть не плакал, слушая, как Миша цитировал ко всему на свете места из «*Rucelle*», из «*Кандида*», из «*Жака-Фаталиста*».

Мало-помалу воспитание молодых людей пришло к концу. Они писали французские записочки правильнее русских, при всей лени даже князь знал мифологию и французскую и римскую историю — больше и не требовалось в то время от русских. Тогда еще русской литературы не выдумывали, о русских журналах и не спилось никому, разве одному Новикову; русской истории тоже еще не было открыто, — знали только, что царствовал мудрый правитель Олег, о котором сама императрица изволила написать драму «Олег вещей», и великий преобразователь Петр, о котором даже Вольтер написал целую книгу. — Взяв это во внимание, не покажется странным, что наши юноши окончили свое воспитание, никогда не бравши в руки ни одной русской книги, несмотря на то, что у княгини было собрание сочинений Сумарокова, «Россиада» Хераскова и «Камень веры» Стефана Яворского. — Княгиня сама повезла «детей» в гвардию и определила в один полк. Кряхтя, высылал Лёв Степанович племяннику часть доходов с имения, объясняя всякий раз княгине, что имение покойного брата расстроено, доходов мало, урожаи плохи и всходы больших надежд не подают.

Служба была тогда легкая. Изредка приходилось надеть мундир, в кои веки доставалось побывать в карауле, — это даже правилось как разнообразие. Остальное время — кроме родственных визитов, визитов к важным людям, обедни по воскресеньям в домово́й церкви княгинина брата — было в полном распоряжении молодых людей. Князь бросился в светскую и разгульную жизнь со всем пылом юности, окрыленной богатством; беззаботный, отроду не останавливавшийся ни на чем и отроду ни на чем не останавливаемый, он был вспыльчив, дерзок, несколько раз проигрывался в карты, имел истории, — и при всем этом был славный товарищ, благородный, открытый и даже по-своему гордый человек.

Столыгин был неразлучен с князем и играл довольно странную роль. Он участвовал во всех шалостях молодого человека, наводил его на такие, которые бы ему не пришли в голову, — и потом почти всегда был ими недоволен. Он с каким-то снисхождением, даже с покровительством гулял на счет своего товарища, он как будто нехотя и внутри порицая все, что делалось, во всем брал долю. Столыгин так умел себя держать, что из всех историй выходил совершенно чистым, а между тем в сущности не только не отставал от товарищей, но был гораздо основательнее их испорчен; его разврат не бросался в глаза именно потому, что он был обдуманнее и хладнокровнее, нежели у увлекавшегося князя.

Князь верил в его дружбу, знал его превосходство и с детским простодушием прибегал во всяком трудном случае

к Мише за советом. Полагаю, что и Миша любил князя, но на том условии, что тот никогда не забывал своей зависимости.

Князь был хорош собой и имел успехи у женщин, особенно у сангвинических девиц, у молодых вдов. Столыгин, бравший не столько красотой, сколько дерзкой речью, нескромностью желаний и сладострастным взглядом, не мог простить своему другу его высокий рост и его красивые черты и старался всякий раз затмить его остроумиями, умом, колкостями.

Поволочившись года три за женщинами всех слоев общества, от барских палат до швей у модисток, — причем князь имел две-три драки, — поигравши в азартные игры, — в которые князь проиграл довольно большие суммы, для скрываетия которых от матери надавал двойных векселей, — словом, поделавши все, что называлось тогда службою в лейб-гвардии, — молодым людям захотелось съездить в Париж. Столыгин подбил князя. Княгиня долго не соглашалась, но потом сама отпросила их в отпуск, и они отправились в Париж. Надзор *за детьми* был снова поручен Дрейяку, который успел в антракте образовать еще двух русских помещиков греческой мифологией и французскою историей.

В Париже все их поразило. Улицы кипели народом, там-сям стояли отдельные группы, что-то читая, что-то слушая; крик и песни, громкий разговор, грозные возгласы и движения — все показывало ту лихорадочную возбужденность, ту удвоенную жизнь, то судорожное и страстное настроение, в котором был Париж того времени; казалось, у камней бил пульс, казалось, в воздухе была примешана электрическая струя, наводившая беспокойство и злобу на душу, охоту борьбы, потрясений, страшных вопросов и отчаянных разрешений, всего, чем были полны писатели XVIII века, проповедники эгоизма — вызвавшие столько самоотвержения, поборники отрицания — возбудившие фанатическую веру... — И все это выговорилось, заявилось, выказалось, окружило путников прежде, нежели запыленный тяжелый дормез остановился у отели в улице Сент-Оноре, прежде, нежели двое крепостных слуг успели отстегнуть пряжки у вашей*.

Дебют в Париже и в Версале был чрезвычайно удачен благодаря пуку рекомендательных писем, которые шевалье де-Дрейяк славно осветил ослепительными лучами богатства, вести о котором он распустил с достоподобною рельефностью, не останавливаясь, разумеется, на прозаической истине. — Михаил Степанович, напудренный, раздушенный, в шитом кафтане, с крошечной шпажкой, с подвязанными икрами, весь в кружевах и цепочках, сделался фрондером и чуть не

опасным умом. Он толковал об tiers-état¹, превозносил Неккера и пугал старых маркиз революцией. Его заметили; несколько колкостей, удачно им сказанных, повторялись.

— Знаете ли, что меня всего более удивляет в этом *marquis hyperboréen*?— сказал раз, сдавая карты, пожилой аббат с сухим и строгим лицом.— Но столько его ум,— умом, слава богу, нас трудно удивить,— а его способность все понимать и ни в чем не принимать истинного участия; для него жизнь, кипящая возле, имеет тот же интерес, как весть о Сезострисе,— это какой-то посторонний всему.

— Скиф в Афинах,— заметил кто-то.

— Совсем нет,— возразил аббат,— у скифа было бы что-нибудь свое, дикое, а он с виду и с речи похож на меня с вами. Признаюсь вам, я в состоянии ненавидеть такого человека; это болезненное произведение цивилизации, привитой к корню, не нуждавшемуся в ней.

— Помилуйте, из него выйдет отличный дипломат; он даже лицом похож на Кауница,— сказал какой-то посольский советник.

— В самом деле!— подхватили многие, и гиперборейский маркиз был забыт.

Путешествие князя и Столыгина окончилось гораздо прежде, нежели они предполагали. Виною тому был Дрейяк.— *Chevalier*, одобрительно и скромно улыбавшийся «успехам и торжеству разума над предрассудками», имел обыкновение, общее многим мыслителям, особенно тем, у которых пищеварение расстроено, прогуливаться, вставши с постели. Только что он вышел однажды на бульвары, как услышал за собой какой-то нестройный гул. Он остановился и, сделав из руки зонтик от света, начал всматриваться; сначала он увидел облако пыли, потом блеск пик, ружей; наконец вырезалась нестройная, пестрая масса людей. Дрейяк никак не мог догадаться, что это за люди, но ему недолго пришлось ломать головы; высокий, плечистый мужчина без сюртука, с засученными рукавами, с тяжелым железным ломом, повязанный красным платком, поровнявшись с ним, спросил его громовым голосом, пристально глядя ему в глаза:

— Ты с нами?

Дрейяк, бледный и трепещущий, не мог сообразить, какое может иметь последствие отказ, и потому медлил с ответом; но новый знакомец взял его за шиворот и, сообщив его телу движение, далекое от того, чтоб быть приятным, повторил вопрос. Шевалье вместо ответа уронил свою трость. Учтивая дама, случившаяся возле, подняла ее и, показывая более и более густевшей массе народа, заметила:

¹ третьем сословии (франц.).— *Ред.*

— Это аристократ и аккапарист; посмотрите, какой набалдашник золотой, да еще с камнем,— на фонарь его.

— На фонарь,— сказали несколько голосов спокойным, подтверждающим тоном, исполненным наивного убеждения, что действительно его необходимо повесить на фонарь, что это просто аксиома.

— Помилуйте,— сказал Дрейяк,— да я с вами, разумеется, с вами, как же не с вами!..

И остановившаяся кучка двинулась вперед, грозно и мрачно, принимая новые толпы из всех переулков и улиц и братаясь с ними.— Дрейяку удалось завернуть (под самым суетным предлогом) в переулок; вылучив там счастливую минуту, он дал стрелка и пришел домой более мертвый, нежели живой. Дома он лег в постель, велел налить какой-то тизаны и в первый раз признался, что дорого бы дал, если б был на величественных, но спокойных берегах Невы. Тизана помогла ему, он начал успокаиваться, но вдруг раздался залп ружейных выстрелов — а там еще выстрелы вразбивку, пушка прогремела, и потом будто перестрелка ближе — слышался барабан, слышался какой-то дальний, но страшный гул — и опять проклятые выстрелы... Время от времени мимо окон бежали блузники, работники с криком: «A la Bastille! A la Bastille!»

— Grand Dieu! Grand Dieu! Ayez pitié de moi!¹— повторял Дрейяк, забывши закон тяготения, и холодный пот выступал у него на лбу, когда он припоминал свое аристократическое значение; он даже с досадой запретил трактирному слуге себя звать *chevalier*.

— Мы все люди,— говорил он ему,— все равны и отличаемся только добродетелями.

Михаил Степанович сам бегал смотреть, как осаждают Бастилью; Дрейяк был уверен, что его убьют, и уже несколько утешался в его отсутствии тем, что нашел славную турнюру, как известить об этом княгиню, когда возвратился Столыгин, ругая на чем свет стоит нелепую защиту и помирая со смеху при мысли, как удивятся его версальские приятели такой новости. Дрейяк объявил, что дольше в Париже он не останется, и, несмотря на все споры и просьбы, он, опираясь на полномочие княгини, отстаивал свое мнение с мужеством, которое может дать один сильный страх. Делать было нечего — они возвратились. Столыгин начал в Петербурге продолжать прежнюю жизнь, как вдруг одно неожиданное обстоятельство изменило ее.

Князь влюбился в Париже в одну маленькую француженку; добрая от природы, она его не заставила долго страдать,

¹ «К Бастилии! К Бастилии!»— «Господи! Господи! Сжался надо мной!» (франц.).— *Ред.*

жаль было князю ее покинуть, он предложил ей ехать в Петербург. Маленькая француженка согласилась с восхищением, она была сильно аристократических мнений, и ей что-то очень начинало не нравиться демократическое бездеспелье, распространявшееся в мире виконтов и маркизов.— Не успел князь уладить для нее квартиру в Петербурге, устроить мебель и украшения, как застал однажды Михайла Степановича в слишком огненном разговоре с нею. На этот раз князь не вынес, рассердился, начал говорить колкости. В другом случае Столыгин, может быть, и уступил бы, по крайней мере своротил бы на шутку, но, по несчастию, он взглянул на прекрасные глаза француженки и увидел в них злую насмешку и ясный вопрос: «Так вы позволяете так с собой обходиться?»— Взгляд этот сильно кольнул его, и он дал себе волю; ссора разгоралась более и более, князь, не помня себя, выбросил Столыгина за дверь и прокричал ему вслед, что он будет ждать его там-то и тогда-то.— Они дрались на шпагах. Дуэль кончилась ничем, Столыгин ранил князя в щеку,— это подражание Цезаревым солдатам в Фарсальской битве вряд было ли случайно,— оно ему не прошло даром, рану на щеке невозможно было скрыть.— Княгиня узнала через людей о дуэли и приказала сказать Столыгину, чтоб он оставил ее дом.— Столыгин попытался объяснить с нею,— она его не пустила к себе; он написал письмо,— княгиня отослала его нераспечатанным. Делать было нечего — он переехал и тотчас написал нежное и мягкое послание к князю, в котором кудрявыми французскими фразами просил примириться, описывал свое несчастье, говорил, что он сам не хотел после горестного события оставаться долее в их доме, но что он убит гневом женщины, которая была для него более, нежели мать, которой он всем обязан, и проч.— Разумеется, князь на другой же день забыл обиду и уговаривал мать простить Михайла Степановича, слагая всю вину дуэли на себя,— но переехать назад княгиня не позволила. Итак, Столыгин явился в первый раз на собственных ногах,— ему было лет под тридцать.

Как нарочно у него не было денег. Он написал к дяде; в ожидании ответа жить было нечем; дорого стоило Михайлу Степановичу попросить займы у князя, он с неделю переламывал себя и, наконец, шуточно взял у него несколько сот рублей; обстоятельство это сильно потрясло его. Оно навело его на ряд мыслей, доселе мало его занимавших. Живя на счет княгини, ему за глаза довольно было денег, присылаемых дядей,— теперь было не то. Как он ни вертел, как ни считал, а более 4000 получить было невозможно,— доход прекрасный для одинокого человека в то время,— но Столыгин

привык к жизни в барском доме, к огромным палатам, к толпе прислуги, к пышным экипажам, а всего более к тому, чтоб не знать, чего это стоит; теперь, пораздумавши, он себе показался жалким, несчастным, пищим. Он содрогнулся, уничтожился перед этой мыслию, на этот раз он страдал действительно, не был посторонний к делу, потому что страдал о себе. Он дни и ночи проводил в придумывании, как бы сделаться богаче, одна надежда и была — смерть дяди, но старик был здоров, почерк его писем так оскорбительно тверд — делать было нечего, и Столыгин скрепя сердце, глубоко оскорбленный и раздраженный, решился отказаться от прежней жизни. Он заморил в себе желания, он стал расчетлив, скуп, он сделался желт в лице, заперся в четырех стенах; словом, он так был устрaшен мыслию о будущей нужде, что чуть не слег в постель, хотя ничего опасного еще не было в виду. — Дядя писал ему несколько раз, чтоб он или сам приехал, или прислал кого-нибудь в подмосковную, что ему и с своим имением управляться не под силу. — Столыгин чувствовал, что сам мало смыслил в сельском хозяйстве, и принялся искать управляющего. Месяца через три он получил письмо от Акулины Андреевны с одним морским офицером. — Надобно сказать, что у него с нею сношения были весьма редки, он вообще не любил, когда его спрашивали об матери, месяцев через шесть он писал ей несколько строк и посылал небольшие подарки, — тем и окончивались его сношения с нею. — Из этого вы можете заключить, что он принял моряка чрезвычайно сухо, мать его умоляла похлопотать о каком-то деле подателя письма, выхваляла его доблести и честность; Михайло Степанович обещал ему сделать все, что может, и ничего не делал; но моряк привык выжидать погоды, он всякий день стал ходить к Михайлу Степановичу, наконец тот вышел из терпения и через княгиню обделал его дело.

— Чем вы намерены теперь заниматься? — спросил он его, перебивая длинное и скучное изъявление благодарности.

— Искать частной службы по части управления имением.

Михайло Степанович посмотрел на него и внутренно признал в нем искомого человека. — Он не ошибся. Моряк как нарочно отчасти уцелел для благосостояния хозяйства Столыгина; он летал на воздух при взрыве какого-то судна под Чесмой, он был весь изранен, но несмотря на пристегнутый рукав вместо левой руки, на отсутствие уха и на подвязанную челюсть, эта анатомическая редкость сохранила здоровье, неутомимую деятельность, беспрерывно разлитую желчь и сморщившееся от худобы и злобы лицо. Он был исполнителен, честен, он никого бы не обманул, тем паче человека, которому он был обязан важной услугой, но многим именно эта честность и эта исполни-

тельность показались бы хуже всякого плутовства. Михайло Степанович предложил ему ехать осмотреть свои имения — он согласился с радостью, и с того дня у моряка не было другого закона, как воля Столыгина; он, как вольнонаемный бандит, не входил в вопрос, худо ли или хорошо ли делает, а исполнял с спокойной совестью и с величайшим рвением чужую волю. Человек этот был просто клад для Столыгина.

V

Столыгин ждал моряка с часу на час со всеми его проектами и планами, когда вместо него получил письмо Тита. Он его прочел раз пять. У него дух сперся в груди; бледный, как полотно, с кружением в голове, вышел он на улицу, чтоб несколько привести в порядок свои мысли... Две тысячи пятьсот душ отлично устроенного имения, дом в Москве, да, вероятно, билеты... Рядом с этими утешительными надеждами его душою овладело жестокое беспокойство, страшные опасения, нет ли каких особенных распоряжений, не надавал ли старик векселей. Он немедленно поскакал в Москву. В Москве его ожидала новая весть, которой он не мог и предполагать. Тит Трофимов и староста, приехавшие поклониться повому барину, известили его о смерти Марфы Петровны.

— А что, есть завещание?—спросил Михайло Степанович.

— Письмо изволили оставить к вашей милости, — отвечал Тит.

— Где оно?

— У меня, батюшка, — отвечал Тит, вынимая из бокового кармана портфель, который в юности был красного цвета.

— Ты бы, дурак, с этого начал, — заметил Михайло Степанович, торопливо вырывая у него письмо.

Едва заметная улыбка пробежала у него по лицу при чтении; он видел ясно, что смерть таким сюрпризом подкосила стариков, что они не успели сделать никаких «глухих распоряжений».

— Кто же при доме в деревне остался? За коим чортом оба приехали?

— Агафья Петрова, ключница, и покойной барыни дядюшка с супругою.

— Они-то первые и растащат все. — Да где же бумаги?

— Спальня запечатана вотчинной печатью, и двое десятских караулят.

— Я собираюсь завтра в Липовку.

— Лошади, батюшка Михайло Степанович, дожидаются: моих тройка на вашем дворе, да крестьянских из вашей вотчины еще две придут в Роговскую, — отвечал староста.

— Хорошо. А теперь, эй Тит! Сейчас с Ильей Антипычем принять здесь в доме все и переписать.

Ильей Антипычем назывались остатки морского офицера, задержанные в Москве вестию о кончине Льва Степановича и супруги его.

На другой день барин и первый министр его отправились в подмосковную.— Михаил Степанович наслаждался, упивался вводом во владение; мысль, что все это его, его собственное, производила в нем какое-то особенно приятное волнение и в то же время беспокоила его.

На границе липовской земли ждали Михайла Степановича часть дворовых людей и депутация от крестьян с хлебом и солью.— Староста и Тит Трофимов ехали впереди в телеге; они остановили дормез и доложили Михайлу Степановичу, что эв тот большой камень и эв та большая яма означают *in basso* и *in taglio*¹ границу его владения; он вышел из кареты. Поданные повалились в ноги. Михайло Степанович указал Титу, чтоб он взял хлеб, и сказал крестьянам резким голосом, что благодарит их за хлеб, за соль, но надеется, что они усердие свое докажут на деле, что он любит порядок, что покойник дядюшка по старости лет многое запустил, но что он примет их в руки.

— Есть ли на оброчных недоимка?— спросил он старосту.

— Есть небольшая,— отвечал староста.

— А ты чего смотришь, староста?.. А вот я тебя научу, что значит быть старостой. У меня чтоб слова «недоимка» не было. Слышишь? Это просто ни на что не похоже. Какой оброк платят!— стыдно сказать. Я чай, православные, вам перед соседями совестно так мало платить!

— Они легко могут платить еще по десяти рублей с тягла,— заметил моряк.

— Еще бы! Подмосковные мужики!— Слышите, что ли?

— Как вашей милости взгодно будет, мы ваши, как изволите, батюшко, установить, наше крестьянское дело— исполнять,— отвечал староста, и с этим словом он поклонился в землю, и мужички опять повалились в ноги, благодаря, вероятно, за доброе намерение лишить их стыда так мало платить.

— Об этом я поговорю завтра, собери утром на барский двор стариков!

— Эки рожки какие,— продолжал Михайло Степанович, обращая приветствие к дворовым,— откуда это покойник набрал их, один Тит на человека похож. Это кто, вон в засаленном нанковом сюртуке, направо?

— Земский Василий Никитин,— отвечал староста,— т. е. он, батюшко, по ревизии записан Львом, да покойный дядюшка, взявши во двор, изволили Васильем назвать.

¹ вдоль и поперек (итал.).— *Ред.*

— Сюда вином от него пахнет, отек весь — я пьяниц не люблю, у меня вы забудете дорогу к кабаку.

После этой речи он быстрыми шагами пошел по дороге с моряком, который шел возле без фуражки; староста и Тит шли несколько отступя, а за ними дворовые и крестьяне; дорез и телега ехали шагом;— никто почти ничего не говорил, на сердце у всех было тяжело, неловко. Когда они шли по селу, старики дряхлые, старухи выходили из изб и земно кланялись, дети с криком и плачем прятались за ворота, молодые бабы с ужасом выглядывали в окна... одна собака, смелая и даже рассерженная процессией, выбежала с лаем на дорогу, но Тит и староста бросились на нее с таким остервенением, что она, поджавши хвост, пустилась во весь опор и успокоилась, только забившись под крышу последнего овина.— Так достигли господского дома. Тут дожидались священник с женою и с сотами (от пчелок своих), припесенными на поклон, причетники, слепой майор и молдаванка. Михайло Степанович учтиво обошелся с ними со всеми, спросил майора о здоровье, спросил священника, всякий ли год крестьяне говеют, и, наконец, попросивши его отслужить молебен с водосвященьем, отправился в запечатанный кабинет и там, запершись на ключ, осмотрел с моряком все бумаги, нашел и ломбардные билеты и деньги в целости; говорят, что он нашел еще записку, в которой дядюшка изъявлял желание отпустить на волю дворовых, но он справедливо заметил моряку, что, стало быть, дядя раздумал, если сам не написал или отпустил, и что, стало быть, отпустить их было бы противно желанию покойника,— сжег эту записку на свече.

На другой день Михайло Степанович возвестил майору и его супруге, что, свято исполняя волю покойной тетушки, поручившей ему не оставить их, он им жалует 2000 рублей. Причем и вручил им билет (единственный из всех, по которому проценты были взяты). С тем вместе объявил, что он сколько ни желал бы, но не может по разным соображениям оставить за ними комнаты, что он вообще советует им не оставаться в Липовке, а ехать в Москву.

— Кириллу Васильевичу часто может быть нужна медицинская помощь, ему непременно надобно жить в Москве. Я ве-лю посылать вам какие случатся припасы и дрова.

Молдаванка хотела было попросить Михайла Степановича дозволить им остаться, хоть в людской избе, где была пустая каморка, но, встретив холодные глаза с рыжеватыми ресницами и улыбку Михайлы Степановича, она не смела вымолвить ни слова и стала укладываться.— Осмотрев прочие имения и повелев слушать беспрекословно моряка, он уехал в Петербург.

Настали другие времена, военная служба стала труднее. — Это худо согласовалось с желаниями Михайлы Степановича, непривычного нести какую бы то ни было обязанность, — он вышел в отставку и опять уехал в чужие края. — Года через четыре он приехал в Москву. Моряк подал ему отчеты; другие проживаются в путешествии, Михайло Степанович нашел во всем приращение, и без того чтоб он трудился, напротив — в то время, как он наслаждался жизнью туриста, и без особых жертв, — он очень мало давал моряку. Даже теперь, возвратившись из путешествия, он отделался золотыми нортонскими часами, которые купил по случаю и о которых рассказал моряку, чтоб поднять их цену, что они принадлежали адмиралу Эльфингстону.

Михайло Степанович жил один-одинешонок в огромном и запустелом доме на Яузе. Что-то страшно угрюмое было в его существовании, он почти ни с кем не знался, редко выезжал, ничего не поправлял в доме, вылинялый штоф на стенах местами продрался, позолота давно почернела, старинная мебель — тяжелая и жесткая — стояла в какой-то неподвижности годы целые; печальные, дурно одетые слуги проходили на цыпочках обтирать ее; богатство его не только не сняло с него его заботливую боязнь о состоянии, но развило болезненную подозрительность и скряжничество. Каждую неделю приезжал из Липовки моряк, и Михайло Степанович иногда оставлял его дня на два под предлогом разных дел, а в сущности из потребности видеть живого человека; он целые вечера рассказывал ему о своих путешествиях, о своих встречах, жаловался на лишения, которым должен подвергаться в Москве, на глупость прислуги; моряк никогда не возражал, всемо удивлялся, а всего более Михайлу Степановичу — такого-то собеседника и надобно было Столыгину. — Сначала ему пришла было мысль служить по дипломатической части — он чрезвычайно высоко ценил свои способности и хотел сразу занять какое-нибудь значительное место. Так как это было совершенно противно порядку нашей службы, основанной на летах и на чинах, вместо которых он предлагал таланты, то, само собою разумеется, ему не удалось. — Он съездил в Петербург и воротился в Москву, представляя себя жертвою страшных несправедливостей и интриг. — Что же он делал в Москве? — На это отвечать трудно. Любя стяжание, он тем не менее серьезно имением не занимался; иногда он врывался в управление моряка для того, чтоб показать свою власть или насладиться ею, распространял ужас и трепет, брил лбы, наказывал, брал во двор, придирался к мелочам, обременял совершенно ненужными работами, там дорогу велит проложить, тут сарай перенести с места на место... Но большей частью он предоставлял моряку управление крестьянами. Несравненно более занимался он устрой-

ством дома и дворней, у него все в воображении носился дом княгини, и он хотел достигнуть чего-то подобного не тратя денег. Задача была невозможная; на каждом шагу он видел, что ему не удастся, бесился и вымещал это на несчастной дворне. Бедные слуги были совершенно потеряны, они не знали, как примениться к праву барина; ни точность исполнения, ни величайшее раболепство, — которое он любил больше всего, — ни честность, ни трезвость не могли спасти от его гнева, который всегда сопровождался жестокими наказаниями. Его камердинер, молодой трезвый малый, — повесился, двое лакеев — бежали. Эти примеры не только не разбудили чего-либо вроде угрызения совести, но послужили поводом к новым преследованиям и гонениям. — Одно рассеяние вне дома у него и было: почти всякий день ездил он к менялам, променивал старые вещи дяди, делал опыты надуть купцов и всякий раз был надут ими. Несмотря на свою скупость, он часто покупал вещи совершенно пепужные, какую-нибудь вазу, которую некуда было поставить, какой-нибудь разрозненный канделябр. Через месяц ему надоедали они, он их опять променивал, брал китайские занавеси, персидское ружье; две комнаты были завалены этими случайными покупками. Через менял Михайло Степанович помещал свои деньги за большие проценты; самому ему не хотелось выступить ростовщиком; по большей части антики и стертые картины в почернелых рамах только прикрывают сделки несравненно выгоднейшие, нежели куртаж за безносого Адониса и за поддельные камеи Пиклера, которые лежат лет пять-шесть на одном и том же месте в лавке.

Так шла жизнь Михайла Степановича, и, вероятно, продлилась бы так лет сорок еще, если б он... что вы думаете? — если б он — не женился. — В Москве все женятся; но, конечно, в Москве с знаменитого кутежа, по случаю которого в первый раз упоминается о ней в летописи*, и до торжественного празднования его шестисотлетия никогда не было человека, менее способного к семейной жизни. Он сам это знал, всегда смеялся над брачными узами и, несмотря на это, — женился, — женился, как говорят в сказках, сколько волею, а вдвое того неволею. — У Столыгина завязался запутанный процесс с одним из кредиторов; он знал, что его дело не совсем чисто, а потому адресовался к известному тогда в Москве стряпчему, отставному статскому советнику Валерьяну Андреевичу. Надобно же было, как нарочно, этому старому юсу иметь прехорошенькую и премолоденькую дочь. Михайло Степанович увидел ее и решился во что бы то ни стало добратся до нее. Он через Титову жену подкупил кухарку, начал дальние апроши¹ по

¹ подступы, от *approches* (франц.). — *Ред.*

Вобановой системе — а от них перешел к ближним. Простая, бесхитростная девушка, воспитанная под суровым гнетом старика отца, отроду не выдавшая порядочного человека, не нашла в себе сил Сарагоссы* и сдавалась. Близость их шла далее и далее и зашла даже так далеко, что Михайло Степанович начал с особенным биением сердца поглядывать на жену хлебника-немца, жившего недалеко от него. Кухарка статского советника, помогавшая Михайлу Степановичу за белевскую бумажку и за золотые серьги, которые он обещал, долго не получая их, испугалась последствий, могущих быть из этой связи, и сделала донос отцу. Старик убедился разом в справедливости допоса и в том, что предупреждать поздно — но поправить самое время. Внутри он даже обрадовался неожиданному случаю, который уже разрастался в его голове целым процессом, выигрышем, — но он тщательно скрыл это и явился, как следует, раздраженным, карающим отцом. Сначала он разбил бедную девушку, потом избил ее и оттащил за косу, потом запер в темную комнату на мезонине; словом, сделал все, что требовала оскорбленная любовь родителя. Исполнив тяжелую обязанность, он снова сделался чем был — стряпчим, юристом — и принялся за повальный обыск в комнате дочери. Нетрудно было найти то, чего он искал, пук писем, перевязанных розовой ленточкой и хранившихся в красивом ларчике. Старик надел очки и внимательно прочитал все письма от доски до доски; казалось, что общий вывод из прочтенного доставил ему удовольствие. Он взял письма к себе и сел за стол сам писать, писал долго, перемарывал, дополнял, сокращал, наконец, был доволен редакцией, — переписал сам набело и, взяв свечу, отправился к дочери. Бедная девушка, оскорбленная, испуганная, стыдящаяся, с опухшими глазами и с синими пятнами на лице, задрожала всем телом, когда услышала шаги отца, и прижалась в угол, сама не зная зачем. Старик поставил свечу и грубым, жестким голосом сказал дочери:

— Что забилась туда? Скромница какая! — Небось, умела на свиданья бегать — страху не было — а от отца прячешься, — пооди сюда... — Возьми перо и пиши — ну же!

И он диктовал:

— Дочь статского советника Мария Валерияновна Трегубская.

Девушка писала в лихорадке, в безумии, дрожа от страха и без малейшего сознания, что делает. Отец прочитал подпись, хотел идти, — Марья Валерьяновна бросилась к ногам его и, рыдая, шептала:

— Батюшка! простите меня, простите!

— Хныкать теперь, срамница! — закричал почтенный старец. — Скучно назаперти сидеть — не послать ли за полюбовни-

ком твоим? Седины мои опозорила!.. — и, оттолкнув ее, он с негодованием вышел вон.

На другой день Михайло Степанович получил весьма учтливое письмо от статского советника, который сообщал ему, что он поражен в самое сердце вестью о том, что Михайло Степанович, опутав коварными обещаниями, успел сделать на всю жизнь несчастною его дочь, лишил его и последней опоры и последнего утешения, что, наконец, положение жертвы его соблазна он находит сомнительным, а потому надеется на него, что он захочет наверное свой проступок покрыть божим благословением чрез брак, коим возвратит ей честь, а себе спокойствие совести, которое превышает всех благ земных. Буде же (чего боже сохрани) Михайлу Степановичу это не угодно, то он с прискорбием должен будет сему делу дать гласность и просить защиты у недремлющего закона и у высоких особ, богом поставленных невинному в защиту, а сильному в обуздание; в подкрепление же просьбы, сверх свидетельств домашних, он с душевным прискорбием приведет разные документы, собственною Михайла Степановича рукою писанные. — В заключение оскорбленный отец счел себя обязанным присовокупить, что преступная дочь его есть его единственная наследница как дома, что в Хамовнической части, так и капитала, имеющего ей достаться, когда господу богу угодно будет прекратит грешные дни его.

В первую минуту досады Михайло Степанович написал предерзкое письмо к Трегубскому, оскорбленный смелостию предложить ему, Столыгину, жениться на дочери человека, который «вырос из чернильницы». Но потом — мы знаем, что он умел себя обуздывать там, где сила была не с его стороны, — он одумался, изодрал написанное и написал письмо умеренное: удивлялся, с чего могли прийти Валерьяну Андреевичу такие мысли, просил его не торопиться и уверял, что все это клевета, которую он рассеет, что это козни его врагов, распускающих об нем всякие слухи, завидуя его тихой и уединенной жизни. — Но Валерьян Андреевич был недаром лет сорок стряпчим, он видел, что Столыгин выигрывает время, что, следовательно, ему терять его не должно. Между разными делами, вверенными Трегубскому, у него на руках был огромный процесс о горных заводах одного графа, находившегося в большой силе. Он отправился к нему и вдруг, докладывая ему о течении процесса, подобрал нижнюю губу, опустил щеки, сделал преемешное лицо и начал капать слезами. Граф, разумеется, очень удивился и стал спрашивать Валерьяна Андреевича; тот рассказал ему историю, показал письма и ответ, наконец вручил просьбу дочери. Графу в самом деле стало жаль старика, он же был необходим ему по делу о заводах,

— Какой это Столыгин? Не тот ли, что воспитывался у княгини N?..

— Тот самый.

— Я его видал — давно, он всегда был на довольно дурном счету, у него еще была дуэль с сыном княгини — и в Париже он с жакобин¹ был знаком. — Это ему не пройдет даром, я тебя уверяю — оставь письмо дочери здесь и успокойся. Да кстати, апелляционную записку по моему делу окончи поскорее.

Старик утешился.

Через несколько дней предводитель дворянства пригласил к себе Михайла Степановича и, затворив двери кабинета, спросил его, как он намерен окончить неосторожный пассаж с девицей Трегубской, — присовокупляя, что ему поручено посоветовать Михайлу Степановичу копчить это дело, как следует дворянину и христианину. — Михайло Степанович пустился в ряд объяснений. Предводитель с большим вниманием выслушал его и, заметив, что все это очень справедливо, прибавил, что тем не менее он уверен, что Михайло Степанович оправдает доверие и поступит как христианин и дворянин, что, впрочем, он его просит дать себе труд прочесть одну бумагу. — Михайл Степанович прочел ее и молча, бледный как полотно, положил ее на стол.

— Не угодно ли вам будет, — спросил его предводитель, — теперь подписать вот эту? Позвольте, кажется, это перо не хорошо, вот это гораздо лучше, — и он подал ему лучшее перо.

Думать надобно, что первая бумага была очень красноречива и убеждала вполне в необходимости подписать вторую, ибо Михайло Степанович, не говоря ни слова, взял перо и подписал. Предводитель сказал ему, прощаясь, что он истинно душевно рад, что дело кончилось так келейно и что он так прекрасно решился поправить свой поступок. — Через неделю Михайло Степанович был женат. Мария Валерьяновна сначала не имела понятия, как она сделалась женою Столыгина, — она думала, что он попросил ее руки, чтоб спасти ее от преследований отца.

Разумеется, оскорбительная правда не могла не открыться впоследствии бедной женщине. Она без того кротко покорялась всем требованиям мужа, но, узнав о проделках отца, ей показалось, что она неправа, что она украдала свое место, унизила собою Столыгина, и, не зная, чем вознаградить его, совершенно отдалась во власть мужа, сделалась его рабой. Это развило еще более притеснительное властолюбие Михаила Степановича; он не только воспользовался ее жертвой, никогда не подумавши о том, чего она стоит этому существу, добром,

¹ якобинцами, от jacobin (франц.). — *Ред.*

полному преданности и любви, — но становился все требовательнее. В положении Марии Валерьяновны было что-то неловкое: перейдя из затворничества, в котором ее держал старый писарь, в затворничество чужого дома, в котором не было в ней нужды, в котором не было ей дела, в котором ничего не переменилось от ее появления, — ей трудно было пайтиться. Михайло Степанович требовал, чтоб Марья Валерьяновна занималась хозяйством, осыпал ее упреками, как она в доме у отца даже не научилась домашней экономии, и сам мешался во все мелочи и приказывал слушаться одного себя. Он не давал ей денег, сердился за каждый рубль и требовал, чтоб она хорошо одевалась, говоря, что все это зависит от ловкости, вкуса и умения, а не от денег. У ней не было ни одной знакомой; Столыгин запретил жене принимать каких-то родственников, раза два явившихся позавидовать ее счастью; она с своей стороны сама не хотела делить досуги с племянницей моряка, которую, кажется, Михайло Степанович хотел ввести по части супружеской тайной полиции. Знакомых у Столыгина было очень мало, из них двух-трех он представил жене, другие знали только по слуху, что он женат. Изредка Михайло Степанович предлагал жене проехаться в карете и думал, что этих прогулок совершенно достаточно для увеселения молодой женщины. — Молодая женщина эта, впрочем, мало горевала о рассеяниях, которых никогда не знала, но она никак не могла равнодушно выносить непрерывного негодования мужа; она, по женской манере рассуждать, считала его глубоко несчастным, тогда как он был только глубоко капризен; он оскорблял раздражительной избалованностью своею все стороны ее женского сердца — а она винила себя, что не умеет сделать его счастливым. Марья Валерьяновна бывала целые дни на вершине блаженства, когда Михайло Степанович скажет ласковое слово, обойдется с ней по-человечески, подарит какую-нибудь вещьцу, вымененную на какую-нибудь ненужность; но редки бывали эти дни. И не думайте, чтоб он гнал свою жену по злобе, по чувству мести и воспоминанию о свидании с предводителем. Нет. Сначала, правда, он будировал ее, но впоследствии остался только при постоянной ненависти к старику отцу. Поведение его не имело другого начала, как в распущенной строптивости, в отсутствии всяких чувств, кроме ревнивого себялюбия. Он хотел как-то незаслуженно и насильственно срывать даже и те плоды жизни, которые достаются только наградой или последствием истинных чувств; он требовал внимания, преданности, не поступаясь ни малейшим капризом, не отдаваясь нисколько. Он убивал холодной неприступностью, отталкивающей беспощадностью всякое нежное проявление — и жаловался, скорбел, что не находил их более. Притесняя все

вокруг, он себя всегда и во всем представлял жертвой и несчастным. Может, дерзость его эгоизма нигде не выражалась так ярко, как в этих жалобах, в истине которых он долею был убежден. Когда у этого человека не было решительно никакого предлога жаловаться на ближних, он жаловался на аневризм, которого, впрочем повидимому, у него не было.

Через несколько месяцев родился у нашей четы сын. Ребенок был разительно похож на отца. Это сходство привело в восторг Столыгина; он до того расхотелся в первые минуты радости, что с благосклонной улыбкой спрашивал Тита: «Ты видел маленького?» — и когда Тит отвечал, что не сподобился еще счастья, Михайло Степанович велел кормилице показать маленького барина Титу. Тит подошел к цюлке новорожденного и со слезами умиления три раза повторил:

— Настоящий папенька — вылитый папенька — папенькин патрет.

Михайло Степанович отдал тут же Титу приказ, чтоб люди не смели садиться, когда кормилица с ребенком в комнате, а кормилице разрешил сидеть даже в своем присутствии, чего, впрочем, она никогда не делала, повинуясь инструкции моряка. Кормилица была из Липовки. За две недели до родов Марьи Валерьяновны приказал Михайло Степанович моряку выслать для выбора двух-трех очень здоровых и недавно родивших баб с их детьми. Моряк выслал шесть, и мера эта оказалась вовсе не излишней: от сильного мороза и слабых тулупов две лучшие кормилицы, отравленные на пятый день после родов, простудились, и так основательно, что потом сколько их старуха птичница ни окуривала калганом и сабуром, все-таки водяная сделалась; да у третьей на дороге с ребенком родимчик приключился, — вероятно, от дурного глаза, — и несмотря на чистый воздух и все удобства для больных детей в санной езде, он умер, не доезжая до Решиловки, где обыкновенно липовские кормили. У матери молоко поднялось от этого в голову, она оказалась неспособною кормить грудью. Остались три, как Михайло Степанович приказывал. Из них он сам с повивальной бабкой избрал женщину, действительно замечательную, — замечательную, во-первых, потому, что, будучи второй год замужем, она не утратила ни красоты, ни здоровья и была то, что называется кровь с молоком, — я даже сказал бы: со сливками. На организм, который не только безнаказанно, но так торжественно вынес бедность, работу, отца, мать, жнитво, мужа, двух снох, старосту, свекровь и барщину, — можно было смело положиться. — К тому же Михайло Степанович велел ей производить ежедневно селедку и бутылку пива. При помощи таких средств, без работы, защищаемая вначале довольно успешно «от барского гнева и от барской любви»*

Марьей Валерьяновной, кормилица в два месяца стала вдвое толще и румянее, так что свекровь, приходившая иногда из деревни, не могла без ненависти видеть ее и каждый раз бормотала, выходя из ворот:

— Вишь, разъелась на барских чаях-то, дай-ка воротиться домой — я спущу с нее жир в педелю.

Говорят даже, что почтенная старушка добросовестно сдержала обещание.

Марья Валерьяновна радовалась от всей души, видя, что муж ее любит ребенка; его раздражительной заботливости, капризной мнительности не было границ. Эта любовь была у Столыгина какою-то болезнью, лихорадкой; минутами он даже бывал нежен с малюткой, — так много противоречий прячется в груди человеческой. Но и эта любовь не могла исправить Столыгина: он слишком сложился. — Для дворни малютка сделался новым источником гонений и несчастий. Малейший шорох, стук во время его сна, открытое окно, сквозной ветер, отворенная дверь — все это выводило из себя Столыгина. Что вынесла бедная няня, та самая Настасья, которая послужила невольной причиной смерти Льва Степановича, мудрено себе представить; надобно было непременно железное здоровье и вечно несовершеннолетний нрав, удовлетворяющийся болтовней и ворчаньем, чтоб выдержать десять первых лет жизни Анатоля. Михайло Степанович часто приходил ночью в детскую. Кормилице позволял он иногда спать, Настасье никогда, она раздевалась только в бане — два раза в месяц, — и подите, исследуйте тайны сердца! Настасья любила до безумия ребенка, существованием которого отравлялась вся ее жизнь, за которого она вынесла столько физических страданий и физической боли. Марья Валерьяновна, сколько могла, вознаграждала ее и лаской и подарками, но сама чувствовала, какую бедную замену она ей дает за лишение всякого покоя, за вечный страх и, наконец, за синие пятна на лице и теле. Настасье было приказано, чтоб летом не было мух в детской, и горе ей, если Михайло Степанович находил муху; Настасья отвечала за то, если малютка, начиная ходить, падал; она отвечала за царапину на его руке, за насморк, который происходил от прорезывания зубов, за его плач и крик... Не только чувство сострадания никогда не пробуждалось в душе Михайла Степановича, но даже в нем не было терпения рассудить о том, что няня не могла ни предупредить, ни отвратить чего-нибудь, — ему казалось легче обрушивать на нее свой гнев, — это же состояло в его воле.

Пока ребенок был совершенно глуп, нечто вроде зверка, баловству со стороны Михайла Степановича не было пределов; долго это не могло так оставаться. Михайло Степанович был

человек, не способный выносить что бы то ни было одаренное волею; чем больше развивался Анатолий, тем больше он начинал «мешать ему», как отец выражался, и любовь его переходила мало-помалу в жестокое преследование, которое он называл воспитанием. Он продолжал его баловать, но вдруг за какой-нибудь вздор, за какое-нибудь невинное, детское проявление характера, силы, воли, Столыгин с жестокостью напал на ребенка. Ребенок, с своей стороны, не приученный к послушанию, капризничал и раздражал безумное желание сломать в нем всякое свободное движение. Михайло Степанович таскал его за волосы, кричал на него диким голосом, ставил на колени, — у нервного ребенка делались судороги, обмороки. — Мать, уступавшая во всем, не могла уступить в этом; ребенок делался свидетелем страшных сцен. Иногда Михайло Степанович выгонял их обоих вон с угрозами и ругательствами; Анатолий, посиневший от страха, судорожно хватался за платье матери и прятался за нее, потом ночью вздрагивал и, проснувшись, шопотом спрашивал у няни: «Папаша ушел? Папаши нет?» — Марья Валерьяновна, при всем кротком самоотвержении своем, стала уважать в себе мать Анатолия, в ней явилась удивительная твердость, — после любви ничто так не развивает женщину, как воспитание детей. Эту оппозицию тотчас заметил Михайло Степанович — он удвоил свои преследования. Однажды после обеда сидела Марья Валерьяновна, грустная и печальная, в гостиной, возле нее играл Анатолий, у дверей стояла Настасья, Михайло Степанович ходил по комнате взбешенный и угрюмый.

— Здорова ли? — спросил он, насмешливо улыбаясь, жену.

— Здорова, — отвечала она чрезвычайно сухо.

— Слава богу, а то у тебя такой вид, что можно подумать или что ты больна, или что какое-нибудь несчастье случилось с тобою.

Это был вызов на ссору. Марья Валерьяновна не отвечала.

— Вам, кажется, не угодно разговаривать, — заметил, низко кланяясь, Михайло Степанович, — извините! — и стал опять ходить.

В гостиной стояла горка, на которой была поставлена всякая всячина, купленная им у меня. Анатолий, тысячу раз игравший этими вещами, подошел к горке и взял какую-то фарфоровую куклу.

— Не тронь! — закричал отец.

Анатолий посмотрел с испугом на отца, отошел и через минуту опять подошел к горке. — Этого было довольно для Михайла Степановича. Он подошел к нему, схватил за руку и отдернул его с такой силой, что ребенок грянулся об пол; кровь полилась у него из носа, мать и няня бросились к нему.

— Оставьте его! Это вздор, капризы! — закричал отец. Нянька приостановилась в недоумении, но мать, не обращая никакого внимания на слова мужа, подняла ребенка.

— Пойдем, — говорила она ему, — в детскую, — папаша болен.

— Да ты слышала ли или нет, что я сказал? — спросил Михайло Степанович. — Оставь его.

— Ни под каким видом, — отвечала мать, — как можно оставить ребенка с человеком в припадке безумия!

Михайло Степанович еще никогда не слышал ни от кого ничего подобного; у него глаза засверкали.

— Это что значит? — спросил он дрожащим голосом.

— То, — отвечала жена, — что есть же всему мера, — пора положить предел вашему безумию, и если вы в самом деле сумасшедший...

Михайло Степанович не дал ей кончить, он ее ударил. — Она вышла, он не смел идти за ней. — Пришедши в спальню, она стала молиться перед образом, потом велела Анатолию приложиться, одела его, накинула на себя шаль, выслала Настасью за чем-то, удалила другую горничную и, почти никем не замеченная, вышла из ворот. На дворе смеркалось, — она никогда не выходила вечером на улицу, — ей было страшно и жутко. По счастью, вскоре извозчик, ехавший без седока, предложил ей свои услуги; она кое-как уселась, взяла на колени Анатолия и отправилась к отцу в дом. Выходя из саней, она сунула извозчику в руки целковый и хотела взойти в ворота, но извозчик остановил ее. Он думал, что она дала ему пятак и сказал:

— Нет, барыня, стой! Как можно?.. — и, разглядев, что это не пятак, а целковый, продолжал тем же тоном и несколько не потерявшись: — Как можно целковый взять? С двоих, матушка, надобно синенькую!..

Она бросила еще что-то извозчику и взошла в ту несчастную калитку, из-за которой пять или шесть лет тому назад она вышла на первое свидание с человеком, которого судьба избрала на то, чтоб мучить ее целую жизнь.

Когда Михайло Степанович, который заперся у себя в кабинете, пришел в себя, он понял, что переступил несколько границы. «Ну да что же делать! — подумал он. — У меня прав такой, пора в самом деле привыкнуть! Сердит меня как парочко — наконец, elle devient impertinente, я у себя в доме последний человек, не могу ничего по своей воле делать, не могу воспитывать моего сына по моим идеям. — Излишняя снисходительность всегда так оканчивается»... Утешив себя такими рассуждениями, он отправился в гостию. Однако на лице его было видно, что как ни убедительны они были, но совесть

не совсем была спокойна. Большая гостиная была пуста и мрачна, две сальные свечи горели на столе. Он посидел на диване, — пусто, нехорошо.

— Сенька! — закричал он.

Мальчик лет двенадцати, стоявший у дверей в изодранных сапогах и в толстом казакине, взмошел.

— Что ты не снимаешь со свечей? Дурак!

Казачок принес щипцы, снял и хотел идти.

— Постой! — Куда побежал? Поправь, дурак, светильню, так и оставил набор!

Казачок поправил светильню.

— Эй! Скажи Наське, чтоб привела Анатоля Михайловича!

Казачок вышел, но долго не возвращался. Слышны были голоса, шопот, беготня, — Тит, бледный, как смерть, стоял в дверях, Настасья объясняла ему что-то вполголоса. — Через несколько минут казачок взмошел с докладом:

— Анатоля Михайловича дома нет, с барыней изволили пойти.

— Что-о-о?

Казачок повторил.

— Что ты врешь? Пошли Наську и старого дурака Тита.

Взошла старуха, дрожа всем телом.

— Куда барыня пошла?

— Не могу доложить, — отвечала старуха, — меня изволили послать за водой, изволили шаль желтую надеть, я думала, что так — от холоду... а оне изволили...

— Молчи! И отвечай только на то, что я спрашиваю. — Ты что, старый разбойник, смотрел, а? Тит Трофимович, домоправитель! — покорнейше благодарю... Кто пошел за барыней?..

— Я, — виноват, батюшка Михайло Степанович, — не видал, как изволили пойти.

Михайло Степанович передразнил Тита:

— Виноват, батюшка... Ну, спросите, Тит Трофимович, Ефимку.

Тит побежал к Ефимке и воротился с ответом, что барыня изволила одна выйти из ворот направо.

Бешенство Михаила Степановича достигло высшей степени.

— Позови Кузьку, Оську, да и дурака Ефимку — в гардеробную — да чтоб взошли двое кучеров! — Нет, конечно! — прибавил он слабым, прерывающимся голосом. — Аминь, больше не стану терпеть от этих беспорядков.

Люди переглянулись с ужасом друг на друга, все знали, что значило приглашение кучеров.

В тот же вечер Тит, Настасья и двое лакеев валялись в ногах у Марьи Валерьяновны, утирая слезы и умоляя ее спасти

их, Михайло Степанович велел им привести барыню с сыном или готовиться завтра в смирительный дом. Седой и толстый Тит ревел, как ребенок, приговаривая:

— Сгубит он нас, матушка! со света божьего стонит!

— Матушка Марья Валерьяновна!— говорила Настасья,— спаси ты нас, заступница наша! Или уж оставь меня здесь — что с нами будет, если воротимся без тебя!

— Я домой не дойду,— прибавил старик, — с Каменного моста брошусь, — один конец!

Анатоль, обрадованный сначала, что увидел знакомые лица, и разогорченный потом их плачем, тоже принялся плакать и просить.— Марья Валерьяновна долго молчала; видно было, что сердце у нее разрывалось; наконец, она встала и сказала грустным голосом:

— Так и быть! Я еду, но бог свидетель, что я это делаю только для вас.

Карета ждала внизу. Она всю дорогу проплакала, но к Михайлу Степановичу явилась не как виновная и беглая жена, а с полным сознанием его неправоты; она ему сказала, что после нанесенного ей оскорбления она решительно хотела бросить его дом и возвратилась теперь для того, чтоб спасти совершенно невинных людей от его бешенства.

— Ох!— говорил Михайло Степанович, перепугавшийся и притворившийся больным,— ох, та chère, зачем это ты употребляешь такие слова! Мое ухо не привыкло к таким выражениям.— Всё эти праздные мерзавцы слышат и оттого меня в грош не ставят. Ах, голубушка, у меня от заботы и болезни бывают иногда такие черные мысли!— ну я могу и забыться — надобно кротостью, добрым словом остановить, посоветовать, а не раздражать нарочно,— я сам оплакиваю несчастный случай этот. Но как в голову может прийти оставить дом, больного мужа, взять моего сына?— Ох, страшно вздумать!.. притом вечером,— я боюсь всего,— думаю: и простудитесь, и задавят... Ох!— если б вы знали, сколько я на сердце ношу,— многое бы простили мне. Поди сюда, Анатоль,— тебя хотели взять у меня...

...И он показывал, будто, задавленный сильным чувством, не может говорить.

После этой истории Михайло Степанович стал себя попристойнее держать, посдерживаться,— но оскорбление, но смелость жены он не забыл; он стал еще капризнее и привязчивее. Он не таскал больше за волосы Анатоля, но в минуты гнева осыпал его ругательствами и отравлял методически каждый шаг ребенка. Решительный переворот скучным и тяжелым отношениям супругов положил Наполеон.— В 1812 году Михайло Степанович отправил жену в деревню, а сам поехал в Петербург. Все были заняты тогда войною. Несчастливая година

была с тем вместе торжественной годиной; Русь, разбуженная пальбой и московским пожаром, проснулась, — люди, жившие целый век в лени и бездействии, отращивали усы и шли в милицию, отставные просили место в рядах войска, слуги повязывали старые сабли, и загорелая рука крестьянина оставляла соху и чистила суконкой какую-нибудь старую фузею, промышляя боевой патрон на сопостата. — На Михайла Степановича это подействовало не более взятия Бастильи. Он так заяч был собой, одним собой, своими делами, что и не подумал о службе, — сверх того и аневризм не позволял ему подвергнуться трудам и лишениям бивачной жизни. В Петербурге он купил за полцены с аукциона дом на Лигейной и зимой выписал туда жену с Анатолем. Сам же отправился поправлять сгоревший дом. — Прошло года два, но поправка, повидимому, не приходила к концу, он каждый месяц писал жене, говорил о своем желании их видеть в Москве, прибавлял разные любезности Анатолю и во всяком письме надеялся, что работы скоро окончатся. Между тем на половине Марьи Валерьяновны жила уже француженка, которая, как он сам писал к жене, читает ему книги. «Глаза у меня слабеют, читать почти не могу, и в этом одиночестве всё такие мрачные фантазии приходят об вас. Надобно чем-нибудь развлекаться. Нашел дитя, — сиротка — француженка, прекрасно читает. Истинное счастье. Я дал ей кусок хлеба и уголок. Такая скромная и не скучная, всякий вздор читает больному старику». — Через год скромное дитя, должно быть, все прочла, ибо съехала от Михайла Степановича, бросивши ему в лицо том записок герцога Сен-Симона, оставивший продолжительное, хотя и внешнее, впечатление на Михайле Степановиче. — Страшая беспрерывно приездом в Петербург, Михайло Степанович внутренно был очень доволен, что разъехался с женою, хотя иногда ему и бывало скучно по Анатолю. Он долго бы не собрался в путь, если б его не подвинула к тому смерть доброго Валерьяна Андреевича. — Старик оставался в 1812 году в Москве, довольно счастливо скупил в это время множество золотых и серебряных вещей долею у французов, долею у казаков; после неприятеля он подавал просьбу о денежном вспоможении на поправление дома, сожженного богопротивным врагом во время нашествия галлов и с ними дванадесят язык*. Помощи этой он (к истинному удивлению) не получил. Это его так сильно огорчило, что он помаячил еще года три, да и умер, оставив Марье Валерьяновне дом, золотые и серебряные вещи и сто тысяч билетами.

Михайло Степанович по справедливости считал эти билеты своими. Золотые и серебряные вещи он уже в день похорон старика перевез к себе и писал об этом: «Разные безделицы en

orfèverie¹, оставшиеся от твоего родителя, я поставил до твоего приезда у себя, вроде игрушек, для развлечения и занятия в разлуке».

Марья Валерьяновна промолчала о вещах, по билеты потребовала к себе. Последнее время Столыгин так мало высылал денег в Петербург, что об воспитании Анатоля печего было и думать. Марья Валерьяновна решилась отповское последнее употребить на учесть сына.— Это ее ошчательно поссорило с мужем.

Прикидываясь больным и огорченным и несмотря на аневризм, для которого дорога очень вредна, Столыгин поехал в Петербург. Там он представлял Марье Валерьяновне, как безнравственно и грешно делить именье мужа и жены, говорил, что он ничего в гроб не возьмет, что все оставит Анатолю, что бережет эти деньги для того, чтоб спасти от нелепого употребления. Несмотря на это красноречие, Марья Валерьяновна оставила билеты у себя.

Тогда он нанес бедной женщине самый сильный удар. Он объявил ей, чтоб она готовилась ехать в Москву, куда он едет завтра и берет с собой сына,— что пока в его доме ей места нет, но что она может несколько дней пожить в старом доме отца.

В Москве он рассказывал, что спас Анатоля от этой несчастной женщины, «которой характер до того эгрирован, что она просто погубила бы ребенка». Разумеется, ему никто не верил, кроме моряка, который еще здравствовал в Липовке; да и тот более верил из дисциплины и подчиненности, нежели из убеждения; он защищал Михайла Степановича, впрочем, следующим выразительным аргументом: «Все же ведь как там угодно, а она жена Михайла Степановича, а Михайло Степанович, как бы то ни было, ее муж».

Спустя недели три, поехала и Марья Валерьяновна в Москву и остановилась в своем доме в Хамовниках.

Когда Тит вечером доложил Михайлу Степановичу о приезде барыни, Михайло Степанович приказал ему утром сходить к ней и спросить ее о здравии и как-де с дороги себя чувствуют, а о себе мол велел доложить, что со всяким днем разрушаются, мол, от несчетных болезней, забот и горестей.

— Да у нее людишки мерзкие, так ты скажи Ефимке, чтоб на двор ко мне никого не пускал. Слышишь?— прибавил разрушающийся старец таким голосом, что Тит кашлянул и переступил с ноги на ногу, прежде нежели сказал густым голосом: «Слушаюсь».

На другой день Михайло Степанович учредил кордонную линию около Анатоля.— Марья Валерьяновна написала ему

¹ ювелирные (франц.).— *Ред.*

письмо, в котором говорила ему, что, если он ее не хочет видеть, пусть отпустит сына к ней. Он находил ее просьбу справедливою, но писал, что Анатолий несколько простужен.

Анатолий со слезами просился у него к матери, — он хвалил его за это и прибавлял, что пустит после, что она женщина слабая, нервная, что ей с дороги надобно отдохнуть... «il faut la ménager»¹.

Так прошло дней пять: Марья Валерьяновна не вытерпела и увиделась, как мы знаем, с сыном, у Настасьи в каморке...

P. S. Вместо продолжения, помещаем письмо г. Г. к переводчику.

¹ «надо беречь ее здоровье» (франц.). — *Ред.*



ПИСЬМО АВТОРА К г. ВОЛЬФЗОНУ

(Вместо продолжения повести «Долг прежде всего»)

Исполняя Ваше желание, посылаю Вам первую часть моей повести «Долг прежде всего»; окончить ее не могу. Нет больше ни того настроения, ни того юмора, в котором она была начата. События далеко раздвинули 1847 и 1851 год; перебросить нить повести через них и снова поймать мне кажется невозможным.

Я посылал эту часть в начале 1848 года в Петербург, но цензура ее не пропустила. — Отчего? — Я не понимаю; вероятно, и Вы не поймете.

Тогда именно начиналась в России та поэтическая эпоха цензуры, которая ныне расцвела так пышно и роскошно. Сверх гражданской цензуры, была тогда учреждена другая, *военная*; она разбирала те же книги, но книги и ценсоров вместе, она была составлена из генерал-адъютантов, генерал-лейтенантов, генерал-интендантов, начальников штаба, артиллеристов, инженеров, плац-майоров, одного татарского князя и двух православных монахов. — Эта высшая судная цензура, руководствуясь воинским регламентом Петра I и Номоканонном, очень справедливо запретила печатать что бы то ни было писанное мною, хотя бы то было слово о пользе тайной полиции и явного самодержавия или переписка с друзьями о выгодах крепостного состояния, телесных наказаний и рекрутских наборов.

Я, с своей стороны, благодарен марциальным¹ ценсур-генералам за эту справедливую меру; она напомнила мне, что русским пора писать и печатать в Европе, что нам нечего сказать такого, чего бы могла пропустить осадная цензура.

Сколько было моих сил, я старался оправдать доверие ценсурного штаба и напечатать те брошюры, которые Вы знаете.

¹ военным, от martial (франц.). — *Ред.*

Не имея духа продолжать повесть, которой avorton¹ Вам посылаю, я расскажу что помню и как помню из ее плана. — План этот я был намерен исказить, урезать, затемнить настолько, насколько каудинские фуркулы прежней русской цензуры* этого требовали. Само собою разумеется, что я, писавши к Вам, снял все эти китайские башмаки и отечественные колодки.

Мне хотелось в маленьком Анатоле, едва являющемся на сцене, но который должен был сделаться героем рассказа, представить человека, полного сил, энергии, благородства, готовности на деятельность, которого жизнь пуста, тягостна, безотраднa, оттого то он постоянно в борьбе с долгом. Человек этот усиливается и усисвает мирить свою мятежную волю с тем, что он принимает за долг, — и вся его сила утрачивается на эту борьбу. Он совершает героические акты самоотвержения, тушит страсти, жертвует влечениями и всем этим достигает того равнодушно-косного состояния, в котором находится всякий встречный, всякая вялая натура, словом, он весь идет на борьбу с собою за долг.

Вы видите в отрывке Анатоля уже втянутого в то столкновение, в котором он должен нравственно сломаться и погибнуть. Перед ним, в страшной нелепости, является родительская власть и долг сына. Его чистая, отроческая натура гнушается старым эгоистом, возмущается против его отношений к матери, но чувство обязанности говорит, что это безнравственное существо — его отец, что он должен его любить и уважать. И он старается заглушить верный голос сердца, затемнить юное чувство справедливости и негодования, и он натягивает покорность и оправдание отцу.

Лет двенадцати Анатолий, бледное, заморенное растение, не по летам развитое и печальное, встречается с бедной девушкой, наивной, чистой, романтической, как все девушки в 16 лет. Девушка эта жила последнее время у его матери; на похоронах ее он ближе познакомился с нею и полюбил ее. Одна она непритворно грустила о Марии Валерьяновне, Анатолий хоронил с матерью все, что у него было теплого и симпатического на свете.

Старик Столыгин узнал о любви сына, и новый ряд преследований обрушился на голову юноши. Как все люди, состарившиеся в разврате, он не понимал робкой, девственной любви сына и старался, сам не зная зачем, грязнить его чувство оскорбительными и грубыми выражениями. Начались страшные сцены. Мысли самоубийства бродили в голове юноши. Одно облегчение, одна отрада и была для Анатоля — он убежал,

¹ недоносок (франц.). — *Ред.*

когда мог, из острога — родительского дома, где все дышало тяжелым рабством и старчески капризным гнетом, к Оленьке, она делила его печаль, она плакала с ним, она утирала его слезы, и он привязывался к ней более и более.

Так прошли четыре длинные года. Наконец, Столыгин, — к неописанной радости дворовых, — умер.

Анатолий, как Онегин,

Ярем он барщины старинной
Оброком легким заменил,
Мужик судьбу благословил.

А семидесятипятiletний моряк скончался от этого «дебоша», как он выражался. Грустно качая головою, повторял он еще перед смертью:

— Библейское общество!.. все это библейское общество.

Около года Анатолий был совершенно поглощен уничтожением всего, что завел его отец и моряк с 1796 года. Он много переменялся в этот год; богатая натура его расправила свои крылья на воле. Но он не повеселел, напротив, подчас казалось, что он был печальнее прежнего.

Анатолий начинал чувствовать усталость от своей любви; ему было тесно с Оленькой, ее вечный детский лепет утомлял его, ее мечтаний он не мог больше разделять. — Горе тому чувству, которое знает свой предел; бесконечная даль так же нужна любви и дружбе, как изящному виду. Анатолий пробовал привести Оленьку к одному уровню с собою; существо милое, но неглубокое и неразвивающееся, она не могла идти с ним рука в руку. Она охотно, жадно слушала его, — но оставляла на полдороге. Анатолий мучался и с ужасом ловил себя на радости, когда он мог под каким-нибудь предлогом скорее уйти от Оленьки — к которой с таким упоением он бегал украдкой от отца.

Заметила перемену в нем и бедная девушка; ей становилось страшно, сердце замирало, она искала вины своей, не находила, и часто слезы ее лились по канве, на которой она вышивала для Анатолия бедуина верхом в белом бурнусе и с огромными стременинами. — Все это долго бродило бы по душе молодых людей, если бы не тетка. Старуха, с жестокосердием пожилой вдовы, сказала однажды Оленьке, что Анатолий гордец, что он хочет отлынять, что он просто стыдится жениться на ней. Удар тетки ловко пришелся. Оленька радовалась по-детски и не скрываясь, что она будет богата, но об разнице общественного положения своего с Анатолием никогда и не думала. Униженная, глубоко оскорбленная в первый раз от роду, Оленька в тот вечер написала Анатолию письмо. Она благородно, откры-

венно отказывалась от его руки, говорила, чтоб он об ней не думал, и просила, чтоб вспоминал ее, говорила, что она счастлива будет былым, и молилась о нем... Словом, писала со всею риторикой юности, которая нам кажется натянутою и кудреватую, а в молодых летах так свято добросовестна.

Оленька, отдав письмо тетке, заперлась в своей комнате. Горько ей было. Она бросилась одетая на постель, ее утешала одна мысль, что она не переживет этой ночи. Она была так уверена в смерти, что с вечера выпустила в окно своего щегленка и взяла в постель все вещицы, подаренные ей Анатодем, и его силуэт, чтоб с ними умереть.

В слезах и лихорадочном состоянии заснула Оленька, и когда раскрыла глаза, опухшие и воспаленные, она увидела Анатоля на коленях у кровати. Он смотрел на нее с прежней любовью, так нежно, с такою добротой, что она забыла о близкой смерти, о своем горе и, невольно улыбаясь, протянула Анатолю свою руку, разъединенную горчичником.

Анатоль был в отчаянии от письма Оленьки, он ужаснулся своего поведения. — «Как, — думал он, — когда я был несчастен, гоним, я не находил другой отрады, как это любящее дитя; я не жалел ее груди, когда сбрасывал половину своих несчастий; я не находил тогда, что она недостаточно развита. а теперь хочу любить по экзамену, выдумываю нелепые требования».

Через две недели они были женаты.

Через два года они были несчастны.

Людские отношения, основанные на чем-нибудь вне вольного сочувствия, не прочны или должны оставаться поверхностными. Легко любить ни за что, и очень трудно любить за что-нибудь. Близость лиц — психологический факт; быть близким из благодарности, из сострадания, из того, что этот человек мне отец, а тот — брат, — без личной симпатии — нелепость.

Брак не надолго скрыл от Анатоля то, что он знал прежде. Совсем напротив, Анатолю стало свободнее; то, что требовал долг, было совершено, и он еще яснее увидел, нежели прежде, что он быстро расхочет с Оленькой. Упрекая себя в невозможных желаниях, он усиливался ее больше любить и этим губил остальное нежное чувство к ней, хранившееся в его сердце. Он был так добр, так внимателен к Оленьке, предупреждал охотно еежелания, был ласков, даже весел, но чего-то недоставало во всем этом; минутами он был так черно грустен, иногда не думая случалось высказывать слова унылые, свидетельствовавшие о борьбе, об усталости, о неудачной жизни, — так что Оленька слушала с ужасом и сердце ее начинало замирать. Ей казалось, что, если б он был не так внимателен, если б он

перечил иногда ей, да зато был бы... ну, был бы не так, — все бы стало лучше. Вместо того, чтоб рвануться вперед, расширить мысль и сердце, стараться догнать Анатоля, понять его грусть, — Оленька сосредоточивалась на трепетном страхе, на воспоминании бывшего счастья, на плаче о жизни, о своей судьбе.

В свою очередь Анатолий видел, что при всех своих усилиях он не может сделать счастливою свою жену, и уж это мучило его просто как угрызение совести. Он ухаживал за ней, он утешал ее, но выбивался из сил — тем более что ее печальное настроение приняло хронический характер; что он ни говорил и как они ни соглашались, но на другой день повторяла она все прежнее.

Все можно было спасти, и жизнь их могла еще принять здоровое плi¹, — стоило им выйти из своего лиризма на белый свет. Любовь, о которой мечтал Анатолий, любовь, которую хотела Оленька, была невозможна для них, но они могли бы обойтись без нее. Вообще для брака не так важна любовь, как понятие о любви, которое вносят в него, а может, и того важнее одинаковое понятие о любви и браке мужа и жены. Главное несчастье наших молодых супругов было в трудности выйти из той сосредоточенности на личных интересах, в которой они разъедали друг друга.

Жизнь, окружавшая их в Москве, мало вызывала их со двора. Русская жизнь, точно тихий омут, мертва, застоялась и позеленела; она лишена всяких интересов, кроме ненасытного честолюбия; им только она и может отвлечь человека от карт, от водки и от сна. Разве какое несчастье вдруг обрушится на голову русскому человеку и разбудит его. Но у Анатолия все шло благополучно.

Года через полтора Анатолий увидел перед собой если не выход, то перемену.

Я забыл сказать, что Анатолий, после окончания своего университетского курса, был записан отцом в военную службу. Нельзя сказать, чтоб Анатолий показал когда-нибудь хоть малейшую склонность к военному званию. Но Михаил Степанович принадлежал еще к тому поколению, которое веровало, что молодой человек не может сделаться годным на что-нибудь, не пройдя через казармы или конюшню. — Для того чтоб поместить Анатолия на службу, он обратился к князю, своему двоюродному брату, с которым, как помните, он был воспитан. Князь командовал какою-то кавалерийскою дивизией, стоявшею близ Москвы, и иногда заезжал к Столыгину. Его жизнь прошла совершенно противоположно жизни его двоюродного

¹ направление (франц.).—Ред.

брата. Лихой наездник смолоду, храбрый офицер, он отличился в 1812 году с своим полком, был весь обвешан крестами всех немецких государей, введенных казаками во владение, и усыпан русскими звездами; он был прострелен двумя пулями и кругом в долгах. Плохо держался князь на ногах, мало видел, не совершенно ясно слышал, но все еще с некоторым шиком зачесывал седые волосы à la Titus, прыскался духами, красил усы, подтягивал мундир, волочился за барышнями, и бог знает для чего, — кажется, из приличия, — держал французскую актрису на содержании.

Это лицо хотелось мне в особенности отделать. Оно принадлежит к типу, который утрачивается и который должно сохранить в памяти, — к типу русского генерала 1812 года.

Надобно Вам сказать, что русское общество с Петра I раза четыре изменило нравы. Последние, без сомнения, самые худшие. Об екатерининских стариках говорили очень много, но люди александровского времени будто забыты, так и сгнули с лица земли. Оттого ли, что они ближе к нам, или от чего другого, но их мало выводят на сцену, несмотря на то, что они совсем не похожи на современных актеров «Памятной книжки» и действующих лиц «Адрес-календаря».

При Екатерине сложилась в высшем петербургском обществе не аристократия, а какое-то служилое вельможничество, надменное, гордое и недавно сделанное ручным. С 1725 и до 1762 года эти люди участвовали во всех низвержениях, возведениях на престол, задушениях, отравлениях и распоряжались, как своим добром, русскою короной, упавшей на финскую грязь. Они имели случай узнать, что ножки трона петербургского не так-то крепки и что не только Шлюссельбург и Петропавловская крепость, но и самая Сибирь не так-то далеки от дворца. Крамольная горсть богатых сановников с участием гвардейских офицеров, двух-трех немецких интригантов, храня наружный вид рабского подобоострастия и преданности, сажала кого хотела на царское место — давая знать о том к сведению другим городам империи. — Так в сущности мало было дела народу до Петербурга, так безразлично было для его бедной спины имя палача, который держит кнут.

Ангальт-Цербстская принцесса, произведенная Орловыми в чин императрицы всероссийской, умела с лукавой хитростью женщины обстричь волосы буйным олигархам и усыпить их дикие порывы — важным почетом, милостивою улыбкой и крестьянскими душами. Из них-то и образовалось к половине ее царствования вельможничество, о котором мы говорили. В этих людях были смешаны русское патриархальное барство с версальским царедворством, западно-аристократическая неприступная морга с казачьей атаманской удалью, Кауниц с

Тренком Пандуром*. Люди эти были спесивы по-русски и дерзки по-французски; они обходились учтиво с одними иностранцами, с русскими они были иногда ласковы, но всем до полковничьего чина говорили «ты». Тираны своих мужиков и своей дворни, они не были однакож так далеки от них, как их дети и внучата; они пожимали крестьянские нужды и не разоряли их дотла. Их притеснение было споспешо холодоного грабежа и правильной эксплуатации поколений, следовавших за ними. Ограбленные и падучие собою, вельможи эти хранили какое-то чувство собственного достоинства, любили «матушку императрицу и святую Русь». Екатерина щадила их и слушала милостиво их советы, не считая нужным исполнять их. — Тяжелый и важный век этих старых ворчунов, обсыпанных пудрою, сенаторов и кавалеров ордена св. Владимира 1-й степени, с тростью в руках и гайдуками за каретой, всех этих стариков, говоривших громко, смело и несколько в нос, — был разом подрезан воцарением Павла I.

Павел Петрович в первые двадцать четыре часа после смерти матери сделал из роскошного, пышного, сладострастного мужского серая, называвшегося Зимним дворцом, казарму, кордегардию, острог, экзерциргауз и полицейский дом. Павел был человек одичалый в Гатчине, едва сохранивший какие-то смутные рыцарские порывы от прежнего состояния; это был бенгальский тигр с сентиментальными выходками, угрюмый, курносый, безжалостный, вечно раздраженный и поэтически влюбленный в Лопухину; он наверное попал бы в сумасшедший дом, если б не попал прежде на трон.

Перевернул он старых вельмож, привыкших при Екатерине к покою и уважению. Ему не нужны были ни государственные люди, ни сенаторы; ему нужны были штык-юнкеры и каптенармусы. Недаром учил он на своей печальной даче лет двадцать каких-то троглодитов новому артикулу и выкидыванию экспонтом — он хотел ввести гатчинское управление в управление Российской империей, царствовать по темпам. Это было не так легко, как делать в три темпа на караул и в двенадцать заряжать ружье. Трудность эту он принимал за оппозицию и свирепел более и более.

В такой простой, в такой гадкой и отвратительной форме деспотизм еще ни разу не являлся в России, как при этом прокаженном капрале. Его марсомания, которую он передал всем своим детям, доходила до смешного, до презрительного, и в то же время в ней было что-то трагическое. Солдатизм на троне идет от прусских королей; никогда ни французские короли, ни английские, ни даже австрийские императоры не предавались с таким неистовством страсти быть вахмистрами, как русский императорский дом, начиная с Павла. — Не от-

того ли это происходит, что ни прусский, ни петербургский трон не имеет никакого исторического, народного значения; что, однажды сложившись, им не на чем держаться, кроме армии, что они погибли без солдат? — Пьяное самовластие Павла не имело никаких границ, никакого смысла. Тирания Иоанна Грозного, Петра I могут оправдаться государственными целями; деспотизм Павла был бессмысленный, горячечный, ненужный, кого пытал он и ссылал с своим генерал-прокурором Обольяниновым — и за что? — никто не знает. — Но вельмож он приструнил; струсил и вспомнил теперь, что они такие же крепостные холопы, как их слуги. С ужасом смотрели они на необузданное безумие императора и втихомолку укладывались и тащились на крестьянских лошадях в тяжелых колымагах и рыдванах в Москву и в свои жалованные отчины.

Там их и оставил Александр после кончины Павла, — которого он позволил убить, только не до смерти. Он не считал нужным вызывать из их деревень маститых государственных людей; благо они засели, обленились и задремали, учреждая в своих поместьях небольшие дворики вроде екатерининских, так, как немецкие князья XVIII века устраивали свои «Дриانون» и «Ферзал»*. — Александр окружил себя новым поколением.

Поколение, захваченное в гвардии павловским ураганом, пройдя через его закал, было расторопнее и живее своих предшественников. События, ожидавшие этих людей, довоспитали их. Шуточное ли дело Аустерлиц, Эйлау, Тильзит и борьба 1812, 13 и 14 годов! — Молодые офицеры павловского времени возвращались победоносными генералами из Парижа. Опасности, война, поражение, победы, соприкосновение с армией Наполеона и с Францией — все это сделало из них людей с особым характером, довольно замечательным. — Смелые, добродушные и очень недалгие, с религиею дисциплины и застегнутых крючков, но и с религиею *point d'honneur'a*, они владели Россиею до тех пор, пока подросло николаевское поколение военных чиновников и статских солдат.

Люди эти занимали не только все военные места, но и девять десятых высших гражданских должностей, не имея ни малейшего понятия о делах, удивляясь гражданским формам, не понимая их, и подписывая не читавши бумаги. Они любили солдат и — били их не на живот, а на смерть, оттого что им ни разу не пришлось в голову, что можно выучить солдата не бивши его палкой. Они тратили страшные деньги, любили поиграть и вышить и, не имея своих денег, тратили казенные, брали глупо и неосторожно взятки, — но не были систематическими ворами. Полицейских должностей они терпеть не могли, доносить всякий вздор они считали ниже своего достоинства,

из какого-то доброго инстинкта они часто смягчали участь подсудимых, которым, впрочем, всегда грубили и читали морали. На приступ Варшавы пошел бы каждый* из них — на казнь Польши, на истязание народа, ежедневное, мелкое, инквизиторское, беспопадное, на войну с детьми и с женщинами — не напелся бы ни один.

Долею к этим людям принадлежит Паскевич..., я говорю: долею, потому что он был совершенно неизвестен до турецкой кампании 1828 года. Паскевич, один из дюжины полковников 1812 года, вызван на сцену не Александром, но Николаем. Тем не менее Паскевич не дикий исполнитель царской воли; насколько он может, настолько он отводит бездушную, ненасытную месть Николая. Беда Польше, если Николай переживет Паскевича и на его место назначит одного из своих петербуржцев.

Есть что-то таинственное, роковое в судьбе полнейшего представителя поколения, о котором я говорю, — в судьбе графа Милорадовича. Храбрый, блестящий, лихой, пышный, беззаботный, благородный, десять раз выкупленный Александром из долгов, волокита, мот, болтун, любезнейший в мире человек, идол солдат, управлявший несколько лет Петербургом, не зная ни одного закона, — граф Милорадович был убит в первый день воцарения Николая.

Этому прозаическому человеку не нужно было таких людей, как Милорадович: они неловки, неудобны, слишком надеются на себя, — они, правда, готовы лить свою кровь, сидеть на поле брани, но — они иногда возражают, шумят, громко хохочут, пьют много, дурно стоят во фрунте, — Николаю нужны люди, которые, входя к нему ежедневно два-три раза в продолжение двадцати лет, каждый раз бледнеют, как Бенкендорф. Ему нужны агенты — а не помощники, исполнители — а не советники. Он никогда не мог придумать, что сделать из умнейшего всех русских генералов, из Ермолова, — он его оставил доживать век в Москве.

Николай — это Павел, вылеченный от безумия, но не поумневший, Павел без добрых порывов и без бешеных поступков. У отца была белая горячка самовластия, *delirium tyrannicum*; у сына она перешла в хроническую *fièvre lente*. Павел душил из всех сил и в четыре года свернул шею — не России, а себе, Николай затягивает двадцать шестой год понемногу петлю России — с немецкой выдержкой и аккуратностию.

Живую связь между Павлом и Николаем составляло худое, желтое, иссохнувшее, гнусное привидение, существо с ядом и желчью в жилах, неусыпное, во все мешающееся, вечно злое, мертвящее, — существо, заставившее русский народ проклинать Александра, лучшего из ряда царей после Петра, — существо,

заклейменное стихами Пушкина «Холоп венчанного солдата». Николай его терпеть не мог — он чувствовал в нем соперника. Двух Аракчеевых было много для России.

При Николае характер генералов 1812 г. изменяется, школа Аракчеева растет, школа писарей и аудиторов, дельцов и флигельманов, школа людей бездарных, но — точных, людей бездушных — но с ненасытным честолюбием, людей посредственных — но способных доносить, пытаться, засекать, людей, знающих все уловки, все законы, воюющих систематически, грабящих по правилам политической экономии. Несколько потерянных стариков являются там-сям в Государственном совете; чуждые, отсталые, они стараются догнать холодных злодеев и боятся признаться, что у них есть сердце; двум-трем удалось переродиться.

Вы уже видите теперь, какой тип я хотел представить в моем князе-кавалеристе.

Корнет Анатолий был взят князем к себе в адъютанты. Эта должность, наименее военная из всех в мирное время, оставляла Анатолию полный досуг разведать свою жизнь теми печальными отношениями к жене, о которых мы говорили.

Но вдруг, когда всего менее кто-либо в России ждал похода, восстала Польша. Князь получил приказ выступить с своей дивизией и присоединиться к армии Дибича. Все засуетилось, князь ожил и забыл свои лета, офицеры радовались отличиям и быстрому повышению, солдаты радовались, что во время похода не будет учений и непрерывных смотров. Один Анатолий был печальнее прежнего. Товарищи смеялись над ним и говорили ему стихами партизана Давыдова:

Нет, братцы, нет! полусолдат
Тот, у кого есть печь с лежанкой,
Жена, полдюжина ребят,
Да щи, да чарка с запеканкой...*

Даже князь, очень любивший его и вообще ничего не замечавший, разглядел наконец, что адъютант его очень невесел, и, весьма недовольный, сказал ему раз, что «военная служба состоит не в том, чтоб носить мундир и аксельбанты в Москве, и что надобно было прежде думать о невыгодах военного звания, а что теперь, во-первых, нельзя идти в отставку, а во-вторых, это значило бы навсегда покрыть позором свое имя» — и, смягчая свой тон, старик прибавил, трепля его по плечу:

— *Tout cela, mon cher, c'est très bien — d'aimer sa femme, mais, enfin, sacré nom de Dieu! Des femmes, on en trouve partout — Un jeune homme — bah! — Enfin, je ne doute pas de votre courage.*

— Vous le verrez, mon prince,¹—отвечалъ ему Анатоль, вспыхнув в лице и голосом более одушевленным, нежели дисциплина позволяет.

— A la bonne heure²,— отвечал старик.— Ну же, любезнейший, за дело, а бабиться потом.

Анатоль привился с отчаянным усердием за службу; в груди у него была смертельная тоска; он старался заглушить ее непрерывной деятельностью, но успевал плохо.

С детских лет Анатоль развил в себе непреодолимое отвращение ко всякому насилию. На него сильно подействовало страшное обращение с дворовыми отца и с крестьянами — моряка. С биением сердца и со слезами на глазах смотрел он на состарившихся в отчаянной безнадежности, обтерханных, едва сытых слуг, когда отец его с своей необузданной раздражительностью осыпал их бранью, а иногда и ударами трости; с глубокой горестью смотрел он на печальных мужиков, приходивших жаловаться и просить милости, когда Столыгин свирепо и грубо принимал тех, которым удавалось добраться до барских очей, и отсылал и просьбу и мужика к моряку, на которого была жалоба.

Поставленный вне общества, отрезанный от всего мира оградю столыгинского дома, Анатоль только и мог почерпнуть живые мысли из книг небольшой библиотеки, составленной еще по советам Дрейяка. По счастью, нашел он Руссо и Волнея. Они воспитали еще более и уяснили ему его ненависть к притеснению. Недоставало только вести о 14-м декабре, чтоб окончательно раскрыть глаза юноше.

Анатоль был тогда студентом Московского университета. В те счастливые времена профессора не носили форменных фраков, студенты не носили мундиров, не были обязаны стричь волосы, попечителем был добрейший старик*, плохо знавший грамоте, а университета не знавший вовсе,— старик, писавший до конца жизни: вторник с «ф», и «княсь» вместо «князь». Профессора тогда были или дикие семинаристы, произносившие французское «l» как греческую «λ» и пившие в семь часов утра водку, или смиренные духом немцы, которые вводили униженный клиентизм и понятие о науке как о куске насущного хлеба. Никто не заботился о том, что преподавали эти немцы и не-немцы; никто не учился тогда, не следил серьезно за лекциями, кроме медиков,— но почти все становились людьми и выходили из университета в жизнь с горячими сердцами.

¹ — Конечно, дорогой, любить свою жепу⁷— весьма похвально, но, в конце концов, черт возьми, женщины везде найдутся — молодой человек — Эх! Словом, я не сомневаюсь в Вашей отваге.

— Вы убедитесь в пей, князь (франц.).— *Ред.*

² В добрый час (франц.).— *Ред.*

Смелый Полежаев читал тогда в аудитории свои стихи, которыми бичевал царскую власть; «Думы» Рылеева, «Полярная звезда» и тетрадка пушкинских *запрещенных* стихов не выходили из рук. И кто же в те времена не шептал на ухо своим друзьям, сжимая крепко руку, известные стихи Пушкина из послания к Чаадаеву:

Товарищ, верь, она взойдет,
Заря пленительного счастья,

.
И па обломках самовластия
Напишут паши имена.

Террор после 14-го декабря не мог разом пришибить все эти молодые силы, все эти свежие ростки. Надобно было воспитать поколение шпионов и наушников, развратить до корня чиновничество и прочно устроить корпус жандармов, чтоб достигнуть до той степени совершенства и виртуозности, до которой дошло русское правительство теперь.

Да, изнасил, истер, передушил всех этих людей, хранивших веру в близкую будущность Руси, жернов николаевской мельницы, — целую Польшу смолот, — а сам все еще мелет.

Анатоль, вышедши из университета, свято хранил «воль-нолюбивые мечты» и, как все мы, по несчастию, удовлетворялся собственным одобрением за биение своего сердца при каждом злодейском поступке правительства — и грустным молчанием. Мы обыкновенно, не изменяя нашим убеждениям, сводим их на христианские молитвы и упования, — которые горячо и добросовестно повторяются без всякого серьезного влияния на жизнь и без того, чтоб ожидали их исполнения.

Война с Польшей разбудила его. — Нужно ли говорить, с какой стороны были все его симпатии? Но выбора не было. Как идти в отставку в военное время! — И несчастный Анатоль, увлекаемый своим злым гением, отправился бить поляков. Долг военного не мог поколебать в нем человеческое сердце. И он с первого сражения совался в огонь, думая, что рана или смерть спасет его от участия в этой кайновской войне. — Но пули обходили его с той иронией, которая составляет один из основных тонов всемирной гармонии; а храбрость его была замечена, и князь привязал уже ему георгиевский крест в петлицу. Товарищи завидовали. Наконец одно событие положило предел его военной службе.

На приступе Варшавы, когда был взят первый бастион, граф Толь, страшный и кровавый вождь в роде Гилли, подъехал с князем к бастиону. Он поцеловал майора, начальство-

вавшего отрядом, поздравил его с чином и крестом и потом спросил его, указывая на толпу пленных:

— Кто же у вас их беречь будет?

Майор, державший платок на ране, молчал и смотрел с испугом в глаза генерала.

— На приступе каждый человек пужен. Если все офицеры будут брать столько пленных, нам с ними некуда деваться... Понимаете?

Майор пожимал, но не говорил ни слова. — Толь обернулся к Анатолю, подозвал его и сказал ему вполголоса:

— Г. адъютант, майор, кажется, ослаб от раны — скажите старшему капитану — *il faut en finir avec les prisonniers*.

Анатоль стоял как вкопанный, рука его приросла к шляпе.

— Что же вы? Какой вы неповоротливый! — заметил Толь и с досадой поехал шагом прочь, указывая князю трубкою какие-то осадные работы.

— Ради стараться, — отвечал старший капитан с малороссийским выговором, когда ему Анатолю пробормотал мертвым голосом приказ Толя. — А впрочем, охотнее полез бы еще раз на бастион, нежели бить, как барапов, безоружных людей... все-таки образ и подобие божие.

Раненый майор, стоявший все это время в каком-то оцепенении, сказал капитану, выжимая свою кровь из платка:

— Жаль, что проклятый поляк слабо владел штыком — ну да ведь не мы отвечаем.

— Того служба требует, — заметил, качая головой, капитан и закричал: — Хведосеев!

— Здесь, ваше высокоблагородие, — отвечал густым голосом старый унтер-офицер, с щетиною под носом.

— Выведи к стене пленных!

Анатоль повернул лошадь и хотел поскакать. Но отряд охотников шел с криком и песнями на приступ. Ему нельзя было двинуться. Гром пушек, дым, барабан и крик этих несчастных храбрецов, шедших на смерть, не зная за что, все это казалось Анатолю каким-то окончанием мира, хаосом, разнузданным безумием. Вдруг, середь общего гама и шума, он услышал за собой резкое «Шай-пли», и ружейный залп грянул почти в то же время. — Анатолю обернулся. — Человек двадцать пленных лежали в крови, одни мертвые, другие в судорогах. Столько же живых стояло у стены. Одни, обезумевшие от страха, кричали, хохотали судорожно и плакали; два-три человека громко читали по-латыни молитву; третьи, бледные, стиснув зубы, с гордостью смотрели на палачей. У солдат дрожали руки, они отворачивались; сам унтер-офицер Федосеев, хотя он для поддержания чести и говорил: «Эк живучи эти

поляки!», утирал толстым рукавом шинели нос, чтоб не показать, что утирает глаза.

— Вторая шеренга впе-ред, шай-клац! — командовал капитан. Ружья склонились и брякнули.

У Анатоля потемнело в глазах, он покачнулся и дал шпоры лошади. На дороге осколок русской бомбы раздробил ему правое плечо. Он упал замертво.

Недель через шесть Анатоля выздоравливал в лазарете от раны, но история с пленными не проходила так скоро. Она решительно расстроила его ум. Все время своей болезни он бредил о каких-то двух голубых глазах, которые на него смотрели в то время, как капитан командовал: «Вторая шеренга вперед». Больной спрашивал, где этот человек, белокурый, молодой, и за что он на него посмотрел с таким презрением, с таким укором... И потом опять начинал бредить, звал Хведосева и повторял его слова: «Как поляки живучи».

Князь, жалевший очень своего адъютанта, выхлопотал ему за отличие при взятии Варшавы чин ротмистра.

Анатолий подал в отставку. — В Москву он не поехал, а остался в Варшаве дожидаться жены, чтоб ехать за границу. Он рвался теперь в чужие края, он не мог без ужаса подумать о возвращении в Москву, он ненавидел Россию. — Ничто в мире не могло больше развить эту ненависть и оправдать, как то, что делалось в Варшаве.

Жена его нашла в нем совсем другого человека. Вопрос о любви и семейной гармонии не так мучительно занимал его, он возмужал, стал серьезнее, какая-то скрытая злоба пережигала его, и в душе его кипели новые страсти.

На предпоследней русской станции Столыгину пришлось ждать лошадей. Он отправился побродить по бедной жидовской деревне, нечистой до отвратительной степени. Оборванные мальчишки облепили его, крикливо прося подаяния; слепой жид играл на гуслях; женщины с нечесаными волосами ругались около шинка. — Столыгину так противна показалась эта последняя русско-жидовская картина, что он своротил в переулочек и пошел за домами проселочной дорогой.

Дорога была пуста; один только человек тихо переступал с ноги на ногу. Путник этот, завернутый в изодранную шинель и с нахлобученной фуражкой на голове, сел на бревно, как человек выбившийся из сил, и опустил голову на руки. Проходя мимо, Анатолий взглянул на него и ужаснулся — это был облик смерти, щеки его ввалились, нос выдался, около глаз, лихорадочно блиставших, лоснился синий круг, губы были бледные, и — что всего ужаснее — видно было, что этот человек едва вышел из первой юности.

— Вы больны! — сказал ему по-польски Анатолий.

Молодой человек поднял голову и, как бы пораженный видом хищного зверя, отпрянул назад; но тотчас же собравшись, он осмотрелся кругом и, видя, что никого нет, сжал рукою в кармане пистолет, потом, уставив пытливый взгляд на Анатолия, отвечал:

— Болеп.

— Не могу ли я вам быть чем-нибудь полезен? — спросил Анатолий.

— Вы русский офицер? — заметил поляк, и голубые глаза его напомним Анатолию те два страшные глаза, которые перед смертью бросили на него презрительный взгляд, полный укора.

— Я в отставке, — торопился Анатолий отвечать покрасневши. — Это у меня старая шинель.

Поляк улыбнулся, опустил пистолет и сказал:

— Вы можете меня очень обязать, давши мне рублей десять денег.

Анатолий подал ему золотой. Поляк грустно посмотрел на деньги; его худая, но красивая рука, кажется, больше привыкла бросать золото, нежели брать подавание.

— Дай бог, — сказал он, — чтоб вы никогда не испытывали той благодарности, с которою я беру ваши деньги... Сделайте одолжение, — прибавил он, — разменяйте мне золотой, мне это очень трудно сделать.

Анатолий разменял деньги и, пожав руку незнакомцу, сказал ему:

— Счастливого пути.

— Да будет воля его, — пробормотал поляк.

На следующий день они встретились по ту сторону границы. — При въезде в какую-то деревеньку, под водоемом, в нише стояла дурно высеченная из камня статуэтка богородицы в раззолоченной короне с Христом на руках. Перед этим изображением горячо молился человек. Столыгин узнал его и бросился к нему, как к старому другу.

Русский, проезжая границу, делается другим человеком; десять лет с костей долой, он юнеет, становится добрее, храбрее, — невозможно описать то радостное чувство, с которым мы покидаем отечество — благодаря немецким Романовым. Мы вознаграждаем себя за дрожь, осторожность и притворство целой жизни, мы делаемся болтливы и опрометчивы; нам кажется, что, оставив за собой последний зеленый мундир и последнего казака у шлагбаума, мы делаемся вольны, как птицы небесные.

Поляк только за несколько часов перешел границу. Он был сильно взволнован и одушевлен.

— Без ваших денег, — сказал он, — я или сидел бы в брест-литовском остроге или должен бы был убить казачьего

урядника — он предпочел очень умно три рубля серебром одной свинцовой пуле.

— Куда вы теперь? — спросил Анатоль.

— Буду пробираться в Берлин, там у меня много знакомых, но пока отдохну где-нибудь. Наконец, у меня нет ни сил, ни средств, я ранен в грудь и очень изнурился, скрываясь по лесам. Я пробуду где-нибудь в Познани, пока получу ответ.

— Послушайте, — перебил Анатоль, — у нас есть место, и мы едем прямо в Берлин — я буду очень рад, и вы доедете покойно.

— Что вы это? — заметил поляк. — Помилуйте, да если узнают.

— Кто узнает?

— Как кто! Мало у вашего царя шпионов! Когда вы возвратитесь...

— Я никогда не возвращусь, — быстро ответил Анатоль, и сам удивился. Он ни разу еще не думал об этом, но сказавши, ему казалось так просто и ясно, что он не возвратится, что он еще раз повторил: — Никогда.

Поляк посмотрел на него с удивлением.

— Или, — прибавил Анатоль, шутя, — с вами вместе, а это, кажется, будет не так-то скоро.

— Да, — сказал поляк, грустно качая головой, — долго не увижу я леса моей Литвы...

Столыгину не было жаль ни лесов, ни полей своего Зве-нигородского уезда; ему стало даже совестно.

— В таком случае я принимаю ваше предложение. Однако вы должны знать, кого вы так много одолжаете. Мое имя — граф Ксаверий Х.

— Не в вашем ли именье стояли мы с армией до взятия Варшавы? Большое село.

— Это наше родовое имение, им владел мой старший брат после того, как наш отец был сослан в каторжную работу в начале царствования Николая. Брат мой убит под Остроленкой*, я эмигрировал. Теперь это имение ничье. Николай подарит его своим холопам, может быть своей жене, как Софьевку*.

...Анатоль с каким-то благочестием слушал мартиролог графа Ксаверия. Тот, догадываясь, что происходило в душе его, прибавил:

— Польша — мученица, распинаемая за свои прежние грехи и за ваши, Авель между народами. Тяжела доля для ее детей... Отец в рудниках, сын нищий на чужбине, и между ними — едва остывшее тело убитого русскою пулей. Но — поверьте, — воскресение Польши ближе, нежели кажется.

54

люди, отсюда, отсюда, в Петербург, а в Рим. Вос-
 рождение дивана, на котором сидел Белинский, читал я ему
 кагало новости. С другой стороны стола, на большом столе
 сидел высокий молодой человек, с добродетелью, с лицом печаль-
 ным, выражавшим необыкновенную силу мышления и отчаяния,
 он держал сигарету и сидел, — то был Бакунин. — Вечером
 тогда одишевался, говорил с энергией, с увлечением, редко пошлел,
 и был со в последние годы. —

Нужна нам твоя в живых осталась одна я. —
 Прощайте; яму Вашу руку.

Александр Герцен

 3

Москва. 13 Октября 1851.

«Долг прежде всего». Последний лист рукописи ранней редакции
 (авторизованный список, 1851).

Подпись и дата — рукою Герцена.

«Удивительные люди, удивительная страна! — думал Столыгин, — да, jeszcze Polska nie zginęła!»¹

В графе Ксаверии хотелось мне представить один из самых поэтических типов современной жизни — тип польского выходца.

В Вашей скучной Европе тридцатых годов, педантски-мещанской в Германии и экономически мещанской во Франции, каким-то оправданием века холодного и вялого, укором ему и искуплением, являются поляки, эти мученики героического патриотизма. Подавленные в неровном бое, побежденные, они величаво проходили действительными победителями по Европе. Их не сломило поражение. Напротив, они еще прямее подняли голову, еще гордее смотрели, родина их была с ними, они взяли с собою ее душу и богатые имения свои бросили царю на разграбление. Надежда их на будущее была непоколебима; фанатики-энтузиасты, они не изнемогали под бременем сомнений, они верили во второе пришествие польской свободы и скорее предавались ультрамонтанству, мессианизму, панславизму, бонапартизму, чем отчаянию. Народы, устыженные своим рабством, с любовью и уважением смотрели на проходивших выходцев; правительства, стиснув зубы, склонялись перед ними, приказывая своим войскам расступиться и дать почетный путь этим сильным бойцам.

Где бы ни поднималось знамя независимости, в Колумбии или в Испании, в Италии или на Кавказе, — непременно являлся белокурый поляк и становился в первых рядах и падал первый, завещая своим братьям и детям освобождение Польши.

Как ни преследует теперь реакция поляков, как грязная правительственная пресса ни ругается над ними, но высоко-поэтический нимб, окружавший их благородный облик, не потускнет, и ярким и светлым перейдет он в потомство на удивление векам. — При слове «поляк» всякое юное сердце вздрогнет и сильнее забьется, вспоминая геройский бой с царем этих крестоносцев свободы и патриотизма, этих бездомных скитальцев, утративших все, кроме веры и отваги, этих воинов, для которых слово «Польша» смешивалось с словом «вольность» и всякая борьба за Свободу казалась борьбою за Польшу.

Столыгин был не менее образован, нежели граф Ксаверий, он даже был многостороннее и полнее развит. Но вскоре граф приобрел большое влияние над ним: у него был определенный

¹ еще Польша не погибла! (польск.). — *Ред.*

и испытанный характер, у Анатоля — неустоявшаяся способность. У Ксаверия в внутренней жизни все было кончено, решено; он шел путем твердо, не возвращаясь беспрерывно к точке отправления, не подвергая ее беспрерывной критике — и потому не сбиваясь с него. У Анатоля были прекрасные симпатии, но не было ни направления, ни цели; его стремления больше определялись отрицательно, он лучше знал, к чему он чувствовал отвращение, нежели к чему влекло его сердце. В образе мыслей графа была непоследовательность, перелом, но это несколько не мешало его энергической деятельности. Аристократ и революционер, светский человек нашего времени и настоящий породистый поляк, блестящее образование его не скрывало непокорный задор литовского магната, и неукротимая гордость праотцев пристрашно как-то совмещалась с смиренной покорностью религии, с безропотным отдаaniem себя воле божией. Он был фаталист и ревностный католик. Вера его отцов, гонимая свирепыми врагами, едва смеющая вполголоса молиться о народе и робко скрывающая слезы свои о его страданиях, царила безусловно в его сердце, придавая свою торжественную и мрачную библейскую поэзию всем мыслям и фантазиям его.

Прибавьте, что этот человек, отважный, твердый, фанатик чести, надежный заговорщик, был бесхитростен и беззаботен, как дитя, и Вы увидите, что жизнь его, при всей тягости, шла легче, стройнее, нежели жизнь Анатоля, у которого никакого внешнего несчастья не было.

Анатоль никогда не имел ни сильных верований, ни сильной связи с каким-нибудь общим делом. Религиозного воспитания в России нет, за дивическое ссылают в Сибирь, — скептицизм и рабство — вот нравственные скалы, между которых мы развиваемся и бьемся. Теперь завели какое-то искусственное, притеснительное и обязательное религиозное учение. Но в те времена, когда Анатоль воспитывался в доме своего отца, старого вольтерьянца, в России не было ни православных славянофилов, ни полицейского православия, ни Бурачка, ни набожного обращения униатов, ни крещения исправниками чухонцев, ни мощей Митрофана Воронежского, ни «Путешествия к святым местам России» Муравьева, ни духовного прозрения Гоголя; Языков писал тогда еще застольные песни, а ирмосов и кондаков не только не писали, но и не читали; словом, туманное пятно подогретого православия не затемняло еще тогда последние лучи света, проникающего в полицейские щели на бедную Русь.

Анатоль с жадностью искал к чему-нибудь прислониться, спастись из хаотического брожения, в которое его увлекал скептицизм, получить определение, дело, цель.

Граф Ксаверий часто рассказывал ему об одном удивительном человеке, который в эмиграции пользовался общим уважением святого. С ним советовались, искали у него утешения. Это был старый ксендз, живший в одном бельгийском монастыре. Некогда и он играл роль в политическом мире, лил свою кровь вместе с Костюшкой*, потом он обратился к иным орудиям, отдался богу, был ксендзом, монахом. и занимался теперь, сверх молитвы, собиралишем хроник. — «Вот человек, — говорил он, — который мог бы вас призвать к новой жизни, разбудить вас к деятельности. Заезжайте к нему, когда поедете в Париж. Я ему напишу вперед». — Анатолий согласился.

Он согласился не потому, чтоб он ожидал в самом деле что-нибудь необыкновенное от ксендза. Но, праздный и готовый на все, ему любопытно было видеть, что это за человек, о котором так много говорил Ксаверий. Ему даже хотелось поспорить с фанатическим аскетом, с католиком ученым и, вероятно, не отличающимся терпимостию.

Вместо сурового монаха и гордого теолога в трапезу, где Анатолия заставили ждать, вошел болезненный, исхудалый старичок, без волос, с нежным восковым лицом. Он скорыми шагами подошел к Анатолию, взял обе руки его с горячностью, сжал их и, несколько тронутый, сказал тихим голосом:

— Я могу повторить слова св. Симеона: *nunc demittes* (ныне отпускаеши...) — я увидел русского эмигранта!.. Поздравляю вас в нашей гонимой семье, от души поздравляю. Вы принесли нам отрадную весть из враждебного стана, как голубица, прилетевшая с оливой к Ною*. Боже мой, — продолжал он, усевшись с гостем, — как истина всегда торжествует! Вы бежите от победы, как другие бегут от поражения; вы чувствуете, что она не ваша. За то она вам и отпустится легко. Очень, очень важно, что молодые русские отпадают от царя, — и оно должно так быть. В царской власти нет достаточно любви, ни теплоты, что(бы) надолго удержать народ, отторгнутый их себялюбием, от единого нераздельного братства. Царь не пастырь, отдающий себя стаду, а надменный Лудифер, ставящий себя, в противоположность богу, главою церкви. Около его эгоизма, около его порочной пустоты, к которой тяготят души, находящиеся под его влиянием, нет ни света, ни милосердия. Это нравственная Сибирь; в ней не могут оставаться живые души, отчужденные от человечества.

Потом старик расспрашивал его о судьбе сосланных, о Варшаве после ее взятия. С грустию слушал он рассказы об ужасах и безумиях победившего самовластия; но ни одним словом не оскорбил он Анатолия. Напротив, он удивил его своею деликатностию.

Заключая разговор, ксендз прослезился и крепко обнял Анатоля.

— Я ждал вас, — сказал он, — давно носилось в моей душе упование, что я увижу начало обновления России. Внутренний голос влечет людей на единый истинный путь, раскрытый богом от начала веков и преемственно дошедший до нас. Двух путей к цели нет. Который же истинный путь? Путь ли распятия, мученичества, апостольства, Польши — или путь Каифы, Иуды, палачей, царя? Может ли тут быть спор? Слава вам, если господь обратил на вас на первых внимание. Но вы не последний — это мне говорит сердце.

Свидание с старцем оставило что-то успокоивающее на душе Анатоля. Как ясно и безмятежно в самой грусти своей о родине оканчивалось это существование! — Анатолю вспоминал его добрую наружность, слезы, которыми он омочил его щеки, и огонь веры, струившийся из его глаз, скоро долженствующих закрыться.

Анатолю осталось на несколько месяцев в Брюсселе.

Довольно часто навещал он ксендза в его монастыре. Всегда кроткий, покойный, всегда готовый на беседу, он удивлял Анатоля своими сведениями по исторической части. Часто разговоры их касались религии. Впрочем, ксендз не натягивал их. Долгая жизнь его и большая опытность оставили ему такой огромный запас фактов и замечаний об людях и событиях, что недостатка в предметах разговора не было.

Возражения он слушал спокойно, внимательно, взвешивал их и старался опровергать довольно оригинально.

Когда Анатолю говорил ему о своем скептицизме, о невозможности верования, старик не убеждал его, а говорил, что невозможность верования — великое несчастье, что вера есть высокий дар, что дать веру нельзя, так, как нельзя дать поэзию, талант, но что душа человека достигает до нее смирением и опытом, убеждающим в суетности всего остального. — «Наука вам точно так же, — говорил он, — не может доказать своего начала. Откуда бы вы ни пошли, она возводит вас к факту, неподсудимому вам, который она втесняет, который вы должны принять; перед логикой и разумением есть материальный мир и мир духовный; — перед обоими человек должен смириться. Но один подавляет, а другой освобождает; в одном человеке терзается, в другом находит себя».

Для Анатоля эта метода была нова. Он ясно видел, что науку отвергать есть столько же справедливости, как отвергать религию, и что собственно борьба — не между знанием и откровением, а между сомнением и принятием на веру. — По всему характеру своему и по развитию он склонялся гораздо более к скептицизму. Но с пустотою, которая делалась ему

все тягостнее и тягостнее в жизни, он сладить не мог. Скептицизм в науке странным образом наводил его на мистицизм, — он углубился в схоластиков, Ксендз сам выбирал ему книги.

Среди этих занятий одно событие нежданно потрясло его жизнь.

Столыгин ожидал в первый раз сделаться отцом. Жена его, очень расстроившая свое здоровье непрерывною грустью, а потом беспокойством во время войны, была слаба, но очень поправилась в несколько месяцев путешествия. Все шло хорошо, и у них родилась дочь. Анатолий был чрезвычайно рад новорожденной; жизнь его расширялась, делалась необходима и начинала получать цель. Но радость эта скоро померкла; через неделю родильница вдруг захворала, потом больше и больше разнемогалась, воспаление сожгло ее в три дня. Она умерла в страшных мучениях на руках Анатолия.

Смерть этой женщины, которая не могла сделать Анатолия совершенно счастливым, но с которой он так сжился, с которой было связано все былое его, поразила его; она слишком тесно была вплетена во всю ткань его жизни. Когда Анатолий, удрученный горем, без слез, без ясного понимания, механически, сам не зная для чего, отошел от покойницы и отворил дверь спальни, он встретил в ближней комнате старого Ксендза, который читал молитвенник. Увидя Анатолия, он встал, горячо прижал его к груди и сказал ему:

— Сын мой, я пришел вместе плакать, вместе молиться.

Анатолий, рыдая, спрятал голову свою на груди старика. Это было на рассвете. Старик всю ночь молился. Извещенный об опасности жены Анатолия, он оставил свой монастырь, чтоб утешить молодого друга своего.

Жизнь Анатолия приняла более мрачный, серьезный и странный вид. Он и новорожденная в колыбели, он и старик, близкий к гробу, вот и все, — четвертого не было; Ксаверий давно уехал в Париж.

Старик хотел сам окрестить дочь Анатолия и окрестил ее по западному ритуалу. Ее назвали Вероникой.

Месяца через три и Анатолий перешел в католическую веру. Ксендз был на вершине счастья. Но для Анатолия и это казалось теперь недостаточным; он просил, чтоб его приняли в братство Иисуса. Ксендз поздравлял его с этим желанием, но советовал не торопиться, подождать, изведать свои силы. Он познакомил его с настоятелем иезуитского монастыря, молодым монахом, холодным фанатиком, вроде Сен-Жюста, который был того же мнения,

Настоятель сказал Анатолию, что он берет его обет условно, что этот обет несколько не должен связывать, что ближе полугода он не примет его окончательно.

— Возвратитесь в мир, — говорил он, — посмотрите снова на кипящую жизнь, на большие города, на светские интересы, и если они влекут вас, если вам жаль будет их оставить, не вступайте лучше в эту передовую фалангу церкви; трудно в ней, много преданности требует наша служба; кто идет с нами, тот отказывается от всего, даже от воли.

Анатоль возражал. — Настоятель был непреклонен.

Побродил Анатоль шесть месяцев по свету, побывал в Париже — и свет ему опротивел еще больше. Это было в самое то время, когда Людвиг-Филипп и его мещане окончательно восторжествовали над *вредными страстями*, когда кровь лилась реками в Лионе, в Клуатре Сен-Мери и Бюжо, приготавлиаясь к Транспоненской улице, свидетельствовал беременность герцогини Берийской*.

Анатоль еще более готовым явился к настоятелю. — Его приняли.

Новые братья нашли тотчас банкира, который взялся продать его имение в России и вперед принял вексель Столыгина. Большую часть достояния он отдал братству, остальное положил на имя дочери.

С ревностью вновь убежденного, с покорной твердостью человека, давно искавшего определенное дело и внешний толчок, вынес он томительные месяцы искуса. Они ему даже показались легки. Внешний труд, труд обязательный, периодический, почти столько же развлекает и врачует больную душу, как болезнь тела. Все католические журналы Бельгии и Франции гремели наперерыв о славном обращении «d'un boyard russe»¹, о его блестящем искусе и полном принятии в орден под именем брата Венцеслава. Св. отец прислал ему благословение, Ротган написал письмо.

Когда Анатоль успокоился и перестал дивиться новой жизни своей, когда и ему перестали дивиться братья, а стали с ним обращаться, как с своим, — он с ужасом стал ощущать еще томительнейшую пустоту, нежели прежде.

Настоящая вера его отлетела; прежний, родной, знакомый скептицизм возвращался. Напрасно прибегал он к молитве и к исполнению обрядов — молитва стыла на устах его, обряды казались бессмысленным, автоматическим повторением; уму и сердцу становилось от них теснее.

Новый мир, строгий, стройный в своем единстве и иерархии, успокоивающий, обнадеживающий, который так мощно влек к себе Анатоля, стал ему казаться совсем иным с тех пор, как он стоял по другую сторону декораций. Он нашел в нем прежний мир с теми же страстями, но иначе выраженными,

¹ русского боярина (франц.). — *Ред.*

менее откровенными и прикрывающимися видом величавым и строгим.

Он погибал — но через его рот не перешло ни одно слово. Он ненавидел себя за эту шаткость и хотел разом сломить волю и разум; он лучше готов был все на свете перенести, нежели изменить обету, добровольно данному им вчера. — Он молчал, он становился мрачнее, худел, дичал — но строго исполнял все обязанности своего звания.

Инквизиторский глаз настоятеля разглядел через некоторое время подозрительное погружение в самого себя и сосредоточенную душу Венцеслава. Он понял его внутреннюю борьбу и окружил его лазутчиками. Но поведение, слова, вид Венцеслава были безукоризненны, покорность беспредельна. И при всем этом от него веяло чем-то опасным для верующих душ, чем-то наводящим страх. Дело показалось настоятелю до того важным, что он поверг его на рассмотрение Ротгана.

Через месяц настоятель позвал к себе Венцеслава и сказал ему с видом торжественно-радостным, подавая письмо:

— Ваша жизнь, ваше усердие нашли признание нашего отца — я душевно рад, что выбор его пал на вас.

Венцеслав развернул письмо, в котором генерал ордена назначал его проповедником в Монтевидео.

— Я готов, — смиренно отвечал Венцеслав.

— Я был в этом уверен, — заметил настоятель, опуская глаза.

На первом корабле отправился наследник Степан-Степановичей и Михаил-Степановичей, обладатель поместий в Звенигородском и Можайском уездах и дома на Яузе, — в Монтевидео проповедовать религию, в которую не верил.

Как особенную беспримерную милость орден позволил ему взять с собою малютку, ограничившись только третью из оставленного в пользу ее достояния.

С тех пор не было больше слухов о Столыгине. — В монастыре говорили, что он свято исполнял свой долг.

Вот все, любезный Вольфзон, что я помню из плана повести, которая меня занимала около двух лет.

Может быть, когда-нибудь, при совершенно иных обстоятельствах, я попытаюсь отделать — если не все, то некоторые части ее. Только не теперь.

Отрывок, который я посылаю Вам, особенно ценен для меня. — Осенью 1847 читал я его в Париже нашему славному другу Белинскому. Он был очень болен; чахота, разъедавшая его грудь, уже отметила на лице его близкую смерть. Это было перед его и моим отъездом, он отправлялся в Петербург, я

в Рим. Вечером, возле дивана, на котором лежал Белинский, читал я ему начало повести. С другой стороны стола, на больших креслах, сидел высокий молодой мужчина, сгорбленный, с лицом печальным, выражавшим необыкновенную силу мышления и отвагу; он делал сигаретки и смеялся, — то был Бакунин. — Больной наш тоже одушевился, говорил с энергией, с увлечением, редко посещавшим его в последнее время.

Из нас трех в живых остался один я*.

Прощайте; жму Вашу руку.

Александр Герцен

Ницца. 13 октября 1851.



ВАРИАНТЫ



ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

В разделах «Варианты» и «Комментарии» приняты следующие условные сокращения:

1. А р х и в о х р а н и л и щ а

ЛБ — Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина. Москва.

ГИМ — Государственный исторический музей. Москва.

ПД — Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук СССР. Ленинград.

ЦГАЛИ — Центральный Государственный архив литературы и искусства. Москва.

ЦГАОР — Центральный Государственный архив Октябрьской революции и социалистического строительства. Москва.

2. П е ч а т н ы е и с т о ч н и к и

Л (в сопровождении римской цифры, обозначающей номер тома) — А. И. Герцен. Полное собрание сочинений и писем под редакцией М. К. Лемке. П., 1919—1925, тт. I—XXII.

ЛН — сборники «Литературное наследство».



С ТОГО БЕРЕГА

ВАРИАНТЫ ИЗДАНИЯ 1855 г.

〈Введение〉

Стр. 9

⁴⁻⁵ Слова: Я их ∞ по-немецки — *отсутствуют*.

²⁶ Вместо: не позволила // не позволяет

Стр. 10

⁵ После: старчество // Но близость опасности — близость надежды!

⁸ Вместо: говорил // говорит

Прощайте

Стр. 12

⁷ Дата — в конце главы.

¹⁴ Вместо: пророчащий // обещающий

Стр. 14

⁵ Вместо: безнравственно // безнравственность

Стр. 15

¹¹ Вместо: один // лежит один

Стр. 16

¹² Вместо: видах // пассаж

Стр. 17

²⁶⁻²⁷ Вместо: мещанское самодержавие // мещанскую республику

Перед грозой.

Стр. 21

⁸⁻⁹ Вместо: спросонья ∞ в себя // спросонья, не пришедши путем в себя, и умираем в чаду нслепости и пустыяков

²⁵ Вместо: один начальный толчок // начало

Стр. 28

¹⁵ Вместо: Это не так легко // Оставить, это не так легко

²⁴⁻²⁵ Вместо: всякой // каждой

Стр. 32

²¹ Вместо: преходящее // проходящее

³⁵ Вместо: полон // прекрасен, полон

Стр. 33

⁹ *Вместо:* А какая // Вас все сбивает дурно понятая теология.
Какая

Стр. 36

¹³ *Вместо:* libretto нет // вовсе нет libretto

После грозы

Стр. 41

⁴ *Вместо:* течет по ней // на руке

Стр. 44

⁵ *Вместо:* прошедшее // происшедшее

Стр. 47

³ *Вместо:* Может быть, Париж? // Париж?

²³ *Вместо:* человек // в эти дни человек

²⁵ *После:* жалкие // презрительные

²⁶ *Вместо:* Один // Один лишь

Стр. 48

¹² *После:* без суда... // это не может пройти даром, кровь зовет кровь...

¹⁷ *Вместо:* разрушение! // истребление!

LVII год республики, единой и нераздельной

Стр. 49

Заголовок.— *Вместо:* единой // одной

⁴ *Вместо:* Речь Ледрю-Роллена // Из одной речи, произнесенной

Стр. 50

⁴ *Вместо:* во мне // со дна души

Стр. 59

¹ *Вместо:* ропщут // устали

Vixerunt!

Стр. 66

²⁵ *Вместо:* не оскорбляется // не так оскорбляется

Стр. 67

⁷ *Вместо:* устремились бы // мы устремились бы

Стр. 68

³² *Вместо:* А в Париже // Дополните, пожалуйста, а в Париже

Стр. 69

²³ *После:* задвленный // сломанный

Стр. 72

⁸ *Вместо:* это одно // это

Стр. 73

³ *Вместо:* Распаль // Барбес

Стр. 74

¹ *Вместо:* понятны // доступны

² *Вместо:* сделались доступны // доступны

⁴ *После:* Реакция // не зная, что делает

Стр. 76

⁶ *Вместо:* бросающееся в глаза // близкое к падению

¹⁴ *Вместо:* приговор // вердикт

Стр. 77

³⁷ *Вместо:* небом, раем // в псбе, в рае

Стр. 78

²⁰⁻²² *Вместо:* он останется ∞ благословением // остаться вечным упованием.

— И по дороге развить блестящий период истории под своим благословением

Стр. 83

² *После:* Бурбонов // не давая себе полного отчета — почему

²⁴ *Вместо:* осуществлять // помогать, готовить орудие

Стр. 84

²⁵ *Слова:* или еще лучше // *отсутствуют.*

Стр. 85

¹⁰ *После:* всему // что мешает развитию

²⁰ *Вместо:* предрассудки // все предрассудки

Consolatio

Стр. 87

⁶ *Вместо:* Одна долгая // Долгая

⁸ *Вместо:* этот // особенно благородный.

Стр. 88

²⁻³ *Слова:* думая, каким злом они ему заплотят — *отсутствуют.*

Стр. 89

²² *Вместо:* судьи // судье

Стр. 91

⁵ *Вместо:* не в силах // не в силе

Стр. 93

⁴⁻⁵ *Слова:* отыскивающего равновесие для того, чтоб снова потерять его — *отсутствуют.*

Стр. 94

²⁷ *Вместо:* но друг Рыбства // но мой друг «Рыбства»

Стр. 95

²⁷ *Вместо:* розное? // разное?

Стр. 96

¹¹ *После:* Елисейских Полях // или на скачке в Ипсоне

¹¹ *Вместо:* природа // порода

¹⁵ *Слова:* они мне просто противны — *отсутствуют.*

¹⁶ *Перед:* А как бы вы // Вы знаете это и возмущаетесь...

³²⁻³³ *После:* Конвента // Горы

Стр. 97

¹⁻² *После:* от голода // нелепый общественный порядок со всяким шагом вперед лишает средств большее и большее число людей; их крик, их восстание неотвратимо

Стр. 98

¹⁷ *Вместо:* она // толпа

Стр. 100

²² *Вместо:* Писания // Св. писания

³⁸ *Вместо:* в туке // в гумусе

Стр. 101

¹¹ *Вместо:* это возмутительная демагогия // это возмутительно, это демагогия

³⁶ *Вместо:* враждебных, потерянных в среде // враждебных, не симпатизирующих с большинством, потерянных в своей среде

Стр. 102

³ *Вместо:* на преданиях // на предании

⁹ *Вместо:* масса // что масса

¹² *Вместо:* — Да... ∞ толпа // Вы правы до тех пор, пока будет толпа

Стр. 103

⁷⁻⁸ *Вместо:* не ясно понимали // не понимали

²³ *Вместо:* и еще больше веры // но сверх того было еще больше веры

Стр. 104

³ *После:* вперед // вместо знания у нас один навык, наглядка, пример

⁴ *Вместо:* прописал детям // прописал

²⁵ *Вместо:* Да ∞ религия // Да, это мысль, логика, отвлечение — и оттого религия, не грубая религия

Эпилог 1849

Стр. 107

¹²⁻¹³ *Вместо:* поставленных англичанами // поставленных

²³⁻²⁴ *Вместо:* неистовства случились // неистовство случилось

Стр. 108

⁷ *Вместо:* просвищет // свищет

²⁸ *После:* *человечеством* //

И любим мы и ненавидим мы случайно,
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви...¹

Стр. 109

³³ *Вместо:* Меровинги // эти Меровинги

³⁶ *После:* измельчавшая // в росте, искажившаяся в чертах... и мешанская

Стр. 110

¹⁹ *Вместо:* маятника! // жизни.

Стр. 112

³² *Вместо:* возвещавшие // возвещающие

³⁵⁻³⁶ *Вместо:* просит, чтоб ее оставили // просит одного, оставить ее

Стр. 113

¹ *Вместо:* Фридерик // Фридрих

Стр. 114

³⁻⁴ *Вместо:* миром? что?.. Сознаемся // миром... сознаемся

Omnia mea mecum porto

Стр. 115

Эпиграф из Гёте отсутствует.

Стр. 116

²² *Вместо:* беременною // беременную

Стр. 118

⁴ *Вместо:* бревна // на бревна

Стр. 119

²⁶ *Вместо:* изменяется // изменяет

Стр. 121

⁴ *Вместо:* революцией // в революции

³² *Вместо:* в Англии // в Китае и отчасти в Англии

Стр. 122

²¹ *Вместо:* отступает // отступило

Стр. 124

²² *Вместо:* хотят // хотят больше всего

Стр. 127

²⁴⁻²⁵ *Вместо:* не возмущает // не возмущала

¹ Не совсем точная цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Дума». У Лермонтова: «И ненавидим мы и любим мы случайно...». — *Ред.*

Стр. 130

² *Вместо:* пустое // не вовсе ясно

⁴ *После:* общественность // (братство и любовь)

³² *Вместо:* Гармония // Но гармония

Донозо Кортес, маркиз Вальдегамас,
и Юлиан, император Римский

Стр. 133

⁴ *Вместо:* У консерваторов ∞ не видят // У них есть глаза, у консерваторов, только они не видят ими

⁷ *Вместо:* они сами // они

Стр. 134

⁷ *Вместо:* без порядка // без всякого отчета, без всякого соотношения, разбора, порядка

¹² *После:* вообще // — простите меня —

¹⁵ *Вместо:* связывающего // связующего

Стр. 135

³⁴ *Вместо:* реакций // реакции

³⁵ *Вместо:* находится // остается

Стр. 136

³²⁻³³ *Вместо:* ничего не значит // немного сделает

Стр. 142

Первое подстрочное примечание отсутствует.

ВАРИАНТЫ ЧЕРНОВОЙ РУКОПИСИ

Сыну моему Александру

Стр. 7

² *Вместо:* Друг мой // Любезный

⁸ *Вместо:* воззрения // миросозерцания

²¹ *Вместо:* начинается // начался

²⁶ *Вместо:* на старом // на этом

²⁶ *Вместо:* с ним // с революцией

Стр. 8

¹ *Вместо:* грядущего // революции, великого

² *Перед:* рая — было: награды, без

² *Вместо:* вознаграждения // вознаграждений

⁶ *Вместо:* Благословляю // Я благословляю

⁹ *Вместо:* Твикнем, 1 января 1855 г. // 1 января 1855. Ричмонд-Гаус, Твикнем

ВАРИАНТЫ «КОЛОКОЛ»

После грозы

Стр. 40

⁶ *Вместо:* кровавые события // les horreurs commises, les torrents de sang versés <совершенные ужасы, потоки пролитой крови>

Стр. 41

- ² *Вместо:* мертвым // désertes <пустынным>
⁴ *Вместо:* несколько капель крови // quelques gouttes rouges <несколько красных капель>
⁷⁻⁹ *Вместо:* Какис тут ∞ остра // Le sang est trop enflammé, le cerveau trop confus pour mettre en ordre les pensées... <Кровь слишком воспалена, мозг слишком смущен, чтоб привести мысли в порядок...>

Стр. 42

- ¹⁵ *После:* с Карусельской площади // le cœur battait <сердце колотилось>
²⁶⁻²⁹ *Вместо:* хор ∞ артиллерия // le grand psaume de la révolution se répandit au loin, rencontrant le tocsin et le bruit des canons qui passaient sur le pont <великий псалом революции раздавался вдалеке, сливаясь с набатом и грохотом артиллерии, переезжавшей через мост>
³³ *Вместо:* Тупое и неловкое правительство // Mais le gouvernement <Но правительство>
³⁵⁻³⁶ *Слова:* закормы ∞ исполнителей — *отсутствуют.*

Стр. 43

- ¹⁻⁵ *Вместо:* и сиятельнейший ∞ лавочников // et vous, cher comte Paskévitch Erivanski? Vous tous, Metternich et Benkendorf — avec vos espions et vos exécuteurs — vous n'êtes que de *bons enfants* à côté de ces boutiquiers engagés menés à la victoire par un général algérien <и вы, дорогой граф Паскевич-Эриванский? Вы все, Меттерних и Бенкендорф — с вашими шпионами и палачами, — вы только *славные ребята* рядом с этими взбесившимися лавочниками, которых ведет к победе алжирский генерал>
⁸⁻⁹ *Вместо:* Мы все ∞ зеленые // Râles, nous nous regardâmes <Бледные, мы взглянули друг на друга>
¹⁰ *После:* к стеклу окна // les décharges continuaient... <выстрелы продолжались...>
¹³ *Слова:* продолжавшейся четверо суток — *отсутствуют.*
¹⁵ *Слова:* надменная — *отсутствует.*
¹⁷ *Перед:* берегла // ivre du succès <опьяненная от успеха>
¹⁷ *После:* прикладом // les passants <прохожих>
¹⁸ *Вместо:* пьяной мобили // de gardes mobiles <мобильной гвардии>
²⁶⁻²⁷ *Вместо:* сломанная ∞ мерцали // des meubles brisés, des morceaux de glaces fracassées, théâtre anatomique de polypiers humains — quelque chose d'horrible, glaçant le cœur <сломанная мебель, куски разбитых зеркал, анатомический театр человеческих полипников — нечто ужасное, ледяющее душу>
²⁹ *Слова:* разбитому ядрами — *отсутствуют.*
³³⁻³⁴ *Вместо:* Париж ∞ 1814 году // Ce n'était pas en 1814, mais bien en 1848 <это происходило не в 1814, а в 1848 году>

Стр. 44

- ¹ *Слова:* толпы ∞ на бульварах — *отсутствуют.*
³ *Слова:* отчаянного — *отсутствует.*
⁴⁻⁵ *Слова:* тогда ∞ прошедшее — *отсутствуют.*
⁸⁻⁹ *Вместо:* Вот этот-то ∞ в душе // C'était cette aube qui se levait sur Paris *calmé*, et plus encore, dans notre âme <Вот этот-то рассвет подымался над *успокоенным* Парижем, и более того — в нашей душе>
¹⁰⁻¹¹ *Слова:* мысли ∞ укоренялись — *отсутствуют.*
¹²⁻¹³ *Слова:* прошедшей ∞ скептицизмом — *отсутствуют.*
²⁰ *Вместо:* еще трезвее // plus jeune <еще моложе>
²¹ *Вместо:* слабые // jaunes et sèches <желтые и сухие>

²⁶⁻²⁷ *Вместо:* Выбирайте ∞ дает // L'un *donne beaucoup*, mais ne garantit rien; l'autre *prend tout*, mais il est indestructible <Одно *многое* дает, зато ничем не обеспечивает; другое *отнимает все*, но зато *перушимо*>

³⁰⁻³¹ *Вместо:* детские ∞ разума! // les *espérances*, les *illusions* qui trompent <надежды, иллюзии, которые обманывают>

³⁴⁻³⁵ *Вместо:* ложное ∞ слабое // *mort*, *faible*, *malade* <мертвое, слабое, больное>

Стр. 45

¹⁰⁻¹⁴ *Вместо:* Да, но ∞ прошедшего // Mais le tribunal ne connaît ni reconnaissance, ni le mot de blasphème <Да, но трибунал не знает ни благодарности, ни слова святотатства>

¹⁶ *Слова:* семью и нравственность — *отсутствуют*.

¹⁷ *Вместо:* христианства // la religion <религии>

²² *Текст от:* Переходя — до конца главы — *отсутствует*.

ВАРИАНТЫ СПИСКА (ГИМ)

«Vixerunt!»

Стр. 62

Заголовок. — *Вместо:* Vixerunt! // 12 ноября 1848 года

Эпиграф отсутствует.

⁵ *Вместо:* Двадцатое // Двенадцатое

Слова: в Париже — *отсутствуют*.

⁶ *Вместо:* с преждевременным снегом // с снегом

⁷ *Вместо:* лета // продолжительного лета

⁹ *Вместо:* мансардах // комнатах

¹² *После:* людей // а потому и неудивительно, что холод и ненастье, о котором мы говорили, навели уныние на всех

¹⁶ *Перед:* Густыми // Вид площади был странен

²³⁻²⁴ *Вместо:* не объявление ли ∞ Нет, это было // не снова ли весть, что <пропуск в рукописи> — не похороны ли? — Все вместе. Только это

²⁷ *Вместо:* печально плелись они // плелись они что-то печально

Стр. 63

⁸⁻¹⁰ *Вместо:* некогда красивом ∞ местом // красивом чертами, сквозили такие мелкие, такие грубые страсти, что все благородное было стерто, что осталось одно выражение сладострастно сознательной сытости богатством, почетом, которые обыкновенно не умеют скрыть люди, не привыкшие ни к тому, ни к другому. Такие лица мы часто встречаем на бюстах второстепенных тиранов римских и их наперсников

¹¹ *Вместо:* их // этих людей

¹⁶ *Слова:* феодальных веков — *отсутствуют*.

¹⁹ *Вместо:* обдуманное // составленное

²² *Вместо:* святого духа! // духа святого, которым никто больше не верит.

²³⁻²⁴ *Вместо:* Он грустными // Он, говорят, грустными

²⁴ *После:* гулял // в это время

Стр. 64

¹ *Вместо:* набата // колокола

⁴⁻⁵ *Вместо:* бедные звуки ∞ «Марсельезу» // плоские звуки «Mourir pour la patrie», которыми мещане и их начальники заменили на этот раз великую «Марсельезу»

⁷ *Вместо:* знакомы // встречались

²⁰ *После:* надежд // Да, пожилы мы! — Помните

Вместо: в Европе // Европы

²⁷ Слова: все лучшие упования — отсутствуют.

³² Перед: не развития // только

³⁶ Вместо: изодрал // разорвал

Стр. 65

² Перед: Теперь // Не бойтесь

⁵ Вместо: убедите меня // Ну, уверьте меня

⁹ Вместо: Мало ∞ идеализма // Нет упорнее болезни, как невралгия и идеализм

¹²⁻¹⁶ Вместо: я уж извинился ∞ помимо вами // извините за выражение, я говорю не о трусости перед пулей, перед опасностью, а перед действительностью, перед истиной. Вы отгадываете, вам страшны факты, не идущие под ваши теории. Вы убедились в верности ваших мыслей, в благородстве ваших стремлений и думаете, что помимо вами придуманных средств

³¹⁻³² Вместо: вешать ∞ героев // вешать Каваньяка

³² Слова: более почтенное — отсутствуют.

Стр. 66

¹⁻² Вместо: Для меня ∞ человечественно — я // Да, и это поэтическое любопытство смотреть на грозные явления спокойно, изучая, для меня чрезвычайно человечественно. Я, например,

³⁻⁴ Вместо: Везувия в своей лодке // в своей лодочке

⁵ Вместо: благоразумнее и во всяком случае покойнсе // может, благоразумнее — покойнее

⁸ Вместо: от него // от его каприза

¹⁰ Вместо: видеть гибель // гибнуть

¹³ Вместо: растолковать // заставить понять ^F

¹³⁻¹⁷ Вместо: люди ∞ нечего делать // захваченные каким-то орканом, пораженные каким-то безумием, гибнут люди, народы, ломится целая цивилизация, целый мир, которому мы хотели служить и который нас первых отбрасывает, — это выше сил человека. Что я могу сделать с Везувием?

²⁷ Слова: независимую от нас — отсутствуют.

³⁴ Вместо: видеть истину // видеть истину запросто

³⁶⁻³⁸ Вместо: что развитие ∞ процесса // развитие природы и человечества за две главы одного романа, за две фазы одного процесса

Стр. 67

¹ После: в середине // незаметно переливающиеся друг в друга

²⁻⁴ Вместо: покорена физиологии ∞ не противоположны // покорена темным влечениям, тому, что немец называет <пропуск слова в копии>. Из этого не следует однакож, что законы исторического развития противоположны

⁶ Вместо: ничто // всё

⁷ Вместо: троит // ставит

⁸⁻⁹ После: Делаем ли мы это? // — Природу человек только и одолевает, изучая ее; в отношении к ней он показывает, как понимает свое участие и свое действие, он не дает ей приказы, как колдун, и не ограничивается ролей праздного зрителя, как вы сказали; он высматривает для того, чтобы, как Франклин, вырвать молнию, чтоб обессилить громовую тучу. Природа всякий раз уступает, ибо она так же мало борется против мысли, как и история, — это все романтический поклеп. Она уступает вам, им — вы сильны изучением ее. Я вас теперь спрашиваю

¹² Слова: пи историки — отсутствуют.

¹⁹ Вместо: дикую меткость истинкта // истинкт

²¹⁻²³ Вместо: Мы вообще ∞ а мы пет // Мы похожи на городских жителей, лишенных такта, с которым земледелец и моряк узнают вперед погоду

- 25-29 *Вместо:* Сознательного ∞ Вы досадуете // Но истинного действия, т. е. такого, которое удовлетворяло бы вполне, не может быть для нас без знания. Мы до сих пор всё пробовали втеснить свои мысли, свои желания в среду, нас окружающую; но мысли эти, собственно, служили для нашего воспитания: они оказались несостоятельными в приложении; они в том же положении, в каком и мы, потерявшие дикую меткость инстинкта и не дошедшие до полного знания. Вы негодуете
- 31-32 *Вместо:* оружием ∞ страдать // перестать страдать, когда вы, ваши друзья предлагаете им средства
- 34-35 *Текст:* уверены ли вы, что средство ∞ неудобств — *отсутствует.*

Стр. 68

- ⁷ *Слово:* мыслителей — *отсутствует.*
- 9-10 *Слова:* и отстают ∞ женщины — *отсутствуют.*
- 15-16 *Вместо:* которая влечет ∞ действиям // влекущая их к неясным целям
- 17 *Вместо:* дидактическое // доктринерское
- 18 *Вместо:* оно становится смешно // при нашем развитии мысли, оно смешно
- 19 *Вместо:* битой // избитой
- 21-24 *Вместо:* сердитесь ∞ в Америку // отчаиваетесь, сердитесь, хотите, наконец, бежать в Америку, лишь бы только не видеть истины. Люди, не совсем исторгнувшие из груди своей христианское воззрение, имеют какое-то глубокое отвращение от всего истинного, от всего независимого, от дневного света, от чистого воздуха полей; они привыкли к владычеству, к покорности. — Пора нам выходить из этой искусственной, условной жизни. Но ехать в Америку — ребячество
- 26-27 *Слова:* да еще в грубом английском переводе — *отсутствуют.*
- 29 *Вместо:* все в Европе // от Дуная до Сен-Мало всё
- 30 *После:* работает // когда для Европы настали дни последнего суда
- 31 *Вместо:* когда в Вене научились строить баррикады // когда Вена сделалась революционным городом
- 32 *Вместо:* А в Париже ∞ ядрами // Дополните, пожалуйста, — а Париж — городом реакционным
- 33-34 *Вместо:* впрочем ∞ день // падают на один день
- 34-36 *Вместо:* жизни ∞ смерть: // цивилизации, выработанные веками, когда королевская власть снова всплывает для того, чтоб народам указать позор республики, гибнущей от интриг, от неспособности, от того, что ее представители мечут кости о ее <Израб.> в то время. как она исходит кровью и умирает с голоду. Смерть я вижу; суд я вижу
- 37 *Вместо:* силы ее истощились // жизнь ее была полна, наконец силы истощились. Кажется, вы не упрекнете в идеализме мою мысль
- 38 *Вместо:* призвания // празднования

Стр. 69

- ¹ *После:* отставать // Что связывает меня с ними?
- ² *Перед:* вы мне сами // Да, кстати
- 3-4 *Вместо:* плыли // ехали
- ⁷ *Вместо:* вашего нового // этого
- ¹⁴ *После:* ужаса // который обнимает душу человека
- ¹⁵ *Вместо:* вашими // его
- 17-18 *Вместо:* монахи ∞ награду // смиренные иноки, готовые переносить всякое лишение, страдание пожалуй, но не выпуская из виду себя, свою личность
- ²² *Вместо:* оставите партер // уйдете из театра, а то ведь нет

22-25 *Вместо:* Оставаться ∞ надежд // Отворачиваться от страшных явлений — старый обычай строусов. Иногда полезнее оставаться до последней сцены; иногда, задавленный несчастьями Гамлет остановится на цветущем Фортинбрасе, на этом незнакомце, на этом вопросе. Помимо всего

26 *После:* поучение... // вы хотите миновать его

27 *Слово:* никому — отсутствует.

31 *После:* понимание // важности вопроса

Стр. 70

2-3 *Вместо:* борьбах ∞ врага // борьбе теперь обе стороны безумны, глупы, не понимают отчетливо ни себя, ни врага; они ломают друг друга, не понимая, что от победы им несколько не будет легче

4 *Вместо:* 24 февраля // 24 февралем

9 *После:* консерватор // как Ламартин <и> подобные

10-12 *Вместо:* по-вашему ∞ гораздо хуже // я уж ждал, что вы сравните меня по крайней мере с Радецким или с Виндишгрецом.

— Вы хуже. Помилуйте, да

17 *Вместо:* но только ∞ судите // вы можете еще судить

19-22 *Вместо:* Нынче ∞ проповедуете вы // Эта антиномия устарела и нейдет в оценку современной борьбы; монархическое начало и консерватизм дерутся с обеих сторон: худший консерватизм тот, который со стороны республики — цивилизация, потому что она обманывает; к последнему-то я, извините, и причислю вас

23 *После:* сохранить // упрочить в этом мире, определить

26-27 *Вместо:* Скажите ∞ глупа? // Скажите лучше мне, ведь вам досадно, должно быть, что здешнее собрание вотировало такую глупую конституцию?

29 *Вместо:* сердит, что // должно ужасно сердить, например, что всё

34-35 *Вместо:* консерватизм ∞ мира // чистейший консерватизм. Представьте на минуту ваши желания и исполненными — что вышло бы? Торжественное оправдание старого мира; от нелепости народного представительства, обремененного царской властью, до нелепости короля, освобождающего народы, и папы, действующего в духе XIX столетия

36 *После:* революции // кроме желания покончить и с собраниями, и с царями, и с папой

Стр. 71

4-5 *После:* aeternitatis // а как я в Италии сам видел торжественное, благородное восстание против чужеземного ига и потом эту тяжелую, несправедливую казнь — это удвоенное свинцовое иго, которое пало на плечи бедного народа. Я оставил Милан, когда ничего не оставалось делать, когда только гибель, а не борьба была возможна, время это крепко врезалось в моей памяти; у меня с этих несчастных дней начали сесть волосы и, признаюсь, я не нахожу отзыва в моем сердце на этот оптимизм в пессимизме

7-8 *Вместо:* городами ∞ мундирах // оскорбленными женщинами

10 *Перед:* Сердце // Вы остановитесь со стороны сердца

12 *Вместо:* естественно // чрезвычайно естественно

13 *После:* Лукрецию // когда он говорит

14 *Вместо:* Случайные // Безвинные

28 *Вместо:* гибнувших // гибнущих

30-31 *Вместо:* к ближнему ∞ палачи // к ближним: генералы, министры, вообще управительственные лица

33 *Перед:* Ваша скорбь // А потому

34 *Вместо:* и я не имею // и у меня мало для вас

Стр. 72

2 *Вместо:* в рядах // во фронте

³ Слова: не убеждение — отсутствуют.

⁵ После: если б // павшие наполеоновские солдаты

¹⁰⁻¹¹ Место: Десятки ∞ бездну других // Каково опростоволосились десятки тысяч воинов с своей отвагой! перебили бездну народа

¹⁴⁻¹⁷ Место: вы еще что-то ∞ Республика была // и тут я с вами совершенно расхожусь; я не знаю, что, из всего существующего, можно жалеть в Европе; укажите мне в ней хоть что-нибудь не заслуживающее быть казненным революционным топором,— кроме самой революции.

— Вы знаете мои мнения, вы помните грустное расположение, в котором я расстался с вами. У меня не было надежд: я еще не совсем доверял италийскому risorgimento—вдруг весть 24 февраля, как труба Страшного суда, раздалась во всей Европе; все вздохнули вольнее, все поднялись. Республика не встретила никаких серьезных препятствий: она могла водвориться, она могла довоспитать народ, поддержать стремления Европы к освобождению. Она началась без крови, она не возбудила ни коалиции, ни Вандси; я желал ей успеха, я верил в нее, а она погибла в грязи, в тине личных страстей, мелких интриг и мещанских интересов. Как же не жалеть ее: она...

¹⁹ Перед: Италию // бедную

²⁰ Место: быть побсжденной // погибнуть

²¹ Место: встала // стала на ноги

²² Место: своих тридцати помещиков // старой власти

²⁴ Слово: остановлено — отсутствует.

²³⁻²⁸ Место: Девиз ∞ противуречий // Это подземный крот, работающий день и ночь. Из ваших слов я вижу, что я был совершенно прав, упрекая вас в консерватизме; теперь я хочу упрекнуть вас еще и в легкомыслии.

²⁹⁻²² Место: о страшном ∞ прогнал // с отвращением о Франции и потом поверили, что за ночь из все можно было сделать республику тем, что прогнали

³³ Место: позволил ∞ окруженному // посадили бесхарактерного теофилантропа, окруженного

Стр. 73

²⁻³ Слова: эта республика — отсутствуют.

³⁻⁴ Место: Бланки ∞ Ле-Ру // Бланки и Кабе, Барбес и Распаль

⁵ Слова: привычка наблюдать;— отсутствуют.

⁶ Перед: укреплять // вместо математики

¹⁰ После: ненависти // оттого-то ему и удается иногда овладеть предметом

¹¹⁻¹² Место: коновал и что химик 27 февраля // Мара—доктор и физик. Химик Распаль 29 февраля

¹⁶⁻¹⁷ Место: результат его // результат. Брожение—всё, в нем будущее, в нем новое

¹⁷⁻¹⁸ Слова: и всю Европу — отсутствуют.

¹⁸ После: к потрясению // стремится ее в пропасть банкротства, а с ней вместе и все европейские государства

²⁵ Место: явилась // являлась бы

³¹ Место: подпорки // контрфорсы

³³ Место: Люди // Многие

³⁵⁻³⁶ Место: они знают теперь // им надобно было посмотреть на самом деле республику 24 февраля; они увидели

³⁶ Место: этой республики ∞ доступны всем: все знают // республики 26 февраля; они поняли, что им готовят милые республиканцы вроде Ламартина, Марраса да и самого Ледрю-Роллена. Все поняли вещи, которые были доступны для нескольких человек; все знают теперь

- ⁴ *После:* виноват // Теперь знают, кто превратил Париж в Варшаву на целое лето, — консерватизм в революционном деле, трехцветное знамя, нелепая власть Собрания.
- ⁴⁻⁵ *Вместо:* сама ∞ кумирам // подрубила пять-шесть кумиров
- ⁷ *Слово:* делает — *отсутствует.*
- ⁸ *Слова:* в какую б то ни было — *отсутствуют.*
- ⁸ *После:* церковь // в ту или другую форму правления
- ¹⁰ *После:* величавый // строгий, сильный
- ¹¹ *Перед:* замыкается // торжественно
- ¹² *После:* переворотов // Теперь она нелепа, и эту-то нелепость объяснила всем реакция: она внутри республики продиктовала республике драконовские законы, с высоты Национального собрания декретировала депортацию без суда и благодарила во имя народа людей, забрызганных кровью расстрелянных пленников. И вы думаете, что это прошло даром? Нет, это подорвало представительную систему; теперь никто не верит в возможность свободы и равенства там, где осталась притеснительная и лукавая юриспруденция, основанная на двух рабских учениях: на гниющем римском праве да на отжившем феодализме.
- ¹²⁻¹³ *Текст:* Формальная ∞ дней — *отсутствует.*
- ¹⁴⁻¹⁶ *Вместо:* и равенства ∞ подтасованных // с боянями, называемыми ассизами, с возможностью военных судов комиссий, с тиранством
- ¹⁷⁻²⁰ *Вместо:* в гражданское ∞ войска // с гражданским устройством, в котором достаточно указа для того, чтобы сослать невинных, в виде меры общественного спасения, в Синнамари, в котором есть хоть сто человек — солдат по-нашему
- ²¹ *Вместо:* готовы ∞ команде // дадут залп по команде своего атамана
- ²² *Вместо:* Сомнения ∞ умы // Теперь эти сомнения бродят
- ²⁹⁻³¹ *Вместо:* ни данной ∞ реакции // ни октроированной, ни вотированной — она придет, как взрослому человеку игрушка, о которой он мечтал ребенком. Германия, благодаря реакции, при самом начале своей репрезентативной карьеры, догадалась
- ³² *После:* система // пародия свободных учреждений
- ³⁶⁻³⁸ *Вместо:* облеченное ∞ великое // глупо выбранное, облеченное глупой властью, под председательством Марраста, под влиянием трусости вотировало жалкую и смешную конституцию; а по-моему это

- ² *Слово:* вовсе — *отсутствует.*
- ⁵ *Вместо:* едва есть время // нет времени
- ⁷ *Слово:* всем — *отсутствует.*
- ⁸ *Вместо:* нет // бессознательно
- ⁹ *Вместо:* прошлом // прошедшем
- ¹¹ *Вместо:* февраля // февралем
- ¹¹⁻¹⁴ *Вместо:* домашними ∞ Сделайся // своими средствами, что он может обноситься, оставаясь при старом; вы — что ни говорите — и до сих пор не вполне верите, что он может только переродиться, а не исправиться. Сделайся теперь
- ¹⁹ *Вместо:* и убедитесь // и на тот берег. Вы убедитесь тогда
- ²¹ *Перед:* недостаточны // теперь
- ²¹ *Вместо:* действия их // действий
- ²³ *Перед:* справедливость // полную
- ²⁴ *Вместо:* имеют // имели
- ²⁴ *Вместо:* хорошую // светлую
- ²⁷ *Вместо:* даст // давала
- ³⁰⁻³⁰ *Вместо:* забыть болезнь // забывать болезнь, зло

³³ Слова: дают нехотя, оскорбляя — *отсутствуют*.

³⁴ Перед: не умею // наконец

Стр. 76

¹ Вместо: Радецкого // Виндиггреца

³ После: иезуиты // Del Carreto или Марраст

⁵⁻⁶ Вместо: следственно, бросающееся в глаза // следовательно, близкое к падению

²⁹ Вместо: зовем // призываем

³³ После: домогательств // его целей

Стр. 77

²⁻⁴ Вместо: Это один ∞ Погодите // Это что-то вроде парижского архиерея — как будто во время сражения есть у кого-нибудь ухо? — Погодите

⁸ Вместо: как теперь // тем же путем, по которому они теперь

¹³ Слово: иерархии — *отсутствует*.

¹⁴ Вместо: в прошедшем // из прошедшего

¹⁷ Вместо: будет // сделается

¹⁸⁻²⁰ Вместо: демократы ∞ не знают // Демократы, говоря словами Кромвеля, знают только, чего не хотят; то ли будет, когда они узнают, чего хотят.

²¹ Перед: таится // непременно

³¹ Вместо: Для них, конечно // Вы правы, для них

³²⁻³³ Вместо: восторжествует ∞ крещение // разовьется

³⁴ Слово: духовных — *отсутствует*.

³⁶⁻³⁷ Вместо: теперь ∞ раем // то есть накануне смерти остается тем же благочестивым упованием, которым было в первом столетии: оно утешается в небе

³⁸ Слова: в наше время — *отсутствуют*.

Стр. 77—78

³⁸⁻¹ Слова: нет «веси божией» — *отсутствуют*.

Стр. 78

⁴ Слова: ни на жизнь за гробом — *отсутствуют*.

⁶⁻⁷ Вместо: аскетического ∞ идеализма // аскетического идеализма, либеральных замашек

⁹ После: этюдах // Это приводило в отчаяние сильнейших бойцов демократии: Роберт Блюм с досады позволил расстрелять себя, Геккер уехал в Америку, Барбес говорит, что ему теперь легче сидеть в Винсене, нежели жить в Париже

¹⁸⁻¹⁸ Вместо: политических ∞ Если // социальных стремлений; я не говорю ни о каком учении, — легко может быть, что ни одно учение не переживет существующего мира; но стремление, но основа переживет; но дух учения примет плоть, разовьется по ту сторону борьбы. Как? где? — я не знаю. Какой ценою купит Европа осуществления социализма и ей ли достанутся плоды его — все это покрыто самой непрозрачной завесой: небытием. Разноголосица социальных учений похожа на те нестройные <?>, однако пророча о чем-то, надеясь на что-то, в неоплатонизме у терапевтов, у эссиев, даже у Сенеки.
— Если продолжить ваше сравнение и

¹⁸⁻¹⁹ Слова: о христианстве — *отсутствуют*.

²⁰ Вместо: вечным упованием // упованием, как христианство

²¹ Вместо: И по дороге разовьет // И развить целый

²² После: благословением // как христианство

²⁵ Перед: указывало // вело

²⁶ Вместо: Исполнение // Я думаю, что и осуществление

²⁶ Вместо: представляет также // представит совершенно

³³ Вместо: иным // третьим

³⁵ Слова: из верований и знаний — отсутствуют.

³⁶⁻³⁷ Вместо: соединяемых ∞ обоим // которые соединяются в одну церковь

Стр. 79

² После: ирония // над человеком

¹¹ Перед: поэзии // субъективности

¹¹ Слово: мышления — отсутствует.

¹² Вместо: от окружающих обстоятельств // от объективности мира

¹³⁻¹⁴ Вместо: просыпаются ∞ мысль // возникают с рядами видений, чувствований. Сама мысль, помимо исторической зависимости, имеет логическую свободу; она

¹⁷⁻¹⁸ Вместо: логические ∞ далеко // в покойную светлую сферу логики. Идеи, раскрываемые умозрением, не без влияния на существующий мир, ибо несуществующий мир не без влияния на их развитие; но он не рад им: у него есть свой упорный и, если хотите, капризный характер; он худо покоряется монастырской строгости чистого мышления. История была бы очень бедна, если б она была очень логична. Мы негодуем на современность так, как алхимики сердились на непокорность природы, как либералы сердятся на тупость народов; мы унаследовали это раздражительное чувство самолюбия и притязания на высшую власть мысли от христианства: оно вперило нам преувеличенное понятие о мощи духа и о слабости природы. Мы покинули детскую веру в силу молитвы, в жизнь за гробом, в чудеса, но перевели все это на другой язык и остались при дуализме. Все философы, за исключением Бакона и Юма, были священники, а не люди; все они не медленно смотрели на историю и на природу в твердой уверенности, что ключ у них, что стоит захотеть — и человечество пойдет ими указанным путем; все они действовали как власть имущие, совершали тайны вместо того, чтобы раскрывать их. Все это постарело теперь. Пора, наконец, знать меру нашей власти, — знать, что ни природа, ни народы — то есть тоже природа в высшем развитии — вовсе не противодействуют разуму, не враждебны мысли; напротив, они равнодушны к ней, готовы даже слушаться, когда требует дело. Все покоряется человеку настолько, насколько человек знает. Зная, нельзя требовать нелепости — это было бы измена собственному разуму.

²⁰ Вместо: много ∞ причину // страшно много справедливости во взгляде, и нашел, что оттого, что

²³ После: многие // как Роберт Блюм, которого вы назвали

³¹ Вместо: были бы в цепях // владели бы цепи

³⁷ Вместо: десятилетнего // четырнадцатилетнего

Стр. 80

⁷ Вместо: представьте к тому, что // насилье и обида снова тяготели бы над народом, и ко всему этому

¹⁰⁻¹² Вместо: избирающие ∞ рассуждать // волнующиеся о том, кому дать в руки нож, которым резать себя. Что ж, вы и тут стали бы рассуждать умеренно и основательно

¹³ Вместо: эти людские стада // этот народ, это стадо

¹⁷ Вместо: не только // не токмо

²⁰ Вместо: личности // субъективность

²⁴ Вместо: но это было бы очень глупо // глупо сделал бы

³⁰ Вместо: Они идут ∞ кумир // Это шествие индийской Ягерпаут

³¹ Вместо: его // ес

³⁵ После: колос // ответственность там, где сознание, где выбор

Стр. 81

¹¹ Вместо: не отвечает // не ответчик

13 *После:* фатализмом // которые так противны человеку, что ему и дар не в дар

13 *Слово:* некоторое — *отсутствует.*

14 *Вместо:* оскорбляемый // оскорбленный

22 *Вместо:* гнусная // пероновская

38 *Слово:* насущном — *отсутствует.*

Стр. 82

4 *Слово:* другие — *отсутствует.*

6 *После:* наряд // из кордебалета

9 *Вместо:* Судьба его // Пока судьба истинного народа

10 *После:* вымышленный // миф

10 *Перед:* кумиром // каким-то

15 *Вместо:* представителей // поэтических представителей. как

17 *После:* не садился // вовсе

21 *Слово:* по-своему — *отсутствует.*

28-29 *Вместо:* Но зачем же ∞ предшественников? // изучать физиологию, геологию. Но не будем задвигать их славой, их успехами труды Линнея и его учеников.

31 *Вместо:* народа // народных масс

37 *Перед:* народ // весь

Стр. 83

2 *После:* Бурбонов // не давая себе полного отчета, почему

3 *Вместо:* Бастилью // казаков

5-6 *Вместо:* сосед ∞ полковником // соседи, такие же крестьяне, возвращались генералами, полковниками

12 *Вместо:* империи // Наполеона

13 *Вместо:* узнал // знает

16 *Перед:* в Париж // из департаментов

24-27 *Вместо:* осуществлять ∞ внутреннюю // Да, понять — значит помочь приобрести орудие, отгадать тайну действия. Вы давеча иронически сказали, что лучше молиться: под молитвой умные теологи разумели возноситься духом, раскрывать свое сердце истине, понимать безбоязненно, покоряться откровенно, отдаваться прямодушно. Что же? отдайтесь истине, возрастите ее в себе с тою бескорыстной преданностью, с тою глубокой и действительной любовью, с которой фантазировали религиозные люди; это настоящая молитва наша, и она не останется без ответа: вы увидите, она не приведет к бездействию и немому отчаянию, напротив, вы будете говорить, действовать, не натягивая себя ни на слово, ни на действие. Всем кажется, что как только узнаем и поймем окружающее — то желание действовать пройдет; отсюда прямое заключение: стало быть, вы хотели делать не то, что надо; ищите другой работы, не найдете — ваша беда.

31-2 *Вместо:* не одним желанием ∞ человечеству // не одной волей но и требованием на него. Требование всегда бывает — надобно уметь понять его. Чем ближе совпадает воля, понимание лица со внутренним стремлением среды — тем сильнее, мощнее развивается, действует, царит, наконец, над событиями человеческая личность; в этом вся тайна таких явлений, как Наполеон, как Кромвель: эти люди проникательно и прежде всех понимают, куда идут обстоятельства, и идут перед ними. Посылая во имя республики карточек роялистам в Вандемьере, Наполеон понял, что республика невозможна. Оправданный тогда, он еще раз оправдан 48 годом. Какая республика могла существовать пятьдесят лет тому назад во Франции? — Террор или диктатура. От террора Франция тогда устала: оставалась диктатура — он взял ее себе, он короновался императором на трупе республики, не остался безутешным и печальным

упреком, как Карно. Кромвель — я сегодня второй раз ссылаюсь на него — говаривал, что никто не идет в политике далее того, кто не знает, куда идет, т. е. кто не стремится гнуть обстоятельства под отвлеченную личную мысль, а овладеет ими беспрерывным живым понимаем их стремления и делается, таким образом, их органом, главой.

— Это ваше *vae victis*¹ ваш комплимент успеху. Я многое мог бы вам возразить, но замечу одно: по этой теории нам следует заглушить сильное сочувствие к освобождению народов, любовь к человечеству и повернуть парус по ветру, который так и несет теперь к австрийскому порядку, к Гизо, к Меттерниху.

— Я этого не говорил: это невозможно. Для этого нам надобно было бы не знать всего того, что мы знаем, или сойти с ума.

— Итак, остается опять то же вынужденное бездействие при всей готовности тяжкого труда, при всей любви к человечеству?

Стр. 84

⁶ *Вместо*: что такое любить ∞ самое человечество // за что любить человечество? Что такое человечество

⁹ *После*: это понятно // христианство толковало о любви к ближнему — это тоже понятно

¹¹ *Вместо*: я не могу в толк взять // я решительно не могу взять этого в толк

¹⁴ *Слово*: особенно — *отсутствует*.

¹⁴⁻¹⁵ *Вместо*: Или инстинкт ∞ деятельности? // Инстинкт или понимание, друг мой, среды, в которой вы живете, вашего времени — вот что ведет к деятельности.

¹⁶ *Вместо*: отвлеченное // теоретическое, школьное

¹⁷⁻¹⁹ *Вместо*: тогда вы ∞ порядке // Вам жаль вашей мудрости, вам жаль, что все идет не так, как вы придумали; вам хотелось бы одной рукой уничтожить феодальный мир, а другой поддержать, чтоб он не расшибся, падая. Вам это не удается — отсюда ваше отчаяние. Поучитесь у христиан быть революционерами; оставьте мертвым погребать мертвых и идите за новой истиной, берите меха новые для вина нового, совлакайте всего старого Адама. Вы хотите политической деятельности?

²² *Слово*: совершенно — *отсутствует*.

²² *После*: вопросах // что он дальше их

²³⁻²⁷ *Вместо*: или не нужен ∞ они // или нет президент, нужно или нет разогнать это собрание. Всякое время имеет свою деятельность; в 93 году велья было живому человеку тронуться в политическую борьбу; борьба эта была исполнена веры — она-то и была великое дело революции. Тогда надобно было быть якобинцем — теперь политические распри становятся бедны, тощи: они не стоят того, чтобы в них участвовать. Возьмите соперничество Каваньяка и Люи Бонапарта: думайте месяц, думайте год, кто из них лучше, — вы не решите; в сущности, ни тот ни другой не представляют никакого живого интереса: они

²⁸⁻²⁹ *Вместо*: человеку, уважающему себя // порядочному человеку

²⁹⁻³¹ *Вместо*: Посмотрите ∞ богам // Можно ли серьезно быть за честную республику или за Гору Ледрю-Роллена, за венгерцев или за славян, за франкфуртскую диету или за сардинского короля — они посвящены богам. И те и другие гибнут —

Стр. 85

¹ *Вместо*: мещанской // парижской

²⁻³ *Вместо*: Убеждайте ∞ людей // Убеждайте легкомысленных людей

¹ горе побежденным (лат.).— *Ред.*

- ⁴ *Вместо:* полуреспублики // мещанской республики
⁵⁻⁶ *Слова:* как падение Австрии — *отсутствуют.*
⁸⁻⁹ *Вместо:* амнистия ∞ требуйте // дело будущего требует
¹⁰ *Вместо:* валяется ∞ вперед // что мешает развитию, что валяется еще на дороге к будущему
¹³ *Перед:* французского // связь
¹⁴ *Вместо:* Каваньяка // Ламартина
¹⁷⁻¹⁸ *Вместо:* либерализма ∞ Террор // либеральничая, как лафайетисты. Робеспьер, скрепя сердце
²⁰ *Перед:* предрассудки // все
²⁰⁻²¹ *Вместо:* всех ∞ пощады // всех
²⁴ *Вместо:* не видят // не веруют
²⁷ *Слово:* дальние — *отсутствует.*
³⁴ *Вместо:* людям // возможно
³⁵ *После:* Теперь пст! // Однако что-то холодно; пойдемте в Тюильри: там для нынешнего торжества Потель разбил палатку. Пойдемте завтракать.
— Пожалуй, пойдемте! — сказал молодой человек нехотя. — Только мне, право, ни есть ни пить не хочется.
— Полноте, полноте! Выьем Кло-де-Вужо — оно успокоит вас, не отнимая энергии, а в заключение я напомню вам следующие стихи Гёте: <пропуск в копии>. Не лучше ли спросить свежего сомона аух сâpres*?¹

ВАРИАНТЫ НЕМЕЦКОГО ИЗДАНИЯ (1750 г.)

Стр. 5

Под заглавием (на титульном) эпиграф:

Wer hat Recht?

Wähtest du etwa
 Ich sollte das Leben hassen,
 In Wüsten fliehen,
 Weil nicht alle
 Blüenträume reiften?..

Gothe. Prometheus

<К т о п р а в ?>

Неужели ты думал, что я возненавижу жизнь,
 убегу в пустыню, оттого что не все цветы меч-
 таний расцвели наяву?..

Гёте. Прометей>

I. Перед грозой

Стр. 19

- ¹³ *После:* причины // für psychische Erscheinungen <для психических явлений>
¹⁵ *Вместо:* успокоиться // eine indifferente Ruhe zu finden <обрести покой безразличия>
¹⁶ *Вместо:* от страданий // von den menschlichsten Leiden <от человечнейших страданий>
¹⁷ *Вместо:* на тревоженный мир // auf das unsinnige Toben der Wellen dort unten <на бессмысленное бушевание волн там внизу>
¹⁸ *Вместо:* брожением // der wilden Gärung <диким брожением>

¹ лососины с каперсами (франц.).— *Ред.*

²⁶ *После:* был молод // und übermütig <и заносчив>

²⁷ *После:* очень дорого // man wird älter <стареешь>

²⁷⁻²⁸ *После:* их остается ∞ меньше. // da erst lernt man sie hochschätzen. Für mich freilich sind die hinter mir liegenden Brücken längst verbrannt. Das schmerzt mich auch nicht <тут только учишься их высоко ценить. Для меня, правда, оставшиеся позади мосты давно сожжены. Меня это и не огорчает>

Стр. 20

¹ *Вместо:* посильного поиманья // suchte nur meinen Gesichtskreis über das gewöhnliche hinaus zu erweitern <стремился лишь расширить свой кругозор за пределы обычного>

¹ *После:* не знаю // doch ist mir seitdem manches klarer <однако с тех пор многое для меня прояснилось>

²¹ *После:* за слово. // Man kann in vielen Dingen sich tapfer zeigen und doch einen panischen Schrecken vor der Wahrheit haben. <Можно во многих случаях показать себя смелым и все же испытывать панический страх перед истиной>.

Стр. 21

¹ *Вместо:* скачками, женщинами // mit Botanik <ботаникой>

⁹ *После:* путем в себя. // Dann ist die Farce ausgespielt: weniger mutig als Rabelais, haben wir nicht das Herz, nach dem Vorhang zu rufen. <Тогда фарс сыгран; менее смелые, чем Рабле, мы не рвемся требовать, чтобы опустили занавес>.

¹⁶⁻¹⁷ *Вместо:* Если б люди ∞ смеял // Wenn die Menschen nicht verlernt hätten, die Natur im Menschen zu studieren, wenn sie sich selbst in der Natur und die Natur in sich begriffen hätten, wenn sie ihre Unzertrennbarkeit verstehen wollten <Если б люди не разучились изучать природу в человеке, если б они могли понять себя в природе и природу в себе, если б они захотели понять их нераздельность>

³⁵ *После:* развития. // Wenn wir die unglücklichen Menschen ausnehmen, welche durch die materiellen Lasten so sehr gedrückt sind, daß sie nicht einmal die Zeit haben, menschlich zu leiden, und die goldene Mittelmäßigkeit, die auf gleiche Weise von den Ufern des Paradieses und der Hölle fortgewiesen wird, so <Если мы исключим несчастных людей, до того задавленных материальным гнетом, что им даже и страдать по-человечески недосуг, ту золотую посредственность, которую равно отталкивают от берегов рая и ада, то>

Стр. 22

¹⁵ *После:* опасность // oder den herannahenden Untergang <или на приближающуюся гибель>

²⁸⁻²⁹ *Вместо:* Мы живем ∞ тоску. // Dasselbe wiederholt sich in einem andern Maßstabe, dasselbe geschieht unmittelbar vor den Kataklysmen, in welchen der ganze soziale Organismus erschüttert wird, in welchen eine Seite des Bestehenden abstirbt und eine andere von der Welt Besitz nimmt. Wir leben in einer solchen Zeit. <То же повторяется в других масштабах, то же происходит непосредственно перед потрясающими весь общественный организм катаклизмами, в которых одна часть существующего отмирает, а другая овладевает миром. Мы живем в такое время>.

³⁷ *Вместо:* он естественно перешел ∞ сохранил // trat er in den deutschen Idealismus und bewahrte hier wie dort <перешел в немецкий идеализм и сохранил здесь, как и там>

Стр. 23

¹³⁻¹⁵ *Вместо:* которую мы считаем ∞ в чем дело. // so daß wir es für eine Pflicht halten, uns von diesem Zwange aus falsch verstandnem Ehrgefühl nicht loszusagen. Es ist gar nicht leicht, uns von dem

zu befreien, was wir mit der Muttermilch eingesogen haben (так что мы почитаем обязанностью из ложно понятого чувства чести не освобождаться от этого принуждения. Вовсе не легко отделаться от того, что мы впитали с молоком матери)

¹⁷ *После:* детей // verdirbt ihren Instinkt (портит их инстинкт)

Стр. 24

¹⁰⁻¹¹ *После:* «иную природу, другого солнца». // Zwar habe ich in Deutschland studiert, indessen blieb ich im Grunde meines Herzens Italiener. Das Naturell des Italieners, durch die Natur und die plastischen Künste entwickelt, ist vorzugsweise reel. Wir wissen sehr gut, daß es weder eine bessere Natur, noch eine klarere Sonne, noch schönere Frauen als bei uns gibt. (Я, правда, учился в Германии, однако оставался в глубине души итальянцем. Натура итальянца, развитая природой и пластическими искусствами, по преимуществу реальна. Мы очень хорошо знаем, что ни природы лучше нашей нет, ни солнца светлее, ни женщин красивее).

²⁶⁻²⁷ *Вместо:* Моралисты ∞ Руссо // Es ist, um toll zu werden: man predigt alle möglichen Lebenstheorien, Evangelium und Philosophie. Jedermann ist einverstanden. (Право можно сойти с ума: проповедают всевозможные жизненные теории, евангелие и философия. Каждый соглашается).

³³⁻³⁵ *Вместо:* несколько человек ∞ народы. // Einige geistig entwickelte und vorgeschrittene Menschen haben das Programm einer Umwälzung aufgestellt, welches zu verwirklichen die Völker nicht kräftig genug sind. (Несколько человек умственно развитых и передовых, выработали программу переворота, осуществить которую народы не в силах).

³⁵⁻³⁶ *Вместо:* Передовые думали ∞ двинется // Die Vorläufer dachten, es reiche schon hin, an die Menschen den Ruf ergehen zu lassen, damit ihnen gefolgt werde (Передовые думали, что достаточно обратиться к людям с призывом, чтобы за ними последовали)

Стр. 25

¹⁰ *После:* приговор // Die Menschen, die Gesellschaft haben eine Richtung eingeschlagen, deren Veränderung schwer ist, solange die alten Formen noch vor unsern Augen sind. Wir haben uns in diese Formen wie in unsere einenen Kleider eingelebt. Wir merken nicht, daß (Люди, общество приняли направление, изменить которое трудно до тех пор, пока мы имеем еще перед глазами старые формы. Мы сжились с этими формами, как с собственным платьем. Мы не замечаем, что)

Стр. 26

²³ *Вместо:* а я ищущу потерять его // ich suche alle Fahnen zu verlieren (я ищущу потерять все знамена)

Стр. 27

²³⁻²⁴ *Слова:* спасая ∞ будущее. — *отсутствуют.*

Стр. 28

⁴⁻⁴ *Вместо:* и впадает ∞ полусон // und entkräftet fällt sie nach jedem Versuche noch tiefer in eine schwere, fieberhafte Lethargie (и, обесиленный, впадает он после каждой новой попытки в тяжкую горячечную летаргию)

⁸ *После:* и давно не верит // und sieht ein, daß die Gesundheit unmöglich, daß die Irländer vor Hunger sterben, daß die Proletarier Bettler bleiben müssen (и понимает, что здоровье невозможно, что ирландцы умирают с голоду, что пролетарии вынуждены оставаться нищими)

¹⁹ *После:* не более. // Die nach Amerika ausgewanderten Europäer blieben Europäer. (Европейцы, переселившиеся в Америку, оставались европейцами).

- ²⁹ *После:* без него. // weil er allem nahestand, unwillig war und sich sehnte, die ihn umgebende Verkehrtheit des Lebens zu ändern <потому что он со всеми был крепко связан, испытывал недовольство и стремился изменить окружавшую его неправду жизни>
- ²⁹⁻³¹ *Вместо:* Ученики ∞ Конвенте // Der beste Kommentar für seine Lehren sind seine Schüler im Konvent. <Лучшим комментарием к его учению являются его ученики в Конвенте>.
- Стр. 29*
- ¹ *После:* победили // ohne zu wissen, daß alles was die Kraft geschaffen hat, durch die Kraft untergeht <не зная. . . . все созданное силой погибает от силы>
- ¹⁶⁻¹⁷ *Вместо:* из революции 1830 г. биржевой оборот // aus den Julitagen eine Bankokratie <из июльских дней банкратию>
- ²⁶⁻²⁸ *Вместо:* как, например ∞ людей. // Ähnlich verhielt es sich ja auch mit der römischen Philosophie in der ersten Zeit des Christentums. <Так же обстояло ведь дело и с римской философией в первые времена христианства>
- Стр. 31*
- ⁸⁻¹¹ *Вместо:* до того ∞ творчество ее. // Sie entwickelt sich fort und fort, so daß an der Grenze der höchsten Entwicklung ihr Resultat zart und weich wird, so zart und so weich, daß der Tod unmittelbar daneben steht, um die poetische Phantasie und das unbändige Schaffungsvermögen zurückzustoßen. <Она развивается все дальше и дальше, так что у предела высшего развития ее результат становится нежным и мягким, настолько нежным и мягким, что совсем рядом стоит смерть, чтобы оттолкнуть поэтическую фантазию и необузданную творческую способность>.
- ²³⁻²⁴ *После:* варварство // und Mystizismus <и мистицизм>
- ²⁵⁻²⁸ *Вместо:* Природа рада ∞ подрастает. // So entwickelt sich das Lebendige, das Bestehende dauert fort, das Neue keimt auf, die Natur schon das Alte so lange, als es noch Kraft in sich trägt und als das Neue noch nicht herangewachsen ist. <Так развивается живое, существующее длится, новое зарождается; природа щадит старое до тех пор, пока оно еще исполнено сил и пока новое еще не подросло>.
- ³¹ *После:* маршем вперед. // Ein entwickeltes Tier der niedern Klassen steht in manchen Beziehungen höher als ein unentwickeltes Tier der höhern Klasse. <Развитое животное низших классов стоит в некоторых отношениях выше неразвитого животного более высокого класса>.
- ³² *После:* potentialiter // um in der Sprache der Schule zu reden <говоря языком школы>.
- Стр. 31-32*
- ³⁶⁻¹ *Вместо:* его образует ∞ случайных // Sie wird durch das Zusammenstoßen aller möglichen, notwendigen und zufälligen Bedingungen gebildet. <Оно образуется столкновением всех возможных, необходимых и случайных условий>.
- Стр. 32.*
- ⁶⁻⁷ *Вместо:* и тогда Россия ∞ Европу? // und dann wird Rußland sich auf Europa losstürzen und dort festen Fuß fassen. <и тогда Россия обрушится на Европу и станет там твердою ногой>.
- ³⁵ *Вместо:* Оттого каждый ∞ по-своему // Daher kommt es, daß jede geschichtliche Periode schön ist. <Оттого каждый исторический период хорош>.
- Стр. 33*
- ³ *Вместо:* но людям этого мало // und das ist was Sie ärgert.— Ja,

das ärgert mich! <и это-то вас раздражает.— Да, это раздражает меня!>

⁸ *После:* за две тысячи лет. // — Das ist immer dieselbe äußere Theologie, die Sie verwirrt. <Вас смущает все та же внешняя теология>.

Стр. 34

³ *После:* жизнью. // Freilich beteiligt sich nicht das ganze menschliche Geschlecht an dieser Bewegung, sondern nur derjenige Teil, der schon über den Patriarchalismus hinaus zum sozialen Leben gelangt ist; freilich geht der Fortschritt nicht so langweilig trocken, geradlinig und verzweifelt regelrecht, als man glaubt, aber ihn zu negieren wäre ein Unsinn; der Fortschritt ist eine Prämie, die die Geschichte denen gibt, die am spätesten kommen. <Правда, не весь род человеческий участвует в этом движении, а лишь та его часть, которая, пройдя через патриархальный быт, уже достигла социального существования; правда, прогресс происходит не столь надоедливо сухо, прямолинейно и безнадежно правильно, как полагают, но отрицать его было бы пленостью; прогресс — премия, присуждаемая историей тем, которые проходят последними>.

Стр. 35

²⁻³ *Вместо:* Цель ∞ оно само. // Sie sehen, daß wenn Sie durchaus ein Ziel haben wollen, die Natur kein anderes hat, als den Menschen auf die Beine zu stellen, ihn in den Besitz seiner Umgebungen einzuführen, ihm die Möglichkeit zu geben, zu verstehen, zu fühlen, zu genießen. <Вы видите, что если вам непременно нужна какая-нибудь цель, то у природы нет иной, как поставить человека на ноги, ввести его во владение окружающим, дать ему возможность понимать, чувствовать, наслаждаться>.

²¹ *После:* страшный // Wir finden noch keine neuen Wege, und deshalb ist uns nicht behaglich zu Mut. Wem kann man da etwas vorwerfen? <Мы еще не находим новых путей, и от этого нам не по себе. Кому тут можно бросить упрек?>

Стр. 35—36

³⁵⁻⁴ *Вместо:* природа слегка ∞ каждой исторической эпохе. // die Natur hat kaum in den allgemeinsten Normen einen Wink für ihr Streben gegeben, das Streben in Gemeinschaft zu leben und die Weise dieses Lebens unaufhörlich zu verbessern, nicht zu ruhen, bis es alles gut geht, alles, was in der Seele keimt, zu entwickeln und rastlos tätig zu sein. Das alles, so oder auf eine andere Art gärt im Menschen; zu all dem strebt er sogar in denjenigen Fällen, wo er scheinbar niedrigere und ganz entgegengesetzte Ziele verfolgt. Aber wohin strebt dieses Volk, welchen Weg ergreift es? Das alles hängt ab von Umständen, von Menschen; es ist beinahe ebenso schwer, allgemeine Gesetze hier für aufzustellen, wie für das individuelle Leben des Einzelnen. Oftmals ganz unverhoffte Ereignisse oder der geniale Wille eines Menschen geben dem Volke einen solchen Impuls, daß es Jahrhunderte langsich auf dieser Bahn fortentwickelt und eben diese unerwarteten Anstöße und Veränderungen verleihen den historischen Monographien ein solch leidenschaftliches Interesse; denn alles ist neu und originell. <Природа едва, в самых общих нормах, указала на свое стремление,— стремление жить сообща и непрерывно совершенствовать образ этой жизни, не успокаиваться, пока все не пойдет хорошо, развивая все, что зреет в душе, и неустанно действовать. Все это тем или иным образом бродит в человеке, ибо ко всему этому он стремится даже в тех случаях, когда он как будто преследует более низменные и совершенно противоположные цели. Но куда стремится этот народ, на какой путь он вступает? Все это зависит от обстоятельств, от людей; устанавливать общие законы для



Vom
anderen Ufer.

Aus dem Russischen Manuscript.

Hamburg,

Hoffmann und Campe.

1850.



этого почти столь же трудно, как индивидуальной жизни от дельного человека. Часто совсем неожиданные события или гениальная воля одного человека дают народу такой импульс, что он в течение столетий продолжает развиваться по тому же пути, и именно эти неожиданные поводы и изменения и сообщают историческим монографиям такой страстный интерес; все ново и оригинально).

Стр. 36

- ⁶ *Вместо:* логика // eine logische Phänomenologie; oder auch diese existierte nicht. <логическая феноменология; либо и она бы не существовала>.
- ⁷ *После:* животные. // Der Sprung wäre wirklich zu gewagt für die Natur vom Orang-Utan bis zum entwickelten Menschen. <Скачок был бы поистине слишком смел для природы — от орангутанга до развитого человека>.
- ¹⁵ *Вместо:* горесть Тацита // die Verzweiflung des Tacitus <отчаяние Тацита>
- ²³ *После:* гений // wie Kolumbus oder Peter I <как Колумб или Петр I>
- ²⁴ *Вместо:* не найдется Колумба? // sich kein Genie findet <не найдется гения?>
- ²⁵⁻²⁷ *Вместо:* Гениальные натуры ∞ более трудной // Es findet sich beinahe immer. Läge aber solch ein Fall vor, so müssen Sie nicht glauben, daß die Genies eine unumgängliche Notwendigkeit sind. Die Völker, wenn auch auf eine schwerere Weise und später, finden doch den Weg. <Он почти всегда находится. Но хотя это так и происходит, вы не должны думать, что гении неизбежная необходимость. Народы хоть и более трудным образом и позже, но найдут свой путь>.

Стр. 38

- ⁵⁻⁷ *Вместо:* Мы помним ∞ бою часов... // Wir merken es an der Langweile, die uns so schwer in einer Welt drückt, in der wir tätig sein möchten und die unserer Tätigkeit nicht bedarf. <Мы замечаем это по скуке, так тяжело угнетающей нас в мире, в котором мы хотели бы быть деятельными и который в нашей деятельности не нуждается>.
- ¹⁸ *После:* в замену его. // Wir sehen nichts Neues am Horizonte, und die alten Mauern, so alt und morsch sie sind, können noch Jahrtausenden trotzen. <Мы не видим ничего нового на горизонте, и старые стены, как бы старые и гнилы они ни были, могут еще противостоять тысячелетиям>.
- ²⁸ *Вместо:* от разгрома падающих стен // zwischen den Ruinen einer hinstürzenden Welt <среди развалин рушащегося мира>
- ²⁹⁻³⁰ *Вместо:* их стон ∞ душу! // dieser Leidenschrei wird noch heute Ihre Seele beängstigen und zermalmen. <этот крик страдания и теперь будет страшить и терзать вашу душу>.
- ³³ *Вместо:* они четыре столетия ∞ подземельям // Viele Jahrhunderte hindurch wurden sie verfolgt, mußten ihre Heimat fliehen in interirdischen Krypten sich verbergen <В течение многих столетий они преследовались, должны были покинуть родину, таиться в подземельях>

Стр. 39

- ⁴ *Вместо:* воспоминания о них, читая мартиролог // die Erinnerung an diese Tage der Helden der Kirche <воспоминание об этих днях героев церкви>

II. После грозы

Стр. 40—41

Текст «Dédication» <посвящения> — отсутствует.

Стр. 41—42

¹²⁻¹ *Вместо:* знать ∞ что возле умирают // zu wissen, daß überall Menschen als Opfer fallen, und dennoch gezwungen zu sein, ruhig zu bleiben <знать, что всюду люди приносятся в жертву, и быть, тем не менее, вынужденным оставаться спокойным>

Стр. 42

² *После:* Я не умер // und bin nicht wahnsinnig geworden <и не сошел с ума>

⁵ *Вместо:* шел я // gingen wir <шли мы>

¹⁵⁻¹⁶ *После:* Карусельской площади. // Tief erschüttert, erkannte ich, daß jetzt sich hier Großes vorbereitete, ein großes Gelingen oder ein großes Unglück. <Глубоко потрясенный, я постиг, что здесь теперь готовится великое — великий успех или великое несчастье>.

³³ *Вместо:* тогда еще можно было помириться. // damals konnten noch die großen Gegner unserer Zeit Frieden schließen. Aber man wollte nicht, man bemerkte wohl, man wollte nicht <тогда еще великие противники нашего времени могли заключить мир, но не хотели, видно было, что не хотели>

Стр. 43

³⁻⁴ *Вместо:* Меттерних ∞ собственной канцелярии // Metternich und alle seine Minister <Меттерних и все его министры>

⁶⁻⁸ *Вместо:* Вечером 26 июня ∞ расстановками... // Ich erinnere mich, wie wir abends am 26. Juni, nach dem Jubelgeschrei des Sieges der Reaktion, in einer tiefen Ruhe auf einmal mit geringen Zwischenräumen regelmäßige kleine Salven hörten. <Вспоминаю, как вечером 26 июня, после кликов ликования победившей реакции, мы внезапно услышали в глубокой тишине небольшие залпы с незначительными равномерными промежутками>.

⁸ *После:* Мы все // die wir uns im Zimmer befanden <находившиеся в комнате>

⁸⁻⁹ *Вместо:* у всех лица были зеленые... // unsere Gesichter waren blaß vor Entsetzen <лица у нас были бледны от ужаса>

¹³ *Вместо:* После бойни // Nach dem Kampfe <После боя>

¹⁸⁻¹⁹ *Слова:* «Mourir pour la patrie» — отсутствуют.

¹⁹ *Вместо:* мальчишки 16, 17 лет хвастались кровью // Kinder von 15 und 16 Jahren prahlten mit dem vergossenen Blute <дети 15—16 лет хвастались пролитой кровью>

²⁰⁻²² *Вместо:* на них бросали ∞ победителей. // Die Frauen und die Töchter der Bourgeois warfen Blumen auf sie herunter und brachten ihnen Wein. <Жены и дочери мещан осыпали их цветами и приносили им вина>.

²³ *Вместо:* убившего десятки французов // der einen Haufen Franzosen niedergemetzelt hat <зарезавшего множество французов>

²⁹⁻³⁰ *После:* не подпускали // keine menschliche Seele; was dort vorging, weiß niemand. <ни души; что там происходило, никто не знает>.

Стр. 44

⁴ *Вместо:* напоминали страшные дни // erinnerten an die kaum beendetete Schlacht. <напоминали едва закончившуюся битву>.

⁷⁻⁸ *После:* видны ∞ одежда. // man errät sie erst <их лишь угадываешь>.

²⁸⁻³¹ *Вместо:* Я избираю ∞ неподкупного разума! // Ich meinerseits wähle die Armut des Wissens <Я со своей стороны избираю нищету знания>

³⁷ *Вместо:* свирепая расправа // eine grausame Untersuchung. Wehe denjenigen, welche nicht Kraft genug haben, sie durchzuführen <свирепое следствие. Горе тем, которые не обладают достаточной силой, чтобы его провести>

- ² *Вместо:* или миловать ∞ на полдороге // oder mitten auf dem Wege mit den Verschonten zu bleiben <или остаться с пощажёнными на полдороге>
- ³⁻⁷ *Слова:* Кто не помнит ∞ суд разума. — *отсутствуют.*
- ¹² *Вместо:* революция // die politische Revolution <политическая революция>
- ¹⁸⁻¹⁹ *Вместо:* шедшие вместе // die im engsten Bunde den halben Weg zurückgelegt haben <в теснейшем союзе прошедшие полпути>
- ²²⁻²³ *Слова:* Переходя из старого ∞ с собою — *отсутствуют.*
- ²⁴ *Вместо:* Разум беспощаден ∞ и строг // Ja, die Kritik der Vernunft ist unbarmherzig, sie gleicht ganz dem französischen Konvente <Да, критика разума беспощадна, она вполне походит на французский Конвент>
- ³¹⁻³² *Вместо:* что 22 января республика готова и счастлива // daß mit dem 22. Januar eine starke Republik beginnen wird <что с 22 января начнется сильная республика>
- ³⁴ *После:* монархии. // Hier fängt erst die wirkliche Arbeit an <Здесь-то и начинается настоящая работа>.
- ³⁶⁻³⁷ *Вместо:* вслед за ним ∞ слабыс. // Gleich nach ihm bestiegen die glänzenden, schönrednerischen Girondisten resigniert und edel das Schaffot. <Вслед за ним блестящие, велегерчивые жирондисты безропотно и благородно взойшли на эшафот>.
- ³⁸ *Слова:* и головы их пали — *отсутствуют.*

- ⁷⁻⁸ *После:* Венского конгресса. // Derselbe Prozeß geht in der tiefsten Seele des Menschen vor sich. Der Atheismus ist nur ein Anfang, erst eine allgemeine Grundlage... Was hat aber dies alles mit den Junitagen zu schaffen? Es steht in engster Verbindung mit ihnen. Nachdem wir uns von der Vergangenheit losgemacht hatten, waren wir noch nicht frei; trotzdem, daß wir die Vernunft erkannten und die Republik proklamierten, blieben wir Götzendiener, Sklaven: so stark ist der Drang der Menschen, etwas Höheres anzuerkennen, unter einer Gewalt zu stehen. Wie konnten wir etwas Freies schaffen und organisieren, da wir selbst im Innern noch Knechte von alten Vorurteilen und kindischem Glauben blieben? <Этот же процесс совершается в самой глубине души человека. Атеизм лишь начало, лишь общая основа... Но какое отношение все это имеет к июньским дням? Оно находится с ними в теснейшей связи. Освободившись от прошлого, мы еще не были свободны; несмотря на то, что мы признавали разум и объявили республику, мы оставались идолопоклонниками, рабами: так сильно стремление людей признавать что-либо высшее, подчиняться какой-либо власти. Как могли мы создать, организовать что-нибудь свободное, когда мы сами внутренне оставались рабами старых предрассудков и детской веры?>
- ¹² *Вместо:* из ангельского чина // aus dem Stande der Priester <из духовного сана>
- ¹⁷ *Вместо:* она держится насильем // sie existiert nur noch als Tatsache <она существует лишь как факт>
- ²⁵ *После:* к государству. // Bei dieser Gelegenheit kann man gleich ganz Frankreich und Europa zitieren. <По этому поводу можно тут же привести всю Францию и Европу>.
- ³¹⁻³² *Вместо:* приносить на жертву будущему // und den Menschen zu zeigen <и показывать людям>

- ² *Вместо:* ликующими мещанами? // der siegestrunkenen Bourgeoisie <опьяненной победой буржуазией?>

- ² *После:* мешанами? // Armes Paris! Alles, was dir teuer war, kehrt sich gegen dich! <Бедный Париж! Все, что тебе было дорого, обращается против тебя!>
- ⁵⁻⁶ *Вместо:* он мешанскую ∞ колонну // Du hast die bourgeoise Figur des kleinen Karorals auf eine Säule gestellt, damit sie die ganze Welt bewundere. <Ты поставил мешанскую фигуру маленького-капрапа на колонну, чтобы весь мир им восхищался.>
- ¹² *После:* без суда... // Das kann nicht ungerächt hingehen, Blut schreit nach Blut. <Это не может остаться неотомщенным, кровь вопиет о крови.>
- ¹⁶ *Вместо:* и это прекрасно // Ist denn das nicht genug? <Не достаточно ли этого?>

III. LVII год республики, единой и нераздельной

Стр. 49¹

⁸ *После:* года // der Republik. An diesem Tage erhob die demütige Montagne, zum ersten Male nach den Junimetzleien, wieder ihre Stimme. <республики. В этот день, в первый раз после июньской бойни, смиренная Гора опять возвысила голос.>

¹⁶ *Вместо:* бокалы вина // und vielleicht auch der Wein <может быть, и вино>

Стр. 50

⁶ *После:* поколения // in Frankreich. Arme unglückliche Leutel <во Франции. Бедные, несчастные люди!>

Стр. 51

⁵⁻⁶ *Вместо:* их идеал носит // haben ihre Utopien <их утопии обладают>

⁷ *Вместо:* не отрешается от него // und darum immer und ewig Utopien bleiben werden <и потому на веки веков останутся утопиями>

Стр. 52

²¹ *После:* 24 февраля. // Da wurde es etwas ernster <Тут дело стало немного серьезнее>

³²⁻³³ *Вместо:* являются ретроградными ∞ инквизиторами. // jetzt die retrogradesten sind. Der Geist, den sie heraufbeschwoen haben, hat ihre Seele, wie den Faust, mit Angst erfüllt. <теперь являются наиболее ретроградными. Дух, которого они вызывали, наполнил их душу, как Фауста, страхом.>

³³⁻³⁴ *Вместо:* в известном круге, литературно образованном. // in einem kleinen beschränkten literarisch-parlamentarischen Kreise <в маленьком, ограниченном литературно-парламентском кругу>

³⁵ *Вместо:* они // solche Fortschrittmänner <подобные прогрессисты>

³⁶ *После:* религия // und deshalb dieser Schrei des Entsetzens gegen Feuerbach <и отсюда этот возглас ужаса против Фейербаха>

Стр. 53

³ *Вместо:* Либералы // Die politischen Rationalisten <Политические рационалисты>

⁹⁻¹⁰ *Вместо:* и до того увлеклись ∞ желания // doch als erst die Kuppel zu wackeln anfang, da erstarrten sie vor Entsetzen, und sahen, daß sie viel weiter gekommen waren, als sie gewünscht hatten <но как только купол пошатнулся, они оцепенели от ужаса и увидели, что зашли дальше, чем хотели>

³⁴ *Вместо:* и начали убийства // und wurden aus Verfolgten zu Verfolgern <и обратились из преследуемых в преследователей>

Стр. 54

²⁻⁵ *Вместо:* И в этом-то мире ∞ братства. // Sie glaubten, ihre frommen Wünsche für die Demokratie seien in den alten Formen des europäischen Staatslebens verwirklicht, und sie standen da wie betäubt, als

sie die Schwierigkeiten ihrer Aufgabe sahen. <Они думали, что их благие пожелания демократии осуществлены в старых формах европейской государственной жизни, и стояли, как оглушенные, когда увидели трудности своей задачи>.

¹⁸ *После:* явлений. // So ist es auch in der politischen Welt. Freilich wird Frankreich nicht durch eine soziale Umwälzung vom Erdboden verschwinden, aber es kann nicht das Frankreich Ludwigs XIV., Napoleons und der Restauration bleiben. <То же происходит и в политической жизни. Правда, Франция не исчезнет с лица земли вследствие политического переворота, но она не может также остаться Францией Людовика XIV, Наполеона и Реставрации>.

²³⁻³³ *Вместо:* ей необходима ∞ не переступая границу. // die ganze Staatsorganisation entwickelte sich aus diesen christlich-aristokratischen Zuständen, und alle Abweichungen und Entwicklungen, welche die Zeit in die europäischen Angelegenheiten hineinbrachte, waren doch ihrem Ursprunge treu: das katholische Rom, das blasphemierende Paris, das philosophierende Deutschland, so verschieden sie sind, sind doch christlich feudal <весь государственный строй развивался в этих христианско-аристократических условиях, и все отклонения и все развитие, привнесенные временем в европейские дела, были все-таки верны своему происхождению: католический Рим, святотатствующий Париж, философствующая Германия, как бы различны они ни были, все-таки христианско-феодалные государства>

Стр. 55

¹¹⁻¹² *Вместо:* они теснили ∞ задержать смерть. // überhaupt braucht man einem Sterbenden keinen Moschus zu geben, um seine Agonie zu verlängern, um so weniger, wenn man ihn so teuer bezahlt. Freilich kann Metternich jetzt zu seiner Rechtfertigung sagen: «Seht, kaum bin ich ein Jahr von der Regierung abgetreten, so zerfällt Österreich und geht unter!», aber wir könnten ihm antworten: «Welche Notwendigkeit erheischt denn die Existenz Österreichs? Etwas wird doch herauskommen, wenn nicht ein slavisches, so doch ein ungarisches Reich oder zwei, drei neue Staaten». Ebenso albern ist es, eine Zivilisation zu verteidigen, wenn ihre Stunde geschlagen hat, ja es ist um so alberner, als sie selbst das Heraustreten aus ihren Formen als den einzigen Weg des Heiles zeigt. <вообще не следует давать мускус умирающему, чтобы продлить его агонию, особенно, если за него так дорого платят. Правда, Меттерних может теперь сказать в свое оправдание: «Смотрите, едва я на один год устранился от правления, как Австрия распадается и гибнет!», но мы могли бы ему ответить: «Накою же необходимостью вызывается существование Австрии? Что-нибудь ведь возникает, если не славянское, то венгерское или два-три новых государства. Так же нелепо защищать какую-либо цивилизацию, когда ее час пробил, и тем нелепее, что она сама указывает на выход из своих форм как на единственный путь к исцелению>.

¹²⁻¹⁵ *Вместо:* Ни Меттерних ∞ остановить поток // Außerdem können weder die Konservativen mit ihrer Geschicklichkeit, noch die politischen Republikaner mit ihrer Beschränktheit den Strom hemmen. <Кроме того, ни консерваторы со своей ловкостью, ни политические республиканцы со своей ограниченностью не могут остановить поток>.

³⁴ *Вместо:* надобен чей-то труд // «In allen Sphären muß schon die niedrige Arbeit getan sein» <Во всех сферах черная работа должна быть уже выполнена>

Стр. 56

- 4-8 *Вместо:* бедность, вырабатывающаяся ∞ гражданской форме? // und wer weiß nicht, daß diese Form des Staates keinem Menschen auch nur das Hinreichende geben kann? <и кто не знает, что эта форма государства ни одному человеку не может дать даже самое необходимое?>
- 10 *Вместо:* при большинстве чернорабочих // durch die Majorität der an die Scholle geketteten Arbeiter <при большинстве прикованных к земле рабочих>
- 10-22 *Вместо:* пусть живут ∞ широко // so ist es doch besser, daß wenigstens einigen die Möglichkeit dazu gegeben ist, besser, daß einer sich auf Kosten des andern breit und vollkommen entfaltet, als das alle auf niedriger Stufe stehen bleiben. <то все-таки лучше, чтобы крайней мере некоторым дана была к этому возможность, лучше, чтоб один развивался широко и совершенно за счет другого, чем чтобы все остались на низшей ступени.>
- 28-31 *Вместо:* если один человек ∞ быть кушанием. // Wenn ein Mensch so tief sinkt, daß er sich selbst und andere für ein Gericht halten kann, und wenn sich ein Stärkerer findet, der ihn zu fressen Lust hat, so sehe ich keinen Grund, weshalb dieser jenen nicht fressen soll. <Если какой-либо человек так низко пал, что может считать пищей самого себя и других, и если находится более сильный, испытывающий желание его сожрать, то я не вижу причины, почему этот последний не должен сожрать первого.>
- 32 *Вместо:* развитое меньшинство // die aristokratische Minorität <аристократическое меньшинство>

Стр. 57

- 3-4 *Вместо:* Ни под каким видом ∞ скромное. // Es ist ebenso schwer, einen Ungläubigen mit Gewalt zu deren Beobachtung zu zwingen, als es leicht ist, einen Gläubigen dazu zu bewegen. Zu diesem Unglauben sind wir jetzt in der sozialen Frage gekommen. <Столь же трудно силой принудить неверующего соблюдать их, как легко побудить к тому верующего. К этому неверию мы теперь пришли в социальном вопросе.>
- 6-12 *Вместо:* Все дело ∞ жизни меньшинству. // Man bereite sich darauf vor, von der behaglichen Muße Abschied zu nehmen. Die Majorität will sich nicht mehr absorbieren lassen, um der Minorität ein prachtvolles, züppiges Leben zu schaffen. Deshalb muß die abgelebte Zivilisation zugrunde gehen <Пусть будут готовы к тому, чтобы распрощаться с уютным досугом. Большинство уже не хочет давать себя поглощать для того, чтобы создавать меньшинству роскошную, обильную жизнь. Поэтому отжившая цивилизация должна погибнуть.>
- 15 *Вместо:* Как же этот мир ∞ переворота? // Die bestehende Welt kann dem Sozialismus keinen Widerstand leisten. <Существующий мир не может оказать социализму никакого сопротивления.>
- 17-22 *Вместо:* он поддерживается ∞ куда-нибудь выйти. // die politische Revolution zerfrißt sie wie ein Krebs im Innern ihrer eigenen Brust. Was für eine Impotenz, etwas zu schaffen, zu organisieren! Jeder Mensch beginnt diese dumpfe Schwere des Lebens zu fühlen <политическая революция разъедает его, как рак внутри его собственной груди. Что за неспособность что-либо создать, организовать! Каждый человек начинает ощущать эту душную тяготу жизни.>
- 27-29 *Вместо:* Последнее усилие ∞ не удалось. // In Paris ist es langweilig, in London unverträglich, in andern Städten noch viel schlechter. So weit schon weicht der innere Mensch von dem äußern ab. <В Париже скучно, в Лондоне невыносимо, в других городах еще хуже. Вот насколько отличается внутренний человек от внешнего.>

- ³⁸ *Вместо:* изящным, грациозным // ästhetisch <эстетичным>
 Стр. 58
- ³ *Вместо:* Это то тяжелое ∞ столетии // Unsere Zeit erinnert mich immer ans dritte und vierte Jahrhundert nach Christus <Наше время всегда напоминает мне третье и четвертое столетие по Р. Х.>
- Стр. 59
- ³⁻⁴ *Вместо:* Шампанским ∞ о социализме // mit vollen Gläsern klug und weise über den Sozialismus philosophieren <с наполненными бокалами умно и мудро философствуем о социализме>
- ⁶ *После: глупо.* // Zu diesen hausgenössischen Barbaren kommen auch fremde hinzu. Eine große Völkerrasse steht an den Grenzen Europas, die wie die Proletarier von der europäischen Zivilisation nur Unglück als Mitgift erhalten hat, und die ihrem Nationalcharakter nach ihre Hand viel eher dem wildesten Kommunismus als dem wohlbestellten europäischen Staatsregimente reichen wird. <К этим домашним варварам присоединяются и чужие. Великая раса стоит у границ Европы,— раса, которая, подобно пролетариям, получила от европейской цивилизации в приданое лишь несчастье и которая, в силу своего национального характера, скорее подает руку самому дикому коммунизму, чем благоустроенному государственному порядку>.
- ⁹⁻¹¹ *Слова:* Не знаю, но думаю ∞ жить будет хуже.— *отсутствуют.*
- ¹⁹ *После:* живем? // die gebildete Minorität, die jetzt alle Kräfte absorbiert, wird bestimmt weniger gut leben, wenn die große erwartete Umwälzung eintritt. <образованное меньшинство, теперь поглощающее все силы, конечно, будет менее хорошо жить, когда наступит великий, ожидаемый переворот>.
- ²⁰⁻²¹ *Вместо:* мысль о крутом и насильственном перевороте // der Gedanke von der Zerstörung einer ganzen Welt mit einer so reichen Entwicklung und Zivilisation <мысль о разрушении целого мира с таким богатым развитием и цивилизацией>
- ²¹⁻²³ *Слова:* Люди, видящие ∞ исповедь.— *отсутствуют.*
- ²⁶⁻²⁷ *Вместо:* целых населений ∞ перевороты // ganzer in geologischen Revolutionen umgekommenen Tierbevölkerungen <целых животных миров, погибших в геологических революциях>
- Стр. 59—60
- ³⁰⁻³¹ *Слова:* Она достигла его несколькими головами ∞ ничего не пожалевает.— *отсутствуют.*
- Стр. 60
- ³² *Вместо:* В природе ∞ силен // die Natur hat weder Vorliebe noch Haß gegen die schroffen Umwälzungen; in ihr ist das Element des Konservatismus ebenso stark. <Природа не испытывает ни пристрастия, ни ненависти к крутым переворотам; в ней элемент консерватизма столь же силен>.
- Стр. 61
- ⁵ *После:* метафорический язык // wir vergessen den ewigen Anthropomorphismus <мы забываем вечный антропоморфизм>

IV. Vixerunt!

- Стр. 62
- ³⁻⁵ *Вместо:* смертию ∞ воскресением // *эпиграф:* «Komm her...» (см. стр. 115).
- ⁶ *Вместо:* Двадцатое // Am zwölften <Двенадцатого>
- ¹³ *После:* рабочих людей. // Es ist also kein Wunder, wenn die Kälte und das schlechte Wetter alle schwermütig macht. <Неудивительно поэтому, что холод и ненастье паводят уныние на всех>.

Стр. 63

¹⁰ *После:* местом // und die Unmöglichkeit, seine Freude über die ihm erwiesene Auszeichnung zu verbergen. Solche Köpfe finden wir oft unter den römischen Büsten, die Tyrannen zweiter Hand oder ihre Günstlinge vorstellen <и невозможности скрыть свою радость при этом оказываемом ему почете. Такие головы мы часто встречаем среди римских бюстов, изображающих тиранов средней руки или их наперсников>

²⁴⁻²⁵ *Вместо:* падших за него // die für seine unerreichte Freiheit gefallen sind <падших за его недостигнутую свободу>

Стр. 67

²³ *После:* воспитания. // Unsere Theorien teilen unser Schicksal, sie haben das Treffende des Naturinstinktes verloren und sind noch nicht zum vollkommenen Wissen gelangt. <Наши теории разделяют нашу участь; они утратили чуткость природного инстинкта, но не дошли еще до совершенного познания>.

Стр. 68

¹⁹ *После:* разочарованных. // Jeder zu einem solchen unnatürlichen Resultate führender Standpunkt hat sich selbst verurteilt. <Всякая точка зрения, приводящая к такому противоестественному результату, сама себе вынесла приговор>.

²⁴ *После:* Америку. // nach Amerika zu gehen ist ja knabenhaft. <Но ехать в Америку — это же ребячество>.

²⁵⁻²⁷ *Вместо:* Северные Штаты ∞ переводе // Ist denn dort nicht die letzte Entwicklung dessen, was Sie in Europa vor sich sehen? <Разве там не крайнее развитие того, что вы видите перед собою в Европе?>

³⁰ *После:* работает // in einer Zeit, wo für Europa die Tage des letzten Gerichts gekommen sind <в то время, когда для Европы настали дни Страшного суда>

³¹ *Вместо:* когда в Вене научились строить баррикады // wo der Wiener Barrikaden bauen lernt <когда вонец учится строить баррикады>

³⁷ *Вместо:* Эта часть света кончила свое // Dieser Teil der Welt hat das Seinige vollbracht, sein Leben war reich <Эта часть света свое свершила; жизнь ее была богата>

Стр. 70

¹⁹ *После:* революционеры. // Mein bester Ideolog, diese Antinomie ist zu alt geworden und bei der Abschätzung des heutigen Kampfes nicht mehr gültig. <Любезнейший идеолог, эта антиномия слишком устарела, и при оценке нынешней борьбы она уже несостоятельна>.

²⁶⁻²⁷ *Вместо:* что конституция ∞ глупа? // daß man hier und in Deutschland solche flache und blasse Konstitutionen votiert hat? <что здесь и в Германии проголосовали за такие плоские и бесцветные конституции?>

³⁵ *После:* старого мира // eine Rechtfertigung für die Absurdität einer Volksrepräsentation, die mit der ganzen Fülle der königlichen Gewalt bekleidet ist, für die Absurdität eines Königs, der die Volker befreit, und für die Absurdität eines Papstes, der dem Geiste des XIX. Jahrhunderts gemäß handelt. <оправдание нелепости народного представительства, облеченного всей полнотой королевской власти, нелепости короля, дарующего свободу народам, нелепости папы, действующего сообразно с духом XIX столетия>.

³⁸ *После:* революции // und das Streben, ein für allemal den souveränen Nationalversammlungen, den Königen und den Päpsten ein Ende zu machen. <и стремления раз и навсегда покончить с суверенными национальными собраниями, с королями и с папами>.

Стр. 71

⁴⁻⁵ *После:* sub specie aeternitatis...// aber wer, wie ich, in Italien von

Anfang an mit eigenen Augen den großartigen Aufstand und dann diese ungerechte Erwürgung, die Verdoppelung des bleiernen Joches gesehen, welches das arme Volk noch tiefer in die Knechtschaft schleudert, der würde schwerlich mit so kalter Klugheit urteilen... Diese Zeit hat sich meinem Herzen schrecklich eingeprägt, und ich muß Ihnen gestehen, ich finde in mir keinen Wiederhall auf Ihnen im Pessimismus wurzelnden Optimismus. (по кто, подобно мне, видел с самого начала величественное восстание в Италии, а потом это несправедливое удушение его, удвоение свинцового ига, еще глубже отбрасывающее несчастный парод в рабство, тот едва ли мог бы судить с таким холодным благоразумием... Это время страшно запечатлелось в моем сердце, и я, должен вам признаться, не нахожу в себе отзыва на ваш коренящийся в пессимизме оптимизм).

6-8 *Вместо:* я уверен ∞ белых мундирах. // ich bin überzeugt, Sie hätten Ihre sämtlichen Theorien angesichts der aufgetürmten Leichen, der beleidigten und geschändeten Weiber und aller Greuel einer rohen militärischen Okkupation vergessen. (Я уверен, что вы забыли бы все свои теории перед нагроможденными трупами, оскорбленными и изнасилованными женщинами, перед всеми ужасами грубой военной оккупации).

21 *После:* причин // um sich mit dem Übel im Kampfe zu messen (чтобы в борьбе помериться силами со злом)

33 *Вместо:* они ∞ на полдороге // so hätten sie ja nie ihre schnelle Karriere gemacht (то они бы никогда не сделали столь быстрой карьеры)

35-36 *После:* восстания в Палерме // und dem Sonderbundskriege (и войны Зондербунда)

Стр. 72

26 *Вместо:* Девиз ∞ когда-нибудь // Erinnern Sie sich des unterirdischen Maulwurfes, der Tag und Nacht arbeitet? (Помните ли вы подземного крота, который день и ночь работает?)

28 *Вместо:* до противуречий. // bis zum Leichtsinne (до легкомыслия).

Стр. 73

3 *Вместо:* Распаль // Barbes (Барбес)

16-17 *После:* результат его // In der Gärung liegt alles, in ihr liegt die Zukunft, das Neue. (В брожении заложено все, в нем заложено будущее, новое)

18 *После:* к потрясению // und schleudert die europäischen Staaten in den Abgrund des Bankerottes, worin auch die alten Staatsformen untergehen müssen. (и отшвыривает европейские государства в бездну банкротства, в котором должны погибнуть и старые государственные формы).

Стр. 74

4 *После:* виноват. // Viele wissen jetzt, daß wenn Paris in Warschau verwandelt war, man dieses dem Konservatismus in der revolutionären Tat, der dreifarbigigen Fahne, der abgeschmackten Macht der Repräsentanten-Versammlung zu danken hatte. (Многие знают теперь, что если Париж был превращен в Варшаву, то этим мы обязаны консерватизму в революционном действии, трехцветному знамени и пошлой власти собрания представителей).

12 *После:* переворотов. // Jetzt aber ist sie abgeschmackt, und diese Abgeschmacktheit ist allen durch die Reaktion in der Republik klar geworden. Die Republik diktierte drakonische Gesetze von der Höhe einer Nationalversammlung, sie dekretierte Deportationen ohne Gericht, im Namen des freien Volkes votierte sie den Dank des Vaterlandes für Menschen, die vom Blute der massenweise erschos-

senen Gefangenen treffen. Und Sie wännen, daß diese Dinge, welche das ganze Repräsentativsystem sprengen, ohne Folgen vorübergehen können? <Теперь же она пошла, и эта пошлость стала для всех очевидной вследствие реакции в республике. Республика диктовала драконовские законы с высоты Национального собрания, декретировала ссылки без суда, от имени свободного народа вотиrowала благодарность отечества людям, у которых руки обогрены кровью множества расстрелянных пленников. И вы полагаете, что такие вещи, подрывающие всю представительную систему, могут остаться без последствий?>

12-13 *Вместо:* Формальная республика ∞ дней. // Wer kann da noch an die Möglichkeit der Freiheit und Gleichheit glauben, wo eine solche hinterlistige, knechtende Jurisprudenz haust, die sich auf die beiden sklavischen Lehren des verfaulten römischen Rechtes und des abgelebten Feudalismus stützt? <Кто может еще верить в возможность свободы и равенства там, где свирепствует такая коварная порабоощающая юриспруденция, опирающаяся на рабские учения прогнившего римского права и отжившего феодализма?>

19-21 *Вместо:* содержащие ∞ команде // in welchem Tausende von Bewaffneten dastehen und, ohne nach irgend einem Grund zu fragen, nach dem Kommando eines Banditenhäuptlings auf ihre Brüder schießen <содержащее тысячи вооруженных, готовых, не спрашивая причины, по команде главаря разбойников, стрелять в своих братьев>

21-22 *Вместо:* Вот польза реакции. // Über alles das hat uns die Reaktion die Augen geöffnet. <На все это реакция открыла нам глаза>.

25-26 *Вместо:* Берлину, Вене ∞ обрадовались // Die Deutschen waren außerordentlich zufrieden. <Немцы были чрезвычайно довольны>.

31 *Вместо:* Европа догадалась // Die Deutschen haben beim Anfang ihrer revolutionären Laufbahn gesehen <Немцы в начале своего революционного поприща увидели>

Стр. 78

8-9 *Вместо:* в политических этюдах. // in politischem Dilettantismus. Und das hat die kräftigsten Vorkämpfer der Demokratie entmutigt. <в политическом дилетантизме. И от этого падали духом сильнейшие поборники демократии>.

16-17 *Вместо:* Социализм ∞ империи. // Der Sozialismus stellt vollkommen das christliche Element in der römischen Welt vor. <Социализм вполне соответствует христианскому элементу в римском мире>.

Стр. 80

13 *Вместо:* и где пределы воли. // und wo die Grenzen zwischen dem menschlichen Willen und der objektiven Welt sind? <и где границы между волей человека и объективным миром?>

35 *Вместо:* колос. // Strohalm. Verantwortlichkeit kann nur da sein, wo Bewußtsein und Wahl ist. <соломинка. Ответственность может быть лишь там, где есть сознание и выбор>.

Стр. 81

12-13 *После:* фатализмом // die den Menschen so empören, daß ihre Gaben gar keine Gaben mehr sind <которые так возмущают человека, что дары их даже не являются более дарами>

13-16 *Вместо:* чтоб страждущий ∞ наше развитие // daß die Proletarier uns unsern illegalen Besitz, unsere Superiorität und Entwicklung verzeihen <чтобы пролетарии простили нам наше незаконное владение, наше превосходство и развитие>

19-20 *Вместо:* для того ∞ Бетговена? // damit wir die Möglichkeit finden,

Dante zu lesen und Beethoven zu spielen? <чтобы мы получили возможность читать Данте и играть Бетховена?>

³⁴ *Вместо:* каждый поселянин // jeder arme Bauer und Bürger <каждый бедный крестьянин и горожанин>

Стр. 82

²⁹ *Вместо:* их предшественников // eines Linné und seiner Schüler <какого-нибудь Линнея и его учеников>

Стр. 83

²⁴ *После:* осуществлять. // Ja, begreifen heißt ein Mittel erwerben, das Geheimnis des Handelns zu erraten, begreifen heißt helfen <Да, понять значит приобрести средство разгадать тайну действованиа, понять значит помочь>.

Стр. 83—84

³⁶⁻²

Вместо: оставаться ∞ человечеству. // das uns bei der ganzen Sehnsucht zu handeln, bei der Bereitwilligkeit zur Arbeit, bei unserer ganzen tätigen Liebe zur Menschheit nichts übrig bleibt, als müßig zu reflektieren. <что нам при всем стремлении действовать, при готовности к труду, при всей нашей деятельной любви к человечеству ничего не остается, как праздно предаваться рефлексии>.

Стр. 84

⁷ *После:* добродетелями // und Begriffe <и понятиями>.

⁹ *После:* это понятно // der Christ spricht von der Liebe zu seinem Nächsten, das verstehe ich auch <Христианин говорит о своей любви к ближнему — это я тоже понимаю>

¹² *После:* широко // und Molières Misanthrop hatte freilich nicht ganz Unrecht, wenn er sagte: «L'ami du genre humain ne peut être le mien!»¹ <и Мизантроп Мольера был, конечно, не совсем неправ, когда говорил: «L'ami du genre humain ne peut être le mien!»>

²⁸ *После:* «оба хуже». // Und die Nebenbuhlerei dieser Menschen ist die Frage, die augenblicklich ganz Frankreich beschäftigt!— Können Sie sich denn wirklich mit der ganzen Fülle Ihres Wesens für die Montagne eines Ledru-Rollin, für die Opposition der Frankfurter Gesellschaft oder für die Holsteinische Frage interessieren? <А соперничество этих людей — вопрос, занимающий в настоящее время всю Францию. Неужели вы действительно можете всем существом интересоваться Горой Ледрю-Роллена, оппозицией франкфуртского общества или гольштейнским вопросом?>

Стр. 85

¹ *Вместо:* мещанской республики // der Pariser Republik <парижской республики>

¹⁸ *Вместо:* Террор // Der Wohlfahrtausschuß <Комитет общественного спасения>

²¹ *После:* пошады. // wie Fouquier-Tinville <подобно Фукье-Тенвиллю>

V. Consolatio

Стр. 87

³⁶ *После:* предрассудков // vulgar, wie die Engländer sagen <vulgar, как говорят англичане>

Стр. 90

²⁷ *После:* и привычкой к темноте // zwischen dem tierischen Instinkte und dem menschlichen Begreifen. Die größte Zahl des menschlichen Geschlechtes befindet sich in eben dieser Situation. <между животным инстинктом и человеческим постижением. Большая часть рода человеческого находится именно в этом положении>.

¹ Друг рода человеческого не может быть моим другом. (франц.).—Ред.

Стр. 91

¹⁻³ *Вместо:* который заставлял поэтов ∞ голод. // welcher die Poeten ihren Körper und die Materie verachten ließ. <который заставлял поэтов презирать свое тело и материю>.

²⁶ *Вместо:* такие натуры // solche exzentrische Naturen <такие эксцентрические натуры>

Стр. 92

²¹ *После:* христианами // Betrachten Sie einmal die Anfänge des gesellschaftlichen Lebens, die keine Geschichte haben. <Рассмотрите-ка начатки общественной жизни, не имеющие истории>.

²⁵⁻²⁷ *Слова:* и пять-шесть умов ∞ судеб своих. — *отсутствуют.*

³² *Вместо:* Симеон Столпник // Washington <Вашингтон>

Стр. 93

¹⁴⁻¹⁷ *Вместо:* мы думаем, что цель ребенка ∞ смерть. // Wenn ein Kind am Leben bleibt, so wird es zu einem erwachsenen Menschen; indessen liegt das Ziel des Kindes in seinem gegenwärtigen Dasein, nicht in der Zukunft. Man könnte ebenso gut sagen, daß der Endzweck alles Lebendigen der Tod ist, weil alle sterben. Ich kann für das Lebende keinen anderen Zweck begreifen als das Leben selbst, den gegenwärtigen Moment. <Когда ребенок остается в живых, он становится взрослым человеком; между тем цель ребенка заключена в его настоящем существовании, не в будущем. Точно так же можно сказать, что конечная цель всего живого — смерть, потому что все умирают. Я не могу постыгнуть иной цели для всего живого, чем сама жизнь, настоящий момент>.

²⁴⁻²⁷ *Слова:* Я совершенно ∞ позвольте усомниться — *отсутствуют.*

Стр. 94

² *Слова:* страдают рабы в России — *отсутствуют.*

⁶ *Вместо:* стоит голода, — оно весьма не слабо и очень определено. // ist in dem Menschen beinahe so stark als das Streben nach materiellem Wohlsein. <в человеке почти столь же сильно, как стремление к материальному благосостоянию>.

¹⁴⁻¹⁵ *Вместо:* что и заставило ∞ nonsense // sowie sie es mit Rousseau machte, der seine Verachtung der Tatsachen so weit brachte, daß er ohne zu spaßen sagte (как оно поступило с Руссо, у которого презрение к фактам так далеко зашло, что он не шутя сказал)

Стр. 95

³⁶⁻³⁷ *Вместо:* но это только высший факт, предел // und fälschen damit ihre Anschauung von der Geschichte <и искажаете этим ваш взгляд на историю>

Стр. 96

²²⁻²³ *Вместо:* эти отщепенцы ∞ Гору в 92 году. // Diese Dissidenten blieben der Rousseau'schen Richtung treu, sie und ihre Nachfolger bildeten die Montagne von 1792. <Эти отщепенцы остались верны направлению Руссо, они и их последователи образовали Гору 1792 года>.

³⁴ *После:* в воде? // Sie sehen also, daß da von Dankbarkeit nicht die Rede sein kann. <Вы видите, что тут о благодарности не может быть и речи>.

Стр. 97

²⁻³ *Вместо:* не подумал бы о коммунизме // hätte er ans Revolutionieren nicht gedacht <не подумал бы о революционизировании>

²¹ *После:* Бэкона // und Spinoza <и Спинозы>

³⁰⁻³¹ *Вместо:* Массы не понимали ∞ двенадцати апостолов? // Wasagen Sie von der Predigt des Evangeliums? Was für ein energischer Widerhall antwortete auf den Zuruf der zwölf Apostel <Что вы ска-

жете о проповеди евангелия? Какой энергичный отклик получил призыв двенадцати апостолов?

Стр. 101

¹⁴ *После:* не восстановил // seine eigene Religion war für die einen zu wenig, für die andern zu viel <его собственная религия была для одних недостаточна, для других чрезмерна>.

Стр. 102

¹⁻⁴ *Слова:* С другой стороны ∞ к злу. — *отсутствуют.*

¹⁵ *После:* общественности. // und Sie kennen den Spaß eines französischen Reisenden sehr gut, der von Nordamerika gesagt hat: «La canaille est très comme il faut en Amérique»¹. — *Смотрите, lieber Doktor, warum ich Sie beschuldige? <А вам очень хорошо знакома шутка одного французского путешественника, сказавшего: «La canaille est très comme il faut en Amérique». Понимаете ли вы, дорогой доктор, почему я вас обвиняю?>*

³⁰ *После:* ее стремления // daß sie das ins klare gebracht haben, was dort nur als dunkle Vorahnung herrscht. <что они лишь то привели в ясность, что там царит как смутное предчувствие>.

³⁵⁻³⁸ *Вместо:* Одно холодное утро ∞ не целое растение. // Wir können die Blume als die Apotheose der Pflanze betrachten, als ihre Poesie; sie gibt sich hin mit ihrem Wohlgeruch und welkt, indem der Stengel bleibt. <Мы можем рассматривать цветок как апофеоз растения, как его поэзию. Он отдается со своим ароматом и вянет, тогда как стебель остается>.

Стр. 103

⁶⁻⁷ *Вместо:* от своих соотечественников // von seinen Zeitgenossen und seinem Volke. <от своих современников и своего народа>.

Стр. 104

¹³⁻¹⁶ *Вместо:* Первые дни ∞ Шведенборге... // Die menschliche Natur konnte nicht so viel Unglück auf einmal ertragen. Ein schreckliches Nervenfieber fesselte sie für einen Monat ans Bett. Als sie ihr Bewußtsein wieder erlangte, war ihre Lage noch schrecklicher; es brach mir das Herz, ihre Verzweiflung zu sehen. Ich besuchte sie indes alle Tage. Je mehr ihre Kräfte wieder zunahmen, desto öfter fand ich sie unter Tränen betend. Nach ein Paar Wochen war sie viel gefaßter, als ich hätte denken können. <Человеческая природа не могла вынести столько несчастий зараз. Страшная нервная горячка на месяц приковала ее к постели. Когда к ней вернулось сознание, положение ее было еще страшнее, сердце разрывалось при виде ее отчаяния. Я навещал ее между тем ежедневно. По мере того как прибывали ее силы, я все чаще заставлял ее молящейся, в слезах. Несколько недель спустя она стала гораздо сдержаннее, чем я мог предполагать>.

²⁴ *После:* а не суеверие. // Ja, das ist ein Gedanke, das ist Logik und Abstraktion und eben deshalb Religion. <Да, это — мысль, это — логика и отвлеченность, и именно поэтому — религия>.

²⁶ *Вместо:* отдает детей в пансион на том свете // die Kinder in den Himmel ruft, um sie wahrscheinlich in den Findelhäusern der Engel groß zu ziehen, von welchen Swedenborg sprach <призывает детей на небеса, вероятно, чтобы вырастить их в ангельских воспитательных домах, о которых говорил Сведенборг>

Стр. 105

³ *После:* не водворилась // in Frankreich <во Франции>

¹⁵ *После:* социальное братство // in Europa <в Европе>

¹ Чернь очень прилична в Америке (франц.). — *Ред.*

¹⁶ *После:* Авель? // Wie können Sie mir denn zumuten, an solche Albernheiten zu glauben? Ob's leichter ist, ob's schwerer ist, die Sache steht einmal fest, ich kann nicht glauben. <Как можете вы считать меня способным верить в такие нелепости? Легче ли это, тяжелее ли это, но одно несомненно — я не могу верить>

Стр. 106

¹⁷ *После:* в Америку. // Das steht fest. <Это решено.>

ВАРИАНТЫ ЖУРНАЛА «DEUTSCHE MONATSSCHRIFT FÜR POLITIK,
WISSENSCHAFT, KUNST UND LEBEN»

Эпилог 1849

Стр. 107

Вместо: Эпилог 1849 // Mein Lebewohl. Epilog zum Jahre 1849 <Мое прощание. Эпилог 1849 г.>

Стр. 109

⁷⁻⁸ *После:* они вас пересекут всех. // Haben wir nicht die Patrioten in Mailand, in den Ionischen Inseln, die Frauen in Ungarn, Freiburg, Brescia geißeln sehen? Haben wir nicht Blanqui auf den Befehl des Oberhauptes der Bande von elenden Gefängniswärtern mit Schlägen bedecken sehen? *К этим словам сноски:* Vielleicht kennen Sie diese letzte Infamie nicht? — Das ist sehr möglich, denn nur zwei radikale Blätter haben einige Worte darüber gesagt, alle anderen waren damals mit einer sehr wichtigen Gelegenheit beschäftigt; sie waren entrüstet über den politischen Schandpfahl, der für die abwesenden Verurteilten errichtet worden, denn sie glaubten mit der ganzen Naivität eines Kindes, daß eine Regierung noch durch irgend eine andere Sache als durch «seine Ehrenzeichen» brandmarken kann. <Разве мы не видели, как избивали патриотов в Милане, на Ионических островах, женщин в Венгрии, Фрейбурге, Брешии? Разве мы не видели, как Бланки осыпали ударами по приказу главаря шайки жалких тюремных надсмотрщиков? *Сноска:* Вы, может быть, не знаете об этой последней подлости? Это очень возможно, потому что только два радикальных листка посвятили этому несколько слов; все остальные были тогда заняты очень важным обстоятельством; они были возмущены политическим позорным столбом, возведенным для отсутствующих осужденных, ибо они со всей наивностью ребенка думали, что правительство может еще чем-нибудь заклеить, а не только «своими знаками отличия».>

Стр. 111

¹⁵⁻¹⁶ *После:* католическим устройством Европы. // Einen schreienderen Gegensatz, eine absolutere Uneinbarkeit als den zwischen der Freiheit und der germano-römischen Welt gibt es nicht. Deshalb entwickelten sie sich auch nur, indem sie die Fahne falteten, mit der Knechtschaft einen Pakt schlossen und inkonsequent waren.

Der Protestantismus stand dem Katolizismus an religiösem Fanatismus nicht nach. <Более вопиющего противоречия, более абсолютной несовместимости, чем между свободой и германо-романским миром, не существует. Поэтому-то они и развивались, лишь свертывая знамя, заключая договор с рабством и будучи непоследовательными. Протестантизм не уступал католицизму в религиозном фанатизме.>

²³⁻²⁸ *Вместо:* Вместо символа веры ∞ самодержавия народного. // Alles dies war nichts als eine neue Ausgabe vom Evangelium und römischen

Recht, den Sitten des Jahrhunderts angepaßt. Die Revolution bekriegte im Namen der christlichen Ideen der Fraternität, der Nächstenliebe, welche sie Liebe zur Menschheit taufte, die katholische Welt.

Wie die Kirche vom Christen, so forderte sie vom Bürger Selbstverleugnung, Gehorsam und das Opfer seiner Selbst zu Gunsten des Staates, sie drang dem Volk einen religiösen Glauben an die Regierungsform auf, das bürgerliche Gesetz trat an die Stelle des kanonischen Dogma — sie errichtete eine mystische Hierarchie, der Gesetzgeber wurde Priester, Hierophant, selbst Augur, der dies unabänderliche, fatalistische Urteil einer unsichtbaren Gottheit aussprach, welche man wie aus Ironie Volksherrschaft nannte. <Все это было не чем иным, как новым изданием евангелия и римского права, припоровленным к правам века. Революция воевала с католическим миром во имя христианских идей братства, любви к ближнему, которую она назвала любовью к человечеству.

Как церковь от христианина, так она требовала от гражданина самоотречения, послушания и самопожертвования в пользу государства, она навязывала народу религиозную веру в форму правления, гражданский закон занял место канонической догмы — она установила мистическую иерархию, законодатель стал жрецом, иерофантом, самым авгуrom, который изрекал этот не подлежащий отмене, роковой приговор невидимого божества, словно иронически называвшегося властью народа).

³² *После:* как при религиозных. // Der Liberalismus und Idealismus sprachen von nichts als von Menschenrecht, vom Individuum, von der Freiheit und arbeiteten nur für den Staat, für die Idee, wie die Christen, welche die Menschen ad majorem Dei gloriam retteten. <Либерализм и идеализм не говорили ни о чем другом, как о правах человека, об индивидууме, о свободе, а работали лишь для государства, для идеи, как христиане, спасавшие человека ad majorem Dei gloriam¹.

³⁸ *После:* спасти верхое тело // Lange wiegte man sich mit dem Gedanken von der möglichen Entwicklung der Freiheit innerhalb des Gefängnisses, von der Versöhnung der Emanzipation mit der Knechtschaft, — aber dieses sonderbare Paar blieb ohne Kinder. <Долго убаюкивали себя мыслью о возможном развитии свободы в пределах тюрьмы, о примирении освобождения с рабством, — но эта странная чета осталась бездетной).

Стр. 112

¹⁵⁻¹⁸

Вместо: Старческая фигура Гёте ∞ примиряет с былым. // Alles, was die Vergangenheit noch an schönen Erinnerungen, alles, was sie noch an Poesie, an Kraft hatte, inkarnierte sich in Göthe. Durch einen unendlichen Genius wurde der antike Mensch mit dem modernen hier verschmolzen. Ruhig und majestätisch suchte er sich selbst und seine Zukunft von der elenden Mitte zu lösen, die ihn umgab. Seine Greisengestalt schwebte über seinen Zeitgenossen, wie die lebendige Apotheose zweier unermeßlichen Vergangenheiten. Er war der letzte der Mobikaner, wie ihn, ich weiß nicht welcher deutsche Journalist (ich glaube A. Ruge) nannte. <Все прекрасные воспоминания, остававшиеся от прошлого, вся поэзия и сила, оставшаяся еще от него, воплотились в Гёте. Беспредельность гения слила здесь античного человека с современным. Спокойно и величественно пытался он освободить самого себя и свое будущее от жалкой среды, его окружавшей. Его старческая фигура парила над современниками как живой апофеоз двух огромных прошедших. Он был по-

¹ для вящей славы божией (лат.). — *Ред.*

следним из могокан, как его назвал, не помню который немецкий журналист (мне кажется, А. Руре)).

Стр. 113

³⁵ *После:* новый быт // und beweisen, daß wir uns ebenso als Selbstherrscher fühlen als die ganze Menschheit; den andern das Beispiel individueller Freiheit geben, indem wir uns von den Interessen einer Welt emanzipieren, welche ihrem Untergang zugeht. Aber sind wir bereit, dies Beispiel zu geben? <доказать, что мы так же чувствуем себя самодержавными, как все человечество; ползать другим пример индивидуальной свободы, освободившись от интересов мира, идущего к своей гибели. Но готовы ли мы подать этот пример?>

Стр. 114

⁵⁻⁶ *Слова:* Разве ∞ старую Англию. — *отсутствуют.*

Omnia mea mecum porto

Стр. 117

²² *После:* плакальщиком // Ich will diese ewige Witwenschaft nicht mehr. Ich habe mein *Recht* an das Leben, ich bin nicht weniger real, nicht weniger frei, nicht weniger souverän als die ganze Welt. <Я не хочу больше этого вечного вдовства. И я имею *права* на жизнь, я не менее реален, не менее свободен, не менее суверенен, чем весь прочий мир.>

Стр. 119

¹⁶ *После:* равнодушен к ее дарам?» // Nach einer solchen Frage protestiert der Mensch durch ein titanisches Veto gegen den Fatalismus der Mitte, und die Mitte gibt nach. <После такого вопроса человек титаническим вето протестует против фатализма среды, и среда уступает.>

Стр. 121

³⁵⁻³⁶ *После:* исключительная цивилизация // welche nur einer kleinen Minorität angehört, weil ihr die volle Muße zur Ausbildung nicht fehlte. <принадлежащая лишь небольшому меньшинству, потому что оно не имело недостатка в досуге для своего образования.>

Стр. 123

¹⁹⁻²⁰ *Вместо:* египетского устройства работ коммунистов // die ägyptische Organisation à la Louis Blanc <египетского устройства в духе Луи Блана>

Стр. 125

³ *После:* министром финансов, президентом // der Republik, mit Beibehaltung, versteht sich, der bestehenden Ordnung der Dinge <республики, разумеется, с сохранением существующего порядка вещей.>

Стр. 125-126

³⁷⁻⁶ *Вместо:* Его воззрение ∞ остались те же. // Die Kirche sagte dem Menschen, daß er frei sei, staatliche Unterschiede zwischen Bürger und Sklave gestattete sie nicht, forderte aber dessenungeachtet einen blinden Gehorsam. Die Ketten, welche sie nach der einen Seite hin sprengte, zwangen die Gläubigen, sich aus eigenem Antrieb andern nach der entgegengesetzten Seite hin zu unterziehen, die um so schwerer, um so erniedrigender, weil es freiwillige waren. Die Kirche predigte den moralischen Selbstmord. Der Liberalismus und die Philosophie ändern nur die Worte: die Sache bleibt dieselbe. Als die Welt wieder weltlich wurde, was sie im übrigen nie aufgehört hat zu sein, entsagte sie dem Jargon des Mittelalters und führte die Sprache und die Lehren des Altertums ein. Auch sie hemmte die persönliche

Freiheit nie. Alle Philanthropen, Menschenfreunde, Liberalen und Philosophen fuhren fort, den Menschen der Idee, das Volk irgend einer Fahne zu opfern. <Церковь сказала человеку, что он свободен, государственного различия между гражданином и рабом она не допускала, требовала однако, невзирая на это, слепого послушания. Цепи, разорванные ею с одной стороны, вынудили верующих по собственному побуждению падать на себя, с противоположной стороны, другие, тем более тяжелые и унижительные, что они были добровольными. Церковь проповедовала нравственное самоубийство. Либерализм и философия меняют лишь слова: суть остается та же. Когда мир снова стал светским, каким он, впрочем, никогда не переставал быть, он отказался от жаргона средневековья и ввел в употребление язык и учения древности. И он также никогда не сковывал личной свободы. Все филантропы, друзья народа, либералы и философы продолжали жертвовать человека идее, народ — какому-либо знамени>.

Стр. 126

15-25

Вместо: но мы можем смело сказать ∞ все наши суждения. // *Indem man dem Geist eine schiefe Richtung gab, indem man es auf ein unmögliches Ziel hinwies, schleuderte man das Volk in die Bewegung, und unterwegs vollzogen sich ganz andere Dinge als man sich zuvor hätte träumen lassen. Andererseits haben dieser geistige Wahnsinn, diese Verwirrung in den Gewissen die regelmäßige Entwicklung des Geistes um vieles gehemmt. Diese romantische Trunkenheit gab der Welt etliche Helden, rief viele Don Quijote's ins Leben, und die Hälfte der Leiden, welche auf den Völkern gelastet haben.*

Die allgemeine Basis dieser ganzen entarteten Dialektik, welche unser Urteil vertritt und uns zu Sklaven macht, indem sie uns das Gegenteil gibt, und uns einreden will, daß wir frei sind, — ist der Dualismus, der theologische Gesichtspunkt in der Anthropologie. <Сообщая уму ложное направление, устремляя народ к несбыточной цели, его заставили прийти в движение, — а по пути произошли совсем иные вещи, нежели те, о которых заранее мечталось. С другой стороны, это духовное безумие, это смятие совести сильно затормозили умственное развитие. Это романтическое опьянение дало миру нескольких героев, вызвало к жизни многих Дон-Кихотов и половину несчастий, тяготевших над народами.

Общей основой всей этой выродившейся диалектики, заменяющей нам приговор и делающей нас рабами, даряя нам нечто противоположное свободе и пытаясь нас уверить, что мы свободны, — является дуализм, теологическая точка зрения в антропологии>.

Стр. 128

15-19

Вместо: Таким образом составилась ∞ лжи и притворства. // *Aus Furcht vor der Entrüstung des Pöbels komponieren wir uns eine offizielle Sprache der Heuchelei — täuschen uns gegenseitig. <Из страха перед негодованием черни мы сочиняем себе официальный язык лицемерия — обманываем друг друга>.*

36

После: признаются ежедневно жизнию. // *Die Masken müssen fallen, die Menschen müssen in Worten zugeben, was sie durch ihre Taten bekennen. — Im geheimen protestieren ist nicht genug. Wir bedürfen des lauten Geständnisses, des Worts. — Das Wort verallgemeinert, heiligt, — es ist notwendig, um dem Menschen begreiflich zu machen, wie albern es ist zu stehlen, wo man das Recht zum Nehmen hat. <Маски должны быть сброшены, люди должны на словах согласиться с тем, что они признают своими делами. Втайне протестовать — недостаточно. Мы нуждаемся в громком признании, в слове. — Слово обобщает, освящает, — оно необходимо, чтобы*

сделать понятным человеку, как глупо воровать, когда имеешь право взять).

Стр. 131

⁹⁻¹⁹ *Вместо:* То, что действительно неизбежно ∞ ненужным самоотвержением. // Was hat die Moral des Orients mit der des Okzidents gemein, die aristokratische Moral des ehemaligen Adels mit der bürgerlichen der Spezereikrämer unserer Tage, was die antike Moral mit der christlichen? In welcher Beziehung steht das Napoleonische Gesetzbuch zu den zehn Geboten oder zu den modernen Lehren? Man wird zwischen ihnen nichts als so allgemeine Affinitäten entdecken, daß alles Besondere, alles Individuelle sich in Kategorien verliert, und dazu werden diese kategorischen Erklärungen immer verneinend sein in der Art jener Maximen, wie z(um) B(eispiel): Der Mensch soll nicht gegen seine Überzeugung handeln, er soll nichts tun, was er nicht verallgemeinert sehen möchte, was er nicht wagen würde, offen zu bekennen. — Die ganze positive Seite der Moral ändert und wechselt sich fortwährend, — das ist der Charakter alles Lebendigen. <Что общего между нравственностью Востока и нравственностью Запада, между аристократической нравственностью прежнего дворянства и мещанской нравственностью москательных торговцев наших дней, между античной нравственностью и христианской? В каком отношении находится кодекс Наполеона к десяти заповедям или к современным учениям? В них может быть обнаружено лишь столь общее сродство, что все частное, все индивидуальное теряется в категориях; к тому же все эти категориальные объяснения окажутся всегда отрицательными вроде таких правил, как например: человек не должен поступать против своих убеждений, он не должен делать ничего такого, чего он не хотел бы видеть обобщенным, чего он не посмел бы открыто признать. — Вся положительная сторона нравственности изменяется и варьируется непрестанно, — это свойство всего живого>.

³²⁻³⁷ *Вместо:* — Я не советую ∞ по зная ее путь // Ich erlehe weder die Mutlosigkeit, noch predige ich den Krieg, — nein, die Menschen zu erkennen und zu ertragen wie sie sind, — darin besteht der männliche Mut. Den Frieden ruf'ich an für unser leidendes, zerrissenes Gemüt, das geängstet(ist), weil man es in Irrtum führte. <Я ни малодушия не вымаливаю, ни войны не проповедую, — нет, познать людей и переносить их такими, какие они есть, — в этом и состоит мужественная решимость. Я зову к миру наш страдающий, растерзанный дух, испытывающий страх, потому что его ввели в заблуждение>.

Стр. 132

¹⁻⁷ *Вместо:* Я хочу прекратить ∞ это и не важно // Ich rate Ihnen nicht, plötzlich stille zu stehen und dem tätigen Leben Valet zu sagen, sondern ich rate, ein eigenes, unabhängiges Leben, Ihr Dasein anzufangen, das so stark, so selbstständig ist, daß Sie es retten könnten — und ginge selbst die Welt unter. Nicht allein, daß ich weit entfernt bin, Ihre Seele gegen die Menschen mit Bitterkeit anfüllen zu wollen, möchte ich Sie gegen den eigensinnigen Zorn stählen, Sie mit den Menschen versöhnen, wie wir mit der Natur versöhnt sind, indem wir nicht Stärke von der Nachtigall und Gesang vom Pferde fordern. — Dieser obige Einwurf ist vollkommen aus dem Einfluß des Dualismus hervorgegangen, den wir bekämpfen; er ist voll von der Vergötterung der Allgemeinheiten, dieser Absorption des Individuums durch die Gesellschaft.

Stellen Sie Ihre Unabhängigkeit über alles, retten Sie, emanzipieren Sie sich, und das Übrige wird kommen. Ob Sie eine Stelle,

eine Tätigkeit, eine Rolle in dem Gewühl dieser Welt spielen werden,— interessiert mich wenig, und sollte auch Sie vollkommen kaltblütig lassen.— Es ist nichts Wichtiges, nichts Substantielles darin. Vielleicht ist's, vielleicht auch nicht, ohne daß das eine wie das andere der Welt oder Ihnen schadet. <Я советую Вам не внезапно остановиться и проститься с деятельной жизнью, а советую начать собственную, независимую жизнь, Ваше бытие, столь сильное, столь самостоятельное, что Вы могли бы спасти его, погибши хоть весь мир. Я не только очень далек от того, чтобы наполнить Вашу душу горечью против людей, я хотел бы закалить Вас против своего нравственного гнева, примирить Вас с людьми, как мы примирились с природой, не требуя силы от соловья и пения от лошади. Это изложенное выше возражение полностью произошло от влияния дуализма, который мы оспариваем; он полон обожествления всеобщности, этого поглощения индивидуума обществом.

Поставьте Вашу независимость превыше всего, спасайтесь, освобождайтесь, остальное придет. Будете ли Вы иметь место, деятельность, играть роль в тревожениях этого мира, меня это мало занимает и должно бы и Вам быть совершенно безразлично. В этом не заключается ничего важного, ничего существенного. Ни то ни другое не повредит миру или Вам).

⁹ *После:* такова экономя природы // und des sozialen Lebens <и общественной жизни>

⁹⁻¹¹ *Слова:* Сила ваша, как капля дрожжей ∞ подвергнувшееся ее влиянию — отсутствуют.

¹⁷⁻²³ *Вместо:* Большинство людей ∞ не тратя себя. // Wenn die andern unser nicht bedürfen, wenn unsere Entwicklung, unsere Tätigkeit nicht mit ihren Tendenzen übereinstimmen, sollen wir uns ihnen dennoch aufdrängen? und wozu? *Zwingen* Sie die Menschen nie, selbst nicht zum edelsten Ziel. Das fürchterliche Beispiel dessen, was in Frankreich vorgeht, mag endlich der ganzen Welt die Augen öffnen.

Tun wir nicht besser daran, uns eine unabhängige Haltung zu verschaffen, uns von der Mitte loszusagen, innerhalb deren wir nichts zu tun vermögen, statt uns abzunützen, indem wir die Natur unserer Zeitgenossen verstümmeln, indem wir uns bemühen, sie glauben zu machen, daß unsere Wünsche auch die ihren seien; statt gegen die untrügliche Gewißheit, gegen eine große Masse zu Felde zu ziehen, die uns umzingeln und wie Sandkörner zermahlen wird? <Если другие в нас не нуждаются, если наше развитие, наша деятельность не совпадают с их стремлениями, должны ли мы все-таки им навязываться и зачем? Никогда не *принуждайте* людей, даже для благороднейшей цели. Пусть страшный пример того, что происходит во Франции, откроет, наконец, глаза всему миру.

Не поступим ли мы лучше, добившись независимого положения, отказавшись от среды, в пределах которой мы ничего не в состоянии сделать, вместо того, чтобы растрчивать себя, искажая природу наших современников, пытаясь уверить их, что наши желания являются также их желаниями; вместо того, чтобы, вопреки несомненной уверенности, выступить в поход против великого множества, которое нас окружит и раздробит, как песчинки?)

²⁵⁻²⁶ *После:* добросовестный поступок. // Vor drei Jahrhunderten verließ eine ganze Bevölkerung ihr Vaterland, weil sie dort für ihre religiösen Gedanken weder Toleranz noch Raum fand; die Heimat, in mitten welcher ihr unter dem Druck der unduldsamen Sitte und starren Institutionen der Tod drohte, um ihren Kampf mit Alt-England über dem Weltmeer fortzukämpfen. Die Flichenden waren es, welche

den Grundstein zu diesem ungeheuren Staat legten, dem einzigen, wo ein freier Mensch in unserer unheilvollen Epoche noch leben kann.

Dieser Staat, welcher aus dem Protest gegen das Verschlingen des Individuums vom Staat hervorgegangen, ist der einzige, welcher innerhalb der bis jetzt möglichen Grenzen die große Idee der individuellen Unabhängigkeit verwirklicht hat. <Три столетия тому назад целое население покинуло свое отчество, потому что не нашло в нем ни терпимости, ни места для своих религиозных идей; покинуло родину, в пределах которой ему грозила смерть под давлением нетерпимых прав и застывших установлений; покинуло, чтобы продолжить борьбу со Старой Англией через океан. Бежавшие и заложили первый камень этого огромного государства, единственного, в котором еще может жить свободный человек в нашу гибельную эпоху.

Это государство, возникшее из протеста против поглощения индивидуума государством, — единственное, которое в ныне возможных границах осуществило великую идею индивидуальной независимости).

СТАТЬИ

La Russie

ВАРИАНТЫ НЕМЕЦКОГО ИЗДАНИЯ
VOM ANDEREN UFER, HAMBURG, 1850.

Стр. 150 (187)¹

⁴ *Вместо:* Mon cher ami <Дорогой друг> // Lieber Herwegh <Дорогой Гервер>

⁴ *После:* Vous avez désiré voir <Вам хотелось ознакомиться> // in deutscher Sprache <на немецком языке>

Стр. 153 (190)

⁵⁻⁷ *Вместо:* la Hongrie saigne <Венгрия истекает кровью> ∞ de son bourreau impérial <своего императорского палача> // Ungarn erwartet den Schutz seiner Rechte von Rußland <Венгрия ожидает защиты своих прав от России>

Стр. 158 (195)

³⁹ *После:* d'une littérature sérieuse <серьезной литературы> // Zwei Russen haben in französischer Sprache über Rußland geschrieben, die Herren Turgeneff und Golowin. Das Werk von Hrn. Turgeneff (1847) hat für uns ein großes Interesse als ein treues Bild der Meinungen, Hoffnungen und Ansichten zur Zeit des Kaisers Alexander, als eine Autobiographie des Verfassers, der seiner Zeit viel gesehen hat, aber das Rußland nicht kannte, welches sich nach 1825 entwickelt hat. Die Anschauungsweise des Hrn. Turgeneff, die uns an den feinen Liberalismus des Ministeriums Decaze und Martignac erinnert, ist unglücklicherweise gar nicht imstande, die russischen Verhältnisse richtig aufzufassen. In den Schriften von Hrn. Golowin kann man alles finden, was Rußland drückt, was man abschaffen muß, aber nichts von dem, was man bewahren muß. Sie sind eine protestierende Veröffentlichung alles dessen, was dort in erzwungenen Stillschweigen verhallt; die Angabe dessen was in der offiziellen russischen Welt geschieht, ist von umso größerem Nutzen, als die

¹ В скобках здесь и далее — страницы и строки, отсылающие к тексту перевода. — *Ред.*

Regierung vor jeder desfallsigen Veröffentlichung zurückschreckt. Dennoch aber glaube ich, daß man das russische Volk aus den Golowin'schen Werken so wenig als aus den Turgeneff'schen kennen lernen kann. <Двое русских писали на французском языке о России, господа Тургенев и Головин. Труд г. Тургенева (1847) представляет для нас большой интерес как верное изображение суждений, надежд и взглядов времен императора Александра, как автобиография писателя, который в свое время многое видел, но не знал России, развившейся после 1825 года. Образ мыслей г. Тургенева, папоминающий тошкый либерализм министерства Деказа и Мартиньяка, к несчастью, не позволяет верно понять положение вещей в России. В сочинениях г. Головина можно найти все, что угнетает Россию, что нужно уничтожить, но ничего нет о том, что нужно сохранить. Это проникнутое протестом раскрытие всего того, что там замирает в вынужденном молчании, рассказ о том, что происходит в официальном русском мире, представляет тем большую пользу, что правительство пугается каждой такой публикации. Тем не менее я полагаю, что узнать русский народ по сочинениям Головина так же невозможно, как по сочинениям Тургенева.>

Стр. 160 (197)

²⁻⁴ *Вместо:* partout il est à Pétersbourg <всюду он в Петербурге> ~ une teinte uniforme <однообразную окраску> // und bleibt volkommen in derselben Petersburger Schicht. Diese Schicht, man beachte es wohl, hat sich wie ein schweres Öl, welches dem Volke die frische Luft nimmt, bis zu den fernsten sibirischen Grenzen verbreitet. <и остается полностью в том же петербургском слое. Этот слой, подобно тяжелому маслу, лишаящему народ свежего воздуха, распространяется до самых далеких сибирских границ.>

Стр. 168 (205)

¹⁸⁻¹⁹ *После:* de renoncer à la commune <отказаться от общины> // *примечание:* Ein Gesetz, das im Anfang dieses Jahrhunderts erschien, gibt den Kommunen, die sich vom Adel befreien, das Recht, das Land nach europäischen Prinzipien zu verteilen. Es ist aber noch kein Fall vorgekommen, daß die Bauern von diesem Rechte hätten Gebrauch machen wollen. <Закон, изданный в начале этого века, дает общинам, освобождающимся от дворянства, право распределять землю на европейских основаниях. Не было однако еще случая, чтобы крестьяне захотели воспользоваться этим законом.>

Стр. 186 (223)

³⁰ *После:* vous viendrez m'y rejoindre? <вы последуете туда за мною?> // Jetzt genug! Solche Monster-Dedikationen bekommt man selten, überhaupt bekommt man Dedikationen nicht von Barbaren. <Теперь довольно! Такие посвящения-монстры получают редко, вообще от варваров посвящений не получают.>

³¹ *Вместо:* Londres, le 25 août 1849 <Лондон, 25 августа 1849> // Montreux, den 25 August 1849 <Монтре, 25 августа 1849>.

Lettre d'un Russe à Mazzini

ВАРИАНТЫ НЕМЕЦКОГО ИЗДАНИЯ
«VOM ANDEREN UFER», HAMBURG, 1850

Стр. 224 (231)

После заглавия, место сноски:

¹⁽¹⁾ Fortsetzung des Briefes an Georg Hegwegh <Продолжение письма к Георгу Гервергу>

Стр. 226 (233)

²⁹ *После*: sur ses mains fratricides <со своих братоубийственных рук> // Diese Flecken werden an ihren Händen bleiben, bis es die Mitschuldigen des Attentats, vom Präsidenten an bis herab auf den letzten Soldaten gestraft haben wird, der es gewagt hat, sein Gewehr auf die Brust eines Römers zu setzen. Frankreich hat ihrer Rolle der revolutionären Hegemonie entsagt. <Эти пятна останутся на ее руках до тех пор, пока она не накажет всех участников покушения, от президента до последнего солдата, посмевшего приставить ружье к груди римлянина. Франция отказалась от своей роли революционной гегемонии>.

Стр. 228 (235)

²² *Вместо*: il murmure <он ропшет> // Die Armee, welche Polen und die westlichen Provinzen besetzt hält, ist unzufrieden <Армия, занявшая Польшу и западные области, недовольна>

²⁵ *После*: de l'armée <армии> // von 600 000 Mann <в 600 000 человек>.

Стр. 230 (238)

²⁷ *После*: périr <погибнуть> // Die Einnahme von Konstantinopel würde die letzte Anstrengung, der letzte Aufschwung einer Macht sein, die am Verlöschen ist. <Занятие Константинополя было бы последним усилием, последним подъемом близкой к угасанию власти>.

³² *Слова*: Salut fraternel <братский привет> — *отсутствуют*.

³³ *Вместо*: 20 novembre (20 ноября) // 10 November <10 ноября>.

ДОЛГ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

ВАРИАНТЫ ИЗДАНИЯ 1854 г.

Стр. 254

¹⁶ *Вместо*: разумеется — // весьма может быть что

Стр. 259

⁷ *Вместо*: надо // надобно

³⁷ *Вместо*: который хотя // хотя он

Стр. 265

²² *Вместо*: сапоги // башмаки

Стр. 269

²⁴ *Вместо*: Похудев, состарясь // Худая и состаревшаяся

Стр. 271

⁶ *Вместо*: седьмую // четырнадцатую

²⁴ *Вместо*: седьмой // четырнадцатой

Стр. 278

¹⁶ *Вместо*: весьма неприятное // далеко от того, чтобы быть приятным

Стр. 279

⁵ *Вместо*: когда // в которую

Стр. 280

²⁶ *Вместо*: княгинина // княгинино

Стр. 281

³³ *Вместо*: пришло // получил

Стр. 284

³³ *Вместо*: моряка // майора

Стр. 299

²² *Вместо*: его назначили // Апатоля назначили

Стр. 301

²⁵ *Вместо*: привыкших // привыкнувших

Стр. 302

³⁶ *Вместо*: стояли головой // готовы были лезть в петлю

Стр. 303

¹⁸ Слова: я знаю — отсутствуют.

²⁰ Слова: ma foi — отсутствуют.

Стр. 304—308

³⁰⁻¹⁸ *Вместо*: Как попал Анатолий ∞ с графом Ксаверием // ... Новое, страшное столкновение с долгом ожидало Анатоли во время Польской войны. Разумеется, все его симпатии были за героических поляков, но как же было идти в отставку во время войны. После всех ужасов усмирения Варшавы Анатолий воротился в Москву, по русская жизнь опостылела ему. Без цели, без плана отиравился и он, как все мы, бродить по Европе.

Когда Европу *досмотришь*, в ней делается невыносимо скучно, без особого занятия. Анатолий начинал чувствовать страшную пустоту, как вдруг неожиданная встреча оживила его. Молодой польский выходец, израненный при взятии Варшавы, лечился на тех же водах, на которых жил здоровый Анатолий. Сначала поляк будировал русского офицера, потом они сблизились, потом сделались неразрывны.

В этой встрече

Стр. 308

³¹⁻³² Слова: светский человек в нашем смысле слова — и породистый поляк — отсутствуют.

Стр. 308—310

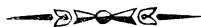
³⁷⁻⁷ *Вместо*: Граф Ксаверий должен был ∞ носить до конца жизни // Поляк совершенно овладел Анатолем. Через год он сделался католиком, через два иезуитом. Жена его умерла.

С дня официального принятия в братство Ии'уса старый скептицизм проснулся в душе Анатоля.

Стр. 310

¹⁷ После: не верил, и // вероятно

¹⁹ *Вместо*: Таков был мой план // Вот и всё



ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ

С ТОГО БЕРЕГА

ВАРИАНТЫ РУКОПИСИ (ЦГА ОР)

〈A mon fils Alexandre〉

Стр. 313

¹⁴ *После:* te tromper 〈тебя обманывать〉 — *было:* je te crois digne de connaître 〈я тебя считаю достойным знать〉

Стр. 314

⁴ *Вместо:* à la maison 〈домой〉 — *было:* en Russie, où 〈в Россию, где〉

ВАРИАНТЫ АВТОРИЗОВАННОГО СПИСКА (ЛБ)

После грозы

Стр. 341

³¹ *Вместо:* ходили — *было:* сходили

Стр. 342

¹³ *Вместо:* копающую песок — *было:* копавшую, замирѣя, песок, и

Стр. 345

⁴⁻⁵ *Цитата из Шиллера* вписана рукой Герцена.

³⁹ *После:* осталась она — *было:* выносит это она ради

Стр. 346

¹⁰ *Вместо:* так — *было:* там

¹¹ *Перед:* переулках — *было:* этих

¹² *Перед:* не осталось — *было:* теперь

Стр. 347

²⁵ *Вместо:* людьми баррикад — *было:* арестантами

²⁹⁻³⁰ *Вместо:* Фигаро ∞ забавнее? — *было:* Буржуази, собравшая венком около Фигаро, президента республики, основанной на убийстве, на état de siège, на тюрьмах, на доносах, на гонениях, на уничтожении всех прав личности.

⁴⁴⁻⁴⁵ *Вместо:* укорениться — *было:* вкорениться

⁴⁶ *Вместо:* 17 — *было:* 27

Стр. 348

⁴ *Вместо:* падай глупо — *было:* подло, глупо

⁹ *Перед:* она взяла — *было:* вот

⁴¹ *Перед:* Узкость пониманья — *было:* Выборы, по несчастью, выражали большинство выбиравших, тем-то собрание и страшно. Его

- ⁴¹ *Перед:* отсталость — *было:* его
После: тупоумье — *было:* представляют раздирающий душу акт против Франции

Стр. 349

- ¹⁰ *Вместо:* 700 — *было:* 800

¹³ *После:* гвардия — *было:* т. е. та, которая была за Собрание

¹⁵ *После:* пленных — *было:* поучая мальчишек мобили

¹⁶ *Вместо:* мобили раздавали — *было:* Каваньяк раздавал сам

²¹ *Перед:* то же преследование — *было:* все найсвирепейшию меры продолжаютя

²⁵ *Перед:* В первые дни — *было:* Месть — на этом они с чма сошли.

³³ *После:* люди — *было:* ненавидят ее

³⁶ *Перед:* провозглашенное — *было:* правовое

Стр. 350

⁶ *После:* Буржуази — *было:* торжествует зато, она теперь по праву, данному Каваньяком

⁸ *Перед:* Несколько граждан — *было:* То ли делается

¹⁷ *Вместо:* его — *было:* этого

³⁹ *Вместо:* наступит — *было:* здравствует

ДОЛГ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

ВАРИАНТЫ АВТОРИЗОВАННОГО С₂ П И С К₂ А (Ц Г А Л И)

Стр. 363. *Тексту предшествовало:*

О т с о ч и н и т е л я

Я не знаю, какая цель может быть возвышеннее для автора, как своими писаниями поучать, исправлять нравы; это обязанность всякого берущего перо в руки, — исполнение ее, как исполнение всякого долга, носит в себе свою награду — ибо что может быть приятнее, как учить других, возвышать их до *нашего* совершенства! Но мораль не должна являться в слишком сухой и строгой форме; она может украсить чистое чело свое ветрами вымыслов. Хорошо было Цицерону заставлять своего сына Марка читать скучное сочинение «Об обязанностях» — ибо слепое повиновение родительской воле есть уже само по себе священный долг. Напротив, Сильвио Пеллико, не имевший никакого сына, написал тоже книгу *dei doveri*¹ — ее приняли с достоуважением, но уже никто не читал.

Устрашенный его примером, я решился любимую тему мою, что «человек должен не рассуждать об обязанностях, а исполнять их, что долг прежде всего, что награда идет сама за исполнением», развить в нравостительной повести. Здесь, на пустынных и обмываемых Ламаншем скалах Нормандии, написал я часть моей предполагаемой повести, именно ту, которая предшествует первой.

Повергаю ее суду благосклонных читателей.

Гавр де-Грас.

25 августа 1847.

Стр. 364

⁷ *Вместо:* так — *было:* и доходила до того

¹⁷ *Вместо:* тупеть — *было:* тупеть с тех пор

¹ об обязанностях (итал.).—*Ред.*

Стр. 365

⁴⁴ *Вместо:* оборачивая — *было:* обращаая

Стр. 367

¹³ *Вместо:* каморку — *было:* маленькую каморку

Стр. 370

²⁶ *Вместо:* невольного — *было:* особого

²⁹ *Вместо:* к несчастью — *было:* особенно потому, что

Стр. 379

³ *После:* деревне — *было:* в то время как брат поехал в гвардию

⁴ *Вместо:* каждую — *было:* всякую

³⁶ *Вместо:* деятельно принялся — *было:* принялся с своей стороны

Стр. 381

¹⁶ *После:* переворота — *было:* и на ней все оборвалось

Стр. 383

⁴⁰ *После:* Горация — *было:* который произносил в этом роде: Беатюкки прокюль негосинс, патерна рюра сксерсит бобюс сюис. Само собою разумеется...

Стр. 391

¹⁵ *Вместо:* его душою овладело — *было:* его душу посетило

Стр. 394

³⁹ *Вместо:* Любя стяжание, он тем не менее — *было:* При всей скуности своей он

Стр. 403

³⁸ *Слова:* который заперся у себя в кабинете — *вписаны.*

Стр. 409

² *После:* «Долг прежде всего») — *было:* Ницца. 13 октября 1851 г.

Стр. 413

³¹⁻³² *Вместо:* Анатолий увидел перед собой если не выход, то перемену. — *было:* Нашелся если не выход для Анатолия, то развлечение, перемена.

Стр. 416

⁴⁶ *Вместо:* своего достоинства — *было:* своей должности

Стр. 418

¹⁷ *Вместо:* ...Корнет Анатолий был взят князем к себе — *было:* Как только Анатолий был произведен в корнеты, князь взял его к себе.

Стр. 420

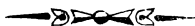
²⁹ *После:* исполнения — *было:* Шесть месяцев, проведенные им юнкером, прошли в военной гимнастике; манеж, ученья физически развлекали его. Тут он попал в адъютанты, т. е. ничего не делал, являлся утром на минуту к князю, два раза в неделю у него обедал и по праздникам делал с ним визиты. Притеснение отца сначала, грустное отношение к жене потом — совершенно поглощали его.

Стр. 422

³⁰ *Вместо:* бедной — *было:* грязной

Стр. 429

¹⁸ *После:* поразила его — *было:* тем более, что он не ожидал такой быстрой развязки



КОММЕНТАРИИ



Шестой том собрания сочинений А. И. Герцена содержит произведения 1847—1851 годов, за исключением «Писем из Франции и Италии», составляющих V том настоящего издания.

Центральное место в томе принадлежит книге «С того берега» (1847—1850).

Впервые публикуются (в разделе «Другие редакции») ранние редакции некоторых глав «С того берега»: «Прощайте!» («Addio!»), «Перед грозой», «После грозы», «Донозо Кортес...», источниками которых по большей части являются авторизованные и современные Герцену авторитетные копии. Эти редакции, а также варианты других списков, первого (немецкого) издания «С того берега» (1850) и журнальных публикаций отдельных глав на иностранных языках по-новому освещают существенные моменты идейного развития и деятельности Герцена и весьма важны для творческой истории этой книги.

Заметка «Вместо предисловия или объяснения к сборнику» посвящена вопросу о создании вольной русской печати за границей.

Статьи «La Russie» («Россия») и «Lettre d'un Russe à Mazzini» («Письмо русского к Маццини»), опубликованные автором в 1849 г. на французском, немецком и итальянском языках, представляют собою первые сочинения Герцена о России, обращенные к западноевропейскому читателю.

Впервые публикуется в настоящем томе ранее неизвестная театральная рецензия Герцена на пьесу Ф. Понсара «Шарлотта Корде», появившаяся в парижской газете «La Voix du Peuple» 26 марта 1850 г. Основание ее авторства явилось итогом разысканий, производившихся Л. Р. Ланским для «Литературного наследства».

Заключает том повесть «Долг прежде всего» (1847—1851).

Из статей Герцена, относящихся к 1847—1851 годам, остаются неразрысканными шуточный набросок «На пароходе» (см. письмо Герцена из Ниццы к Г. И. Ключареву от 20 ноября 1847 г.), который иногда совершенно неосновательно смешивают с «Перед грозой» (см. об этом ЛН, т. 39-40, стр. 203), и несовершенный памфлет «Эмиль Жиранден и Эммануил Кант», о работе над которым Герцен сообщал Гервегу весной 1850 г.

С ТОГО БЕРЕГА

Печатается по тексту издания: «С того берега» Искандера. Издание второе, пересмотренное автором. London, 1858.

Этому изданию предшествовало немецкое издание 1850 г. и русское издание 1855 г.

Немецкое издание было напечатано в Цюрихе осенью 1849 г. По соглашению с издателем Кампе весь тираж весной 1850 г. был перевезен в Гамбург, где были подпечатаны обложка и титульный лист: «Vom anderen Ufer. Aus dem Russischen Manuskript. Hamburg, Hoffmann und Campe», 1850. Это издание, вышедшее в свет анонимно, в отличие от последующих, было разделено на две части. Первая часть, в которую вошли статьи-диалоги «Перед грозой», «Vixerunt!» и «Consolatio», имела общее заглавие «Wer hat Recht?» («Кто прав?») и эпиграф из «Прометея» Гёте (см. стр. 452). Во вторую часть вошли статьи «После грозы» и «LVII год республики, единой и нераздельной» с общим заглавием: «23, 24, 25, 26 июня 1848 г.» Книга заканчивалась статьями «An Georg Herwegh» (почти одновременно напечатанной по-французски под названием «La Russie») и «An Giuseppe Mazzini» (см. стр. 150—223 и 224—238 настоящего тома).¹

Намерение издать отдельной книгой немецкий перевод своих статей возникло у Герцена летом 1849 г. (см. письмо его к жене от 23 июня).

Перевод был выполнен самим Герценом при участии литератора Ф. Каппа, которому Герцен диктовал по-немецки с русского оригинала. В литературном редактировании перевода принял участие Г. Гервер. 27 сентября 1849 г. Герцен писал из Женевы московским друзьям Т. Н. Грановскому, Е. Ф. Коршу и др.: «Разговоры мои, переведенные мною и неким Каппом, исправленные Гервегом, имели большой успех; они в корректурных листах ходили из рук в руки».

26 сентября Герцен послал один экземпляр отпечатанных листов (без двух последних статей) в Москву Т. Н. Грановскому, которого просил прислать ему замечания на «Vom anderen Ufer», предполагая использовать их при французском переиздании этой книги. Однако ни французское издание, ни второе, дополненное и исправленное, немецкое издание, о котором Герцен вел переговоры с Кампе, в свет не вышли.

Отдельные статьи, вошедшие в состав книги, печатались в различных периодических изданиях — немецких, французских и итальянских (см. комментарии к главам).

Первое русское издание (Лондон, 1855), вышедшее под псевдонимом *Искандер*, открывалось посвящением «Сыну моему Александру» и введением, включавшим в себя обращение к русским друзьям под заголовком «Прощайте!» Кроме того, Герцен ввел в книгу статьи «Эпизод 1849», «Omnia mea mecum porto» и «Донозо Кортес, маркиз Вальде-

гамас, и Юлиан, император римский» и исключил статьи «Ж. Г. Гервегу» и «Ж. Д. Маццини». В таком составе, с небольшими стилистическими изменениями (см. раздел «Варианты»), «С того берега» было перепечатано Герценом в Лондоне в 1858 г.

Вышедшее в Москве в 1861 г. подпольное литографированное издание «С того берега» является воспроизведением лондонского издания 1858 г. К этому изданию Герцен, по видимому, никакого отношения не имел.

Автографы статей, включенных Герценом в книгу «С того берега», неизвестны, если не считать ранней французской редакции посвящения «Сыну моему Александру» и факсимильного воспроизведения русского варианта (см. разделы «Другие редакции» и «Варианты»). Для изучения творческой истории «С того берега» огромное значение приобретают современные Герцену копии отдельных статей, восходящие к несохранившимся авторским рукописям и выполненные женой Герцена Натальей Александровной («Dédication»), его близким другом М. К. Эрн-Рейхель («После грозы» — копия, выправленная самим Герценом), его московским приятелем Н. Х. Кетчером («Addio!», «Перед грозой») и, наконец, неустановленным лицом (писарем) в конце 1840-х годов («Vive-hunt!»). Эти копии ранних редакций статей Герцена содержат весьма значительное количество смысловых и стилистических различий и ряд страниц, исключенных Герценом при подготовке рукописей к печати и совершенно не известных современному читателю. Особенности французской, первоначальной редакции статьи «Донозо Кортес» отмечены в комментарии к разделу «Другие редакции».

Варианты издания 1855 г. и рукописных авторизованных копий «С того берега» приводятся в соответствии с общими правилами, принятыми в настоящем издании. По немецкому изданию 1850 г. и немецким и французским журнальным публикациям приведены лишь варианты, имеющие существенное смысловое значение.

В текст издания 1858 г. внесены следующие исправления:

- Стр. 20, строки 24—26:* углубляться в себя, в жизнь. Паскаль говорил, что люди играют в карты для того, чтоб не оставаться с собой наедине *вместо:* углубляться с собой наедине (по изд. 1855 г.).
- Стр. 21, строка 8:* путами *вместо:* путями (по изд. 1855 г.).
- Стр. 22, строка 1:* старит *вместо:* стареет.
- Стр. 22, строка 37:* всего *вместо:* своего (по изд. 1855 г.).
- Стр. 27, строка 5:* с ними *вместо:* с ним (по изд. 1855 г.).
- Стр. 28, строка 2:* он *вместо:* оно (по изд. 1855 г.).
- Стр. 38, строка 21:* отделаться *вместо:* отделяться (см. контекст).
- Стр. 44, строка 22:* осенний *вместо:* весенний (по изд. 1855 г.).
- Стр. 49, строка 5:* 22 сентября *вместо:* 22 октября (см. примечание к стр. 49).
- Стр. 56, строка 6:* богатства *вместо:* богатство (см. контекст).
- Стр. 58, строка 30:* строить *вместо:* стран (по изд. 1855 г.).
- Стр. 59, строки 14—15:* каждая — достигнутая цель *вместо:* каждая достигнутая цель (см. контекст).
- Стр. 63, строка 25:* Июльской колонны *вместо:* Июньской колонны (см. примечание к стр. 63).
- Стр. 69, строка 24:* встретит *вместо:* встретил (по изд. 1855 г.).
- Стр. 88, строка 4:* восхищаясь *вместо:* восхищался (по изд. 1855 г.).
- Стр. 101, строка 2:* сказы *вместо:* фразы (по изд. 1855 г.).
- Стр. 101, строка 36:* враждебных *вместо:* враждебной (по изд. 1855 г.).
- Стр. 110, строка 34:* наследственную *вместо:* наследственно (по изд. 1855 г.).
- Стр. 112, строка 26:* XVIII столетия *вместо:* XVII столетия (по изд. 1855 г.).
- Стр. 131, строка 13:* то *вместо:* это (см. контекст).

Стр. 136, строка 9: видит вместо: видел (по изд. 1855 г.).

Стр. 142, строка 25: 18 марта в место: 15 марта (см. примечание к стр. 142).

В книге «С того берега» нашли наиболее яркое отражение духовная драма Герцена, пережитая им после июньских дней 1848 г., все кричащие противоречия его мировоззрения в этот период, разочарование в утопических верованиях и мелкобуржуазных иллюзиях.

В «Былом и думах» Герцен так вспоминал об обстановке и настроении, сопутствовавших созданию «С того берега»: «Наскучив бесплодными спорами, я схватился за перо и сам в себе, с каким-то внутренним озлоблением убивал прежние упования и надежды» (глава «1848»). Но высказав все терзавшие его мучительные сомнения, подвергнув критике обветшалые и обреченные воззрения, Герцен тем самым обретал новую почву для продолжения идейной борьбы. В письме к Гессу от 3 марта 1850 г. он говорит об этой своей «брошюре»: «... я освободился от своих горестных ощущений, когда написал ее».

Герцен не раз указывал на то, что «С того берега» — не теоретический трактат, формулирующий какую-либо окончательную точку зрения, «не пропагандистская работа» (письмо к М. Гессу от 3 марта 1850 г.). В письме к московским друзьям от 19 июня 1851 г. он писал: «Это не наука, а обличение, это бич на нелепые теории и на нелепых риториков-либералов, фермент — и больше ничего». В посвящении сыну, впервые предпосланному изданию «С того берега» 1855 г., Герцен указывал: «Не ищи решений в этой книге», а 3 марта 1850 г. в письме к Гессу он подчеркивал, что в ней преобладает «элемент лирический».

«С того берега» и следует рассматривать как насыщенный глубоким теоретическим содержанием лирический рассказ автора о своем «логическом романе», о своих идейных исканиях после поражения революции 1848 года. Охваченный пессимизмом, Герцен нередко шел в ошибочном направлении, колебался, срывался, впадал в отчаяние, оказывался в тупике. Но он никогда не переставал искать пути, ведущего вперед, к будущему, и имел поэтому право назвать «С того берега» «памятником борьбы», в котором он «пожертвовал многим, но не отвагой знания».

Рассказывая о своих сомнениях и колебаниях, Герцен стремился разбудить мысль читателя, толкнуть его к изучению действительности, к поискам новых решений. «Это захватывает и ведет к жизни, это сердит и заставляет думать», — писал он о своей книге в письме к друзьям от 19 июня 1851 г.

Для верного понимания идейной направленности «С того берега» и той роли, которую предназначал этому произведению сам Герцен, существенное значение имеют ранние редакции отдельных глав, а также состав (в частности, включение статей «Россия» и «Письмо русского к Мадзини») и композиция первого немецкого издания 1850 г., его отличия от последующих русских изданий 1855 и 1858 гг. (см. текстологический комментарий).

Во введении к книге («Прощайте!»), которое содержалось в первоначальной русской рукописи и не было включено в немецкое издание, сформулированы задачи, стоящие перед русским передовым человеком за рубежом. Как показывает ранняя редакция этого введения («Addio!»), Герцен говорил здесь о своем намерении начать создание вольной русской печати. Эта редакция является единственным известным в настоящее время доказательством того, что уже в начале 1849 г. («Прощайте!» датировано 1 марта) Герцен поставил перед собою эту задачу огромного исторического значения.

Эта ранняя редакция содержит также заявление Герцена о том, что он уже «больше двух лет» (т. е., очевидно, с момента приезда во Францию) пропагандирует за границей русскую общину

Сопоставление напечатанных в настоящем томе вариантов немецкого издания и публикаций отдельных глав «С того берега» на иностранных языках, с одной стороны, и других редакций, а также вариантов некоторых глав «С того берега» — с другой, показывает с очевидностью, что основой немецкого издания явился перевод первой русской редакции соответствующих частей герценовского произведения¹.

Материал этот в целом свидетельствует, что в первой редакции «С того берега» пессимистические настроения, сомнения в творческих силах народа, упование на «индивидуальную независимость» и т. п. были выражены гораздо резче, чем в последней редакции, напечатанной в русском издании, отличающейся также рядом таких пропитательных социальных и политических прогнозов, которых еще не было в первой редакции.

Но и в 1850 г., обращаясь к читателю с произведением, имевшим в тот момент животрепещущее значение и содержавшим в своем немецком варианте злободневный именно для немецкого читателя материал, Герцен отнюдь не навязывал какие-либо окончательные безысходно-пессимистические выводы.

Это подчеркнуто особенно тем обстоятельством, что диалогические главы «С того берега» были объединены заголовком «Кто прав?» Такая композиция оттеняла спорность высказанных здесь точек зрения. Каждый из участников этих диалогов высказывает в споре глубокие мысли, интересные и оригинальные соображения, использует поэтические образы. При этом, если в диалогах «Перед грозой» (ср. «После набега» в части VIII «Былого и дум») и «Vixerunt!» идейная позиция самого Герцена в его споре с «мечтателем и идеалистом», под которым разумеется И. П. Галахов² (см. характеристику последнего в XXIX главе «Былого и дум»), выясняется сравнительно легко, то значительно более трудно определить, какой именно из двух собеседников высказывает в каждый данный момент точку зрения самого автора в диалоге «Consolatio». Хотя Герцен и доверяет здесь некоторые свои мысли доктору, тем не менее можно утверждать, что в целом холодный и созерцательный скептицизм последнего во многом противостоит взволнованным духовным исканиям автора «С того берега». В этом отношении Герцену гораздо ближе настроения и взгляды собеседницы доктора, трезво смотрящей на действительность и вместе с тем упорно ищущей пути вперед, к новому миру, к новому общественному устройству.

Что касается первого русского издания 1855 г., то оно уже не имело того непосредственно злободневного значения, которое было присуще немецкому изданию. Сам Герцен рассматривал теперь эту книгу как памятник.

Следует иметь при этом в виду, что ранняя редакция «После грозы» (см. наст. том, стр. 341—350) предшествует и той редакции, с которой эта глава была переведена в немецком издании. Помимо множества разночтений, в этой первой редакции вовсе отсутствует описание Парижа накануне и в самые дни июньских боев, а с другой стороны, здесь дана характеристика буржуазной реакции во Франции, впоследствии Герценом исключенная.

Со стороны идейного содержания эта редакция представляет собою крайне противоречивое смешение надежд на пролетариат с идеализированным представлением о февральской революции и пессимизмом, вызванным июньскими днями.

Эта ранняя редакция «После грозы» является также одним из крайне немногочисленных известных нам документов, позволяющих восстановить процесс работы Герцена как мастера стиля.

² Ранние редакции «Перед грозой» (см. стр. 324—340) показывают, что первоначально Герцен хотел своему собеседнику придать черты итальянца, получившего философское образование в Германии.

прошлой борьбы, справедливо считая вместе с тем, что произведение это сохранило всю свою ценность как призыв к «отваге знания».

Представляет интерес и то, что Герцен здесь нарушил тот хронологический (по датам написания) порядок, в котором были расположены главы «С того берега». Статья «Донозо Кортес...», появившаяся в печати 18 марта 1850 г., помещена в конце книги, после главы «Omnia mea mesum porto», датированной 3 апреля 1850 г. Таким образом, финал главы «Донозо Кортес...», выражающий веру в будущую победу революции и социализма, заключает собою и всю книгу.

Отражая духовную драму Герцена, его идейные поиски и колебания, книга «С того берега» содержит глубоко противоречивые оценки действительности и путей исторического развития.

Центральное место в книге занимают вопросы о перспективах революции, о взаимоотношениях народных масс, пролетариата и передовой мысли.

Герцен признавал, что «сила социальных идей велика, особенно с тех пор, как их начал понимать истинный враг, враг по праву существующего гражданского порядка — пролетарий, работник...» Указываял он и на стихийную силу народного движения. Но считая вероятной, а порой и неизбежной будущую революцию народных масс, которая сметет буржуазный строй, и приветствуя ее, Герцен склонен был представлять себе этот грядущий переворот как катастрофическое событие, несущее «хаос и истребление», как приостановку культурного развития человечества на десятки и сотни лет.

В «Эпизоде 1849», подводя безотрадный итог этому году, Герцен говорил о том, что «народы, как царские дома, перед падением тупеют», т. е. распространял здесь свою мысль о падении «мещанской Европы» и на народные массы. Он допускал даже возможность того, что западноевропейский пролетарий превратится в «мелкого собственника» — тогда «все силы, таящиеся теперь в многострадальной, но мощной груди пролетария, иссякнут...» Мысль эта в дальнейшем не раз повторялась в произведениях Герцена 50-х и начала 60-х годов.

Отнюдь не отрицая глубокой органической, духовной связи, существующей между наиболее выдающимися людьми искусства и науки и народом (например, между Гёте и немецким народом), Герцен очень скептически оценивал возможность — в сколько-нибудь обозримом будущем — соединения народа и передовой мысли.

Поражение пролетариата в июньские дни привело Герцена и к сомнениям в целесообразности революционного насилия. Он заявлял, например, имея в виду диктатуру якобинцев: «...Много прощается развитию, прогрессу; но тем не менее, когда террор делался во имя успеха и свободы, — он по справедливости возмущал все сердца».

Противоречивость оценок и прогнозов Герцена объясняется тем, что, как писал В. И. Ленин, «Духовный крах Герцена, его глубокий скептицизм и пессимизм после 1848-го года был крахом *буржуазных иллюзий* в социализме» (В. И. Ленин. Сочинения, т. 18, стр. 10).

Решительно выступая против всего старого и обветшавшего в идейной жизни эпохи, Герцен не видел тогда путей к будущему, ту новую массовую революционную силу, на которую могли бы опереться его чаяния, не понимал исторической роли пролетариата.

Герцен стремился вперед, но часто ошибался в выборе верного пути, отступал поэтому назад, закрывал глаза на широкие исторические перспективы, открывавшиеся перед человечеством.

«С того берега» отражает вместе с тем понимание Герценом несостоятельности разного рода утопически-социалистических учений, тех или иных разновидностей буржуазного и мелкобуржуазного социализма с их идеализмом и романтизмом. Решительно отвергает Герцен иллюзии,

которым сам он раньше отдавал дань. Таковы в особенности надежды на буржуазную республику и буржуазную демократию.

С материалистических позиций выступает Герцен против христианских идеалистических воззрений и телеологических концепций, свойственных не только реакции, но и либерализму и буржуазной демократии. Последняя, по словам Герцена, «еще стоит на христианском берегу, в ней бездна аскетического романтизма, либерального идеализма...»

Имея в виду «суд неподкупного разума», Герцен заявлял: «Пора человеку потребовать к суду: республику, законодательство, представительство, все понятия о гражданстве и его отношениях к другим и к государству».

Понимание Герценом банкротства прежних верований и «упований теоретических умов», осмеянных «демоническим началом истории», не имело ничего общего со скептицизмом усталых и испуга, прикрывавшим переход ренегатов в лагерь контрреволюционного либерализма.

Бессилию утопически-социалистических учений перед действительностью, слабости их «нравоучительной точки зрения» и отвлеченной «моральной оценке событий и журьбы людей», их бесплодным стремлениям переделать мир по «какой-нибудь программе», заранее данной и добытой рационалистическим путем, Герцен противопоставляет необходимость изучать действительность, историю, народную жизнь, «эту самобытную физиологию рода человеческого, сродниться, пожать ее пути, ее законы», т. е. найти объективные закономерности исторического развития. Такое направление идейных исканий Герцена свидетельствовало об их глубокой плодотворности.

В книге ясно чувствуется стремление прийти к «возмужалой логике», «закалиться в новых свежих понятиях».

В своей книге Герцен остается верен идее социализма, но хочет увидеть теперь в последнем не отвлеченную проповедь, а такую научную теорию, которая способна указать действительный путь к «сознательному действию», к осуществлению социалистических идеалов.

В социализме Герцен провидит новую всемирно-историческую эпоху, долженствующую прийти на смену эпохе христианства, которой предшествовал древний мир, эпоха античности. С точки зрения Герцена эпоха христианства охватывает и феодализм и время господства буржуазии. Это — старый мир, который должен уступить место социализму.

«С того берега» — важнейший документ философского развития Герцена. Опорой для его поисков научной революционной теории служило диалектическое, неоднократно развиваемое в книге «С того берега» убеждение в «невозможности остановить движение» и понимание того, что человечеству для его развития «надобно широкую дорогу».

Но, призывая к тому, чтобы серьезно заняться «историей как действительно объективной наукой», Герцен пытается познать «законы исторического развития» на путях философского натурализма, руководствуясь при рассмотрении явлений общественной жизни аналогиями с жизнью природы. Он высказывает предположение, что «доля всего совершающегося в истории покорена физиологии, темным влечениям», и, остановившись перед историческим материализмом, не видит еще своеобразия общественного развития и законов последнего.

Поэтому в противоречии со своим исходным положением о том, что движение истории не знает предела, что старое уступает место новому, Герцен допускает, что само историческое развитие человечества может быть уподоблено «вечной игре жизни», такому «perpetuum mobile», которое напоминает собою движение маятника (см. «Эпизод 1849»). Из такого представления возникает и глубоко пессимистическая мысль о том, что самая победа социализма в конечном счете способна довести положение общества «до крайних последствий, до немелостей», что и

вызовет вновь протест «революционного меньшинства» и необходимость «грядущей неизвестной нам революции».

Противоречивы и мысли Герцена о возможностях общественной активности передового человека в обстановке поражения революции. Герцен стремится к «сознательному действию», способному оказать влияние на общественную жизнь и ход истории, но считает, что такого действия «не может еще быть». В предпоследней главе «С того берега» — «*Omnia mea mesum porto*» — Герцен говорит уже лишь о возможности «отрицательного действия», о том, что передовой человек вправе целиком уйти во «внутреннюю работу», даже «начать независимую, самобытную жизнь» в стороне от гибнущего старого мира. В этой связи большой интерес представляет обращение Герцена к бразам римских философов первых веков нашей эры.

Еще в «Письмах об изучении природы» Герцен касался исторической роли этих мыслителей как пессимистических и пассивных свидетелей разложения Рима и возникновения христианства. Он упоминал о том, «какие страшные слова вырываются иногда у Плиния, у Лукапа, у Сенеки... Каккая усталость пала на душу людей этих, какое отчаяние придавило их!» (т. III наст. изд., стр. 209). Эта характеристика была связана с проводимой Герценом аналогией между появлением христианства в первые века н. э., с одной стороны, и ростом социалистических учений в 30—40-е годы XIX века — с другой.

Но если в годы работы над «Письмами об изучении природы» Герцен ожидал скорого и легкого торжества социализма, то «С того берега» отражает крушение этих надежд. Поэтому существенным образом меняется и отношение его к тем римским философам начала н. э., пессимизм которых Герцен резко осудил в «Письмах».

В заключении главы «*Consolatio*» Герцен подчеркивает пронизательность их пессимизма — «они не испугались истины». Эти слова вложены здесь в уста скептику-доктору. Но из письма Огареву от 10 июня 1849 г. видно, что Герцен проводил параллель между точкой зрения этих философов и своей собственной, правда, лишь по отношению к западноевропейским событиям. Об этом свидетельствует письмо к М. Гессу от 3 марта 1850 г., где Герцен говорит: «<...> моя позиция наблюдателя определяется моей национальностью; я физиологически принадлежу к другому миру. Я могу с большим равнодушием констатировать страшную язву, которая съедает Западную Европу. <...> мы, русские, находимся в совсем ином положении, чем римские философы — те не имели ничего, кроме своей мысли, мрачной и гордой <...> Мы же, наоборот, только ждем, когда выступить». Большой интерес представляет также письмо к Маддини от 13 сентября 1850 г., в котором Герцен выступает против истолкования «*Omnia mea mesum porto*» как проповеди общественной пассивности. «То, что я требую, что я проповедую, это — полный разрыв с неполными революционерами... Не думайте, что с моей стороны это — предлог отказа от дела. Я не сижу сложа руки, у меня еще слишком много крови в жилах и энергии в сердце, чтобы мне нравилась роль пассивного зрителя. С 13-ти лет и до 38-ми я служил одной и той же идее, имел одно только зная: война против всякой установившейся власти, против всех видов рабства во имя безусловной независимости личности». А 1 июня 1851 г. датировано признание Герцена в том, что содержащийся в названной статье призыв «лично начать новую жизнь» был несостоятелен (см. т. V наст. изд., стр. 209).

Позднее, в «Былом и думах», в главе «1848», Герцен также дал критическую характеристику тех выводов, к которым он пришел в «*Omnia mea mesum porto*».

В данной связи существенно и то, что в немецком издании «С того берега» были даны письма к Г. Гервегу («Россия») и к Маддини, в которых

указывалось на возможность того, что будущее человечества и его судьбы окажутся связанными с Россией (см. комментарии к этим произведениям).

Крайне противоречивы и некоторые высказывания по вопросам эстетики, содержащиеся в книге «С того берега». С одной стороны, Герцен предвидит, что культура, искусство не могут оставаться достоянием «развитого меньшинства», но, с другой — вкладывает в уста доктору из «Соплато» мысль о том, что красота и «страшное богатство сил» недоступны и, повидимому, останутся недоступными народу — «все это не относится к массам, ко всем».

Заслуживает внимания вопрос о заголовке «С того берега». 4 марта 1850 г. Герцен писал М. Гессу: «Заглавие моей брошюры ввело в заблуждение очень многих и в том числе Вас, дорогой господин Гесс. Я написал ее в Швейцарии, и «С того берега» означает только — за рубежом революции, больше ровно ничего».

Имеется однако косвенное доказательство того, что уже тогда Герцен порою вкладывал в этот заголовок более значительное содержание. В письме к Т. Н. Грановскому и другим московским друзьям от 27 сентября 1849 г. содержится фраза: «<...> вы вправе спросить: кто же с вами на одном берегу?»

Во всяком случае в печати и в эпистолярных и устных высказываниях современников заглавие «С того берега» было понято как указание на идейную позицию автора.

Впоследствии в черновом варианте обращения к сыну сам Герцен дал иное истолкование «того берега», нежели то, которое содержится в письме к Гессу. Говоря о мосте в будущее, по которому пройдет будущий человек — строитель грядущего, Герцен в черновом варианте обращения писал: «Ты, может, увидишь его <будущего человека>... не останься на *этом берегу*... Лучше с революцией погибнуть, нежели спастись в богадельне реакции» (см. стр. 440 настоящего тома).

Здесь «тот берег» понимается как берег революции, противопоставленный берегу реакции. Тот же смысл вложен в окончательный вариант обращения к сыну, напечатанный в изданиях 1855 и 1858 годов (см. примечание к стр. 7).

Книга Герцена произвела огромное впечатление как в России, так и в Западной Европе и сыграла значительную роль в идейной жизни и борьбе эпохи.

В России списки глав «С того берега» ходили по рукам. В письме к С. Ф. Дурову от 26 марта 1849 г. А. Н. Плещеев отмечал: «Рукописная литература в Москве в большом ходу. Теперь все восхищаются письмом *Белинского к Гоголю, пьеской Искандера «Перед грозой»...*» («Философские и общественно-политические произведения петрашевцев», Госполитиздат, 1953, стр. 723).

В кругах русской передовой интеллигенции книга Герцена была воспринята прежде всего как полное истинного драматизма и проникнутое пессимистической, но выстраданной мыслью отражение событий всемирно-исторического значения, политического опыта Европы. 12 сентября 1848 г. Н. А. Некрасов писал И. С. Тургеневу: «Я плакал, читая «После грозы» — это чертовски хватает за душу» (Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч. и писем, Гослитиздат, т. X, 1952, стр. 116).

Грановский писал Герцену весной 1851 г. (точная дата письма неизвестна): «...я не могу помириться с твоим воззрением на историю и на человека... Для такого человечества, какое ты представляешь в статьях своих, для такого скудного и бесплодного развития не нужно великих и благородных деятелей... Ты пишешь теперь для немногих, способных понять твою мысль и не оскорбиться ею» (*ЛН*, т. 62, стр. 99).

В отзыве Т. Н. Грановского хотя и чувствуется опасение, что книга может быть воспринята как скептический призыв к общественной

пассивности, но вместе с тем содержится признание того, что горькое разочарование Герцена в утопических иллюзиях и надеждах будет не бесплодным как для самого автора, так и для развития передовой мысли.

Н. И. Сазонов в статье «Литература и писатели в России» видит в книге Герцена отражение «кризиса, но кризиса в могучем организме, где неизбежно должно победить здоровое начало». Он отмечает характерное для произведения «прославление человеческой личности, рассматриваемой как последний обломок рушащегося нравственного мира, как единственная ценность, достойная спасения во время всемирного катаклизма» (*ЛН*, т. 41—42, стр. 199—200).

И сам Герцен в посвящении сыну (1855) называл «С того берега» «протестом независимой личности против воззрения устарелого, рабского и полного лжи...» В самодержавно-крепостнической России такой протест являлся выступлением против политического гнета. Поэтому Горький и видел в книге Герцена «прекрасно разработанное учение о ценности личности — в стране рабов это учение необходимо должно было явиться» (М. Горький. История русской литературы, 1939, стр. 208).

Что касается реакционных кругов, то их представителями были сделаны попытки доказать на примере книги Герцена, как губительны результаты атеизма — таков, например, анонимно изданный в Берлине в 1859 г. памфлет Н. В. Елагина «Искандер Герцен» (глава III «Голос на клик „С того берега“»). С другой стороны, прикрываясь лицемерными уверениями в «высочайшем уважении» к Герцену, Н. Страхов в 1870 г. утверждал, что «С того берега» является полным отречением от идей революции и социализма.

«С того берега», как произведение непреходящего духовного и художественного значения, чрезвычайно высоко ценил Л. Н. Толстой. В своем дневнике он записал 12 октября 1905 г.: «Читал... Герцена „С того берега“ и тоже восхищался...» (Л. Н. Толстой. Полное собр. соч., т. 55, 1937, стр. 165).

Л. Н. Толстой перечитал «С того берега», получив письмо В. В. Стасова от 24 сентября 1905 г., в котором говорилось: «Помните ли вы, Лев Николаевич, вот, например, это „Посвящение моему сыну“ перед началом книги „С того берега“, — помните ли вы? Я миллион раз читал это себе и другим, и всякий раз, словно в первый, в самый первый раз читаю эти скрижали завета» (Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка, 1878—1906, Прибой, 1929, стр. 375).

Однако, как свидетельствует ответное письмо Л. Н. Толстого от 18 октября 1905 г., его восхищение книгой Герцена объяснялось и тем, что в ней он стремился найти созвучное собственным настроениям отрицание целесообразности кровавой революционной борьбы.

Художественных достоинств «С того берега», в особенности диалогической формы книги, в разговоре с Герценом (1862) коснулся Ф. М. Достоевский (см. «Дневник писателя»).

Книга «С того берега» имела большой успех среди демократической интеллигенции Западной Европы, особенно в Германии. В 1872 г. либеральный журнал «Neue Zeit» отмечал, что «знаменитая книга „С того берега“... произвела в Германии глубокое впечатление» («Neue Zeit», 1872, Erste Hälfte, стр. 40). Непосредственное и восторженное чувство, вызванное книгой Герцена, получило отражение в мемуарах М. Мейзенбуг (глава III второй части «Воспоминаний идеалистки»), ставшей позднее другом семьи Герцена и воспитательницей его детей.

О том, что книга «С того берега» вызвала «отзывы, больше нежели лестные» таких виднейших в то время представителей немецкой эмиграции в Швейцарии, как Фребель — он несколько позднее популяризовал «С того берега» в Америке (см. *ЛН*, т. 7—8, стр. 71) — и Якоби, свидетельствует сам Герцен в предисловии к книге. В письме к Т. Н. Грановскому из Швей-

царии от 4 августа 1849 г. Герцен в шутливо зашифрованной форме, имея в виду немецкий перевод «С того берега», писал об успехе этого произведения: «Да кстати, мои маленькие музыкальные пиэски сделали чрезвычайный успех, разыгранные одним приятелем Рейхеля, немецким скрипачем. Я сам не ждал этого».

С другой стороны, книга Герцена подверглась критике как в некоторых органах демократической печати, так и в письмах к автору. Однако ни сторонники, ни противники книги из лагеря буржуазной демократии не могли уяснить себе ее истинного значения.

Р. Зольгер, которого Герцен называл своим «самым остроумным противником» (введение к «С того берега»), в статьях, напечатанных в 1850 г. в «Deutsche Monatschrift für Politik, Wissenschaft, Kunst und Leben»¹, пытался отклонить критику Герценом буржуазно-демократических верований и иллюзий под тем предлогом, что «С того берега» отражает «особую точку зрения», субъективно оправданную положением русского эмигранта, его одиночеством, но не могущую иметь значения идейного принципа. Противопоставляя пессимизму Герцена заявление «наше знамя — народ» и называя воззрения «С того берега» «аристократическими» («Deutsche Monatschrift», 1850, X—XII, стр. 329, 330), Зольгер однако закрывал глаза на основной вопрос, поставленный этой книгой, на необходимость поисков правильной революционной теории, на несостоятельность мирозерцания буржуазной демократии.

Примерно на тех же позициях стоял в своей переписке с Герценом Моисей Гесс (*ЛН*, т. 7—8, стр. 77—89).

Что касается Прудона, то письмо его к Герцену от 15 сентября 1849 г. показывает, что уже тогда между ними лежала идейная грань, которую однако автор «С того берега» еще не замечал: «Я, так же как и вы, думаю, что революция не допускает больше методического, мирного движения с осторожными формами переходов, как того хотела бы чистая экономическая теория и философия истории. Нам надобно будет делать страшные скачки, гигантские шаги. Но я думаю, что в качестве публицистов, возвещая грядущие социальные катастрофы, нам не должно представлять их необходимыми и справедливыми. Мы должны неизменно изыскивать для каждого момента наиболее умеренные и благоразумные решения» (*ЛН*, т. 62, стр. 500).

И Гесс, и Зольгер, и Прудон обвиняли Герцена в излишнем пессимизме, бездоказательно предсказывая скорое приближение нового революционного подъема. Они защищали те буржуазные иллюзии, против которых боролся Герцен.

СЫНУ МОЕМУ АЛЕКСАНДРУ

Впервые напечатано в издании 1855 г. и полностью повторено в издании 1858 г. Черновой автограф, местонахождение которого неизвестно, воспроизведен факсимильно в газете «Речь», 1912, № 83 (см. раздел «Варианты»). Автограф французской редакции этого посвящения (см. раздел «Другие редакции») датирован не 1 января 1855 г., как в печатном тексте, а 5 декабря/23 ноября 1854 г.

¹ Статьи эти были напечатаны в журнале в виде передовых, без подписи, но их обычно приписывают Зольгеру, поскольку другие его статьи на эту тему неизвестны, а он был постоянным сотрудником этого журнала (ср. *ЛН*, т. 61, стр. 363, и Eberhard Wolfgramm. «Alexander Herzen und die „Deutsche Monatschrift“» в «Zeitschrift für Geschichtswissenschaft», Beiheft 1, Berlin, 1954, S. 101).

Это посвящение было прочтено Герценом своему сыну публично по рукописи на новогоднем вечере 31 декабря 1854 г., в присутствии многочисленных представителей европейской революционной эмиграции. При этом Герцен вручил своему сыну отпечатанный экземпляр русского издания «С того берега» (см. Мальвида Мейзенбург. Воспоминания идеалистки. М.—Л., 1933, стр. 304—306).

Стр. 7. ...иной, неизвестный, будущий пройдет по нем ∞ Лучшие с ним погибнуть, нежели спастись в богадельне реакции.— Эти последние строки посвящения сыну воспроизведены редакцией в том виде, какой они имеют в прижизненных изданиях «С того берега». Иной вариант их, включающий известные слова: «лучше с революцией погибнуть, чем спастись в богадельне реакции», содержался в черновой рукописи, фотокопия с которой опубликована в «Речи» 1912 г., № 83 (см. «Варианты», стр. 440). Редакция считает, что контаминация печатного текста и рукописного варианта, как это сделал М. К. Лемке (Л V, 382), была бы необоснованной, тем более, что последний авторизованный текст строк, о которых идет речь, по идейному содержанию отнюдь не противоречит раннему варианту. Говоря о том, что «лучше с ним погибнуть», Герцен явно имеет в виду не «старый берег» (ведь он призывает не оставаться на нем), а «иного, неизвестного, будущего» человека, воплощающего собою грядущую революцию.

⟨ В В Е Д Е Н И Е ⟩

Впервые напечатано в издании 1855 г. и полностью повторено в издании 1858 г. Автограф неизвестен.

Обращение «Прощайте!» в ранней редакции имело название «Addio!» и было датировано, как и в окончательном тексте, 1 марта 1849 г. В Москву «Addio!» было послано Герценом в августе 1849 г. Сохранилась переписанная рукой Н. Х. Кетчера копия «Addio!», восходящая к ранней редакции и значительно отличающаяся от окончательного текста (см. раздел «Другие редакции»).

Стр. 9. Второе декабря ответило им громче меня.— 2 декабря 1851 г. французский президент Луи Бонапарт совершил государственный переворот, разогнав Законодательное собрание и окончательно уничтожив завоевания февральской революции 1848 г.

Стр. 10. ... русских, этих «немых», как говорил Мишле.— Характеристика русского народа была дана Мишле в «Легенде о Костюшко», напечатанной в газете «L'Avènement du Peuple» в 1851 г., а затем в книге «Демократические легенды» (Légendes démocratiques du Nord par J. Michelet. Paris, 1854, p. 44). Рассматривая отношение Мишле к русскому народу, Герцен polemизирует с ним в статье «Русский народ и социализм. Письмо к Ж. Мишле» (см. т. VII наст. изд.).

Стр. 10—11. «Кто более нашего славил ∞ Дух мой уныл, слаб и печален!» — Герцен цитирует с существенными купюрами произведение Н. М. Карамзина «Мелодор к Филалету».

Стр. 12. ... загоразживая последний свет ∞ своей черною, железною рукой, на которой запеклась польская кровь.— Повидимому, намек на революцию в Венгрии в 1849 г., явившуюся последним отголоском революционных событий 1848 г. в Европе. Эта революция была подавлена с помощью царской армии под командованием фельдмаршала Паскевича. Он же возглавлял войска, разгромившие польское восстание 1830—1831 гг.

Стр. 14. *Я присутствовал при двух переворотах...* — Очевидно, Герцен имеет здесь в виду итальянскую и французскую революции 1848 г., свидетелем событий которых он был.

... на почве, удобренной двумя цивилизациями... — Первой цивилизацией Герцен считал античность, второй — христианство, относя к последнему и средневековье и новое время (см. т. III наст. изд., стр. 220).

Стр. 16. ... *зако́н о заграничных видах...* — Повидимому, указ Николая I от 15 марта 1844 г. об ограничении выдачи заграничных паспортов. Ср. дневниковую запись от 30 марта 1844 г. (т. II наст. изд., стр. 347).

...*исправительные розы в инженерном институте.* — См. отзыв Герцена об этом событии в дневнике, запись от 4 ноября 1843 г. (т. II наст. изд., стр. 314).

Стр. 18. *Мы дождались немца для того, чтоб рекомендоваться Европе.* — Герцен имеет в виду немецкого экономиста барона Августа Гакстгаузена, который в 40-х годах по приглашению Николая I путешествовал по России, а затем издал книгу «Исследования внутренних отношений, народной жизни и в особенности сельских учреждений России» в трех томах («*Studien über die inneren Zustände, das Volksleben und insbesondere die ländlichen Einrichtungen Rußlands*», 1847—1852; т. I — 1847 г.). Эта книга знакомила западноевропейского читателя с Россией. Наибольшее внимание в книге Гакстгаузен уделил аграрным отношениям в России, особенно общине, в которой видел главное средство укрепления крепостничества. Герцен подверг резкой критике произведение Гакстгаузена, указывая вместе с тем, что он «действительно уловил животворящий принцип русского народа» (см. наст. том, стр. 199). Критическую оценку Гакстгаузена Герценом см. в статье «Русские немцы и немецкие русские» (1859).

ПЕРЕД ГРОЗОЙ

Впервые напечатано на немецком языке в издании 1850 г. (см. раздел «Варианты»), затем во французском переводе — в парижской газете «*Le Peuple de 1850*», №№ 5, 6 и 7 от 9, 11 и 14 августа 1850 г. под названием «*Qui a raison? Dialogue sur le tillac avant l'orage*» и без подписи. Русский текст впервые напечатан в издании 1855 г., а затем с небольшими изменениями в издании 1858 г. Автограф неизвестен.

«Перед грозой» датировано 31 декабря 1847 г. Первое упоминание об этой статье встречается в письме Герцена к московским друзьям от 30 января 1848 г. Статью эту в рукописи Герцен посвятил Т. Н. Грановскому. Рукопись была отправлена в Москву только 8 августа 1848 г. Герцен писал при этом Е. Ф. Коршу: «Я посылаю к тебе, Корш, две статьи для печати, посылаю к тебе, чтоб ты просмотрел, сообразны ли они с нынешней цензурой <...> Статейку «Перед грозой» — не вижу никаких препятствий напечатать; она мне очень дорога. Я желал бы, чтоб Огар(ев) и Гран(овский) ее прочли <...> Что к печати, отошли в «Современник», выступи, что окажется невозможным».

О печатании «Перед грозой» в России в условиях цензурного террора нечего, конечно, было и думать. Текст статьи Герцен впоследствии подверг сильной переработке. Рукописная копия рапней редакции «Перед грозой», сделанная московским приятелем Герцена Н. Х. Кетчером, хранится в настоящее время в ГИМ (см. раздел «Другие редакции»). Там же находятся две писарские копии «кетчеровского» списка (одна из них не закончена). Упомянутый выше французский перевод был сделан с этой редакции статьи. В ЛБ хранится еще одна копия конца 1840-х годов, сделанная неустановленным лицом и также восходящая к ранней редакции. В ней имеется несколько незначительных разночтений с копией Кетчера.

Стр. 19. *Разговор на палубе.* — В главе XXIX «Былого и дум» Герцен указывал, что «С того берега» начинается одним из его разговоров с И. П. Галаховым, в основу которого Герцен положил «долгие разговоры» и «споры», происходившие между ним и Галаховым в конце 1847 г. ... *Ist's denn so großes Geheimnis ...* — Эпиграф к главе «Перед грозой» — 65 эпиграмма из цикла Гёте — «Epigramme. Venedig».

Стр. 20. *Паскаль говорил, что люди играют в карты для того, чтоб не оставаться с собой наедине.* — Подобное суждение высказано Паскалем в «Мыслях» (глава V).

Стр. 23. *Воспитание поступает с нами, как отец Аннибала с своим сыном. Оно берет обет прежде сознания...* — Карфагенский полководец Гамилькар заставил своего девятилетнего сына Ганнибала поклясться в том, что он всю свою жизнь посвятит борьбе против Рима («Ганнибалова клятва»).

Стр. 24. ... *искали неземных дев, «иную природу, другого солнца.*» — Характеризуя поэзию немецких реакционных романтиков, Герцен несколько вольно передает строки из стихотворения Шиллера «Дева с чужбины». У Шиллера:

«Sie brachte Blumen mit und Früchte,
Gereift auf einer andern Flur,
In einem andern Sonnenlichte,
In einer glücklichern Natur.»

Еще с 30-х годов образ шиллеровской «девы с чужбины» являлся у Герцена олицетворением романтического восприятия действительности, связанного с «шиллеровским периодом» в его идейном развитии. Ср. автобиографический набросок «<Чтоб выразуметь эту исповедь страдальца...>» (т. I наст. изд., стр. 329).

... *со времен семи греческих мудрецов...* — Полулегендарные древнегреческие философы (их существование относят к VII — VI векам до н. э.), известные житейской мудростью, выражали свои мысли в форме кратких образных изречений.

Стр. 26. ... *вы убиваете сны, как Макбет.* — Макбет убил короля Дункана во время его сна. При этом убийце почудился крик: «Рукой Макбета зарезан сон» (см. Шекспир. «Макбет», акт II, сцена вторая).

... *ожидания дунайского мужика.* — Имеется в виду персонаж известной басни Лафонтена «Дунайский мужик» («Le paysan du Danube»).

Стр. 27. ... *Le monde fait naufrage...* — Цитата из стихотворения Беранже «Le Suicide». Беранже посвятил это стихотворение французским поэтам-романтикам Огюсту Лебра и Виктору Эскусу, одновременно покончившим жизнь самоубийством из-за провала написанной ими драмы «Раймонд». Имена Деку и Лебрю указаны Герценом в примечании неточно.

Стр. 28. *Ученики его продолжали его жизнь в Конвенте...* — Учениками Руссо были якобинцы, использовавшие идеи «Общественного договора» Руссо при выработке «Декларации прав человека и гражданина» (1789) и конституции 1793 г., а также в своей практической деятельности по организации революционного правительства (в частности, идею единства законодательной и исполнительной власти, воплощенную в деятельности Конвента).

Стр. 29. ... *из революции 1830 г. биржевой оборот.* — В результате революции 1830 г. во Франции установилась власть финансовой буржуазии.

Стр. 30. *Шекспир недаром сказал, что история — скучная сказка, рассказанная дураком.* — Герцен неточно передает слова Макбета из одноименной трагедии Шекспира (акт V, сцена пятая).

Стр. 32. ...мы ∞ пришли опять к величьеу колесу, опять к corsi и ricorsi старика Вико. — Герцен имеет в виду так пазывасую теорию круговорота итальянского философа и социолога Джамбаттиста Вико, развитую в его трактате «Основания новой науки об общей природе наций». Согласно этой теории, изображающей весь ход истории как пский замкнутый круг, период подъема (corsi) каждой исторической культуры сменяется периодом упадка (ricorsi).

Опять возвратились к Рее ∞ в числе их нет ни Юпитера, ни Марса... — Согласно греческой мифологии богу Кроу (лат. Сатурн) было предсказано, что он будет лишен власти своими детьми от брака с Реей. Чтобы сохранить за собой трон, Кроп проглатывал всех своих детей тотчас после рождения. Рее удалось спасти только своего последнего ребенка — Зевса (лат. Юпитер), заменив его камнями, завернутыми в пеленки. Возмужав, Зевс лишил отца власти.

Гёте давным-давно толковал, что красота проходит, потому что только преходящее и может быть красиво, — это обижает людей. — Герцен ссылается на мысль Гёте из цикла «Vier Jahreszeiten», «Sommer» (стих. 35):

«Warum bin ich vergänglich, o Zeus? so fragte die Schönheit,
Macht ich doch, sagte der Gott, nur das Vergängliche schön».

Эти строки Герцен цитировал в четвертой статье из цикла «Дилетантизм в науке» — «Буддизм в науке» (см. т. III наст. изд., стр. 76).

Стр. 34. ...«Morituri te salutant»... — Слова, которыми в древнем Риме гладиаторы приветствовали императора, выходя на арену.

Стр. 36. ...горесть Тацита и восторг Колумба... — Герцен подразумевает горестную окраску, свойственную произведениям Тацита, изображающим разложение римского общества, и восторг, охвативший Колумба, когда он достиг берегов Америки.

Стр. 37. Энкеева комета зацепит земной шар... — Герцен намекает на распространенное в его время мнение, что Земля может столкнуться с кометой Энке.

...я думаю, Александр Македонский нисколько не был бы рад, узнавши, что он пошел на замаску, — как говорит Гамлет. — Слова Гамлета, обращенные к Горацио в сцене на кладбище (Шекспир. «Гамлет», акт V, сцена первая).

ПОСЛЕ ГРОЗЫ

Впервые напечатано на немецком языке в издании 1850 г. (см. раздел «Варианты»). Русский текст был опубликован в издании 1855 г. и затем почти без изменений воспроизведен в издании 1858 г. Впоследствии Герцен включил эту статью в IV том «Былого и дум», Женева, 1867 г. («Западные арабски»). Тетрадь первая. III) и частично перепечатал ее, во французском переводе, в газете «Kolokol», 1868, № 13 за подписью I-r, как IV главу «Cogitata et visa». Публикация завершалась следующими словами: «... Je m'arrête ici dans ce fragment, je n'ose pas répéter maintenant les paroles pleines de fièvre, de larmes, de douleur qui se pressèrent sur les lèvres le lendemain d'un horrible crime et d'un horrible malheur»¹.

¹ «Я останавливаюсь на этом отрывке — я не смею повторять теперь слова, исполненные волнения, слез, боли, которые возникли в устах на следующий день после ужасного преступления и ужасного несчастья» (франц.). — *Ред.*

Статья датирована 24 июля 1848 г. В «Былом и думах» Герцен отметил, что она писалась через месяц после июньских дней. «После грозы» было послано друзьям в Москву с П. В. Анненковым.

Другой экземпляр, переписанный рукой М. К. Эрн (Рейхель) и исправленный Герценом, повезла в Россию Н. А. Тучкова. Этой ранней редакции статьи было, повидимому, предпослано «Dédication» («Посвящение», франц. арх.). Автограф этого «Посвящения» неизвестен; оно сохранилось только в рукописной копии, снятой Н. А. Герцен (ЛБ); дата— 1 августа 1848 г. При жизни Герцена не печаталось. Впервые опубликовано в газете «Час», 1908, № 88, в качестве письма к неизвестному.

Вероятно, что, отказываясь от включения этого «Посвящения» в издание 1855 г., вышедшее еще в царствование Николая I, Герцен опасался политически скомпрометировать Тучковых, находившихся тогда под полицейским надзором. Не исключено и то, что в 1855 и в 1858 годах Герцен не мог иметь в своем распоряжении текста «Посвящения». Исходя из того, что между «Посвящением» и очерком «После грозы» существует органическая идейно-художественная связь, редакция настоящего издания сочла необходимым поместить «Посвящение» под строкой основного текста.

Ранняя редакция статьи (см. раздел «Другие редакции»), помимо множества разночтений, содержит ряд страниц, исключенных впоследствии Герценом при подготовке к русскому изданию. На первом листе ее, в правом верхнем углу, надпись рукой Н. А. Тучковой-Огаревой: «Посвящено и подарено мне Алекс. Ив. Герц. Переписано М. К. Ерн. 1848 август, перед нашим отъездом из Парижа».

«Я очень желал бы знать ваше мнение о новых статьях моих,— писал Герцен в Москву в сентябре 1848 г., — стоит ли игра свеч, продолжать ли писать их для вас, ибо это пишется не для публики; наметните как-нибудь».

Стр. 40. *Помните «Марсельезу» Рашели?* — Исполнение Рашелью «Марсельезы» производило сильное впечатление на современников Герцена. Рашель слушали И. С. Тургенев и П. В. Анненков. Свои впечатления о выступлении Рашели П. В. Анненков описал в статье «Февраль и март в Париже 1848 г.» («Воспоминания и критические очерки», Отд. 1, СПб., 1877, стр. 324—325).

... *ее звукам нездорово в état de siège.* — Осадное положение в Париже было объявлено Учредительным собранием 23 июня.

... *после 24 февраля.* ...— 24 февраля 1848 г. в Париже в результате восстания был свергнут с престола король Луи Филипп и установлена власть Временного правительства. Говоря ниже «об обмане 24 февраля», Герцен имеет в виду предательскую политику Временного правительства, боявшегося, вопреки требованиям французского народа, провозгласить республику и не выполнившего обещаний о решении «социального вопроса» и осуществлении «права на труд».

Стр. 42. ... *закормы «Националя» дали им исполнителей.* — Имеется в виду реакционная роль, которую сыграли буржуазные республиканцы, чьим органом была газета «Националь», в кровавой расправе над парижским пролетариатом в июне 1848 г. Кавеньяк также был близок к партии «Националя».

Стр. 43. ... *распевая «Mourir pour la patrie».* ... — Этими словами начинается припев к «Песне жироидистов» из драмы А. Дюма (отца) и Огюста Матке «Chevalier de Maison-Rouge», написанной по одноименному роману Дюма и впервые поставленной в Париже, в Théâtre historique, в 1847 г. Во втором письме из цикла «Письма из Avenue Marigny» (т. V наст. изд., стр. 402) Герцен писал, что он ничего не знает «ни отвратительнее, ни скучнее, ни

бесталаннее» этой драмы. Слова припева были заимствованы из произведения автора «Марсельезы» Руже де Лилля — «*Roland à Roncevaux*». Ему же принадлежит мелодия припева. Музыка остальной части «Песни жирондистов» написана композитором Варпе, дирижером *Théâtre historique*. Песня эта получила широкую популярность в среде парижского мещанства незадолго до революции 1848 г. и особенно во время революции. Она была прозвана тогда «второй Марсельезой».

Париж этого не видал и в 1814 году. — То есть в дни, когда после поражения Наполеона I Париж был занят войсками русского императора и прусского короля.

Стр. 44. *У Байрона есть описание почной битвы ∞ окровавленная одежда.* — См. поэму Байрона «Абидосская певичка» (песнь вторая, XXVI).

Стр. 45. ... *революция, как Сатурн, ест своих детей...* — См. примеч. к стр. 32.

... *отрицание, как Нерон, убивает свою мать, чтоб отделаться от прошедшего.* — Римский император Нерон приказал убить свою мать Агриппину, с помощью которой он взшел на престол.

... *для доброго короля теологии настает 21 января.* — 21 января 1793 г. был казнен французский король Людовик XVI.

... *процесс Людовика XVI, — пробный камень для жирондистов...* — Жирондисты в Конвенте выступали против казни Людовика XVI, хотя часть их не решилась голосовать против казни.

... *явились на помосте благородные отроки революции, блестящие, красноречивые, слабые.* — Герцен имеет в виду жирондистов, казненных в октябре 1793 г.

Стр. 45—46. ... *за ними покатила львиная голова Дантона и голова баюны революции, Камиль Демулен.* — Дантон и его сторонники были казнены 5 апреля 1794 г.

Стр. 46. ... *теперь черед неподкупных палачей...* — Герцен имеет в виду якобинцев (Робеспьер, Сен-Жюст и др.), свергнутых в результате термидорианского переворота 27 июля 1794 г. и гильотинированных 28 июля 1794 г.

... *трехцветное знамя уступок слишком замарано...* — Государственным знаменем Франции после февральской революции 1848 г., несмотря на протесты пролетариата, осталось трехцветное знамя, являвшееся с 1789 г. символом буржуазного государства. Правда, в качестве уступки народным массам, требовавшим красного знамени, к древку трехцветного знамени была прикреплена красная розетка.

Стр. 47. *Три месяца люди, избранные всеобщей подачей голосов ∞ ничего не делали...* — Говоря о трех месяцах бездействия Учредительного собрания, Герцен допустил неточность: выборы в Учредительное собрание происходили 23 апреля 1848 г., т. е. за два месяца до июньских дней.

... *восемьсот человек, действующих, как один злодей, как один изверг.* — Имеется в виду деятельность Учредительного собрания.

... *голос умирающего Аффра...* — Парижский архиепископ Аффр умер от ран, полученных им 25 июня 1848 г. перед баррикадой в Сент-Антуанском предместье в тот момент, когда он шел уговаривать восставших прекратить борьбу. Выстрел в него последовал из рядов правительственных войск.

... *многоголового Калигулу, этого Бурбона, размененного на медные гроши...* — Намек на буржуазное Учредительное собрание, предоставившее Кавеньяку диктаторские полномочия для подавления июньского восстания парижского пролетариата. Называя Учредительное собрание «Бурбоном, размененным на медные гроши», Герцен хотел подчеркнуть, что 800 членов Учредительного собрания как бы являлись олицетворением прежнего абсолютизма.

... *Гора скрылась за облаками, довольная, что ее не расстреляли...* — Горой в период революционных событий 1848—1850 гг. называли представителей мелкобуржуазных республиканцев, возглавившихся в Учредительном, а затем в Законодательном собрании Ледрю-Ролленом.

Мрачное проклятие старца Ламенне ∞ каннибалов... — После февральской революции Ламенне основал газету «Le Peuple constituant» («Народ-учредитель»). «Мрачное проклятие» — передовая статья последнего номера этой газеты, где Ламенне резко осудил жестокую расправу над июньскими повстанцами. Это послужило Кавеньяку поводом для закрытия газеты. Ср. письмо Герцена к друзьям в Москву от 2—8 августа 1848 г.

... *сентябрьские дни.* — В начале сентября 1792 г. в Париже произошли массовые убийства заключенных в тюрьмах контрреволюционеров, вызванные опасением, что они выступят с поддержкой приближавшейся к столице контрреволюционной прусской армии

Стр. 48. ... *той крови, которая 27 июня отражала огонь плошек, зажженных ликующими мясачами?* — К 27 июня восстание парижских пролетариев было подавлено. В честь победы Кавеньяка в Париже была устроена иллюминация.

... *он посадил императором счастливого солдата* ... — Намек на Наполеона I.

... *мецанскую фигуру маленького капрала опять поставил, через пятьдесят лет, на колонну...* — Герцен имеет в виду Вандомскую колонну в Париже, воздвигнутую в память побед Наполеона I в 1806 г. На верху колонны была установлена статуя Наполеона I, в 1814 г. разрушенная и замененная лилией, а в 1833 г. вновь восстановленная.

... *он с благоговением переносил прах водворителя рабства...* — В 1840 г. прах Наполеона I был торжественно перенесен с острова св. Елены в Париж, в Дом инвалидов.

LVII ГОД РЕСПУБЛИКИ, ЕДИНОЙ И НЕРАЗДЕЛЬНОЙ

Впервые напечатано на немецком языке в издании 1850 г. (см. раздел «Варианты»). Русский текст в переработанном виде вошел в издания 1855 и 1858 гг. Автограф неизвестен.

Статья датирована 1 октября 1848 г. Герцен отправил ее московским друзьям 5 ноября того же года.

Стр. 49. *Ce n'est pas le socialisme, c'est la république!* Речь Ледрю-Роллена в Шале 22 сентября 1848 года. — Герцен несколько неточно цитирует речь Ледрю-Роллена, произнесенную им во дворце Шале в честь годовщины провозглашения республики во Франции 22 сентября 1792 г. (Герцен ошибочно указал дату 22 октября 1848 г.; ср. дату в конце главы — 1 октября 1848 г.). Текст речи Ледрю-Роллена см. в «Journal des Débats» от 25 сентября 1848 г.

На днях праздновали первое вандемира пятьдесят седьмого года. — 22 сентября 1848 г. (1 вандемира LVII года по республиканскому календарю, введенному во Франции в эпоху буржуазной революции XVIII века и ведущему счет годов с 22 сентября 1792 г., со дня провозглашения республики) — праздновалась 57 годовщина провозглашения первой республики во Франции.

... *солдатская диктатура* ... — Словами «солдатская диктатура» Герцен подчеркивал роль Кавеньяка в правительстве до президентских выборов 10 декабря 1848 г. как «главы исполнительной власти французской республики».

Стр. 52. *Вот отчего люди, провозгласившие республику, сделались палачами свободы...* — Большинство членов Временного правительства, провозгласившего 25 февраля 1848 г. под давлением народных масс республику, стало депутатами Учредительного собрания, предоставившего Кавеньяку чрезвычайные полномочия в подавлении восстания пролетариата в июньские дни. В этом особенно отчетливо проявилась либеральная, контрреволюционная сущность буржуазных республиканцев.

Стр. 53. *...Людовик-Филипп не успел доехать до С.-Клу, а уж в Hôtel de Ville явилось новое правительство...* — Сен-Клу — город недалеко от Парижа, в котором находилась летняя резиденция Луи Филиппа. Туда бежал он после своего отречения от престола 24 февраля. В результате революционных событий в тот же день в ратуше было сформировано Временное правительство.

... они, как Петр, троекратно отреклись и от слов и от обещания... — По евангельскому преданию апостол Петр обещал Христу не отречься от него, а в ночь, когда Христос был предан Иудой и взят под стражу, трижды отрекся от него (Евангелие от Матфея, гл. XXVI, 69—75).

Стр. 55. *... не приглашенные на пир жизни, о которых говорит Мальтус...* — Эта мысль высказана Мальтусом в первом издании его книги «Опыт о законе народонаселения», вышедшем анонимно в 1798 г.

Стр. 58. *... ни благотворениями...* — Повидимому, Герцен имеет в виду постановление Учредительного собрания об ассигновании 3 млн. франков для выдачи пособий нуждающимся жителям Парижа, утвержденное 5 июля 1848 г., и постановление об открытии кредита в 3 млн. франков для субсидий рабочим ассоциациям.

Стр. 59. *Шампанским вафли запивая...* — Из «Оды к премудрой киргизкайсацкой царевне Фелице» Г. Р. Державина. У Державина: «запивают».

Стр. 61. *...это Комнены, Палеологи в феодальном мире.* — Герцен употребляет имена Палеологов и Комненов — последних династий византийских императоров, считавшихся наследниками греческой культуры и образованности среди средневекового «варварства», — в качестве примера обреченной на смерть, пережившей себя культуры.

VIXERUNT!

Впервые напечатано на немецком языке в издании 1850 г. (см. раздел «Варианты»). Русский текст впервые напечатан в издании 1855 г., а затем в издании 1858 г. Автограф неизвестен. В ГИМ хранится писарская копия конца 1840-х годов, восходящая к ранней редакции (см. раздел «Варианты»).

Статья датирована 1 декабря 1848 г. Еще 5 ноября 1848 г., при посылке московским друзьям статьи «LVII год республики, единой и нераздельной», Герцен писал: «Но в ней еще не все, я теперь обдумываю посущественнее тот же вопрос и пишу статью под заглавием «Vixerunt».

Стр. 62. *Двадцатое ноября 1848 года...* — В главе «Vixerunt!» Герцен описывает состоявшееся в Париже, на площади Согласия, торжественное обнародование конституции, принятой Национальным собранием 4 ноября. Оно состоялось не 20, как указано у Герцена, а 12 ноября 1848 г. Подробный отчет об этом напечатан в газете «Le Moniteur universel» от 13 ноября 1848 г. (№ 318), в разделе «Partie non officielle. Intérieur». Описание этого провозглашения, данное в газете «Монитор», представляет собой панегирик буржуазной конституции, но во многих фактических деталях совпадает с описанием Герцена.

Стр. 63. *Один, закутанный в африканский кабан ∞ веяло бедой и несчастьем.* — Имеется в виду Кавеньяк.

Другой, толстый, разводный ∞ довольства почетом, своим местом. — Здесь дается портрет председателя Национального собрания Марраста. Ср. описание Марраста в повести «Доктор, умирающий и мертвые» (1869), глава III «Мертвые».

Народ ∞ гулял около общего гроба всех павших за него братьев, около Июльской колонны. — В изданиях 1855 и 1858 гг. опечатка: вместо «Июльская» — «Июньская» колонна. Речь идет об Июльской колонне в Париже, воздвигнутой в 1833—1840 гг. на площади Бастилии в память жертв июльской революции 1830 г. На памятнике перечислены имена погребенных под колонной участников революционных событий 1830 г.

Стр. 64. ... *под бедные звуки «Mourir pour la patrie», которыми заменили великую «Марсельезу».* — См. примечание к стр. 43.

... *молодой человек, с которым мы уже знакомы...* — Имеется в виду собеседник Герцена в главе «Перед грозой» И. П. Галахов.

Стр. 68. ... *в Вене научились строить баррикады...* — Во время революционных событий 1848 г. в Вене не раз возникали баррикады; здесь идет речь о баррикадных укреплениях, построенных в дни октябрьского восстания 1848 г.

Стр. 69. *Остаться до последней сцены лучше, иногда зритель, задавленный несчастьем Гамлета, встретит молодого Фортинбраса, полного жизни и надежд.* — В последней сцене трагедии Шекспира «Гамлет» (акт V, сцена вторая) изображается смерть Гамлета и появление норвежского принца Фортинбраса, претендующего на датский престол.

... *Радецкий взял Милан...* — 6 августа 1848 г. главнокомандующий австрийской армией фельдмаршал Радецкий овладел Миланом, что явилось важнейшей вехой в подавлении национально-освободительной борьбы в Ломбардии и всей северной Италии.

Стр. 70. ... *движение в Германии ушло сквозь франкфуртскую воронку и исчезло* ... — Герцен саркастически намскает на деятельность созданного в результате революционных событий в Германии общегерманского Национального собрания во Франкфурте-на-Майне (так называемый франкфуртский парламент).

... *Карл-Альберт не отстоял независимость Италии...* — Под давлением движения народных масс король Сардинии Карл Альберт объявил 23 марта 1848 г. войну Австрии с целью освобождения Италии от австрийского ига. Но боясь революционного движения народа, Карл Альберт вел предательскую политику во время войны и 9 августа 1848 г. заключил с Австрией перемирие, что вновь привело к закабалению ряда итальянских областей: Ломбардии, Венеции и др.

... *Пий IX оказывается как-то из рук вон плох?* — Пий IX, под давлением общественного движения вынужденный пойти на некоторые реформы, быстро изменил свою политику и уже 23 апреля 1848 г. призвал к прекращению войны с Австрией. Характеристику Пия IX см. в «Письмах с via del Corso» (т. V наст. изд.).

Стр. 71. ... *перед дикими солдатами в белых мундирах.* — Белые мундиры — форма солдат австрийской армии.

... *судьбою герцогини Ламбаль...* — Имеется в виду казнь в «сентябрьские дни» 1792 г. принцессы Ламбаль, приближенной королевы Марии Антуанетты, одной из активнейших участниц контрреволюционной политики Людовика XVI. Ненависть народа к ней была так велика, что ее отрубленную голову носили на пике по улицам Парижа в знак торжества над контрреволюцией.

... *вы не верьте Лукрецию ∞ это клевета поэта.* — См. Лукреций «О природе вещей» (2 книга, стих 1 и след.).

...от восстания в Палерме...—Восстание в Палермо (Сицилия), спровоцированное баррикадными боями, началось 12 января 1848 г.

... до ваятия Вены... — Революционная Вспа пала 1 ноября 1848 г. после продолжавшейся несколько дней кровавой осады города контрреволюционными войсками под командованием Виндишгреца.

Стр. 71—72. ...трети людей, погибнувших под Эйлау... — 8 февраля 1807 г. под Прейсиш-Эйлау произошло одно из самых кровопролитных сражений того времени. В битве между армией Наполеона I и русскими войсками обе стороны в течение одного дня потеряли убитыми и ранеными около 40 тыс. человек.

Стр. 72. ... речное свидание двух императоров... — 25 июня 1807 г. на плоту посреди Немана у Тильзита состоялась первая встреча между Наполеоном I и Александром I. В результате переговоров 7 июля 1807 г. был заключен Тильзитский мир.

... упрямого старика...— Имеется в виду король Франции Луи Филипп.

... упорного квекера... — Герцен имеет в виду Франсуа Гизо, который накануне революции 1848 г. был премьер-министром во Франции.

...позволил сесть бесхарактерному теософисту...— То есть Ламартина, который, будучи министром иностранных дел в пришедшем к власти в результате февральской революции Временном правительстве, фактически руководил всей его политикой.

Стр. 73. ... 26 февраля определило весь характер 24-го.— Характеризуя февральскую революцию 1848 г., Герцен неоднократно указывал, что уже 26 февраля, особенно после истории со знаменем (трехцветное знамя буржуазной республики было принято 25 февраля), отчётливо выявилась буржуазная сущность происшедшей революции. См. письмо к московским друзьям от 2—8 августа 1848 г.: «Когда Ламартин отверг красное знамя, он продал свою душу буржуазии. Разве трехцветное знамя годно юной республике... Разве это знамя братства? 26 февраля пошла республика назад...»

... самый проникательный публицист первой революции был коновал...— Подразумевается Жан Поль Марат, который был врачом.

... химик 27 февраля печатал в своем журнале... — Герцен имеет в виду враждебно настроенную к Временному правительству республиканскую газету Распайя (L'Ami du Peuple).

...обернутых бюллетенями Ледрю-Роллена.— Так Герцен называет циркуляры Ледрю-Роллена от 8 и 11 марта, в которых тот, будучи министром внутренних дел, предписывал направленным в департаменты комиссарам решительные действия по борьбе с монархическими элементами на местах и замене их республиканцами.

... протрезвели от трехмесячного осадного положения...— Введенное Национальным собранием в июньские дни 1848 г. осадное положение в Париже было снято в октябре того же года.

Стр. 77. Это один парижский архиерей не знал, что во время сражения ни у кого нет уха.— Намек на парижского архиепископа Аффра (см. примечание к стр. 47).

Стр. 79. Вспомните старика Лира...— Далее Герцен цитирует слова короля Лиры, обращенные к дочери Регане (Шекспир. «Король Лир», акт II, сцена четвертая).

Стр. 79—80. ... один товарищ палача читал приговор, а другой его товарищ вас миловал пожизненными цепями...— Арман Барбес за участие в восстании 1839 г., поднятом обществом «Времена года» в Париже, был приговорен к смертной казни, которую Луи Филипп заменил пожизненным заключением.

Стр. 80. Они идут, как известный индийский кумир, все встречные бросаются под его колесницу... — Герцен имеет в виду религиоз-

ное празднество в Индии, во время которого на огромной колеснице вывозился идол Джаггернаут.

Стр. 81. ... *народ, который остался Каспаром Гаузером* ... — Сопоставляя народ с Каспаром Гаузером, чья судьба вызвала в 1828 и последующих годах сенсационный интерес во всей Европе, Герцен имел в виду оторванность от культуры этого темного и забытого человека, не знавшего своего происхождения.

Стр. 82. *Народ поступил, как ∞ Санчо-Панса, — он отказался от мнимого престола или, лучше сказать, и не садился на него.* — Шутливая история о губернаторстве Санчо-Пансы рассказывается Сервантесом во второй части «Дон Кихота» (см. главы XLII—LIII).

Стр. 83. ... *подать голос за племянника.* — За Луи Наполеона, который был племянником Наполеона I.

... *по 45-сантимному налогу*... — 45-сантимный налог на каждый франк прямых налогов на земельные собственников был введен декретом Временного правительства 16 марта 1848 г. Он породил глубокое недовольство среди крестьян

... *бедным работникам не выдают пассов в Париж.* — Об этом мероприятии французского правительства Герцен в письме к московским друзьям от 2—8 августа 1848 г. писал: «Вы знаете, что в Париж не пускают работников, не имеющих прежде места, что из департаментов не выдают пассов бедным работникам».

CONSOLATIO

Впервые напечатано на немецком языке в издании 1850 г. (см. раздел «Варианты»). В переработанном виде русский текст напечатан в изданиях 1855 и 1858 гг. Датировано «Consolatio» 1 марта 1849 г. Автограф неизвестен.

Стр. 86. *Der Mensch ist nicht geboren frei zu sein.* — Слова Тассо из драмы Гёте «Torquato Tasso» (действие II, явление 1).

... *за эту каплю воды Лазарю* ... — Герцен использует образ евангельского Лазаря, который якобы был воскрешен Иисусом Христом, пролившим слезы над его могилой (Евангелие от Иоанна, гл. XI, 17—45).

Стр. 91. ... *Монтионовские премии*... — Так назывались по имени филантропа Монтиона, оставившего большую часть своего состояния для благотворительных целей, установленные во Франции премии за добродетель.

Стр. 94. *«Человек родится быть свободным — и везде в цепях!»* — Этими словами начинается первая глава сочинения Руссо «Об общественном договоре».

Стр. 97. ... *Аристотель называет Анаксагора первым трезвым между пьяными греками*... — См. «Метафизику» Аристотеля (книга I, гл. 3).

... *на призыве двенадцати апостолов?* — По евангельскому преданию двенадцать апостолов после смерти Христа деятельно служили распространению христианского учения.

Стр. 101. ... *я при этом вспоминаю робеспьеровское выражение: «L'athéisme est aristocrate».* — Слова из речи Робеспьера, произнесенной им в Якобинском клубе 21 ноября 1793 г.

... *Fête de l'Être Suprême.* — Герцен имеет в виду состоявшийся 8 июня 1794 г. праздник «верховного существа», установленный декретом Конвента от 7 мая 1794 г. Декрет, провозгласивший культ «верховного существа», был принят по предложению Робеспьера.

... *голова атеиста Клоца, пожертвованная предрассудку, лежала в ногах его*... — В Анахарсисе Клоотсе, провозгласившем себя «личным врагом бога» и выступавшем за «дехристианизацию», Робеспьер, утверждав-

ший необходимость религии для народа, видел одного из своих непримиримых противников. По настоянию Робеспьера он был исключен из Якобинского клуба, а затем кавпен 24 марта 1794 г. вместе с другими эбэртистами. Об Анахарсисе Клоотсе см. в рассказе «Первая встреча» (т. I наст. изд., стр. 110—111).

ЭПИЛОГ 1849

Впервые напечатано на немецком языке в органе немецкой демократической эмиграции «New York Abend-Zeitung», повидимому, в сентябре или октябре 1850 г., под датой: «Лондон. 21 декабря 1849 г.» На самом деле статья была написана в Цюрихе. Авторство Герцена указано в подзаголовке. Вырезки из двух номеров этой статьи имелись в архиве Герцена и ныне хранятся в ЛБ. Они не дают возможности определить дату выхода тех номеров, из которых они извлечены. В книгохранилищах СССР экземпляры этой газеты найти не удалось.

Редакция нью-йоркской газеты снабдила публикацию «Эпилога 1849» следующим любопытным примечанием: «Рукопись печатаемого нами, по просьбе многих наших подписчиков, „Эпилога“ была передана прошлой весной г. Юлиусу Фребелю... На последней своей лекции он сообщил содержание этой рукописи своим слушателям. Никому другому ни в Европе, ни в Америке эта рукопись не известна и не доступна, потому что парижская полиция конфисковала русский оригинал при обыске у автора».

Немецкий перевод в «New York Abend-Zeitung» отличается от русского оригинала, изложенного более сжато, многочисленными отклонениями, главным образом стилистического характера. Интересно отметить пропуск в немецком переводе следующей фразы: «Разве ушедшие в Америку не снесли с собою туда старую Англию?» Вероятно, этот пропуск — результат редакционной цензуры нью-йоркской газеты.

Вторично напечатано, также по-немецки, в журнале «Deutsche Monatschrift für Politik, Wissenschaft, Kunst und Leben», 1850, № 12, стр. 463—472, с подписью *Iskander* (см. раздел «Варианты»). Журнальная публикация «Эпилога 1849» так же, как и «Omnia mea mecum porto», имела ряд искажений и композиционно отличалась от русских авторизованных изданий. Русский текст впервые опубликован в издании 1855 г. и почти без изменения перепечатан в издании 1858 г. Об обстоятельствах, при которых статья была написана, см. в «Былом и думах» («Западные арабески. Тетрадь вторая. I. II pianto»).

Стр. 107. *Opfer fallen hier ...* — Цитата из баллады Гёте «Die Braut von Korinth».

От восстановленной гильотины в Париже... — Герцен имеет в виду результаты судебного процесса по делу о расстреле в июньские дни парижскими инсургентами генерала Бреа, командовавшего одной из колонн в армии Кавеньяка. В результате процесса, продолжавшегося с 15 января по 9 февраля 1849 г., двое из преданных суду инсургентов были приговорены к смертной казни и гильотинированы. Тем самым фактически был нарушен один из первых декретов Временного правительства об отмене смертной казни за политические преступления.

...от буржского процесса... — В марте — апреле 1849 г. в г. Бурже шел процесс по делу о парижской демонстрации 15 мая 1848 г. Верховный суд приговорил организаторов демонстрации (Барбеса, Блапки, Распайля, Альбера и др.) к ссылке и тюремному заключению на длительные сроки.

... до кефалонийских виселиц, поставленных англичанами для детей... — На подвластном Англии о. Кефалония (один из Ионических островов)

в 1848—1849 гг. происходило восстание за национальную независимость, которое было жестоко подавлено англичанами.

... *от пуля, которыми расстреливал баденцев брат короля прусского...* — Наследный принц Вильгельм, брат прусского короля Фридриха-Вильгельма IV, впоследствии первый император объединенной Германии, командовал прусскими войсками, жестоко подавившими в мае — июне 1849 г. революционное движение в южных районах Германии (особенно в герцогстве Баденском).

... *от Рима, падшего перед народом, изменившим человечеству...* — Герцен называет так французский народ, поскольку в 1849 г. французские войска, по требованию буржуазной контрреволюции, начали военную интервенцию против Римской республики в защиту прав папы Пия IX и 3 июля 1849 г., несмотря на героическое сопротивление итальянцев, вступили в Рим.

... *до Венгрии, проданной врагу полководцем, изменившим отечеству...* — Имеется в виду предательская политика Гергея, главнокомандующего армией революционной Венгрии. Измена Гергея стала очевидной, когда он завел венгерскую армию в окружение и 13 августа 1849 г. капитулировал перед русскими войсками, посланными в Венгрию Николаем I для подавления революции.

Стр. 108. *Вместо Мария...* — Имя римского полководца и политического деятеля Мария Герцен употребил здесь как олицетворение мести. В основе этой параллели лежит факт истории. Борясь с Суллой, выразителем интересов крупного землевладения и рабовладения, Марий жестоко расправился со своими противниками, отомстив им за свое временное поражение.

... *убийство Роберта Блума...* — Роберт Блум, посланный франкфуртским парламентом в Вену, был расстрелян там 9 ноября 1848 г. контрреволюционными войсками Виндизгреца.

Стр. 110. ... *corsi e ricorsi истории...* — См. примечание к стр. 32.

Стр. 111. ... *республика Конвента — пентархический абсолютизм...* — Называя французскую республику эпохи Конвента «пентархическим» (т. е. пятиглавым) абсолютизмом, Герцен подчеркивал, что в период якобинской диктатуры вся полнота власти была сосредоточена в руках Комитета общественного спасения, созданного декретом Конвента от 6 апреля 1793 г., руководящая роль в котором принадлежала Робеспьеру, Сен-Жюсту, Кутону, Карно. Кого Герцен считал пятым, сказать трудно, возможно, Вилло-Варенна или Колло д'Эрбуа.

Стр. 112. ... *безумной эпохи императорства...* — Имеется в виду империя Наполеона I.

Кровавый террорист католицизма, Местр, боясь его, подавал одну руку пале, другую палачу. — Будучи яростным противником революции и не удовлетворившись теми формами, которые приняла реставрация во Франции, Жозеф де Местр искал спасения от революции в католицизме и в 1819 г. написал произведение «Du Rare», в котором провозглашал непогрешимость авторитета папской власти, требуя установления власти пап над всем христианским миром. Утверждая неизбежность насилия и зла, Местр доходил до восхваления деятельности палача.

... *единственный поэт XIX столетия ∞ умер 37 лет в возродившейся Греции ∞ «берегов своей родины».* — Имеется в виду Байрон, принимавший участие в национально-освободительной борьбе греческого народа против турецкого ига и умерший на 37 году жизни в Миссалонги (Западная Греция).

Стр. 113. ... *«подземный крот» работал неумоимо.* — Герцен вспоминает образ из трагедии Шекспира «Гамлет» (слова Гамлета, акт I, сцена пятая). Этот образ был использован Гегелем в «Лекциях по истории философии».

фии» (кн. третья, часть третья, гл. IV, Е). Интересно отметить, что этот же образ был использован К. Марксом в его работе «18 брюмера Луи Бонапарта» при определении неизбежности революционных преобразований в Европе (К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные произведения в 2-х томах, т. I, 1952, стр. 291).

OMNIA MEA MECUM PORTO

Впервые напечатано анонимно на немецком языке, с подзаголовком «Eine freundschaftliche Admonition» в журнале «Deutsche Monatsschrift für Politik, Wissenschaft, Kunst und Leben» (1850, № 8, стр. 224—243) со следующим примечанием от редакции: «Нижеследующее послание получено нами от автора „Писем из Италии и Франции“ и книги „С того берега“ (обе книги опубликованы с русской рукописи Гофманом и Кампе) в момент, когда в рядах партии гораздо серьезнее стал обсуждаться вопрос о ее задачах и будущем. Поэтому мы немедленно доводим его до сведения наших друзей. Они прочитают его с напряженным вниманием и испытают диалектическую силу его слов по той деятельной энергии, к которой эти слова призывают. Каким бы ни было наше решение, мы останемся признательны заботливому чувству увещателя за то, что он призвал нас к новой инициативе и подготовил почву для взгляда на жизнь, который, несмотря на все свои философские сомнения и скорби, действует укрепляюще и возвышающе».

Русский текст в переработанном виде вошел в издания 1855 и 1858 гг. Статья датирована 3 апреля 1850 г. Об обстоятельствах, при которых она была написана, Герцен подробно рассказывает в V части «Былого и дум».

Стр. 115. *Ce n'est pas Catilina...* — Измененное Герценом выражение Прудона — заключительные строки из его статьи «Philosophie du 10 mars (2-e article)» («Философия 10 марта. Статья 2-я»). Статья была помещена в № 178 газеты «La Voix du Peuple» от 29 марта 1850 г. У Прудона: «... ce n'est pas Catilina, ce n'est pas la banqueroute qui est à vos portes: c'est la mort» («... это не Катилина, это не банкротство у ваших ворот: это — смерть»).

Komm her, wir setzen uns zu Tisch... — Не совсем точная цитата из «Кротких Ксений» (V) Гёте. У Гёте:|

«Komm her! Wir setzen uns zu Tisch;
Wen möchte solche Narrheit rühren;
Die Welt geht auseinander wie ein fauler Fisch,
Wir wollen sie nicht balsamieren».

Стр. 116. *Мы не доживем до того, до чего дожил Симеон Богоприимец.* — По евангельскому преданию (Евангелие от Луки, гл. II, 25—32) Симеон Богоприимец, старец-священник, воспринял в иерусалимском храме новорожденного Христа.

Стр. 123. ... *три добродетельные человека Содома и Гоморры...* — По библейскому преданию (Бытие, гл. XIX, 1—29) — все жители палестинских городов Содома и Гоморры были истреблены богом за их развратную жизнь, за исключением Лота и его двух дочерей.

... *борьбу свободного человека с освободителями человечества.* — Герцен имеет в виду начавшуюся в конце 1848 г. полемику Прудона с республиканскими членами Горы, принявшую в 1849 г. острый и резкий характер. Poleмика между прудоновской газетой «Le Peuple» и газетой Целеклюза «La Révolution démocratique et sociale» сопровождалась взаимными личными оскорблениями.

Стр. 124. ... он бросил ∞ статьи в президента, который не нашел лучшего ответа ∞ как теснить колонию, запертого за мысль и слово. — В конце декабря 1848 г. — январе 1849 г. Прудон выступил со статьями, направленными против Луи Наполеона. В них он призывал сместить Луи Наполеона с поста президента и привлечь его к судебной ответственности. За эти статьи Прудон был 20 марта 1849 г. осужден на три года тюремного заключения с правом свидания и участия в печати. 5 февраля 1850 г. в газете «La Voix du Peuple» была опубликована антибонапартистская статья Прудона «Да здравствует император!», после чего его стали подвергать в тюрьме репрессиям и лишили права печатания.

... горсть людей, переселившаяся с Кабе в Америку... — Герцен имеет в виду попытку Кабе организовать в 1849 г. коммунистическую колонию в Сев. Америке. Идея Кабе встретила сочувствие у небольшой группы рабочих, уехавших вместе с ним в Америку. «Икаринская» колония Кабе быстро распалась.

Стр. 128. ... республика Сан-Марино... — Карликовое государство на Апеннинском полуострове, формально самостоятельное. Считается самой древней республикой.

Стр. 131. ... перервать сношения неистинные, поддерживаемые (как в «Альфреде» Бенжамена Констана) ложным стыдом, ненужным самоотвержением. — Герцен характеризует изображенные Б. Констаном в его романе «Адольф» взаимоотношения между Адольфом и Элеонорой («Альфред» вместо «Адольф» — описка Герцена).

ДОНОЗО КОРТЕС, МАРКИЗ ВАЛЬДЕГАМАС, И ЮЛИАН, ИМПЕРАТОР РИМСКИЙ

Впервые напечатано на французском языке, в виде передовицы, в парижской газете «La Voix du Peuple», № 167 от 18 марта 1850 г. за подписью *Is....., docteur en théologie (Ис.....р, доктор богословия)*, с датой: «Кельн. 10 марта 1850 г.» (см. раздел «Другие редакции») и с примечанием: «Эта статья вышла из-под пера иностранного писателя. Мы ее приводим в том виде, в каком она была нам прислана. Надеемся, что прием, который ей окажут, побудит автора не останавливаться на этом». Имеются основания предполагать, что статья была сразу написана Герценом по-французски и лишь впоследствии переведена им на русский язык. Свободно владея французским языком, Герцен обычно писал свои статьи, адресованные французскому или общеевропейскому читателю, по-французски.

Автограф статьи неизвестен. Писалась она в конце февраля или начале марта 1850 г. О своем намерении написать ее Герцен сообщил Г. Гервергу 25 февраля 1850 г.

При переводе статьи на русский язык Герцен подверг ее известной переработке и сделал ряд купюр (см. комментарий к разделу «Другие редакции»).

Русский вариант статьи «Донозо Кортес...» впервые был напечатан в издании 1855 г. и с небольшими изменениями повторен в издании 1858 г. При жизни Герцена статья перепечатывалась на русском языке в сборниках «Из „Колокола“ и „Полярной звезды“» (Лондон, 1864) и «Еще раз» (Женева, 1866).

Хранящаяся в ПД рукопись «Донозо Кортес...», обозначенная как подлинный автограф Герцена (см. «Бюллетени Рукописного отдела» ПД, в. II, 1950, стр. 32), на самом деле является копией неустановленного лица, сделанной с издания 1855 г.

Стр. 133. *Большие скептики, неужели апостол Фома, они трогают пальцем рану и не верят ей.*— Апостол Фома, согласно евангельскому преданию, не верил в воскресение Христа до тех пор, пока собственноручно не потрогал его раны (Евангелие от Иоанна, гл. XX, 24—29).

Стр. 135. ... *не перестают восторгаться речью Донозо Кортеса, произнесенной в Мадриде в заседании кортесов.*— 30 января 1850 г. Донозо Кортес — испанский политический деятель, ярый враг социализма — произнес речь в Законодательном собрании в Мадриде. Речь эта, представляющая собой проповедь реакционных принципов католицизма как спасения от социализма, была восторженно принята всей реакционной и католической печатью Франции

... *Тьер сделался католиком.*— Герцен имеет в виду содействие, которое оказал Тьер проведению законопроекта о народном образовании, так называемого «Закона Фаллу» (закон был внесен в Законодательное собрание 18 июня 1849 г. и принят 15 марта 1850 г.). По этому закону все начальное образование во Франции отдавалось в руки духовенства, католической церкви. Тьер был председателем комиссии по подготовке законопроекта.

Стр. 138. ... *к счастливым временам Нантского эдикта.*— Нантский эдикт, положивший конец периоду религиозных войн во Франции, был издан Генрихом IV в 1598 г. О «счастливых временах Нантского эдикта» Герцен говорит иронически, поскольку протестанты благодаря этому акту получили лишь относительную свободу.

Стр. 140. ... *Местр не забыл об нем, говоря о папе.*— См. примечание к стр. 112.

Стр. 141. ... *в избении альбигойцев.*— Герцен имеет в виду жестокое избятие, которым подвергались альбигойцы — еретическая секта XII—XIII веков в южной Франции — во время организованного против них, по инициативе папы Иннокентия III, крестового похода.

... *сравнивая донесения Бошара с донесением Плиния Младшего, великодушие цезаря Траяна и немилость цезаря Каваньяка.*— «Донесением Бошара» Герцен называет доклад следственной комиссии по делу о демонстрации 15 мая и июньских днях в Париже, прочитанный в Учредительном собрании ее членом Бошаром. Доклад был проникнут беспредельной ненавистью к революционерам, социалистам и демократам. Характеризуя доклад Бошара в «Письмах из Франции и Италии» (Письмо десятое, см. т. V наст. изд.), Герцен назвал его «обвинительным вердиктом». Докладу Бошара Герцен противопоставляет «донесение» римского писателя и историка Плиния Младшего императору Траяну, наместником которого он был в области Малой Азии — Вифинии и Понте. В одном из писем к Траяну Плиний спрашивал, какой политики должен он придерживаться в борьбе со сторонниками христианства. Отвечая Плинию, Траян хотя и признавал необходимость наказаний за причастность к христианству, но указывал, что «анонимные доносы не должны иметь никакого значения ни при каком судебном обвинении». Именно этот факт имел в виду Герцен, говоря об «отвращении от доносов на христиан» Траяна. Он и дал Герцену повод противопоставить политику Траяна жестокости Каваньяка.

...*вот причина его апологетических писем к римскому сенату.*— Повидимому, Герцен имеет в виду произведение апологета христианства Тертуллиана — «Апологетик» («Liber apologeticus»), обращенное к римским властям, в котором он выступал с защитой преследовавшихся в его время христиан и христианства.

Стр. 142. *«Ты победил, Галилеянин!»* — Восклицание, приписываемое христианами апологетами борвавшемуся против христианства Юлиану Отступнику.

«*Voix du Peuple*», 18 mars 1850. — В тексте изданий 1855 и 1858 гг. указан номер газеты, датированный 15 марта. Это фактическая

ошибка Герцена: статья «Донозо Кортес...» была опубликована в газете «La Voix du Peuple» 18 марта 1850 г.

... общества улицы Пуатье.— «Комитет улицы Пуатье», в 1848—1849 гг. руководящий штаб так называемой «партии порядка», объединившей монархические партии легитимистов, орлеанистов и бонапартистов, а также некоторых махрово-реакционных буржуазных республиканцев.



СТАТЬИ

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ ИЛИ ОБЪЯСНЕНИЯ К СБОРНИКУ

Печатается по копии Н. Х. Кетчера (ГИМ). При жизни Герцена не публиковалось. Впервые опубликовано в ЛН, т. 39-40, стр. 166—167. Автограф неизвестен.

«Вместо предисловия» — первое обращение Герцена к русскому читателю, говорящее о его намерении «начать заграничную русскую литературу», создать вольную бесцензурную русскую печать. Документ этот развивает мысль, которая впервые за два месяца до того, но в более лаконичной форме была высказана в ранней редакции «Прощайте!» — «Addio!» (см. раздел «Другие редакции»).

Статья написана в форме письма к русскому другу, вероятно, к Т. Н. Грановскому, в собрании которого находится ее копия. Она должна была служить предисловием к сборнику произведений Герцена, о составе которого здесь и говорится.

Указывая на то, что неистовства николаевской цензуры после 1848 г. закрыли для него русские журналы, Герцен вместе с тем подчеркивает огромное значение, которое способна приобрести вольная русская печать, независимо от колебаний в цензурной политике царизма, и опровергает либеральные иллюзии своего адресата. Он был уверен, что зарубежная русская литература проложит себе дорогу через пограничные барьеры и дойдет до русского читателя.

Усиление реакции после выступления Горы 13 июня 1849 г. вынудило Герцена покинуть Париж и временно отказаться от своего замысла. Статья «Вместо предисловия» Герценом напечатана не была.

Позднее, в своем обращении «Вольное русское книгопечатание в Лондоне. Братьям на Руси» (1853), Герцен вспоминал: «Еще в 1849 году я думал начать в Париже печатание русских книг, но, гонимый из страны в страну, преследуемый рядом страшных бедствий, я не мог исполнить моего предприятия». Лишь в начале 50-х годов в Лондоне Герцен смог приступить к практическому осуществлению поставленной перед собой исторической задачи.

Стр. 145. ... цензуры над цензурой ∞ сидят уже не цензора, а генералы, адъютанты и министры. — В 1848 г. по приказу Николая I был создан специальный комитет для строгого надзора над цензурой. В этот комитет, положивший начало безудержному террору над печатью,

вошли кн. Меншиков, Бутурлин, бар. Корф, гр. Строганов, Дубельт и Дегай.

Стр. 148. ... *выгнали из Парижа русского ∞ не делают кровавых пятен своего правительства.* — М. А. Бакунин, по настоянию русского поверенного в делах Н. Д. Киселева, был выслан из Парижа за выступление на митинге в честь семнадцатой годовщины польского восстания 29 ноября 1847 г.

... *Европейского демократического клуба ∞ русский был избран президентом его.* — Одним из основателей клуба и его президентом был Н. И. Сазонов (см. об этом в «Былом и думах», «Русские тени», гл. «Н. И. Сазонов»).

... *на славянской диете в Праге.* — Речь идет о М. А. Бакунине, участнике Славянского съезда в Праге в июне 1848 г. См. об этом подробно в статье Герцена «Michel Bakounine» (1851) в т. VII наст. изд.

... *русский, призванный свидетельствовать в Буржескую инквизицию, стал за 15 мая.* — В марте 1849 г. во французском городе Бурже состоялся судебный процесс французских революционеров — участников выступления 15 мая 1848 г. В числе свидетелей находился и русский эмигрант И. Г. Головин, о котором см. в «Былом и думах», гл. «И. Головин».

... *схватили бумаги одного русского.* — Герцен говорит о самом себе. Эпизод с конфискованием его бумаг парижской полицией описан им в «Былом и думах» («Западные арабески. Тетрадь первая. II. В грозу»).

Стр. 149. «*Крайности сходятся.*» — Статья Герцена под таким названием неизвестна.

«*Москва и Петербург*» — см. т. II наст. изд., стр. 33—42.

Следующая книжка ∞ о ее внутреннем быте. — Сборники, о которых говорит Герцен, в свет не вышли.

«LA RUSSIE» <РОССИЯ>

Печатается по тексту прибавлений к газете «La Voix du Peuple» №№ 50, 57, 71 от 19 и 26 ноября и 10 декабря 1849 г., где появилось за подписью *Un Russe (Русский)*, под рубрикой «Всеобщая политика. Солидарность народов» и с обозначением «Письмо второе» (первое письмо принадлежало Шарлю-Эдмону (Хоецкому) и было напечатано в № 43 от 12 ноября 1849 г.). В заключительной части своей статьи Шарль-Эдмон объявлял о предстоящей публикации в «La Voix du Peuple» труда о России «знаменитого русского писателя», не называя имени Герцена. Автограф неизвестен.

Впервые опубликовано на немецком языке в издании «С того берега», 1850 г. (напечатано осенью 1849 г.) под названием «К Георгу Гервегу» за подписью *Barbar (Варвар)* и с датой: Монтре, 25 августа 1849 г. (см. наст. том, стр. 477). В текст статьи Герцена при переводе ее на французский язык, выполненном неустановленным переводчиком, был внесен ряд изменений (см. раздел «Варианты»). В литературной редакции французского текста, вероятно, принимали участие Эмма Гервег и Шарль-Эдмон. Герцен писал Э. Гервег 26 октября 1849 г., отправляя ей отпечатанный лист немецкого варианта статьи для сравнения его с французским переводом, посланным для «La Voix du Peuple»: «Вы получите сегодня последний отпечатанный листок моего письма. Ради бога, бросьте хоть беглый взгляд на перевод, и если нужно сделать какие-либо изменения, пусть они будут разрешены и одобрены вами. Не забудьте поместить в примечании следующие строки: „Это письмо было уже в типографской машине, когда автор прочел отпечатанную в Лейпциге

брошюру под названием «Russische Zustände. 1849». Она замечательна по истине и глубине; автор письма считает своим долгом указать ее тем, кто желает знать что-либо о России — они узнают о ней больше из этих двух печатных листков, чем из томов compilаций. Не зная имени автора, мы выражаем ему всю нашу симпатию — как русскому и как революционеру». Эдмон исправит это примечание, но, во всяком случае, напечатание его необходимо» (перевод с француз.). Это примечание о брошюре М. А. Бакунина по неизвестным причинам в текст газетной публикации не попало.

В письме к Эмме Гервег от 29 ноября 1849 г., публикуемом в одном из ближайших томов «Литературного наследства», Герцен заявил, что французский перевод «России» в общем хорош, но не лишен небольших погрешностей. В частности, он отметил, что сельские старосты (les maires de village) ошибочно названы в переводе председателями (présidents), что создало некоторую путаницу. В публикуемом выше переводе это указание Герцена принято во внимание.

Итальянский перевод статьи, сделанный без всякого участия Герцена, был напечатан в газете «Italia del Popolo», №№ 11 и 12 за 1849 г. (LV, 528).

Статья на русском языке при жизни Герцена ни разу напечатана не была. Хранящийся в ЛБ рукописный список первой трети статьи сделан М. Ф. Корш непосредственно с № 50 «La Voix du Peuple». Это доказывается полной идентичностью газетной публикации с копией, в которой повторена даже редакционная ремарка: «Продолжение в следующий понедельник». В конце копии надпись М. Ф. Корш, адресованная московским друзьям: «Простите, что так дурно списала».

В текст «La Voix du Peuple» и в перевод внесены следующие исправления:

Стр. 168, строки 26—27 (перевод: стр. 205, строки 27—28): d'une province plus peuplée dans une autre mal peuplée <из перенаселенной местности в малонаселенную> *вместо:* d'une province mal peuplée dans une autre plus peuplée <из малонаселенной местности в перенаселенную> (см. контекст).

Стр. 178, строка 9 (перевод: стр. 215, строка 11): d'imitation <восприимчивости> *вместо:* d'initiative <инициативы> (см. контекст).

Стр. 183, строка 3 (перевод: стр. 220, строка 5—6): parties <частей> *вместо:* partis <партий> (см. контекст).

Статья «Россия» — первое сочинение Герцена о России, обращенное к западноевропейскому читателю. Наряду с созданием вольной русской печати, Герцен считал своей важнейшей патриотической задачей ознакомление международной демократии с Россией, с ее историей, революционным и умственным движением. Эта демократическая интеллигенция в своем большинстве не знала тогда народную Россию, она отождествляла ее с самодержавным правительством и относилась к России с нескрываемым недоброжелательством. Рассеять это предубеждение Герцен стремился в ряде своих статей и брошюр, изданных в начале 1850-х годов. В письме к Чумикову от 9 августа 1851 г. Герцен писал, что «для того и не старался о возвращении <на родину>, чтоб познакомиться Европу с Россией и быть свободным ее органом». Вместе с тем Герцен с радостью отмечал сочувствие к русскому народу со стороны молодого поколения польской революционной интеллигенции.

Анализируя некоторые появившиеся на Западе сочинения о России, особенно две книги — маркиза де Кюстина «La Russie en 1839» («Россия в 1839 году», 1843) и барона Гакстгаузена «Studien über die inneren Zustände, das Volksleben und insbesondere die ländlichen Einrichtungen Rußlands» («Исследования внутренних отношений, народной жизни

и в особенности сельских учреждений «России», т. I, 1847) — Герцен в статье «Россия» впервые изложил свою народническую теорию, которую впоследствии развивал в ряде произведений 1850—1860-х годов.

С бароном Гакстгаузеном Герцен встречался в Москве в 1843 г. и уже тогда заинтересовался его наблюдениями над положением русского крестьянства, хотя и не придал его воззрениям на сельскую общину большого значения (см. дневниковую запись от 13 мая 1843 г. в т. II наст. изд., стр. 281—282). После же выхода из печати книги Гакстгаузена внимание Герцена было привлечено именно к этой ее стороне.

Но если прусский юнкер Гакстгаузен видел в крестьянской общине поддержку для монархии и власти дворян-помещиков, то Герцен пытался найти в ней обоснование своих социалистических надежд. Община для Герцена — «животворящий» принцип русского народа». Он приходит к выводу, что патриархальная сельская община может явиться могущественным средством общественного преобразования России, которая, миновав мучительный путь капиталистического развития, науперизацию, образование пролетариата, сможет сразу вступить на путь социалистического переустройства.

Слабость народнической теории Герцена заключалась прежде всего в том, что она не имела под собою исторического и экономического фундамента. Это и отметил Маркс, указав, что Герцен «открыл русскую общину не в России, а в книге прусского регирунгсрата Гакстгаузена» (К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с. Сочинения, т. XV, М., 1935, стр. 375).

Ленин дал исчерпывающую оценку народнической теории Герцена, видя в ней «доброе мечтание, облакающее революционность буржуазной крестьянской демократии в России» (В. И. Л е н и н. Сочинения, т. 18, стр. 11).

Глубоко ошибочные рассуждения о якобы социалистическом характере общины сочетаются в статье «Россия» с верой в творческие силы русского крестьянства, с глубоким сочувствием крестьянскому протесту против крепостнического гнета, хотя Герцен как дворянский революционер еще видел ведущую силу освободительного движения в среднем дворянстве.

Идеализируя общину, Герцен не закрывал глаза и на реакционные черты общинного быта в русском крепостническом обществе, в частности — на подавление общинной личности.

В связи с приведенным выше отзывом Герцена (стр. 515) о брошюре М. А. Бакунина «Russische Zustände» («Русские порядки»), переведенной на немецкий язык Виттигом (см. М. А. Б а к у н и н. Собр. соч. и писем, т. III, М., 1935, стр. 399—426 и 550—552) и выпшедшей из печати, по видимому, в начале августа 1849 г., необходимо отметить, что высокая оценка этой работы объясняется тем, что Герцен нашел в ней идеи, созвучные его собственным народническим воззрениям. В частности, здесь были высказаны мысли о «праве» народа «на землю», указание на то, что «характер русской революции как революции *социальной*» коренится «во всем характере народа, в его общинном укладе» и т. д.

Вместе с тем для брошюры Бакунина характерны иллюзорные надежды на быстрое падение самодержавия, на близость социальной революции в России, которым Герцен оставался чужд. Бакунин уверял, что русский солдат возвращается из Польши, пропитанный демократическими идеями, что царская армия из-за массового дезертирства накажуне распадет, что само чиновничество является в России «могучим орудием революции», ибо своим произволом и грабительством возбуждает народ против господствующего строя (М. А. Б а к у н и н. Цит. изд., т. III, стр. 402, 408, 426). Эти иллюзии Бакунина Герцен подвергал критике еще весной 1847 г., когда они встретились в Париже (см. «Былое и думы», «Русские тени», гл. «Н. И. Сазонов»).

Статья «Россия» привлекла внимание западноевропейской демократии, причем пессимистическая оценка Герценом перспектив исторического развития Западной Европы вызвала к себе критическое отношение. В частности, Маддини, перепечатавший в своей газете «Italia del Popolo» итальянский перевод «России», писал Герцену в ноябре 1849 г.: «Гражданин, у меня в руках перевод вашего письма к Гервегу, и я пишу вам, чтобы попросить передать продолжение моему другу Квадрио. Мы его поместим, оно важно. Я, впрочем, не разделяю вашей общей точки зрения и ваших мыслей об усталости Европы» (ЛV, 364).

Стр 188. «В моем существовании ∞ спорами». — Часто цитируемые Герценом строки из стихотворения Гёте «К Соединенным Штатам».

Стр. 189. ... *третий диалог*. — «Consolatio» из книги «С того берега», датированный 1 марта 1848 г. (см. стр. 86—106 наст. тома).

Стр. 190. *Франция сделалась Австрией Запада ∞ и новости*. — Герцен намекает на вооруженную интервенцию Франции против Римской республики в апреле — июле 1849 г.

Прусская сабля приостанавливает последние трепетания германского движения... — Террористические действия прусской карательной армии против Баденской революции в июне 1849 г.

... *императорского палача...* — Николай I отправил в конце мая 1849 г. русскую армию, возглавляемую И. Ф. Паскевичем-Эриванским, для подавления революции в Венгрии.

Первый римлянин... — Древнеримский историк Корнелий Тацит.

Стр. 191. ... *воплъ берлинского крикуна: «Они идут, русские! вот они! вот они!»* — Юмористический иллюстрированный журнал «Berliner Krakehler» («Берлинский крикун») открыл свой 9-й номер от 22 июня 1848 г. огромным ашлагом: «Русские идут!» («Die Russen kommen!»), повторенным четырнадцать раз на одной странице шрифтами разных размеров.

... *благодаря Габсбургскому дому ∞ дому Гогенцоллернов*. — Герцен имеет в виду поддержку, оказанную Николаем I Габсбургам и Гогенцоллернам в период революции 1848 г.

... *в бою, из коего он вышел победителем*. — Отечественная война 1812 года.

... *вскоре исполню свое намерение*. — Герцен осуществил эту задачу в 1851 г., выпустив в свет на французском и немецком языках книгу «О развитии революционных идей в России».

Стр. 192. ... *орган буржуазной республики ∞ пьяным буйством*. — О какой именно газете говорит здесь Герцен — не установлено.

... *немецкая газета, оплачиваемая австрийским двором...* — Повидимому, аугсбургская «Allgemeine Zeitung», которую в статье «Michel Bakounine» (см. т. VII наст. изд.) Герцен назвал «добровольным органом венского кабинета».

Стр. 194. ... *польской революции...* — Восстание 1830—1831 гг.

Стр. 195. ... *порядок, восстановленный в Польше...* — Подавление польского восстания 1830—1831 годов. Герцен намекает на приобретенное позорную известность выражение французского министра иностранных дел гр. Себастиани его докладе Палате депутатов: «Порядок парит в Варшаве».

... *порядок царит в Париже...* — Намек на положение в Париже после кровавого террора, последовавшего за поражением июньского восстания.

... *как прусский принц ежедневно руководит новыми расстрелами...* — Брат короля, принц Вильгельм (будущий император Вильгельм I), руководивший подавлением Баденского восстания.

... *Австрия, стоя в крови по колена ∞ парализованные члены.*— 1 ноября 1848 г. австрийскими правительственными войсками была жестоко подавлена венская революция. Солдаты и офицеры зверски уничтожали население столицы. Особенно свирепствовали они в рабочих кварталах.

... *в холодных компиляциях Шницлера, не свободных от официального влияния...*— К этому времени вышли книги И.-Г. Шницлера: «Essai d'une statistique générale de l'empire de Russie» («Очерк общей статистики Российской империи», Париж, 1829); «La Russie, la Pologne et la Finlande» («Россия, Польша и Финляндия», Париж, 1835), «Histoire intime de la Russie sous les empereurs Alexandre et Nicolas» («Внутренняя история России в царствование императоров Александра и Николая», Париж, 1847) и др.

Стр. 200. ... *заметному положению Мальтюса ∞ место за своим столом.*— См. примеч. к стр. 55.

Стр. 210. *Октябрьская революция...*— Народное восстание в Вене, начавшееся 6 октября 1848 г.

... *римский триумvirат...*— 22—23 марта 1849 г. в восставшем Риме Учредительным собранием был создан триумvirат в составе Армеллини, Саффи и Маццини.

... *русский крестьянин ∞ грабить его.*— Ср. запись в дневнике от 9 июля 1844 г. (т. II наст. изд., стр. 363).

Стр. 211. *Русский крестьянин суеверен ∞ поп и дьякон или их жены.*— Аналогичные мысли об отношении русского народа к религии высказаны и Белинским в его письме к Гоголю.

Стр. 212. ... *один народный проповедник, да и того патриарх принудил замолчать.*— Выдающийся проповедник и писатель XVII века протопоп Аввакум подвергался преследованиям со стороны патриарха Никона.

Стр. 214. ... *дворянское звание, по закону, даже утрачивается ∞ не вступали на государственную службу.*— Это указание Герцена неточно: манифестом от 18 февраля 1762 г. русским дворянам было предоставлено право не служить, с сохранением всех их привилегий.

Пять лет тому назад ∞ некоторые ограничения...— Закон от 11 июня 1845 г. об ограничении доступа в дворянское сословие. По этому закону для получения потомственного дворянства требовался более высокий чин, чем прежде.

Стр. 216. ... *26 декабря 1825 года...*— Восстание 14 декабря 1825 г. (Герцен указывает дату по новому стилю).

Стр. 217. ... *город в состоянии непрерывной осады.*— Герцен перефразирует здесь известное выражение Кюстина, писавшего в своей книге «Россия в 1839 г.», что Россия находится в состоянии непрерывной осады.

... *закона о заграничных паспортах...*— См. примеч. к стр. 16.

... *один мыслитель бросил в мир несколько листов ∞ подобное электрическому удару.*— П. Я. Чаадаев и его известное «Философическое письмо». 27 сентября 1849 г., собираясь послать московским друзьям экземпляр книги «Vom anderen Ufer», в которую входила и статья «Россия», Герцен писал: «Покажите Петру Яковлевичу <Чаадаеву>, что написано об нем, он скажет: „Да, я его формировал, мой ставленник“».

Стр. 219. ... *скамьи Московского университета ломились от наплыва слушателей.*— На лекциях Т. Н. Грановского в 1843—1844 гг. Ср. отзыв Герцена о лекциях Грановского в статьях «Публичные чтения г. Грановского» и «О публичных чтениях г-на Грановского (Письмо второе)» (т. II наст. изд.), а также дневниковые записи от 24, 26, 28 ноября и 1, 21 декабря 1843 г. (т. II наст. изд., стр. 316—320).

Стр. 223. ... прощального письма к друзьям ∞ Вот что я писал 1 марта 1849 года.— Герцен неточно цитирует здесь свое обращение к московским друзьям, отправленное им под псевдонимом «Addio!» и затем, после переработки, включенное в состав русского издания «С того берега».

Лондон...— Указание на то, что статья написана в Лондоне, несверно: оно имело целью направить по ложному следу русских правительственных агентов, внимание которых уже было привлечено выступлениями Герцена в печати.

LETTRE D'UN RUSSE A MAZZINI <ПИСЬМО РУССКОГО К МАЦЦИНИ>

Печатается по тексту газеты «La Voix du Peuple», № 181 от 1 апреля 1850 г., где появилось за подписью: *Un Russe* <Русский> и с примечанием: «Извлечено из № 6 „Italia del Popolo“». Автограф неизвестен.

Впервые опубликовано на немецком языке в издании «С того берега» 1850 г. с подзаголовком «Продолжение письма к Георгу Гервергу» и с датой: Лондон, 10 ноября 1849 г. (см. стр. 478).

Итальянский перевод напечатан в газете Д. Маццини «Italia del Popolo», № 6 за 1849 г. (LV, 529).

При жизни Герцена на русском языке напечатано не было.

В текст «La Voix du Peuple» и в перевод внесено следующее исправление:

Стр. 230, строка 20 (перевод: стр. 237, строка 34): théléologie <телеология> вместо: théologie <богословие> (см. контекст).

Статья Герцена, написанная в виде открытого письма к Д. Маццини, дополняет и развивает, в связи с новыми обстоятельствами международной политической жизни, мысли о будущих судьбах России, высказанные в написанной несколькими месяцами ранее статье «Россия» (см. выше).

Международные события осени 1849 г., о которых Герцен упоминает в начале своей статьи, заключались в следующем. 25 августа 1849 г. Николай I потребовал от турецкого правительства выдачи четырех поляков (Бема, Высоцкого, Дембинского и Замойского), участников восстания 1830—1831 гг., в 1849 г. служивших в революционной венгерской армии. Русский посланник в Турции В. П. Титов ультимативно заявил, что в случае отказа Россия начнет военные действия против Турции. Аналогичную ноту, но в более сдержанных тонах, предъявило и австрийское правительство, требуя выдачи ряда венгерских революционеров, бежавших в Турцию. Султан Абдула-Меджид под воздействием английских и французских дипломатов ответил отказом. Война казалась неотвратимой. Однако Николай I, обеспокоенный военными мероприятиями Англии, решил временно отказаться от каких-либо действий против Турции.

В этой связи Герцен и ставил вопрос о том, как русско-турецкая война могла бы отразиться на будущности России и славянства. Герцен резко клеймит русский абсолютизм, стеснявший развитие как самой России, так и всех славянских народов, оказывавший поддержку не славянам, а их палачам, и предсказывает ему скорую и неотвратимую гибель.

Герцен высказывает убеждение в том, что в будущем вокруг России как «организованного славянского мира» сложится «свободная федерация» славянских народов. Вместе с тем статья показывает, до каких ошибочных предположений способен был дойти Герцен, обосновывая свою веру в великое будущее России. Ему представлялось, что взятие

Константинополя царскими войсками привело бы в конечном счете к краху самодержавия и явилось бы «началом новой России, началом славянской федерации, демократической и социальной», столицей которой должен был явиться Константинополь. Герцен высказывает предположение, что паризм доказал бы в этом случае свою полную неспособность справиться с задачей объединения славянских народов, что и обусловило бы его конец. Эти взгляды были впоследствии развиты Герценом гораздо более подробно в статье «Старый мир и Россия» (1854).

К каким бы ошибочным и иллюзорным выводам ни приходил Герцен, вера его в Россию и славянство в основном и главном была верой революционера и демократа.

С т р. 231. ... моему письму [о России, опубликовав его перевод в «Italia del Popolo»... — Статья «Россия» (см. стр. 187 наст. тома), перепечатанная в №№ 11—12 газеты «Italia del Popolo» за 1849 г.

... прибавлении к «La Voix du Peuple». — Принадлежит ли это примечание Герцену или же редакции — не выяснено.

Превзойденный в жестокости июньскими расстрелами... — Имеется в виду жестокая расправа, осуществлявшаяся генералом Кавеньяком над участниками июньского восстания 1848 г.

... своего соседа... — Вероятно, речь идет о прусском короле Фридрихе-Вильгельме IV.

... своей соседки... — Повидимому, Герцен говорит здесь о матери австрийского императора Франца Иосифа — эрцгерцогине Софье. Вступив на престол в 1848 г. восемнадцатилетним юношей, Франц Иосиф вскоре приобрел известность жестокими репрессиями по отношению к венгерским революционерам.

С т р. 232. ... не является ни христианской, ни цивилизованной ∞ расстрелять... — В ответ на требование о выдаче польских революционеров (см. вступительную заметку) турецкий султан, как сообщалось в газетах, заявил русскому посланнику: «Я не христианский государь, чтобы выдавать своих гостей».

... второму сыну. — Ошибка: речь идет о внуке Екатерины II — Константине Павловиче.

Святая София — храм в Константинополе.

С т р. 233. ... Франция слишком виновна ∞ против чуждого беззакония. — Намек на вооруженную интервенцию Франции против революционного Рима.

С т р. 234. ... «русский паша» в Берлине? — Прусский король [Фридрих Вильгельм IV.

С т р. 235. Если гениальный человек... — Наполеон I.

... то его племянник... — Президент Французской республики Луи Наполеон, вскоре провозгласивший себя императором.

С т р. 237. ... жестокостью ∞ в Кефалонии англичане. — См. примеч. к стр. 107.

С т р. 238. Лондон... — Указание на то, что статья написана в Лондоне, сделано Герценом с конспиративной целью. См. примечание к стр. 223.‡

«CHARLOTTE CORDAY»

‡ Печатается по тексту газеты «La Voix du Peuple», № 175 от 26 марта 1850 г., где опубликовано впервые за подписью R.... Автограф неизвестен.

Принадлежность Герцену этой рецензии устанавливается на основании следующих фактов.

23 марта 1850 года в парижском Театре Республики («Комеди франсез») состоялась премьера драмы Ф. Понсара «Шарлотта Корде». На этом представлении присутствовал Герцен. В письме к Г. Гервегу, написанном на следующий день, Герцен сообщил свои впечатления от пьесы, которую назвал неплохой, но несколько холодной. При этом Герцен одобрительно отозвался об авторе, «у которого хватало ума, чтобы не изобразить Марата тигром, принимающим кровавую ванну и ежесидневно поедающим отбивные из аристократов и священников, поджаренные на слезах монашек». Через два дня, снова упоминая о «Шарлотте Корде», Герцен написал Гервегу: «Кстати, прочти фельетон сегодняшнего «Voix du Peuple», не обращая внимания на отвратительные типографские опечатки»¹.

Форма этого совета наводит на мысль, что речь здесь идет о фельетоне самого Герцена. Не обращать внимания на опечатки в статье мог рекомендовать, вероятнее всего, сам автор.

И действительно, среди личных бумаг Герцена в «пражской коллекции» (ЦГАОР) нами недавно обнаружен собственноручно составленный Герценом список его статей, в котором фигурирует и «Шарлотта Корде». Фельетон, указанный Герценом, помещен в № 175 «La Voix du Peuple» от 26 марта в виде «подвала» на первой странице газеты, под рубрикой «Фельетон „Voix du Peuple“ от 26 марта 1850 г.— Театральное обозрение» и представляет собою рецензию на постановку «Шарлотты Корде».

Эта рецензия содержит строки, очень близкие к отзыву Герцена, изложенному в письме к Гервегу. Имеются в нем и совпадения с уже известными высказываниями Герцена (см., напр., т. V¹ наст. изд., стр. 185, 418—419 и 426—427).

И по содержанию и по стилю рецензия на «Шарлотту Корде», в которой содержатся яркие и глубокие высказывания о французской революции, о ее деятелях, о законах драматического искусства, о Шекспире,— заметно отличается от остальных рецензий в «La Voix du Peuple», представляющих собой главным образом бесцветные пересказы сюжета разбираемых пьес и глупую оценку игры актеров. Рецензий, в которых ставились бы какие-либо вопросы общего характера и содержалась бы оценка исторических явлений и их философское осмысление, в «La Voix du Peuple» нет.

Инициал R..., которым подписана рецензия на «Шарлотту Корде», под другими рецензиями в «La Voix du Peuple» больше не встречается. Вполне вероятно, что инициал этот обозначает начало слова «Russe» («Русский»). Это тем более правдоподобно, что число точек здесь полностью соответствует числу пропущенных букв в этом слове. Как известно, статьи «La Russie» и «Lettre d'un Russe à Mazzini», напечатанные в это время в «La Voix du Peuple», также подписаны *Un Russe*.

Фельетон в № 175 «La Voix du Peuple» являлся лишь началом рецензии на «Шарлотту Корде». Обещанное продолжение не появилось на страницах этой газеты — возможно, что оно так и не было написано.

В текст «La Voix du Peuple» и в перевод внесено следующее исправление:

Стр. 240, строка 11 (перевод: стр. 244, строка 8): près du bord <у самого берега> вместо: ou trop près du bord* <или слишком у самого берега> (см. примечание к стр. 244).

Стр. 243. ... «подобно дыму, не оставляя никакого следа». — Герцен, имеет в виду XXIV песнь «Ада» Данте (терцины 16—17).

Стр. 244. ... у самого берега. — В этом месте текст газетной публикации неясен: перед словами «у самого берега» стоит: «ou trop

¹ Обе цитаты приведены здесь в переводе с французского. — *Ред.*

〈или слишком〉». Вероятно, именно здесь имела место одна из тех «отвратительных типографских опечаток», на которые жаловался Гервегу Герцен. Из других грубых опечаток отметим несколько раз повторенное бессмысленное *quelle* вместо *qu'elle*.

... в одной из будущих статей.— Вторая рецензия на «Шарлотту Корде» в «*La Voix du Peuple*» не появлялась

Стр. 245. ... человека-волка, описанного теткой Шарлотты...— Герцен ошибочно приписывает сравнение Марата с волком тетке Шарлотты Корде — г-же де-Бретвилль; в пьесе это сравнение вложено в уста другого персонажа — «старой дамы», восклицаящей по поводу Марата: «А правда ли, как говорят, что у него глаза багрового цвета, которые, подобно волчьим, сверкают во мраке?» (Акт II, сцена 1).

...маньяка, описанного Барбару.— Жирондист Ш.-Ж.-М. Барбару (историческое лицо) в пьесе Пюссара осыпает грязными поношениями Марата, называя его «бандитом, купающимся в крови», «чудовищем», «сухой и ненавидящей душой» и т. п.

... Марат изображен таким, каким мы его знаем...— Ср. аналогичную характеристику Марата в «Былом и думах» (часть III, глава XXII).

Стр. 246. ... с трагедией, исполненной великих красот...— Историческая драма Георга Бюхнера «Смерть Дантона» была написана в 1835 г. Умер Бюхнер в 1837 г. Других упоминаний о Бюхнере в переписке Герцена и его сочинениях не встречается.



ДОЛГ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Впервые опубликовано в сборнике «Прерванные рассказы Искандера» (Лондон, 1854, стр. 1—97). Печатается по тексту второго, исправленного автором, издания сборника (Лондон, 1857, стр. 1—104). Различия между изданиями см. в разделе «Варианты». Сборник посвящен М. К. Рейхель (посвящение публикуется в т. XII наст. изд.).

При жизни Герцена «Долг прежде всего» был напечатан в переводах на английский («The Leader», 1853, № 193, сокращенно), немецкий («Unterbrochene Erzählungen» von Alexander Herzen. Aus dem russischen übersetzt von Malwida von Meusenbug. Hamburg, 1858) и французский («La Cloche», 1862; в № 1 — отрывок под заглавием «L'aristocratie russe»; в №№ 35—37, 40, 42—44 — полностью, под заглавием «Le devoir avant tout. Nouvelle») языки. М. К. Лемке указывает еще на сокращенный французский перевод, помещенный в 1854 г. в одной из французских газет (*Л VII*, стр. 498). О немецких изданиях, выпущенных в 1887, 1889 и 1890 гг., см. ниже.

В текст издания 1857 г. внесены по контексту следующие изменения:

Стр. 258, строка 17: с своей *вместо:* своей

Стр. 258, строка 30: Лев Степанович *вместо:* Лев Михайлович

Стр. 286, строка 27: письма *вместо:* письмо

Сохранилась ранняя редакция повести в виде авторизованной копии (см. раздел «Другие редакции»). Эта копия состоит из двух тетрадей (ныне соединенных в одном переплете); в тексте — довольно многочисленные исправления и добавления Герцена (более 100), преимущественно стилистического характера. После «P. S.» (см. настоящий том, стр. 408) в рукописи внизу страницы написано рукою Герцена: «Hier kommt d<as> Buch d<en> ich nach einer Woche schicken werde»¹. Ранняя редакция повести опубликована по этой авторизованной копии в *ЛН*, т. 61, 1953, стр. 27—88.

Текст ранней редакции позволяет уточнить датировку повести «Долг прежде всего» и проследить историю ее создания.

Дата, стоявшая под зачеркнутым Герценом предисловием к ранней редакции, — 25 августа 1847 г. — определяет время написания первой части («Пролога, т. е. части, предшествующей первой части») повести. Эта часть была закончена во время пребывания Герцена в Бретани, куда он ездил вместе с семьей в июле — августе 1847 г.

В письме к В. П. Боткину из Рима от 31 декабря 1847 г. Герцен писал: «Первая часть или пролог новой повести совсем готов. Не знаю, мерзок ли он, но я, особенно началом, очень доволен. Отошло, как только получу „Современник“. В начале 1848 г. Герцен послал в Россию первые главы повести в „Современник“, о чем писал Е. Ф. Коршу, Т. Н. Гра-

¹ Здесь следует книга, которую я пришлю через неделю (нем.). — *Ред.*

повскому и К. Д. Кавелину 30 января 1848 г. из Рима. Еще в № 10 «Современника» за 1847 г., в извещении об издании журнала в 1848 г., редакция уведомляла читателей, что это новое произведение Искандера будет печататься на страницах журнала. Однако по причинам цензурного характера повесть в «Современнике» опубликована не была. П. В. Анненков сообщает в своих «Литературных воспоминаниях»: «Он <Герцен> начал сообщать из французской революции 89 года с русским деятелем посреди ее и не усомнился послать рассказ в „Современник“ Позднее Панаев говорил мне в Петербурге: Герцен с ума сошел, посылает нам картины французской революции, точно она у нас дело признанное и позабытое. Повесть, разумеется, не пошла в печать...» (П. В. Анненков. Литературные воспоминания, Л., 1928, стр. 494).

В 1849 г. Герцен предполагал издать за границей сборник своих произведений на русском языке и включить в него «Долг прежде всего» (см. наст. том, стр. 149). Но это издание не было осуществлено.

К повести Герцен вернулся в 1851 г. 19 июня 1851 г. он писал друзьям из Парижа: «Я хочу напечатать повесть, которую вы, кажется, читали, — „Долг прежде всего“».

В октябре 1851 г. Герцен послал рукопись «Долга прежде всего» немецкому переводчику Вильгельму Вольфзону, которого он знал еще в Москве в 1845 г., для перевода и издания повести на немецком языке. Для предполагавшегося издания было написано дополнение к повести («Вместо продолжения»), озаглавленное в рукописи «Письмо автора к г. Вольфзону» и представляющее собой конспективный пересказ продолжения «Долга прежде всего». Под этим текстом стоит дата: «Ницца. 13 октября 1851 года».

Как видно из письма Герцена к М. К. Рейхель от 1 января 1852 г., вторая половина рукописи была послана Вольфзону в ноябре. По неизвестным причинам Вольфзон повести не издал.

Публикуя повесть в 1854 г. в сборнике «Прерванные рассказы Искандера», Герцен подверг ее текст переработке и сокращению.

В 1887 г. вышло издание «Долга прежде всего» в переводе на немецкий язык («Die Pflicht vor Allem». *Novelle von Alexander Herzen. Dresden und Leipzig, 1887*). Повесть в этом переводе была переиздана в 1889 и 1890 гг. Перевод был сделан с рукописи, посланной Герценом в свое время Вольфзону, который умер в 1865 г. В издании М. К. Лемке эта ранняя редакция повести была воспроизведена в обратном переводе с немецкого (LVIII, стр. 498—526).

Местонахождение этой рукописи оставалось неизвестным. Она была случайно обнаружена в конце 1920-х годов в Париже и в 1946 г. поступила в ЦГАЛИ. Оказалось, что немецкое издание далеко не полностью передавало текст рукописи: не был включен ряд больших кусков текста из второй части повести, главным образом по цензурным соображениям. Так, например, был опущен абзац, посвященный сопоставлению прусского и русского самодержавия, и т. п. Немецкое издание очень вольно обращалось с языком и стилем Герцена и в ряде случаев искажало и выхолащивало смысл отдельных фраз.

По сравнению с опубликованной самим Герценом переработанной редакцией повести ранняя редакция имеет много отличий, особенно во второй части, впоследствии значительно сокращенной; в частности, здесь много места уделено характеристике политического положения России и Польши.

Ранняя редакция показывает, что Герцен, отослав рукопись Вольфзону, повидимому, восстанавливал и создавал новую редакцию по какому-то не дошедшему до нас черновику; некоторые фразы, зачеркнутые в ранней редакции, вошли в окончательный текст повести.

На полях авторизованной копии имеются довольно многочисленные полустертые карандашные пометки, сделанные неизвестной рукой. В боль-

шинстве случаев они носят характер критических замечаний к тексту повести, предложений об исправлении отдельных выражений, о замене некоторых слов. Просмотрев замечания, Герцен частью согласился с этими предложениями и внес в текст изменения, а частью оставил карандашные пометки без внимания. Авторизованная копия имеет некоторые особенности: более современную орфографию, меньшее количество абзацев и т. п. Текст ее печатается соответственно рукописи.

«Долг прежде всего» был задуман Герценом как большое произведение. Пять глав, законченных осенью 1847 г., должны были явиться лишь вступлением к повествованию. Они содержат яркие картины русского крепостнического быта, рисуют портреты представителей различных поколений семьи крепостников Столыгиных. Центральным же образом произведения должен был в дальнейшем стать отпрыск этой семьи — Анатолий Столыгин. В написанной в 1847 г. части повести герой этот еще едва только появляется на сцене. В его лице Герцен хотел изобразить характерную для тридцатых-сороковых годов фигуру лишнего человека, представителя «несчастливого поколения». Анатолий полон сил и энергии, но жизнь его пуста, ложна и тягостна вследствие постоянного противоречия между его стремлениями и присущим ему ложно понятым чувством долга. Над ним тяготеет моральный кодекс, внутренне ему чуждый, кодекс отжившей морали, который он не в силах отвергнуть и преодолеть.

«Долг прежде всего» перекликается с теми произведениями Герцена, в которых он в теоретическом плане касался вопроса о власти старых моральных норм о необходимости освободиться от них. Так, в цикле «Капризы и раздумье» Герцен говорил о так называемых «фүэросах» (см. т. II наст. изд., стр. 73 и след.), т. е. пережитках старого в сознании. Анатолий видит дикость родительской воли — и подчиняется ей; его сочувствие на стороне восставших поляков (в этой связи повесть касается взаимоотношений русской и польской передовой интеллигенции), но он участвует в подавлении польского восстания. Поэтому Анатолий и терпит жестокий духовный крах.

В обрисовке образа Анатолия Столыгина отразились черты биографии профессора Московского университета В. Печерина. Охваченный ненавистью к господствовавшему в России строю, он в 1836 г. бежал за границу. Безуспешно попытавшись связаться с революционерами, Печерин через некоторое время круто меняет свои взгляды и становится католическим монахом (подробнее о нем см. главу «Былого и дум» «Pater V. Petcherine»).

Дальнейший духовный путь Печерина подтвердил проницательность герценовской психологической характеристики Анатолия. Печерин, до конца жизни оставаясь католическим священником, был охвачен острым скептицизмом и неверием.

В ранней редакции повести затрагивается также вопрос о перспективах русской эмиграции, о положении русского дворянского интеллигента за границей.

По силе протеста против крепостнического насилия и произвола, против издевательства над личностью и пренебрежения к ней «Долг прежде всего» занимает одно из первых мест среди художественных произведений Герцена.

В 1847 г., по возвращении из Гавра в Париж, Герцен читал начало своей повести Белинскому и Бакунину, находившимся в то время в Париже. Прочитанное, как вспоминал Герцен, произвело сильное впечатление на Белинского.

Очень высоко ценил «Долг прежде всего» Лев Толстой. Д. П. Маковицкий в своих «Яснополянских записках» сообщает, что Толстой сказал о повести Герцена: «Ничего подобного нет в русской литературе». По свидетельству того же Маковицкого, вечером 26 июля 1905 г. Толстой, про-

читав «растроганным» голосом первую часть повести, сказал: «Эта первая глава — превосходная, удивительная. Вот что читать теперешней молодежи» (см. Н. Гусев. Герцен и Толстой, ЛН, т. 41—42, стр. 511).

Стр. 249. ... Трифон Столыгин успел в две недели три раза присягнуть *с раз не помню кому...* — Имеется в виду эпоха крестьянской войны и шведско-польской интервенции начала XVII столетия, когда один за другим сменялись претенденты на русский престол.

Стр. 259. ... *Саввина монастыря...* — Старинный монастырь близ Звенигорода (основан в XIV столетии).

... *оконтуженного в голову во время турецкой кампании...* — Имеется в виду русско-турецкая война 1768—1774 гг.

Стр. 260. ... *хозяева пили кислые щи...* — Кислые щи — шипучий напиток вроде кваса.

Стр. 264. ... *чертою, проведенной генеральным межеванием.* — Генеральное межевание — начавшееся при Екатерине II межевание земель, т. е. определение границ владения.

Стр. 271. ... *седьмую часть ей выделить во всяком случае придется...* — По действовавшим законам вдове после смерти мужа, если последний не оставлял завещания, расширявшего или ограничивавшего ее наследственные права, предоставлялась седьмая часть недвижимого и четвертая часть движимого имущества. В изд. 1854 г. вместо «седьмую часть» сказано: «четырнадцатую часть» (см. «Варианты»). Четырнадцатая часть также фигурировала в наследственном праве, но при определении категории наследования дочери.

... *прибыльное место по комиссариатской части...* — Комиссариатские должностные лица ведали снабжением армии, обмундированием, снаряжением, лагерными принадлежностями и т. п., исключая провиантское довольствие.

Стр. 275. ... *Олег, о котором сама императрица изволила писать пьесу...* — Имеется в виду пьеса Екатерины II «Начальное управление Олега. Подражание Шакеспеиру, без сохранения феатральных обыкновенных правил».

... *знали еще благодаря Вольтеру некоторые неверные подробности о царствовании Петра I.* — Вольтером написана «Histoire de l'Empire de Russie sous Pierre le Grand» («История Российской империи в царствование Петра Великого»).

Стр. 276. ... *до отечественных охтенюк...* — Охта или Охтенский город — один из районов Петербурга.

Стр. 279. ... *собирался было прочесть в Тите Ливии о народном возмущении против Тарквиния Старшего...* — Действующим лицом исторического события, о котором говорит Герцен, был Тарквиний Гордый, а не Старший. О его жизни и деятельности рассказывается в первой и второй книгах «Римской истории от основания города» Тита Ливия. После изгнания Тарквиния Гордого царская власть была заменена республиканской.

Стр. 280. ... *подражание Цезаревым солдатам в Фарсальской битве...* — Фарсальская битва — сражение между войсками Цезаря и Помпея (48 г. до н. э.) в эпоху гражданской войны. Многие сражавшиеся находились между собой в родственных и близких отношениях. Во время битвы Цезарь, ободряя своих воинов, велел «разить железом лицо супостата» (см. Лукан «Фарсалия», кн. 7).

Стр. 286. ... *вскормленный на справках и сандарак...* — Сандарак — смола, употреблявшаяся для натирки подскобленных мест на бумаге.

Стр. 290. ... *окуривала калганом и сабуром...* — Калган — растение, служащее для приготовления лекарств, применялся также в народной

медицине. Сабур — стущенный сок, получаемый из различных видов алоэ.

Стр. 297. *Сверх обыкновенной гражданской цензуры, была в то время учреждена другая, военная...* — В 1848 г. был образован «Комитет 27 февраля», вскоре замененный «Комитетом 2 апреля». Период деятельности этих комитетов характеризуется как «эпоха цензурного террора». Комитеты осуществляли надзор за деятельностью обыкновенной цензуры. В их состав входили представители николаевской военной бюрократии. Герценовское перечисление — ирония, состав цензурных комитетов в действительности не был столь многочисленным.

Эта осадная цензура, руководствуясь военным регламентом Петра I и греческим Номоканоном... — Имеются в виду «Устав воинский» Петра I и известный также под названием «Кормчей книги» сборник церковных и относящихся к управлению церковью правил. Такие сборники первоначально появились в Византии и назывались Номоканонами.

...задушевная переписка с друзьями о выгодах крепостного состояния, телесных наказаний и рекрутских наборов. — Подразумевается реакционная книга Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями».

...лейб-цензурный аудиторiat... — Существовавшие до военно-судебной реформы 1867 г. аудиторiatы представляли собой военно-судебные инстанции, осуществлявшие ревизионные функции в отношении военных судов. Аудиторiatов было пять.

Стр. 298. *Ярем он барщины старинной...* — Цитата из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина (гл. II, строфа IV). У Пушкина в третьей строке вместо «мужик» — «и раб».

«А все библейское общество, все библейское общество, это из Великобританиидет». — Имеется в виду «Российское библейское общество», находившееся в тесной связи с «Британским и иностранным библейским обществом». Пропаганда «Российского библейского общества» вызывала враждебное отношение со стороны ряда представителей правительственных кругов и высшего духовенства.

Стр. 299. *...зачесывал седые волосы à la Titus...* — При стрижке головы à la Titus волосы оставлялись одинаково короткими как сзади, так и спереди. С волосами, остриженными таким образом, изображен римский император Тит.

Стр. 300. *...не похожи на современных актеров «памятной книжки» и действующих лиц «адрес-календаря».* — Т. е. не похожи и на современных представителей правительственных бюрократических кругов, имена которых вносились в подобные издания.

Стр. 301. *...метанью эспонтоном...* — Эспонтон — род пики. *...он хотел царствовать по темпам.* — В определенное количество «темпов» (т. е. приемов) делали на-караул, заряжали ружье и т. п.

Стр. 304. *...сегодня нет заграничных пассов...* — 10 марта 1848 г. последовало распоряжение Николая I о том, чтобы русским подданным не позволялось выезжать за границу без высочайшего разрешения. Эта мера была принята в связи с начавшимися в Западной Европе революционными событиями.

...«усердие все превозмогает»... — Девиз на гербе графа П. А. Клейнмихеля.

Стр. 309. *...на кожно го обращения униатов...* — Имеется в виду насильственное воссоединение униатов с православной церковью. Акт о воссоединении был подписан в 1839 г.

...ни духовного прозрения Гоголя... — Речь идет о реакционных, мистических заблуждениях, в которые Гоголь впал в последний период жизни.



ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ

С ТОГО БЕРЕГА

〈A mon fils Alexandre〉,
〈Сыну моему Александру〉

Печатается по французскому автографу (ЦГАОР). См. комментарий, стр. 495—496.

Addio!

Печатается по копии, снятой Н. Х. Кетчером (ЛБ). См. комментарий, стр. 496.

Перед грозой

Печатается по копии, снятой Н. Х. Кетчером (ГИМ), с исправлением слова «обмирает» на «отмирает» (стр. 327, строки 1—2). См. комментарий, стр. 497—498.

После грозы

Печатается по авторизованной копии, снятой М. К. Эрн (Рейхель) (ЛБ). См. комментарий, стр. 499—500.

Стр. 345, *Ich riß sie blutend aus dem wunden Herzen...* — Из стихотворения Шиллера] «Resignation» («Отречение»).

Donoso Cortès...

Печатается по тексту парижской газеты «La Voix du Peuple», № 167 от 18 марта 1850 г. См. комментарий, стр. 510.

В текст «La Voix du Peuple» внесены следующие исправления:
Стр. 355, строка 45: impossible <невозможным> вместо: possible <возможным> (см. контекст).

Стр. 357, строка 8: plus près <ближе> вместо: plus prêts <готовы>.

Стр. 357, строка 11: restés <оставшиеся> вместо: versés <пролившиеся> (см. контекст).

Стр. 358, строка 37: ne provoquaient pas <не вызывали> вместо: ne provoquent pas <не вызывают> (см. контекст).

Ниже приводится перечень наиболее значительных смысловых отличий французского текста от русской основной редакции:

Стр. 133¹.

²⁰ *После:* старого // Христиане, вы знаете это!

²⁵⁻²⁶ *Вместо:* Какой хаос, какой недостаток последовательности в понятиях современного человека! // Это также следствие полного смешения понятий, к которому мы пришли в результате незавершенных революций и слепых реставраций, в результате непоследовательностей, мелких поправок; это смешение чрезвычайно мешает нам постигнуть всякое ясное, простое, естественное понятие.

Это смешение досталось нам как наследство; мы находим его обосновавшимся в нашей душе во имя авторитета. Пробуждение умственных способностей, действительность мысли парализованы, уклонились со своего пути. Естественная связь человека с внешним миром нарушена. Воспитание делает людей безумными прежде, нежели они успевают приобрести разум.

Стр. 134

³⁸ *После:* ни чего не хотят — подстрочное примечание Герцена: Я знаю только одного французского писателя, который освободился от традиционных влияний, который не боится опровержимых доводов логики и который не отступает ни перед какой истиной, предстоящей как дедукция, — это Прудон.

Стр. 135

¹ *Перед:* Все роялистские // Позвольте мне привести вам один недавний пример этой неопределенности в мыслях наших противников; в другой раз я намерен выбрать пример из жизни нашей семьи.

Стр. 136

В абзаце: Донозо Кортес предполагает Герцен исключил следующее место, имеющееся во французском варианте: Цивилизация античного мира была цивилизацией меньшинства, как и наша. Как и наша, чтобы стать возможной, она нуждалась в антропофагии. Но из этого вовсе не следует, что мы имеем право отдавать предпочтение современному миру, если только предпочтение заключается в этих наименованиях культуры и цивилизации. Мир, который начался «Илиадой», который произвел Фидия, который выразился в Аристотеле и который, клонясь к упадку, закапчивал свое прекрасное существование Горацием, был очень культурен и очень цивилизован. Г-н Кортес даже не заметил, что своим собственным утверждением, будто единственным источником нашей цивилизации является христианство, он признал его исторический, то есть временный характер. Далекий от того, чтоб увидеть утреннюю зарю нового дня, цивилизации, гораздо более гуманной, чем цивилизация христианская...

Стр. 137

⁸⁻¹⁰ *Вместо:* Социалисты ∞ все они // Социализм с самого первого появления своего, с сен-симонизма, сказал это; в этом все социалистические школы согласны между собой.

¹³ *Вместо:* на прежней почве // на той же почве, что и мир католический

¹⁶⁻¹⁷ *Вместо:* вполне отрицает ∞ мир римский // он отрицал Европу феодальную, католическую, как это делали, по отношению к Риму, святой Павел или святой Августин, эти люди, говорившие в лицо римлянам: «Для нас ваши добродетели являются пороками, ваша мудрость — безумием; так же, как для вас представляется наша святая вера!»

¹ Страницы указываются по русскому тексту. — *Ред.*

¹⁸ *После:* отрицание // если оно укореняется и распространяется, если оно волнует целое поколение

²⁰⁻²² *Вместо:* приговор ему ∞ формах // приговор, провозглашенный миру дряхлому и который незамедлительно будет приведен в исполнение

Стр. 138

²³ *Вместо:* ни вас, ни нас // более ни вас, ни нас, чтобы предохранить себя от варварства и русского нашествия во имя цивилизации.

²⁷⁻³⁰ *Вместо:* какому-то Молоху ∞ добродетелью // современному положению. Думаете ли вы об этом, христианские человеколюбцы? Но разве вообще этот Молох государства является целью человека? С таким же успехом можно было бы сказать, что перчатка — это цель руки или крыша — это цель дома. Что до меня, я не знаю никакой формы общественной жизни, никакого политического, патриотического или богословского вопроса, ради которого я согласился бы дать благословение на убийство, ради которого я согласился бы предложить пожертвовать хоть одним человеческим существом. Человек имеет полное право отдаваться, жертвовать собой. Но, по правде говоря, героизм самоотвержения за счет других слишком легок, чтобы являться добродетелью.

³⁰⁻³¹ *После:* Случается // к несчастью

³² *Вместо:* мстящие // безжалостные

Стр. 139

¹⁵⁻¹⁹ *Вместо:* она была в необходимости ∞ Вальдегамас // это была необходимость, продиктованная силой вещей и которая происходила от самой сущности христианского учения, в высшей степени трансцендентального утопического. Абстрактная этика евангелия была всегда одной лишь благородной мечтой, не имевшей никакой надежды воплотиться в жизнь.

И что же! То, что церковь никогда не дерзала делать, сделано г. Кортесом. Оп

Стр. 140

³⁰⁻³¹ *Вместо:* И вот с Голгофой ∞ христиан // И по поводу Голгофы п палачей обратимся к гонениям христиан, обратимся к отрывкам г. Капефига, если у вас нет под рукой хорошей истории первых веков.

Стр. 141

¹⁰⁻²⁷ *Вместо:* и резню «назареев» ∞ Плиний // то это оттого, что язычество было более человечественно, более терпимо, чем высокопоставленные мечанские и правоверные консерваторы, оттого, что древний Рим не знал еще католических средств варфоломеевских ночей, прославляемых до сих пор фресками в Ватикане. Дух один; если и есть разница, то она только в расчетах и личностях; это разница между доносчиком Бошаром и доносчиком Плинием, между милосердием цезаря Траяна, его отвращением к доносам, и милосердием цезаря Каваньяка, который не разделял этой щепетильности, и заметьте, что эта разница — истинный прогресс. Правительство настолько стало хуже, что какой-нибудь Плиний или Траян становятся теперь невозможными во главе государства или следственной комиссии

³²⁻³³ *После:* Тертуллиана // как Мишеля (из Буржа).

ДОЛГ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Печатается по авторизованной копии, хранящейся в ЦГАЛИ, со следующими исправлениями:

Стр. 388, строка 39: Делать было нечего вместо: Дело было нечего
Стр. 428, строка 35: она возводит вместо: он возводит

Стр. 361. ... *Декабрьское письмо, № 41, 518.* — Эпиграф к повести взят А. И. Герценом, повидимому, из письмовника XVIII века.

Стр. 368. ... *в филипповке у кучера пропала...* — Филипповка — церковный пост, начинавшийся 14 ноября, в день апостола Филиппа.

Стр. 369. ... *по древнему обычаю, «с ваилми» в руках...* — Вай — пальмовые ветви, которые употреблялись в Палестине при шествиях во время празднований, при богослужениях и пр. Здесь упоминаются в ироническом смысле: повидимому, с палками в руках.

Стр. 372. ... *о Соловецком монастыре и о Саровской пустыни, где всеобщее бдение продолжалось до рассвета.* — Соловецкий монастырь — монастырь, существовавший с XV века на островах Белого моря. Саровская пустынь — монастырь, основанный в XVIII веке в Темниковском уезде Тамбовской губернии.

Стр. 386. ... *двое крепостных слуг успели отстегнуть пряжки у вашей.* — Ваши — большие чемоданы, прикрепленные к крыше кареты.

Стр. 395. ... *в Москве с знаменитого кутежа, по случаю которого в первый раз упоминается о ней в летописи...* — Герцен имеет в виду сообщение Ипатьевской летописи о том, что по случаю приезда в Москву князя Святослава Новгород-Северского князь Юрий Долгорукий устроил «обед силен».

Стр. 396 ... *не нашла в себе сил Сарагоссы...* — Сарагосса — город в Испании, прославившийся упорным сопротивлением французским войскам в 1808—1809 гг.

Стр. 400. ... *от барского гнева и от барской любви...* — Неточно цитируются слова Лизы из «Горя от ума» А. С. Грибоедова (действие I, явление 1).

Стр. 406. ... *богопротивным врагом во время нашествия галлов и о ними дванадцат язык.* — Слова из манифеста по поводу Отечественной войны 1812 г.

Стр. 410 ... *каудинские фуруклы прежней русской цензуры...* — Кавдинские, или Каудинские фуруклы (лат. Fungulae Caudinae) — узкое ущелье в Римской Кампаньи, где римляне потерпели поражение во 2-ю Самнитскую войну.

Стр. 414—415. ... *с Тренком Пандуром.* — Австрийский авантюрист XVIII века Франц Тренк организовал полки иррегулярной пехоты — пандуров, представлявших собой полуразбойничьи шайки.

Стр. 416. ... *как немецкие князья XVIII века устроивали свои «Трианон» и «Версаль».* — Искаженное немецкое произношение «Трианон» и «Версаль» — дворцовые резиденции французских королей.

Стр. 417. *На приступ Варшавы пошел бы каждый...* — Имеется в виду трехдневный штурм Варшавы русскими войсками в 1831 г.

Стр. 418. *Нет, братцы, нет!*... — Четверостишие из стихотворения Д. Давыдова «Полусолдат».

Стр. 419. ... *почетилем был добрейший старик...* — Повидимому, кн. С. М. Голицын, попечитель Московского учебного округа в конце 20-х и начале 30-х годов. О нем см. в «Былом и думах» (часть II, глава XII).

Стр. 424. *Брат мой убит под Остроленкой...* — 14 мая 1831 г. в сражении под Остроленкой была разбита польская армия.

Николай подарит его своим холопам, может быть своей жене, как Софьевку. — Софьевка — имение графа Феликса Потоцкого около Умани, названное им так в честь жены Софьи Потоцкой. В 1834 г. реквизировано и передано Николаем I жене — Александре Федоровне.

Стр. 427. ... *лил свою кровь вместе с Костошкой...*— Во время русско-польской войны 1792—1794 гг.

... *голубица, прилетевшая с оливой к Ною.*— Имеется в виду библейское сказание о всемирном потопе. Прилет к Ною в ковчег голубя с веткой оливы в клюве означал конец потопа.

Стр. 430. ... *когда кровь лилась реками в Лионе, в Клуатре Сен-Мери и Бюжо, готовясь в Трансноненской улице, свидетельствовал беременность герцогини Беррийской.*— Речь идет о восстаниях во многих городах и департаментах Франции против буржуазного режима Луи Филиппа в 1832—1834 гг. В 1834 г., во время подавления правительством республиканского восстания в Париже, отряд правительственных войск, общее командование которыми принадлежало маршалу Бюжо, ворвавшись в один из домов по ул. Транснонен, перебил всех его жителей, в том числе женщин и детей. Отзыв Герцена о событиях, связанных с именем герцогини Беррийской, см. в дневнике, запись 21 декабря 1843 г. (т. II наст. изд., стр. 321.)

Стр. 432. *Из нас трех в живых остался один я.*— В 1848 г. умер В. Г. Белинский. Арестованный в 1849 г. в Саксонии М. А. Бакунин в 1851 г. был выдан австрийским правительством России. Вскоре распространились ложные слухи о его смерти в Петропавловской крепости.



УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- «Абидосская невеста», поэма Байрона (см.)
- Авакум (1620 или 1621—1682), протопоп — 174, 212, 518
- Августин Блаженный (354—430), христианский богослов — 97, 355, 529
- Авель (библ.) — 105, 424, 470
- Агрипина Младшая (16—59), мать Нерона — 45, 501
- Адам (библ.) — 91, 451
- Александр Македонский (356—323 до н. э.) — 37, 254, 339, 499
- Александр I (1777—1825), император — 72, 156, 157, 166, 180, 181, 193, 194, 203, 217, 218, 302, 303, 320, 414, 416, 417, 477, 501, 505
- Александра Федоровна (1798—1860), жена Николая I — 424, 531
- Анаксагор (ок. 500—428 до н. э.), философ ионийской школы — 97, 506
- Анастасия — см. Минкина Анастасия
- Ангальт-Цербстская принцесса — см. Екатерина II
- Анна Иоанновна (1693—1740), русская императрица с 1730 г. — 175, 212
- Анна Леопольдовна (1718—1746), «правительница» Российской империи в 1740—1741 гг. — 175, 212
- Аннибал — см. Ганнибал
- «Апологетик», соч. Тертуллиана (см.)
- Аракчев Алексей Андреевич (1769—1834) — 304, 417, 418
- Арепдт Николай Федорович (1786—1859), лейб-медик Николая I — 303
- Аристид (ок. 540—467 до н. э.), афинский политический деятель и полководец — 92
- Аристотель (Стагирит) (384—322 до н. э.) — 29, 97, 333, 354, 506, 529
- «Метафизика» — 506
- Армеллини Карло (1777—1863), республиканец, один из членов триумvirата в Риме в 1849 г. — 210, 518
- Аффр (Affre) Дени Огюст (1793—1848), парижский архиепископ — 47, 77, 349, 448, 501, 505
- Байрон (Byron) Джордж Ноэл Гордон (1788—1824) — 44, 99, 103, 112, 139, 342, 356, 357, 501, 508
- «Тьма» («Darkness») — 139, 357
- «Абидосская невеста» («The Bride of Abydos») — 501
- Бакунин Михаил Александрович (1814—1876) — 148, 432, 514—516, 525, 532
- Барбару (Barbagoux) Шарль (1767—1794), член Конвента, жирондист — 241, 245, 522
- Барбес Арман (1809—1870), франц. революционер, один из руководителей тайных обществ в 30-х годах XIX в., участник революции 1848 г. — 79, 142, 349, 437, 446, 448, 465, 505, 507
- Барро Одилон (1791—1873), франц. полит. деятель, умеренный либерал до революции 1848 г., глава министерства при Луи Бонапарте — 84
- Бедо (Bedeau) Мари Альфонс (1804—1863), франц. генерал, орлеанист, после февральской

- революции 1848 г. командующий войсками в Париже — 42
- Беккариа Чезаре (1738—1794), итал. юрист, буржуазный просветитель — 156, 193
- Белинский Виссарион Григорьевич (1811—1848) — 431, 432, 493, 518, 525, 532
- Бенкендорф Александр Христофорович (1783—1844) — 305, 417, 441
- Беранже Пьер Жан (1780—1857) — 27, 83, 498
- «Самоубийцы» («Le Suicide») — 27, 498
- «Берлинский крикун» («Berliner Kakehler»), юмористический журнал — 154, 191, 517
- Беррийская герцогиня Каролина Мария (1798—1870), жена убитого в 1820 г. герцога Беррийского — 430, 532
- Бетховен (Beethoven) Людвиг ван (1770—1827) — 81, 466, 467
- Блазиус Иоганн Генрих (1809—1841 г.г. совершил поездку по России — 158, 195
- «Зоологическое путешествие» («Reise im europäischen Rußland in den Jahren 1840—1841») — 158, 195
- Блан (Blanc) Луи (1811—1882) — 349, 472
- Бланки (Blanqui) Огюст (1805—1881) — 73, 142, 446, 470, 507
- Блюм (Блум) Роберт (1807—1848), глава демократической партии Саксонии во время революции 1848 г. — 448, 449, 508
- Богосприимец Симеон (библ.) — 116
- Бомарше (Beaumarchais) Пьер Огюстен Карон (1732—1799) — Фигаро — 347, 480
- Бонапарт — см. Наполеон I Бонапарт
- Бопарроти — см. Микеланджело
- Борджа Лукреция (1480—1519), дочь Родриго Борджа — 344
- Борджа Родриго (1431—1503), римский папа с 1492 г. под именем Александра VI — 319
- Бошар (Bauchart) Александр Кентен (1809—1887), франц. монархист, докладчик следственной комиссии по делу о июньском восстании 1848 г. — 141, 358, 511, 530
- Бранкалеоне, подеста Рима в 1253—1258 гг., после бегства папы Иннокентия IV; ввел демократическую конституцию — 116
- Брауншвейгская принцесса — см. Анна Леопольдовна
- Брунгильда (миф.) — 380
- Буало Никола (1636—1711), франц. поэт и теоретик классицизма — 273
- Бурячек Степан Анисимович (1800—1876), издатель и редактор реакционного журнала «Маяк» — 426
- Бэкон (Bacon ab Verulamio) Фрэнсис, лорд Веруламский (1561—1626) — 97, 100, 108, 134, 352, 449, 468
- Бюжо (Bugeaud) Тома Робер (1784—1849), франц. маршал, подавивший в 1834 г. республиканское восстание в Париже — 430, 532
- Бюхнер (Büchner, Büchner) Георг (1813—1837), нем. писатель-драматург, революционный демократ — 242, 246, 522.
- «Смерть Дантона» («Dantons Tod») — 242, 246, 522
- Вальдегамас Хуан Франсиско Донозо Кортес (1803—1853), испанский маркиз, умеренный либерал, после революции 1848 г. — крайний реакционер — 135—140, 142, 351, 353—358, 511, 529, 530
- Вергилий (70—19 до н. э.) — 383
- «Георгики» — 273
- Вико Джамбаттиста (1668—1744), итал. буржуазный философ, создатель так называемой теории круговорота — 32, 334, 499
- «Основания новой науки об общей природе наций» — 499
- Вильгельм I (1797—1888), король прусский в 1861—1888 гг., германский император с 1871 г. — 107, 158, 195, 508, 517
- Виндштрек Альфред (1787—1862), австр. фельдмаршал, в 1848 г. подавил восстания в Праге и

- Вене, в 1848—1849 гг. руководил борьбой против революционной венгерской армии — 70, 445, 448, 505, 508
- Владислав (1595—1648), польский королевич, в 1610 г., во время польской интервенции, претендент на российский престол, король польский с 1632 г. — 249, 363
- Вобан (Vauban) Себастьян (1633—1707), франц. военный инженер и экономист — 395
- Вовенарг (Vauvenargues) Люк де Клапье (1715—1747), франц. писатель-моралист — 273
- Вольней (Волней, Volney) Константин Франсуа (1757—1820), франц. просветитель — 419
- Вольтер (Аруэ) Франсуа Мари (1694—1778) — 57, 113, 129, 134, 156, 193, 229, 236, 273, 275, 352, 383, 385, 526
- «История Российской империи в царствование Петра Великого» («Histoire de l'Empire de Russie sous Pierre le Grand») — 275, 526
- «Кандид» («Candide») — 384
- «Орлеанская девственница» («La Pucelle d'Orléans») — 384
- Вольфзон Вильгельм (1820—1865), нем. журналист и драматург — 409, 431, 524
- «Выбранные места из переписки с друзьями», соч. Н. В. Гоголя (см.).
- Г. — см. Герцен А. И.
- Гаварни Поль (псевдоним Гийома Скульпса Шевалье) (1804—1866), франц. рисовальщик — 148
- Гакстаузен (Haxthausen) Август, барон (1792—1866), автор работ об аграрных отношениях в Пруссии и России — 18, 158, 159, 161—163, 165, 168, 172, 195, 196, 198—200, 202, 205, 210, 322, 497, 515, 516
- «Исследования внутренних отношений, народной жизни и в особенности сельских учреждений России» («Studien über die inneren Zustände, das Volksleben und insbesondere die ländlichen Einrichtungen Rußlands») — 158, 497, 515
- Галахов Иван Павлович (1809—1849), друг Герцена и Огарева — 64, 489, 493, 504
- Гамилькар (Барка) (ум. 229 до н. э.), карфагенский полководец, непримиримый враг Рима — 23, 327, 498
- Гамлет, действ. лицо в одноименной трагедии Шекспира (см.)
- Гапсбаль (Аннибал) (ок. 247—183 до н. э.), карфагенский полководец, сын Гамилькара — 23, 327, 498
- Гаузер (Hauser) Каспар (ум. 1833), найденный, происхождение которого не было установлено; появился в Нюрнберге в 1828 г. — 81, 506
- Гегель Георг Фридрих Вильгельм (1770—1831) — 53, 100, 111, 112, 508
- Геккер (Hecker) Фридрих (1811—1881), нем. буржуазный демократ, один из руководителей восстания в Бадене в 1848 г. — 448
- Гельвеций (Helvétius) Клод Адриан (1715—1771) — 273, 383
- «Георгики», поэма Вергилия (см.)
- Гервег (Herwegh) Георг (Г. Г.) (1817—1875), нем. поэт — 150, 187, 476, 477, 486, 487, 492, 510, 514, 517, 519, 522
- Гёргей Артур (1818—1916), главнокомандующий венгерской революционной армии; изменчески капитулировал в августе 1849 г. — 107, 508
- Герцен Александр Александрович (1839—1906), старший сын А. И. Герцена — 7, 313, 314, 480, 486, 487, 493, 494, 496, 528
- Герцен Александр Иванович (1812—1870)
- «Былое и думы» — 488, 489, 492, 498—500, 507, 509, 514, 516, 522, 525
- «Дилетантизм в науке» — 499
- «Доктор, умирающий и мертвые» — 504
- «Крайности сходятся» — 149, 514
- «Михаил Бакунин» («Michel Bacouline») — 514, 517
- «Москва и Петербург» — 149, 514
- «О развитии революционных идей в России» («Du développement des idées révolutionnaires en Russie») — 191, 517

- «Прервавшие рассказы Искандера» — 524
- «Русские немцы и немецкие русские» — 497
- «Русский народ и социализм. Письмо к Ж. Мишле» («Le peuple russe et le socialisme») — 496
- «Старый мир и Россия» — 520
- Гёте (Goethe) Иоганн Вольфганг (1749—1832) — 19, 32, 34, 56, 57, 86, 103, 107, 112, 115, 120, 151, 188, 324, 335, 336, 439, 452, 471, 486, 490, 498, 499, 506, 507, 509, 517
- «К Соединенным Штатам» («Den Vereinigten Staaten») — 151, 188, 517
- «Коринфская невеста» («Die Braut von Korinth») — 107, 507
- «Кроткие Ксении» («Zahme Xenien») — 115, 509
- «Прометей» («Prometheus») — 452, 486
- «Торквато Тассо» («Torquato Tasso») — 86, 506; Тассо — 506
- «Фауст»; Фауст — 23, 328, 460
- «Четыре времени года» («Vier Jahreszeiten») — 32, 499
- «Эпиграммы. Венеция» («Epigramme. Venedig») — 19, 498
- Гиббон Эдуард (1737—1794), англ. буржуазный историк — 38, 339
- Гизо (Guizot) Франсуа Пьер Гийом (1787—1874), франц. буржуазный историк и политический деятель, фактический глава правительства Июльской монархии, с 1840 г. министр иностранных дел, с 1847 г. — премьер-министр — 55, 72, 152, 189, 451, 505.
- Гиппократ (ок. 460—377 до н. э.), выдающийся врач Древней Греции — 28
- Гмелин Иоганн Георг (1709—1755), нем. ученый; совершил научную экспедицию в Сибирь — 156, 193
- Гоголь Николай Васильевич (1809—1852) — 181, 218, 309, 426, 527
- «Выбранные места из переписки с друзьями» — 297, 409, 527
- Голицын С. М., попечитель Московского учебного округа в конце 20-х и начале 30-х годов XIX в. — 419, 531
- Головин Иван Гаврилович (1816—1890), русский эмигрант, публицист — 148, 477, 514
- Гомер — 239, 243
- «Илиада» — 354, 529
- «Одиссея»; Улисс — 50
- Гораций Флакк (65—8 до н. э.), римский поэт — 354, 383, 482, 529
- Грановский Тимофей Николаевич (1813—1855) — 145, 219, 513, 518, 523
- Грибоедов Александр Сергеевич (1795—1829) — 531
- «Горе от ума» — 400, 531; Чацкий — 309; Лиза — 531
- Григорий VII (Гильдебранд) (1020 или 1025—1085), римский папа с 1073 г. — 116
- Григорий XII (1327—1417), римский папа в 1406—1409 гг. — 116
- Григорий XVI (1765—1846), римский папа с 1831 г. — 75
- Гризи Джулия (1811—1869), итал. певица — 40
- Гроций Гуго де Гроот (1583—1645), голланд. ученый-юрист, основоположник буржуазной теории международного права — 162, 199
- Гюго Виктор (1802—1885)
- «Собор Парижской богоматери»; Квазимодо — 301
- Давыдов Денис Васильевич (1784—1839), партизан в Отечественной войне 1812 г., поэт — 418, 531
- «Полусолдат» — 418, 531
- Даниил (библ.) — 350, 353
- Данте Алигьери (1265—1321) — 81, 240, 243, 467, 521
- «Божественная комедия» — 240, 243
- Дантон Жорж Жак (1759—1794) — 46, 57, 343, 501
- Дашкова Екатерина Романовна (1743—1810), княгиня, президент Петербургской академии наук и Российской академии — 273, 383
- «Дева Орлеанская» — см. Шиллер
- Деказ (Decazes) Эли (1780—1860), франц. госуд. деятель периода Реставрации, крупный предприниматель — 477
- Делеклюз (Delécluze) Шарль (1809—1871), франц. полити-

- ческий деятель и журналист, в революции 1848 г. примыкал к «новым якобинцам» — 123, 509
- Демулен (Дюмулен) Камилль (1760—1794) — 46, 343, 501
- Державин Гаврила Романович (1743—1816) — 503
- «Ода к премудрой киргиз-кайсацкой царевне Фелице» — 59, 503
- Дефо Даниель (1660 или 1661—1731), англ. писатель
- «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо»; Робинзон — 114
- Дибич Иван Иванович (1785—1831), генерал, в 1831 г. главнокомандующий армией, подавившей восстание в Польше — 305, 410
- Дидро (Diderot) Дени (1713—1784) — 156, 193, 342
- «Жак-фаталист» — 275, 384
- Диоклециан (Диоклециан) Гай Аврелий Валерий (ок. 245—313), римский император в 284—305 гг., жестокий гонитель христиан — 142, 353, 359
- Дон Кихот, герой романа Сервантеса (см.)
- Донозо Кортес — см. Вальдегамас
- Дубельт Леонтий Васильевич (1792—1862), управляющий «Третьим отделением», член цензурного комитета — 145, 514
- «Дунайский мужик», басня Лафонтена (см.)
- Екатерина II (1725—1796), императрица — 156, 159, 175, 176, 178, 193, 196, 212, 213, 215, 225, 229, 232, 236, 256, 275, 300, 301, 320, 385, 414, 415, 520, 526
- «Начальное управление Олега» — 275, 385, 526
- Ермолов Алексей Петрович (1772—1861), русский генерал, соратник Суворова и Кутузова — 303, 417
- «Жак-фаталист», роман Дидро (см.)
- Жан-Жак — см. Руссо
- Жильбер (Gilbert) Никола Жозеф (1751—1780), франц. сатирический поэт, выходец из бедной крестьянской семьи — 56
- Жорж Санд (псевдоним Авроры Дюдеван) (1804—1876) — 350
- Жоффруа (Geoffroy) Жан Мари (1813—1883), франц. актер — 242, 246
- Занд Карл Людвиг (1795—1820), студент, убивший немецкого писателя Коцбу, агента царского правительства — 241
- Зольгер Рейнгольд (1817—1866), нем. литератор-демократ — 9, 495
- «Зоологическое путешествие» — см. Блазиус
- Иван III Васильевич (1440—1505), великий князь московский с 1462 г. — 225, 232
- Иван IV Васильевич, Грозный (1530—1584) — 416
- «Илиада», поэма Гомера (см.)
- Искандер — псевдоним А. И. Герцена (см.)
- Иуда (библ.) — 428, 503
- Кабе Этьен (1788—1856) — 124, 350, 446, 510
- Кавеньяк (Каваньяк, Cavaignac) Луи Эжен (1802—1857), франц. генерал, военный диктатор в июньские дни 1848 г., глава правительства (июнь—декабрь 1848) — 43, 47, 55, 63, 69, 76, 80, 84, 85, 141, 148, 344, 358, 443, 451, 452, 481, 501, 504, 507, 511, 520, 530
- Каин (библ.) — 105, 348, 420
- Каифа — прозвище иудейского первосвященника, ярого врага Христа — 428
- Калибан, действ. лицо в пьесе «Буря» Шекспира (см.)
- Калигула Гай Цезарь (12—41), римский император с 37 г. — 47, 349, 501
- Кальвин Жан (1509—1564), основатель кальвинистского вероучения — 53, 100
- «Кандид», повесть Вольтера (см.)
- Кант Иммануил (1724—1804) — 131
- «Критика чистого разума» — 333
- Капп Фридрих (1824—1884), нем. политический деятель и литера-

- тор, участник революции 1848 г. — 9, 486
- Капфиг (Capefigue) Батист Оноре (1802—1872), франц. историк и публицист, монархист — 358, 530
- Карамзин Николай Михайлович (1766—1826) — 12, 496
— «Мелодор к Филалету» — 496
- Карл Альберт (1798—1849), король Сардинии (Пьемонта) с 1831 г. — 70, 71, 504
- Карл X (1757—1836), граф д'Артуа до вступления на престол, франц. король в 1824—1830 гг. — 105
- Карно Лазар Никола (1753—1823), деятель французской революции конца XVIII в. — 451
- Катилина Луций Сергей (108—62 до н. э.), политический деятель Древнего Рима — 115, 509
- Катон Младший, Марк Порций Утический (95—46 до н. э.), вождь республиканской партии; покончил самоубийством, когда узнал о победе Цезаря — 153, 190
- Кауниц-Ритберг Венцель Антон (1711—1794), австр. дипломат, с 1753 г. — государственный канцлер — 277, 387, 414
- Квазимодо, персонаж романа «Собор Парижской богородицы» В. Гюго (см.)
- Кениг (Koenig) Генрих Иосиф — 158, 195
— «Картины русской литературы» («Literarische Bilder aus Russland»), книга, написанная в сотрудничестве с Мельгуновым — 158, 195
- Клейнмихель Петр Андреевич (1793—1869), граф, в 1812 г. адъютант Аракчеева, в 1819 г. начальник штаба военных поселений — 527
- Клеопатра (69—30 до н. э.), египетская царица — 35, 176, 213, 337, 344
- Клоотс (Клоц, Cloots) Анахарсис (настоящее имя Жан Батист) (1755—1794), деятель французской революции конца XVIII в., пропагандист идеи всемирной республики — 46, 101, 343, 506, 507
- Кобург-Заальфельд Фридрих (1737—1817), саксонский принц, в 1790—1794 гг. командовал австрийскими и имперскими войсками в войне с революционной Францией — 148
- Колумб Христофор (1451—1506) — 36, 51, 338, 457, 499
- Консидеран (Considerant) Виктор (1808—1893), социалист-утопист, ученик Фурье — 349
- Констан Бенжамен (1767—1830), франц. буржуазный политический деятель, теоретик умеренного либерализма — 131, 510
— «Адольф» — 131, 510
- Константин (ок. 274—337), римский император с 306 г., сторонник христианства — 122
- Константин Николаевич (1827—1892), второй сын Николая I, управлявший морским министерством — 225, 232
- Константин Павлович (1779—1831), второй сын императора Павла — 225, 232, 302, 520
- «Конститусьонель» («Le Constitutionnel»), торговая, политическая и литературная газета; выходила в Париже с 1815 г.; в 1849 г. стала бонапартистской — 141, 358
- Корде (Corday) Шарлотта (1768—1793) — 240, 242, 245, 246, 522
- Кормчая книга (Номоканон), сборник церковных правил и государственных законов о церкви — 297, 527
- Корнель Пьер (1606—1684) — 273, 383
- Кортес Эрнан (Фернандо) (1485—1547), испанец, завоевавший в 1519—1521 гг. территорию Мексики — 36
- Корф Модест Андреевич (1800—1872), барон, в 1848 г. член негласного цензурного комитета — 145, 514
- Коссидьер (Caussidière) Марк (1809—1861), участник революции 1848 г. во Франции, префект парижской полиции в феврале — мае 1848 г. — 349
- Костюшко Тадеуш (1746—1817), вождь польского восстания 1794 г. — 427, 532

- Кромвель Оливер (1599—1658) — 77, 381, 448, 450, 451
- «Кроткие Ксении», стихотворный цикл Гёте (см.)
- «К Соединенным Штатам», стихотворение Гёте (см.)
- Кузен (Кузень, Cousin) Виктор (1792—1867), франц. философ-идеалист, основатель эклектической школы — 134, 352
- Курляндская принцесса — см. Анна Иоанновна
- Курбский Андрей Михайлович (1528—1583), князь, идеолог консервативного боярства — 319
- Кюстин (Custine) Адольф (1790—1857), маркиз, франц. литератор, путешественник — 158—162, 172, 174, 180, 195—199, 210, 211, 217, 515, 518
- «Россия в 1839 г.» («La Russie en 1839») — 158, 195, 515, 518
- Лагранж Шарль (1804—1857), участник революционного движения в Лионе в 1833—1834 гг., организатор баррикадных боев в Париже в феврале 1848 г. — 349
- Лазарь (библ.) — 86, 506
- Ламартин Альфонс (1790—1869) — 72, 73, 445, 446, 452, 505
- Ламбаль Мария Тереза (1749—1792), принцесса, приближенная Марии Антуанетты — 71, 504
- Ламенне (Lamennais) Фелисите Робер (1782—1854), франц. аббат, философ и публицист, представитель «христианского социализма» — 47, 112, 350, 502
- Ламорисьер Луи Кристоф (1806—1865), франц. военный министр в кабинете Кавеньяка — 348
- Лафайет (La Fayette) Жозеф Поль (1757—1834), маркиз, деятель французских революций конца XVIII в. и 1830 г., позднее либерал-монархист — 85, 452
- Лафонтен Жан де (1621—1695) — 26, 498
- «Дунайский мужик» («Le paysan du Danube») — 26, 498
- Лебра (Lebras) Огюст (1816—1832), франц. поэт-романтик; покончил самоубийством вместе с поэтом Эскусом (Escousse) Виктором (1813—1832) — 27, 498
- Левассер Тереза (1721—1801), жена Жан Жака Руссо — 87
- Левек (Lévesque) Пьер Шарль (1737—1812), франц. историк, по вызову Екатерины преподавал одно время в России — 155, 193
- Ледрю-Роллен (Ledru-Rollin) Александр Огюст (1808—1874) — 49, 73, 75, 437, 446, 451, 467, 502, 505
- Лермонтов Михаил Юрьевич (1814—1841) — 181, 218, 439
- «Дума» — 439
- Леру (Leroux) Пьер (1797—1871), франц. социалист-утопист — 58, 73, 446
- Лессинг Готгольд Эфраим (1729—1781) — 15, 319
- Лжедмитрий I (ум. 1606) — 174, 212
- Лжедмитрий II (Тушинский вор) (ум. 1610) — 249, 363
- Линней (Linnaeus) Карл (1707—1778), шведский естествоиспытатель — 450, 467
- Лир, король, действ. лицо в трагедии «Король Лир» Шекспира (см.)
- Лойола Игнатий (1491—1556), основатель ордена иезуитов — 134, 352
- Лопухина Анна Петровна (1777—1805), камер-фрейлина при дворе Павла I — 415
- Лот (библ.) — 123, 509
- Луи Филипп (Людовик Филипп) (1773—1850), франц. король в 1830—1848 гг. — 53, 72, 80, 148, 344, 430, 500, 503, 505
- Лукан Марк Анней (39—65), римский поэт — 492, 526
- «Фарсалия» — 273, 526
- Лукреций Кар (ок. 99—55 до н. э.) — 71, 334, 445, 504
- «О природе вещей» — 504
- Людовик (Людвиг) XIV (1638—1715), франц. король с 1643 г. — 346, 461
- Людовик XVI (1754—1793), король Франции в 1774—1792 гг. — 45, 343, 501
- Лютер Мартин (1483—1546) — 53, 100, 116, 319

- Люцифер (Луцифер) (библ.) — 130, 427.
- Магдалина (библ.) — 35, 337
- Макбет, действ. лицо в одноименной трагедии Шекспира (см.)
- Мальтус (Мальтус) Томас Роберт 1766—1834) — 55, 163, 200, 503, 518
- «Опыт о законе народонаселения» — 503
- Марат Жан Поль (1743—1793) — 73, 240—242, 244—246, 447, 505, 521, 522
- Марий Гай (156—86 до н. э.), римский полководец и политический деятель — 108, 508
- Марк (р. 65 до н. э.), сын Цицерона — 481
- Марраст Арман (1801—1852), франц. политический деятель, с 1841 г. — редактор газеты «National», член Временного правительства в 1848 г. — 63, 84, 446, 447, 448, 504
- Марс (миф.) — 32, 499
- «Марсельеза» — 40—42, 49, 64, 442, 500, 504
- Мартиньяк (Martignac) Жан Батист (1776—1832), франц. министр внутренних дел и глава кабинета в 1828—1829 гг. — 477
- Маццини Джузеппе (1805—1872) — 79, 105, 210, 224, 231, 487, 492, 517—519
- Медуза (миф.) — 254, 367
- Мельгунов Николай Александрович (1804—1867), русский литератор; принимал ближайшее участие в работе над книгой Кенига «Картины русской литературы» — 158, 195
- Местр (Maistre) Жозеф де (1753—1821), идеолог феодально-монархической контрреволюции — 112, 140, 508, 511
- «Папа» («Du pape») — 140, 508, 511
- Меттерних Клеменс (1773—1859) — 43, 55, 441, 451, 458, 461
- Микеланджело Буонарроти (1475—1564) — 57
- Миллер (Мюллер) Герард Фридрих (1705—1783), историк и археограф, член Петербургской академии наук — 155, 193
- Милорадович Михаил Андреевич (1771—1825), генерал; был смертельно ранен во время восстания декабристов — 302, 303, 417
- Минкина Анастасия, любовница Аракчеева, в 1825 г. убита крепостными за жестокость — 304
- Мирабо Оноре Габриель (1749—1791) — 57
- Митрофан (Михаил) (1623—1703), епископ воронежский — 309, 426
- Мишель де Бурж (Michel de Bourges) (1798—1853), один из вождей республиканской оппозиции в период Июльской монархии, в 1849 г. в Законодательном собрании находился в рядах Горы — 359, 530
- Мишле Жюль (1798—1874), франц. мелкобуржуазный историк — 10, 496
- «Демократические легенды» («Légendes démocratiques du Nord, série d'études sur la Pologne et la Russie») — 496
- Молох (миф.) — 34, 138, 336, 348, 530
- Мольер Жан Батист (Поклен) (1622—1673) — 467
- «Мизантроп»; Мизантроп — 467
- Монталамбер (Montalembert) Шарль (1810—1870), реакционер, вождь католической партии, член франц. парламента после 1848 г. — 135
- Монтескье (Montesquieu) Шарль Луи де Секонда (1689—1755) — 156, 193
- Монтион (Monthyon) Антуан, барон (1733—1820), франц. филантроп — 91, 241, 245, 506, 522
- Муравьев Андрей Николаевич (1806—1874), духовный писатель — 309, 426
- «Путешествие к святым местам русским» — 309, 426
- Наполеон I Бонапарт (1769—1821) — 20, 29, 48, 72, 83, 116, 137, 156, 158, 193, 195, 228, 235, 302, 325, 332, 338, 344, 346, 348, 350, 355, 381, 405, 416, 450, 460, 461, 474, 501, 502, 505, 506, 508, 520
- Наполеон III Бонапарт (Луи Бонапарт) (1808—1873) — 82, 84,

- 124, 125, 228, 235, 348, 451, 496, 506, 510, 520
- «Националь» («Le National»), франц. газета; выходила в Париже в 1830—1851 гг., после февральской революции 1848 г. стала реакционной — 42, 83, 500
- «Начальное управление Олега», пьеса Екатерины II (см.)
- Неккер Жак (1732—1804), глава финансового ведомства во Франции в 1776—1781 и в 1788—1790 гг. — 387
- Нерон Клавдий Цезарь Август Германик (37—68), римский император — 343, 450, 501
- Нибур (Niebuhr) Бартольд Георг (1776—1831), нем. историк античности — 112
- Николай I (1796—1855), император — 153, 190, 224—228, 231—234, 300, 302—304, 417, 418, 420, 424, 497, 508, 513, 517, 519, 527, 531
- Никон (Никита Минов) (1605—1681), патриарх московский — 174, 212, 518
- Новиков Николай Иванович (1744—1818), русский писатель и журналист — 275, 385
- Ной (библ.) — 427, 532
- Номоканон — см. Кормчая книга
- Ньютон Исаак (1643—1727) — 273, 384
- Обольянинов Петр Хрисанфович (1753—1841), ген.-прокурор в 1800—1801 гг. — 302, 416
- Один (миф.) — 167, 204
- Олег (ум. 912), древнерусский князь — 225, 232, 275, 385, 526
- Онегин, герой романа «Евгений Онегин» А. С. Пушкина (см.)
- «Опыт о законе народонаселения», соч. Мальтуса (см.)
- Орловы, братья, участники дворцового переворота 1762 г.: Григорий Григорьевич (1734—1783), граф, фаворит Екатерины II, и Алексей Григорьевич (1737—1807), граф — 300, 414
- «Основания новой науки об общей природе папий», соч. Вико (см.)
- Павел I (1754—1801), император — 16, 229, 236, 301, 302, 304, 415—417
- Павел св. (библ.) — 355, 529
- Палеолог Софья (ум. 1503), племянница последнего византийского императора Константина XI, жена Ивана III Васильевича — 225, 232
- Паллас Петр Симоп (1741—1811), нем. естествоиспытатель, переселившийся в Россию, исследователь Сибири и Урала — 156, 193
- Паскаль Блез (1623—1662), франц. математик и философ — 20, 45, 325, 487, 498
- «Мысли» («Les Pensées») — 498
- Паскевич-Эриванский Иван Федорович (1782—1856), князь, ген.-фельдмаршал — 43, 417, 441, 496, 517
- Пенн Уильям (1644—1718), англ. квакер, основатель Пенсильвании, англ. колонии в Сев. Америке — 28, 332
- Петр св. (библ.) — 53, 503
- Петр I (1672—1725), император — 15, 146, 155, 156, 159, 166, 167, 169—172, 174—177, 179, 181, 192, 193, 196, 203, 204, 206—209, 212—214, 216, 217, 219, 225, 227, 232, 234, 256, 275, 297, 300, 319, 338, 385, 409, 414, 416, 417, 497, 526, 527
- Петр III Федорович (1728—1762), император — 175, 212, 213
- Печерин Владимир Сергеевич (1807—1885), профессор Московского университета в 1835—1836 гг., член монашеского ордена, католический священник, эмигрант — 525
- Пий IX, Мاستаи-Ферретти, граф (1792—1878), римский папа с 1846 г. — 70, 75, 504, 508
- Питт Уильям Младший (1759—1806), англ. реакционный госуд. деятель, премьер-министр в 1783—1801 и 1804—1806 гг., один из главных вдохновителей и организаторов коалиции европейских государств против революционной, а затем наполеоновской Франции — 148
- Платон (427—347 до н. э.) — 29, 273, 279, 333, 384

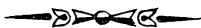
- Плиний Младший (ок. 62 — ок. 114) — 58, 141, 353, 358, 359, 492, 511, 530
- Полежаев Александр Иванович (1805—1838), поэт — 420
- Полиньяк (Pouignac) Жюль Огюст (1780—1847), крайний роялист, глава франц. кабинета, привявшего ордонансы, которые ускорили Июльскую революцию — 152, 189
- Помпей Гней (106—48 до н. э.), римский полководец и политический деятель — 526
- Понсар (Ponsard) Франсуа (1814—1867), франц. драматург — 239, 240, 242—246, 485, 521
- «Шарлотта Корде» («Charlotte Corday») — 239, 240, 243, 244, 485, 520—522; Шарлотта Корде — 241, 242, 245, 246; Дантон — 241, 242, 245, 246; Марат — 241, 242, 246; Барбару — 241, 245, 522; Робеспьер — 242, 246
- «Полярная звезда», сборники, издававшиеся Герценом в Лондоне в 1855—1869 гг., с 1858 г. — совместно с Огаревым — 420
- Потель, парижский ресторатор — 452
- «Прометей», драматический фрагмент Гёте (см.)
- Просперо, действ. лицо в пьесе «Буря» Шекспира (см.)
- Протей (миф.) — 241, 245
- Пугачев Емельян Иванович (ок. 1742—1775) — 175, 213, 229, 236
- Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837) — 18, 56, 160, 163, 179, 181, 197, 200, 216, 218, 322, 418, 420, 527
- «Евгений Онегин» — 298, 411, 527; Онегин — 298, 309, 411
- «К Чаадаеву» — 420
- «На Стурдзу» («Холоп венчанного солдата») — 418
- Прудон (Proudhon) Пьер Жозеф (1809—1865) — 58, 73, 115, 123 — 125, 142, 352, 495, 509, 510, 529
- «Философия 10 марта» («Philosophie du 10 mars») — 115, 509
- Пуфендорф Самуэль (1632—1694), нем. юрист и историк — 162, 199
- Рабле (Rabelais) Франсуа (1494—1553) — 453
- Радецкий Иосиф Венцель (1766—1858), австр. фельдмаршал, с 1831 г. командующий армией в Италии — 43, 69—71, 76, 80, 85, 445, 448, 504
- Расин (Racine) Жан Батист (1639—1699) — 273, 383
- Распайль (Распаль) Франсуа Венсан (1794—1878), франц. республиканец-радикал — 73, 142, 437, 446, 465, 505, 507
- Рафаэль (1483—1520) — 57
- Рапсель Элиза (1821—1858), франц. драматическая актриса — 40, 500
- Регана, действ. лицо в трагедии «Король Лир» Шекспира (см.)
- «Реформа» («La Réforme»), франц. республиканская газета; выходила в Париже с 1843 по 1851 г. — 83
- Рея (миф.) — 32, 334, 499
- Риего-и-Нуньес (Riego-y-Núñez) (1785—1823), исп. революционер — 179, 216
- Риенци (Риенцо) Кола ди (1313—1354), римский трибун-гуманист — 116
- Робеспьер Максимилиан Мари Исидор (1758—1794) — 101, 111, 242, 246, 343, 348, 452, 501, 506—508
- Робинзон, герой романа Дефо (см.)
- Рогнеда, дочь полоцкого князя, которую против ее воли взял в жены вел. князь киевский Владимир, после пленения и убийства ее отца — 304
- Ротган (Rogan, Roothaan) (1785—1853), генерал ордена иезуитов с 1839 г. — 310, 430, 431, 523
- Ротшильды, известный банкирский дом, имевший ряд банков в главных городах Европы — 28, 331
- Руге Арнольд (1802—1880), нем. радикальный публицист, младогегельянец — 471, 472
- Руссо Жан Жак (1712—1778) — 24, 28, 57, 87—89, 91, 94, 96, 103, 111, 129, 273, 332, 383, 411, 454, 468, 498, 506
- «Общественный договор» («Contract social») — 94, 96, 498, 506


- Рылеев Кондратий Федорович (1795—1826) — 420
— «Думы» — 420
- Савонарола Джироламо (1452—1498) — 319
- Сазонов Николай Иванович (1815—1862), участник московского кружка Герцена—Огарева в нач. 30-х гг., впоследствии эмигрант — 148, 514, 516
- Санчо-Панса, персонаж романа «Дон Кихот» Сервантеса (см.)
- Сатурн (Крон) (миф.) — 32, 45, 334, 343, 499, 501
- Саффи Аурелио (1819—1890), один из триумвиров в Риме в 1849 г. — 210, 513
- Сведенборг (Шведенборг) Эммануэль (1688—1772), шведский теософ-мистик — 104, 469
- Святослав Игоревич (ум. 972), вел. князь киевский — 225, 232
- Святослав Всеволодович (ум. 1194), удельный князь новгород-северский, черниговский, с 1177 г. вел. князь киевский — 395, 531
- Себастиани Орас (1772—1851), франц. маршал, министр иностранных дел в 1830—1832 гг. — 195, 517
- Сенар Антуан Мари (1800—1885), член франц. Учредительного собрания в 1848 г., министр внутренних дел в кабинете Кавеньяка — 47
- Сенека Люций Анней (ок. 4 до н. э. — 65), римский философ-стоик — 30, 97, 333, 334, 448, 492
- Сен-Жюст (Saint-Just) Луи Антуан (1767—1794), член Конвента и Комитета общественного спасения; казнен вместе с Робеспьером — 111, 343, 429, 501, 508
- Сен-Симон Луи де Рувруа (1675—1755), герцог, франц. писатель, автор «Мемуаров», описывающих жизнь и нравы при дворе Людовика XIV — 406
- Сезострис, легендарный царь древнего Египта — 277, 387
- Сервантес Мигель де Сааведра (1547—1616) — 506
— «Хитроумный гидальго Дон Кихот Ламанчский» — 506; Дон Кихот — 50, 473; Санчо-Панса — 82, 506
- Сизиф (миф.) — 110, 111
- Симеон Столпник (356—459), христианский подвижник — 92, 427, 468, 509
- Сократ (469—399 до н. э.) — 37, 88, 97
- Софокл (ок. 497 — 406 до н. э.) — Эдип — 69
- Софья Баварская, мать австр. императора Франца Иосифа — 224, 231, 520
- Спиноза Барух (Бенедикт) (1632—1677) — 15, 100, 134, 319, 352, 468
- Строганов Сергей Григорьевич (1794—1882), граф, член негласного пензурного комитета — 145, 514
- Суворов Александр Васильевич (1730—1800) — 156, 193
- Сумароков Александр Петрович (1717—1777) — 275, 385
- Тарквиний Гордый, римский царь, после изгнания которого в 509 г. до н. э. была установлена республика — 279, 526
- Тацит Корнелий (ок. 54 — ок. 117) — 36, 58, 153, 190, 338, 457, 499, 517
— «О нравах германцев» — 153, 190
- Тереза — см. Левассер Тереза
- Тертуллиан Квинт Септимий Флоренс (ок. 160—ок. 222), христианский теолог, проповедник, писатель — 140, 141, 358, 359, 511, 530
— «Апологетик» («Liber apologeticus») — 141, 511
- Тилли (Tilly) Иоганн (1559—1632), главнокомандующий армии католической лиги во время Тридцатилетней войны — 420
- Тимур (Тамерлан) (1336—1405) — 169, 206
- Тит Ливий (59 до н. э. — 17), римский историк — 279, 526
— «Римская история от основания города» — 526
- Тит (Титус) Флавий Веспасиан (41—81), римский император — 414, 527
- Титов Владимир Павлович (1805—1891), русский посланник в Турции в 1843—1853 гг. — 224, 231, 519

- Тогенбург, герой баллады «Рыцарь Тогенбург» Ф. Шиллера (см.)
- Толь Карл Федорович (1777—1842), один из генералов, подавивших польское восстание 1830—1831 гг. — 305, 306, 420, 421
- Тор (миф.) — 167, 204
- Торе (Thore) Теофиль (1807—1869), франц. левый республиканец, участник революции 1848 г., эмигрант после 1849 г. — 350
- «Торквато Тассо», трагедия Гёте (см.)
- Траян (53—117), римский император с 98 г. — 141, 353, 358, 359, 511, 530
- Тренк Франц (1711—1749), австр. авантюрист — 415, 531
- Тургенев Николай Иванович (1789—1871), декабрист, автор работ по экономическим вопросам — 477 — «Россия и русские» («La Russie et les Russes») — 477
- Тушинский вор — см. Лжедмитрий I
- Тьер (Thiers) Луи Адольф (1797—1877) — 135, 147, 347, 353, 511
- «Тьма», соч. Байрона (см.)
- Улисс, герой поэмы «Одиссея» Гомера (см.)
- Фальмерайер (Fallmerayer) Якоб Филипп (1790—1861), нем. историк и путешественник — 9
- Фальстаф, герой пьес «Король Генрих IV» и «Виндзорские проказницы» Шекспира (см.)
- «Фарсалия» («Фарсала»), поэма Лукана (см.)
- Фауст, герой одноименного произведения Гёте (см.)
- Фейербах Людвиг (1804—1872) — 53, 343, 460
- Фемида (миф.) — 89
- Фердинанд II (неаполитанский король) (1810—1859), король Обеих Сицилий с 1830 г. — 349
- Фигаро, действ. лицо в комедиях Бомарше (см.)
- Фидий (V в. до н. э.), древнегреческий скульптор — 354, 529
- Фихте Иоганн Готлиб (1762—1814) — 103
- Фома, апостол (библ.) — 133, 351, 511
- Фортинбрас, действ. лицо в трагедии «Гамлет» Шекспира (см.)
- Франклин Вениамин (1706—1790) — 443
- Франц Иосиф (1830—1916), австр. император с 1848 г. — 224, 231, 520
- Фребель (Fröbel) Юлиус (1805—1893), нем. публицист, демократ — 9, 494, 507
- Фридрих II (Фридерик) (1712—1786), прусский король с 1740 г. — 113, 171, 208, 439
- Фридрих Вильгельм IV (1795—1861), прусский король с 1840 г. — 157, 194, 224, 227, 231, 234, 508, 520
- Фукье-Тенвиль (Fouquier - Tinville) Антуан (1746—1795), прокурор Революционного трибунала во Франции в 1793 г. — 44, 342, 467
- Харон (миф.) — 326
- Херасков Михаил Матвеевич (1733—1807) — 275, 385 — «Россияда» — 275, 385
- Христос Иисус (Галилеянин) (библ.) — 52, 92, 126, 142, 174, 211, 345, 359, 503, 506, 509, 511
- Цезарь Гай Юлий (100—44 до н. э.) — 116, 154, 191, 348, 389, 526
- Цельс (Celsus), римский философ II в. н. э., эпикуреец, автор сочинения, в котором опровергалось христианское учение — 141, 358
- Цицерон Марк Туллий (106—43 до н. э.) — 30, 97, 333, 481 — «Об обязанностях» — 481
- Чаадаев Петр Яковлевич (1794—1856) — 180, 181, 217, 218, 412, 518 — «Философическое письмо» — 180, 217, 218, 518
- Чацкий, действ. лицо в комедии «Горе от ума» А. С. Грибоедова (см.)
- «Шаривари» («Charivari»), франц. сатирический журнал, выходивший в 1832—1866 гг. — 148

- «Шарлотта Корде», драма Понсара (см.)
- Шатобриан Франсуа Огюст Рене (1768—1848)—112
- Шведенбург — см. Сведенбург
- Шейлок, действ. лицо в пьесе «Венецианский купец» Шекспира (см.)
- Шекспир Вильям (1564—1616) — 30, 241, 245, 333, 349, 498, 499, 504, 505, 508, 521, 526
- «Буря»; Калибан — 99; Просперо — 100
- «Венецианский купец»; Шейлок — 241, 245
- «Гамлет» — 499, 504, 508; Гамлет — 37, 69, 241, 245, 339, 445, 499, 504, 508; Фортинбрас — 69, 445, 504
- «Кориолан»; Кориолан — 118
- «Король Лир» — 505; король Лир — 79, 505; Регана — 79, 505
- «Макбет» — 498; леди Макбет — 226, 233; Макбет — 26, 498; Дункан — 498
- «Отелло»; Яго — 241, 245
- Фальстаф — 241, 245
- Шиллер Иоганн Фридрих (1759—1805) — 57, 103, 345, 480, 498, 528
- «Дева с чужбины» («Das Mädchen aus der Fremde») — 24, 498
- «Орлеанская дева» («Die Jungfrau von Orleans») — 275
- «Рыцарь Тогенбург» («Ritter Togenburg»); Тогенбург — 85
- Шлоссер Фридрих Христофор (1776—1861), нем. историк — 155, 193
- Шницлер (Schnitzler) Иоганн Генрих (1802—1871), нем. историк и статистик — 158, 195, 518
- «Внутренняя история России в царствование императоров Александра и Николая» — 195, 518
- «Очерк общей статистики Российской империи» — 195, 518
- «Россия, Польша и Финляндия» — 195, 518
- Шувалов Иван Ивапович (1727—1797), госуд. деятель, «куратор» Моск. университета — 273, 383
- Эверс Иоганн Филипп (1781—1830), юрист и историк русского права — 155, 193
- Эдип, действ. лицо в трагедиях Софокла (см.)
- Эзон (ок. 620 — ок. 560 до н. э.) — греческий баснописец — 91
- Юдифь (1827—1912), франц. драматическая актриса — 242, 246
- Юлиан Отступник (331—363), римский император с 361 г., защитник язычества — 105, 122, 136, 141, 142, 351, 353, 358, 359, 511
- Юм Давид (1711—1776) — 100, 449
- Юпитер (Зевс) (миф.) — 32, 499
- Юрий Долгорукий (ок. 1090—1157), великий князь киевский, основатель Москвы — 395, 531
- Яворский Стефан (1658—1722), писатель и церковный деятель — 275, 385
- «Камень веры» — 275, 385
- Яго, действ. лицо в трагедии «Отелло» Шекспира (см.)
- Языков Николай Михайлович (1803—1846) — 309, 426
- Якоби Иоганн (1805—1877), прусский демократ — 9, 494
- «Allgemeine Zeitung» («Всеобщая газета»), нем. газета; выходила с 1798 г. — 155, 192, 517
- «L'Ami du Peuple» («Друг народа»), франц. газета, издававшаяся Распайлем с 27 февраля до 14 мая 1848 г. — 73, 505
- «L'Assemblée Nationale» («Национальная Ассамблея»), реакционная газета; выходила в Париже с 1848 до 1857 г. — 141, 155, 192, 358
- «Berliner Krakehler» — см. «Берлинский крикун»
- «Charlotte Corday», пьеса Понсара (см.)
- «Le Constitutionnel» — см. «Конституционный»
- «Contrat social», соч. Руссо (см.)
- Coriolan, действ. лицо в одноименной трагедии Шекспира (см.)

- «Dantons Tod», пьеса Бюхнера (см.)
- «Deutsche Monatsschrift für Politik, Wissenschaft, Kunst und Leben» («Немецкий ежемесячный журнал по вопросам политики, науки, искусства и жизни»), демократический журнал; издавался в 1850—1851 гг. в Штуттгарте — 470, 495, 507, 509
- «Du développement des idées révolutionnaires en Russie», соч. Герцена (см.)
- «L'Italia del Popolo», итальянская газета; основана Маццини в Милане в 1848 г.; с 1851 до 1857 г. выходила в Генуе — 224, 231, 516, 517, 519, 520
- «La Patrie» («Родина»), газета, выходившая в Париже с 1841 г. — 142
- «Le Peuple» («Народ»), газета Прудона; выходила в Париже с 2 сентября 1848 г. до 13 июня 1849 г., а затем в 1850 г. — 497, 509
- «Le Peuple russe et le socialisme», соч. Герцена (см.)
- «Pucelle» — см. Вольтер, «Орлеанская девица»
- «La Voix du peuple» («Голос народа»), газета Прудона; выходила в Париже с 1 октября 1849 до 14 мая 1850 г. — 115, 142, 224, 231, 485, 487, 510—512, 514, 515, 519—522, 528





СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

А. И. Герцен. С дагерротипа, 1850—1852 гг. Государственный Исторический музей, Москва.	4
«С того берега». Титульный лист первого русского издания (Лондон, 1855).	16
«Долг прежде всего». Заглавный лист рукописи ранней редакции (авторизованный список, 1851). Центральный государственный архив литературы и искусства СССР, Москва.	368
«Долг прежде всего». Последний лист рукописи ранней редакции (авторизованный список, 1851). Центральный государственный архив литературы и искусства СССР, Москва	424
«С того берега». Титульный лист немецкого издания (1850 г.) . . .	456



ИСПРАВЛЕНИЯ И ОПЕЧАТКИ

Страница	Строка	Напечатано	Следует читать
55	6 св.	status quo*.	status quo.
152	17 сн.	Tiers-état	tiers-état
156	1 сн.	il <n>' y avait rien	il y avait rien
170	6 св.	exterieu	exterieur
178	9 св.	appropriée	approprié
179	16—17 св.	intruite	instruite
179	17—18 св.	impulssion	impulsion
182	7 сн.	donné	donnés
239	7 св.	Cerday	Corday
240	13 св.	morale	moral
241	8 сн.	l'ironie.	l'ironie,
357	22 св.	transcendantale	transcendentale
357	17 сн.	c'en est fait	s'en est fait

В томе II настоящего издания на стр. 362 (строка 18 св.) вместо: «Шиллера» — следует читать: «Шаллера». В соответствии с этим в «Указателе имен» на стр. 510 строки 2—1 снизу левого столбца и строки 1—2 сверху правого столбца исправляются следующим образом:

Шаллер (Schaller) Юлиус (1810—1868), нем. философ-гегельянец — 362 — «История натурфилософии от Бэкона Веруламского до нашего времени» (*Geschichte der Naturphilosophie von Baco v. Verulam bis auf unsere Zeit) — 362.

В томе V на стр. 93 (строки 3 и 4 сн.) «Долой пезуитов!» должно быть исправлено на «Долой мракобесов!»

СОДЕРЖАНИЕ

С ТОГО БЕРЕГА	Текст	Варианты	Комментарии
Сыну моему Александру	7	440	495
Введение	9	436	496
Прощайте!	12	436	
I. Перед грозой (Разговор на палубе)	19	436, 452	497
II. После грозы	40	437, 440, 457	499
III. LVII год республики, единой и нераздельной	49	437, 460	502
IV. Vixerunt!	62	437, 442, 463	503
V. Consolatio	86	438, 467	506
VI. Эпилог 1849	107	439, 470	507
VII. Omnia mea mecum porto	115	439, 472	509
VIII. Донозо Кортес, маркиз Вальдегамас, и Юлиан, император римский	133	440	510
СТАТЬИ			
Вместо предисловия или объяснения к сборнику	145		513
La Russie	150	476	514
Россия (перевод)	187		
Lettre d'un Russe à Mazzini	224	477	519
Письмо русского к Маццини (перевод)	231		
<Charlotte Corday>	239		520
<Шарлотта Корде> (перевод)	243		
ДОЛГ ПРЕЖДЕ ВСЕГО	247	478	523
I. За воротами	249		
II. Дядюшка Лев Степанович	255		
III. Нежный братец покойного дядюшки	267		
IV. Троюродные братья	272		
V. Наследник	281		
Вместо продолжения	297		

ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ	Текст	Варианты	Комментарии
С того берега	313		
〈A mon fils Alexandre〉	313	480	528
〈Сыну моему Александру〉 (перевод)	314		
Addio!	316		
Перед грозой	324		
После грозы	341	480	
Donoso Cortès	351		
Долг прежде всего	361	481	530
Варианты		433—482	
Принятые сокращения		435	
Комментарии		483—532	
Указатель имен		533	
Список иллюстраций		547	



РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

В. П. ВОЛГИН (главный редактор), И. И. АНИСИМОВ, Д. Д. БЛАГОЙ, Б. П. КОЗЬМИН (зам. главного редактора), С. А. МАКАШИН, В. А. ПУТИНЦЕВ, З. В. СМИРНОВА, Е. В. ТАРЛЕ, Д. И. ЧЕСНОКОВ, А. Б. ШАПИРО, Я. Е. ЭЛЬСБЕРГ

Тексты подготовили: «С того берега» и статьи — Л. Р. Ланский, «Долг прежде всего» — С. А. Андреев-Кривич (осн. ред.), Ю. А. Красовский (ранняя редакция). Переводы статей — Л. Р. Ланского; варианты немецкого издания «С того берега» подготовила и перевела М. Г. Ашукина. Комментарии составили: «С того берега» — И. Г. Птушкина и Я. Е. Эльсберг (введение); статьи — Л. Р. Ланский; «Долг прежде всего» — С. А. Андреев-Кривич (осн. ред.) и Ю. А. Красовский (ранняя редакция)

Переводы иноязычных текстов редактировали: «La Russie» и «Lettre d'un Russe à Mazzini» — М. Г. Ашукина; «Charlotte Corday» — М. Н. Черневич; подстрочные переводы — Е. А. Гунст (франц.), Н. Г. Елица (итал.), О. Н. Михеева (нем.), Ф. А. Петровский (лат.) Лингвистическая редакция иноязычных текстов — З. Н. Липовецкой (франц. и итал.) и О. Н. Михеевой (нем.). Указатель имен составила М. Я. Бессмертная

Редактор тома — Я. Е. ЭЛЬСБЕРГ

*

Редактор издательства А. И. Корчагин
Переплет и титул художника А. П. Радищева
Технический редактор Е. В. Зеленкова
Корректор В. К. Гарди

*

РИСО АН СССР № 11-9В. Сдано в набор 4/VII 1955 г.
Поп. в печать 16/IX 1955 г. Формат бум. 60×92¹/₁₆.
Печ. л. 34,5+5 вкл. Уч.-изд. лист. 31,2+вкл.
0,5 (31,7). Тираж 25000. Т-05948. Изд. № 1224.
Тип. зак. 1573.

Цена ~~15 р.~~ 4-00

Издательство Академии наук СССР.
Москва В-64. Подосенский пер., д. 21.

2-я типография Издательства АН СССР
Москва-99, Шубинский пер., д. 10.

